

РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ



РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Серия самых выдающихся книг великих русских мыслителей, отражающих главные вехи в развитии русского национального мировоззрения:

Св. митр. Иларион
Св. Нил Сорский
Св. Иосиф Волоцкий
Москва – Третий Рим
Иван Грозный
«Домострой»
Посошков И. Т.
Ломоносов М. В.
Болотов А. Т.
Пушкин А. С.
Гоголь Н. В.
Тютчев Ф. И.
Св. Серафим Сар-
овский
Шишков А. С.
Муравьев А. Н.
Киреевский И. В.
Хомяков А. С.
Аксаков И. С.
Аксаков К. С.
Самарин Ю. Ф.
Валуев Д. А.
Черкасский В. А.
Гильфердинг А. Ф.
Кошелев А. И.
Кавелин К. Д.

Коялович М. О.
Лешков В. Н.
Погодин М. П.
Беляев И. Д.
Филиппов Т. И.
Гиляров-Платонов Н. П.
Страхов Н. Н.
Данилевский Н. Я.
Достоевский Ф. М.
Одоевский В. Ф.
Григорьев А. А.
Мещерский В. П.
Катков М. Н.
Леонтьев К. Н.
Победоносцев К. П.
Фадеев Р. А.
Киреев А. А.
Черняев М. Г.
Ламанский В. И.
Астафьев П. Е.
Св. Иоанн Крон-
штадтский
Архиеп. Никон
(Рождественский)
Тихомиров Л. А.
Суворин А. С.

Соловьев В. С.
Бердяев Н. А.
Булгаков С. Н.
Трубецкой Е. Н.
Хомяков Д. А.
Шарапов С. Ф.
Щербатов А. Г.
Розанов В. В.
Флоровский Г. В.
Ильин И. А.
Нилус С. А.
Меньшиков М. О.
Митр. Антоний Хра-
повицкий
Поселянин Е. Н.
Солоневич И. Л.
Св. архиеп. Иларион
(Троицкий)
Башилов Б.
Концевич И. М.
Зеньковский В. В.
Митр. Иоанн (Снычев)
Белов В. И.
Лобанов М. П.
Распутин В. Г.
Шафаревич И. Р.

СЕРГЕЙ ШАРАПОВ

РОССИЯ БУДУЩЕГО

МОСКВА
Институт русской цивилизации
2011

УДК 93/94
ББК 66.1(2)5
Ш 25

Шарапов С. Ф.

Ш 25 Россия будущего / Сост., предисл., примеч., именной словарь А. Д. Каплина / Отв. ред. О. А. Платонов. — М.: Институт русской цивилизации, 2011. — 720 с.

В книге публикуются главные труды выдающегося русского мыслителя, ученого и общественного деятеля славянофила Сергея Федоровича Шарапова (1855—1911). Государственное устройство России, доказывал он, должно основываться на сочетании абсолютного самодержавия власти русского царя с широким развитием системы самоуправления. Процветающая Россия — это неразрывное единство, цельность «земли» (народа) и «государства» (царя) при духовной власти Православной Церкви. Народ обязан повиноваться царю, но имеет право высказывать свое мнение, с которым царь должен считаться. Главной ячейкой русского государства должен быть православный приход, включающий в себя не только вероисповедную функцию, но и административную, судебную, полицейскую, финансовую, учебную и др.

Шарапов является классиком русской экономической мысли, создавшим труд, в котором концентрируются важнейшие основы русской экономической мысли. Он отмечал самобытный характер русской хозяйственной системы, условия которой совершенно противоположны условиям западноевропейской экономики. Наличие общинных и артельных отношений придает русской экономике нравственный характер.

Шарапов верил в будущую победу славянофилов. Он считал, что без революций и потрясений они создадут великое государство, которое объединит все славянские народы. Россия станет центром мощной славянской федерации с четырьмя столицами — в Киеве, Москве, Петербурге, Царьграде. Церковь и государство сольются в одно целое.

ISBN 978-5-902725-98-5

© Институт русской цивилизации, 2011.

ПРЕДИСЛОВИЕ

О Сергее Федоровиче Шарапове, который, по его собственному признанию, посвятил всю жизнь развитию и практическому осуществлению славянофильского учения... «служил или стремился служить, прежде всего, *делу Церкви*»¹, после его кончины и некрологов в течение многих десятилетий не было специальных публикаций, не переиздано ни одно из его многочисленных сочинений.

Однако в последние годы интерес к его личности и наследию привел к появлению статей, диссертаций, в 2005 г. О.А. Платоновым был издан сборник его трудов². Тем не менее требуется еще немало усилий, чтобы жизнь и творчество этого замечательного «позднего славянофила» (который, по его собственному признанию, «к русскому церковному учению А.С. Хомякова, историческому — И.С. Аксакова, политическому — Н.Я. Данилевского пытался прибавить «русское экономическое учение»)³ были изучены более детально.

В данном случае мы предпринимаем попытку систематического обзора жизненного пути и наследия С.Ф. Шарапова.

Родился Сергей Федорович 1 июня (здесь и в дальнейшем все даты приводятся по юлианскому календарю) 1855 г. в

¹ *Шарапов Сергей*. Собрание сочинений. Кн. третья. — М., 1899. — С. 99.

² *Шарапов С.Ф.* После победы славянофилов. — М., 2005.

³ См. подробнее: Последний романтик славянофильства. Сергей Федорович Шарапов (1855–1911) // Воинство святого Георгия. Жизнеописание русских монархистов начала XX века. СПб., 2006. — С. 456—457.

дворянской семье с давними традициями¹. Его отец — Федор Федорович — за два года до рождения своего единственного сына приобрел небольшое имение Сосновка с хутором Курьяново в Вяземском уезде Смоленской губернии². Мать Сергея Федоровича — Лидия Сергеевна — происходила «из очень древнего рода Лыкошиных»³. С детства Сергей отличался живым умом, сообразительностью, трудолюбием, любовью к своей «малой» родине. Вот что вспоминал он спустя десятилетия: «Бывать в поле с отцом сам-друг на беговых дрожках, слушать, как он размахнется о будущем и начнет толковать о своих идеалах в хозяйстве, — это было с самого раннего детства моим высшим наслаждением»⁴.

Сначала Сергея Шарапова готовили (в частности, обучали латыни) в классическую гимназию, но затем решили «пустить» его «по военной дороге» и стали готовить в военную гимназию, «куда наконец и определили»⁵.

В 1868 г. Сергей Шарапов поступил во 2-ю Московскую военную гимназию, в которую с 1864 г. был преобразован 2-й Московский кадетский корпус. В военных гимназиях разрешалось обучение с двенадцати лет, вместо строевых подразделений вводились возрастные классы (первоначально было шестилетнее обучение, а с 1873 г. — семилетнее).

Помимо усердного обучения обязательным предметам Сергей Шарапов много читал. Надо заметить, что это была не самая плохая литература для подростков (хотя в зрелые годы С.Ф. Шарапов критически к ней относился, если не сказать больше): Майн Рид, Фенимор Купер, «отчасти» Вальтер Скотт и Диккенс, затем Жюль Верн, Масэ, Гумбольдт, Шлей-

¹ Древние роды Шараповых, восходящие к половине XVII в., были записаны в VI части родословных книг Саратовской и Воронежской губерний.

² Оттепель // Сочинения Сергея Шарапова. — Вып. 5 (Т. II). — М., 1901. — С. 79.

³ Переписка К.Н. Леонтьева и С.Ф. Шарапова (1888—1890) // Русская литература. — 2004. — № 1. — С. 111.

⁴ Оттепель. — С. 79.

⁵ Там же. — С. 80.

ден, Льюис, Брэм¹. Но это все плохо отразилось на молодых умах эпохи нигилизма.

Из русских писателей читали Н.Г. Помяловского, Ф.М. Решетникова, Н.А. Некрасова, И.С. Тургенева; меньше — А.Ф. Писемского, М.Ю. Лермонтова, еще меньше — Льва Толстого и А.С. Пушкина.

Как рассказывал С.Ф. Шарапов, нередко было, когда воспитатель собирал учеников в кружок и прочитывал с посторонними толкованиями «Что делать?» Чернышевского и «Азбуку социальных наук» Берви-Флеровского. Книги были «удивительно толстые и скучные», но даже ими был «зажжен огонек развития, и маленькие умы были приготовлены и к пытливости, и к работе»².

В старших классах гимназисты художественную литературу, беллетристику практически уже не читали, но зато «упивались» Н.А. Добролюбовым, Д.И. Писаревым и Н.Г. Чернышевским.

Окончив в 1872 г. с отличием военную гимназию, Сергей Шарапов поступил в Николаевское инженерное училище в С.-Петербурге³, которое тогда было и подготовительным заведением для поступления в Инженерную академию преуспевающих в науках юнкеров, а также готовило офицеров на службу в строевую часть инженерного ведомства, в саперные, железнодорожные и понтонные батальоны или в минные, телеграфные и крепостные саперные роты⁴. Располагалось Инженерное училище в павильоне Михайловского замка и имело организацию роты с трехклассным курсом.

Это было образцовое учебное заведение, в свое время его закончили будущий святитель Игнатий (Брянчанинов),

¹ Мой дневник // Сочинения Сергея Шарапова. — Т. I. — Вып. 1. — М., 1900. — С. 31.

² Там же.

³ С 1864 г. сюда без экзамена принимались лучшие выпускники военных гимназий, потомственные дворяне, но учились, конечно, не только они.

⁴ Максимовский М. Исторический очерк главного инженерного училища 1819—1869. СПб., 1869; Памятка для юнкеров Николаевского инженерного училища, 1910.

Ф.М. Достоевский, многие другие знаменитые военные, ученые и т. д. Юнкера в 1870–1880-е гг. при производстве в офицеры делились на 2 разряда: 1-й выпускался в подпоручики в полевые инженерные войска, а 2-й — в армейскую пехоту. В офицеры выпускались и со 2-го, и с 3-го курса.

Но духовная и интеллектуальная обстановка в то время в высшей школе, в том числе и в военной, была достаточно двусмысленной. Прежде всего юнкера очень прилежно занимались естественными науками, но в то же время: «трудно поверить, с каким прилежанием одолевали люди дубовый “Капитал” Маркса, да еще по-немецки»¹. За Марксом «следовали» Лассаль, Огюст Конт, зачитывались Миллем и Спенсером и другими авторами, сочинения и идеи которых считали венцом прогресса.

В результате такого чтения и воспитания, писал С.Ф. Шарапов, «при переходе в высшие школы мы (дворяне. — А.К.) были сплошь материалистами по верованиям (мы “верили” в атомы и во все, что хотите) и величайшими идеалистами по характеру. “Наука” была нашею религией, и если бы было можно петь ей молебны и ставить свечи, мы бы их ставили; если бы нужно было идти за нее на муки, мы бы шли... Религия “старая”, “попы” были предметом самой горячей ненависти именно потому, что мы были религиозны до фанатизма, но по другой, по новой вере. “Батюшка” читал свои уроки сквозь сон, словно сам понимал, что это одна формальность, и на экзамене всем ставил 12. Но нравственно мы все же были крепки и высоки. Чернышевский и Писарев тоже ведь учили “добродетели” и проповедовали “доблесть”. Этой доблести, особой, юной, высокой и беспредметной доблести, был запас огромный. Мы были готовы умирать за понятия, точнее, за слова, смысл которых для нас был темен»². Дело доходило до того, что юнкер Сергей Шарапов был в тайной типографии и даже пробовал набирать³.

¹ Мой дневник // Сочинения Сергея Шарапова. — Т. I. — Вып. 1. — М., 1900. — С. 32.

² Там же.

³ Эфрон С.К. Воспоминания о С.Ф. Шарапове // Исторический вестник. — 1916. — № 2. — С. 507—508.

После этого «вера была совсем подорвана»¹, но это не исключало применимость к тогдашнему поколению молодых дворян пушкинского утверждения: «...пока сердца для чести живы». Сергей Шарапов и его товарищи в училище видели бывавшего у них Императора Александра II: «благородная, светлая личность Государя действовала невообразимо», и они, «революционеры, нигилисты и ненавистники монархии, в эти минуты перерождались и от всей души кричали “ура”»².

Политиканство дворянской молодежи, ровесников С.Ф. Шарапова, было по его же словам «чистейшим идеализмом», и в жизнь это поколение вышло «в хорошем сравнительно составе» и впоследствии работало добросовестно.

Из-за болезни матери Сергей Шарапов не закончил полного трехлетнего курса, в 1874 г. уволился из Инженерного училища в чине подпоручика, получив специальность сапера (по его словам, он твердо знал то, что «должен знать хороший саперный офицер»³) и прибыл в Сосновку. Отца — «человека крепчайшего здоровья» — к тому времени уже не стало, он умер в возрасте пятидесяти лет. Однако пробыл в родном доме Сергей Федорович недолго.

В августе 1875 г. по настоянию двоюродного брата, З.А. Путьты, С.Ф. Шарапов поступает чиновником в канцелярию варшавского губернатора⁴. Живя в почтенном польском семействе, он имел возможность «узнать и сердечно полюбить *настоящих* поляков»⁵. С этого времени начинается его «полонофильство», которое вызывало немало критики в адрес Сергея Федоровича в последующие десятилетия его публицистической и общественной деятельности. Узнав о восстании в Герцеговине, С.Ф. Шарапов «бесповоротно» принял «безумное решение — ехать в Герцеговину, сражаться за славянское дело»⁶.

¹ Переписка К.Н. Леонтьева и С.Ф. Шарапова (1888—1890). — С. 111.

² Мой дневник // Сочинения Сергея Шарапова. — Т. I. — Вып. 1. — С. 32.

³ Там же. — С. 41.

⁴ Там же. — С. 40.

⁵ Там же. — С. 42.

⁶ Там же. — С. 41.

Осенью 1875 г. он («вторым по времени русским добровольцем»), «без паспорта, бросив казенное место», нелегально перейдя границу, отправляется на Балканский полуостров¹, где как сапер участвует в организации первого восстания в Боснии и руководит военными действиями. Здесь С.Ф. Шарапов, по собственному признанию в письме к И.С. Аксакову, бродя у моря, взбираясь на совершенно дикие вершины, «испытал единственное в своем роде чувство — сознание полной независимости, первобытной свободы без законов, правительств и т. п.»². Его письма с театра боснийского восстания печатались в «С.-Петербургских ведомостях» и «Русском мире». Под разными именами он неоднократно появляется в Хорватии, где по доносу в Загребе 1 мая 1876 г. был захвачен венгерскими властями, «интернирован», т. е. препровожден на место жительства в г. Ясберень, а затем в г. Кечкемет «под присмотром полиции». Венгерские власти предполагали, что это российский шпион.

Во время пребывания под стражей в Ясберене Сергей Федорович «напал на забытую библиотеку», в течение 8 месяцев «прочел от доски до доски» 70-томное парижское издание сочинений Вольтера³ и значительно улучшил знание французского языка. Как писал С.Ф. Шарапов: «Мне было тогда 20 лет, и я, несмотря на всю добролюбовщину и писаревщину, которую прошел, чувствовал в душе живой русский инстинкт. Какой-то внутренний юмор заставлял меня смеяться над нашими нигилистами, тот же юмор спас меня от бессмысленного вольтерианства — я не увлекся им и во многих случаях получалось от чтения гадливое чувство, но “*Histoire du Christianisme*” произвела на меня невольно ужасное впечатление, именно неведомой мне дотоле глубиной и шириной

¹ Эфрон С. К. Воспоминания о С.Ф. Шарапове // Исторический вестник. — 1916. — № 2. — С. 506.

² Переписка И.С. Аксакова и С.Ф. Шарапова (1883—1886) // Русская литература. — 2005. — № 1. — С. 161.

³ Там же. — С. 163.

взгляда. Вера была совсем подорвана, и только в деревне около народа я опять вылечился»¹.

В июне 1876 г. Сербия (требовавшая от Османской империи передачи Боснии и Герцеговины под свое управление) и Черногория начинают военные действия. Благодаря ультиматуму России, предъявленному турецкому правительству в октябре 1876 г., между воюющими сторонами было заключено перемирие, а в феврале 1877 г. Сербия заключила с Османской империей мир на условиях довоенного положения.

В мае 1877 г. венгерскими властями С.Ф. Шарапов был отпущен на свободу в Италию, где бывший пленник оказался без документов, без знакомых и средств к существованию. Не помогло ни изучение итальянского языка (за месяц Сергей Федорович «прошел» весь «Ад» Данте), ни письма по редакциям С.-Петербурга и Москвы, просьбы к друзьям в Венгрию. Находясь в отчаянном положении, «давно разорвав всякую связь с Богом по случаю либеральных теорий», позабыв, «когда в последний раз молился», поневоле соблюдая пост, на Страстной седмице он бросается на колени «пред плохонькой статуей Мадонны» со слезной молитвой о спасении². Неожиданно он получает предложение от издателя А.С. Суворина стать корреспондентом в Константинополе первой по настоящему информационной газеты «Новое время»³ и денежный перевод.

Так, чудесные события накануне православной Пасхи в католической Италии круто изменили жизнь подпоручика-сапера: он становится журналистом. Наставляя нового корреспондента, А.С. Суворин просил, по сути дела, немногого: «чтобы было интересно и легко читалось».

Из Италии С.Ф. Шарапов отправляется в Грецию, затем в Константинополь. Побывал он и в Вене, Берлине, а впослед-

¹ Там же.

² Эфрон С. К. Воспоминания о С.Ф. Шарапове // Исторический вестник. — 1916. — № 2. — С. 510.

³ Газета «Новое время», издателем которой А.С. Суворин стал в 1876 г., сразу получила огромный успех как наиболее яркая выразительница русских симпатий к болгарскому восстанию 1876 г.

ствии стал еще и парижским корреспондентом газеты «Новое время», с которой систематически сотрудничал до 1881 г. В Париже он выступил на литературном конгрессе с речью о правах женщин, которая имела шумный успех и была опубликована в виде брошюры на французском языке. На этом же конгрессе он произнес речь с возражением Виктору Гюго. В Париже он прослушал курс земледельческой химии и успел поработать в лаборатории Вилля, исполняя обязанности лаборанта ¹.

Работа специальным корреспондентом популярнейшей русской газеты, где не ставили строгих рамок для выражения личного взгляда, позволяла С.Ф. Шарапову много увидеть, осмыслить, вырабатывая собственный стиль изложения.

Осенью 1878 г. С.Ф. Шарапов возвращается в Россию, выходит в отставку и поселяется в разоренной Сосновке, где даже нечем было пахать («десять лет опекунского грабежа»). В кратчайшее время он возобновляет старую кузницу, изобретает и сам изготавливает собственный одноконный плуг, испытывает его, распахивает «облоги» и уже 5 ноября 1878 г. основывает мастерскую по изготовлению плугов².

При этом он внимательно изучает опыт грамотного хозяйствования на земле, особенно А.Н. Энгельгардта, который в своем смоленском имении Батищево успешно хозяйствовал с 1871 г., а со следующего года начал публиковать в «Отечественных записках» свои знаменитые «Письма из деревни» и разрабатывал со второй половины 1870-х гг. идею «интеллигентной деревни» (когда городская молодежь направляется в деревню и становится фермерами).

Несмотря на то, что деятельность С.Ф. Шарапова отчасти являлась подтверждением этой идеи (а он поддерживал некоторые полезные начинания А.Н. Энгельгардта), Сергей Федорович имел и свои собственные взгляды: в деревне и своего народа хватает, даже в избытке, нужно укреплять общину, необходимо создавать кооперативы во главе с умелым помещиком, осу-

¹ Переписка К.Н. Леонтьева и С.Ф. Шарапова (1888—1890). — С. 111.

² 20-летний юбилей Сосновской мастерской. 5 ноября 1878 — 5 ноября 1898 г. // Русский труд. — 1898. — № 45.

ществлять интенсивное землепользование, самим грамотно вести хозяйство в соответствии с природными условиями, применением удобрений, правильным севооборотом и т. д.

Практические результаты деятельности молодого хозяина стали очевидны уже в самое ближайшее время. В 1880 г. Смоленское губернское земское собрание предложило С.Ф. Шарапову расширить работы по совершенствованию конных плугов. Он начинает участвовать в сельскохозяйственных выставках, где выставляет продукцию собственного изобретения. Уже в 1882 г. министр государственных имуществ М.Н. Островский (родной брат знаменитого драматурга А.Н. Островского) «желает видеть плуги». С тех пор Сергея Федоровича Сосновка уже никогда не отпускала надолго.

С.Ф. Шарапов активно сотрудничает с журналом «Земля», «Новым временем», газетой «Смоленский вестник». На страницах этого, выходившего трижды в неделю и достаточно популярного издания освещался самый широкий спектр общественных вопросов, публиковались известные авторы, в т. ч. А.Н. Энгельгардт.

В «Смоленском вестнике» в 1880 г. С.Ф. Шарапов начал вести отдел «Текущая литература», где под псевдонимом «Один из публики» помещал литературно-критические статьи, в которых давал обзор литературных новинок (преимущественно журнальных публикаций). Уже здесь становится заметным его собственный стиль с обширным цитированием и последующими комментариями, стремлением к простому и в то же время несколько эмоциональному изложению мыслей.

Первые успехи на поприще практической деятельности в сельском хозяйстве и мастерской по изготовлению плугов, занятия литературной критикой, публицистикой, ораторский талант, стремление к разнообразной деятельности подвигают С.Ф. Шарапова поделиться опытом в виде лекций¹.

Такие лекции пользовались успехом не только в провинции, но и в Москве. С.Ф. Шарапов знакомится с И.С. Аксаковым,

¹ Один из отчетов о лекции С.Ф. Шарапова 1880 г. был помещен во влиятельной тогда газете «Голос».

становится его преданным учеником, начинает сотрудничать (под псевдонимом «Талицкий») с ним в его только что открытой еженедельной газете «Русь». Вот что писал Сергей Федорович И.С. Аксакову в марте 1885 г.: «Теперь, кажется, я начал понимать, в чем была Ваша сила надо мной — а ведь Вы в самом деле все создали во мне. Я был, поступая к Вам, вполне легкомысленным субъектом без всяких убеждений, без всякой веры!»¹

Близко сходится С.Ф. Шарапов и с Н.П. Гиляровым-Платоновым, которого считал гениальным мыслителем. Спустя десятилетие он вспоминал об этом времени так: «Я имел счастье (или несчастье, смотря по взгляду) смолоду попасть в живое духовное общение с такими исключительно духовного мира людьми, как покойные И.С. Аксаков, Н.П. Гиляров-Платонов, И.Н. Павлов, К.Н. Леонтьев и другие. Изломанный духовно безобразным воспитанием 60-х и начала 70-х годов и лишь немного излеченный деревней, я не мог не прилепиться к этому миру с его высоким и светлым строем и мировоззрением, с его убеждениями, если не у всех тождественными, то у всех искренними, глубокими и несокрушимыми, с его верой, способной двигать горами...»²

Но С.Ф. Шарапов не только стал единственным постоянным сотрудником в газете «Русь» (писал главным образом по сельскому хозяйству, экономике), но и активно читал лекции в самых разных местах России. Накопленный материал был столь велик, что уже с 1881 г. одна за другой стали выходить его книги и брошюры³.

С лета 1883 г. С.Ф. Шарапов живет в своем имении, которое он очень любил (по прежнему публикуясь в «Руси» и издавая книги). Как писал он И.С. Аксакову в марте 1885 г.: «Поеду в деревню с книгами и опять стану вплоть до Ваше-

¹ Переписка И.С. Аксакова и С.Ф. Шарапова (1883—1886). — С. 157.

² Шарапов С. Вместо предисловия // Шарапов С. Соч. В 3 кн. — СПб., 1892. Кн. 1. — С. VI.

³ Шарапов С.Ф. Путешествие по русским хозяйствам. — М., 1881; Шарапов С.Ф. Министерство земледелия и его задачи в России. — М., 1882; Шарапов С.Ф. Будущность крестьянского хозяйства (Критико-экономическая монография). Ч. I. — М., 1882.

го возвращения в сентябре плуги строить. Если бы Вы знали, какая глубокая поэзия в этом деле. Приходит мужик, долго, долго смотрит на плуг, переворачивает и ощупывает его, затем уносит. В этом плуге есть кусочек моей души <...>

Буду опять сам пахать — в этом тоже громадное наслаждение»¹.

Еще в 1882 г. С.Ф. Шарапов начинает постройку «настоящей» мастерской и уже в следующем году получает высшие награды на выставках в Курске, Ржеве, Тамбове, а в 1884 г. — в Костроме, где превзошел плуги самых известных британских фирм². Он активно занимается конструкторскими работами и создает около тридцати типов плугов. Здесь, в деревне, С.Ф. Шарапов «опять вылечился», «увидал в Православии высшую красоту и начал его любить, но увы!, скорее как философию систему, чем как религию»³.

Под влиянием И.С. Аксакова он все более проникается его «русским чувством» и принимается за серьезное систематическое изучение трудов А.С. Хомякова, К.С. Аксакова, Ю.Ф. Самарина.

В то же время, желая получить большую самостоятельность, С.Ф. Шарапов в 1885 г. начинает сотрудничать в качестве помощника редактора новой газеты «Голос Москвы» (став автором передовых и редакционных статей, здесь же писал и на внешнеполитические темы), но продолжает публиковаться в «Руси», «Промышленном мире» и других газетах и журналах (под разными псевдонимами), на основе которых появляются и отдельные издания⁴.

Зная польский язык и говоря по-польски без акцента, в июне-июле 1885 г. Сергей Федорович был направлен группой купцов в польские Лодзинский и Сосновицкий округа с целью

¹ Переписка И.С. Аксакова и С.Ф. Шарапова (1883—1886). — С. 162.

² 20-летний юбилей Сосновской мастерской // Русский труд. — 1898. — № 45. — С. 2—3.

³ Переписка И.С. Аксакова и С.Ф. Шарапова (1883—1886). — С. 163.

⁴ Шарапов С.Ф. Сообщение о плугах, изготавливаемых в основанной им Сосновской мануфактуре. — М., 1885.

сбора статистических сведений, свидетельствующих о непомерном росте здесь иностранной промышленности¹. Видя в «солдатстве» «чуждую поэзию», С.Ф. Шарапов вновь «до поры до времени» решается стать «солдатом» И.С. Аксакова, ибо верил ему, сознательно «вжился» в его «мысли и воспринял их»². Он вновь возглавляет экономическое направление газеты. С августа 1885 г. статьи Талицкого (С.Ф. Шарапова) по экономическим вопросам все чаще стали появляться в «Руси», которые со временем позволили составить книгу «Деревенские мысли о нашем государственном хозяйстве»³.

Однако 27 января 1886 г. И.С. Аксакова не стало — «угас яркий центр, средоточие подлинной русской мысли»⁴. С.Ф. Шарапов готов был думать, что «с Аксаковым умерла вся духовная Русь, что дальше пустота, небытие»⁵.

Не без основания считая себя наследником дела славянофилов вообще и И.С. Аксакова в частности, С.Ф. Шарапов хотел продолжать издание «Руси». Не получив разрешения, он создает новую еженедельную газету «Русское дело». Свое направление Сергей Федорович считал ни либеральным («разрушительным»), ни консервативным (охранительным), а «зиждательным»⁶. Задачу нового издания он видел в том, чтобы «расчищать весь тот хлам», наваленный на «фундаменте», который для него были «царь, народ, русское начало (культурное)». В отличие от аксаковского издания, где, по его мнению, преобладала «духовная сторона», себя он видел прежде всего практиком: «по каждому вопросу» он предполагал давать «точно сформулированный *выход*, что именно нужно»⁷.

¹ Русь. — 1885. — 31 августа (№ 39).

² Переписка И.С. Аксакова и С.Ф. Шарапова (1883—1886). — С. 163, 157.

³ Шарапов С.Ф. (Талицкий). Деревенские мысли о нашем государственном хозяйстве. Примеч. И.С. Аксакова. — М., 1886.

⁴ Переписка И.С. Аксакова и С.Ф. Шарапова (1883—1886). — С. 151.

⁵ Там же.

⁶ Там же. — С. 153.

⁷ Там же.

Однако уже в декабре того же года «Русское дело» было приостановлено на 3 месяца. Чтобы не устарели лучшие приготовленные статьи, С.Ф. Шарапов решает издать их в «Московском сборнике» 1887 г. Кроме этого, он готовит и впоследствии издает «Деревенский календарь»¹.

В 1887 г. внезапно скончался Н.П. Гиляров-Платонов, учеником которого («до некоторой степени... хотя бы и самым младшим») считал себя С.Ф. Шарапов. В связи с этим он ощутил на себе особую ответственность. По свидетельству С.К. Эфрона, он работал тогда «как вол»: и как редактор журнала, и как секретарь московского биржевого комитета, и как публицист, и как хозяин.

В июне 1887 г. «Русское дело» за статью о Закаспийской дороге вновь приостанавливают на три месяца, а уже в августе С.Ф. Шарапов направляется в Румынию, где за свой плуг получает золотую медаль на международной выставке² и вновь возвращается к работе в газете.

В «Русском деле» стали появляться имена молодых одаренных публицистов, «молодых друзей» К.Н. Леонтьева — Н.А. Уманова, Л.А. Денисова, А.А. Александрова, И.И. Фуделя. Благодаря им в 1888 г. начинается переписка С.Ф. Шарапова и К.Н. Леонтьева, статьи последнего появляются в «Русском деле».

Можно полагать, под косвенным влиянием К.Н. Леонтьева («встряски», вызванной его письмом к Н.А. Уманову), в Великий пост 1888 г. Сергей Федорович исповедался и причастился после 15-летнего перерыва³, т. е. еще с того времени, когда он был юнкером Михайловского училища. Со времени голодного вынужденного итальянского пребывания С.Ф. Шарапов не постился даже на Страстной неделе.

Отгюев и причастившись, Сергей Федорович о своих чувствах в тот же день написал К.Н. Леонтьеву, который был

¹ Шарапов С.Ф. Деревенский календарь. — М., 1887.

² 20-летний юбилей Сосновской мастерской // Русский труд. — 1898. — № 45. — С. 5.

³ Переписка К.Н. Леонтьева и С.Ф. Шарапова (1888—1890). — С. 128, 117—118.

убежден, что «лично — нужно приступать к жизни: «со *страхом Божиим и верой!*» — А не с благосклонностью к «*национальной религии*»...¹ В июле 1889 г. С.Ф. Шарапов в течение 10 дней был на Афоне, в том числе в Пантелеимоновском монастыре², после чего он убедился, что «Афон надо не видеть, а *пережить*, а я не успел»³.

К.Н. Леонтьев считал, что влияние «туманного идеализма» И.С. Аксакова на «практического» С.Ф. Шарапова в определенных смыслах остается вредным из-за любви последнего к своему учителю и «партийных соображений»⁴.

С.Ф. Шарапов выступал «за самодержавие в государственной жизни (в общем) и за самоуправление в местной жизни»⁵ и тем самым расходился с К.Н. Леонтьевым; резко (более «горячо», чем «благоразумно») выступал против сословных реформ Д.А. Толстого, которые в его глазах были «антирусским и антиисторическим» течением⁶.

Многовековой идеал гражданского и политического устройства русского народа С.Ф. Шарапов видел (а он был уверен, что так разумели дело и славянофилы) в свободном союзе трех «полных хозяев»: частного лица, земщины и государя-самодержца при непосягательстве их на права друг друга⁷.

Но с введения земских учреждений жизнь пошла «вкривь и вкось» как по причине несовершенств Земского Положения, так и вследствие антагонизма между земством и бюрократией. Вот последнюю и критиковал С.Ф. Шарапов постоянно и жестко.

В феврале 1889 г. за критику проекта земских начальников и нового земского положения «Русское дело» получи-

¹ Переписка К.Н. Леонтьева и С.Ф. Шарапова (1888—1890). — С. 124.

² *Шарапов С.* Десять дней на Афоне // *Сын Отечества*. — 1890. — 21 июля — 8 сентября.

³ Переписка К.Н. Леонтьева и С.Ф. Шарапова (1888—1890). — С. 136.

⁴ Там же. — С. 125.

⁵ Там же. — С. 128—129.

⁶ *Благовест*. — 1890. — Вып. 4. — 1 окт. — С. 113.

⁷ *Шарапов С.Ф.* Самодержавие и самоуправление // *Русское дело*. — 1888. — № 49.

ло третье предостережение и газета была закрыта на полгода. С.Ф. Шарапов попытался возобновить ее в 1890-м, однако одиннадцатый номер был запрещен. Следующий (последний) номер вышел в августе, но из-за финансовых затруднений выпуск газеты был прекращен, а издатель отправился в Сосновку, где с особым энтузиазмом вновь берется за дела мастерской, взяв кредит в банке.

Одновременно Сергей Федорович находит возможность в журнале «Благовест» подвести итоги своей борьбы с новым земским положением (установленным 12 июня 1890 г., дополнившим закон от 12 июля 1889 г. о земских начальниках, по которому они назначались министром внутренних дел и им подчинялось все местное управление): «Земская реформа и земские начальники — последнее слово того направления, которое открыто Петром, продолжено Екатериною и Александром I, развито и упорядочено Николаем, несколько поколеблено Александром II и окончательно завершено в наши дни. Девиз этого направления: все в государстве, чрез государство и ради государства»¹.

С.Ф. Шарапов испытывал не только цензурные запреты, но из-за многочисленных передвижений, расходов ощущал постоянный недостаток средств. Поэтому после «Русского дела» он продолжает публиковаться в ежедневной газете «Минута» (которая вскоре была преобразована в «Русскую жизнь»), «Славянских известиях» (с 1889 г. они назывались «Известия Санкт-Петербургского Славянского благотворительного общества»), журнале «Благовест», газете «Свет». В «Гражданине» под псевдонимом «Н. Гвоздев» он публикует 14 писем, которые впоследствии составили отдельную книгу.

Кроме этого, по совету К.Н. Леонтьева («поступить на службу — *Государству*»²), С.Ф. Шарапов в июле 1890 г. начинает служить в Государственном контроле под началом Т.И. Филиппова и перебирается в С.-Петербург. К тому времени Третий Иванович Филиппов принял на службу под свое

¹ Благовест. — 1890. — Вып. 5. — 15 окт. — С. 147.

² Переписка К.Н. Леонтьева и С.Ф. Шарапова (1888—1890). — С. 143.

начало немало консервативных публицистов, тем самым помогая им материально, ибо журналистская деятельность не могла их прокормить.

Еще с конца 1870-х гг. С.Ф. Шарапов вынужден был внимательно изучать финансовое положение не только своего хозяйства, но и страны, мира в целом. При этом он все более убеждался в том, что политика российских властей не всегда отвечала интересам коренного работника. С целью повлиять на принятие правильных решений в финансовой сфере он с апреля 1891 г. поступил в Министерство финансов (при министре И.А. Вышнеградском), где работал в нескольких важных комиссиях. Участвовал он и в реформировании Государственного банка (управляющим которого был замечательный экономист Ю.Г. Жуковский), где наиболее компетентные специалисты в области денежного обращения тогда трудились над «величайшей» задачей: централизовать все кредитное дело в руках государства, установить идеальное экономическое кровообращение¹.

С.Ф. Шарапов выступал за разумное использование внутренних ресурсов, за увеличение оборотных средств путем жесткого контроля за бумажными деньгами, за осторожное отношение к внешним займам, ибо это грозило тяжелейшей зависимостью от иностранного капитала.

Однако из-за разногласия с новым (с 1892 г.) министром С.Ю. Витте и его сторонниками Сергей Федорович вынужден был покинуть министерство финансов.

Немало времени он проводил в длительных поездках. В сентябре «голодного» 1891 г. С.Ф. Шарапов отправляется в качестве корреспондента «Нового времени» на Волгу, затем в южные губернии. Эти «путевые письма» — «С Волги», «Из Черноземной полосы» — после поездок следующего года пополнили серию «По русским хозяйствам», которая составила книгу², а

¹ *Шарапов С. Ухабы* // Сочинения Сергея Шарапова. Вып. 16. (Т. VI). — М., 1902. — С. 64.

² *Шарапов С.Ф. По русским хозяйствам. Путевые письма из летней поездки 1892 года в газету «Новое время», дополненные и пересмотренные.* — М., 1893.

затем была переработана и дополнена¹. С.Ф. Шарапов публикует в периодической печати множество самых различных статей и материалов, которые также становятся основой его отдельных книг и брошюр². Издает он и два тома своих сочинений³.

Сергей Федорович пробует себя и как писатель. Публикация его романа «Чего не делать?» была прервана на 13-й главе⁴. К.Н. Леонтьев, прочитав эту «повесть», советовал покинуть область чистого искусства и с «несомненным большим умом», имея «несомненные дарования», оставаться публицистом, «прямо и честно служа реакции» на страницах «Русского вестника», «Русского обозрения» и даже «Гражданина»⁵.

Что касается последнего предложения, то его С.Ф. Шарапов выполнил весьма своеобразно. В 1894 г. С.Ф. Шарапов женился «венчанным браком»⁶ и в этом же году опубликовал (первоначально еще раньше в «Русском обозрении») отдельным изданием роман «Кружным путем», куда вошел переработанный ранний роман «Чего не делать?»⁷. В новом произведении его герои «кружным путем» приходят к христианской правде о человеке. Во многом здесь отразились и собственные искания автора.

С августа 1894 г. С.Ф. Шарапов переходит на службу в Министерство государственных имуществ (преобразованного затем в Министерство земледелия и государственных имуществ), что было особенно ему по душе. С начала сентября

¹ *Шарапов С.Ф.* По русским хозяйствам (45 путевых писем в «Новое время», переработ. и доп.). — М., 1894.

² *Шарапов С.Ф.* А.Н. Энгельгардт и его значение для русской культуры и науки. — СПб., 1893; *Шарапов С.Ф.* Франция и славянство. — СПб., 1894; *Шарапов С.Ф.* По садам и огородам. — СПб., 1895; *Шарапов С.Ф.* Пособие молодым хозяевам при устройстве их хозяйств на новых началах. — СПб., 1895.

³ *Шарапов Сергей.* Сочинения. Кн. 1. — СПб., 1891; Кн. 2. — СПб., 1892.

⁴ *Шарапов Сергей.* Чего не делать? // Русское дело. — 1890. — №1—12.

⁵ Переписка К.Н. Леонтьева и С.Ф. Шарапова (1888—1890). — С. 142—143.

⁶ Переписка В.В. Розанова и С.Ф. Шарапова (1893—1910) // Русская литература. — 2008. — № 4. — С. 120.

⁷ *Шарапов С.Ф.* Кружным путем. Роман в 5-ти частях. — М., 1894 (3-е изд. М., 1901).

того же года в составе экспедиции министра А.С. Ермолова он проехал от Новороссийска до Батума и далее — до Тифлиса. Очерки наблюдательного путешественника, написанные под впечатлением от этой поездки по «важнейшей южной окраине» России, были собраны им в книгу «По Черноморскому побережью» (СПб., 1896).

Этот край немало удивил даже опытного путешественника, которого интересовало как экономическое положение населения Черноморского побережья, так и его быт, нравы, климат, ландшафт, промышленность, состояние сельского хозяйства, освоение новых земель, образцовые имения на них, строительство, архитектура, садоводство, виноградники и качество вин, торговля, курортное дело, отношение местного населения к администрации, самоуправление, школы, дороги, больницы, церкви...

Особенный интерес представляет история, описание знаменитого Новоафонского Симоно-Кананитского монастыря (недалеко от Сухума), духовные и физические труды насельников (монахи-инженеры, огромная монастырская паека и т. д.).

В 1895 г. среди нескольких значительных книг С.Ф. Шарапова, уже упоминаемых нами, особенно выделяется его один из наиболее известных политэкономических трудов о «бумажном рубле»¹, который первоначально был издан двумя годами ранее в виде статьи «Основы русской денежной системы» в журнале «Русское обозрение».

В тогдашнем «обществе», в «негласных комитетах», в научных кругах с начала 1880-х гг. шли споры о задачах и путях осуществления денежной реформы, о целесообразности перехода России на золотомонетное обращение. Экономисты разделились на две основные группы: сторонников перехода к золотой валюте (А.Н. Миклашевский, А.Е. Рейнбот и др.) и противников (С.Ф. Шарапов и немногочисленные его едино-

¹ *Шарапов С.Ф.* Бумажный рубль: Его теория и практика. Исследование о научных законах бумаго-денежного обращения в самодержавном государстве. — СПб., 1895.

мышленники — Г.В. Бутми, П.В. Оль, А.А. Стахович)¹. Среди аргументов за введение золотой валюты приводились сведения о перепроизводстве серебра, которое вследствие этого якобы потеряло свою ценность и не могло больше служить основой российского рубля. Уже тогда С.Ф. Шарапов совместно со своим молодым коллегой, талантливym экономистом П.В. Олем убедительно показал несостоятельность такой точки зрения².

С.Ф. Шарапов и его сторонники в течение многих лет говорили о необходимости сохранения бумажно-денежного обращения потому, что введение в обращение золотой валюты приведет, по их мнению, к обогащению небольшой группы людей, обеднению основных слоев населения, упадку сельского хозяйства (вследствие уменьшения оборотного капитала и т. д.). Но основательных, собственно научных трудов у последователей концепции бумажно-денежного обращения к тому времени еще не было.

Именно эту задачу и решал С.Ф. Шарапов в «Бумажном рубле», но видел ее еще более фундаментальной. По его словам, вопрос о бумажных деньгах является средоточием всей экономической науки, и он предпринял первую попытку «связать славянофильское учение с данными экономической науки, осветить, с одной стороны, экономические явления с точки зрения свободы человеческого духа, с другой — найти реальную опору славянофильским нравственным и политическим воззрениям»³.

Автор надеялся на то, что его труд имеет значение «в целом составе славянофильского мировоззрения», так как считал крайне необходимой наличие ясной и здоровой, незаимствованной финансовой теории, построенной на тех же началах, на которых зиждется и российская государственность.

¹ См. подробнее: *Базулин Ю.В.* Теория «абсолютных денег» С.Ф. Шарапова // Вестник Санкт-Петербургского университета. — 2005. — Т. 5. — № 1; *Базулин Ю.В.* Двойственная природа денег: русская экономическая мысль на рубеже XIX—XX веков. — СПб., 2005.

² См. по этой теме: совместную работу С.Ф. Шарапова и П.В. Оля «Мнимое перепроизводство серебра» (СПб., 1889).

³ *Шарапов С.Ф.* Бумажный рубль: Его теория и практика. — СПб., 1895. — С. III.

Одним из исходных положений С.Ф. Шарапова была убежденность в коренном отличие России от Запада, где идея «пользы» стала самодовлеющей силой, ничего не знающей выше себя. Для России автор видел ее лишь как *«служебное начало»* другому, высшему нравственному и бессмертному началу. Эта перестановка понятий приводит к тому, что «рабы Ротшильда» обращаются в «рабов Господних», а денежная форма становится по существу нравственной, где господствуют любовь и доверие.

Кроме этого, он предпринял попытку, с одной стороны, показать «печальные последствия» металлического обращения, с другой — выработать «русскую теорию русских взглядов на понимание смысла и значения абсолютных знаков самодержавного государства» (государство обязано выпускать только необходимое количество бумажных рублей, представляющих некую постоянную меру ценностей).

Некоторые современные экономисты убедительно свидетельствуют, что денежное обращение в XX—XXI вв. подтверждает верность теоретических положений С.Ф. Шарапова: «Остается только удивляться финансовому чутью Сергея Федоровича Шарапова, который... сумел найти механизм “создания” стабильных денег в неограниченном количестве»¹.

Однако министр финансов С.Ю. Витте в феврале 1895 г. принял решение ввести золотой (английский) стандарт, а не золото-серебряный, принятый во Франции. Законом от 8 мая 1895 г. было разрешено заключать сделки на золото, тогда же всем конторам и отделениям Государственного банка было предоставлено право покупать золотую монету, а в июне 1895 г. был разрешен прием золотой монеты на текущий счет (этому примеру последовали частные петербургские банки).

С.Ф. Шарапов оценил переход на золотой рубль как несомненную победу биржевиков и представителей паразитического банковского капитала, он критиковал реформы Витте как очередное наступление на интересы коренной России. Поэтому С.Ф. Шарапов сразу начал разработку (совместно с

¹ Базулин Ю.В. Двойственная природа денег... — С. 23.

П.В. Олем) программы развития России, основанной на отмене золотой валюты¹. Одной из предлагаемых мер было восстановление валюты серебряной.

В 1895—1896 гг. С.Ф. Шарапов становится одним из главных сотрудников ежемесячного литературно-политического журнала в С.-Петербурге — «Русская беседа», одним из издателей которого был Афанасий В. Васильев. Приложением к «Русской беседе» служил ежемесячный журнал «Благовест», где так же публиковался С.Ф. Шарапов. Но ему хотелось полной самостоятельности.

С 19 января 1897 г. он начинает издавать еженедельную политическую, экономическую и литературную газету «Русский труд», которую издатель рассматривал как «строгое и без малейшего отступления продолжение “Русского дела” и соглашался с названием “центрального органа” славянофильства»². «Русский труд» с первых номеров отличался резкостью тона и уже в первые месяцы подвергся предостережению от властей за статью о православном духовном ведомстве (1897, № 45), а в последующее время еще дважды — за статьи «Два дня в Гельсингфорсе» (1899, № 1) и «Что предстоит исполнить до вселенского собора» (1899, № 5) — с приостановкой на один месяц.

Церковные вопросы постоянно занимали внимание издателя, и он пытался подробно обосновать свою точку зрения, что особенно видно на примере его ответа (1899) на открытое письмо к нему епископа Антония (Храповицкого) по поводу понимания старообрядчества и раскола³.

Особенно последовательно в «Русском труде» критиковалось Министерство финансов и его глава — С.Ю. Витте. Газете было воспрещено печатание частных объявлений (с № 48 за 1897 г.) и розничная продажа (с № 6 за 1898 г.).

Но это не препятствует иным направлениям деятельности С.Ф. Шарапова. Он считал, что «если русская самостоятельная

¹ Как ликвидировать золотую валюту. — СПб., 1899.

² Шарапов Сергей. Сочинения. Кн. третья. — СПб., 1899. — С. 99.

³ Там же.

мысль по вопросу о государственном устройстве нашла себе выражение, то именно у славянофилов», что «только славянофильская мысль единственный продукт нашего собственного национального творчества»¹. Озабоченный тем, что русское общество «совсем незнакомо» с основными идеями славянофилов, а «противники этого учения постарались их исказить и представить в самом превратном виде», он собирает в книгу «самое главное, что думали славянофилы о государстве», где помещает и свою статью «Самодержавие и самоуправление»². Для издателя идеал русского гражданского и политического устройства представляется в таком виде: Царь с его самодержавием, земщина с ее самоуправлением и крестьянин с его свободой и собственностью. И «над всем этим, все обнимая собою, включая и сравнивая в едином трепете о спасении души, единой молитве и единой ответственности перед Богом... — высится Церковь Христова»³. Однако он всячески боролся против бюрократии как не только «первого и самого злейшего врага настоящего, идеального самодержавия», но и гонителя самоуправления.

В 1898—1899 гг. С.Ф. Шарапова довольно серьезно волнуют проблемы религиозного осмысления брака и семьи, он активно участвует в полемике, в том числе с В.В. Розановым⁴, которого очень высоко ценил за его фундаментальный труд «О понимании». Надо заметить, что и В.В. Розанов дал одну из самых высоких оценок С.Ф. Шарапову, хотя направил в его адрес и немало колкостей.

Не оставляли без внимания С.Ф. Шарапова и социал-демократы, безусловно, оценивая негативно его воззрения. Помимо В.И. Ленина (см. его статью «Перлы народнического прожектерства», 1897), одним из критиков аграрных взглядов

¹ Теория государства у славянофилов. Сб. ст. — СПб., 1898. — С. 3.

² Там же. — С. 88—94.

³ Там же. — С. 93.

⁴ *Шарапов С.Ф.* Сущность брака. Обмен мыслями между Н.П. Аксаковым, Мирянином, В.В. Розановым, Рцы (И.Ф. Романовым), прот. Александром У-ским и С.Ф. Шараповым с прил. статьи свящ. М.И. Спасского. — М., 1901.

С.Ф. Шарапова выступил Л. Троцкий, который рассматривал его как «славянофила наших дней, с ног до головы облаченного в заржавленные хомяковско-аксаковские доспехи»¹.

С.Ф. Шарапов постоянно преследуется С.Ю. Витте за смелую, обоснованную и резкую критику финансово-экономической политики правительства, засилья иностранного капитала². Его пытаются подкупить, запугать, затравить. Но он не сдается и в Москве начинает издавать свои новые сочинения³, особенно известными стали выпуски его дневника, которые он называл «метеорологическими»⁴. По словам издателя, «этот странный журнал» вскоре приобрел огромную популярность, его тираж достигал 15 тысяч экземпляров.

Более того, Сергей Федорович выпускает первую часть «фантастического политико-социального» романа «Через полвека», где попытался представить «практический свод славянофильских мечтаний и идеалов», «в невинной форме изложить заветную политическую, церковную и общественную программу славянофильства», «как бы осуществленную» в Российской Империи 1950-х годов⁵.

Главный герой романа был усыплен в 1899 г., пролежав на московском кладбище 51 год и два месяца, он пробуждается в октябре 1951 г. и видит новую жизнь, которую последова-

¹ *Троцкий Л.* С.Ф. Шарапов и немецкие аграрии // Восточное обозрение. — 1901. — 13 октября (№ 225).

² *Шарапов С.Ф.* Иностранные капиталы и наша финансовая политика // *Шарапов Сергей.* Сочинения. Кн. третья. — СПб., 1899. — С. 20—43.

³ *Шарапов С.* Мирные речи. — По-русски. — Старое и новое. Три сборника. 2-е изд. — М., 1901.

⁴ См.: Сочинения С.Ф. Шарапова. Т. 1. Вып. 1—3. Мой дневник. М., 1900; Т. 2. Вып. 4. Сугробы; Вып. 5. Оттепель; Вып. 6. Ледоход. М., 1901; Т. 3. Вып. 7. Борозды; Вып. 8. Посевы; Вып. 9. Сенокос. М., 1901; Т. 4. Вып. 10. Жатва; Вып. 11. Озимь; Вып. 12. Умолот. М., 1901; Т. 5. Вып. 13. Заморозки; Вып. 14. Пороша; Вып. 15. Метели. М., 1901; Т. 6. Вып. 16. Ухабы; Вып. 17. Половодье; Вып. 18. Яровые. М., 1902; Т. 7. Вып. 19. Страда; Вып. 20. Урожай; Вып. 21. Туманы. М., 1902; Т. 8. Через полвека (роман). Вып. 22—24. М., 1902; Т. 9. Вып. 25. Тучи. М., 1904; Вып. 26. Снега. М., 1905; Вып. 27. Ураган. М., 1906.

⁵ *Шарапов С.Ф.* Через полвека. Фантастический политико-социальный роман // *Шарапов С.Ф.* Соч. Т. 8. Вып. 22—24. — М., 1902. — С. 2, 3.

тельно описывает в 20 главах, оканчивая повествованием об обновленной Русской Церкви.

Во второй и третьей частях С.Ф. Шарапов предполагал нарисовать будущую культурную и богатую Русь с общиной и помещиками, «пройти» вопросы народного образования, продовольствия, податный, судебный, сословный, рабочий. Он пытался не *предсказать* что-либо, а лишь хотел показать, «что́ могло бы быть, если бы славянофильские воззрения стали руководящими в обществе и правящих сферах»¹.

Роман издавался осенью 1902 г., когда С.Ф. Шарапов, как якобы «продавшийся» С.Ю. Витте, попал под сильный огонь критики как «левой», «прогрессивной», так и «правой». Резкую полемику вызвал его доклад «Об успехах нашего народного хозяйства за последнее десятилетие». Сергея Федоровича начинают бойкотировать. Закрывается газета «Русский труд» (1902). Его сочинения, расхвалившиеся немалыми (6-тысячными) тиражами, с трудом находят сбыт, другие газеты отказываются от бывшего сотрудничества.

С.Ф. Шарапов пытается объяснить в «Новом времени» (от 16 янв. 1903 г.), но невозможность сказать все до конца не возвратила утраченное доверие у части читателей.

Сергей Федорович опять спасается в своем любимом деле — выпуске плугов и другой сельхозтехники (с 1900 г. мастерская, удостоенная 16 высшими наградами и впоследствии преобразованная в акционерное общество «Пахарь», приступила к изготовлению веялок-сортировок и т. д.). В 1903 г. российское Министерство земледелия и государственных имуществ послало коллекцию плугов общества «Пахарь» на сельскохозяйственную выставку в Аргентину, где они стали настоящим открытием для иностранцев. Шараповские плуги были качественнее и дешевле зарубежных, что признавали не только в России, но и во Франции, Аргентине. Министр земледелия и государственных имуществ А.С. Ермолов (давний знакомый С.Ф. Шарапова) помог

¹ Шарапов С.Ф. Через полвека. — С. 3—4.

устроить показательную пахоту при Государе Императоре, которая прошла с большим успехом¹.

Однако С.Ю. Витте и кадеты не могли допустить развитие дела человеку со «славянофильской физиономией» и русское акционерное общество «Пахарь» было разорено.

В 1904 г. С.Ф. Шарапов начинает издавать в Москве иллюстрированный сельскохозяйственный ежемесячник «Пахарь», который прекратит существование уже через год.

Во время русской революционной смуты начала XX в. и ее преодоления С.Ф. Шарапов проявляет невиданную даже для него активность. Так, на 1905—1909 гг., даже по не совсем точным подсчетам современных исследователей, приходится 137 его различных публикаций. Особенно плодотворными в этом отношении были 1906 г. — 35 публикаций, 1907 г. — 27; 1908 г. — 33.

Но он занимается не только публицистикой и журналистской деятельностью. Так, в 1905 г. Сергей Федорович становится одним из инициаторов (в т. ч. подписал Воззвание, Обращение-призыв), учредителей и руководителей Союза русских людей (СРЛ); вместе с гр. П.С. Шереметьевым и др. входит в состав его Исполнительного совета, участвовал в составлении программы Союза землевладельцев, который образовался в ноябре 1905 г. По свидетельству С. Эфрона, С.Ф. Шарапов со свойственной ему активностью принялся за работу: «устроивал сходки, произносил речи, группировал вокруг себя молодежь, читал публичные лекции, разъезжал... по городам (Москва, Петербург, Орел, Тамбов, Саратов и др. — А.К.), по фабричным центрам и агитировал...»².

1—7 октября 1906 г. С.Ф. Шарапов — делегат Всероссийского съезда Русских Людей в Киеве (Всероссийского съезда людей Земли Русской). Имея собственные воззрения на происходящие события и на пути выхода из кризиса, С.Ф. Шарапов

¹ Шарапов С.Ф. Пахота в высочайшем Его Императорского Величества присутствии. — М., 1904.

² Эфрон С.К. Воспоминания о С.Ф. Шарапове // Исторический вестник. — 1916 — № 3. — С. 743.

предпринимал усилия для создания Русской народной партии. Но, не желая конкурировать на выборах, решил отказаться от этой идеи. Достаточно критически не раз он высказывался и по адресу руководителей монархических организаций.

Он считал даже, что в 1907 г. «Союз русского народа» и другие патриотические организации «еще ничего творческого не дали, никаких программ не выработали», а уже начинают становиться политическими партиями и «втягиваться в парламентскую игру, заведомо недостойную и безнадежную»¹.

Еще резче он критиковал С.Ю. Витте, а после его отставки — П.А. Столыпина, хотя и считал его бóльшим государственным². В «Открытом письме» к последнему (1906), С.Ф. Шарапов обвинял П.А. Столыпина в заимствовании кадетской аграрной программы, критиковал его за неуважение местных сил.

Левые не могли простить С.Ф. Шарапову его активной деятельности в правых организациях. В 1906 г. на него было совершено покушение (ночью по его кабинету были произведены многочисленные выстрелы, и он чудом остался жив, а в соседней комнате спали его дети).

Так как левые продолжали охотиться за Сергеем Федоровичем, он недели две должен был скрываться у игумена Донского монастыря, который предоставил ему монашескую келью. Здесь С.Ф. Шарапов, по собственному признанию С. Эфрону, «в первый раз проштудировал на досуге всю Библию»³. Устроив при содействии близких людей дела в Москве, Сергей Федорович уезжает на продолжительное время в деревню. Здесь он принимает активное участие в делах смоленского земства, посещает собрания, произносит речи, выступает с докладами.

¹ Шарапов Сергей. После победы славянофилов. — С. 328.

² См. об этом: Репников Александр. Последний романтик славянофильства. Сергей Федорович Шарапов (1855—1911) // Воинство святого Георгия. Жизнеописания русских монархистов начала XX века. СПб., 2006. — С. 466.

³ Эфрон С.К. Воспоминания о С.Ф. Шарапове // Исторический вестник. — 1916. — № 3. — С. 744.

Но левые устроили бойкот «Русскому делу», запретив разносчикам и торговцам брать его на реализацию. Газета существовала почти исключительно за счет розничной продажи. За неимением средств С.Ф. Шарапов в 1907 г. вынужден был прекратить ее издание.

Однако в этом году увидел свет его сборник «Россия будущего»¹ и целый ряд других изданий. С.Ф. Шарапов был убежден, что необходимо отделение «дела государева» от «земского». Реально это возможно было осуществить, создав самоуправляющиеся области (двенадцать «коренных русских» и шесть «инородческих»), в которых основной административно-земской единицей должен быть всесословный приход. Именно он (рассматриваемый как совокупность церковной и гражданской организации общества) должен был стать центром местной жизни. Здесь С.Ф. Шарапов продолжал идеи И.С. Аксакова и Ю.Ф. Самарина. Следующим звеном становился уезд, а высшей — область.

По мере затухания российской смуты Сергей Федорович не снижает своей активности: он произносит речи, пишет многочисленные статьи, открытые письма и публикует их в самых разных столичных и провинциальных изданиях, порой противоположной ориентации: в уличном «Русском листке», черносотенном «Вече», кадетском «Московском еженедельнике», в провинциальном «красном» «Смоленском вестнике», отличавшемся тогда «краснотой», харьковском «Южном крае», петербургской «Речи». Но нигде в этих изданиях он не изменил своим взглядам, оставаясь независимым, и только пользовался возможностью высказать свою точку зрения.

Кстати, газеты часто страдали от того, что в них выступал С.Ф. Шарапов. Так, «Вече» «сплошь и рядом» каралось властью за его статьи. По свойству характера, по независимости суждений, по складу ума, по страстности, резкости суждений он не мог быть постоянным сотрудником какого-либо не соб-

¹ *Шарапов С.Ф. Россия будущего* (третье издание «Опыта Русской политической программы»). — М., 1907.

ственного периодического органа, а его статьи в чужих органах печати практически не оплачивались.

Тогда С.Ф. Шарапов решил написать и издать задуманный им политический памфлет «Диктатор», выпустив его отдельной брошюрой под псевдонимом «Лев Семенов»¹. Сочинение неизвестного автора публика приняла с восторгом. Его ждал небывалый успех. Первая часть в течение двух месяцев разошлась тиражом в 75 тысяч экземпляров.

Вслед за этим он издает продолжение «Диктатора»². Российская смута начала XX в. побудила С.Ф. Шарапова внимательно посмотреть на ее отличительные (от Запада) черты. Одной из них, по его мнению, являются социалистические возжеления. Им и посвятил С.Ф. Шарапов специальную брошюру «Социализм как религия ненависти» (1907).

Здесь автор показывает, что социалистическая доктрина «основана на первородной лжи и потому ровно никакой, ни научной, ни практической ценности не представляет»³. Эту ложь он и разбирает, делая вывод, что духовная сущность социалистической доктрины есть отрицание христианства, это религия ненависти. Но как режим — это «только ненависть, разрушение и всеобщее разорение»⁴.

С.Ф. Шарапов нисколько не пытается смягчать свои оценки. Для него «наша революция» «идет сплошь за чужой счет, сначала за японский, как это недавно документально доказано, затем за счет международных, точнее — еврейских денег, ибо главная задача русской революции есть все-таки еврейское равноправие, недостижимое при старом самодержавном строе. Теперь этот строй заменяется парламентарным, то есть именно

¹ *Семенов Лев*. Диктатор. Политическая фантазия. — М., 1907.

² *Семенов Лев*. Иванов 16-й и Соколов 18-й. Политическая фантазия (Продолжение «Диктатора»). — М., 1907; *Семенов Лев*. У очага хищений. Политическая фантазия. Продолжение «Диктатора». — М., 1907; *Семенов Лев*. Кабинет Диктатора. Политическая фантазия. 3-е продолжение «Диктатора». — М., 1908.

³ *Шарапов С.Ф.* После победы славянофилов. — С. 316.

⁴ Там же. — С. 329.

тем, который нужен опять же евреям и всяким инородцам, а русским пристал, как корове седло»¹.

Но автор не безусловно оптимистичен в отношении успокоения «бедной родины» и не исключает, что возможен взрыв накопленной стихийной ненависти, который «может привести к анархии и даже иностранной оккупации, а, быть может, и временному разделу России»².

С.Ф. Шарапов выступает инициатором создания «Аксаковского литературно-политического общества». В речи при открытии Сергей Федорович фактически слагает гимн общине, ибо именно она «явилась хранилищем и Христовой веры, и народного духа, и исторических преданий...»³. Оттого-то так близки для автора понятия «община» и «соборность».

Неудивительно, что те славянские племена, которые не смогли спасти общину, потеряли, в конце концов, и свою государственную независимость. Как дворянин, С.Ф. Шарапов пытался найти разумное сочетание дворянского землевладения и общинного крестьянского коллективизма. Хотя он был не против постепенного естественного перехода к подворному владению при активном овладении всеми слоями лучшими достижениями культуры земледелия.

При Аксаковском обществе С.Ф. Шарапов основывает небольшой ежемесячный «журнальчик», «личный орган» «Свидетель», выходивший практически до конца жизни издателя. Он исходил из того, что происходит погром России, а потому он не имеет права молчать. Ибо его свидетельские показания могут пригодиться, когда состоится справедливый суд над разрушителями страны.

Но «Свидетель» оказался малотиражным изданием, подписчиков было явно недостаточно для массового распространения взглядов С.Ф. Шарапова. Хотя именно здесь издатель излагал, пожалуй, наиболее зрелые, вынашиваемые в течение всей своей

¹ Там же. — С. 308.

² Там же. — С. 328.

³ Русские исторические начала и их современное положение. Речь, произнесенная С.Ф. Шараповым 30 ноября 1907 года при открытии Аксаковского политического и литературного общества. — М., 1908. — С. 26.

жизни идеи¹. Так, в ответ председателю Козловского Союза Русских Людей В.Н. Снежкову С.Ф. Шарапов пишет: «Россия не “для русских”, а Россия со всеми русскими — для осуществления Божественной любви к грешному человечеству в пределах исторического существования нашей Родины. Вот ее миссия»².

В декабре 1907 г. умер В.В. Комаров, редактор-издатель известной петербургской газеты «Свет», и С.Ф. Шарапов получил приглашение стать ее постоянным сотрудником, которым оставался в течение более двух лет.

Сторонник объединения славянства, С.Ф. Шарапов в своих работах продолжал (вместе с некоторыми единомышленниками, среди которых прежде всего был Н.П. Аксаков) отстаивать идеи поздних русских славянофилов³. Однако особые отношения С.Ф. Шарапова к польскому вопросу и защита финляндской автономии вызвали его разрыв с газетой «Свет» и критику в его адрес со стороны правых деятелей.

С.Ф. Шарапов на всем протяжении своей публицистической деятельности освещал и вопросы международной политики⁴, еще более активнее — в последние годы⁵. Он видел, что России предстоит война, к которой она должна быть готова, в т. ч. приобретая союзников, среди которых прежде всего видел Англию и Францию⁶.

¹ Шарапов С. Царь и народ. — М.: Свидетель, 1908; Шарапов С. Самодержавие или конституция? Первые шаги 3-й Гос. «думы солидной бестолочи». — М.: Свидетель, 1908; Шарапов С. Финансовое возрождение России. — М., 1908; Пасхалов К., Шарапов С. Землеустроение или землеразорение? — М.: Свидетель, 1909.

² Свидетель. — М. — 1908. — №16—17. — С. 11.

³ Шарапов С. О всеславянском съезде. Открытое письмо к А.А. Борзенко. М., 1908; Шарапов С.Ф. Ближайшие задачи России на Балканах. — М., 1909 и др.

⁴ Шарапов С.Ф. Франция и славянство. — СПб., 1894.

⁵ Шарапов С. С Англией или с Германией? Обмен мыслей между С.Ф. Шараповым и М.О. Меньшиковым. — М.: Свидетель, 1908; Шарапов С.Ф., Аксаков Н.П. Германия и славянство. Доклад Петербургскому славянскому съезду Аксаковского литературного и политического общества в Москве. — М.: Свидетель, 1909.

⁶ См. подробнее: Антонов М.Ф. Экономическое учение славянофилов. — М., 2008. — С. 304—305.

Не оставлял в последние годы жизни С.Ф. Шарапов и собственнo литературного творчества, публикуя рассказы, комедию «Горчишник» и т. д.¹

Умер Сергей Федорович «почти внезапно» 26 июня 1911 г. На собранные друзьями средства металлический гроб был привезен по железной дороге на станцию Красное. По описанию очевидца, несмотря на проливной дождь, прибытие поезда ожидали несколько сот крестьян с детьми из окрестных сел и деревень. А из Сосновки прибыло «буквально все его население со своим старостой во главе»².

Гроб из вагона был перенесен в здание станции, где была отслужена панихида. А затем почти все тридцативерстное расстояние от Красного до Сосновки крестьяне пронесли гроб на руках при непрерывном пении «Святый Боже...» и «Спаси, Господи, люди Твоя...». На каждом повороте дороги процессия останавливалась и служили литии. Дорога была усыпана ельником, а перед самым именем — цветами.

Похоронен Сергей Федорович был 30 июня в селе Заборье у церкви в фамильном склепе. Похороны были скромные: «ни депутатий, ни многочисленных венков, ни казенных речей...», зато встретили и проводили в последний путь «болярина Сергея», помолились об упокоении его души близко знавшие и любившие его простые русские люди. Отпевание совершали кроме местного священника отца Евгения, благочинный отец Михаил и вяземский священник (бывший священник Заборьевского прихода) отец Петр Руженцов.

После отпевания отец Петр подытожил: «Сергей Федорович умер, не оставив после себя ничего. Своими громадными талантами, своей непрерывной упорной работой он не только не составил себе состояния, но на служение народу разорился: его труды и труды большие пошли на пользу вам: тридцать тысяч плугов из его мастерской в одном только Вяземском уезде

¹ *Шарапов С.Ф.* Разговоры. Рассказ Сергея Шарапова. — М.: Свидетель, 1908; *Шарапов С.Ф.* Горчишник. Комедия в 4-х действиях. — М.: Свидетель, 1910.

² *Эфрон С.К.* Воспоминания о С.Ф. Шарапове // Исторический вестник. — 1916. — № 2. — С. 496.

заменяли прежнюю соху и облегчили вам обработку земли, и для того, чтобы вы получили это облегчение, — он не остановился перед собственным разорением»¹.

Но в периодической печати такого единодушия, конечно, не было. Левые издания настолько были нетерпеливы, что «поспешили справлять тризну по покойном», не дожидаясь «пока гроб его будет опущен в могилу»². Рядом с этим «злые издевательства над покойным кадетской “Речи” и ее подголосков». Но не было однозначно доброго отношения к С.Ф. Шарапову и в правой печати.

Как писал друг С.Ф. Шарапова — С.К. Эфрон, «всегда и во всем искренний, Шарапов не мог укладываться в рамку, не мог пристать ни к какой партии; всегда и во всем он оставался самим собою, руководствовался и в своих писаниях, и в своих действиях только собственным умом и голосом собственной совести. Он горел любовью к своей родине, и ей он служил всю жизнь не за страх, а за совесть, посвятив ей всецело свои таланты и свой ум»³. «Изумительную талантливость» и «безусловную честность» Сергея Федоровича отметил его многолетний оппонент — В.В. Розанов.

Кончина С.Ф. Шарапова была замечена и в зарубежной печати, особенно славянской. Известный польский филолог, профессор Ягеллонского университета М. Здзеховский (Урсин) в Славянском клубе в Праге выступил с обширным докладом о его значении. Да и многие польские издания отдали дань благородной деятельности С.Ф. Шарапова.

Есть смысл и нам не забывать жизнь и наследие того, кто «пламенно верил», что «как бы мы низко не упали, до какой бы нищеты материальной и духовной не дошли, Россия таит в себе все нужные силы для возрождения, счастья, величия»⁴.

А.Д. Каплин

¹ Эфрон С.К. Воспоминания о С.Ф. Шарапове // Исторический вестник. — 1916. — № 2. — С. 498.

² Там же. — С. 499.

³ Там же.

⁴ Свидетель. — М., 1908. — №16—17. — С. 13.

РУССКАЯ ИДЕОЛОГИЯ

САМОДЕРЖАВИЕ И САМОУПРАВЛЕНИЕ

С 19 ноября (1888) в Государственном Совете началось, как сообщили тогда же телеграммы, обсуждение дела великой исторической важности — проекта местной реформы, выработанного в Министерстве внутренних дел и внесенного графом Д.А. Толстым. Прошло уже почти полмесяца с этого дня, и ни в одной газете нет известий о ходе дела. Прекратилась даже ожесточенная полемика, кипевшая накануне (кроме ежедневных вылазок разных добровольцев, подвизающихся в «Московских ведомостях»), словно на все дело упала какая-то завеса.

Но если печать вдруг почувствовала равнодушие к великому совершающемуся событию (внешних поводов к тому, сколько нам известно, не было), то русское общество с затаенным дыханием и позабыв обо всем остальном, ждет решения *своего* кровного для всей областной, уездной жизни насущнейшего вопроса. Да и как не ждать!

Дело идет не о тех или иных частностях в регламентации местного управления, не об изменении или усовершенствовании существующего распорядка, но о глубочайших основах нашего гражданского строя. Вопрос ставится так: есть ли земство орган государства, точнее, входит ли оно в систему собственно государственной жизни или представляет нечто, от государства отличное, свою собственную систему, с государством не совпадающую, нечто живущее самостоятельно жизнью?

Иными словами: быть или не быть самоуправлению, ибо всякое смешение функций самоуправления, дела земского, с «делом Государевым», по нашему глубокому убеждению, являет лишь лжесамонаправление, точно так, как всякое оформленное и узаконенное (вне мнения и ходатайства) вмешательство земщины в «дело Государево» явило бы лишь лжесамодержавие. Мы уже имели случай остановиться над разъяснением как исторических основ преемственности и непрерывности земского начала на Руси, так и тех ближайших усовершенствований, которые могли бы сразу улучшить даже наш существующий земский механизм. Нам хотелось бы теперь коснуться той важной стороны вопроса, которая по обстоятельствам времени и нашим историческим условиям дает некоторую силу обсуждающемуся проекту реформы.

Чем мотивируется положенное в основу проекта стремление усилить власть прямых органов правительства в ущерб земским выборным людям? Очевидно, добрым желанием спасти население от земской бестолковщины и хищений, которые часто являются язвой провинциальной жизни и при которых становится весьма возможным, что население будет даже обрадовано замещением своего собственного плохого выборного порядочным чиновником от короны.

Если читатель примет в соображение то, что нами было высказано в предыдущей статье относительно порядка земских выборов и что было высказано г. Зеленым в ряде статей, печатающихся у нас, — он легко уяснит себе этот странный факт. В сущности, не тому следует удивляться, что здоровые и ценные земские элементы часто не участвуют в самоуправлении, уступая место проходимцам и хищникам, а тому разве, что еще остаются — и не мало их! — порядочные земства и своим живым примером, своим трудом и результатами показывают, как много хорошего и дельного заключает в себе наша провинциальная среда и какие усилия прилагает она для борьбы с несовершенной регламентацией, созданной для земства государством.

Как ни справедливы иногда упреки, сыплющиеся на земство со стороны верующих в возможность полного торжества бюрократического режима, но в основе всего лежит простое недоразумение: и хищения, и «бесконтрольность и безответственность» земства ничуть не составляют какого-либо органически присущего самоуправлению недостатка. Это явления чисто внешние, искусственные, вытекающие единственно из несовершенства земского регламента и из установившихся отношений государства к земскому самоуправлению.

Из напечатанных у нас статей г. Зеленого можно уяснить себе характер этих отношений. В их основе лежит стремление к мелочному, чисто формальному контролю над каждым шагом земства и полнейшее к нему недоверие. Прямым последствием является то, что правительство само себе связывает руки в смысле более широкого и действительного контроля. Если губернатору предоставляется право опротестовывать даже самое мелочное, самое пустое земское постановление, если его санкция необходима для действительности избрания самого мелкого земского чиновника, то совершенно очевидно, что принимать какие-либо героические меры против *этого* земства не приходится. Все здесь делается с согласия и одобрения власти, и таким образом власть принимает на себя ответственность за последствия.

Совершенно иное было бы, если бы государство установило полную самостоятельность земского распорядка и оставило себе то, что ему должно принадлежать по праву: законодательную регламентацию, верховное руководство и верховный контроль над самоуправлением.

Поясним это примером:

Представим себе, что земство совершенно самостоятельно. Пределы его полномочий и власти определены законом весьма широко. У него есть свои исполнительные органы, ему возвращена земская полиция. Бюрократия не вмешивается в земские дела, государство оставляет себе

только свои специальные органы, отношения коих к земству во всех подробностях определены законом. Осуществлен до некоторой степени земский строй, к которому стремилась и который в тяжких потугах вырабатывала Древняя Русь.

Выиграет ли от этого государственная власть или проиграет? Укрепится или ослабнет? Какой странный вопрос! Государство не охватывает ли собою и земство? Россия не обнимает ли вполне и Смоленскую, и Херсонскую губернию? Разве недостаточно для государства сохранить за собою всю сумму его неотчуждаемой и неделимой власти над областью и право *во всякую минуту* вмешаться в местную жизнь, прекратить на время самоуправление, отдать под суд любого из выборных лиц, устроить новые выборы, созвать новое собрание — словом, произвести полный переворот в местной администрации? Кто и как может отнять эти права от государства в лице самодержавного Царя, дающего и отменяющего законы и стоящего *сверх* закона?

Предположим далее, что власть, следящая за исполнением закона земскими деятелями, видит злоупотребления; предположим, что раздаются громкие жалобы на земских выборных, случайно оказавшихся негодными. В данную местность отправляется по Высочайшему повелению близкое к Государю лицо, независимое по своему положению и беспристрастное, имеющее обширные полномочия. Представитель Государя расследует дело, выслушивает жалобы, вникает в ход самоуправления и распоряжается, как найдет необходимым, имея, между прочим, право впредь до новых, им назначенных выборов заместить все земские должности людьми по своему усмотрению.

Но вот, выборы сделаны. Нерадивые сменены, хищники отданы под суд, новые деятели выходят на дело. Гроза кончена, и все принимает спокойное течение.

Одна возможность подобной встряски уже будет держать в узде всякие недобросовестные поползновения, а если сюда прибавить свободную областную печать, необходимую

для самоуправления как свет, как воздух, можно быть спокойным за то, что подобных героических мер в полном объеме никогда применять не придется. Самое большее, если посланец Государя сменит председателя или членов управы, назначит новую ревизионную комиссию и т. д.

Случаи с петербургским земством в 1867 году и череповецким в нынешнем показывают, что даже такие героические средства, как временная отмена самоуправления с замещением его чиновниками, — вполне возможны, не вызовут никакого протеста и будут приняты как нечто совершенно естественное. Царское самодержавие настолько велико, прочно, сильно и бесспорно на Руси, что говорить о каких-нибудь противодействующих ему силах, особенно со стороны земской Руси, — просто недобросовестно. Русский народ, видя воплощение своей силы, единства, государственности в самодержавном Царе, мечтает не о том, чтобы урезать в свою пользу что-либо из прав и прерогатив Государя, но, наоборот, желает проявления царского самодержавия во всей его полноте. По народному воззрению, Государь, давая законы, стоит сам сверх закона и своей свободной совестью и волей восполняет в отдельных случаях несовершенства закона. Но зато для всех подданных и слуг Государя существующий закон должен быть святыней и вот почему, если и возможно какое-нибудь посягательство на священные права Государя, то никак не со стороны самоуправляющегося в своих местных делах населения.

Именно потому-то и должно быть выделено в особую систему дело земское от дела государева, что в этом выделении, и только в нем, является залог полнейшей свободы, ненарушимости и неограниченности царского самодержавия.

Государственная администрация как ближайший орган самодержавия, как группа чиновников, получающих полномочия от Царя и имеющих совершенно законное стремление укрыться под авторитет царской власти, распространить на себя часть ее прерогатив, — эта группа, вступая своими

нижними отростками в самоуправление, невольно связывает его с общей бюрократической машиной, втягивает одним концом в сеть государственных учреждений и лишает самого драгоценного качества — прямой, без отписок и уверток ответственности перед самодержавием.

Земство, о котором мы говорили выше, и земство, исполнительные органы которого чиновники короны, — две вещи совершенно различные. Первое при правильной регламентации вполне контролируется лучшими силами местного населения, контролируется свободною печатью и во всякую минуту подлежит строгому и нелицеприятному суду монарха, если и не непосредственному, то вверенному лицу, заведомо добросовестному исполнителю царской воли, лучшему из слуг государевых.

Разумеется, земство второго порядка станет в совершенно иное положение. Входя самым центром в систему государственных учреждений, представляя лишь отдаленную ветвь общего бюрократического дерева, прикасаясь самым неловким образом к живым силам населения (недаром проект предвидит уклонение населения от *такой* земской работы и вводит *принудительность* земского присутствия), оно будет также мало подлежать общественному контролю и контролю печати, как и непосредственному благому воздействию самодержавного монарха, воля которого (заимствуя термины механики) израсходуется в слишком большой степени о сопротивление передаточных частей механизма. Земство станет вскоре простой, низшего разряда канцелярией того ведомства, к которому оно причислено.

То, что мы высказываем здесь, ничуть не отвлеченное от жизни доктринерство. Наоборот, чисто практические соображения указывают, какая опасность грозит священному принципу самодержавия вследствие неправильно-го понимания соотношения в русской жизни двух наших основных политических устоев — самодержавия и самоуправления. История и наша печальная действительность

учат, что чем сложнее становится бюрократическая машина, чем более звеньев отделяет верховную волю от народа, тем большие препятствия сопровождают применение этой воли, тем труднее поддержание в полной исправности правительственного механизма... Множество явлений русской жизни свидетельствуют о том. Как в чрезвычайно сложном часовом или органном механизме бывает невозможно переменить или поправить отдельное колесо, не разбирая всего механизма, так в государстве бывает часто невозможно даже определить источник зла, не перестроив целого ведомства.

Наша земская жизнь с самого введения у нас земских учреждений пошла вкривь и вкось не только вследствие несовершенств Земского Положения, но также вследствие возникшего немедленно антагонизма между земством и бюрократией.

Последняя почувствовала в земстве своего смертельного врага, допетровское государство не нашло в себе достаточно доверия к самоуправлению, не нашло старых русских идеалов и, заподозрив земство с первого шага, с первого же шага стало на сторону бюрократии, приуготовляя ей торжество победы. В наши дни совершенно логически пришла последняя к мысли расширить и еще сферу своей деятельности на счет последних остатков самоуправления, ибо мира между бюрократией как самостоятельной системой государственного управления и земством быть не может. Или: есть настоящее исторически русское самоуправление, и тогда бюрократии в западном смысле нет места и ни о какой борьбе между нею и земством не может быть и речи; или: земство вполне замещается административной централизацией, причем весьма возможно, что кое-где коронные чиновники окажутся лучше представителей современного лжесамостоятельства.

Идеал русского гражданского и политического устройства, выясненный славянофилами и вполне отвечаю-

щий народному представлению о личности, «мире» и Государе таков:

Отдельное лицо, физическое или юридическое, — полный хозяин владеемого им клочка земли. Земщина в лице лучших излюбленных людей — полный хозяин своей области или города. Государь-самодержец — полный хозяин всей Русской Земли, в верховной полноте прав которого заключаются права как частных лиц, так и земств. Как частное лицо не может присвоить себе земских прав, ибо само целиком со всеми своими правами входит в земщину, так и земство не может ни с какой стороны посягнуть на права верховной власти, ибо со всеми своими правами тонет в безграничном объеме прав целого народа, воплощающихся в живой, свободной личности Царя, которому всецело принадлежит *действие*, внушаемое Его разумом и совестью и незримо направляемое и одобряемое всенародным общественным *мнением*. И над всем этим, все обнимая собою, включая и сравнивая в едином трепете о спасении души, единой молитве и единой ответственности перед Богом: и Царя с его самодержавием, и земщину с ее самоуправлением, и последнего крестьянина с его свободой и собственностью, — высится Христова Церковь.

Идеал русского народа, пронесенный им сквозь века, состоял в чистой свободе и жизненности этих основных начал *исторического* быта; ревниво оберегал он свою землю и свободу внизу, горько плакался на наемников, недостойных слуг Царя, стеснявших его самоуправление и бытовые порядки, всеми силами противился самонадеявшимся поползновениям к ограничению свободы царского самодержавия, палладиума народной свободы, и готов был сложить свои головы в борьбе за Церковь и веру.

В современной русской жизни три элемента из названной системы стали бесспорным историческим фактом. О каком-либо прямом покушении на Церковь, на свободу царского самодержавия, на землю и свободу народа не мо-

жет быть и речи. Но необходимый, существенный промежуточный элемент нашего государственного быта — свобода земского самоуправления — является еще спорным, и совершенно серьезные голоса раздаются за фактическое упразднение в русской жизни начала самоуправления.

Между Царем и народом по этой теории должен стоять не ряд живых организмов, а страшно-сложный механический правительственный аппарат, вершина которого в кабинете Государя, концы — у лавки купца и избы крестьянина. Схема стройная, не лишенная гармонии и логически обоснованная, могущая, пожалуй, скрасить несколько жалкие остатки нынешней земско-бюрократической борьбы, но едва ли способная влить в жизнь то, что само по себе представляет искусственную систему, своего рода отрицание жизни. Верим вполне в искреннюю любовь к родине и добрые намерения авторов проекта земской реформы.

Совершенно последовательно с их стороны стремление к прекращению того раздвоения между земством и правительством, которое стало заметным с самого открытия земских учреждений. Как ни странно, может быть, покажется нашим читателям, но в проекте земской реформы, обсуждаемом ныне Государственным Советом, мы видим шаг вперед в нашей общественной жизни. Еще никогда во все периоды нашей истории не занимала бюрократия такого всеобъемлющего, полновластного положения, какое она займет по мысли, положенной в основание проекта. Мы увидим административный аппарат необъятных размеров, функционирующий без малейшей помехи и противодействия на всем необъятном пространстве России.

Пусть же поработает он на полном просторе, пусть попытается излечить наши болезни и неустройства. Это будет последнее слово того мировоззрения, которое верит в возможность удовлетворить всем задачам сельской, областной и государственной жизни посредством класса служилых людей, всему дать государственную окраску... Дальше

в этом направлении нет пути. А потому, если надежды, питаемые сторонниками проекта, не осуществятся, если придется вскоре вновь ставить вопрос о наших неустройствах, вновь желать лучшего, то этого лучшего искать долго не придется.

Если проект местной реформы в его настоящем виде пройдет, будет утвержден и введен в жизнь, он станет непосредственным предтечею настоящего, широкого, исконно русского земского самоуправления. Вот в чем мы видим несомненный шаг вперед.

РУССКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

БУМАЖНЫЙ РУБЛЬ

(Его теория и практика)

Научные законы бумажно-денежного обращения в самодержавном государстве. — Большая казна и ее местные органы. — Русская финансовая и народно-хозяйственная программа. — Мелкий народный кредит. — Сельские союзы.

От автора

Настоящее исследование представляет первую попытку связать славянофильское учение с данными экономической науки, осветить, с одной стороны, экономические явления с точки зрения свободы человеческого духа, с другой — найти реальную опору славянофильским нравственным и политическим воззрениям.

Я избрал предметом исследования вопрос о бумажных деньгах потому, что он является, так сказать, средоточием всей экономической науки. Мне хотелось показать, что, оставаясь на почве механических законов необходимости, экономика ни к чему не придет и не может прийти, разве к удостоверению, что у человечества нет иной будущности, кроме рабства слабого у сильного или гибели всего современного строя путем бунта слабых.

Деньги — вот орудие экономических отношений лиц, групп и стран. Господствующая на Западе денежная система выражает непосредственно бессилие нынешней экономической науки. При всем относительном совершенстве денежного обращения на Западе, при бесчисленном множестве всяких организаций, форм, гарантий, союзов и соглашений довольно немного углубиться в сущность западных денежных условий,

чтобы увидеть в них неизбежный зародыш того же страшного разложения, которое сдает западную науку, искусство, религию, философию, право, государственность — словом, всю западную цивилизацию во всем ее объеме и проявлениях.

Зародыш этот — начало *бездушиного формализма*, заменившего мало-помалу всюду идеальное начало *веры*; начало условного и относительного, заменившее мало-помалу начало абсолютного, высшего и вечного, высоко вознесшее и разнуздавшее хищное человеческое *я* и обратившее все стороны жизни цивилизованного человечества в огромную арену бесконечной борьбы эгоизмов. Эгоизмы эти то топят безжалостно друг друга, то, устав в борьбе и впадая в отчаяние, селятся путем холодной рассудочной спекуляции придумать такие нормы и рамки, при которых было бы возможно *кое-как жить*.

Но не удастся это Западу ни в какой области. Куда ни взглянешь, повсюду человеческая мысль упирается в отчаяние и небытие. Религия выродилась в материалистический атеизм, философия — в пессимизм, государственность — в анархизм, этика — в проповедь чистейшего эгоизма, экономика — в формальное торжество хитрости и силы, с одной стороны, рабства, нищеты и неугасимой ненависти — с другой.

Бессилие Запада в области мысли до того поразительно за последнее время, что кроме опошленных, износившихся и полных внутренних противоречий нескольких модных мировоззрений не является ничего на смену, не блещет нигде ни луча надежды. Да и неоткуда ему там взяться!..

Славянофильство, скромно стоявшее особняком, в стороне от старых великих очагов человеческой мысли, теперь оказывается единственным мировоззрением, единственной философией, полной жизни и *веры в жизнь*. Оклеветанное, осмеянное, оно вдруг начинает привлекать к себе взоры и умы. К нему начинают прислушиваться, его начинают изучать.

Настоящее исследование представляет слабую попытку пополнить и развить основные воззрения славянофильства в той области, до которой оно почти не касалось ранее. Это область экономическая. Думаю, что мне посчастливилось, ис-

ходя из основ этого учения, данных Киреевским, Хомяковым, Аксаковым, Самариным, Данилевским, и пользуясь строго научными приемами школы, посильно пополнить это учение. Я хотел показать, что и в экономической области достаточно отвергнуть некоторые условности и победить застарелые пред-
 рассудки, чтобы жизнь тотчас предъявила свои права и показала возможность органического творчества тем, где до сих пор видели лишь стихийную игру слепых сил. Государство как условность, как мертвенная форма, олицетворяющая внешний порядок, не смеет и мечтать ни о каком экономическом творчестве. Наоборот, государство как живое выражение мирского, соборного начала, олицетворенное в живом полновластном Государе, оказывается чрезвычайно творческим и могущественным. Деньги — золото, деньги — власть, деньги — темная сила и орудие рабства слабого у сильного — обращаются в расчетную бумажку, бесприязательного объективного счетчика, в орудие христианской помощи народному труду, предприимчивости и сбережению. Выясняется возможность полного примирения, и не условного только, а прочного, истинного, враждующих человеческих эгоизмов путем отнятия незаконной *власти* у одного и возвращения законной *свободы* другому. Там, где на Западе раздается как последнее слово — слово отчаяния, славянофильство смело поднимает свой голос надежды и оправданной, уясненной, раскрытой веры в лучшее будущее человеческого изобретения, труда и скромного стяжания. Сущность экономических процессов остается та же, от века предоставленная Провидением как законы движения и равновесия, света и электричества, но человек освобождается от власти слепых сил, становится не бездушной пешкой в экономической борьбе, каким силилась утвердить его западная наука, а живым, свободным деятелем, применяющим эти законы сознательно, а не только им пассивно подчиняющимся. Если будет справедливо на весь мир экономических явлений смотреть как на «систему человеческих деятельностей, обусловливаемых и направляемых пользою», то разница между западными и славянофильскими взглядами немедленно обна-

руживается. Идея «пользы» там есть самостоятельная, самодовлеющая сила, ничего выше себя не знающая. Здесь ее истинное место лишь как *служебного начала* другому высшему нравственному и бессмертному началу. Понятия совершенно переставляются, и человек из покорного раба экономических сил становится их господином, обращаясь из рабов Ротшильда в «рабы Господни» — единственное сладкое рабство, с коим сознательно мирится и в коем воистину освобождается бессмертный дух человека.

И в этом признании, в этой перестановке понятий тотчас же раскрывается и истинно великая сила нравственного начала, поставленного как высшая власть. Экономическое начало пользы злое и бессмысленное, как признанное божество нового Запада, становится творческим орудием и послушной силой в руках государства, построенного не на эгоистическом начале *договора*, а на нравственном — *доверия*.

С этой точки зрения я и прошу читателя взглянуть на изложенные в этой книге законы творчества мнимых капиталов, регуляторов денежного обращения в государстве, зависимость постоянства денежной единицы от обстановки главного народного труда, образование государственных запасных капиталов и пр., и пр. Все эти законы раскрыты только посредством исследования той денежной формы, которая по существу своему *нравственна* и, как таковая, не поддается западной игре эгоизмов и западной наукой отвергается.

Важность этих законов, независимо от их верности и научного значения, лежит, по моему мнению, еще в том, что, уясняя вопрос о правильном устройении экономической жизни в государстве, они раскрывают неизмеримо далекие перспективы, указывая на второстепенное значение экономического мира явлений и вознося перед государством высшие и величайшие цели бытия. Указывая, что вопрос о «пользе» и ее проявлениях в общежитии разрешается к полному удовлетворению и благополучию трудящихся, сберегающих и умствующих, не говорят ли повелительно эти же самые законы, что и трудиться, и сберегать, и умствовать возможно лишь во имя иных, вечных

и высоких целей, возносящихся тем ярче и виднее, чем лучше, понятнее и достижимее справедливость и спокойствие обстановки временной, материальной человека?

Вот с этой точки зрения я и позволю себе надеяться, что мой труд имеет значение в целом составе славянофильского мировоззрения. При всей неполноте, неясности, сбивчивости и плохом расположении частей моего исследования я думаю, что мне удалось выяснить и отметить по крайней мере важнейшее и что те, кому по душе придется мой труд, не затруднятся его пополнить и исправить, не теряя общей руководящей нити.

Но кроме этого принципиального значения, я хотел бы надеяться, что мой труд не останется без некоторой прямой доли пользы. В русском обществе не имеется никаких установившихся взглядов на финансовые вопросы. Западные теории, так дорого стоившие нашему государственному и народному хозяйству, потеряли кредит и в общественном обиходе держатся лишь по недоразумению. Между тем русской теории, русских взглядов не выработалось, и потому господствует необычайная путаница, прямо отражающаяся и на нашей финансовой практике. Наряду с мероприятиями, указывающими на некоторое приближение к пониманию смысла и значения абсолютных знаков в самодержавном государстве, возникают и осуществляются проекты и предложения прямо противоположного характера, наносящие нашему бумаго-денежному обращению серьезный ущерб. Ни с того ни с сего весь газетный хор начинает, например, вдруг славословить золотую валюту, абсолютные деньги называть «сладким ядом» и плакать о прекратившемся полвека назад металлическом у нас обращении.

Вслед за славословием является неожиданно мера, которая никогда бы не могла получить своего существования, будь в нашем обществе и у специалистов установившиеся финансовые воззрения. Между тем разрешение сделок на золотую валюту, исходя из того взгляда, что золото — деньги лучшие, деньги более верные, чем «сладкий яд» — кредитные билеты, — поражает в самый корень наш абсолютный знак, выдвигает вновь вопросы, по-видимому, историей уже порешенные...

Ввиду особенного значения этой меры и в предвидении ее печальных последствий для русского общества будет особенно важно разобраться в мотивах, ее вызвавших, и оценить как нравственное, так и теоретическое значение неожиданно выдвинувшейся вперед идеи о восстановлении у нас металлического обращения. <...>

Часть I

Теоретическая постановка вопроса об абсолютных (бумажных) деньгах

I

В ряду так называемых гуманитарных наук наука о финансах занимает положение совершенно исключительное. У нее существует обширная литература, представляющая очень подробное и остроумное исследование фактов, накопившихся целыми столетиями. Из анализа этих фактов выведены обобщения, законы и правила, складывающиеся в стройные системы. Самая наука имеет предметом явления, в значительной степени подлежащие опыту и учету и выражающиеся в цифрах. И именно эта наука, как оказывается, разошлась с живой жизнью до такой степени, что становится возможным не в шутку, а совершенно серьезно поставить такой вопрос: кто кому должен подчиняться — жизнь финансовой науке или эта наука жизни?

Как ни странен этот вопрос, но раз он поставлен, он обличает крупное внутреннее недоразумение, в котором необходимо разобраться. До сих пор мы понимали науку вообще, как исследование и уяснение тех законов, по которым движется жизнь в ее разнообразнейших областях и проявлениях. Каким бы методом ни было сделано известное обобщение, оно, чтобы стать научным законом, должно непременно не только выяснить и систематизировать явления, но и управлять ими, предвидеть и предсказывать их.

Если мы с этой точки зрения подойдем к так называемой финансовой науке, то наша вера в нее (если предположить, что таковая была) непременно посрамится. Финансовая наука выдвигает свои законы, а жизнь им совершенно противоречит. Финансовая наука на основании своих умозрений рекомендует те или другие меры, жизнь их отвергает. Наконец, финансовая наука предсказывает явления, вычисляет их и соображает, а в действительности получается совсем другое, иногда прямо противоположное.

Про какое-нибудь сравнение с точными науками и речи быть не может. Астрономия, например, предсказывает затмение на тысячу лет вперед, и оно совершается минута в минуту. Механика вычисляет смелую арку моста, и мост выдерживает как раз ту тяжесть, какая от него требуется. Химия на основании известных умозаключений предсказывает, что должно быть открыто какое-то простое тело с такой-то плотностью пара и атомным сродством, и тело открывается именно такое. Даже медицина, в общем представляющая совершенно невозделанное поле, и та в своем экспериментальном запасе имеет несколько бесспорных правил и указаний: дайте пациенту в таком-то случае то-то — и произойдет то-то.

Ничего подобного так называемая финансовая наука не имеет и не знает, и все ее построения по меньшей мере спорны, а практические советы в большей части никуда не годны.

Если мы попытаемся анализировать происхождение и развитие западной финансовой науки, мы легко убедимся, что, собственно говоря, наука эта там еще и не зарождалась. Для нее не было вовсе почвы. Финансовая наука — законное дитя политической экономии. А что представляет эта наука? Она, начиная с Адама Смита, своего основателя, продолжая Жаном Батистом Сэем и Рикардо и кончая социалистами, дала целый ряд школ и остроумных писателей. Текущие явления экономической жизни были изучены в подробностях и подведены под известные законы, довольно верно выражающие внешние признаки явлений. Адольф Вагнер посвятил специально России огромный труд, долгое время считавшийся чем-то вроде

финансового у нас Евангелия. Внутренняя, психологическая сущность экономических процессов была, однако, исследователями оставлена в стороне, и на основании простой, чисто механической повторяемости, а в духовном отношении на основании одной идеи *пользы* было признано, что экономическим миром явлений управляют такие же слепые законы необходимости, какие управляют неодушевленной природой. Всякая борьба с этими законами или всякое стеснение их свободного проявления является, по воззрениям экономистов, нарушением основного принципа пользы, который в своем свободном виде включает все элементы технического и культурного совершенствования, достаточного для человечества.

Совершенно в стороне от мирового научного движения стоит гениальный изобретатель бумаго-денежной системы и великий финансист-практик Джон Ло со своими плохо прочтенными и теперь позабытыми сочинениями. В стороне же стоит группа так называемых утопистов, пытавшихся посредством крайне остроумных, но рассудочных комбинаций обойти законы органического творчества в мире экономии и *сочинить* новые финансовые системы, оказавшиеся сплошь неудачными. Наконец, виднеется Фридрих Лист, впервые признавший великую роль нравственного начала в экономическом мире и совершенно развенчавший материалистическое учение Адама Смита и Сэя. Но этот замечательный экономист высказывает лишь самые общие идеи и почти совсем не говорит о финансах. Из всей серьезной литературы по этому вопросу, не исключая и творений Адольфа Вагнера, одно только имя и приходится на Западе произнести с глубоким уважением, это имя Робертуса, к сожалению, только наметившего истинные законы денежного обращения в своей знаменитой книге «Исследования в области национальной экономии классической древности», но отнюдь их не разрешившего.

И сейчас, как и тридцать лет назад, финансовая наука в лице ее наиболее выдающихся представителей на Западе стоит все на том же *золотом* основании. И сейчас еще она насквозь материалистична, и это лишает ее всякой глубины и всякой

основательности. Как ни чудовищны практические выводы из теоретических псевдонаучных построений, у Запада словно не хватает мужества взглянуть им прямо в глаза.

Управляемый *пользой*, экономический мир, по воззрениям западных экономистов, имеет могучим орудием борьбу индивидуальных эгоизмов между собой. В этой борьбе, носящей техническое название *конкуренции*, люди сами собой изощряются и придумывают все более и более совершенные орудия борьбы. Для большего успеха в деле люди сплачиваются в группы и союзы, удесятеряют этим свои разрозненные силы и начинают бороться уже не человек с человеком, а группа с группой, общественный класс с классом, наконец, народ с народом. Положенный таким образом в основании политической экономии элемент борьбы явился, в сущности, совсем не случайно. Если признавать действие данной духовной и исторической среды на формулирование и формирование господствующих мировоззрений, то нельзя не усмотреть, что *борьба* лежит на Западе в основе всего, окрашивает и одухотворяет собой все. В области веры — борьбы авторитета и свободы. В области права — борьба индивидуума и общества. В области государства — борьба власти и автономии. Наконец, даже в области природы — борьба за существование, знаменитая *struggle for life*, увенчивающая и как бы оправдывающая весь цикл борьбы.

Ясно, что ум мыслителей, окруженный в жизни, в вере и в науке одной борьбой, не мог не перенести ее и в область экономии, где борьба совершается вполне открыто на глазах зрителя, где сильный рвет у слабого, что может, торжествуя и радуясь, что непосредственные, ближайшие по крайней мере формы борьбы облечены в совершенно приличную оболочку, что нет ни грубого насилия, ни стонов, как в те времена, когда сильные брали слабого за горло. Теперь та же или, может быть, еще более ужаснейшая борьба совершается без воплей и стонов. Утром заглянули в газету, в полдень написали на бумажке несколько цифр — к вечеру часть имущества, а иногда и все имущество одного самым несправедливым по существу образом перешло к другому. Жаловаться некому и не на кого. Вас

ограбил не Петр, не Иван, не разбойник-рыцарь, вас ограбила биржа, ограбил неизвестно кто, вас раздавила невидимая рука, одетая в мягкую перчатку «правового порядка».

В экономике, основанной на борьбе, часть ее, финансовая наука, явилась совершенно последовательно орудием борьбы. Подобно тому как военные техники с величайшей быстротой изобретали за последнее время все ужаснейшие орудия разрушения, западная финансовая наука, развиваясь неумолимо последовательно в одну сторону, выковывала наиболее совершенное орудие для экономической борьбы, переводила эту борьбу с маленького единоборства какого-нибудь сапожника с потребителем или ростовщика с должником на борьбу Ротшильда с целым человечеством, на борьбу мира англо-саксонского с германским из-за рынков для мануфактур или на борьбу Америки с Россией из-за золота и пшеницы.

Финансовая наука Запада шла рука об руку и росла с успехами так называемой цивилизации, то есть пара и электричества. Не больше, чем в какие-нибудь полвека тихое когда-то и почти невидимое в массе прочного и спокойного труда биржевое царство разрослось до необъятных размеров и совершенно подчинило себе, задавило собой общества, государства и народы. Иметь столько-то десятков миллионов золота в фонде — вопрос жизни и смерти для современных государств. Оружие так остро, борьба так быстра и удары так глубоки, что одна неудачная финансовая операция может бросить, по-видимому, хорошо вооруженного и здорового противника к ногам его врага. И чем утонченнее финансовая система, чем сложнее и огромное финансовые обороты в стране, тем опаснее всякий кризис. Кто-то сказал совершенно справедливо, что современная морская артиллерия гораздо опаснее для стреляющих из нее, чем для ее противников. Совершенно то же и в финансовой области.

Фридрих Лист, излагавший свои замечательные воззрения на связь мануфактур с земледелием, на промышленный рост и культуру народов и столь симпатично рисовавший картину будущего братства наций, развивавших параллельно друг другу свои силы, по-видимому, и не подозревал, до какой степени не-

нормальная финансовая система, основанная в конституционно-парламентарных странах на золоте и власти биржи, изуродует и перевернет это естественное движение и во что обратит так называемый «прогресс цивилизации» человечества.

Живи этот замечательный писатель не в первой, а во второй половине кончающегося столетия, он, наверно, не собственно трудовое, промышленное соперничество народов выставлял бы в качестве главной подлежащей разрешению задачи, а тот печальный биржевой ритм, который в наши дни парализовал собой все не только в экономической, но и в политической, правовой и нравственной областях. Если европейское человечество без особого труда справилось с промышленной гегемонией Англии, если Германия, Австрия, Италия и даже Россия (про Францию и Соединенные Штаты нечего и говорить) освободились от мануфактурного и денежного верховенства Англии, создали свою промышленность и завоевали самостоятельные внешние рынки, то та же Европа попала в полном составе в кабалу еще горшую, допустив развиться международной биржевой спекуляции и возрадив неведомых истории ранее биржевых царей и первосвященников, изображающих в данную эпоху силу неизмеримо более грозную и могущественную, чем любое из европейских правительств, ни одно из которых, за исключением русского, не смеет и думать о какой-либо самостоятельной роли среди своего государства и народа.

Основным и наиболее характерным признаком окончания какого-либо исторического периода служит обыкновенно то обстоятельство, что главная, центральная, так сказать, историческая идея, отмечавшая собой весь период, приходит к очевидному уродству, изживает сама себя. Такой основной идеей европейской цивилизации последних столетий в области экономической является, несомненно, *золотая идея*, то есть идея, что золото — единственные и истинные деньги. Идея эта легла в основание всей банковской и финансовой системы современных государств, породила фонды, фондовую биржу и ее спекуляции, опутала государства сетью неоплатных

долгов, создала капиталу политическую власть и преобладание в государствах, выдвинула к международному господству финансовых израильских царей и кончает великим политическим развратом, совершенно одинаковые симптомы коего так резко проявились в последние годы одновременно во Франции, Италии и Германии, что отдельные случаи «хищений» складываются мимовольно в великую и печальную картину политического разложения современной Европы. Продолжать жить таким образом невозможно, выхода тоже не оказывается никакого. Перепуганная биржа спешит потушить одинаково и Панаму и Панамину, зажать рот Альвардту, но она не в силах ни вдохнуть веру в себя, ни поднять дух изнемогающих под биржевой кабалой народов.

Среди этого хаоса мелкая и жалкая финансовая наука Запада едва лепечет свои старые формулы; мы вторим ей по старой привычке идти за европейской ученостью, по-видимому, и не подозревая, что наступает новый исторический период, который в противность материалистическим воззрениям, борьбе как главной движущей силе природы и человечества и философскому пессимизму как конечному выводу вознесет перед ними совсем иные знамена и идеи.

Мы не имеем в виду раздвигать настолько широко программу нашего исследования. Мы хотели указать лишь, что основной чертой этого нового периода должно явиться преобладание духовного и нравственного начала во всех областях человеческого мышления и делания, ибо только нравственное начало и способно вывести заблудившийся цивилизованный мир из дебрей материализма и бессмысленной животной борьбы. И кто знает, в этом новом движении не очутится ли наша тихая и наименее «цивилизованная» по-западному Русь впереди других племен и народов как сохранившая в своей непосредственности чистые нравственные начала и донесшая их до момента оказавшегося в них всеобщего оскудения?

В области финансов, по крайней мере, нам это кажется несомненным, ибо только одна Россия не допустила биржу создать своих Ротшильдов и Блейхредеров, ибо только у нас

биржа начинает отцветать, не успев как следует зацвести, и ярко определяется некоторое новое течение.

II

Мы уже говорили, что в западной умственной атмосфере чувствовался особый специфический недостаток, словно не позволявший умам мыслителей ориентироваться и найти верный путь для построения истинной финансовой науки. Этот своеобразный дальтонизм сбивал с дороги даже таких выдающихся мыслителей, как Прудон и Фулье. Про умы меньшего полета нечего и говорить.

Сделав десять шагов в области чистой науки, ученый на одиннадцатом шаге спотыкался и уходил в условности, не будучи в состоянии, именно вследствие этого дальтонизма, ярко, последовательно поднимать финансовые вопросы в их истинно научном виде: он уклонялся в мелкие практические рассуждения, разрабатывал такие частности, как моно- и биметаллизм, а общую теорию усиливался окургузить и обосновать не на бесспорных логических выводах, а на золотом предрассудке да на *существующем* запасе фактов, освященном данным экономическим строем эпохи. Получалось нечто поистине жалкое.

Чтобы уяснить эту мысль, возьмем частный случай с бумажными деньгами. У некоторых западных финансистов, пока они рассуждали отвлеченно, логика оказалась достаточно сильной, чтоб охарактеризовать эти деньги как идеальные по своему совершенству (не в смысле суррогата золота, не в смысле кредитных денег, а именно в смысле денег абсолютных). Но их умы не справились и не могли справиться с первым же поставленным экономической практикой вопросом: ну а что, если государственная власть напечатает этих денег излишнее количество? С точки зрения западного человека даже нельзя себе представить государственной власти, которая *не могла бы* напечатать лишних бумажек. Всякая напечатает, одна по нужде, другая по легкомыслию; гарантий никаких быть *не может*, а потому — прочь самая идея об абсолютных знаках!

Все рассуждения о них праздны. Будем держаться за золото и допустим бумажки только в качестве его заместителей. Тут будто бы еще возможны некоторые гарантии и контроль.

Читатель чувствует полную ненаучность подобного приема, чувствует, что здесь, с этого именно шага, наука кончилась и пошли совсем произвольные построения. Вот почему и финансовой науки, годной для всех времен и народов, устанавливающей точные законы *денежного обращения* (ибо это и есть в строгом смысле предмет финансовой науки как части политической экономии), нет и не было.

Вот, по нашему мнению, каков должен бы быть истинно научный прием и как могла идти дальше финансовая наука.

Идеальная, наилучшая форма денег — абсолютный знак, единица меры отвлеченная, как метр, аршин, ведро. Это уже высказано, теоретически обосновано и можно считать бесспорным. Но мы не знаем (на Западе) такой формы государственной власти, которая могла бы оперировать с такими деньгами, или, по Родбертусу, не имеем соответственных политических и общественных учреждений. *Предположим*, однако же, что такая форма возможна. Предположим, что государство будет выпускать и снимать с рынка как раз необходимое для жизни количество знаков. Рассмотрим и изучим функции этого абсолютного знака.

В математике не остановились перед такой логической бессмыслицей, как мнимая величина. Ввели ее, *предположили, допустили* и построили великую науку. В финансах того не сделали, и потому никакой финансовой науки не получилось.

Создание финансовой науки на Западе было затруднено, между прочим, и известной историей Джона Ло с грандиозным государственным банком и не менее грандиозными государственными спекуляциями. Это была очень грустная история, оставившая неизгладимое впечатление, во вред истинной науке. Джон Ло был бесспорно гениальный человек и за два с половиной века до нашей поры создал и осуществил такую денежную систему, которая для нас сейчас еще является почти недостижимым идеалом. Не формулируя научно законов денежного

обращения, он угадал их вдохновением гения и безошибочно понял их основание в *нравственном начале*¹. Но, во-первых, тогдашняя французская абсолютная государственная власть уже находилась на пути полного разложения; она растеряла все свои идеалы и притом была настолько безнравственна, что пустилась на открытый грабеж, а, во-вторых, и сам Ло вместо того, чтобы удержаться на чистой идее абсолютных знаков, впутал свой банк в неистовую биржевую игру акциями своей злосчастной компании и, перейдя все границы благоразумия, чуть не разорил окончательно Францию. Нравственное начало и государственное творчество в финансовых вопросах были скомпрометированы больше, чем на двести лет, а похоронившая французскую легитимную монархию революция положила поистине надгробный камень над нравственным началом. Даже серьезные и глубокие умы не могли отделаться от силы нового потока, увлекшего Запад в рационализм, давшего торжество грубому материализму, извратившего и задержавшего и истинную культуру, и развитие финансовой науки.

Когда возникнет, да и возникнет ли на Западе настоящая финансовая наука, неизвестно; наше горе в том, что нам приходится или изучать совершенно неподходящие для нас системы, чувствуя, как их положения не сходятся с русской жизнью, или самим создавать настоящую финансовую науку, или, наконец, вести государственное хозяйство без всякой науки, на основании простого здравого смысла, цифр и опыта.

Попробуем рассмотреть все три случая.

Финансовые теории Запада (мы говорим о господствующей школе финансистов) пора, наконец, бросить; это-то уже по крайней мере бесспорно. Если мы бедны, если русский народ осужден полгода сидеть без дела, если мы по уши в долгах, если наше земледелие гибнет, а мануфактурная и иная промышленность развиваются безобразно, то винить за это надо исключительно нашу финансовую учительницу — Европу, благодаря которой наша финансовая политика второй поло-

¹ Знаменитое его изречение: «Государь не нуждается в кредите, он его создает...».

вины XIX века представляла то чистые западные образцы, то робкие компромиссы между указаниями западных финансов и требованиями русской жизни. Об этих теориях теперь и говорить уже как-то стыдно.

Хозяйничать без всякой теории, как хозяйничали Кольбер, Канкрин, бесспорно лучше. Если мы представим очень крупное имение с огромным и разветвленным земледельческим и фабричным производством, с многочисленным персоналом служащих, с широко развитым кредитом, то это будет государство в миниатюре. Хозяйничать следует так, чтобы дело шло прочно, хорошо, чтобы все отрасли преуспевали, чтобы имение развивало свои силы. Нужен заем, делать заем. Можно платить проценты меньше, делать конверсию долга. Постройка затеяна — производить ее подрядным, или хозяйственным способом, что окажется выгоднее...

Да, но так может хозяйничать частное имение, крупный завод или, наконец, маленькое, несамостоятельное экономически государство, как Сербия. У всех трех меновое средство, деньги, не свое, а чужое. Все в тесной зависимости от соседей, а частное предприятие, кроме того, от государства. Разумеется, хороший хозяин, здравомыслящий министр финансов поведет этим путем русское хозяйство недурно, исполнив высказанное противниками финансовых теорий желание «знать свою страну и уметь вовремя проявлять смелость и толковость этого знания».

Но этого все же будет недостаточно. Помещик может быть великолепным хозяином, но без земледельческой химии ему никак не обойтись. Смелый здесь наделает огромных ошибок, робкий будет вечно сомневаться. А со знанием земледельческой химии и смелый, и робкий в смысле результатов до известной степени сравняются. Как ни будь я смел, но если я знаю, что на этом участке не хватает фосфорной кислоты, я пшеницы сеять не буду. Как ни будь я робок, но если я знаю, что урожай клевера утраивается каинитом, я не побоюсь затратить деньги на его покупку, если это обещает выгоду.

Следует ли говорить, что в области финансовых мероприятий мало смелости, мало также и знания народной жизни

ни, а прежде и важнее всего ясное *предвидение результатов* данной комбинации? Нам приходится строить железную дорогу. Средства для ее постройки могут быть добыты: новым налогом, внутренним займом или выпуском бумажек. Чтобы выбрать тот или другой способ, мало знания народной жизни и смелости. Рассуждение министра финансов будет примерно таково: «Налогов новых вводить нельзя, бумажек, *кажется*, довольно: капиталы на рынке, *кажется*, есть свободные. Сделаем заем».

Шаткость этого рассуждения бросается в глаза. Западная доктрина здесь только запутывает человека. Но и без здоровой, ясной теории дело плохо. «Кажется» — критерий весьма плохой, а при смелости и совсем нехороший. Но что же тогда делать?

Теория, безусловно, нужна. Нужна истинная финансовая наука, широкая, верная, позволяющая точно определить, заем ли делать или бумажки печатать и *почему именно?*

Но этой теории нет. Финансовая наука еще не родилась, если не считать робких намеков, да таких теорий, *не дошедших* до выяснения истины, как рентовые билеты Цешковского или долговая теория Маклеода. На Западе, повторяем, финансовой науки нет, есть местные правила, есть финансовые системы для Франции, Англии, Германии, до известной степени пригодные. У нас тоже финансовой науки не создали наши экономисты, ибо до сих пор шли в хвосте западной мысли. Но в русской экономической литературе были, по крайней мере, ясные попытки осветить если не научные законы, то практику совершенно иного денежного обращения, чем на Западе.

III

Если бы кто-нибудь вздумал попробовать действительно научным образом изложить и осветить западные финансовые теории, он убедился бы с первого шага, что на Западе денежной теории *вовсе нет*, а есть теоретические рассуждения *о золоте как деньгах и о заменяющих его суррогатах*.

В самом деле, любопытно посмотреть, как золото стало деньгами и как воздействовало на построение этих своеобразных теорий.

Как определяет понятие «деньги» финансовая наука? Она говорит: деньги — единица измерения ценностей, как метр — измеритель длины, грамм — веса, литр — объема. Определение очень точное и научное.

Между парой сапог и четвертью ржи для определения их взаимной ценности необходимо вставить некоторую условную и непременно *постоянную* единицу. Мы говорим: пара сапог стоит десять рублей, четверть ржи — восемь. Единица для сравнения — рубль. Совершенно так же говорим мы: от Москвы до Петербурга шестьсот верст, от Петербурга до Колпина восемнадцать. Единица сравнения — верста.

Казалось бы, роль и значение этих единиц приблизительно одинаковы. Единица меры ценностей должна бы, научно говоря, иметь столь же отвлеченный характер, как и всякая другая единица меры. Если угодно придать этим единицам взаимную связь и постоянный характер, достаточно приурочить одну из них к какой-нибудь неизменной величине, а остальные приурочить к первой.

Метрическая система так и сделала. За основание взяла земной меридиан и одну сорокамиллионную часть его назвала метром. Объем кубического дециметра назвала литром и получила точную объемную единицу; вес кубического сантиметра чистой воды при известной температуре назвала граммом и получила точную весовую единицу.

А вот на единице ценностей наука споткнулась. Отвлеченную единицу ценностей установить оказалось невозможным по тем психическим элементам, о которых мы говорили выше. Потребовались гарантии против злоупотреблений; нормальный метр можно всегда проверить. Но удостоверению правительства в том, что все метры, выпускаемые с казенным клеймом, точны и сверены с нормальным, поверить было можно, какой-нибудь нормальный франк или рубль, если это кусочки металла, — тоже, но самое измерительное их качество,

идею ценности, в них заключающуюся, проверять оказалось невозможным, и наука так на этом и остановилась.

С самых отдаленных времен, после перехода античного мира с его натуральным хозяйством к хозяйству денежному, лучшими и почти единственными деньгами считалось золото. Оно действительно с большим удобством исполняло роль денег. Но в сущности это были не деньги, а был «всем нужный товар», разделенный на точные весовые количества. Понятие о деньгах, совершенно отвлеченное, было привязано, воплощено в металлическом кружке такого-то веса. Таким оно осталось и в наши дни: отвязать, освободить его не пыталась вовсе западная финансовая наука¹.

При всех неудобствах золота, при явной кабале, в которую *только ради золота* впадают иногда целые государства, оно давало единственную, но очень важную гарантию: прибавить по произволу золота было почти нельзя, в природе его немного, наличное все размещено в чью-либо собственность, следовательно, никакое злоумышление правительства не может нарушить естественного уровня цен; накопивший золото всегда богат, ибо невероятно, чтобы вдруг были открыты слишком обширные залежи золота и оно, сразу прибавившись в количестве, упало бы в цене.

Все это соображения очень веские, но с наукой ничего общего не имеющие.

Когда наступили новые века, жизнь и промышленность на Западе усложнились и золота как менового средства оказалось слишком мало, чтоб удовлетворить всем потребностям; и вот появилась финансовая наука, точнее говоря, были изобретены приемы, посредством коих из частного кредита, известного еще в древности, выросли последовательно кредит банковый и государственный.

¹ Указание на практику английских clearing houses возражением не будет. *Clearing houses* есть суррогат, обход необходимости в банковых билетах, которые сами суррогат золота. Но и у этого суррогата основа все та же: *разменность билета и золотой фонд*. Поколебите этот фонд — и весь английский обмен взлетает на воздух.

Писать историю финансов не наша задача, а потому, опуская все длинные рассуждения о том, как все это постепенно складывалось, довольно сказать, что для замещения крайне недостаточного золота были изобретены его суррогаты в виде банковых билетов, которые — указывалось на это с особым ударением — *с бумажными деньгами, с деньгами абсолютными*, ни к какому металлу, ни к какой реальной стоимости не прикрепленными, *ничего общего не имеют*.

Получилась следующая общепринятая в Европе комбинация: счет ведется по-прежнему на золото (не упоминаем о серебряной валюте в некоторых государствах и вовсе не касаемся моно- и биметаллизма, ибо это только бы усложнило и затемнило вопрос), у правительств по-прежнему связаны руки, но в большинстве государств рядом с правительством, под его контролем, хотя в полной от него независимости, учрежден национальный банк, ведающий денежным обращением. Этому банку предоставлено *в помощь и в замену курсирующего золота* выпускать под его обеспечение *в строго определенном количестве* банковые билеты, разменные на золото во всякую минуту.

Эту комбинацию придумала западная практика и вполне одобряет западная наука. Но как ни старается она связать руки государству и оградить карманы публики от финансовых колебаний, в жизни получается следующее явление: для государственного хозяйства или войны нужны деньги; правительство решается сделать внутренний заем и, стягивая в свои кассы известное количество золота, выпускает беспроцентные обязательства, свои или банковые, а чтобы не выпустить из своей казны золота, объявляет их неразменными и устанавливает принудительный курс. Получается как бы долг государства народу; в неблагоприятных случаях курс этих бумажек на золото падает, устанавливается лаж, и финансовая публика начинает кричать, что она обкрадена, что у нее взяли франк, а дают лишь 60 сантимов и т. д.

Основной характерной чертой этого строя является неизбежное экономическое господство одного народа или государ-

ства над другим во внешних сношениях и неизбежное господство денежной биржи внутри государства.

Взглянем на отношения Турции, Египта, какой-нибудь Аргентины или Сербии с их европейскими кредиторами. Разве это не формальная кабала?

А если заглянуть в царство биржи, то достаточно припомнить историю различных крупных спекуляций и крахов. Деятельность господ Ротшильдов, Блейхредеров и всего европейского еврейства выясняется во всем ее величии. Царство золота последовательно и логически убило истинную финансовую науку, связало все народы и государства мира одной огромной цепью и, словно рабов, повергло их к стопам всемогущего Израиля.

Достаточно развернуть и прочесть в русской книге Кауфмана о банках удивительный, невероятный, хотя по-своему и поэтический, гимн золоту. С первых же строк станет ясно, что никто, кроме еврея, ничего подобного написать не мог. Гимн этот настолько характерен и откровенен, что мы решаемся сделать небольшую выписку. Вот как определяет господин Кауфман драгоценные металлы:

«Богатство, принявшее форму золота и серебра, воплотившееся в драгоценно-металлическом теле, может всего более сохраняться, всего менее бояться разрушительного влияния времени, всего менее ему подчиняться и, напротив, само всего более над ним господствовать. Но золотое и серебряное тело сверх того имеет то преимущество, что оно одинаково предлагает свои услуги большому и малому богатству: золото и серебро почти до бесконечности делимы и потому могут в себе воплощать богатства самых разнообразных размеров. Они как бы представляют цель, которая может сокращаться и расширяться, *смотря по силам тех, кто к ней стремится*. И большая, и малая сила одинаково могут ее достигнуть. Вследствие того, что драгоценные металлы в малом объеме могут содержать большую ценность сравнительно с другими ценностями, они преимущественно перед другими годятся, когда имущество должно принять такую форму, в которой его

удобнее *скрывать от чужих взоров, от чуждого нападения и похищения*. Золотое и серебряное тело представляет таким образом наилучшую крепость, *за стенами которой имущество чувствует себя всего безопаснее*. Но золото и серебро не только лучше всего оберегают имущество в данном месте. С ним легче всего совершенно *избавить имущество от опасностей, которыми ему угрожает данное место*. Переодеваясь в золото и серебро, имуществу всего легче *убежать из опасной страны*: драгоценные металлы служат как бы шапкой-невидимкой имуществу. И куда бы с ними не явился их обладатель, повсюду он встречает спрос на них, повсюду он их может обменивать на необходимое. Драгоценные металлы *освобождают его от прикрепленности к данному месту и повсюду ему дают свободу, пропорциональную их собственному количеству*.

Какой бы мы ни взяли вид капитала, кроме драгоценно-металлического, всякий представляется нам с совокупностью особенностей, свойств и качеств, отличающих его от других видов капитала, делающих его годным на удовлетворение известной, определенной потребности, приноровляющих его к достижению одной какой-либо частной цели. Он представляет собой материал или орудие, нужные для заготовления того или иного вида вещи, простой ли необходимости или характеризующей роскошь; он представляет собой материал или орудие, нужные при заготовлении платья, жилища и т. д. Вообще всякий другой вид капитала, кроме драгоценно-металлического, представляет всегда какую-либо специальную и специфическую полезность. Золото и серебро вследствие универсальной общепризнанности их полезности составляют исключение. И они только одни составляют это исключение. Сами по себе взятые, они непосредственно весьма на многое годятся, но их можно обменивать *на что угодно, где угодно и когда угодно*. Кто ими обладает, обладает поэтому *каким ему угодно капиталом, в какое ему угодно время и в каком ему угодно месте*. То есть когда капитал принимает форму золота и серебра, он освобождается от всех тех ограничений, которыми его полезность стесняют качество, пространство и время. От всего, что стесняет

имущество, что суживает силу богатства, что прикрепляет его к определенному назначению, времени или месту, от всего этого драгоценно-металлическое тело его освобождает. В драгоценно-металлическом теле капитал получает полную и безграничную свободу. Неудивительно, что многие утверждали, что в этом теле капитал получает душу: он ведь свободно может подвигаться куда ему угодно, а прочность золота и серебра дает ему бессмертие, каким не может похвалиться человеческое тело. Англичане это выражают иначе. Они говорят, что всякий другой вид капитала представляет только один вид богатства; золото и серебро, напротив, представляют отвлеченное богатство (*abstract wealth*). Драгоценные металлы представляют собой то, что сосредоточивает на себе весь экономический мир, но не в бестелесной, а в осязательной форме. Это — *оживленная отвлеченность*. Несомненно, что самая высокая (во всяком смысле) абстракция, какую знает история прогресса человечества, представляется той, которая обобщает все проявления полезной (культурной) человеческой деятельности, что она ни создавала бы — хлеб, платье, обувь, жилище, песню, военную победу, политический порядок и т. д., какому бы времени, какой бы национальности она ни принадлежала, — все, словом, проявления деятельности обобщает как проявление общечеловеческого единства. Эта-то наивысшая абстракция имеет практическое реальное значение в той мере, в какой она воплощается в золоте и серебре, представляющих все ценности, выработанные культурой. За золото и серебро отдаются все эти ценности.

«Абстрактное богатство» обладает покупательной силой, подобно всякому другому богатству. Но его покупательная сила отличается своей чистотой или, вернее, своей очищенностью от всяких иных примесей (например, от нравственного закона. — *Авт.*). Это значит, что насколько драгоценные металлы служат не для удовлетворения одной какой-либо надобности из той совокупности их, которая входит в круг экономической жизни и в ней обособляется в особую группу, насколько, напротив, драгоценные металлы представляют общую возможность

добывать какую угодно из отдельных вещей и услуг, нужных для удовлетворения вообще означенных надобностей, — настолько они выделяются из общей массы имуществ и всей массе *противопоставляются*, как сила противопоставляется разнообразным результатам, которые она в состоянии произвести, как центр противопоставляется периферическим пунктам окружности, к которым ведут радиусы от него. Пока кто-либо имеет драгоценные металлы, он обладает *силой, которая его может повести к какому угодно из этих пунктов и по самому кратчайшему направлению*. Драгоценные металлы ставят обладателя ими в центральное положение, равно удаленное от всех тех пунктов, к которым ведет экономическое движение, и, стало быть, дающее возможность достигнуть с наибольшей скоростью. Вот почему покупательная сила драгоценных металлов дает возможность производить обмены с наибольшей скоростью. Всякий, кто обменивает свои товары или оказываемые им услуги на драгоценные металлы, становится через то в центр самого обширного круга, в котором он всего скорее может достигнуть каждого из его периферических пунктов»¹.

Если мы припомним историю еврейского народа после его рассеяния, его психологию с основной чертой грубой *утилитарности* и стремления к грубому же материальному владычеству над всем остальным человечеством, мы поймем своеобразную поэзию этих великолепных строк.

Вот оно, уже не только деловое, но чисто философское выяснение роли и значения золота. Безграничная свобода и, прибавим, безграничная власть капитала — капитала, не знающего ни родины, ни нравственных законов, — таков еврейский миродержавный идеал. И этот идеал, эта власть путем основанной на золоте денежной системы открыто провозглашены и могущественно легли над миром.

Какие усилия были употреблены, чтоб и Россию захлестнуть той же цепью! Но Бог, видимо, хранит нас. Мы только ослаблены и разорены, но не закабалены никому, да и не случится этого никогда. Нас спасет то, во-первых, что Россия не

¹ И. Кауфман. Кредит, банки и денежное обращение. СПб., 1873.

государство только, а мир, вполне самодовлеющий и экономически независимый, во-вторых, спасет сохранившееся именно в русском племени отвращение к грубой материальной силе в качестве идеала, спасет, наконец, истинная финансовая наука, которая должна же когда-нибудь явиться.

IV

Первым шагом на пути создания истинной финансовой науки должна быть победа именно над этим золотым предрасудком, полное отрешение от того взгляда, по которому драгоценные металлы отождествляются с деньгами.

Как только этот шаг сделан и, хотя бы только в нашем представлении, явились деньги, лишенные всякого вещного, товарного значения, деньги — знаки, деньги — измеритель и орудие расчета и учета, деньги, наконец, — представитель не реальной ценности, а некоторой идеи, уже мы будем в состоянии тотчас же приступить к изучению работы этих знаков и их роли в народной и государственной экономике.

Это, повторяем, единственно научный путь, и для его освещения у нас есть наша собственная долготелая финансовая практика. Многие и не подозревают у нас, что в действительности Россия с перерывами, но уже второе столетие живет на совершенно абсолютных деньгах, что золото и серебро давно перестали быть русскими деньгами и то, что считается какой-то экономической болезнью, каким-то несчастьем, есть в сущности исторический хозяйственный процесс, далеко выдвигающий нашу Родину впереди других цивилизованных народов.

Став на эту точку зрения, мы попытаемся уяснить законы денежного обращения, пока только по русским данным и применительно к России, обладающей, если не вполне реально, то, несомненно, потенциально, теми государственными и общественными условиями, необходимость коих чувствовал Родбертус. Расширить рамки нашего исследования и применить к этим законам данные и явления чужой жизни будет всегда возможно.

В наших предыдущих сочинениях мы уже обрисовали приблизительно эти законы, вытекающие из данных русской практики. Поэтому теперь мы выставим их в качестве ряда положений, которые и попытаемся посильно выяснить и доказать.

Положения эти следующие:

1) Меновой, денежной единицей в России есть и должен быть рубль, представляющий собой постоянную, совершенно отвлеченную ценность.

2) Эта единица на практике изображается бумажным знаком, выпуск и истребление коего принадлежат государственной власти.

3) Золото есть товар такой же, как и все остальные металлы, но ввиду того, что этот товар системой соседних государств принят за монетную, денежную единицу, нам в нашей международной торговле и сделанных ранее государственных долгах счета приходится вести на него.

4) Бумажный рубль, не зависящий от золота и выпускаемый по мере необходимости, позволяющий при правильной организации кредитных учреждений оживлять и оплодотворять народный труд и его производительность как раз до предела, до которого в данное время достигает трудолюбие народа, его предприимчивость и технические познания. Он является *мнимым капиталом* и действует совершенно так же, как и капитал реальный.

5) Существует весьма простой регулятор, указывающий во всякую минуту центральному кредитному учреждению, много или мало денег в стране, и позволяющий с величайшей точностью сжимать и расширять наличное количество знаков.

6) При системе финансов, основанной на абсолютных деньгах, находящихся вполне в распоряжении центрального *государственного* учреждения, господство биржи в стране становится совершенно невозможным и безвозвратно гибнет всякая спекуляция и ростовщичество.

7) Место хищных биржевых инстинктов занимает государственная экономическая политика, сама становящаяся добросовестным и бескорыстным посредником между трудом, знанием и капиталом.

8) При бумажных абсолютных деньгах является возможность истинного государственного творчества и образования все-народных, мирских или государственных запасных капиталов.

9) При бумажных абсолютных деньгах роль частного капитала изменяется в смысле отнятия у него захватываемой им в биржево-золотых государствах власти.

10) При государственном творчестве и запасах является совершенно иной взгляд как на налоги, так и на систему та-моженную.

Наконец:

11) Осуществление в полном виде системы финансов, основанной на абсолютных знаках, изменить самый характер современного русского государственного строя, совершенно освободив от посторонних влияний, усилив его нравственную сторону бытия и дав возможность проведения свободной христианской политики.

Если бы нам удалось доказать эти положения и обратить их в законы, их, надеемся, было бы достаточно, чтобы предлагаемой теории придать истинно научный характер.

Думаем, что это совершенно возможно. Доказательства наши могут быть, конечно, только исторические и логические, и они облегчаются тем, что в зародыше все это у нас уже есть или было и что все наши экономические и финансовые затруднения только тем и обуславливаются, что мы, даже практически уже почти придя к прекрасной денежной системе, все еще не решаемся открыто ее признать, все еще оглядываемся на старые учебники.

История наших финансов, начиная с графа Канкрин, полна оправдания самого ясного всему изложенному выше. К ней мы обратимся позднее, а пока рассмотрим выставленные тезисы.

V

Наше первое положение, то есть что *денежная единица* должна представлять некоторую *постоянную, совершенно отвлеченную меру ценностей* (у нас в России бумажный рубль), доказы-

вать теоретически едва ли нужно. Западная наука и некоторые из выдающихся ее представителей у нас, как, например, Н.Х. Бунге, не отвергают, что эта форма денег теоретически наилучшая, но она, по мнению правоверных финансистов, неосуществима.

А между тем наша русская практика показывает, что она не только осуществима, но и практически существует. Неужели же серьезно можно сказать, что наш бумажный рубль соответствует такому-то количеству золота и серебра, если тридцать или сорок лет подряд за этот рубль дают не то количество металла, которое на нем прописано, а то, которое устанавливает на каждый курсовой день биржа? Мало того, за эти сорок лет два раза правительство пыталось восстановить размен, то есть привести бумажки в точное соответствие с металлом, и что же? Дело кончалось каждый раз огромными убытками, рубль шел своей дорогой, а золото своей.

Нам говорят: рубль бумажный есть долг казны предъявителю. Казна *взяла в долг* золото и дала бумажку — вексель, по которому в любую минуту можно получить золото обратно. Рубль ходит как деньги *только потому* будто бы, что на осуществление рано или поздно этого обещания все надеются. Но как же надеяться на это обещание, если тридцать или сорок лет подряд казна совсем не платит по этим мнимым своим векселям и, уверены, никогда платить не будет? Если бы бумажные рубли ходили только в силу подобных надежд и простого торгового доверия, ясное дело, что после первой же приостановке размена доверие к ним совершенно исчезло бы и за них никто не дал бы ни копейки. Не правильнее ли заключение, вытекающее отсюда, что рубли внутри страны ходят только потому, что это настоящие абсолютные деньги, а не гарантии их каким-то золотом, которого никому не выдают? Не ясно ли также, что и для иностранцев, торгующих с нами, это обеспечение не имеет никакого значения, а важна покупная ценность рубля внутри России?

Иностранцу нужен, положим, лен. В России пуд его стоит пять рублей, заплатить за него иностранец может на золото, допустим, десять марок. Ясно, что эти десять марок обмениваются на пять рублей. Это наиболее простой случай, который

мы приводим, собственно, затем, чтобы показать, что золотое обеспечение, или эта магическая надпись на рубле, никакого практического значения ни для нас, ни для иностранцев не имеет. Чтобы совершенно уяснить абсолютный характер русских бумажек, достаточно себе представить, что завтра, например, правительство выпустит нового образца билеты, на которых вместо обычной надписи будет стоять: «Государственный денежный знак. Разменивается по предъявлению в каждом казначействе на знаки меньшего достоинства или на мелкую монету». Полагают ли господа финансисты, что русская публика и иностранцы, прочтя подобную надпись, придут в ужас и перестанут брать новые бумажки? Не думаем! Иностранцу это будет решительно все равно, лишь бы рубль сохранил в России свою покупательную силу, а русская публика, наверно, будет довольна, ибо не может русский человек мириться даже с таким наивным самообманом, жутко, неловко ему...

Когда граф Канкрин выпустил вместо прежних ассигнаций новые «кредитные билеты», он, в сущности, совершенно произвольно приурочил наш рубль к французским четырем франкам. Тогда Россия обменивалась с иностранцами правильно, в долги не залезала, путешественники не везли русского достояния проматывать за границу, тогда в заключение международного обмена почти каждый год приходилось не нам добавлять золота в пользу иностранцев, а обратно: золото это накапливалось в России и ходило в публике не только рядом с бумажками, но было часто даже несколько дешевле их, курс внешний был очень устойчив и благоприятен. После Крымской войны наш международный расчет совершенно изменился. Золото из России ушло, приплачивать иностранцам стали мы, а потому залезли в долги и обесценили на внешних рынках наши бумажки; но внутри России рубль остался все теми же царскими деньгами, хотя за него иностранные купцы и перестали выдавать четыре золотых франка.

Не ясно ли, что как ни хлопотать, а рубль стремится в России занять положение, независимое от золота? Не ясно ли, что к золоту его не привяжешь? Да и незачем привязывать. Это деньги

совершенно абсолютные, ставшие таковыми уже в силу простой давности, и сокрушаться об этом нет никаких резонов.

Некоторый, небольшой правда, лаж на бумажки — лучшее доказательство того, что бумажный и металлический рубль величины *всегда несоизмеримые*. Когда у нас скопилось иностранное золото и серебро и выпускалось правительством в публику, как русская монета она не дешевела значительно только потому, что имела в сущности такой же принудительный курс, как и бумажки, то есть служила законным платежным средством. Небольшой лаж выражал лишь сравнительное удобство бумажных денег. Но если бы правительство раз навсегда признало единственным законным платежным средством внутри страны бумажки и отказалось бы от чеканки монеты, цена на золото и при большом его избытии в стране установилась бы только как на товар. Право чеканки монеты потому и есть правительственная регалия, что дает казне всю разницу от удешевления металла. Наглядное тому доказательство — медь, из пуда коей, стоящего 14—17 рублей, бьются монеты на 50 рублей. Как только товарная стоимость меди превысит эту цифру, обязательный курс падет сам собой, медь переплавят в изделия и медная монета исчезнет из обращения.

Сокрушаясь о низком курсе, упрекая правительство в том, что за наш рубль дают всего 65 копеек золотом, мы высказываем положительную неблагодарность нашим прекрасным абсолютным деньгам. В книге «Деревенские мысли о нашем государственном хозяйстве» мы старались доказать, что этот низкий курс был для России поистине благодетелен, отстояв в самую критическую минуту ее экономическую независимость, а теперь позволяем себе думать, что первое положение совершенно доказано: *мы уже имеем в бумажном рубле ценовую единицу, совершенно отделившуюся от металлической своей валюты и ставшую абсолютными деньгами. Мы сжились с ними, и нам остается лишь их открыто признать и провозгласить.*

Второй закон сам собой заключается в первом и доказательств не требует, а потому переходим к третьему, который был нами сформулирован так:

«Золото есть товар, такой же, как и все остальные металлы, но ввиду того, что этот товар системой соседних государств принят за монетную единицу, нам в нашей международной торговле и сделанных ранее государственных долгах счета приходится вести на него».

И это положение требует для своего доказательства только справки с текущей действительностью, так как прямо вытекает из принятого определения бумажного рубля. Если этот рубль — деньги абсолютные, то золото ничем иным, кроме товара, быть не может.

Справка в области нашей финансовой практики укажет с полной очевидностью, что золото у нас именно есть товар.

Мы выпускаем монету, на которой написано «пять рублей», но эта монета вовсе не обращается внутри страны. ^{99/100} русского населения ни разу в жизни не произвели на нее ни одной сделки, а ^{9/10}, наверно, ни разу в жизни и не видали. Видят ее только заграничные путешественники, да и то редко, а главным образом, столичные жители на выставках меняльных лавок. И вот до какой степени это не деньги для России, что правительство особую русскую золотую монету даже *во все уничтожило*. Наш прежний полуимпериал был несколько больше 20 франков. Недавно введен новый, совершенно равноценный 20-единичной монете, принятой латинским монетным союзом, равный 20 франкам, левам, динарам, драхмам и пр. Это настоящая латинская монета, снабженная лишь профилем Русского Государя и надписью «пять рублей». Впрочем, эта надпись так же мало соответствует пяти рублям, как и надпись на кредитных билетах: «предъявитель сего...» и т. д. И вот наши новые полуимпериалы прекрасно обращаются как монета, как деньги за границей, а у нас в России, если б у кого и оказались, то прежде чем их употреблять, было бы необходимо *продать* их, разменять их *по курсу* на русские деньги совершенно так же, как золото в слитке или любую иностранную монету.

И здесь факт налицо, и его требуется лишь узаконить, провозгласить. Для этого достаточно было бы не писать на полуимпериале «5 рублей», а поставить вразумительно: «Рос-

сийская для внешних платежей монета. Двадцать...» существительное подберите, какое угодно, ни никак не «рублей», чтобы не было путаницы.

Но какая же надобность выпускать эту особую монету? Не гораздо ли проще расплачиваться готовой монетой латинского союза? Ответ на это самый простой: добываемое у нас золото при обращении в монету дает казне известный доход. Доход этот небольшой, но зачем же им пренебрегать?

Нам могут возразить, что по закону у нас валюта не золотая, а серебряная и что наша монетная единица не золотой, а серебряный рубль. Да, мы пытались это сделать, и одно время серебряные рубли у нас ходили. Но когда последовало перемещение относительных ценностей золота и серебра, последнее вовсе вышло из употребления и осталось лишь в качестве мелкой разменной монеты, да и то низкопробной, чтобы не было выгодно переплавлять. Рубли бьются на нашем монетном дворе и сейчас, но идут, как кажется, исключительно на Восток, в Турцию, Персию и пр. В России они совсем не ходят и сделки на серебряную валюту вовсе не совершаются ни во внутренних, ни в международных сношениях. А если мы пишем «сто рублей серебром», то пишем это по старой памяти, подразумевая в действительности «сто рублей бумажных». Никому в голову не придет требовать уплаты серебряными рублями, ибо и на них есть особый курс, и «сто рублей серебром» вовсе не равноценны ста серебряным рублям¹.

Наша низкопробная разменная монета — лучшее доказательство. Раньше была у нас монета полноценная, строго соответствовавшая принятой единице — серебряному рублю. Когда бумажный рубль отделился от металлического и золото потекло за границу, потекло за ним и серебро. Мы рисковали

¹ В ту минуту, когда мы пишем эти строки, цена на серебро настолько упала, что серебряный рубль стал дешевле кредитного и сам собою вышел из своей роли законной денежной единицы. Рубля в полноценной монете не принимают вовсе, а между тем низкопробные пять двугривенных, где серебра едва будет на 40 коп., ходят наравне с бумажным рублем, не ясно ли, что серебро — товар, а серебряная разменная монета тоже своего рода абсолютный знак вроде «медных ассигнаций» царя Алексея Михайловича.

совсем остаться без билонного (разменного) средства, и волей-неволей пришлось выпустить серебряные деньги с большим количеством лигатуры, переплавлять которые на серебро не было бы выгодно.

Полагаем, что после всего сказанного не может быть сомнений в том, что золото и серебро в нашем внутреннем хозяйстве *не деньги, а товар*, в торговле же нашей с иностранцами — *чужие деньги*, хотя частью и заготовленные на нашем монетном дворе, но *приравненные не к русским, а к латинским деньгам*.

Переходим к четвертому и пятому положениям. Здесь приходится ради их научного обоснования предпослать несколько слов о внутренней ценности или, точнее, покупательной силе бумажного рубля сравнительно с таковой же силой золота.

Чем обуславливается покупательная сила золота, мы уже видели. Золото никогда заметно не подешевеет, ибо его не может появиться вдруг слишком много. Покупательная сила золота, его внутренняя ценность пропадает лишь при совершенно исключительных условиях, например на корабле, на котором среди открытого океана кончилась провизия, или в осажденном городе, отрезанном от сообщения со страной. В остальных случаях в зависимости от внешних обстоятельств могут быть колебания в ту или другую сторону. Но большого обесценивания золота при сколько-нибудь нормальном порядке быть не может.

Суррогат золота — банковые билеты — гарантируются от обесценивания положительными установками банков, обуславливающими постоянную их разменность и невозможность их выпуска в количествах произвольных. Злоупотребления здесь крайне опасны и приводят прямо к государственному банкротству; страны же, правительства коих не в силах восстановить правильных международных расчетов, запутываются в долгах и фактически теряют свою самостоятельность (Египет, Турция).

Чем же обуславливается внутренняя ценность, или покупательная сила, абсолютных денег, не имеющих никакого отношения ни к какому металлу и выпускаемых государственной властью в России вполне свободно?

VI

Мы видим в жизни явление с точки зрения западных финансистов почти необъяснимое: русский рубль, величина совершенно отвлеченная, на деле изображаемая бумажкой, не имеющей сама по себе никакой ценности, ибо потребовать законной валюты за прекращением размена нельзя и не у кого, отлично ходит и обладает замечательной внутренней устойчивостью. Экспедиция заготовления государственных бумаг тут же в распоряжении министра финансов. Печь — клетка во дворе Государственного Банка. Никаких точных приемов для исчисления количества потребных в каждую минуту для страны кредитных билетов действующая система не знает, а потому выпуск и уничтожение знаков вполне произвольны. Завтра может быть подписан указ министру финансов о выпуске хотя бы двух или трех миллиардов знаков. Послезавтра может быть подписан противоположный указ, по которому верховная власть, согласившись на представление следующего министра финансов, что знаков слишком много, прикажет консолидировать их в процентные бумаги, то есть выпустить государственные облигации, а «лишние» бумажки снимет с рынка и истребит. Никаких формальных гарантий нет и быть не может. Между тем даже незначительные колебания менового средства производят огромные перемещения в экономической области, отражаются на всех ценах, на всякой работе, на всех предприятиях. Выпуск или уничтожение бумажек, производимые искусственно, а не *по законам денежного обращения*, могут совершенно изменить расположение производительных сил страны. По западному взгляду, в такой стране жить нельзя, как нельзя жить в стране, где не обеспечены жизнь, честь, собственность.

А мы живем, и если нам приходится иногда плохо, то по причинам совершенно противоположным, чем на Западе. Запад все ищет гарантий против возможных злоупотреблений верховной власти, находит эти гарантии в золоте и акционерных национальных банках и попадает в безысходную кабалу к бирже и ее царям. Россия добивается только одного: полной и

настоящей свободы для своей единоличной верховной власти, твердо веруя, что эта власть абсолютно нравственна и доброжелательна и что все экономические бедствия и неурядицы проистекают от недоразумений или злоупотреблений исполнителей царской воли, умевших так или иначе уйти от контроля и вызвать верховную власть на несвободное решение.

Поясним это на примере выпуска денежных знаков.

Огромность и разносторонность государственной работы в такой колоссальной стране, как Россия, таковы, что Русскому Государю нет ни малейшей возможности быть специалистом ни в какой области государственного управления. Его специальность — видеть перед собой беспрерывно общую картину России в самых магистральных ее линиях, смотреть на русскую жизнь с самой возвышенной точки зрения. Детали если ему и доступны, то не иначе, как в виде частных примеров, объясняющих направление магистралей.

От самодержавного Государя поэтому мы можем ожидать личной инициативы лишь постольку, поскольку это касается образа целой России, например в делах политических. Во всех же остальных случаях ему достаточно дать свое свободное и окончательное решение по заслушивании по меньшей мере двух противоположных мнений, подготовляющих и освещающих для него тот или другой вопрос.

Министр финансов находит, что для потребностей промышленности и торговли наличного количества денежных знаков мало и необходим их новый выпуск. На Западе ничего не стоит подготовить в желательном смысле парламентское голосование, а потому там спешат оградить страну от самой возможности выпуска, вырывая у правительства Национальный банк — экономическое сердце страны, создавая последнему независимое положение и обуславливая золотое обеспечение для банковых билетов.

В России, наоборот, все убеждены, что Государь никогда не подпишет указа о новом выпуске денег, пока не будет совершенно убежден в целесообразности этой меры, и все жаждут только того, чтобы Государю была полная возможность не

довериться лишь той или другой личности, но действительно *убедиться*, сверив доводы за и против мероприятия.

Таков русский народный идеал, столь глубоко укоренившийся в русских умах и сердцах, что Россия безропотно переживает тяжелую и долгую полосу финансовой политики, явно нарушающей этот идеал в надежде, что рано или поздно установится у нас настоящая, ясная и всем понятная финансовая система, при которой Государь, подписывая тот или иной указ, не будет болеть сердцем от неуверенности и сомнений, прав или не прав его министр, автор данного мероприятия.

И вот пока в области денежного обращения господствуют западные воззрения, пока искусство министра финансов является чем-то таинственным, наподобие колдовства или чернокнижия, мы видели пока одно явление: целый ряд русских Самодержцев, считая выпуски денежных знаков вообще делом весьма рискованным, прибегал к ним лишь в самых крайних случаях, охотно конвертируя, или уничтожая, денежные знаки и с крайней осторожностью разрешая выпускать новые.

Если бы существовала истинная финансовая наука, если бы государям, начиная с Александра II, не приходилось доверяться искусству выдвинутых общественным мнением или случаем лиц, призванных к заведованию государственным хозяйством, можно бы смело быть уверенным, что такая же мудрая осторожность была бы проявлена и в остальных отраслях финансового дела. Не было бы произведено ни бесполезной ломки старых кредитных учреждений, были бы найдены иные финансовые основания для великой реформы 1861 года, иначе были бы выстроены русские железные дороги, не было бы сделано столько угнетающих Россию внешних и внутренних займов. Но финансовой науки не было, были теоретики-доктринеры, рядившиеся в западную ученость. Верховная власть волеиневолей санкционировала *на веру* ряд мероприятий, объема и сущности коих не понимали даже сами их авторы, один за другим сходявшие со сцены, натворив бед России.

Вот почему здоровая и ясная финансовая теория, не чужая, не заимствованная, а своя, оригинальная, построенная

на тех же началах, на коих зиждется и наша государственность, — так необходима для нас. До сих пор разработке этой теории, возникновению истинной финансовой науки мешал наш бессознательный европеизм, отвергавший самые ее начала. Но его пора проходит.

Эти начала, утраченные Западом, но без коих вся западная культура лишается своего фундамента и вырождается в нечто, постепенно теряющее даже образ человеческий, — *любовь и доверие*, составляющие в своем целом единое *нравственное начало*, западной финансовой наукой совершенно игнорируемое. Наша верховная власть есть порождение и представитель именно нравственного начала, начала полного доверия и любви и полной свободы действий. Да, верховная власть без всякого протеста и противодействия, без всякого парламентского востума вправе завтра же выпустить или сжечь сколько угодно знаков, мало того, *вправе* объявить самую печальную войну, заключить самый невыгодный для России трактат... Но то, что она *вправе*, еще не значит, что она *сделает*, а если случайно и *сделает*, то не иначе, как по недоразумению, с самым искренним желанием добра стране или поддавшись ловко проведенному обману, предупреждать и охранять Государя от которого есть первый и священнейший долг верноподданного. Наша сила, наши гарантии лежат в том, что история создала и поставила нашу самодержавную государственную власть в положение ежеминутной ответственности перед Богом и собой, создала ей условия полнейшего бескорыстия и беспристрастия, окружила ее народной совестью и живым же народным мнением. При правильном действии указанных условий, при самодержавии истинном и свободном, без всяких формальных ограничений, не может не получить самого осторожного, самого консервативного правительства в мире. Нравственная сила — такая великая сила, что наша верховная власть даже среди обстановки, сильно уклонившейся от идеалов старой допетровской Руси, в вопросах экономических чаще ошибается в смысле чрезмерной осторожности, чем риска. Вечный недостаток у нас свободных бумажных знаков — лучшее тому доказательство.

Эту аргументацию мы считаем совершенно научной, ибо нравственное начало есть вполне положительная величина, долженствующая иметь в финансовой науке строго определенное значение. Введя ее в рассуждение, мы можем точно, *научно* определить внутреннюю стоимость бумажного рубля.

Внутренняя стоимость, покупная сила бумажного рубля основывается на нравственном начале всенародного доверия к единой, сильной и свободной верховной власти, в руках коей находится управление денежным обращением.

Это нравственное начало действует в том направлении, что все несовершенства существующей денежной системы сводит к простым ошибкам и недоразумениям, совершенно устраняя всякие иные дурные элементы, коль скоро определилось убеждение верховной власти в их вредности.

Это совсем не то, что на Западе, где добывающаяся власти партия или даже династия жертвует сознательно великими интересами родины ради своего господства и где сама власть бес-сильна бороться с колоссальными хищными эгоизмами биржевых владык, в руках коих находится экономическое сердце страны. Ниже эта разница будет указана в более полном виде.

В противоположность истории Запада вся наша история с глубокой древности, с призвания варягов, основана на доверии, и вот почему, между прочим, именно нам суждено было изобрести первые в мире государственные абсолютные деньги (Рошер). Как жаль, что наши историки совсем почти не касались экономических отправлений Древней Руси и едва-едва исследовали княжеские кожаные деньги. Нет никакого сомнения, что эти деньги (кусочки кожи с княжеской печатью) имели характер настоящих абсолютных знаков (а не банковых билетов). Они оказали могущественное содействие русской культуре и вышли из употребления (при Дмитрие Донском), когда благодаря выгодной торговле с иностранцами в России стало в больших количествах накапливаться золото и серебро. Правительственная власть начала чеканить монету, и в России явилось металлическое денежное обращение. Тогда оно было совершенно естественно, ибо если

в стране накапливается золото, то оно само собой стремится обратиться в деньги и заместить другие знаки. Но когда наличное количество золота в мире перестало соответствовать потребности в нем, когда выковалось острое оружие международной борьбы в виде западных банковых систем и когда, вследствие этого, удержание металлического обращения в стране с плохим международным балансом или отставшей в своем промышленном развитии равносильно ее разорению и кабале у евреев — королей биржи, счастлива та страна, которая, опираясь на свое государственное устройство, на силу и свободу своей верховной власти, порожденной нравственным началом, имеет возможность перейти к деньгам абсолютным и отречься от золота!

VII

Ниже мы надеемся с полной убедительностью доказать, что полноценность во внутреннем обращении денежного абсолютного знака находится в прямом соотношении с весьма несложными законами денежного обращения, стоящими в свою очередь в непосредственной и тесной зависимости от нравственного начала, положенного в основание государственного строя. Пока укажем лишь, что, поскольку это нравственное начало чисто и действенно, оно почти бессознательно приводит государственную власть к соблюдению законов денежного обращения. Как ни парадоксальным может показаться подобное утверждение, но в нем заключается глубокий смысл.

Если взглянуть на бумажный рубль как на простое расчетное средство, как на учетную квитанцию, выдаваемую третьим лицом, посредником между двумя лицами или группами, вступающими в сделку, тотчас же станет ясно, что свобода, обеспеченность и верность учета сделки станет в прямую зависимость от степени доверия контрагентов к их посреднику, от веры в его бескорыстие и беспристрастие. С другой стороны, именно на этих принципах полного бескорыстия и беспристрастия и стоит русская верховная власть.

Поясним это на частном примере. Для выяснения сложных и запутанных расчетов между двумя взаимно кредитующими друг друга предприятиями, владельцы коих сами расчесться не могут, приглашается бухгалтер; проверить его расчетов контрагенты не могут, но ввиду его заведомого беспристрастия и добросовестности заранее принимают его учет как верный и справедливый.

Бумажный рубль есть этот бухгалтер, непрерывно учитывающий сделки. Точность расчетов его зависит от его беспристрастия или от постоянства его внутренней ценности. Это постоянство, эта верность его как единица меры является вполне элементом нравственным, ибо зависит прежде всего от нравственных побуждений выпускающей рубли в обращение власти. А так как нравственные побуждения самодержавной власти заранее принимаются нами как безусловные, то совершенство или несовершенство бумажного рубля как счетчика зависит только от тех ошибок, которые могут быть допущены при выпуске и изъятии знаков, которые во всяком человеческом деле неизбежны и которые будут необходимо устраняться по мере обоснования и развития истинной финансовой науки, то есть по мере раскрытия законов работы абсолютных знаков.

Если мы спросим себя: что же такое бумажный рубль? — наша практика ответит нам: это отвлеченная денежная единица, которую когда-то хотели прикрепить к известному количеству металла, но которую жизнь с этим металлом бесповоротно раскрепил. Это *идейная единица меры ценностей*, выражающая собой *только акт посредничества* верховной государственной власти в наших хозяйственных сделках. Посредничество это абсолютно беспристрастно, нравственно и благожелательно, но ввиду невыясненности законов денежного обращения и несовершенства денежной нашей системы грешит *чрезмерной осторожностью в выпуске знаков* и потому пока *придает рублю большую внутреннюю стоимость, чем была бы его истинная*. Другими словами, во имя этой осторожности у нас денег в обращении мало, и потому деньги дороги.

Еще пятьдесят лет назад Цешковский давал следующую характеристику, что такое золото. Самое верное *обеспечение* ценности, но весьма плохой ее *измеритель*. Что такое бумажные деньги? Самый лучший *измеритель* и самое плохое *обеспечение*. Необходимо, следовательно, отыскать такую денежную систему, которая бы имела монетную единицу, совмещающую в полной степени как *обеспеченность* золота, так и *измерительную способность* бумажки.

Разумеется, эта задача Цешковского разрешима вполне только при принятом нами условии обеспечения в виде нравственного начала, лежащего в основе самодержавного государства. Это есть наилучшее *обеспечение* как постоянства денежной единицы, так и ее обращаемости, так, следовательно, и ее внутренней полноценности для граждан данной страны.

Определив, таким образом, внутреннюю стоимость, внутреннюю покупательную силу бумажного рубля, рассмотрим теперь, чем же обуславливается его внешняя покупательная сила, его постоянно колебательное отношение к международным деньгам, золоту? Что такое бумажный рубль для иностранцев?

Абсолютные деньги чужой страны, нечего и говорить, не представляют для иностранца никакой ценности. Для немца, не имеющего дела с Россией, русский рубль есть пестрая бумажка и только. Она *что-то* стоит, потому что за нее дадут в меняльной лавке некоторое количество золота те, *кому она нужна*. Кому же она нужна? Людям, которым приходится платить за русский товар. Но как эта бумажка попала в Германию? Эти бумажки привезены из России, где их променяли на золото. Зачем их меняли? Потому что русским нужно золото: платить за иностранный товар, платить свои металлические долги, проживать за границей.

Проследим этот круг, и мы увидим, что бумажка зарождается в России, попадает к русскому А. Тот меняет ее на золото у банкира Б. для закупки заграничного товара. Банкир Б. еще раз меняет ее на золото и передает иностранцу В., которому нужно платить за русский товар. Бумажка вернулась в Россию, золото вернулось за границу. Товар поменялся на товар. Деньги вер-

нулись в каждую область свои. Ценность русской бумажки для иностранца, таким образом, определяется тем, что за эту бумажку можно купить в России. Если эта бумажка полноценна и, так сказать, *полноверна* внутри России, то и для него она полноценна и *полноверна*, *поскольку ему нужен русский товар*.

Представим себе, что между нами и иностранцами навсегда прервались всякие торговые сношения. Никакого обмена, никаких расчетов нет. Золота за оставшуюся за границей случайно русскую бумажку никто не даст, ибо за нее *нигде нечего купить*. Ясно, что ее курс, ее внешняя ценность равна нулю, хотя внутри страны, в России, эта же бумажка будет вполне полноценна.

Невольно улыбаешься, когда говорят: кредитные билеты обеспечиваются таким-то фондом и серьезно несут этот фонд из одной кладовой в другую. Говорят, это нужно для иностранцев, а то курс упадет, доверия не будет. Но неужели же иностранец так наивен, что пойдет менять бумажку в этот фонд? Он ведь знает не хуже нас, что там ему ни рубля не разменяют. Он купил эту бумажку за 2 $\frac{1}{4}$ или за 2,5 франка и будет ждать, что ему дадут из фонда 4? Совсем не потому он дал только 2,5 франка, что на остальные 1,5 *пошатнулось его доверие* к русским финансам. Он им верит не хуже нашего. Он знает, что русский рубль не потеряет ничуть своей стоимости *в России*, пока он, иностранец, закончит хотя бы и долгую торговую операцию. Он дал 2 $\frac{1}{2}$ франка потому, что для него, для иностранца, на золото бумажка *больше не стоит*, потому что такая цена строго *определилась на международном рынке* в зависимости от нашего торгового обмена с иностранцами (не упоминаем про биржевые махинации и жульничество понижателей и повышателей, которое только усложняет, *несколько* изменяет здоровую, нормальную торговую цену рубля на золото и золота на рубли).

Когда золото и серебро перестали быть русскими деньгами (а они перестали ими быть, когда ушли из России и на них установился курс как на товар), наш международный курс стал простым обменом товара на товар. Будем вести счет на бумажную нашу валюту или на золото, результат будет один и тот же.

Вот образчик:

Платежи наши иностранцам, скажем, в таком-то году
(за все, что мы от них берем, считая здесь
и проценты по нашим им долгам) 100 руб. (золот.)

Платежи иностранцев нам
(за все ими у нас взятое) 90 руб. (золот.)

Разница 10 руб. (золот.)

Эти десять рублей (так называемых рублей) золотом мы должны в таком-то году приплатить, без чего баланс не сойдется. Мы не доплачиваем. Представим себе, что при начале года золото и бумажки стояли *al pari*, то есть 100 рублей золотом равнялись 100 рублям бумажным. Что получилось? Или мы задолжали 10 рублей золотом и выдали на себя металлическое обязательство, или за границей очутились лишние 10 рублей бумажных, не имеющих ровно никакой цены, потому что за них не то что нельзя, а *не нужно* ничего покупать. Что сделалось с этими бумажками? Их вернули в Россию вместе с прочими 90 рублями, сочтя 100 рублей за 90, то есть понизив наш курс, или стоимость нашего рубля на золото, на 10 процентов. Бумажный рубль уже не равен рублю золотому, как было в начале года, а стоит всего 90 копеек, или не 4 франка, а 3 франка 60 сантимов.

Но здесь вмешивается государство. Ему кажется это «падение рубля» опасным. Оно хочет удержать *пари*. Оно выдает металлическое обязательство на 10 рублей и платит за него проценты. На потомство ложится долг, но зато курс держится твердо.

Но вот наши платежи за границу растут против платежей *нам* непомерно. Проценты все увеличиваются. Наконец, правительство видит, что поддерживать искусственно курс — значит разоряться. Оно предоставляет дело рынку. Рубль бумажный, конечно, сразу падает. Курс начинает колебаться и, наконец, устанавливается на каждый срок как раз в соответствии с

международными нашими расчетами и следует за ними шаг за шагом. Уменьшается иностранный ввоз, увеличивается наш вывоз — курс повышается. Обратно — понижается.

Вот другой образчик расчета на бумажную валюту в другом году. Для простоты возьмем в начале года курс рубля в 2 марки.

Платеж наш иностранцам:

За все взятое 100 руб. = 200 мар.

Проценты по долгам 50 = 100

Итого 150 = 300

Платеж иностранцев нам 150 = 300

Баланс сведен, товары и долги покрыты нашими товарами; ясно, что рубль как был, так и остался на курсе 2 марок.

Представим себе теперь, что мы уплатили иностранцам по расчету на 150 бумажных рублей, а не 200, а у них взяли столько же, сколько сказано, то есть на 150 рублей (300 марок), курс упадет, и вычислить это падение нетрудно. Те же 300 марок будут равны 200 рублям, или рубль вместо 2 всего 1,5 маркам.

Обратно, предположим, что иностранцы уплатили нам на 100 марок больше. Ясно, что те же 150 рублей будут теперь не 300, а 400 марок, то есть рубль будет стоить не 2 марки, а $400 : 150 = 2,66$.

Эта простейшая схема так ясна, что позволяет употребить чисто математический прием доказательства для установки настоящего закона, определяющего взаимный курс золота и абсолютных знаков.

Внутренняя стоимость рубля, его покупательная сила обуславливается только его постоянством как единицы меры, то есть благонадежностью его выпусков верховной властью, только в меру действительной потребности народа в расчетном и платежном средстве.

Внешняя его стоимость обусловливается его покупательной силой внутри России и состоянием международного рынка, то есть нашими денежными расчетами с иностранцами.

Исключая постоянный элемент, то есть благонадежность внутри России и, следовательно, неизменную внутреннюю покупательную силу рубля, его внешняя стоимость, или курс, выразится в виде следующего финансово-научного закона (частного для России, конечно).

Курс рубля или отношение его к золоту находится в зависимости исключительно от международного баланса. Количество знаков, обращающихся в России, никакой здесь роли не играет.

VIII

Этот ясный и простой закон был превосходно освещен покойным Н.Я. Данилевским в его статьях, озаглавленных: «Несколько мыслей по поводу упадка ценности кредитного рубля, торгового баланса и покровительства промышленности», помещенных в *Торговом сборнике* за 1867 год.

Приводимый им пример представляет чисто научное упрощение нашего международного обмена и значения бумажных и металлических денег. Мы приводим в извлечении эту художественную и правдивую фантазию о деньгах Атлантиды:

«Предположим, — говорит Данилевский, — что среди океана существует остров, — назовем его хоть Атлантидой, — который не имеет никаких сношений с остальным миром и жители которого думают о себе, что они единственные разумные существо во Вселенной. Благоприятствуемые климатом, почвой и природными способностями, атлантидцы собственным трудом вышли из состояния грубости и достигли известной степени цивилизации. Условия жизни их до того усложнились, что они не могут более довольствоваться простой меной своих произведений. Скот, соль, раковины не удовлетворяют уже потребности их в том средстве, которое мы называем деньгами. Драгоценные металлы на острове есть, но острови-

тяне еще не открыли их. Мудрец, живший в то время между атлантидами, стал рассуждать, как помочь их горю, и вот, приблизительно, ход его рассуждений. Искомое средство должно иметь такие свойства, чтобы его можно было променивать на каждый товар и на каждое количество товара. Так как все товары делимы, то и наше искомое должно иметь соответственную делимость. Бараны и быки для этого не годятся. Соль и раковины, пожалуй, удовлетворяют этому требованию, потому что, назначив, что раковина соответствует самому малому количеству самого дешевого вещества, можно достигнуть того же, как если бы они были делимы. Далее, необходимо, чтобы средство всеобщей мены долго сохранялось, не уничтожаясь и не портясь. Соль для этого решительно не годится, раковины же, хотя с грехом пополам, удовлетворяют этому требованию. Но и этого еще мало: надо, чтобы нельзя было или, по крайней мере, очень трудно было подделывать наше общепринятое средство; а то все вместо того, чтобы настоящее дело делать, станут заниматься его подделкой, и никогда нельзя будет быть уверенным, что его не слишком много наделали. Раковины и в этом отношении, пожалуй, годятся. Надо, наконец, чтобы вещество, которое употребим на общепринятое средство, было достаточно редко, для того чтобы каждый не мог увеличивать по произволу количества его. Мудрец пришел к тому заключению, что ни одно из известных ему произведений острова не годилось для желаемой цели. Но почему бы, подумал он, не придать требуемых качеств какому-либо веществу искусственно? Возьмем, например, хоть кусок бумаги. Разной величиной или формой кусков можем удовлетворить требованию делимости; трудным рисунком, секрет которого будет известным лишь правительству, предупредим подделку; променом старых, износившихся бумажек на новые придадим ему неуничтожимость; наконец, ограничив количество их выпуска единственно потребностью торговли и промышленности, предупредим излишнее их накопление. Конечно, думал он, странно, каким образом вещь, сама собой ни на что не пригодная, будет вымениваться на всякий действительно полезный предмет; но ведь ценность вещи

основывается на ее пригодности для какого-либо употребления; быть же орудием мены есть употребление весьма важное, и как только мои бумажки станут на это употребляться, то тем самым приобретут они и ценность. Не то ли же самое со всяким предметом, пока не придумают ему употребления? Белая глина, которой у нас так много, не имела никакой цены, пока не придумали делать из нее фарфоровых сосудов, и с тех пор глина стала ценна; почему же и бумажки, когда они применяются к своему назначению посредством известного приготовления, а главное, посредством строго соблюдаемых условий их выпуска, так же точно не получают ценности, весьма хорошо удовлетворяя своему назначению? Проект был приведен в исполнение. Сначала определили условно, что бумажная единица соответствует такому-то количеству необходимейшего вещества, например хлеба, и в таком лишь случае прибавляли число денежных знаков, когда постоянный лаж удостоверял, что оно не достаточно для нужд промышленности и торговли. Таким образом утвердилась в Атлантиде полная доверенность к искусственному средству облегчения мены. Это был *первый период денежного обращения* в Атлантиде.

Через несколько столетий остров был открыт и вступил в торговые и иные сношения с иностранцами. Конечно, иностранцы не захотели принимать атлантических бумажных денег, но из этого затруднения вывернулись случайным открытием на острове золота и серебра. Атлантидцы так привыкли к своим деньгам, что не хотели переменить их на золотые и серебряные, а согласились на следующую сделку. Золото и серебро было собрано в особое хранилище и установлены ответственность бумажной денежной единицы известному весу этих металлов. Торговля стала производиться следующим образом. Атлантидцы приезжали в иностранные земли и покупали на свои бумажные деньги тамошние продукты. Иностранцы с этим деньгами приезжали в Атлантиду, выменивали их на золото в разменной палате и потом за это покупали атлантические товары. Получившие золото атлантидцы спешили в разменную палату и возвращали себе за золото

свои любимые бумажки. Это был *второй период атлантической торговли*, совершавшейся посредством размена билетов на золото и золота на билеты.

Вскоре обе торгующие стороны заметили, что совершенно напрасно затрудняют себя излишней процедурой двукратного размена, и стали поступать так: иностранцы, получив атлантические билеты, прямо покупали на них атлантические товары. Разменная палата опустела и чуть не была совершенно забыта. Своих товаров атлантидцы отпускали как раз на столько, на сколько покупали иностранных, и потому иностранные купцы брали бумажки, как если б они были чистым золотом, зная, что ведь нужно же будет им покупать атлантические товары, а на них и уйдут бумажки; разве ценили их немного дешевле за то, что в промежуток времени между получением бумажек и покупкой на них товаров они не имели для них употребления; но так как торговля шла непрерывно, то эта причина не могла оказывать сильного действия. Это был *третий период в развитии атлантической торговли*, в который размен на драгоценные металлы подразумевался и вместо прямого существовал, так сказать, косвенный размен. Цена бумажек и тут не падала, и невозможно вообразить никакой причины, почему бы ей было пасть.

Но вот атлантидцы развратились, забыли староотеческие обычаи и предания, пристрастились к различным удобствам жизни, приняли разные чужеземные привычки, которые могли удовлетворять лишь иностранными продуктами, и стали их накупать в гораздо большем количестве, чем отпускали своих собственных товаров. Очевидно, что при таком порядке вещей некоторое количество атлантических бумажек должно было оставаться в руках иностранцев, и когда их порядочно накопилось, иностранцы, конечно, не знали, что с ними делать. К счастью, вспомнили про разменную палату. Она снова была открыта, и золото потекло из нее рекой за границу. Атлантидцы вовсе об этом не беспокоились, так как не были заражены меркантилизмом. Таков был *четвертый период в ходе торговли и в судьбе бумажных атлантических денег*.

Период этот, конечно, не мог быть продолжителен, и однажды иностранные купцы, явившись променивать оставшийся у них излишек бумажек, услышали горестную весть, что променивать их не на что. То, что они считали деньгами и что было таковым в течение долгих лет, обратилось в простые бумажки. Они было хотели прекратить всякие сношения с атлантидцами, но те стали их успокаивать: “Чего вы опасаетесь? Ведь не нынче мы начали, не нынче и перестанем торговать с вами. Мы признаем за бумажками полезную их цену; отдайте их нам, а мы доставим вам на следующий год товаров на всю их стоимость, да еще проценты за то, что вы нам раньше срока деньги в руки дадите”. “Хорошо, — отвечали иностранцы, — но вы не берете в расчет, что на будущий год опять приедете к нам закупать наши товары в таком же количестве, как и за прошлый, а, пожалуй, и еще того больше, и захотите платить теми же бумажками, тогда как значительную долю наших товаров должны вы будете отпустить нам за те же уже бумажки, которые мы вам теперь отдадим, да проценты за них: таким образом, вы, наконец, должны будете отпускать все потребное для нас количество ваших товаров за старые долги, а на что вы будете вновь покупать? Так нельзя, а послушайте вот что. Вы покупали у нас в последние годы товаров на 150 миллионов, мы же ваших — только на 100 миллионов; следовательно, 100 миллионов ваших билетов имеют и для нас полную ценность, остальные же 50 с тех пор, как нельзя променять их на золото, все равно, что клочки тряпья. Так как, однако, на ваших билетах не написано, которые из них принадлежат к первой сотне и которые ко второй полусотне миллионов, то мы можем и будем принимать их вообще лишь за две трети их цены, а там что будет, то будет”. Так и решили, что внутри Атлантиды билеты будут по-прежнему в полной их цене, а во внешней торговле будут приниматься лишь в две трети их номинальной стоимости. Но на деле вышло не так. Всякий торговец туземными произведениями внутри острова стал рассуждать, что может ведь случиться, что на вырученные деньги придется ему покупать иностранные

товары, по отношению к которым бумажки стоят всего $\frac{2}{3}$ своей цены, да если не придется этого ему самому, то, пожалуй, вздумает рассуждать таким образом тот продавец, у которого он будет покупать внутренние продукты; следовательно, против такого риска надо себя обеспечить и нельзя принимать билетов в полной их цене. Наоборот, иностранные купцы стали думать каждый со своей стороны: положим, атлантические билеты стоят у нас лишь $\frac{2}{3}$ их номинальной цены; но ведь атлантические товары остались в прежней своей цене, и я смело могу рассчитывать, что сколь бы ни закупил их, все сбуду. Если поэтому буду принимать билеты не в $\frac{2}{3}$, а в $\frac{3}{4}$ или $\frac{4}{5}$ их цены, то мне охотнее будут продавать, я закуплю больше, чем другие, и увеличу свои обороты. Таким образом убедились, что билеты или вообще деньги имеют характер жидкости, то есть что цена их стремится прийти к одному уровню. Однако же, как и жидкости, вполне этого не достигают, если из двух действующих причин одна стремится возвысить или удержать жидкость на известной высоте, а другая стремится ее понизить, — убедились, что и тут по мере удаления действующей причины действие ее ослабляется в некоторой степени, почему резкие и крутые разности в цене, как полноценность на внутреннем и $\frac{2}{3}$ цены на внешнем рынке, рядом существовать не могут; и что, хотя на внутреннем рынке ценность билетов будет стоять выше, чем на внешнем, переход между этими двумя уровнями будет однако же постепенен и разница между ними не так велика. Тем не менее понижение цены билетов всех изумило; говорили: “Кажется, условия, предписанные древним мудрецом, исполняли мы в точности, лишних билетов не выпускали, были мы в этом отношении скорее скупы, чем щедры, и однако же билеты упали”. Имя виновника стольких бедствий готовы были предать проклятию, пока следующие соображения не привели атлантидцев к более справедливому образу мыслей: “Ведь мудрец, рекомендовавший употребление бумажных денег под единственным условием благоразумного и умеренного выпуска их, жил в то время, когда мы думали, что, кроме нас, на свете никого нет;

когда, следовательно, атлантическая ценность и всемирная ценность были выражениями тождественными. Он говорил, что бумажные деньги могут служить, при известных условиях, представителями атлантических ценностей, и они служили ими вполне; мало того, дальнейшая судьба их показала, что посредством косвенного размена они могут служить отчасти и представителями иностранных ценностей, именно такой доли их, которая равняется ценности нашего отпуска. Его ли вина, если мы захотели, чтобы наши билеты сделались представителями не только наших, но и вообще всемирных ценностей, без всякого ограничения?”»

Какова была дальнейшая судьба атлантических денег, мне неизвестно. Но из участи их доселе оказывается несомненным, *что ценность бумажных денег не зависит исключительно от того, соответствует ли их количество внутренней потребности в этих деньгах, а зависит также и от хода внешней торговли.* Конечно, в действительности торговые сношения происходят не так, как в нашем примере; но все различия в этом отношении усложняют только процесс, нисколько не изменяя его сущности; и так как, думаю я, нельзя указать на какую-либо ошибку в изложенном ходе торговых сношений и их влияния на ценность билетов, то и должно признать, что торговый баланс может оказать влияние на ценность бумажных денег».

IX

Когда, таким образом, установлен закон *независимости нашего внешнего курса ни от фонда, ни от количества рублей внутри России* при условии их в ней полноценности и полнотверности (а это в свою очередь обусловлено всенародным доверием к верховной власти), необходимо для обоснования и доказательства следующих двух законов поставить и исследовать вопрос: *сколько же должно быть в обращении у нас знаков?* В чем выражается их недостаток? Где предел потребности в них? Начиная с какого момента знаки становятся излишними и их покупная сила, их внутренняя стоимость ослабевает?

Если мы из огромного окружающего нас моря экономических явлений возьмем наиболее типичные для характеристики недостатка в знаках, то увидим следующее.

Я землевладелец. Чувствую, что мое хозяйство идет очень плохо. Исполная система никуда не годится. Рядом хозяйство многопольное, с винокуренным заводом, с клевером, с хорошим скотом. Пора бы перейти и мне на такое же. Но я не могу. Денег нет. Чтобы завести такое хозяйство при моей поверхности землевладения, у меня должен оборачиваться капитал в 10—15 тысяч рублей. Имение мое стоит 30 тысяч по банковской оценке; 60 процентов, то есть 18 тысяч рублей, я получил и уплатил старые долги. Под вторую закладную мне дадут 8 тысяч, но возьмут с меня в год минимум 960 рублей процентов. Этого мне не хватит, и подобного процента я платить не могу. Соло-векселя? В отделении Государственного Банка рассмотрели мое нынешнее хозяйство и посулили мне только 1800 рублей, ибо мой нынешний оборот 3000. Есть возможность получить кредит от 3 до 5 тысяч рублей в местном взаимном кредите за 9—10 процентов годовых. Наконец, есть возможность учесть векселек-другой в частных руках за копейку в месяц. Нет уж, придется оставаться при старом положении. Получаю в год 1200 рублей дохода, мог бы получать тысяч пять, ничего не поделаешь!

Мы должны согласиться, что для России это не средний, а много «выше среднего» случай. Сидит этот землевладелец прочно, не должает и жалуется *только* на то, что вместо 5000 вырабатывает 1200 рублей. Нечего и говорить, что огромное большинство не имеют и этого и бьются, нуждаются и смотрят на подобного счастливец с завистью.

Поискем определенного признака недостатка знаков, так как ясно, что *самый недостаток* налицо.

Соло-векселя оставим в стороне. Это кредит, во-первых, почти филантропический, а во-вторых, совершенно недостаточный (ибо дается не на будущий *большой* оборот, а на настоящий *малый*). И при этом, кажется, сделано недавно распоряжение (секретное) не давать никому полной нормы;

по крайней мере, кому следует 1000 рублей, тому открывать кредит только на 500¹.

Рассмотрим обыкновенный, нормальный кредит.

Заметим, что *личного* земледельческого кредита почти нет, а есть лишь под обеспечение свободной стоимостью имущества. Землевладелец может получить деньги:

Под вторую закладную за 10—12 процентов;

Из местного общества взаимного кредита за 9—10 процентов;

Под вексель от частного лица за 12—18 процентов.

При этом во всех случаях кредит крайне ограниченный. Большой суммы денег достать невозможно. Ограничивают поэтому, что свободных денег нет.

В лучшем случае хозяйство может дать 6—7 процентов при огромном личном труде и при большом риске или жизни впроголодь. Спрашивается: можно ли брать деньги при этих условиях? Ясно, что хозяйство будет вестись по-прежнему и вместо полной продуктивности таковая будет в $\frac{1}{10}$, $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{4}$ нормальной или будет расхищаться капитал, то есть опустошаться земля.

Нужно ли говорить про крестьянина? Хороший, зажиточный мужик для покупки, например, лошади вместо павшей или для уплаты податей (не вовремя) закладывает семенной хлеб, холсты, инструменты, одежду за 5 копеек процентов в месяц. В уездных городах целые улицы застроены амбарами, исключительно ростовщическими, где хранятся полушубки, шерсть, кудель, нитки, сарафаны и пр., и пр. Пять копеек в месяц, или 60 процентов в год, это еще *сносно*. Бедняки без залога и за этот процент не получают ссуды. Для тех существует такой кредит.

В апреле берется в долг четверть ржи ценой в 7 рублей.

За процент убирает в июне $\frac{1}{2}$ десятины луга — 4 рубля.

В августе отдает четверть ржи — 6 рублей.

Или же за взятые на 4 месяца 7 рублей платит 3 рубля процентов, то есть в год 12 рублей, или 158 процентов.

¹ Так делали, напр., еще недавно в Смоленском отделении Государственного Банка.

И эти оба вида кредита не самые плохие, а только средние или, пожалуй, выше среднего. А, например, такой случай, лично виденный нами. Приходит баба просить почтовую марку. Денег нет. Письмо нужно отправить экстренно. За одолжение 7 копеек на неделю баба полола<...> дня и была очень довольна. Знаете, из каких это процентов получился кредит? Считайте день бабы только в 35 копеек (летний), и окажется, что за неделю она заплатит 250 процентов, или в год *тринадцать тысяч на сто*.

Это, разумеется, курьез, хотя и математически точный.

Фабрикант платит: крупный, имеющий учет в Государственном и больших банках, — 6—7—8 процентов, маленький, кредитующийся кое-где, — 9 и 10 процентов. За ограниченностью банковского кредита все, даже очень крупные фирмы, при хороших делах тихонько бегают к дисконтерам и платят 10 и 12 процентов.

Полагаем, распространяться дальше не сто́ит. *Признаки* недостатка знаков налицо: 1) *высота процента за наем денег*, 2) *обесценивание труда*.

Оба эти признака теснейшим образом связаны между собой: вследствие недостатка денег процент или плата за их наем становится непомерным и параллельно с этим труд, постепенно дешеветь, совершенно обесценивается.

Баба, очевидно, ровно ни во что считавшая свой полудневный труд, — пример очень яркий. Но не менее яркий пример и такой: очень добросовестный арендатор дает за имение 1000 рублей аренды. Владелец не соглашается и, начав работать сам, вырабатывает 1200 рублей. Другими словами, за свой годовой поистине каторжный труд он выработал 200 рублей или, откинув проценты на (мысленное) страхование от рисков, например 100 рублей, получил всего 100 рублей, то есть меньше, чем жалованье самого убогого волостного писаря. Положим, что в этом труде было наслаждение, то есть некоторый нравственный элемент. Но ведь *денежно*-то этот труд вполне обесценен.

Политическая экономия определяет капитал как концентрированный прежний труд, являющийся орудием новому труду. *Недостаток денежных знаков, возвышая плату за наем*

капитала, отделяет, отрывает его от труда будущего, обезценивает, парализует этот труд, отдает его в кабалу и ставит элементы праздные — в положение, господствующее в стране, элементы трудовые — в рабство им.

Примеряя эти соображения к жизни, легко понять, что это не про Америку говорится, а про матушку Россию, где только благодаря западной финансовой доктрине, отводившей глаза русскому финансовому ведомству за последнюю четверть века, вместо старого добродушного крепостного права юридического создано новое, в тысячу раз тягчайшее, — крепостное право экономическое.

Господа: биржевики, дисконтеры, спекулянты, рантьееры, чиновники.

Рабы: землевладельцы, земледельцы, промышленники, рабочие.

Вот прямые последствия *недостатка денежных знаков* и вместе с тем его точные признаки.

Но возвращаемся к основному рассуждению и ставим второй вопрос: где предел потребности жизни в денежных знаках? Есть ли такой предел?

Несомненно, есть, и его можно выразить в форме следующего закона, который мы и постараемся доказать.

Увеличение числа знаков необходимо и полезно до тех пор, пока новые, добавочно выпускаемые их количества вызывают новый, не производившийся дотоле труд или возвышают производительность и результаты труда прежнего.

Что такое отпечатанная в Экспедиции заготовления государственных бумаг бумажка до момента ее выпуска в публику? Это не что иное, как *ассигновка на труд*, расчетный знак, ожидающий сделки, которую он учтет. Пока этот труд не произведен, пока сделка не совершена, знак этот никакой цены не имеет. Это не та засаленная и пропотевшая бумажка, которая вернулась в казначейство и только удобства ради меняется на чистенькую, свеженькую бумажку. То деньги настоящие, полноценные деньги, уже работающие, уже государству как бы не принадлежащие. Мы говорим про новенькую, новорожденную

бумажку, идущую не в обмен на другую, а вполне независимую, самостоятельную.

Представим себе простейшую схему: сидит в деревне уволенный в запас солдат Иван Сидоров. Выучился он в крепости, скажем, кирпич обжигать. Завел бы маленький кирпичный заводик и работал бы сам, да с ним односельцы в свободное время — нельзя; нужно 300 рублей на дрова, на постройку, на расплату за сырец, за инструмент. Заложить нечего, кредита даже и за 60 процентов в год нет. Ну, значит, и сиди, празднуй или ходи на поденщину за 30 копеек, да и то, когда экономия позовет, потому что и там, по безденежью, все работы сокращены. Ни труда, ни производства нет, люди просидели праздну, Иван Сидоров от скуки только пьянствовал. Заработает что-нибудь урывком — не стоит беречь, не накопишь 300 рублей, взял и пропил.

Представьте, что каким-нибудь чудом Иван Сидоров получил вот эти 300 новорожденных бумажек на десять лет, в рассрочку из 5 процентов. Он построил заводик и начал работать. Платит свои взносы очень аккуратно, так как дело идет хорошо и платеж льготный. 45 рублей вернулись в казначейство в первый же год. Они состоят из двух величин: 30 рублей возврата ссуды и 15 рублей чистого дохода казны, потому что операция не стоила ей ничего. Что такое эти 30 рублей? Теперь это уже не бумажка, а измеритель действительных ценностей, необходимый для обращения, ибо где-то в Церевококшайске или под Сызранью идет новое дело, кипит новый, *ранее спавший* труд, и вокруг кирпича совершается бесчисленное количество новых оборотов. Сидоров сшил себе полушубок (а то бы еще год ходил в старом). Матрена-работница купила два платка и скормила своей семье семь пудов лишней ржи (без работы ели меньше). Кроме того, пили чай. Все заработали, все *увеличили потребление*, все поправились, и эта поправка, в микроскопической, правда, доле, но отразилась и на доставке чая добровольным флотом, и на ивановском сахарном рынке, и на ивановской набивной фабрике. Увеличились все обороты, 300 рублей влились, словно киро-

син, в гаснувшую лампу. Спрашивается, что должно сделать правительство с возвращенными ему 30 рублями? Сжечь их как свободные или ненужные? Нельзя, это явно стеснит промышленность, ибо обороты расширились, а меновое средство не увеличилось. Нельзя их сжечь — их пускать, немедленно дальше пускать надо! Бесчисленное множество этих Сидоровых протягивают руки за ним. И они сидят без работы, и они могли бы работать, да нечем, инструмента нет...

X

Мысль о прямой творческой способности бумажных знаков, правда не в виде знаков абсолютных, а только заместителей золота, высказывалась, хотя и туманно, западными финансистами и составляет часть известной теории кредита. Но из всех западных построений нет никакой возможности прийти к *теории мнимых капиталов*, которую я изложу ниже и которая ближайшим образом истекает из существа абсолютных денег. На это их свойство намекал покойный Н.Я. Данилевский в своих, к сожалению, немногочисленных экономических работах. Яснее говорили об этом русские практики и представители здоровой русской мысли, покойные Шипов и Кокорев. Она ярко просвечивает в посмертном труде Н.П. Гилярова-Платонова «Основы экономии». Затем по этому поводу впервые были высказаны нами в «Русском деле» следующие соображения по вопросу о постройке Сибирской железной дороги, соображения, сполна принятые и осуществленные правительством позднее.

Вот что говорится в передовой статье 3 «Русского дела» за 1888 год:

«Неужели нужно для постройки железной дороги средствами государства непременно занимать деньги, отыскивать чужой капитал и только обращать его в недвижимость, рискуя доплачивать огромные суммы, если эта недвижимость не даст условленных четырех или пяти процентов владельцу капитала? Не проще ли создать эту недвижимость из произвольно лежащих: труда и естественных богатств?

Предположим, что государство решает строить Сибирскую дорогу по частям, расходуя в год, например, 50 миллионов рублей, и производит специально для этого соответственный выпуск кредитных билетов. Эта сумма при денежном обращении в 1 100 миллионов не повлияет заметным образом на наш денежный рынок и тем более не уронит нашего курса. Она вся целиком распределяется среди рабочего люда и промышленников, которые получают заработок на дороге. Каждый из участников этой работы исполнит труд, которого он иначе бы не сделал, и вследствие этого увеличит свое потребление: крестьянин купит больше хлеба и мануфактурного товара. Инженер, администратор, писец, бухгалтер, сторож — все увеличат свое потребление; заводы и их рабочие, увеличив свою работу, увеличат потребление в равной мере. Вся сумма в 50 миллионов пока чисто фиктивных знаков, каковыми несомненно будут выпущенные бумажки, пойдет в народное обращение и при каждой сделке, при каждой передаче вызовет некоторый новый труд, *который иначе не был бы совершен*.

Увеличение труда, сбыта, потребления почувствует немедленно вся без исключения промышленность. За границу из всей этой массы труда не будет уступлено ничего, ибо все нужное может и должно быть сделано дома.

Таков первый момент. Результата труда мы еще не касались. Отметим пока это оживление и припомним, что совершенно таковое же и тем же путем было достигнуто во время последней войны. Вся Россия усиленно работала на выпущенные бумажки. Прилив средств чувствовала вся промышленность, и в это время она сделала громадные успехи.

Но отсюда начинается разница. В результате войны получился: в материальном отношении — даром затраченный труд (вся сумма его пропала), в нравственном... позор! Усиленная работа кончилась, спрос и труд сократились, дух поник. Доктринеры признали, хотя к тому не было никаких оснований, избыток кредитных билетов и конвертировали его в бумагу-товар. Начался ряд кризисов, продолжающихся до сегодняшнего дня.

Результатом выпуска 50 миллионов бумажных рублей для постройки железной дороги будет то, что увеличившаяся во время постройки покупная и потребительная сила народа увеличится еще по ее окончании. Такая железная дорога, как Сибирская, по достройке хотя бы только первого участка уже вызовет целый ряд новых, до сих пор не производящихся оборотов и промышленных предприятий. Выпущенные совершенно фиктивно поначалу знаки не только не окажутся лишними, но вызовут потребность в еще новых количествах знаков, ибо если от 50 миллионов лишних рублей наше денежное обращение увеличится на $\frac{1}{22}$, то от постройки первого участка Сибирской дороги и при самой этой постройке количество сделок и оборотов в России возрастет на величину еще большую.

Если посмотреть на вопрос с другой стороны, то окажется, что государство сделало следующее: оно выдало вперед ассигновку на труд. Этот труд совершился, дорога создавалась, так сказать, из ничего (так как без этой ассигновки труд этот не был бы совершенен и пропал бы даром), ассигновка обратилась в нечто реальное, в недвижимость, изображаемую новой железной дорогой, а главное, в новый ряд непрерывно идущих сделок. И вместе с тем государство получило ее даром, так как выпущенные знаки брать назад не приходится. Это уже не те фиктивные знаки, которые были выпущены, это уже оплодотворенные народным трудом совершенно реальные *деньги*, орудие известных торговых и промышленных оборотов, которых бы без этой новой дороги не было».

Это и есть в своем первоначальном виде *теория мнимого капитала*, совершенно заменяющего капитал реальный, заключающийся в выраженных золотом или иными ценностями сбережениях. Разумеется, эти мнимые капиталы работают с полной силой только в руках центральной государственной власти (мальцовские деньги показывают, что то же возможно и в частных руках, но это государство в государстве), оживляют и вызывают народный труд только тогда, когда вызвать этот труд возможно, то есть когда его элементы уже есть налицо в виде материалов, рабочих рук и умственных сил.

XI

Чтобы уяснить себе практические условия приложения к жизни теории мнимых капиталов, необходимо рассмотреть ее пределы, то есть условия, определяющие *излишек* и *недостаток* денежных знаков в государстве.

Признаки недостатка в знаках совершенно, думается нам, могут быть уяснены на приведенных двух примерах.

Эти же примеры в обратном виде могут отлично послужить для уяснения признаков как нормального количества менового средства, так и *избытка в знаках*.

Представим себе, что правительство, следуя этой системе, начнет пускать в оборот все большие и большие количества денежных знаков. Предположим далее, что ни одного из них не употребляется на текущие государственные расходы, а все идет только на оживление труда. Строятся железные дороги, элеваторы, порты, производятся обширные работы по орошению, лесоразведению. Расширяется помощь фабрикам, заводам, сельским хозяевам. Щедрой рукой кредитуются Иваны Сидоровы через посредство ли земств или артельным порядком, за круговой ответственностью. Труд растет гигантскими шагами. Оживляется потребление, а следовательно, множество побочных промыслов. Трудящийся человек поднимается в цене, ибо ему не только создается работа *вообще, какая-нибудь*, но у него является уже *выбор работы*. На фабрике платят дорого, в экономиях тоже, сам затеет что-нибудь — заработает еще больше. Навстречу этому росту вознаграждения труда понижаются постепенно цены на предметы жизни вследствие большего и выгоднейшего их производства, ростовщик и тунядец хиреют. Что делать дисконтеру, когда благодаря обилию денежного средства в стране торговля деньгами становится совсем безвыгодной? Процент за наем капитала понижается, ростовщики и рантьееры сами начинают бегать, искать помещения для своих денег. Основывают акционерные общества, придумывают новые предприятия и сами *работают в них*.

Наконец, наступает момент *насыщения*. Новых знаков не нужно, употреблять их производительно *некуда*. Можно бы и еще построить железных дорог, необходимо подождать: инженеры, землекопы все заняты, а так как рвут в разные места, то они слишком подняли цены на свои услуги. Можно бы заняться с выгодой каменными постройками — опять надо обождать: все каменщики заняты, потому что постройка идет повсюду. Можно бы расширить запашки, заменив человека машинами? Трудно, хлеб подешевел. Основать еще фабрики? Трудно, подешевели сукна, ситцы, машины, мебель, *подешевело все, где человек играет роль второстепенную, вздорожало все, где нужен личный труд, личное искусство человека*.

А главное, за деньгами никто не бежит, никто их не ищет, никто из-за них не кланяется. Процент, получаемый лежа на боку, так низок, что *деньги бегают за человеком*, деньги служат человеку. У нас изобретатель — синоним человека голодающего. При тех условиях изобретатель — владыка. Да так и быть должно, ибо изобретатель изображает цвет лучшей формы человеческого труда — труда умственного.

Итак, вот признаки надлежащего количества знаков:

Удешевление денег как предыдущего капитала производства.

Удешевление денег как знаков, как оборотного средства, то есть понижение процентов.

Удешевление всех машинных производств.

Удешевление жизненных припасов и обстановки жизни.

Вздорожание личного труда.

Торжество и огромная оплата труда творческого и вообще умственного.

Читатель чувствует, что это уже не про матушку Россию идет речь. Это уже Америка живьем, представляющая налицо большую часть указанных элементов. Тут и рабочий, два раза в неделю меняющий белье и спящий на пружинном матраце. Тут и деньги, которых девать некуда. Тут и Эдисон, полубог промышленности, и двадцатипятиэтажные дома, и все чудеса Нового Света.

Нам могут возразить, однако, что в Америке металлическое обращение. В Америке золотые деньги. Америка задыхается от изобилия золота.

Совершенно верно. Все это возможно и при золоте как деньгах. Разница будет лишь та, что, во-первых, при золоте все подобное может быть достигнуто лишь хищным путем, на чей-либо счет. Америка втянула в себя половину мирового золота путем прямой обиды для остального человечества. Во-вторых, как ни высока в Америке промышленность и как ни развита банковая система, но каждую минуту промышленность не обеспечена от потрясающих кризисов вроде разыгравшегося летом 1893 года и вызванного только тем обстоятельством, что золото и серебро, будучи деньгами, являются одновременно и товаром и как таковые подлежат действию тех *стихийных* сил, от которых абсолютные деньги, товарного качества не имеющие, могут быть совершенно изъяты. Самостоятельная экономическая страна, как, например, Россия, достигнет при системе абсолютных знаков того же необъятного экономического развития, не отняв ни у кого ни куска хлеба и не рискуя ровно никакими кризисами.

Да, наконец, ведь и Америка развилась только при помощи своих *гринбеков*, бывших в свое время почти абсолютными знаками. Разница была лишь в том, что эти деньги и выпускались не центральной властью, а каждым штатом, источником их было не *единодержавие*, форма русская, а *федерация*. При помощи *гринбеков* Америка оплодотворила свой народный труд, затем запретительными тарифами изолировала себя от потребления продуктов чужого труда, *но сама свой труд умела навязывать иностранцам*. Ей приплачивали золотом все, с кем она ни торговала, золото накопилось и заменило *гринбеки*. Мало того, его накопилось так много, что оно начало обесцениваться так же точно, как будут обесцениваться бумажки, когда их количество превзойдет здоровую в них потребность, *когда делать с ними будет более нечего*. Затем неожиданно обесценилось серебро, резко нарушилось его давно установившееся отношение к золоту, и так как серебряный доллар есть

не только *de jure*, но и *de facto* монетная единица, то понятно, что наступило жестокое потрясение всей американской промышленности, конец которого пока трудно даже предугадать.

Наступившее, начиная с Америки, всеобщее падение серебра отразилось и у нас и дало новое великолепное доказательство превосходства нашей абсолютной денежной системы. У нас, как известно, «неприменяемая и законная единица» всех денег, обращающихся в государстве, — серебряный рубль такого-то веса. Пока золото и серебро были твердо связаны между собой, из России оба металла ушли одновременно. Чтобы не остаться совсем без мелкой разменной монеты, было необходимо выпустить низкопробную, так называемую билонную монету, имеющую значение не монеты, но тех же почти ассигнаций. В пяти двугривенных серебра было значительно меньше, чем не только в полноценном рубле, но даже в полтиннике.

Наступает обесценивание серебра. Сначала серебряный рубль, ставший таким же товаром, как и полуимпериал, ценился ниже рубля золотого, но выше рубля кредитного. Затем на минуту он сравнялся с кредитным и рубли появились у нас в обращении, но отнюдь не в качестве «законной и неприменяемой» монеты, а просто как новинка, как курьез.

Прошло всего месяца три. Затем серебро подешевело еще и полноценный серебряный рубль, законная монета, стал дешевле рубля кредитного. И вот эту нашу законную основную единицу перестали принимать частные люди, затем и казенные учреждения. Правительство сначала перестало чеканить рубли, затем начало отказывать в переделке на монету частного серебра (ибо это могло вызвать великие злоупотребления: вы принесли серебро, купленное вами за 80 рублей на вес, и должны получить монеты на 100 рублей!) и, наконец, распорядилось исключить серебро вовсе из разменного фонда. Серебряный рубль, еще стоящий в своде законов как основная наша единица, фактически исчез, не произведя ни малейшего потрясения, и самый факт был совершенно не замечен народом. Дивились только одному курьезу: за полноценный серебряный

рубль дают только четыре, а затем и три двугривенных, заключающих серебра не более чем на 30 копеек. Серебряный рубль сам собой превратился в товар, разменная монета — в маленькие металлические ассигнации.

В это же время все цивилизованные страны с двойным металлическим обращением переживали жестокий кризис, а страны с серебряной валютой подошли чуть не к банкротству.

Историю и обстоятельный анализ финансового положения Северной Америки читатель найдет в любопытнейшей книге А.А. Красильникова *«Объяснение причин успеха Америки и неуспеха России в восстановлении металлического обращения»*. Эта превосходная книга была у нас замолчана, как замалчивается обыкновенно все умное, дельное, самобытное.

Последний экономический момент — *излишек свободных денежных знаков*, мы полагаем, после всего сказанного не стоит и разбирать: признаки его ясны. За невозможность основывать новые серьезные дела развивается промышленная спекуляция, появляются *дутые* или заведомо неблагонадежные предприятия, руководимые, за неимением специалистов, невежественными людьми. Риск растет, ибо владелец капитала для сохранения его ценности вынужден рисковать. Цены, сначала переместившись правильно, начинают перемещаться уродливо. Денежная единица начинает вещно обесцениваться, то есть дешеветь, ее покупательная сила ослабевает, иными словами, все дорожает. Прежние капиталы в опасности. Их владельцы несправедливо страдают.

Такой момент был у нас вскоре после двенадцатого года. Верховная власть, только что осознавшая весь вред чрезмерных выпусков бумажных денег и твердо решившаяся привести в порядок русскую денежную систему, ввиду крайней государственной опасности вынуждена была выпустить в тогдашней патриархальной и очень мало промышленной России непомерно огромное количество ассигнаций. Рядом с ними обращалось неведомое количество фальшивых, пущенных Наполеоном, которые тем не менее приходилось принимать и оплачивать. Внутренняя покупательная стоимость рубля в тог-

дашной крепостной и совершенно не промышленной России пала. Рубль дошел до четвертака.

Любопытно, что по поводу выпусков ассигнаций в 1809—1815 годах даже завзятые доктринеры не решаются говорить о вреде бумажных денег. Между тем даже и здесь абсолютные знаки в виде ассигнаций, которые с болью сердца выпустил Александр I, принесли отнюдь не вред, а *явную и несомненную пользу*.

Чтобы это понять, достаточно мысленно отделить причину от следствия и взглянуть на *ассигнации* как на *показатель* народных жертв и напряжения народных сил для спасения России и Европы в 1812—1815 годах.

В 1807 году ассигнационный рубль стоил на серебро около 50 копеек, в 1813-м — 25. Другими словами, его внешняя стоимость понизилась за шесть лет наполовину. Предположим (хотя это и не так), что и внутренняя его стоимость упала также на 50 процентов. Кто в 1807 году имел 1000 рублей, тот фактически в 1813 имел 500, а к 1815 еще меньше, другими словами, потерял половину своего имущества. Относится это только к лицам, державшим деньги *на вкладах* в казенных банках, но отнюдь не к землевладельцам и промышленникам, ибо земли соответственно увеличивались в ценности, а промышленники поднимали цены на свои произведения. Пострадали, конечно, и они, как и вообще все население, но их убытки вознаградились широко увеличившимся трудом, а убытки непосредственно разоренных Наполеоном — правительственной помощью.

В результате: нашествие неприятеля отражено, хозяйство в огромной полосе, опустошенной войной, восстановлено, Москва отстроена, русские войска прошли в Париж и спасли всю Европу. Расходы на все это покрылись ассигнациями, которые вызвали прямые убытки для групп рантьееров, косвенные убытки для всех и напряжение сил для классов трудящихся. Всего через год после Венского конгресса рубль уже поднялся со своей наинизшей цены в 1815 году, доходившей до 20 копеек за рубль, на 5 процентов; это указывало прямо, что народный труд стал самостоятельно залечивать раны, нанесенные войною.

Утверждаем с полным правом, что эти излишние в мирное время ассигнации явились в великую войну 1812 года не только *показателем* принесенных Россией жертв, но и драгоценнейшим *орудием*, посредством которого в огромной степени были облегчены самые жертвы и народная тягота разложилась и распределилась наиболее равномерным и вместе с тем наиболее легким способом

ХII

Итак, нижеследующий тезис можем считать доказанным.

Абсолютные деньги, независимые от золота, позволяют оживлять и оплодотворять народный труд до предела, до которого в данное время достигает трудолюбие народа, его предприимчивость и технические познания.

Но из этого же положения как вывод следует и обратное: под влиянием промышленного оживления и улучшенных условий народного труда развиваются и трудолюбие народа, и его предприимчивость, и его технические познания. В самом деле, в приведенном выше примере при определении момента полного насыщения страны знаками мы видели, что, например, новую железную дорогу приходится отложить за недостатком свободных инженеров, которые свои услуги стали ценить крайне высоко. Не ясно ли, что в обществе должно явиться усиленное стремление к инженерному и вообще техническому образованию и под воздействием этого толчка число инженеров и техников станет быстро возрастать? Лучшее вознаграждение и постоянное торжество труда должно могущественно подействовать на трудолюбие народа и усилить его, равно как и технические познания. Для предприимчивости являются также прекрасные примеры, а потому должна развиваться и она.

С другой стороны, нетрудно видеть, что при условии обесценивания всякого рода труда, кроме чиновничьего, независимо от положения промышленности и равно оплачиваемого при ее процветании или гибели, лица, получившие техническое

образование, несмотря на их крайне ограниченное даже количество, могут оказаться лишними? Мы видим, что бедствуют или идут на самые низшие канцелярские должности агрономы, техники, врачи. Не ясно ли, что парализованная промышленность в них не нуждается и не может оплатить их труда? Врач, желающий практиковать в деревне, должен или получать жалование от земства, или питаться чуть ли не Христовым именем, собирая с нищего населения яйца, полотенца и т. д.

Из всего сказанного до сих пор о бумажных деньгах в стране, экономически независимой, то есть могущей самой удовлетворить все свои потребности, казалось бы, прямой вывод следующий: печатать бумажки, пускать их в обращение, оплодотворять народный труд и приостановить дальнейшие выпуски лишь тогда, когда жизнь посредством указанных выше признаков даст понять, что знаков довольно, что новые бесполезны или вредны.

Да, можно утверждать совершенно положительно: если бы мы только знали *эти* признаки, если бы никаких *более точных* приемов к урегулированию денежного обращения наука дать не могла, даже и в этом случае можно было бы смело просить верховную власть печатать и выпускать в народное обращение бумажки. Зло, могущее произойти от их несколько неумеренного выпуска, *пустяки* в сравнении со страшным злом, обусловливаемым их заведомым недостатком, или великими кризисами, или разорениями, вызываемыми особыми свойствами металлического обращения.

Начало обесценивания внутренней стоимости бумажной единицы, как уже было указано выше, подметить легко. Это всеобщее вздорожание продуктов труда и, главным образом, первой необходимости. Однако основываться только на этих признаках нельзя.

Промышленное развитие страны — вещь слишком сложная, и разнообразные кризисы наступают совершенно непредвиденно. Эти кризисы особенно вредны при промышленности молодой, еще не установившейся, еще не владеющей запасными средствами.

Представим себе, что вдруг один из таких кризисов, разразившись над одной крупной отраслью народного труда, парализует и остальные. Народный труд сокращается, и тотчас же оказывается, что значительная часть абсолютных знаков является излишней. Излишние знаки роняют тотчас же ценность остальных, и важнейшее условие нормальной промышленной жизни — устойчивость денежной единицы — становится в опасности. Ясно, что *эти избыточные знаки должны быть немедленно сняты с рынка, извлечены из обращения*. Легко может быть, что через несколько месяцев эти знаки или еще большее их количество понадобится снова, но в минуту кризиса они должны быть удалены, иначе народный труд потерпит огромный ущерб. Другими словами, денежное обращение должно быть эластичным.

Мы подошли как раз к тому регулятору, о котором было упомянуто вначале. Этот регулятор может действовать почти автоматически и совершенно облегчить как практические приемы учреждения, ведающего денежным обращением, так и тяжкую нравственную ответственность главы государства. *Он устраняет из финансовых мероприятий правительства все неточное, гадательное, произвольное и создает совершенно ясные условия выпуска и погашения денежных знаков*.

Представим себе следующую схему:

Я веду промышленное дело. Обороты и производство временно сократились, на руках у меня остались свободные знаки, девать которые некуда. Рядом умер мой товарищ. Вдова ликвидировала дело. И у нее на руках свободные деньги. Если этим деньгам не дать естественного убежища, они неминуемо будут угнетать промышленность, ибо их владельцы будут искать им помещения, будут друг перед другом ронять услуги капитала.

Представим себе, что государство входит в роль посредника по помещению этих денег. Оно открывает специальную кассу, куда всякий желающий приносит излишние у него денежные знаки. Касса выдает ему *вкладной билет*, приносящий небольшой процент. Деньги накаплиются.

Что может и что должно государство делать с этими деньгами и откуда будет оно платить проценты по вкладам?

Если мы припомним выдачу Ивану Сидорову 300 рублей из пяти процентов, мы сразу поймем, что эти 300 рублей могут быть прямо взяты из вкладов, а проценты будут уплачены из взятых с Ивана Сидорова процентов. Иван Сидоров платит за ссуду 5 процентов, государство дает вкладчику 4 процента, 1 процент идет на расходы по организации дела и в доход государства.

Если мы заглянем назад в историю русских финансов, мы найдем приблизительно эту схему, проведенную довольно строго системой старых банковых учреждений, сохранными казнами, приказами общественного призрения, ассигнационным, коммерческим, заемными и ссудными банками. Система эта оказала огромное благодеяние старой, дореформенной Руси, хотя самый кредит и был довольно односторонним, направляясь почти исключительно в землю в виде долгосрочных ссуд дворянству. И тем не менее теперь трудно даже себе представить, как при тогдашней несвободе труда, при отсутствии почти всякой предприимчивости в среде помещного класса, при гораздо меньшем населении, при отсутствии железных дорог¹ и страшной медленности оборотов, при двадцати миллионах бесплатных рабочих, денег почти не выдавших, могла Россия вмещать такое огромное количество золотых и бумажных денежных знаков. Россия, при всем ее патриархальном характере, при отсутствии фабрик и заводов, при натуральном обмене, была очень богата. Едва ли в сорок лет успели мы расточить накопленное делами, да и то после бешеной оргии. Теперь мы действительно обеднели, мы убили и закабалили труд, а главное, мы беспощадно опустошили землю хищническим хозяйством. Но довольно вернуться нам к здоровой, самой историей оправданной

¹ По недавно сделанному расчету одно *несовершенство организации железнодорожных расчетов* связывало, то есть извлекало из обращения, несколько десятков миллионов руб. знаков. Теперь это зло устранено системой взаимного расчета дорог при посредстве Государственного Банка.

финансовой системе, довольно ввести настоящее абсолютное денежное обращение и правильно организовать народный кредит, чтобы в несколько лет все грехи были поправлены и Россия снова разбогатела.

Как это ни странно, но мы сами собственными руками разломали и растоптали очень верную научно, очень удобную практически денежную систему. Накануне самого освобождения крестьян, когда предстояла вопиющая необходимость обновить нашу старую финансовую систему, оживить, расширить кредит, удвоить или утроить количество денежных знаков соответственно ожидаемому увеличению сделок и потребности в деньгах при вольнонаемном труде, пришла группа «молодых финансистов» с Евгением Ивановичем Ламанским и Владимиром Павловичем Безобразовым в качестве дельфийских оракулов и главных инициаторов реформ во главе, захватила руководство российскими финансами, в несколько лет изломала и исковеркала все и после тридцатилетнего владычества сдала Россию в том ужасном виде, в котором она теперь находится.

Читатель, интересующийся подробностями этого поистине нашествия на Россию «молодых финансистов», найдет все данные в нашей книге *«Деревенские мысли о нашем государственном хозяйстве»* в главе «Как разоряются государства?». Здесь мы отметим лишь главные основания так называемых финансовых реформ 1856—1864 годов.

После Крымской войны вследствие либерального тарифа курс рубля на золото немного упал. Было признано, что виной этому *изобилие бумажных денег*.

Чтоб их уничтожить, признано было необходимым их консолидировать, то есть вывести из обращения, превратить в процентные бумаги. Были выпущены процентные займы. Явился на рынке избыток бумаги-товара.

Россия брать этого товара не желала даже по 70 копеек за рубль. Она хотела трудиться. Лишние деньги по-прежнему не хотели прятаться в бумагу-товар, а шли во *вклады* в старые банки, где вкладные билеты менялись во всякое время.

Понижили платимый за вклады процент до 2, чтобы выгнать эти вклады и силой вогнать их в товар — бумагу или в акции множества основанных в это время иногда совершенно нелепых дел.

Процентные бумаги все-таки не шли.

Тогда разгромили старые банки, создали Государственный Банк и конвертировали вклады *насильно*.

Бумагу-товар в виде выкупных свидетельств выдали помещному классу, до того нуждающемуся в знаках, что эти выкупные свидетельства, *обеспечивавшие пять процентов дохода, отдавали по 65 копеек за рубль*.

Уничтожили старые ипотечно-кредитные учреждения. Поместный класс лишили всякого оборотного средства и затем сдали в жидовскую эксплуатацию частным банкам.

Четверть века подряд делали огромные долги, чтобы восстановить металлическое обращение, и кончили полным крушением международной ценности рубля.

Все это совершалось самым добросовестным образом, согласно последнему слову западной финансовой науки. В результате оказалось:

Четыре миллиарда бесполезного долга, в том числе около половины на золото.

Огромные бюджетные назначения на уплату процентов.

Широко развитая за наш счет германская железная промышленность и машиностроение.

Огромный ввоз иностранных товаров в Россию.

Сеть железных дорог, обремененная неоплатным почти долгом иностранцам и не вырабатывающая процентов.

Разорение помещного и земледельческого классов.

Биржевая игра русскими фондами.

Ограбление и истощение земли и сведение лесов по нужде, ради самосохранения.

Унижение труда, отсюда торжество всякой наживы, спекуляции и хищничества.

Понижение нравственного уровня. Отчаяние безвыходности, бесплодие честности и высоких нравственных доблестей. Нигилизм. Анархисты...

Пусть не смущается читатель, что мы вводим сюда эти чисто нравственные величины. Зависимость труда от денежной системы мы, надеемся, доказали. Зависимость нравственной атмосферы страны от форм и положения труда в ней, мы полагаем, нечего и доказывать.

Вот что дало нам тридцатилетнее господство чужих финансовых доктрин. Теперь это минувший тяжелый сон. Но, не смотря на полное крушение доктрины, хвалиться нам нечем.

Доктрина исчезла, однако биржевой период государственного хозяйства не только не закончился, а принимает формы самые нежелательные...

ХІІІ

Регуляторами денежного обращения в России были: Ассигнационный банк, учреждение исключительно эмиссионное, Коммерческий и Заемный банки для кредита торгового и земельного, сохранные казны и приказы общественного призрения, служившие, с одной стороны, учреждениями земельного кредита, с другой — агентствами, принимавшими на вклады свободные средства публики. Реформаторы, «молодые финансисты», объединили управление денежным обращением в построенном на совершенно иных началах Государственном Банке и его отделениях.

Против самой идеи объединения всех народнохозяйственных денежных операций в одном учреждении и выделения отсюда хозяйства собственно государственного (что осталось за Государственным Казначейством) возразить ничего нельзя. Это две области совершенно различные. Управление денежным обращением не должно и не может иметь ничего общего с управлением государственной росписью, с государственным хозяйством в тесном смысле слова, хотя кассоводство может и должно быть общее.

В прежних учреждениях при всех их практических отличных качествах не было строгой системы, не было надлежащего единства. Но этот недостаток с избытком вознаграждался

простотой и целесообразностью их действий. Процентных бумаг и акций вовсе почти не было, а следовательно, не было ни фондовой игры, ни биржевой горячки со всем ее безобразием, ни уплаты государством пенсий огромному классу тунеядцев.

У вас были лишние или свободные деньги. Вы их несли на вклад в сохранную казну или приказ общественного призрения. По этому вкладу вам платили проценты, но в эти проценты не шло *ни одной копейки из государственного бюджета*, кроме тех случаев, когда заемщиком являлось само государство. Платили те, кто, при посредстве казны, нанимал ваш капитал, пользовался его услугами. Правительство одной рукой брало, другой выдавало. Брало наличные деньги на вклады, выдавало ссуды земледельцам (долгосрочные, под залог имений), промышленникам и купцам. Участие собственно государственного хозяйства в этих операциях заключалось в том, что государство в трудные для казначейства минуты делало заимствования из свободной наличности, причем иногда стеснялся несколько частный кредит, лишь бы избежать новых выпусков денежных знаков; впрочем, это неудобство парализовалось постоянным избытком ввоза драгоценных металлов над их вывозом во все время управления графа Канкрин.

Превосходным регулятором, действовавшим автоматически, эти старые учреждения были потому, что по движению вкладов можно было всегда с большой точностью судить о состоянии промышленности и торговой деятельности в стране. Число вкладов увеличивалось, и росли их суммы. Это показывало, что промышленность в застое, что деньги ищут помещения. Увеличивалось количество требований — это прямо указывало на оживление торговых дел, то есть на нужду страны в знаках. Центральному народнохозяйственному учреждению указывался сам собой путь и представлялась полная возможность разумно воздействовать на денежное обращение, то расширяя, то суживая обе свои двери. Вклады чрезмерно приливают. Промышленность в застое, чем ее оживить? Удешевить несколько наем капитала. Достаточно немного понизить платимый по вкладам процент и равномерно понизить же и процент по ссудам.

Обратно: вклады уходят, чувствуется чрезмерное, может быть, даже нездоровое оживление промышленности. Чем его остудить? Удорожить несколько капитал, дать поощрение *спокойствию* в ущерб *предприимчивости*, поднять процент и по вкладам, и по ссудам. Но это оказывается не горячка, а здоровое развитие промышленности? Признаком будет подъем цены на услуги частных капиталов. Производство или торговля сулят такие выгоды, что при затрудненном казенном кредите *стоит* заплатить и больший процент частному владельцу капитала. Но у этого частного владельца капиталы в тех же вкладных билетах. Поощряемый премией от заемщика, он идет их менять, несмотря на то, что платимый ему процент повышен. Ясно, что потребность в деньгах возросла, а признак тому самый точный налицо: *возвышение процента по вкладам* (умеренное, конечно) *не останавливает отлива вкладов, возвышение процента по ссудам не останавливает требования ссуд*.

Тогда выпускаются бумажки и путем ссуд или возврата вкладов идут в народное обращение.

Не будем забывать, что при системе бессрочных вкладов вкладной билет на предъявителя, свободно переходящий из рук в руки, есть, в сущности, рентовый билет Цешковского, *те же деньги*, и потому потребность страны в новых знаках в канкриновское время выражалась почти исключительно более быстрым или медленным обращением вкладных билетов.

Обратно: понижение процента по вкладам, удешевление ссуд не останавливает вкладчиков и не поощряет берущих ссуды.

Бумажки накапливаются в кассах. Что с ними делать? Они лишние. Хотите — жгите, хотите — заприте и поберегите, если они еще не очень истрепались и могут идти вновь в случае нужды. Хотите, наконец, усиливайте промышленность искусственно или начинайте государственные предприятия вроде Сибирской железной дороги.

Разумеется, мы далеки от того, чтобы идеализировать чрезмерную эту нашу старую денежную систему. В ней были крупные недостатки, поскольку именно она не была свободна от металлического предрассудка, положенного графом

Канкрином в основу его реформы 1839 года, и поскольку существовавшее в полном расцвете своем крепостное право искусственно задерживало переход России из страны чисто земледельческой в страну земледельческо-мануфактурную.

Важно лишь то, что все задатки превосходной абсолютно-денежной системы у нас были самобытно выработаны историей; все старые нестройные и неловкие, может быть, государственно-кредитные учреждения не были *придуманы* в кабинетах ученых-теоретиков, а были выработаны здравомыслящими государственными *практиками* в ответ на требование жизни, а не по книжному рецепту. Если б среди водоворота новых идей мы оказались немного менее легкомысленными, если б в нас было чуть крепче уважение к своей истории и ее двигателям, мы вместо того, чтобы злобно топтать в грязь *все*, что было связано с пережитой тяжелой эпохой, сохранили и развили бы то ценное, что в ней было, мы уже имели бы теперь настоящую, отвечающую и науке, и нашим нуждам денежную систему. Но пусть хоть тяжелый сорокалетний опыт послужит нам на пользу.

XIV

Вся задача денежной системы, основанной на ссудах и вкладах, движущихся автоматически, заключается в постоянном присутствии в обращении такого количества денежных знаков, которое точно соответствует нуждам рынка, то есть размеру совершающихся сделок. Система будет правильно действовать, очевидно, лишь тогда, когда ее автоматический регулятор будет *держатъ покупную силу, внутреннюю стоимость рубля, на одном постоянном уровне*.

Для достижения этого идеального качества денег, которым, очевидно, не обладает ни золото, ни серебро, представляющие товар, никакого другого пути нет, кроме приискания некоторой совершенно отвлеченной денежной единицы. В области ценовых измерений величина измерителя не может быть подогнана ни к каким постоянным вещественным величинам.

Метр как длина одной сорокамиллионной окружности меридиана, ярд как длина секундного маятника в Гринвиче, звездные сутки как время прохождения Землею $1/_{365}$ земной орбиты опираются на постоянные величины. В области цен таких постоянных реальных величин нет и быть не может. Все волнуется и колеблется вокруг некоторых идей, единица ценностей есть поэтому *идейная единица*, и ее *постоянство* (в данном случае покупательная сила) соответствует не произвольно избранной реальной величине, а некоторой *равнодействующей определенных экономических условий*.

Единица меры ценностей не может опираться ни на какую другую измеряемую ею цену, ибо все цены колеблются и часто в полной независимости одна от другой. Открыли Америку — подешевело золото. Ввели в Индии и Австралии обширные посевы пшеницы — пали цены на хлеб. Изобретены новые способы добычи или выделки тех или других металлов или изделий — цены резко переместились. Меняются цены на землю, на труд, на все. *Отыскать что-либо реальное, имеющее постоянную ценность, невысказано*. Принять что-либо за эту постоянную ценность условно, вроде известного труда в форме рабочих часов или иной, как добивались утописты, — бесполезно. В. Белинский в своей замечательной статье в «Русском деле» о переустройстве нашей денежной системы рекомендовал принять в основание денежной единицы сумму всего достояния Русского государства и ее известную долю назвал рублем. Но эта условность, не принося ни малейшей пользы, лишает бумажные деньги их главного качества — *постоянной внутренней стоимости*. В самом деле, если принять сумму достояния государства за величину постоянную, то и количество рублей должно быть постоянным, а мы видели уже, что таковым оно быть не может. При постоянном количестве знаков будет именно беспрерывно изменяться их внутренняя стоимость, ибо она обусловлена не абсолютным их количеством, а *потребностью в них, их движением*.

Мерилом, следовательно, постоянства денежной единицы может служить нечто иное, *лежащее вне области*

собственно цен. Сделаем попытку принять за такое мерило отношение главного народного труда в стране к его вознаграждению и окружающей трудящихся обстановке. Я попытаюсь сейчас это доказать.

Возьмем наш главный народный труд — земледелие. Для государственной и народной жизни в России он первее и важнее всего. К нему должны прилаживаться и на него оглядываться *все другие виды русского труда*. Пусть цветут, как угодно, фабрики, пусть развиваются все виды внедеревенского труда, но раз земледелие зачахнет, благосостояние иных форм производительности будет подорвано. Итак, корень в земле и земледельце, в его труде, в его потреблении. Если этот труд хорошо вознаграждается, если, с одной стороны, от земли не бегут, а с другой — ею не спекулируют и за нее не грызутся, если земледelec живет сыто и спокойно, то есть является потребителем, и притом нормальным, и фабричного, и всякого много, в том числе и умственного труда, то это прямо указывает, что в стране (земледельческой, понятно, в данном случае речь идет о России) денежная система хороша, а главный признак хорошей денежной системы — *постоянство ее денежной единицы*.

Мысль об этом соотношении между постоянством денежной единицы и обстановкой главного труда в стране была впервые высказана Мальтусом, но в форме довольно туманной, ибо и этот экономист не был свободен от золотого предрассудка. Развить это положение и доказать его особенных трудностей не представляет.

Попробуем проследить за таким рассуждением.

Денежная единица *должна* иметь столь же отвлеченный и постоянный характер, как и другие единицы меры, то есть ее нужно приурочить к постоянной величине. Такой величины нет, но *предположим*, что мы ее отыскали, к ней нашу единицу приурочили и взяли некоторую отвлеченную ценность — ну хоть тот же бумажный рубль. Его ценность, основанная на доверии к верховной власти и на соответствии количества знаков с нуждами народного обращения, изменяется беспрерывно по отношению ко всем другим ценностям.

На золото он сегодня 65, завтра — 68 копеек, на хлеб, сахар, землю, рабочую плату и т. д. он также сегодня одно, завтра — другое. Является вопрос: чья, собственно, ценность меняется? Самого ли рубля или товаров, изделий, заработных плат вокруг него? Как этот вопрос разрешить? Изучая вздорожание и удешевление разных предметов, мы находим, что каждая из цен устанавливается независимо от денежной единицы, *если она постоянна* (а это, не будем забывать, у нас *предположено*), и независимо друг от друга (сахар может вздорожать, миткаль подешеветь, золото вздорожать, хлеб подешеветь и т. д.). Ясно, что в области реальных ценностей искать постоянного основания для денежной единицы бесполезно, и на поставленный вопрос: рубль ли меняется в своей цене или предметы вокруг него, — ответа мы здесь не найдем. Но нам необходима постоянная единица меры ценностей. Нам нужно *знать, убедиться*, что предположенное постоянство рубля не предположение, а факт. Значит, нужно искать посторонних *признаков* постоянства. Является такой силлогизм:

1) Денежная система в стране может быть совершенной лишь тогда, *когда ее денежная единица* (отвлеченная или реальная) *постоянна*.

Золото этой постоянной единицей быть не может, ибо его собственная ценность непрерывно колеблется 1) вследствие изменяющегося его количества в мире не пропорционально изменениям в промышленности, в торговых оборотах; 2) вследствие различных международно-торговых комбинаций. В одной стране, выгодно торгующей (Франция, Америка), золото может скапливаться и обесцениваться, в другой (Россия, Австрия) — дорожать. Во Франции может быть лаж на банковые билеты, в России — на золото.

2) Денежная система может быть тогда названа совершенной, когда совершаемые ею сделки учитываются и ликвидируются вполне правильно, то есть когда главный народный труд находится при данных законодательствах и иных условиях в самой лучшей обстановке, то есть а) когда за денежными средствами (знаками) нет и не может быть остановки; б) ког-

да цены на труд и на продукты устанавливаются естественно, то есть внутренним условиям народного быта и труда, а не под давлением денежного рынка (например, я продал лен дешево только потому, что его большой урожай, а не потому, что был вынужден продать за недостатком кредита. Обратно: рабочий взял с меня 15 рублей в месяц потому, что ему выгодно служить у меня, а не потому, что я закабалил его предыдущей зимой). Говорим *главный труд* потому, что главный труд является и главным потребителем, то есть прямо обуславливает все остальные виды труда.

Следовательно, предположенное нами постоянство ценности рубля как денежной единицы станет фактом и вместе с тем теоретически докажется тогда, когда основанная на этом денежная система создаст наилучшую качественную обстановку для главного вида народного труда (в России — земледелие).

Просим непредубежденного читателя вникнуть поглубже в наш *прием* доказательства. А вот и проверка в обратном направлении.

Количество рублей будет изменяться, все цены — тоже. Но человек, имеющий 1000 рублей, будет знать, что он имеет нечто тождественное и сегодня, и завтра, и через год. Подешевеет квартира, вздорожает прислуга, подешевеют хлеб, газеты, фрукты, вздорожает мясо, подешевеют платье, поездки, вздорожают уроки и т. д. Но *средняя, равнодействующая* будет одна и та же; другими словами, труд, освобожденный от искусственного давления денежного рынка, будет учитываться свободнее, а следовательно, справедливее. Не будем забывать основной идеи денег: облегчить расчеты, отнять у денег их собственное, *самостоятельное значение*, устранить те замешательства, которые вносит в жизнь несовершенство денежной системы, помочь свободной установке цен, свободному взаимодействию труда, знания и капитала. Идеал денег — *воплне облегченный учет работы этих трех элементов, свободный от всякого влияния самих знаков*. Знаки должны быть нейтральны, безразличны и, *следовательно*, постоянны. Где же может быть проверка этого постоянства? В свободе и доброй

обстановке главного труда. Практически это постоянство заключается именно в том, что государство путем вкладов и ссуд может держать в обращении как раз потребное число знаков. Практика и теория здесь вполне сходятся. Центральное государственное кредитное учреждение является сердцем, вклады и ссуды — кровообращением. Постоянство денежной единицы — равносильно пульсу.

Итак, вот где, по нашему мнению, ключ к чрезвычайно важному закону денежного обращения, определяющему постоянство абсолютной денежной единицы. Сформулировать этот закон можно так:

Постоянство денежной единицы, то есть неизменность ее внутренней ценности, или покупательной силы, зависит не от количества обращающихся знаков, а от соответствия этого количества с потребностями в каждую данную минуту народной производительности. Соответствие это определяется качеством обстановки, в коей находится при данных внешних условиях главный основной вид труда в стране.

Надеемся, что после сказанного не может быть никаких недоразумений для практического приложения этого закона.

Система вкладов и ссуд при добавке по мере надобности свежих количеств знаков — вот настоящий, почти автоматический регулятор денежного обращения. *Внимательная, добро-совестная оценка условий сельской жизни и земледелия* — вот его превосходный нравственный контроль. За все остальное бояться нечего. Давным-давно сказано: сыт мужик, сыт барин, сыт фабрикант, сыт чиновник, сыт ученый — богато и сильно государство, богат и славен монарх. И наоборот, *paung pausan* — *paung roi*, а если бедность на обоих этих концах, то не может быть благоденствия и посередине.

XV

Обратимся теперь к рассмотрению роли и значения в нашей денежной системе *процентных* бумаг и к проверке этой роли с научной стороны.

Господа «молодые финансисты», приступив к разрушению старой нашей системы финансовых учреждений, прежде всего постарались ввести вместо вкладов, *не допускавших биржевой игры*, процентные бумаги или *бумагу-товар*. Сделано ли это было по крайнему легкомыслию, в угоду европейской доктрине, или лежало в основании нечто совсем другое, называющееся совсем иначе, но в результате получилось вот что.

Государство добровольно само себе связало руки и фактически отключилось от управления денежным обращением.

Свободные капиталы были изъяты из народного обращения и скрыты в бумагу-товар.

Положено было прочное начало тунеядству на государственном счет и широкой биржевой игре.

Земледелие и промышленность были лишены орудия обращения — денег.

Все это находилось в тесной зависимости от введения системы внутренних и внешних займов, то есть выпуска государственных процентных бумаг.

Попытаемся же научным образом осветить значение в народном и государственном хозяйстве процентной бумаги и постараемся ответить на вопрос: *должно ли государство вообще делать займы и не дает ли система абсолютных денег возможности обходиться без них вовсе?*

Из предыдущего изложения мы уже видели, что государственное хозяйство идет или должно идти совершенно независимо от денежного обращения, входящего в область хозяйства народного, коего государственное хозяйство составляет лишь некоторую часть. Среди общей суммы оборотов фабрики есть специально «расходы по управлению». То же и в крупном земледельческом хозяйстве. В государстве бюджет, обнимающий собой множество отраслей, при всей его сложности сводится опять же к управлению, внешней защите, просвещению, суду и т. д., то есть имеет дело с теми внешними формами, внутри которых идет самостоятельная народная жизнь с ее трудом, капиталами, землевладением, торговыми оборотами и прочим.

Государственный бюджет представляет всенародную складчину на содержание государственного аппарата, расходуемую государственными органами. Каждый из трудящихся членов, равно как и каждый капиталист, привлекается к этой складчине в доле своего имущества или дохода. Государственная рамка для страны необходима, а потому неизбежны и налоги на ее содержание. Чем более усиливает государственная организация народную производительность (или чем больше способствует нравственному подъему народа), тем выгоднее и приятнее участвовать в этой статье расхода гражданам. Бывают исторические минуты, когда находящаяся в опасности государственность так любезна и дорога, что граждане отдают на ее спасение свое имущество или поголовно вооружаются и идут ее выручать (нижегородское движение 1612 г.). Но бывают, наоборот, такие условия, при которых государство, разошедшееся в лице правящего класса с действительной народной жизнью, эгоистически развивающееся вне народной жизни, независимо от нее и *над нею*, становится крайне тяжелым для граждан и требует от них совершенно непосильных жертв. Жизнь в этих искусственно утяжеленных рамках становится невыносимой, а государственность — ненавистной. Современному немцу или члену австрийского государства приходится огромную долю своего труда расходовать ради целей своей государственности, в поддержку таких стремлений правительств, которые не только не дают народной жизни и труду ничего в настоящем, но несут за собой ряд великих опасностей в будущем.

Но если государства австрийское и германское могут, по крайней мере, с одной стороны, похвалиться величайшими заботами об этой обремененной налогами и военными расходами народной жизни, а с другой стороны, могут хоть софизмами оправдать ту идею, которая вызывает столь огромные тягости (для Германии — опасность от России и Франции, для Австрии — чувство самосохранения от панславизма), то мы ничего не можем привести в объяснение нашего невыносимо тяжелого положения, кроме великого недоразумения,

завещанного группой «молодых финансистов» и продолжающегося до сего дня.

В самом деле, наши военные расходы, падающие на каждого жителя, попросту ничтожны сравнительно с расходами других великих держав. Стоимость содержания нашего государственного аппарата, или наш расходный бюджет, также относительно невелик. А между тем ни австрийцу, ни германцу так не тяжело жить и платить государству, как нам. Зло, угнетающее нашу народную жизнь и парализующее наш народный труд, состоит в том, что введенная у нас тридцать лет назад финансовая политика систематически заменяла деньги — орудие обращения, деньги — прежний капитал производства государственными процентными бумагами, являющимися ничем иным, как *свидетельствами на получение от государства некоторого постоянного содержания без всякого труда*.

Вот простейшая схема того, что было придумано господином Ламанским «со товарищи». При прежней системе дело обстояло так:

Я капиталист. Сейчас у меня нет своего предприятия, я сложил деньги на вклад и получаю процент. С кого я получаю? С того, кто при посредстве государства работает на мои деньги, кто взял их взаймы на промышленное дело, земледелие или торговлю. Я желаю начать дело сам. Я иду с моим вкладным билетом в кассу и в любую минуту освобождаю мой капитал. При этом если тот, у кого мои деньги, продолжает работать, государство дает мне новые деньги. Выпуск их в обращение совершенно понятен. Работал A — обращалось количество денег a . Пришел и начал работать, кроме того, B — явилось новое количество знаков b . Работа увеличилась, стала $A + B$ — денежное обращение тоже увеличилось и стало $a + b$.

По системе господ Ламанских:

Я капиталист. Деньги у меня свободны. Я отдаю их государству и получаю некоторую бумагу, у которой обеспечена не *стоимость ее* (эта стоимость устанавливается на бирже), а *известный* довольно большой *доход* (чтобы приохотить меня к держанию бумаги, которая колеблется от первого ветра и тре-

пещет от мановения бровей господина Ротшильда). Куда девались мои деньги? Они сожжены государством в печи во дворе Государственного Банка. Зачем сожжены? Потому что господин Ламанский нашел, что знаков избыток. Но кто же мне будет платить проценты? *Государство из своего бюджета*. Но откуда же они возьмутся в бюджете? *А правительство взыщет необходимую сумму в виде налогов*.

Эта схема математически точна с действительностью. Продолжим ее благополучно до нынешних дней, и мы увидим, что чуть не половина нашего бюджета состоит вот из этих платежей по бесчисленным купонам и внутренним, и внешним. Огромное количество людей, у которых были прежние сбережения, ничего другого не делают, как в известные сроки стригут купоны и несут их менялам или в казначейство, а исправники и становые рыщут, выколачивая подати, чтобы казначейству дать средства платить по этим купонам.

Но возразят: но ведь не для того же государство делало займы и выпускало процентные бумаги, чтобы *только* жечь кредитные билеты. На эти бумаги оно совершило огромную крестьянскую выкупную операцию, на них же выстроило сеть дорог и пр., и пр.

На это ответ один: нет, именно и только для того выпускали господа доктринеры займы, чтобы *жечь бумажки* или не выпускать их в необходимом для страны количестве, то есть *жечь их мысленно*. Доказать это нетрудно. Просмотрим все три главные операции.

1) Выкупные свидетельства. До реформы, при обязательном труде, между владельцем и крепостными на барщине денежных знаков почти не нужно было. Читается Манифест 19 февраля. Все стало делаться на деньги. Владелец на все *нанимает* и за все *расплачивается*. Крестьяне за все *платят*. Знаков против прежнего нужно, по крайней мере, втрое, ибо сразу все сделки переходят из натуральных на денежные. Если бы выкуп был совершен на вновь выпущенные для этой цели кредитные билеты, их бы едва-едва хватило для новых условий денежного обращения, ибо всем — и барину, и мужику — пришлось за-

водить совсем новое хозяйство. Вместо этого были выпущены процентные бумаги, а с другой стороны, «консолидировали излишние» знаки и жгли кредитки, обменивая их на особо выпускаемые банковые билеты. И вдобавок у помещика удержали весь капитальный долг, сделанный им в опекуновом совете, и выдали только разницу в виде выкупных свидетельств.

Бросился барин искать денег на свое новое хозяйство, бросился и мужик. Барин продал свое выкупное свидетельство за 65 копеек, за рубль, кулак, чтобы дешево купить мужицкий труд и продукт, продал полученную им банковую бумагу (вместо прежнего вклада) тоже за 65—70 копеек и начал эксплуатировать и барина, и мужика.

Спокойные капиталисты в это время купили 5-процентную ренту за 65 копеек, то есть начали на свой капитал получать почти 8 процентов *от государства* в виде пожизненной пенсии за то только, что направили свой капитал не непосредственно в дело, а в печь во дворе Государственного Банка.

Надеемся, можно смело сказать, что выкупные свидетельства заменили собой *те бумажки*, которые было необходимо выпустить ради удержания на надлежащей норме денежного обращения после 1861 года, вместо этого: осталась земля и на ней барин и мужик с голыми руками, с обесцененным трудом, без оборотных средств, а кругом них, словно вампиры, денежные спекулянты, для которых 8 процентов в виде купонов было мало, ибо около изнемогавших в агонии землевладельцев и земледельцев можно было погреть руки, можно было заработать не 8, а сто на сто. И зарабатывали!

Этот мартиролог изложен в самых ярких чертах не газетными репортерами, а правительственной комиссией по исследованию упадка сельского хозяйства, работавшей еще в 1873 году!

2) Железные дороги. Мы уже видели, как действуют железные дороги на денежное обращение в стране. При постройке увеличивается народный труд и возрастает нужда в знаках. По окончании постройки и открытии эксплуатации эта нужда еще более возрастает. Железная дорога — новый кровеносный сосуд в организме. Прибавилось сосудов — и стало быстрее

кровообращение, ясно, что крови должно быть больше. Вместо этого кровь постепенно выпускали. Для постройки железных дорог употребляли не новые знаки, которые, оправданные жизнью, так бы и остались впоследствии в народном обращении; наоборот, привлекали готовые капиталы, а так как таковые не приливали изнутри, ибо и без того попрятались в процентные бумаги, так как этих процентных бумаг и без того было наводнение, то стали привлекать свободные капиталы иностранные. Этими же капиталами уплачивалось не за русский, а за иностранный труд.

Получилось: создание за границей огромного класса русских кредиторов; возрождение за границей народного труда. Внутри России: расширенная система кровеносных сосудов при выпущенной крови: пустая, а потому бездоходная сеть дорог среди нищего населения сел, сеть, обремененная неоплатным долгом, проценты за который приходится изыскивать все с того же обнищавшего населения.

Ясно, что и здесь мысленно сожжены те же бумажки, которые нужно было выпустить для постройки и эксплуатации (то есть увеличенных оборотов промышленности) русской сети дорог.

3) Займы, сделанные явно с целью прямо жечь деньги, например Восточный заем и другие, нечего и разбирать.

Мы обстоятельно рассмотрели значение процентных бумаг в истории наших финансов, и нам хотелось бы показать теперь, что *система денежного обращения в экономически самостоятельной стране, основанная на абсолютных знаках, вовсе не нуждается в процентных государственных бумагах и не требует ни одной копейки из государственного бюджета для оплаты процентов.*

К доказательству этого положения мы и переходим.

XVI

Главное зло современных государств — процентные займы, внутренние или внешние, неизбежные при золоте как

деньгах, — могут быть совершенно устранены при абсолютно-денежном обращении и при правильной организации государственного и народного кредита.

Из цивилизованных стран нет в эту минуту ни одной, которая удовлетворялась бы одной формой денег — благородными металлами или одним золотом. Повсюду рядом со звонкой монетой циркулирует большее или меньшее количество ее суррогатов, разменных банковых билетов, настоящих *кредитных* денег. Основная черта этого денежного обращения — разменность банковых билетов каждую минуту на металл. Приостановка этого размена равносильна государственному банкротству. Это обман и насилие над подданными. Во избежание этого обмана и всяких искушений для парламентарного государства орган денежного обращения в стране *отнимается у правительства* и ставится особняком, ограждаясь от всяких на него воздействий серьезными и положительными статутами¹.

Совершенно тот же вопрос поднимался и у нас при основании Государственного Банка в 1860 году; до сих пор еще существуют серьезные люди, которые проповедуют необходимость выделить наш центральный орган денежного обращения из системы государственных учреждений и сдать его особому акционерному обществу. Что эта идея имеет почву — доказательство статьи в «*Новом времени*» господина Гурьева, «ученого секретаря Ученого Комитета» Министерства финансов (да-да, есть такой титул двойной учености), помещавшиеся там в начале 1893 года.

Читателю этого исследования названные статьи, наверно, показались необыкновенно смешными и наивными. Господин Гурьев доказывает без малейшей улыбки, что передавать Государственный Банк акционерной компании невозможно. Да

¹ Лучшее доказательство серьезности этих гарантий — разоблачение бывшего французского министра Рувье, что ему приходилось за недостатком наличности в секретных фондах «перехватывать» у частных лиц. Даже такие не стеснявшиеся люди, как французские министры и «представители народа», во Французский национальный банк, по-видимому, запустить руку не могли.

кто же может в здравом уме и твердой памяти предложить противоположную комбинацию? Другими словами, кликнул клич по всему европейскому Израилу: «Милостивые государи! Не будет ли вам угодно получить в ваше заведование экономическое сердце России? Приходите к нам, составляйте акционерную компанию, получайте золотой фонд, печатайте бумажки и заведуйте нашим денежным обращением, то есть *берите в полное владение с правом жизни и смерти: наше сельское хозяйство, фабричную и заводскую промышленности и нашу торговлю — словом, весь наш народный быт и труд во всех его видах*. Государство от всего этого отрекается, ибо оно верит, что вы с этим лучше справитесь, чем оно само. Вы, конечно, на всем этом будете наживать, но ведь это дело торговое».

В этих словах нет ни тени преувеличения. Читатель недоумевает и спрашивает, какой смысл в этом приглашении акционеров, в этом устранении правительства от самого центра государственного дела? Что дадут акционеры, управляющие Банком? Верно, есть же какая-нибудь идея в этом желании?

Идея, несомненно, есть. Вот она: *акционерный банк поставит народное денежное обращение в полную независимость от правительства*. Но зачем же это нужно? А затем, чтобы министру финансов в трудную для государства минуту не пришлось искушение смешать источники собственно денежного обращения с источниками бюджетными, другими словами, чтобы государственная власть не могла *ограбить подданных*.

По-видимому, даже предположить что-либо подобное уже есть своего рода безумие? Ничуть не бывало! Находятся на Руси органы и публицисты, которые хоть и не столь грубо открыто, но высказывают совершенно то же самое.

Дело вот в чем. Существует Государственный Банк и ведет *народным* денежным обращением. Существует Государственное Казначейство и ведаёт *государственными* приходами и расходами. И там, и здесь суммы разные, и смешивать их невозможно, ибо все экономические отправления тотчас же придут в расстройство. Поэтому и ведется, например, такой счет: наличность Государственного Банка (собственная)

такая-то. Кроме нее, имеются в Банке суммы, принадлежащие Государственному Казначейству такие-то. Представим себе, что вследствие неурожая или других условий подати задерживаются или государству предстоит экстренный расход. Собственных сумм Государственного Казначейства может не хватить. В это время собственная наличность Банка может быть очень велика и лежать непроизводительно. Граф Канкрин, да и все почти русские министры финансов, кроме упорных доктринеров, делали следующее: они заимствовали из банковской наличности и по мере поступления государственных доходов пополняли эту наличность. У графа Канкринина был в особенности неисправим один предрассудок: он как огня боялся займов и налогов, а потому предпочитал довольно грубо нарушать теорию и в бухгалтерском смысле допускал произвол, лишь бы не отягощать народ по купонам. Велось подобное хозяйство не год и не два, и Россия, только что разоренная Наполеоном и истощившая все силы на «спасение Европы», быстро поправилась и разбогатела.

Нам говорят: этого нельзя! Если государственных доходов не хватило или понадобился экстренный расход, *делайте заем*, то есть выпускайте процентные бумаги и платите по купонам податями. Не смейте *заимствовать* в свободной банковской наличности, не усложняйте счетов, не отступайте от устава. А главное, не проявляйте ни государственной власти, ни государственного творчества! А так как здравомыслящий министр финансов и хороший хозяин не может этих позаимствований не делать, то призвать евреев и сдать им Банк, другими словами, поставить их на страже против возможных злоупотреблений органа, которому Верховная Власть поручила распоряжение государственным и народным хозяйством.

Даже ученый секретарь Ученого Комитета догадался, что подобный порядок, безусловно необходимый при парламентском режиме, совсем не подходит к самодержавной монархии. Предполагая, что подобное заимствование может сделаться не иначе, как по специальному Высочайшему повелению, оказывается, что *необходимо звать евреев собственно*

затем, чтобы ограничить верховную власть в возможности дать подобное повеление.

Вот по самому добросовестному толкованию идея акционерного Государственного Банка. Можно думать, что несмотря на все подходы и сладкие словеса представителей у нас европейского мировоззрения и appetitов мечтать об осуществлении чего-либо подобного просто-напросто глупо. Уж на что было бесшабашное по этой части время — конец пятидесятих годов. Но и тогда господа молодые финансисты не могли провести свою идею насчет обращения Государственного Банка в акционерный, и это учреждение так и осталось на ведомстве Министерства финансов, хотя и разграниченное (на бумаге) по своим оборотам от оборотов Государственного Казначейства.

XVII

Ясно, что при независимом от государства положении центрального органа денежного обращения государственной власти, вынуждаемой к каким-либо экстренным расходам, приходится либо возвышать налоги, либо закладывать эти налоги, выпуская внутренний или иностранный заем. И в том, и в другом случае принцип остается тем же самым. Новый налог дает небольшие сравнительно суммы ежегодно; заем, сделанный сразу, погашается теми же налогами в будущем в течение известного числа лет.

Никакого другого выхода нет, ибо парламентское государство ничему другому не верит, кроме золота, и потому решительно не хочет и не может предоставить дело *экономического творчества* государству. Говорим про существующие государства буржуазно-либерального склада, против которых так яростно протестует социализм разных видов и оттенков. Что за государство создаст сам социализм, как удастся *ему* оформить государственное творчество, этого мы еще не видали, да, вероятно, и не увидим, ибо социализм, еще не успев положить первого камня в смысле положительном, уже вырождается, и совершенно логически, в анархизм, то есть в разрушение

всего существующего с голой надеждой, что на развалинах вырастет само что-нибудь.

Современное парламентарно-буржуазное государство все экономическое творчество отдает бирже, то есть представительнице капитала. Самовластная биржа, обладая деньгами (не забудем, что деньги — концентрированный прежний труд и орудие труда будущего), естественным образом приобретает и полное господство над трудом во всех его видах.

Правительство обращается в простого городского, наблюдающего за порядком, а страна при биржевом режиме резко разделяется на два класса: *правлящие* — представители капитала, или труда прежнего, в их руках сосредоточенного; *правимые* — представители труда настоящего или будущего, работающие только потому, что правящие, то есть капиталисты, дают свой капитал в производство.

И власть, и творчество, и действительное управление страной, и законодательство, и внешняя политика, и мировоззрение, и национальные идеалы — все это монополизуется одним правящим классом. Как Людовик XIV когда-то, так биржа теперь может сказать: «l'état — c'est moi» — и будет совершенно права, ибо, властвуя над трудом и заработком человека, нельзя вместе не властвовать и над его душой и над его bulletin de vote вплоть до тех пор, пока озлобленный пролетарий, утративший Бога истинного и не могущий уверовать в бога Меркурия, не начнет швырять своих директоров фабрик в бассейны с расплавленным стеклом...

Но дело сейчас еще не в этом, а потому в эту область отвлекаться не будем. Нам хотелось показать, что коль скоро *творчество отдано бирже*, то и *заработок* от всего капитала идет целиком ей же как исключительно представительнице творческого начала и как властительнице и капитала, и труда.

Поясним это на примере. Государство строит железную дорогу, как указано выше в статье «Русского дела», на вновь выпущенные знаки. Создается огромный заработок, ибо вызывается огромный труд. Капитал, оплодотворивший этот труд, *не действительный, а мнимый*, ибо бумажки представляют из

себя пока простые *квитки*, расчетные знаки. Что изображает этот заработок? Как он распределился? Он распределился на началах политической экономии, по законам свободного спроса и предложения. Но при этом, кроме заработка всех и каждого из участвовавших в работе, явилось еще некоторое реальное имущество, приносящее доход, и это имущество (если дорогу строила казна) принадлежит ей, то есть составляет предпринимательную долю этого мнимого капитала, *ставшего, однако, после постройки капиталом действительным*.

Чей это капитал? Кто его собственник? Очевидно, государство, то есть весь народ.

На Западе, при власти биржи и золоте-деньгах, дело идет совсем иначе. Для постройки дороги биржа авансировала известный свой *готовый капитал*, выговорив себе определенный процент. Труд произведен, дорога создалась, все заработали, но заработок распределился совсем иначе. Капиталист разменял трехпроцентную ренту, чтобы купить акцию новой железной дороги, и получает теперь, скажем, шесть процентов дивиденда, то есть стал вдвое богаче. Инженеры, строители, подрядчики, получив свой заработок, купили на него (ту же проданную капиталистом) ренту, чернорабочие прожили и прокормились (может быть, даже лучше, чем жили и кормились раньше, может быть, даже сберегли что-нибудь и снесли в «*caisse d'épargne*»), но вообще остались в том же положении, а государство *осталось совершенно в стороне*. Оно выиграло, может быть, лишь в смысле налогов, имея возможность несколько обложить новую линию как новое *чужое* для него имущество.

Понятна или нет основная, глубочайшая разница в обстановке предприятия, двигавших им силах и в его результатах?

В первом случае заработки распределились совершенно равномерно между всеми трудящимися, а фактически обогатилось только государство, *создав*, то есть получив *даром*, недвижимый капитал, новую линию железной дороги, пусть приносящую на первое время и малый доход. Капиталисты остались здесь в стороне или участвовали косвенно и косвен-

но же получили свою долю дохода¹. Работал здесь в широком смысле труд, оплодотворенный *мнимым капиталом*, как бы уступившим свою долю вознаграждения государству, то есть предоставивший ему новый *капитал реальный*.

Во втором случае заработка тоже распределились, но между трудом и готовым *старым капиталом*. Государство осталось в стороне. Продукт творчества пошел не ему, а капиталу, то есть бирже, удвоив богатства биржевых царей, как увидим позднее.

Политическая экономия прекрасно разъясняет, как при возрастании капиталов сама собою уменьшается доля дохода капитала, как вследствие этого капитал становится живее, подвижнее и стремится все дальше и дальше продолжать творчество. Вообразим же себе, что эта работа капитала во имя саморазвития и дальнейшей власти и преуспеяния совершается долго и продукты ее все усиливают самый капитал. Прибавим сюда, что при международном господстве золота известное племя или страна счастливее других работают в лице своих капиталистов. Страна может страшно разбогатеть, найти себе данников по всему лицу земли и поставить свой собственный труд в положение и обстановку весьма сносные². Взглянем на Францию, какое колоссальное обилие накопленных капиталов! Пять миллиардов уплачены как пять рублей. Налицо четыре миллиона людей, живущих рентою, то есть пользующихся чужим трудом, кормящихся за счет итальянцев, и за счет египетских феллахов, и за счет своих собственных трудящихся и нищенствующих сограждан.

Государство тоже, по-видимому, богато, ибо бюджет его огромен. Но все-таки у государства ничего своего, оно только собирает и расходует налоги, оно непричастно никакому творчеству и в случае потребности в экстренном государственном расходе или опасности может *только увеличивать*

¹ Основав, например, новые предприятия, обусловленные новой линией.

² К несчастью, и этого нет. Биржа так жадна, капитал так бессердечен, что наряду с непомерными богатствами Ротшильдов и других пролетариат во Франции, Англии, Германии и повсюду страшно беден и фактически голодает.

налоги и делать займы, предварительно заручившись благоволением биржи.

Самодержавная государственная власть в экономически самодовлеющей стране, действуя при помощи бумажных денег, *имеет источники своего собственного богатства*, и это богатство сосредоточено не в руках одного из государственно-экономических классов (капиталисты, рантье́ры), а является в полном смысле *мирским*, народным или, вернее, *всенародным*, ибо государство есть внешнее выражение народа. Богатство это, выражающееся не в золоте, а в *мирских*, государственных имуществах, дающих определенный доход, или в известном количестве *запаса труда* (см. ниже), может *безгранично приумножаться*, совершенно так же, как приумножаются частные капиталы у правящих классов государства парламентарного. И это государство не будет носить ни малейшего западно-социалистического оттенка, вернее, ходячие социальные воззрения окажутся к нему вовсе неприложимыми. Социализм, ратующий против исключительных прав капитала, ради таких же исключительных прав труда, то есть *желающий заменить деспотизм капитала деспотизмом труда*, логически не может кончить ничем иным, кроме разрушения всего государственно-общественного строя или невинными, но совершенно вздорными фантазиями, вроде Беллами, обратившего свободную Америку в колоссальные арестантские роты посредством неизбежной государственной регламентации труда в его мельчайших подробностях («всеобщая трудовая повинность» Беллами есть нечто столь принципиально чудовищное, что перед нею побледнеют и каторжные работы). Самодержавное государство, основанное на начале доверия к верховной власти, разумно пользуясь указанными выше *мнимыми капиталами*, возможными только при бумажных деньгах, способно явить *идеал личной и экономической свободы*. Услуги мнимого капитала представляют отнюдь *не нарушение прав капиталов реальных, но устранение их несправедливой монополии, низложение их с того престола, который они себе создают на бирже*, развенчание золотого тельца, в парламентарном государстве захва-

тившего державу и скипетр совершенно открыто, у нас тайно посягающего на прерогативы самодержавной власти.

От капитала не отнимется ни возможность промышленного творчества, ни возможность нормального роста. Но ему отводится для этого область *частной предприимчивости*, все же государственное творчество и всю общественную *власть* (ныне захваченную капиталом, а в социальных теориях — *трудом*) государство оставляет за собой.

Вместе с государственным творчеством государство оставляет себе и создание государственных *самостоятельных доходов*, основанных не на одной лишь раскладке податей. Такое государство никогда не встретится с необходимостью делать займы и выпускать процентные бумаги, ибо несколько мирных лет позволят скопиться *колоссальным запасным капиталом* с избытком, достаточным для любого черного дня.

Нам кажется, что этим совершенно доказан и шестой из поставленных в начале этого исследования тезисов, именно:

При системе финансов, основанной на абсолютных деньгах, находящихся вполне в распоряжении центрального государственного учреждения, ведающего денежным обращением, господство биржи в стране становится невозможным и безвозвратно гибнет всякая спекуляция и ростовщичество.

Просим прощения у читателя, которому кое-что может показаться неясным или недоговоренным. Все высказанное здесь выяснится ярче и рельефнее при рассмотрении следующего тезиса — о замене хищных биржевых инстинктов здоровой государственной экономической политикой, к которому и переходим.

XVIII

Тезис этот таков:

Место хищных биржевых инстинктов заступает государственная экономическая политика, сама становящаяся добросовестным и бескорыстным посредником между трудом, знанием и капиталом.

Этот закон является последовательным логическим выводом из всего предыдущего. При золоте в качестве денег и его суррогатах — банковых билетах — правительство совершенно устраняется от государственно-экономического творчества и становится простым органом правящего класса, то есть капиталистов, рантьееров, властвующих в стране. Центр, святилище этого класса — биржа, в руках которой само собою сосредоточивается творчество. Основой, фундаментом этого творчества являются капиталы, народные сбережения, сосредоточенные в руках правящего класса и отчасти классов трудящихся, стоящих посредине между настоящими рантьеерами, вовсе не трудящимися, и настоящими пролетариями, вовсе не скопившими сбережений. Такими типами будут, например, какой-нибудь парижский извозчик, выезжающий ежедневно на работу, но уже имеющий капитал в 5—10 тыс. франков, или привратница, заведующая домом и ежедневно откладывающая известный доход на приобретение ренты или других ценных бумаг.

Как действует биржа с этими капиталами?

При изобилии сбережений в руках рантьееров и полурантьееров естественный нормальный доход капитала сам собой понижается. Вернейшее помещение денег — государственная рента, но маленькому капиталисту она приносит слишком мало. Самостоятельного дела он начать не может (при большом риске и труде оно обещает иногда меньше, чем текущий заработок в *чужом* предприятии), но увеличить свой капитал или доход всегда рад. При малейшей возможности или доверии маленький рантье всегда готов часть своих сбережений вынуть из государственной ренты (они перейдет к новому *образующемуся* рантье, менее капитальному) и поместить в различные «*russes*», «*egiptiens*», «*hongrois*» и другие иноземные государственные бумаги, дающие больший доход. Более подвижный и смелый или более сведущий и капитальный буржуа способен некоторую часть своего капитала доверить и какой-нибудь панамской компании, сулящей громадные дивиденды, особенно если во главе дела стоит такая известная

личность, как Фердинанд Лессепс. Рантьеров и свободных, ищущих применения капиталов, — изобилие. Центр, куда все это стремится, где основывают все дела и устанавливается расценка всевозможных предприятий, — биржа. На бирже сейчас же сама собою возникает *биржевая игра*, имеющая две основных стадии: во-первых, действительные перемещения капитала, действительные покупки и продажи. У меня была рента, я ее продал и купил акции *Crédit Mobilier* или *emprunt égyptien*, во-вторых, игра *в собственном смысле*, когда я, ничего не продавая и не покупая, а лишь делая фиктивные сделки, держу, так сказать, пари, что такая-то бумага повысится или понизится, и в известные сроки получаю выигрыш или плачу проигрыш — разницу в курсе.

Эта биржевая игра, идущая, очевидно, внутри только правящего экономического класса рантьеров (и в малой степени полурантьеров), но непосредственно отражающаяся на сбережениях *всей страны*, имеет в основании одну идею: быстрое обогащение более сильных и ловких капиталистов на счет менее сильных и более наивных их собратий, а, главным образом, на счет трудящихся полурантьеров. Выигрывает в этой игре тот, кому удастся *наверно предугадать или предугадать политическое обстоятельство, имеющее поднять или уронить данную бумагу*. Если я случайно узнаю раньше других, что через две недели Россия объявит войну Турции и что, следовательно, курс на русские бумаги сильно падет, я смело могу идти на биржу и все свое состояние поставить в продажу русских фондов, которых у меня вовсе и нет налицо. Я *продаю*, то есть обязуюсь доставить через месяц такое-то количество русских бумаг по 98 за 100. Через месяц эти бумаги упадут до 68 и при ликвидации я получу чистого дохода 30 копеек на рубль; мне всегда возможно их *доставить*, ибо я тогда куплю их по этой цене и сдам. Но этого вовсе не требуется; сделка, как известно заранее, была чисто фиктивная и шла только на *разницу*.

Итак, я выиграл. Кто же проиграл? Проиграл тот, кто *по незнанию того, что я знаю*, купил мои «russes». Это мог быть

и крупный биржевой игрок, но прежде всего это те мелкие рантьеры и полурантьеры, которые *часть своих сбережений* стараются поместить *выгоднее*, чем в сухую и малоодоходную ренту. Они хотя и не играли, но упавшие бумаги лишили их части их капитала. Совершенно то же и Панама, только посложнее. Биржевые спекулянты, опять же более сильные и знающие (что компания должна лопнуть), сначала употребили все меры, чтобы поднять, раздуть курс акций, наградили в розницу этими акциями («разместили») множество рантьеров и полурантьеров (на каждого понемногу, ибо это тоже народ осторожный и поместит сюда только *часть* своего капитала), затем сделали крах, сыграли на понижение и 600 миллионов франков положили себе в карман. Вся Франция закричала: «*Nous sommes volés*», но тот же извозчик, у которого была одна акция, вчера стоившая 600 франков, а сегодня упавшая до 150, тот же консьерж, потерявший 450 франков, не согласится на радикальный переворот и на уничтожение биржи. Они будут через своего представителя в палате кричать: «*A bus le ministre*» и требовать суда над виновными, но в глубине души они уже помирились со своей потерей, потому что та же биржа, нагревшая их сегодня на 450 франков, раньше давала им хорошее увеличение их капиталов, будет давать и в будущем, ибо бумаг солидных и солидных дел все-таки больше, чем жульнических.

Вот почему буржуазный строй не повалит *и не захочет никогда повалить биржу* и отлично помирится и с подкупными газетами, и с подкупным парламентом, и с подкупными министрами, что Франция и доказала на осенних выборах 1893 года. Как христианин, плохой или хороший, все же органически, по душе своей, сын и член Церкви, так буржуа, рантьер (в государстве с золотой валютой) по душе своей сын и член биржи. И тот и другой могут возмущаться, бунтовать против своей матери, *но порвать с ней совсем не могут*. Христианин без Церкви начинает протестантизмом, впадает в атеизм и логически кончает отчаянием нигилизма. Рантьер, порвавший с биржей, или пролетарий, не сделавшийся рантьером, то есть биржей извергнутый, начинает умеренным социалистическим

протестом, попытками организовать труд, стачками, рабочими союзами, а так как это не ведет ни к чему, ибо биржа и сильнее, и хитрее, то пролетарий логически кончает анархизмом и начинает в лице своих наиболее передовых и нетерпеливых действовать динамитом.

XIX

Итак, взглянем поглубже на биржевые процессы.

В классе рантье-ров идет упорная междоусобная борьба.

В этой борьбе сильные и ловкие *играют наверняка*, обстригая постепенно среднюю публику, но редко ее разоряя, ибо эта публика привыкла к осторожности.

Среди этих сильных и ловких являются единицы, скопляющие чрезмерно большие капиталы. Они становятся настоящими царями биржи, а с ней и всей страны. Их капиталы вяжут такое огромное количество дел, предприятий, им так задолжены трудящиеся классы, и притом не в одной, а в разных странах, от них в такой тесной зависимости миллионы рантье-ров и полурантье-ров, что эти люди являются великой политической силой, настоящими, некоронованными лишь, самодержцами, и притом экстерриториальными, ибо власть их простирается всюду, *где работает их капитал*. Они так связали свои личные интересы с интересами миллионов трудящихся и полурантье-ров, что ни одна государственная власть не смеет выступить с ними на борьбу во избежание страшных внутренних потрясений, но должна служить им и поддерживать их. *Уничтожить Ротшильда ни одно правительство в мире не может* (кроме русского, *пока оно его не пустило вырасти*¹ в России), ибо это было бы теперь разорение для многих граждан. Уничтожить Ротшильда может лишь анархия, когда от всего современного строя Запада не останется камня на камне.

¹ Начало этого роста уже есть. Любопытный факт: в 1890—1892 годах выехали из Москвы множество мелких, в большинстве безвредных, евреев-ремесленников, а о Лазаре Полякове никто и не заикнулся. А еще недавно Самуил Поляков домогался баронства Российской Империи.

Прибавим сюда: в Панамском деле, во всем этом грабеже, Ротшильда, например, совсем не видно. Для него это дело и слишком мелко, и слишком несерьезно. Ему незачем прибегать ни к подкупу, ни к мелкому, сравнительно, грабежу. Его идеал — *миродержавство*, вполне серьезное и путем серьезных же средств. К его услугам все честные элементы Французской республики. Его контора — Национальный французский банк, его уполномоченный, его личный секретарь — глава французского государства, его приказчики — министры, его серьезные операции на бирже приносят ему неизмеримо больше, спокойнее и вернее, чем панамская, чисто карманная кража. Ротшильд и... Панама! Фи!

В этом-то и трагедия последнего слова биржевого царства. Крадет краюшку хлеба глупый чертенок, Вельзевул *властвует*. Вельзевул велик.

Итак, вот стадии финансового развития золотого Запада:

1) золото как деньги (первая власть евреев как ростовщиков);

2) система банков и банковых билетов как заместителей золота (вторая власть евреев как банкиров и финансистов, начало их обогащения);

3) процентные займы государств, царство биржи в стране (третья ступень власти евреев — ростовщичество государственное и затем полное миродержавство).

Общий дух всего движения: устранение *мирского соборного начала*, выражающегося в государстве, от экономического творчества, устранение *нравственного начала доверия*, торжество хищного человеческого «я», возведенного в догмат, полная потеря всякого нравственного критерия, борьба заведомо безнадежная, во имя *нравственности условной* (*morale laïque ou républicaine*). В конце неизбежная анархия, разрушение и одичание, ибо и с другой стороны, в том отвергнутом наполовину мире, откуда могло бы явиться западному (латино-германскому) человечеству спасение, царит тот же Ротшильд в тиаре, исповедующий все то же «я» и все то же *миродержавство*, ненавистное сердцу еще больше, ибо

деспотизм духовный неизмеримо тяжелее *даже* деспотизма экономического.

Вот куда увлекло нас рассуждение об абсолютных деньгах и о процентных бумагах. Не жалею об этом. Читатель не осудит нас, что, войдя в подробный анализ биржевой игры, основанной, главным образом, на существовании процентных бумаг, то есть *собственной нищете государства*, мы поневоле должны были сделать некоторые выводы в нравственной области, без которых невозможен и обстоятельный разбор экономической творческой политики государства как *полной противоположности власти и задачам биржи*.

На основании сказанного прошу досужего и любознательного читателя, знакомого несколько с историей наших финансов, самостоятельно припомнить и оценить те явления в русской жизни, которые характеризуют пришествие к нам биржевика-еврея, и те голоса в печати, которые славословят западную финансовую систему с ее золотом, процентными займами и самодержавием биржи. Подобное размышление будет небесполезно, и мы будем очень счастливы, если читатель уяснит себе, откуда все это веет, во что верует и чему служит. Да, к несчастью и русская православная почва в сильной степени заражена миродержавными еврейскими идеалами. Очистить, скорее очистить надо эту почву (в нашем сознании, а затем и в жизни), и тогда только пышным цветом зацветут на ней русские идеалы.

XX

Переходим к восьмому и девятому положениям, изложенным так:

8) *При бумажных абсолютных деньгах является возможность истинного государственного творчества и образования всенародных государственных запасных капиталов.*

9) *При бумажных абсолютных деньгах роль частного капитала изменяется в смысле отнятия у него захватываемой им в биржево-золотых государствах власти.*

Основная разница между биржево-парламентским режимом и самодержавным государством с абсолютными деньгами, как уже мы видели, заключается в том, что в первой стране вся экономическая политика состоит *в эгоистическом самоуправлении капитала посредством биржи*, сполна подчинившего себе государство и, в свою очередь, подчинившегося нескольким биржевым царям, капиталы коих, безгранично приумножаясь, сковывают *золотыми* цепями труд не только данного народа, но и всех имеющих нужду в готовых капиталах, заимствующих их у этих биржевых царей.

Во второй стадии экономическая государственная политика состоит (или *должна состоять*) в том, что весь народный мир в лице своей государственной власти вступает благожелательным посредником между трудом, знанием и капиталом, обеспечивает полную свободу каждому из них, *но оставляет за собой власть удерживать эти экономические элементы в надлежащей гармонии, не давать несправедливого преобладания какому-либо из них*. Одновременно с этим государственная экономическая политика имеет целью, помогая наилучшей постановке и производительности труда, сбережению и накоплению частных капиталов, *увеличивать всеми мерами достояние собственно государственное, то есть всенародное, мирское, имеющее значение запасного капитала на случай чрезвычайных государственных расходов или народных бедствий*.

Первая часть вопроса лежит, собственно, вне области денежного обращения, предмета нашего исследования. Поэтому о ней скажем вкратце: исключив из общественной жизни посредством изъятия из обращения процентных бумаг биржу с ее игрой, государство тем самым раз навсегда лишает капитал экономического, политического и всякого иного преобладания, распускает армию рантьеров, развенчивает биржевых князей и царей и ставит свободный капитал лицом к лицу со свободным трудом, предоставляя им при посредстве государственных финансовых учреждений (или помимо их) вступать в полюбовные сделки и *равноправно обмениваться услугами*, добросовестно

вознаграждая третий экономический элемент — знание, служащее им оплодотворяющей силой. *Капитализму, то есть господству капитала, здесь нет места, а потому нет места и его антитезе — социализму.*

Другая сторона вопроса лежит непосредственно в области государственного творчества и тесно связана с денежным обращением. На ней поэтому придется остановиться с большим вниманием.

У западного парламентарно-биржевого государства, кроме случайно уцелевших, как наследство старины, государственных земель и лесов, собственно говоря, нет никакого мирского, всенародного имущества (морская и сухопутная оборона едва ли может считаться имуществом), а потому нет и никаких иных ресурсов, кроме некоторых регалий (например, монетная), монополий (например, почтовая, телеграфная, табачная) и налогов разнообразного вида и характера. При всяком поэтому чрезвычайном расходе приходится пользоваться или специальным, если есть таковой, военным фондом (в случае войны), или устанавливать новые налоги, или делать займы, то есть закладывать налоги будущие, внося в будущие бюджеты проценты и погашения по займам. Других ресурсов у этого государства нет никаких, потому что нет никакого творчества, потому не может быть и другого исхода, в случае крайности, как займы или новые налоги.

У государства самодержавного, уничтожившего биржу, усвоившего абсолютные деньги и работающего при помощи *системы ссуд и вкладов* как посредник и системы государственных предприятий при помощи *мнимых капиталов*, как инициатор, — останется в качестве *своей* государственной или, что то же самое, всенародной, мирской собственности *вся та доля прироста и образования капиталов, которую у парламентарного государства отнимает биржа для образования ротшильдовских богатств.*

Поясним это примером.

Представим себе, что страховое дело монополизировано государством. Это и практически давно пора было сделать,

тем более что у нас есть блестящий пример государственного страхования в Царстве Польском. Получается огромное облегчение для страхователей вследствие удешевления администрации, устранения необходимости заграничных перестрахований, и у государства остается весь тот доход, который в настоящее время идет акционерам русским и заграничным (по перестрахованию). По самой малой оценке этот доход не ниже десяти–пятнадцати миллионов (цифр под руками у нас, к сожалению, нет).

Далее. Вернемся к примеру железной дороги, выстроенной на мнимый капитал, то есть на выпущенные знаки. Знаки эти усилили в необходимой степени народное обращение, и жечь их не приходится. Дорога — собственность государства, и весь остаток дохода за расходами эксплуатации — чистый доход государства. Кому шел раньше этот доход? Акционерам, давшим свои готовые капиталы. Кто стоял над акционерами, ошипывая избытки их доходов путем биржевой игры? Господа X, Y, Z, маленькие доморощенные Ротшильды, знавшие ходы в «сферы» и умевшие узнавать то, чего не знала в данный момент биржа. Подводя итог всей операции, мы увидим, что государство 1) устранило акционерное, *всегда своекорыстное предприятие*, побудив акционеров искать помещения своих денег, тихого и нерискованного, во вкладах; 2) лишило наживы спекулятивный элемент на бирже; 3) парализовало образование миллионов у какого-нибудь Полякова, переведя эти миллионы во всенародное, мирское достояние, в государственный запасный капитал.

Третий пример: где-нибудь на Мурманском берегу открыты серебряно-свинцовые месторождения. Трое солидных горных инженеров, составив товарищество, просят у правительства ссуду на эксплуатацию этих рудников. Дело совсем новое, оплодотворяется спавший доселе труд, следовательно, мнимый капитал вполне у места. Дается ссуда из вновь выпущенных кредитных билетов (или из вкладов, ибо вклады при оживлении дел и требовании на них пополняются всегда вновь выпущенными знаками). Устанавливается процент и пога-

шение или предприниматели признаются государственными арендаторами. И в том, и в другом случае то, что в политической экономии называется «долею барышей капитала», осталось государственным всенародным достоянием.

Никто не помешает тем же инженерам воспользоваться услугами не мнимого, а настоящего, реального частного капитала и войти с ним в добровольную сделку. Разница будет лишь в том, что частный капитал более склонен бояться риска, ибо у его владельца нет охоты лично ехать на Мурман и нет тех средств контроля, какими располагает государство. Кроме того, мнимый капитал удовольствуется гораздо меньшим, ибо ему важен не столько размер дохода, сколько пробуждение спавшего народного труда и дальнейшая всенародная польза от дела.

Таким образом, мнимые капиталы, пускаемые в оборот государством, и реальные, то есть частные, капиталы будут работать параллельно, не мешая друг другу, и в этом именно и будет заключаться здравая и справедливая экономическая политика. Они не будут мешать друг другу, ибо их цели совершенно различны. Государству важно оживить и улучшить народный труд и создать новое имущество, которое может давать доход хотя бы лишь в отдаленном будущем: государству есть время ждать. Частному капиталу важно заработать *немедленно*, то есть получить больше, чем ему платят на вкладе. Ясно, что первые капиталы экономическая политика направит хотя и на мало доходные, но государственно-полезные дела, вторые пойдут на дела, государству безразличные, но более доходные. Элеваторы, порты, железные дороги, первые (в каком-либо деле) фабрики будут строиться на мнимые капиталы, то есть или прямо государством, или при поощрении со стороны государства; подгородные конки, подъездные пути, сельское хозяйство, фабрики, заводы, мастерские будут оборачивать капиталы реальные.

Если мы только представим себе мысленно, какое огромное количество народного труда в России может быть быстро вызвано вот этими мнимыми капиталами, мы легко

поймем, как быстро, даже при крайнем бескорыстии государства, скопятся в его руках огромные запасные средства. Вспомним, что наш стомиллионный народ полгода сидит без дела, а остальные полгода, кое-как ковыряя землю, едва-едва вырабатывает себе годовое пропитание. Вспомним, как выколачивают из него ничтожные, сравнительно, налоги! Вспомним, как ничтожно его потребление и обмен по его совершенной нищете, и мы поймем, что, примись этот народ работать как следует (а он, как мы видели, не может, ибо нет инструмента — денег, ибо деньги спрятаны в процентные бумаги и акции), та доля, которая будет падать на *мнимые капиталы*, ссужаемые государством, быстро станет выражаться в сотнях миллионов рублей.

Чтобы выразить в одной формуле роль здесь экономической политики государства, скажем так:

Государство не отнимет у частного капиталиста, ищущего производительного помещения своих капиталов, ничего, кроме власти, которую на Западе создает капитал и передает бирже. Оно ограничит затем у капитала всякую возможность хищной, спекулятивной наживы, не даст возможности возникнуть Ротшильду и на место его хищных капиталов, ищущих миродержавства, выставив в балансе свои собственные *запасные средства*, переведет в *христианскую мирскую* собственность всей православной Руси величины, соответственные тому или части того, что *грабят у западного человечества евреи* и на чем они же основывают свою над ним так непомерно растущую безнравственную и погибельную власть.

Вот тут-то, размотав этот несчастный клубок до конца, мы и увидим, что эти колоссальные собственные запасные средства государства не только позволят *совсем обойтись без всяких займов и процентных бумаг*, но по мере своего роста дадут возможность государству, несмотря на постоянное возрастание своего бюджета, приняться за *постепенное облегчение существующей податной тягости*.

Да, вот одна из великих задач, совершенно не разрешимых при золоте и господстве биржи, и наоборот, очень легко

разрешимая при творческой государственности, усвоившей абсолютно-денежное обращение! Налоги, составляющие государственный бюджет, представляют *всенародную складку* для произведения необходимых государственных расходов. Образованием собственных, то есть *безличных*, всенародных источников дохода можно заменить известную часть этих прямых сборов, падающих *лично* на граждан или на их *личные имущества*. В научном отношении неважно, какая именно доля налогов будет замещена собственными доходными источниками государства, важно *установление принципа*, указание пути к этому возможному замещению. А принцип этот, думается нам, установлен довольно твердо и выражается в нашем десятом тезисе.

При государственном творчестве и запасах является совершенно иной взгляд как на налоги, так и на систему таможенную.

Относительно последней, о которой мы еще не упоминали в нашем исследовании, пока можно сказать, что она изменится в смысле ее *подвижности*, как органическая часть центрального денежного учреждения. Коль скоро государство возьмет в свои руки истинное управление денежным абсолютным обращением и создаст для этого соответствующие органы, в его руках очутится сама собой монопольная торговля драгоценными металлами, являющимися орудием расчета международного. Другими словами, этот центральный государственный орган будет *устанавливать курс на золото*.

Коль скоро это достигнуто, всякий таможенный тариф теряет значение. Объявлением курса можно *ежедневно* регулировать привоз и вывоз товаров, и это установление курса в руках твердой национальной политики будет оружием неизмеримо более острым и гибким, чем тяжеловесный и малоподвижный таможенный тариф.

Подробно исследовать этот *частный вопрос* денежной системы здесь не место, и мы надеемся вернуться к нему со временем, когда придется подвергнуть анализу дальнейшие выводы и последствия, проистекающие из нашей истории.

XXI

Нам остается рассмотреть теперь последние вопросы, составляющие органическую часть исследуемой нами денежной системы.

Необходимо, во-первых, указать, в каком виде должны находиться те запасные средства государства, которые представляют *мирское* всенародное имущество, которые служат фондом на разные экстренные расходы, являющиеся в государственной жизни, и не только позволяют вовсе не прибегать к займам, но, наоборот, постепенно возрастая, дают возможность постепенно убавлять прямую податную тягость народа.

При золотой валюте такого рода запасные средства государства могут составлять, главным образом, вернее, единственно, в запасах золота в кладовых национального банка. Земли, леса и всякое другое имущество *нетворческому* государству совсем не нужны или бесполезны, ибо биржевой режим совершенно последовательно противится всякой государственной собственности. Государству, изображающему только внешний порядок, нечего делать с недвижимыми имуществами, которыми биржа распорядится гораздо лучше, которые она сумеет двадцать раз перебросить из рук в руки, сделав их предметом разнообразнейших спекуляций. Такое государство, даже получив недвижимость, должно стремиться поскорее от нее избавиться как от чего-то, его роли явно не соответствующего.

Да и самый золотой фонд может быть нужен только для двух целей: для обеспечения денежного обращения, и в этом смысле он опять же принадлежит не государству, а выделенному из него национальному банку, и для военных целей. Только последний фонд, совершенно особый, и может в строгом смысле считаться запасным государственным капиталом.

Государство, работающее при системе абсолютных денег, очевидно, никакого запасного капитала в денежных знаках иметь не может. Оно выше денег, оно *творит* их само, и, следовательно, оно не может ни считать бумажки капиталом, ни помещать в них что бы то ни было. Бумажки для такого

государства в лице его государственного ли казначейства или центрального Государственного Банка суть *мнимые величины*, инструмент расчета, но *никак не деньги*. Бумажный рубль рождается в момент перехода из рук государства в руки подданного и умирает, войдя обратно в государственную кассу. Там, в этой кассе, это костяшки на счетах, это квитки, обернувшиеся в хозяйстве, марки в булочной Филиппова. Там важно иметь этим рублям строжайший учет, но полагать в них какую-то внутреннюю силу — нелепо.

Но если запасы государства не могут быть в деньгах, то считаться они все же не могут иначе, как на деньги.

Золото в качестве запасного фонда тоже может иметь лишь значение крайне ограниченное, и притом условное. Золото есть товар, без которого во внутренних сделках и торговле страна может почти вовсе обойтись (предметы роскоши в трудную минуту для народа теряют значение, остается только потребность в хлористом золоте для фотографии и, кажется, для медицины). Необходимость в золоте является только при необходимости покупать что-либо у иностранцев, и то только тогда, когда *обмен с ними* товаров дает баланс не в нашу пользу. Для страны, экономически самодовлеющей, то есть имеющей все продукты, ей нужные, внутри своих границ, такой надобности вовсе не представится при некоторой предусмотрительности. Для России, в частности, потребуется очень немного. Подробный разбор этого любопытного вопроса читатель найдет в нашей книге «Деревенские мысли о нашем государственном хозяйстве» в главе «Война и кредитный рубль», где в свое время мы обстоятельно разобрали, какие пустяки нужны нам из-за границы, и прямо отрицали необходимость золота для войны. Если, говорили мы, война победоносна и идет на неприятельской территории, мы посылаем свой хлеб, а все остальное берем путем реквизиций у побежденных. Если война менее счастлива и идет в наших границах, мы опять же кормим армию своим хлебом, а за остальное, ей нужное, платим кредитными знаками, учитываемыми впоследствии. Только современное наше неустрой-

ство ставит нас в зависимость от иностранцев, например, отчасти в оружии, в селитре, в свинце. Чтобы заготовить все это и иметь возможность дальше покупать во время войны, мы должны иметь некоторый запас золота, то есть международных денег. Золото же это может быть добыто как из собственных рудников, так и из-за границы, накапливаясь постепенно в руках казны как избыток платежей иностранцев нам против наших платежей им¹; или, наконец, если война застанет малый военный фонд как заем у них, который, во всяком случае, из первых же свободных количеств золота или иных продуктов должен быть впоследствии погашен.

Чтобы определить характер запасных средств государства, необходимо рассмотреть, для чего эти запасные средства могут быть нужны. Про войну мы уже говорили. Остаются: внутренние народные бедствия, как неурожай, разного рода стихийные несчастья, эпидемии, эпизоотии и т. п.; государственные предприятия, имеющие не столько творческий (производительный), сколько *оборонительный* характер (например, лесонасаждение, борьба с обмелением рек и т. п.). Наконец, весьма важное значение запасных средств: расширение государственных расходов, то есть рост расходной росписи и постепенное уменьшение податной тяготы населения.

Из внутренних бедствий самое страшное — неурожай. Разумеется, дело идет здесь только о хлебе на продовольствие и на семена. Ясно, что единственный фонд здесь *государственные хлебные запасы*. Неурожай и громадный подъем цен в 1891 году выяснили вполне этот вопрос. Мысль П.П. Зубова², васьковского предводителя дворянства, — вот прекрасная организация дела. Добавим сюда, что внутренняя торговля хлебом должна быть свободна, а весь вывоз должен составлять монополию правительства, которое может en grand торговать, совершенно не поддаваясь давлению любой

¹ Просим читателя не забывать, что это рассуждение относится к теоретической, научной стороне вопроса. Мы совсем игнорируем нынешнее запутанное наше финансовое положение и нашу задолженность. Этот вопрос особый.

² См. С. Ф. Шарапов. Сочинения. Т. II: «Из разговора с П.П. Зубовым».

европейской биржи, а наоборот, производя само могущественное давление на хлебных потребителей. В случае войны правительственные хлебные запасы окажутся поистине благотворительными и чрезвычайно упростят и удешевят продовольствие армии. В мирное время только при посредстве массовых покупок правительством хлеба в свои элеваторы и можно поддержать, где нужно, цены, ставящие сельского хозяина иногда в критическое положение. Более подробные объяснения в нашу программу пока не входят¹.

Борьба с эпидемиями и эпизоотиями по их преимущественно местному характеру является вопросом до некоторой степени спорным: государственное ли это в экономическом смысле дело? Не достаточно ли для государства иметь лишь распоряжение и руководство в этой борьбе, возлагая все расходы на органы местного самоуправления и их *запасные средства*? Но, если бы государству и пришлось уделить на это собственные свои средства, то самое рациональное заимствование их из кассовой наличности вкладов, не включая вовсе в роспись, а возвращая вновь на вклад из образующихся свободных средств, то есть их будущих сверхсметных доходов.

Совершенно то же и при всяком ином государственном чрезвычайном расходе, хотя и вызывающем некоторый народный труд, но не рождающем его, а только претворяющим труд готовый. Спасение реки от обмеления ничего не создаст вновь, а только поддержит существующее, и те же рабочие руки, может быть, с еще большей пользой были бы заняты на другом деле. Здесь народный труд не только не оплодотворяется, но, пожалуй, даже тратится непроизводительно, по нужде, расходуется из запаса, а потому мнимые капиталы никакого приложения иметь не могут. Ясно, что *этот запас только и может быть в том же виде, что и запас всякого иного рода частного труда* (капитал — концентрированный труд), то есть во вкладах в центральном учреждении народного хозяйства. Труд, потребный в этом случае правитель-

¹ Министерство финансов, в видах помощи сельскому хозяйству, начало эту операцию в 1895 году, но на основаниях довольно шатких.

ству, угнетает до известной степени частный труд на рынке, и это математически точно выражается в угнетении коммерческой операции казны, коммерческих операций частных лиц в учреждении, ведающем вкладами и ссудами.

Поэтому и эта часть государственного запасного капитала не может быть помещена ни в чем ином, как во вкладах. Соответственное учреждение окажется здесь истинным регулятором, с точностью указывающим взаимное соотношение капитала и труда государственного, мирского с капиталами и трудом частных лиц. *В этом соотношении и будет лежать истинный государственный запас специального назначения.*

Поясним это примером.

Десять лет подряд правительство, допустим, вносило на вклады, ставя в свою смету, скажем, по 3 миллиона рублей на улучшение рек. Образовался фонд в 30 миллионов рублей. В данном году эта сумма вынута и истрачена на реки. Никаких замешательств в денежном обращении не произошло, ибо *выем этих денег отразился на денежном обращении как раз настолько, насколько отвлечение на реки массы рук отразилось на промышленности и земледелии.* Иначе и быть не может, ибо при системе ссуд и вкладов все денежное обращение является точнейшим отражением явлений жизни, то есть относительного положения в данную минуту труда и капитала.

Таким образом, и самая идея государственного запаса или запасного капитала в остальной его части, то есть кроме золотого фонда и хлеба, сводится на *запас труда*, выражаемого в тех же денежных, то есть ценовых единицах, в которых выражается труд и запасы труда, то есть капиталы у всех граждан государства. Другими словами, пока государство оплодотворяет труд, оно выдает под него авансы, то есть печатает знаки, но *имея дело с запасом труда готового, оно становится в ряд со всеми отдельными гражданами и хозяйничает, как и они, меряя на ту же единицу и проходя сквозь тот же регулятор.*

Как и они, государство, вооруженное лишь колоссальным творчеством, непрерывно богатеет, то есть располагает все большим количеством продукта и запасного труда. Как и

частный капиталист, оно быстро переходит за ту черту, где даже роскошная жизнь не поглощает всех доходов. Капиталист продолжает богатеть, или начинает дарить свои излишки согражданам¹, или, наконец, начинает давить своим капиталом, создавать свою власть и миродержавство, если есть для этого орудие — биржа (например, Ротшильды). Государство, изображающее всенародный мир, начинает равномерно облегчать податную тяжесть своих граждан, убавляя или вовсе отменяя некоторые налоги (Соединенные Штаты). По существу, это один и тот же процесс, регулируемый *нравственным началом*, коего применение чрезвычайно облегчается *основанными на чисто нравственном же начале* абсолютными деньгами.

XXII

Чтобы закончить настоящее исследование, нам остается выразить в кратких чертах ту экономическую политику, которая, будучи основана на абсолютно-денежном обращении, может создать наилучшие материальные условия для страны, установив истинно свободные и справедливые отношения между тремя основными экономическими элементами: трудом,

¹ Любопытный вывод этот осуществляется иногда раньше, чем для него вполне настало время. Возьмем, например, наших Третьяковых, давших России прекрасную национальную галерею. Возьмем американцев: Лика, давшего средства на постройку великолепной обсерватории, или Станфорда-старшего, основавшего богатейший в мире университет на Пало Альто в Калифорнии. Не много нужно просвещения и патриотизма, чтобы делать даже огромные пожертвования на пользу своей родины, если богачу некуда иначе девать свои деньги и если не строить обсерваторий и картинных галерей, то кроме битья дорогих зеркал и посуды ровно ничего не придумаешь.

Когда посредством системы абсолютных денег у капитала будет отнята всякая политическая власть, миллионеру в самом деле ничего иного не останется, как то или другое меценатство, и здесь он будет вне конкуренции с государством; тогда быстрое обогащение единиц станет для страны поистине благодеянием, а для самих богачей — высшей нравственной наградой за их предыдущий труд в виде возможности делать высшее добро, не всегда доступное монархам.

капиталом и знанием и представив государству как всю подобающую ему (на Западе узурпированную капиталом) *власть*, так и подобающее ему *творчество* вместе с его результатом — собственными, то есть мирскими, всенародными средствами.

Прежде всего эта экономическая политика должна на основании изложенных начал установить сеть учреждений, соответствующих абсолютным деньгам. В основу этих учреждений должен быть положен принцип строгого разделения *хозяйства собственно государственного* (расходы управления, просвещения, обороны, суда и пр. — словом, расходы по росписи) от *хозяйства народного*, оживляют и денежное обращение, народный кредит или в широком смысле *управление народными капиталами и трудом*.

Сеть учреждений поэтому расположится так:

Наверху отдельно стоящее учреждение, ведающее государственной росписью, то есть расходами и приходами государства, а также его собственными капиталами и доходами, являющимися долей государства как *результатом* оплодотворенного народного труда. Это будет в строгом смысле *Державная Казна*, соответствующая в принятой у нас терминологии части Министерства финансов, Государственному Казначейству.

Рядом в совершенной независимости от первого учреждение, ведающее денежным обращением, народным кредитом и денежной частью всенародных государственных предприятий. Это будет *Большая Казна*, или по современной терминологии — Государственный Банк.

Внизу, в областях (губерниях) и уездах, должны быть *Приказы Большой Казны* (отделения Государственного Банка первого и второго разрядов, слитые вместе с уездными и губернскими казначействами). Сеть этих учреждений должна быть одна, несмотря на одновременные их операции с частными и государственными суммами. Так как счет ведется на одинаковую единицу и движение денег одинаковое, то никакого затруднения в счетоводстве быть не может, а между тем при подобном единстве *Большая Казна* может в любую мину-

ту с величайшей точностью иметь все данные как об общем денежном обращении, так и о специальном состоянии счетов Державной Казны.

Главная задача Большой Казны — управление денежным обращением посредством приема повсюду во всех своих приказах вкладов, выдачи повсюду же ссуд, установление повсюду земледельческого, торгового и промышленного кредита, а также и посредством выпуска в обращение и уничтожения излишних денежных знаков.

При таких условиях всевозможные частные и общественные или акционерные банки становятся совершенной аномалией и не потому, между прочим, чтобы государство стало их преследовать или закрывать, а по невозможности конкурировать с совершенно *бескорыстным* государственным кредитом, довольствующимся самым небольшим чистым доходом в запасные средства государства. Для частного кредита останется лишь одна форма при известных условиях, может быть, еще более выгодная — это общества взаимного кредита.

Кредит государственный уже потому исключит кредит частный, понудит, так сказать, частный капитал пройти сквозь вклады, что в местных приказах примут живое и деятельное участие (оформленное весьма широко уставом) всевозможные самоуправляющиеся местные земские, городские, сословные, торговые и промышленные учреждения и частные союзы и общества. Даже самое установление ссудного и вкладного процентов будет принадлежать местным приказам с ведома и согласия, разумеется, центрального учреждения.

Такова схема организации денежного обращения, в тесной связи с которой будет и экономическая политика государства, уже обрисованная в общих чертах в предыдущих главах и здесь лишь кратко формулируемая.

Эта экономическая политика, во-первых, должна *пробуждать народный труд и улучшать формы существующего*. Достижимо это посредством как мнимых, так и реальных капиталов, создавая на тех и других льготный, простой и доступный всякому трудящемуся кредит. При всем разнообразии его форм

преобладающими типами будут: *кредит земледельческий, ипотечный и мелиоративный* — долгосрочный, с неизменным на долгое время ссудным процентом. Соответственно этому кредиту имеются и капиталы, ищущие особенно долгого, иногда вечного и прочного помещения. Таковы капиталы различных учреждений, по своему нравственно верному и неподвижному характеру как раз отвечающие прочному и взаимному ипотечному кредиту. *Кредит земледельческий и промышленный оборотный*, с более короткими сроками, чем ипотечный, но все еще с долгими сроками, дающий возможность выдерживать на складе запасы произведений и товаров. Ему соответствуют и менее долгосрочные вклады, представляющие капиталы частных лиц или запасные капиталы общественных учреждений, союзов, промышленных предприятий.

Наконец, *кредит торговый, учетный*, с краткими сроками. Ему соответствуют и краткосрочные вклады, или текущие счета.

Включение *уездов* в сеть учреждений Большой Казны даст полную возможность развивать и *сельский кредит*, оживить множество небольших крестьянских и владельческих предприятий и создать столь необходимую *зимнюю работу* русскому народу. Пусть всякое крестьянское товарищество, всякий отдельный крестьянин или сельский мир имеют право кредитоваться и долгосрочно, и краткосрочно при гарантии в смысле солидности начинания, хотя бы на самые малые суммы, и пусть не возражают, что этот вид кредита потребует чрезвычайно сложной бухгалтерии в уездном приказе и большого персонала. Если бы нынешние уездные казначейства с одним казначеем-бухгалтером и двумя-тремя писарями, ничего иного не знающими, как выдавать жалованье, оплачивать купоны и принимать налоги от старост и старшин, обратились в огромные палаты с многочисленными отделениями и множеством служащих, это означало бы только, что уезд делает огромные обороты, что он живет. Очень возможно, что практика вызовет вскоре и новые, еще более мелкие учреждения, подведомственные Большой Казне, — кредитные

учреждения приходские, когда же станет, наконец, приход, а не бумажная волость низшей административно-земской единицей?! Но это уже частности.

Возвращаемся к экономической политике. В области денежного обращения ее вторая формула: *увеличивать собственные средства государства, то есть капиталы и запасы всенародные*. Центральным органом здесь является также Большая Казна, эти капиталы создающая и управляющая их обращением, и займет Державная Казна, их расходующая вместе с теми средствами, которые собираются с народа на расходы государственные.

Мы уже достаточно выяснили, кажется, способ и условия образования и помещения государственных запасных капиталов. Здесь может идти речь только о счетоводстве и об операциях с ними Большой Казны. Капиталы эти будут, очевидно, на вкладах наравне со всякими другими общественными и частными капиталами, но в банковской деятельности учреждения их значение ввиду несколько особого их характера будет иное. Запасы народного труда, в них выраженные, в общих оборотах казны будут тем же, чем балласт на корабле; при усиленной нагрузке излишний балласт снимается, но он же необходимо увеличивается при нагрузке малой, дабы придать судну надлежащую осадку и, следовательно, надлежащую устойчивость.

Переводя этот пример на формы государственного хозяйства, его можно выразить так: государственные запасные капиталы, выражающие концентрированный народный труд в распоряжении Державной Казны, представляют в операциях Большой Казны подвижный, сжимаемый и расширяемый по требованию минуты элемент. *В тяжелую для государства минуту это прямо расходуемые запасные средства* (от чего, разумеется, пострадают косвенно текущий труд и капиталы, но ведь тем же и отличается трудная минута); *в спокойное время при оживлении народного труда капитал этот должен возрасти, то есть налоги быть больше, в обратном случае, то есть при застое, налоги должны уменьшаться*.

Вот формула, совершенно не известная западной финансовой теории, но представляющая прямой вывод из нашей теории абсолютных денег. Согласимся, что подобный регулятор представляет для государства огромную важность, ибо три рубля, взысканные с гражданина, выгодно работающего, легче для него иногда, чем рубль, взысканный с него же в минуту кризиса. А западная финансовая система дает как раз обратное. Именно в минуту, тяжелую для граждан, и должны увеличиваться их жертвы на свою государственность.

XXIII

Мы были бы несправедливы к представителям западной науки, если бы вздумали приписывать исключительно русской мысли возникновение и развитие вышесказанных здесь положений. Среди западных экономистов совершенно особняком стоит великий немецкий мыслитель (хотя и славянского происхождения) Родбертус-Ягцев, который в одном из своих превосходных трудов с величайшей ясностью охарактеризовал денежную историю человечества и прямо высказал мысль о бумажных деньгах как о завершении его трудного и болезненного финансового развития. Это не глубокое и подробное научное исследование, это лишь беглая заметка в форме объяснительного примечания к другому труду, но это примечание стоит томов. Вот оно:

«Деньги, как ликвидационное средство разделения труда, развиваются по трем главным историческим моментам. Сначала они еще вполне *товар*, затем они служат уже *только показателем цены* и удерживают свое качество товара *только для того, чтобы правильно показывать*. В-третьих, они не нуждаются уже более в *товарном качестве*, но не суть еще исключительно *только квитанция и перевод*. Эти три фазы денег вполне соответствуют трем хозяйственным фазам (то есть *ойкос*, или семейно-родовое хозяйство, *полис*, или хозяйство земледельческо-городское, и *современное государство*). Пока оборот имуществ покоится еще на тяжело обращающем-

ся механизме денег, которые словом *rescuius* напоминают о своем происхождении и, следовательно, существуют ли они еще *в быках или уже в золоте, сами еще обращаются вместе как товар*, до тех пор все еще существует натурально-хозяйственное положение, хотя бы обращающиеся суммы составляли тысячи фунтов золота (или 683 вагона французского национального банка), как они обыкновенно также и циркулируют в действительных весовых фунтах... Если же затем деньги приобретают в большей мере значение показателя и *удерживают свое товарное качество только еще как **предполагаемое** ручательство за правильность показания*, то есть это качество товара исполняет еще только судсидиарную задачу быть регулятором потребления, равномерного с производством, тогда натурально-хозяйственное положение вытесняется *денежно-хозяйственным*, но оно пока еще только именно денежно-хозяйственное, а не *кредитно-хозяйственное*. Такое положение денег в нашем нынешнем состоянии: товарные обороты гораздо менее совершаются посредством денег, чем *вычисляются на деньги, сравниваются с последними*. Деньги же в качестве товара выступают только еще как *конечный регулятор ценности (точнее, как единица измерения. — Авт.)*. Между тем кредитно-финансовый характер обнаружится только тогда, когда деньги сделаются *исключительно только квитанцией, переводом, когда они **окончательно выбросят за борт свое товарное качество*** и в состоянии будут сделать это по той причине, что тогда будут уже существовать *такие социальные учреждения, которые позволяют оказывать полное доверие даже такому нефундированному (необеспеченному) показателю цены. Насколько еще лежит в будущем осуществление этих условий, настолько еще мы удалены от наступления кредитно-хозяйственного периода»*¹.

Вот блестящее изложение научно-экономическое и философское подтверждение изложенной нами в этих статьях денежной теории. Мы начали именно с того, на чем остановился

¹ Робертус-Ягецов. Исследование в области национальной экономики классической древности. Перевод. Ярославль, 1887. Примечание 51.

великий экономист. Дело в том, что наши бумажки историческим путем уже стали абсолютными деньгами, разошлись с золотом и совершенно утратили свое значение *денег-товара*. На Западе еще во всей силе продолжается период *товарно-денежного хозяйства*, у нас уже совершился переход к *абсолютно-денежному хозяйству*. Те условия, о которых мечтал Родбертус, то есть необходимый элемент доверия и соответствующие учреждения, у нас наполовину имеются. Непокоримое доверие к верховной власти налицо, на нем построен весь наш государственный быт. Недостает надлежащих финансовых учреждений, но их не так трудно создать. Зачем же возвращать Россию к пережитому ею и, по меткому выражению Родбертуса, выброшенному за борт денежному хозяйству? Зачем добиваться и искать того, чтобы золото, переставшее быть у нас деньгами и ставшее ценным товаром и *деньгами только международными*, вновь овладело нашей финансовой системой? Не мешайте естественному прогрессу (в хорошем смысле), не мешайте России идти по тому пути, по которому Бог, видимо, ведет ее впереди других племен и народов, заставив, хотя и со страшной болью, выработать (или подойти к выработке) идеальную политическую форму государственности и теперь принуждая вырабатывать новую и совершеннейшую, чем где-либо, денежную систему. Повторяем: будем глядеть вперед, а не назад. К золоту мы не вернемся и вернуться не можем. Утешимся. Золото — отжившая *рабская и языческая* форма денег. Рабская потому, что приводит естественно к господству капитала над трудом, еврея над христианином, биржи над Церковью. Языческая потому, что золото-деньги исключают *нравственную роль государства*. России предстоит с болью, с жертвами, недоразумениями и ошибками, конечно, выработать систему *христианских денег*, то есть таких, при которых денежный знак является безусловно послушным орудием в руках *христианского государства* и не искажает форм труда и нравственных основ *христианского общества*, а мы, словно евреи вокруг золотого тельца, плачем и рыдаем, что история разрушает этого божка...

Вот почему мы повторяем с особенной настойчивостью: будем же, наконец, смотреть на деньги как *на орудие учета народного труда, знаний и капитала*. Только этот ясный и простой взгляд выведет нас из тех финансовых дебрей, в которых беспомощно бродят господа Гурьевы и К°, предлагая проекты, один другого страннее и нелепее. Поймем же, наконец, что нам нужно одно-единственное условие:

Найти денежную единицу, которая была бы *постоянной сама по себе, а не по отношению к золоту*.

Эта единица у нас есть. Ее дала нам история. Это бумажный рубль, выпускаемый верховной властью. Условия его постоянства определены нами подробно раньше. Постоянство это — его *нейтральность*, его *безразличие*, его *невмешательство* в те сделки, которые при помощи его совершаются. Чтобы это условие было достигнуто, рублей в каждой точке русской территории нужно налицо столько, *сколько потребует жизнь*. Если этих рублей меньше, недостаток их давит труд, знание и капитал в одну сторону. Если их больше — в другую. Спасение от зла — устройство правильных органов денежного хозяйства, где рубли рождаются, действуют и исчезают совершенно автоматически, то есть как *перевод*, как *квитанция*, а не как самостоятельный товар...

XXIV

Теперь, надеемся, оправдан и наш последний, одиннадцатый тезис.

Осуществление в полном виде системы финансов, основанной на абсолютных деньгах, изменит самый характер современного русского государственного строя, освободив его от посторонних влияний, усилив его нравственную сторону бытия и дав возможность проведения свободной христианской политики.

В самом деле, бумажные деньги при стройности и полноте учреждений и надлежащей экономической политике являются удивительным организатором и счетчиком народного

труда. При бумажных деньгах только и возможна *идеальная свобода как государства*, так и его отдельных *граждан* от всякого попользования с чьей-либо стороны узурпировать власть. Эта власть остается за тем, кому она исторически принадлежит, и остается в ее чистом, свободном виде.

Такая власть, отданная добровольно, являющаяся *тяжким бременем, великим подвигом, а не торжеством, не целью*, и будет *истинно христианской*, а освобождение трудящихся и сберегающих от биржевого насилия, хищной еврейской власти золота и неминуемых социальных катастроф будет тем торжеством *христианской цивилизации*, которую утратил Запад *и духовно, и научно, и экономически* сбившись с дороги.

Да, читатель! Позвольте в заключение этих бесед высказать нашу главную, основную руководящую мысль. Христианская истина, неся человечеству свет *истинной свободы*, одна, только одна способна дать критерий и для христианской политики, и для христианской экономики. Отживающая и подошедшая к абсурду и самоубийству цивилизация Запада характеризуется тем, что во всех областях мало-помалу поставила основой грубый, бессмысленный и злой физический закон *необходимости*. Этот закон материализма, двинув вперед науки точные и создав великие успехи техники, овладел затем и душой человека, убил ее свободу, отрекся и от самой души, низложил в гордыне своей Творца и Спасителя душ. Дальше идти некуда... Побежденные стихийные силы в природе воскресли в буйствующей душе человека и погубили ее. Для западной цивилизации уже начинается тьма, небытие. У динамита нет ни мысли, ни оправдания, ни философии. Его девиз один — *гибель всему*. И Запад гибнет в страшных конвульсиях. Припомните Сантандер и Барселону, прочтите письма маленького, ничтожного и бесцветного анархиста Лотье, вонзившего ни с того ни с сего нож в сербского посланника Георгиевича, и вы увидите, что это наивное признание дикаря — *последнее* строго логическое слово западной цивилизации, эпитафия над ее могилой.

Да, эта цивилизация погибла. Ее когда-то гордые носители, ее изжившие и пережившие, с надеждой и детской ра-

достью встречаются в самом всемирном центре этой цивилизации грядущую другую, жадно ловят новый свет с Востока. И эта цивилизация идет совсем новая, совсем другая, с другим основным законом, законом свободы во Христе. Задача этой цивилизации — вернуть вновь в подчинение стихийные силы, сложить вновь к подножию веры слепой закон необходимости, вознести и очистить душу человеческую.

Экономия и финансы суть великие *орудия* общежития человеческого. В руках у закона необходимости они приспешили лишь смерть цивилизации Запада. Освещенные и согреты законом христианской свободы, они возродят наше общежитие и создадут и истинную государственность, и истинную христианскую цивилизацию. Падет биржа, ставшая церковью, и воссияет истинная Христова Церковь. <...>

ИНОСТРАННЫЕ КАПИТАЛЫ И НАША ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА

*(Речь, произнесенная 20 февраля 1899 г.
на первом земледельческом обеде в С.-Петербурге)*

Милостивые государи!

Вопрос об иностранных капиталах стал за последнее время не только модным у нас вопросом, но и крайне серьезным. На наших глазах важнейшие естественные богатства России одно за другим переходят в руки иностранных компаний, и все мы чувствуем, что переход этот что-то уж очень напоминает не то какое-то нашествие на Россию, не то прямую ее экономическую оккупацию. Наконец появились уже протесты не только в газетах, но и от общественных учреждений, каков, например, Московский биржевой комитет.

Между тем наряду с протестами слышится и горячая защита иностранных капиталов. Очень многие у нас не только ничего не имеют против покупки и разработки иностранцами наших естественных богатств, но даже одобряют это *с точки зрения интересов русской промышленности!* Находят, что русская промышленность без иностранцев таких успехов не сделала бы, что она у них учится, и если это обучение покупается даже отчуждением хотя бы части дел и земель в иностранные руки, то эта цена вовсе не дорога.

Пока подобные взгляды высказываются российскими учеными политико-экономами, мы их понимаем. С точки зрения нашей космополитической науки кто бы естественные богатства данной страны ни разрабатывал, безразлично, лишь бы шла промышленность.

Когда то же самое говорят представители нашего финансового ведомства, и это понятно. Наша финансовая политика требует прилива к нам золота, а привлечение иностранных капиталов есть удобнейший к тому способ.

Но такое же мнение распространено и в обществе. Коренные русские люди, не чуждые любви к своему народу и ценящие независимость своего отечества, с чужого голоса повторяют то же самое. Недавно еще слышали мы даже, что иностранцы не только разрабатывают наши богатства, но и самих нас, словно каких-то варваров, гуманизуют, просвещают, учат законности!

Решив занять сегодня Ваше внимание этим вопросом, чтобы рассмотреть его с русской национальной и деревенской точки зрения, я должен начать, прежде всего, с определения этой точки зрения. Как должны мы вообще относиться к иностранцам? Как относится к ним просвещенный и гуманный русский человек?

Я думаю, что такой русский человек прежде всего вовсе не фанатик, вовсе не враг иностранцев и не принадлежит к крайним националистам. Его любовь, его симпатии идут концентрическими кругами. Он любит свою семью, любит тот уголок России, где его родина, любит Россию и русский народ, любит стоящих к нам ближе по духу или языку и крови православных и славян, любит культурную арийскую Европу и, наконец, любит все человечество. Чем шире круг, чем *чуждее* он ему, тем *отвлеченнее* эта любовь, тем меньше в ней, собственно, чувства. Это совершенно понятно. Иностранец для него, например, менее дорог и близок, чем свой, курянин, положим, меньше, чем тамбовец, племянник меньше, чем сын. Но так как эта любовь не слепая, то ему ничто не мешает относиться и к близким, и к дальним критически, считать, что племянник дельнее и умнее сына, уважать англичанина больше, чем француза, ставить православного грека ниже, чем, положим, лютеранина финна и т. д.

Вот, мне кажется, русская точка зрения. Она подсказывает, что Божий мир создан для всех, что для всех светит солнце, для всех должна быть работа, теплый угол, кусок хлеба, братская помощь. Страдание в одном конце мира должно

отзываться сочувствием в другом. Все это *должно* быть так, это *заповедано*, это христианский идеал.

Но увы! В современном обществе до этого идеала слишком далеко. Есть слабые, не только люди, но и слабые народы. Сильные не служат им, не пекутся о них, но бросаются их, если не разгонять и истреблять, как в древности или как сейчас это делается с дикарями, то эксплуатировать экономически. Лозунг современного «просвещенного» человечества — борьба не с оружием в руках, как в старину, не прямым насилием, но по-современному: с торговым договором, траттою, таможенной пошлиною, биржевою котировкою, железнодорожным тарифом в руках.

На одного миссионера, который отправился куда-нибудь в Китай спасать души, приходится пятьсот купцов, которые едут торговать и иногда даже прямо отравлять, хоть бы опиумом, пятьдесят банкиров, которые под видом займа будут снимать с китайца шкуру, и наконец целые христианские правительства, которые «арендуют» сотни квадратных миль территории.

Исключим миссионеров и политиков и обратим наше особенное внимание на «экономических» деятелей. Людям высоких принципов, идеалистам, бескорыстным, нет резона уезжать *служить* чужому обществу, *чужому народу*. Таким всегда поприще — своя родина. Исключения редки и, по совести, не очень нормальны. Все же иностранцы едут в чужую землю только по следующим мотивам: 1) пользоваться лучшими условиями жизни или климата, т. е. лечиться, развлекаться или просто жить; 2) учиться, если в данной стране есть чему; 3) работать, заводить промыслы, торговлю, наживать деньги, богатеть.

Рассмотрим все эти группы.

Иностранцы, едущие ради развлечения, лечения или прожизвания готового, — чистая польза для страны. Они привозят готовые средства, взятые у своего народа, дома нажитые и тратят их у чужих.

Еще бы не радоваться этим чужим! Париж имеет ежегодно 200—250 миллионов франков, оставляемых иностранцами. Швейцария столько же, Италия до 500 миллионов (у меня нет

под руками цифр и я говорю по памяти)... Но зато возьмите положение тех стран, *откуда* едут.

Россия, по казенному исчислению, тратит на эти поездки своих больных и богатых людей 56 млн руб. золотом, Америка свыше 200 млн долларов. К нам и в Америку, наоборот, едут для лечения и прогулок совсем мало.

Но об этом долго толковать не стоит. Тут все ясно. *Всякая страна радуется таким иностранцам. Всякая страна жалеет о расходах своих путешественников за границей.* С этим, я полагаю, спорить невозможно.

Вторая категория — учащиеся. Художники едут в Италию, техники в Англию и Германию и т. д. Ничего, кроме обоюдной пользы, не получается. Мы приобретаем специалистов, иностранцы получают вознаграждение за обучение в виде расходов наших учащихся. Об этой категории тоже не стоит толковать.

Но вот третья категория — люди, едущие работать, наживать деньги. Здесь надо остановиться повнимательнее.

Возьмем самый простой случай. Приезжает в Россию иностранец и открывает какое-нибудь производство без капитала или на привезенный им капитал.

Может это случиться, очевидно, тогда только, когда данный иностранец лучше знает то дело, которое составляет его специальность, чем местные специалисты, и, следовательно, дает товар высшего качества; или когда его дело богаче средствами и лучше по организации и приемам торговым (напр., толковее поставлено, честнее); или, наконец, когда местные жители данного производства не знают, научиться не могут или не желают, наконец, необходимыми средствами не располагают.

Совершенно очевидно, что какой-нибудь французский мастер-шляпник или портной с великолепною выучкою, тонким вкусом, добросовестностью и правильными торговыми приемами наживает в России большие деньги, тогда как нашему кустарю-шляпнику или портному «из Москвы» Иванову во Франции пришлось бы умереть с голоду.

Очевидно, что поедет в Россию мастер француз или немец. Русскому, наоборот, во Франции или Германии делать нечего.

Предстоит решить вопрос: полезна ли для России деятельность этого иноземца или вредна? Какие есть основания для решения этого вопроса?

Основания эти, очевидно, двух родов: политические и экономические.

С политической стороны вопрос освещен достаточно. Екатерина вызывала немцев-колонистов. Это оказалось ошибкой. В наши дни немцы колонизуют Россию без вызова, а правительство издает ограничительные законы, ибо неудобство и даже опасность этой колонизации, особенно немецкой, выяснились достаточно. Немцы во многих местах прямо-таки вытесняют русский элемент, например, в юго-западном крае, Херсонской и Екатеринославской губернии и т. д.

С экономической стороны можно, значит, обсуждать вопрос только о такого рода являющихся к нам иностранцах, которые 1) сами или в своих детях и внуках сольются с коренным населением и усилят Россию, 2) поработав в России и нажив деньги, уйдут под старость на родину.

Полезность первого рода иностранца определяется условиями конкуренции. Иностранец создает спрос на свой товар или услуги, потому что этот товар или услуги высшего качества. Он бьет своих конкурентов, но вместе с тем учит их. Они не могут остаться при прежних дурных приемах и им предстоит дилемма: или сравняться, догнать иностранца, или остаться без работы. Польза для общества очевидная. Затем иностранец отвыкает от своей родины, ассимилируется и его дети уже усиливают Россию хорошим, крепким, культурным элементом. Чужого остается лишь звук, имя.

Иностранец второго рода приносит те же услуги, но, уходя, уносит с собою, в виде платы за них, скопленное состояние. Россия теряет эту часть, но это затрата производительная, это законный обмен.

До сих пор никакого вреда, никакой невыгодности сделки указать нельзя. Пока местное общество обладает поглощающею силой или пока способно выплатить и удалить иностранца, не желающего с нами сливаться, интересы страны не нарушаются.

Так было в России еще недавно. Мы так к этому привыкли, что совершенно не заметили неожиданной перемены. А перемена произошла огромная. Наступила эпоха железных дорог, телеграфов, неслыханной ранее быстроты сообщений, широкого развития спекуляции, водворилось царство биржи, синдикатов, земельная собственность мобилизовалась, личность уступает место анонимному обществу, страшной силе соединенного капитала.

Европейцы почти все очень обогнали нас на этом поприще. Но обогнали не столько техникой или лучшими качествами — обогнали прежде всего *лучшей организацией*, более крепкой общественностью, лучшим государственно-экономическим механизмом.

Положение иностранца у нас совершенно изменилось. С одной стороны, наше общество как будто потеряло свою переваривающую способность, с другой — самая ассимиляция стала для иностранца совершенно ненужной.

Заброшенный в уездный городишко Христиан Иванович Гибнер, знаменитый врач из «Ревизора», был жалким существом с одним единственным звуком — средним между *е* и *и*. Сын его уже становился чисто русским. Современный Гибнер во всяком захолустье найдет свою немецкую компанию, женится на немке, сына свезет в немецкую школу, отправит его, когда тот вырастет, отбывать воинскую повинность в Германию. У него к услугам не дальше, как за несколько станций по железной дороге, и кирка, и пастор, он имеет немецкие русские газеты. Ему нет смысла, нет причины обращаться в русское.

Если он ведет крупное дело, это уже не русское, а чисто немецкое дело. Потрудитесь зайти (если пустят) на любой немецкий завод в Петербурге или Москве. Администрация немецкая, делопроизводство немецкое, разговор немецкий, интересы немецкие и самая неразрывная, самая тесная связь с Германией *как с метрополией*. Территория завода — это завоеванная *капиталом* и почти отчужденная немцами территория. Это только *номинально* Россия. Русские рабочие здесь

только чернорабочие, и Россия от фирмы имеет *только* налоги да скудную поденную плату рабочим.

Возьмите Бухару и нашу там колонию — Новую Бухару. Разве, например, дело там любой крупной русской фирмы, вроде Большой Ярославской Мануфактуры, *бухарское* дело? Это настоящий уголок Русской земли, хотя номинально и во владении Бухарского эмира.

В этом же роде совершенно и иностранные у нас крупные акционерные предприятия. Россия, разумеется, чуточку посильнее Бухары и рядом с немецкою и вообще иностранною промышленностью еще может выдвинуть свою, но... на долго ли? Ведь иностранная у нас промышленность растет гигантскими шагами, ведь иностранцы имеют явную тенденцию выплачивать и высаживать все русское и притом из самых лучших дел...

Москва — центр России. Многим из нас приходилось ездить по Мясницкой. Много там русских вывесок? Много у нас в Москве русских механических заводов? Чьи пивоваренные, машиностроительные заводы и склады? Я знаю, что могут указать Ильинку и Варварку, но только уж придется прищуриться или отвернуться, когда мы будем проезжать мимо некоторых амбаров... А потом можно проехать в Петербург, в Лодзь, в Варшаву, в Киев, побывать в районах каменноугольном, металлургическом, нефтяном, заглянуть во Владивосток, в сибирскую тайгу...

Совершенно так же, как выше, проанализируем теперь тот обмен услуг, который совершается между этими иностранцами *нового типа* и русским народом. Посмотрим, что это за услуги и каково вознаграждение?

Я сказал, что мы отстали не в смысле техники, но в смысле *государственно-экономического нашего механизма*. Это надо пояснить.

Говорят, иностранцы будят наши силы, разрабатывают наши естественные богатства. Без них мы бы спали, а богатства лежали бы даром. Согласен, но почему?

Возьмем какой-нибудь пример. Положим, желает кто-нибудь заняться нашим, баснословно выгодным теперь, железным и стальным делом. С этим предпринимателем конкуриру-

ет на покупке одной и той же залежи бельгийская компания. Владелец, конечно, продаст тому, кто даст дороже.

Кто может дать дороже? Тот, у кого денег больше и кому *деньги дешевле*.

Бельгийцу, немцу, французу деньги дешевле. Там выпускается верный 4-процентный заем, и все расхвачано с премией.

Попробуйте достать капитал (акционерный или облигационный) на этих основаниях у нас...

Дальше. Бельгийцы или немцы пришлют своих горных инженеров-практиков и прямо начнут лить чугун, сталь и прокатывать рельсы. Нам придется взять российского технолога из патентованных, да еще, помилуй Бог, довериться ему; он устроит какую-нибудь необыкновенную добычу стали прямо из руды и пустит вас в трубу или наделает вам рельс, которые на испытании забракуются.

Бельгиец или немец напишет устав, соберет общество с правлением в Брюсселе или в Берлине, и пока вы будете ходить торговаться да упрашивать разрешить в вашем уставе такие-то параграфы, он уже выстроит завод. Затем ваш устав утвержден, но его еще не опубликовали в «Собрании Узаконений», а до тех пор вам Экспедиция заготовления государственных бумаг паев печатать не будет. Недавно я видел человека, проклинавшего наши канцелярские порядки, ибо попал на такой случай: деньги нужны до зарезу, товар покупается раз в год, осенью; дополнительный выпуск паев разрешен, а Экспедиция требует номер «Собрания Узаконений». А там разрешение будет напечатано месяцев через шесть... Иностранец ничего этого не знает, потому что у него в руках *конвенция*. Его дело заранее утверждено и благословлено...

Пойдемте еще несколько шагов.

Дело открыто. Вот русское, вот рядом бельгийское или немецкое. Нужен кредит, без кредита *теперь* работать нельзя. К услугам отделение Государственного Банка.

Вы просите кредита на *миллион*, и отделение хорошо знает, что кредит этот вполне обеспечен. Но у него *нет средств*, как оно об этом прямо заявляет, и оно вам предла-

гает *сто тысяч*. Остальные девятьсот тысяч берите, откуда хотите. Ищите их у дисконтера, у ростовщика, кланяйтесь и платите процент, какой тот положит.

Бельгиец открывает себе кредит в Брюсселе или Париже, немец в Берлине, Лейпциге или Дрездене — кредит почти безграничный. Вам Государственный Банк отказал, ему даст хоть десять миллионов. Как так? Да тот же Deutsche Bank, та же Comptoir d'Escompte **купит на Россию тратту, и наш Государственный Банк обязан ее выплатить беспрекословно**. Чтобы оправдать эту трассировку, закроют русским людям кредиты в десяти отделениях банка, создадут искусственное безденежье в целых областях, но в ваше отделение нужное количество «оборотных средств» переведут и у вас на глазах снабдят ими иностранца. Трассировка — это биржевой фокус, не больше. И вы, и иностранцы работаете *на одни и те же деньги*, и от того, что иностранец открывает новое дело, *количество денег* в России не увеличивается. Их, наоборот, становится все меньше и меньше по отчетам самого же Государственного нашего Банка, да это и понятно: золото, на которое иностранец покупает тратту, у нас только по счетам проходит, мы им только за наши долги расплачиваемся да убытки по расчетному балансу покрываем. «Для обращения» ничего не остается, и обращение не увеличивается.

Золото проходит по счетам, является приходной статьей расчетного баланса и сейчас же уходит обратно за границу. Но зато, скажут, у нас дома остаются готовые предприятия, фабрики, заводы, железные дороги. Все это имущество, и имущество большое, все это работает, освобождает нас от платежей за границу за привозимые товары, создает заработки народу, вызывает оживление в стране, создает множество вспомогательных предприятий.

Все это прекрасно, как книжные, теоретические рассуждения. Но посмотрите, что делается в жизни. Какую культуру несут с собою иностранцы, что за дела они основывают?

Прежде всего бросается в глаза, что главные у нас иностранные дела основываются в качестве поставщиков казны.

Идет постройка железных дорог, нужны рельсы, паровозы, все это обеспечено казенными заказами, и вот готов, ждет иностранец. Открывается винная монополия, требующая массу стекла и пробки. Опять иностранец, ибо здесь обеспеченный казенный заказ, который совершенно так же мог бы быть выполнен нашими заводами, будь у них оборотный капитал. Дальше: захватывается соль, уголь, нефть. Приносят ли здесь иностранцы что-либо новое, учат нас чему-нибудь? Увы! Они учат нас одному: как устраивать тресты и синдикаты, захватывать монополию и поднимать цены. Не успели каменноугольные копи попасть в иностранные руки, уже казенные железные дороги переплачивают на первых же поставках угля сотни тысяч. В Баку не мы учились у иностранцев, — техника бурения и добычи нефти там на огромной высоте, — там иностранцы — ученики наши, там они пришли на готовое и сразу, с первых же дней страшно подняли цены. В первые 10 месяцев главная английская компания выдала своим акционерам 43 % дивиденда. Сколько же получил заработка русский народ? Об этом легко составить понятие, если мы обратимся к цифрам: промыслы Тагиева на Биби-Эйбате, дававшие около 40 миллионов пудов нефти в год, занимали всего 150 человек мастеров и рабочих.

Это главное. Затем иностранцы овладели конками почти во всех главных городах. Надеюсь, что эта наука невысокого качества. Теперь их капиталы направились на устройство пряделен и ткацких. Вы думаете, что здесь будет внесено что-нибудь новое в смысле техники или будут понижены цены? Увы! Наша русская техника по прядению и ткачеству стоит ничуть не ниже, а в красильном деле даже выше иностранной, а что касается до цен, то, положим, будут убавлены барыши некоторых центральных мануфактуристов, но не путем понижения цен, а путем своего рода нормировки раздела, как в сахарном деле. Все это мы знаем давно, все это идет на глазах, и только величайшая наивность наших финансистов или прямая, заведомая недобросовестность может предполагать, что в крупных, миллионных предприятиях, основываемых на иностранные капиталы, есть что-нибудь, кроме самого обыкновенная сни-

мания сливок, самого обыкновенного промышленного хищничества, где русский народ играет совершенно ту же роль, что индусы, китайцы, негры. Не даром же Екатеринославская губерния называется довольно откровенно Белым Конго.

Положим, снимать сливки умеют хорошо и наши промышленные тузы. Но, не будучи вовсе защитником нашей мануфактурной промышленности, все же приходится признать, что от этих русских тузов остается родине хоть что-нибудь: ряд клиник на Девичьем Поле в Москве, пожалуй, первая в мире по обстановке Третьяковская галерея, дар Пекина городу Ростову в виде будущего университета, Добровольный флот, множество весьма почтенных учебных и благотворительных учреждений. Что-то останется от иностранцев! Пока можно ожидать лишь одного: опустошенных рудных и угольных месторождений, сведенных лесов, высосанных нефтяных источников да перемытых золотоносных эфелей...

Разумеется, и между ними найдутся свои Кекины, Бахрушины, Третьяковы, Трапезниковы. Но свои жертвы они делают не нам, а, конечно, своей для каждого родине. Русскому народу отсюда не достанется ничего. Ведь это же фантазия, чтобы иностранный капиталист, сидящий преимущественно за границей и имеющий у нас только своих приказчиков, ассимилировался с нами, становился русским. Давно прошли эти времена! Да и плакать ли о том, что к нам не идут господа Эфрусы, Дрейфусы, Блейхредеры и Бишофсгеймы, что везде есть свои Ротшильды, английские, французские, австрийские и нет только русского? Не достаточно ли с нас и наших собственных Гинцбургов и целой династии Поляковых?

Теперь попробуем подвести итоги услугам, оказываемым России нынешними иностранцами. Услуги эти, как уже мы выше установили, основаны не только на очевидных культурных преимуществах в том или ином смысле иностранца перед нами грешными, но и на всепобеждающей силе биржевого международного капитала, ищущего дел, ищущего дальнейшего роста, господства и власти.

Мы видели:

Иностранец имеет перед нами преимущества в своем богатстве, в легкости достать на дело необходимые средства, в большей дешевизне денег где-нибудь в Бельгии или Германии, чем у нас.

Иностранец имеет преимущества в техническом и коммерческом образовании.

Иностранец имеет преимущества в своем юридическом положении в России, созданном законодательством, договорами, международным правом и пр.

Разберем эти преимущества по порядку. Во-первых, богатство. Я думаю, всем понятно и все знают, что страны делятся на две группы: страны-кредиторы, *которым* должны, и страны-должники, *которые* должны. В большей части случаев расчетный баланс этих стран расположен также. Он активен у стран-кредиторов и пассивен у стран-должниц. Да это же и совершенно понятно. Страна, разбогатевшая и накопившая капиталы, например Англия, Франция, Бельгия, должна их размещать, давать в долг другим странам. Ее приходные статьи баланса все растут от полученных за капитал дивидендов и процентов. Страна, задолжавшая, чтобы сводить концы с концами, залезает в долг все дальше, и как у той приход, так у этой растет расход, т.е. баланс заключается все хуже и хуже. Исполняется евангельское речение о том, что кто имеет, тому дается и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и последнее.

Очевидно, что при существующих денежных системах, т. е. при металлическом обращении, связывающем данную страну со всем миром, свободные капиталы могут накапливаться только у стран-кредиторов. Задолженные страны отдадут в виде внешних платежей иногда весь избыток своего народного труда, за покрытием необходимых расходов по существованию народа, да и эти расходы постепенно урезаются, пока не наступает полная нищета. Мы, например, после сорокалетнего хозяйства в долг совершенно обнищали, и нам, земледельческой стране, *имеющей избытки хлеба, поставляющей массы хлеба на международный рынок*, постоянно при малейшем недороде грозит голодовка. Почему? Да именно потому, что мы

обнищали, нет средств ни запасов серьезных сделать, ни хозяйство свое улучшить, ни оборотных капиталов собрать. На все это нужны огромные средства.

Между тем наша показная сторона, наш фасад, бьет в глаза. Огромная промышленность, сеть железных дорог, очень большая и дорогая военная оборона страны. Подсчитайте все это хотя приблизительно, как наш *инвентарь*, и вы будете поражены. Его стоимость едва ли превысит сумму нашего внешнего долга. Значит, по существу-то дела все это не наше, не нажитое народным трудом, а чужое, все равно как бы взятое напрокат, арендованное, и эта аренда составляет ежегодно около *ста тридцати миллионов рублей золотом*.

Если вы взглянете на наши другие богатства, там вы найдете иную картину. До 1861 года: бесчисленное множество помещичьих усадеб, — и каждая представляет полную чашу, — зажиточный народ с большим количеством скота, с запасами немолоченного хлеба, из году в год переходящими. Огромный запас лесов и девственных земель. Теперь: едва треть или четверть прежних усадеб и те, кроме исключительных, нового типа, опирающихся на готовый капитал, стоят едва покрытые, без хозяйства, без инвентаря, заложенные неоплатно и без государственной поддержки ежегодно подлежащие аукциону; обнищавшие села и деревни, «безлошадные» и «бездомовные» домохозяева, ни о каких немолоченных скирдах речи нет, муку покупают в лавочках по пудам, свои продукты отдают по нужде за бесценок, опутанные неоплатными недоимками. Леса сведены, степи распаханы. Дифтерит, сифилис в наших *русских* размерах и наконец удостоверенное военной статистикой измелчание и вырождение народа...

Итак, в чем же здесь преимущество иностранцев? Да в том, что в пореформенный период мы *прохозяйничались*, вот настоящее слово! В том, что они накопили богатства и не знают, куда поместить свободные капиталы, мы накопили бесчисленные долги, которые не знаем, как заплатить.

Полная аналогия с запутавшимся помещиком, с задолжавшей фабрикой. Помещику нет другого выхода, как рас-

продавать имение по частям, чтобы кое-как выпутываться: сегодня свел лесок, завтра продал хутор, сдал в аренду огород, трактир, покос, потом их продал и т. д. Фабриканту остается образовать товарищество и дать часть паев своим кредиторам. И вот, в правлении заседает директор «от Кнопа»...

Что другое обозначает или может обозначать захват иностранцами наших руд, коней, приисков, основание новых заводов? Да только то, что все это *формы расплаты России* за свое хозяйство, за то, что она обратила все свое внимание на фасад и совершенно позабыла о внутренности дома. И вот, фасад блещит, а сзади стоят иностранцы с исполнительными листами в виде наших бесчисленных бумаг.

Можно смело сказать, что всякое основание в России теперь нового иностранного дела, всякая покупка иностранными компаниями наших естественных богатств есть только *ввод во владение по этим исполнительным листам*...

Итак, первый вопрос, полагаю, выяснен. Ни о каких услугах иностранцев и речи быть не может. Это *не обмен услуг, а обязательная уплата долга*. Русская земля, русский народ расплачивается своею недвижимостью, своими богатствами за *бесхозяйность нашей экономической политики последнего столетия* (с либерального тарифа 1857 г.). Но... заметьте это: расплачивается, *должая* вновь, и притом в страшной степени...

Перехожу ко второму вопросу.

Да, иностранные техники лучше наших. Они знают очень немного, но *умеют*, что нужно. Если немец мыловар, то он действительно полный невежда в астрономии, ничего не смыслит ни в акушерстве, ни в таксации лесов, но зато надевает фартук и прямо становится варить мыло.

У нас ученых мыловаров, слесарей, ученых сапожников и красильщиков нет. У нас есть технологи, словно из милости разделяемые на химиков и механиков. Но наш «химик» считает мыловарение слишком узким предметом. Он все *знает*: и новые способы кристаллизации сахара, и технологию анилиновых красок, и нефтяные смазочные масла, и перегонку дерева. Кроме того, он образованный европеец; он изучал

богословие, право, зоологию, литературу, астрономию, ветеринарию, философию, высшую математику, гистологию, биологию, этимологию (не всегда), бальнеологию и всякие *логи*. Это цвет нашей интеллигенции, лучший жених для любой барышни, ибо у него диплом сулит прямо 5—6 тысяч жалованья. Это приятный господин, с лоском и образованием... И вдруг, надевай фартук и становись варить мыло!.. Помилуйте, да он никогда сала не видал, кроме «малороссийского». Он сдавал экзамен, *между прочим, и по мыловарению* и смутно помнит научные законы этого процесса..

Очевидно, на скромной мыловаренной фабрике он не нужен. Возьмут или татарина и сварят обыкновенное «казанское» мыло, или, кто побогаче, пригласит мастера немца, чеха, или приедут французы: Брокер, Сиу, Ралле... А наш химический технолог рассердится и пойдет в профессора, в начальники отделения Департамента торговли и мануфактур или в прокуроры окружного суда — словом, туда, где пишут бумаги или произносят речи, но где не варят мыла...

Может быть, это немного карикатурно, но это правда по существу, и каждый из нас это знает.

Но, может быть, мы и не способны давать хороших техников? Впрочем, я думаю, этого-то вопроса из нас здесь не предложит никто.

Итак, по этому второму пункту: чем обуславливается эта *неизбежная* (признаем это) услуга иностранцев?

Обуславливается направлением нашего специального делового образования. Господа, составлявшие учебные планы и программы, получили как раз то, чего желали. Наши деловые сферы в этом неповинны, ибо не были сюда прикосновенны. Значит, Россия как целое *расплачивается за неудачно организованные наши специальные школы.*

Но и тут еще полбеда. Ну что же делать, что без иностранных техников мы обойтись не можем? Но почему же они не на службе только, точнее, почему служат не нам, не русскому предпринимателю, а идут или сами в качестве хозяев дела, или служат предпринимателю иностранному, иностран-

ной компании? Почему от них русский народ ничего не заимствует, даже не учится, ибо иностранцы к себе на заводы ни практикантов, ни учеников русских не берут? Я сам это могу засвидетельствовать и, кроме того, сошлюсь на А.С. Ермолова. В моем присутствии он лично слышал от иностранного директора иностранного цементного завода в Новороссийске, что русских техников на практику они не берут.

Перейдем теперь к нашему третьему вопросу о преимуществах иностранцев в России.

Преимущества эти в промышленном и торговом отношении выражаются, во-первых, в тех конвенциях и торговых договорах, которые нами заключены с разными странами. Во-вторых, во внимательном и любезном отношении наших центральных и местных властей к основавшимся в России иностранным предпринимателям. В-третьих, в той точке опоры, которую эти господа имеют в своих консулах и вообще в дипломатическом персонале.

Я вовсе не думаю обвинять здесь наших власть имущих в каком-нибудь пристрастии или послаблении иностранцам. Ни одному из наших государственных людей *теперь* в голову не придет предпочитать иностранца русскому только потому, что он иностранец, или хлопотать за него предпочтительно перед соотечественникам. Делается это мимовольно, скрепя сердце, иногда даже с болью в душе. Да что толку России от этой боли, раз иностранцы все-таки одолевают нас на всех пунктах и идут, куда им угодно?

Причина этого их успеха и нашей слабости ясна. Так действовать заставляет нас сила событий. Не может быть иначе на той наклонной плоскости, на которую не сегодня и не вчера стала наша финансовая политика. Проследим за нею, и мы увидим, с какой неумолимою фатальностью давно затягивалась над Россиею петля иностранной ее эксплуатации.

Исходный пункт: наше вечное безденежье, обусловленное существующими финансовыми теориями. По этим теориям, печатать бумажек нельзя, — это «сладкий яд», — банкнот выпускать тоже нельзя. Нужды нет, что безденежье, недостаток

оборотного средства парализует, по рукам и ногам вяжет народный труд, мешает накоплению национальных капиталов, заставляет разоряться. Теория говорит: жгите бумажки — и их жгут.

Говорят: золото прильет, и его будет достаточно для народного обращения. Но раскройте балансы Государственного Банка — и вы увидите, что не только ни о каком приливе золота речи нет, но едва-едва путем страшных жертв удается удерживать и существующий запас. Да это и понятно! В задолженной по уши стране роскошь иметь «здоровые деньги», металлическое обращение оплачивается чересчур дорого.

Между тем обратите внимание на следующее: если задержать развитие России народной можно, если ее недочеты, страдания и недостатки можно приписать чему угодно, только не безденежью, то задержать рост и развитие России как государства нельзя.

Нет школ — обойдемся! Нет средств у земледелия на улучшения — подождут! Нет кредита у промышленности, — пусть занимает у Кнопа!.. Но флот нужен, но железные дороги нужны, но штаты ведомств требуют расширения, но образованным классам нужны иностранные товары. Как ни изощряться в изобретении и усовершенствовании налогов, ими с грехом пополам можно покрыть бюджет обыкновенный, но их не хватит на постройку железных дорог, на флот, на порты, на необыкновенные финансовые комбинации в денежном хозяйстве, на поддержание курса, на платеж процентов по долгам.

Была даже теория, что земледельческая страна *должна занимать*, и вот, Россия широкой рукой занимала во весь пореформенный период, занимала на свои дороги, получая иногда по 67 копеек за рубль (миссия покойного Абазы).

С начала ликвидации канкриновской финансовой системы и по наши дни задолженность России шла в двух направлениях. Брало деньги государство и частные компании, и постоянно должен и разорялся, кроме того, народ, покрывая огромные дефициты по международному расчетному балансу. Довольно было каких-нибудь сорока лет, чтобы задолженность наша стала угрожающею, а течь в расчетном балансе поистине

огромною (50, 70, затем 100 и наконец 370 млн. руб. золотом в год). Кроме того, с И.А. Вышнеградского ради военных целей и давно еще задуманного «исправления» денежного обращения мы начали собирать и собрали золотой фонд, первый в мире по объему. И мое исследование по данным, собранным *П.В. Олем*, и исследование *П.Х. Шванебаха*, человека весьма компетентного и *служебно* прикосновенного к образованию золотого запаса, напечатанное в «Русском вестнике» этого года, с полной ясностью установили, что весь этот наш золотой запас является отнюдь не собственным богатством России, плодом ее народного заработка, но представляет или *занятое, как бы арендованное имущество*, за которое приходится платить огромные проценты, или собранное путем заведомого народного разорения и голодовок.

Вот эта-то наша огромная задолженность, обуславливающая наш вечно неблагоприятный, и чем дальше, тем больше, расчетный баланс, является ближайшим условием, в силу коего нам, т. е. нашей финансовой политике, *нет другого выхода*, кроме привлечения иностранных капиталов в какой угодно форме.

Казна занимает, и много занимает. Ренту печатают, как газету, и продают ее, и по подписке, и в розницу, на всех европейских биржах, *обязавшись там платить проценты золотом*. Но для правильного сведения концов с концами, для верной оплаты процентов, для поддержания курса, этих явных и замаскированных займов, даже вместе с добываемым сибирским золотом, недостаточно. Увеличить наш вывоз уже невозможно. Сократить ввоз не в наших средствах, мы связаны договорами. Что делать? Откуда доставать необходимое золото, чтобы не только не трогать нашего запаса, но еще чтобы оставалось кое-что для Государственного Банка в подкрепление его ничтожно малой собственной кассы?

Это золото могут дать только иностранцы, которые принесут его в виде тех капиталов, что будут ими вложены в новые промышленные дела. Значит, как бы вредно ни было, *с национальной точки зрения*, это нашествие иностранцев и захват ими *в собственность* лучших наших дел и важнейших

народных богатств, с точки зрения *финансовой, казначейской*, оно неизбежно, оно необходимо, ибо без прилива, и притом очень широкого, к нам иностранных капиталов, сейчас, при существующей денежной системе, нелегко свести концы с концами, нелегко удержать золотое обращение.

Отсюда следует, что движение к нам этих капиталов волей-неволей приходится поощрять. Первая и важнейшая форма поощрения — освободить предпринимателей от мытарств с утверждением уставов и прочими формальностями. Отсюда *конвенции о взаимном признании акционерных обществ*.

Взаимность! Горожанин и сельский житель заключают *взаимный* и совершенно *равноправный* договор об охоте. Мужик получает святое право искать дупелей в городском саду, а в это время горожанин перестреляет всю его дичь. Любой из нас имеет бесспорное право скупить хотя бы все копи угля в Бельгии и Силезии, но пока позвольте господам бельгийцам и всем, за ними укрывающимся, попользоваться нашими бассейнами, позвольте англичанам скупить нашу нефть и поднять ей цену, так что вся русская промышленность начинает стонать...

Вот какое значение имеют эти конвенции. Правда, правительство *дает разрешение* на открытие действий данного общества в России. Правда, оно оговаривает, что во всякую минуту и без объяснения причин деятельность эту *может прекратить*¹. Но разве последнее физически возможно? Чем же мы выплатим иностранцу, которого пожелали бы удалить? На это — увы! — нет средств. Неудобно ли выплатить и удалить Ротшильда, Кокерилля, Юза, Ротштейна и т. д.

Отсюда же и любезность к иностранцам, и всякие им потачки и поблажки. Попробуйте, хотя бы законно, прижать иностранца. Сию минуту об этом с невозможными прикрасами разблагостят иностранные газеты и поднимется крик: «в России варварство, в России нельзя помещать иностранных капиталов», а этот крик равносителен падению нашего кредита, он прямо опасен для политики привлечения иностранных капиталов...

¹ Как раз на этих днях финансовое ведомство от этого права отказалось, подведя иностранные компании под действие общего законодательства.

О консулах и дипломатах не стоит говорить. Деятельность наших консулов все еще не может выйти из пословицы, деятельность иностранных есть по-прежнему расчистка и углаживание пути для своих земляков.

Итак, кончаю. И по этому, третьему, вопросу русский народ совершенно не причем. А что мы можем работать, что мы умеем вести дело, этому доказательства могут спрашивать только господа, с деловою Россиею незнакомые. Мы так привыкли к поклонению всему иностранному и оплевыванию всего «отечественного» (самое слово-то — ирония), что вовсе не замечаем множества превосходно поставленных у нас дел, не только не уступающих «Европе», но и перещеголявших ее, что особенно важно при тех трудностях, которые окружают русского промышленника.

Возьмите, например, покойного С.И. Мальцева. По объему им сделанного, по духу дела и по той великой инициативе, которая здесь развернулась, другого такого дела вы мне не укажете ни в Европе, ни в Америке. Отчего же это дело погибло?

Оттого *единственно*, что Мальцеву *круто* было воспрещено печатать свои деньги (деньги, всегда ходившие *al pari* и не знавшие злоупотреблений), а государственных в виде нужного кредита не было дано. Из живого организма была выпущена кровь, но организм был рожден такой могучий, что дышет до сих пор, хотя — увы! — пока это калека и заправиться не может.

Я старался здесь обрисовать посильно характер явления. Выводы сделаны нами давно, еще в 1896 году, правда, в форме предсказания, но, как увидите, вполне оправдавшегося. Эти выводы я позволю себе повторить.

«В прежние времена», говорится в моем докладе по поводу работы П. В. Оля над нашим расчетным балансом, «никому не приходило в голову, что расплачиваться с иностранцами по убыткам расчетного баланса и держать курс, какой угодно, можно самым простым путем: увеличивая внешнюю задолженность страны, расплачиваясь землями, естественными богатствами, концессиями на разные промышленные предприятия и т. д.

Честь открытия этого способа всецело принадлежит позднейшим финансовым деятелям, которые, громко провозгласив, что привлечение иностранных капиталов есть благо для России, открыли этим капиталам дорогу и обратили их сполна на текущие потребности, т. е. на утверждение равновесия в расчетном балансе.

Началось с того, что Государственный Банк стал сосредоточивать в своих руках вексельную операцию и мало-помалу приобрел совершенно монопольное положение на бирже. Чтобы курс стоял прочно, необходимо, чтобы спрос и предложение иностранных чеков и векселей на бирже взаимно уравновесивались. А так как, благодаря невыгодному расчетному балансу, величины эти не равны и товарных векселей за наш вывоз для покрытия всех расходов не хватает, то мы, наряду с товарами, расплачиваемся, чем можно. Есть возможность поместить на западных рынках наши ценности, мы помещаем их туда, есть у иностранцев охота покупать земли, мы продаем; наконец, готовы они идти к нам эксплуатировать наши богатства, мы охотно утверждаем уставы их обществ или предоставляем заграничным обществам прямо начинать свои операции по заграничным уставам и с правлениями за границей. Лишь бы притекало золото, побольше золота!.. Очевидно, здесь одно взаимно помогает другому. Благодаря такой политике курс держится прочно, и этот же фиксированный курс отворяет широко в Россию двери иностранцам.

Но как ни велико за границей доверие к русским экономическим силам и прочности финансовой политики России, все же фиксация курса есть лишь явление временное. Никто не может поручиться, что под влиянием тех или других соображений, или давлений, Министерство финансов не откажется в один прекрасный день от фиксации и не допустит понижения курса. Поэтому и размещение за границу наших бумаг в кредитной валюте, и прилив к нам иностранных капиталов идут далеко не столь быстро, как это желательно руководителям нашей финансовой политики. Совсем другое дело, когда фиксация курса из временной меры обратится в постоянную,

когда торжественным законодательным актом правительство укрепит навсегда существующий искусственный паритет и этим отрежет себе путь к отступлению. Тогда сколько бы ни росли наши убытки по международному расчету, прилив иностранных капиталов покроет все, пока России есть что продавать и куда пускать иностранцев.

Вот, для чего прежде всего нужна реформа! Смешно слушать и читать теоретическое пустословие, все эти рассуждения о прочности денежной системы при металлическом обращении, о его растяжимости, о негодности бумажно-денежной системы и т. д. Дело стоит гораздо проще: при системе металлического обращения привлекать иностранные капиталы и этим покрывать убытки расчетного баланса удобно и возможно, при колебаниях курса остаются только прямые металлические займы. Что будет дальше, какое значение имеет для экономического и политического будущего России этот наплыв к нам иностранных капиталов, об этом вопроса не поднимается. Что с каждым переведенным к нам миллионом иностранного золота возрастает наша задолженность и, следовательно, зависимость от иностранцев и вместе с тем расширяется сочащаяся золотом наша рана в виде все возрастающих недочетов в нашем расчетном балансе, об этом нет и речи...

И если сейчас мы, только как курьез, можем указать на правление Московской или Ташкентской конки, заседающее в Брюсселе, общество разработки каменной соли в Амстердаме, на правление общества каменноугольных копей гр. Ренара, орудующее из Берлина, или на правление бывших Тагиевских промыслов в Баку, сидящее в Лондоне, то скоро большая часть и самых выгодных дел очутится в эксплуатации иностранных компаний...

Какое значение имеют эти капиталы, мы отчасти уже видели, но увидим совершенно ясно, если вновь возвратимся к основной точке зрения г. Оля и сравним международное хозяйство России с хозяйством торгового дома, самостоятельно ведущего свои дела и сделавшего своим операциям балансы за несколько лет.

Балансы эти совершенно ясно показывают, что фирма ведет дела в убыток. Из 15 отчетных лет первые семь дали ряд дефицитов, которые фирма покрывала выдачей долгосрочных обязательств в надежде на лучшее будущее. Четыре года заключились некоторою прибылью, но настолько незначительно, что ее не хватило бы даже на покрытие $\frac{1}{6}$ предшествовавших убытков. Затем идут снова четыре года новых и огромных убытков, покрываемых вновь выдачею долговых обязательств всевозможных видов и перепискою старых. Кроме того, для пополнения убытков фирма начинает распродавать свое имущество по частям и сдавать в аренду или отчуждать лучшие из своих доходных статей. И вдобавок, впереди нет никаких надежд на улучшение дел, так как главный предмет ее производства вследствие конкуренции с другими фирмами и мирового денежного кризиса упал в цене и производится в убыток.

Не нужно принадлежать к торговому миру, чтобы безошибочно определить будущность этой фирмы, для чего имеется даже твердо установившаяся терминология. Что эта терминология совершенно применима и к отдельным, иногда даже сильным и могучим государствам, указывают примеры Турции и Египта.

Разумеется, упоминая здесь об этих несчастных жертвах золотой валюты и внешней задолженности, я далек от мысли предсказывать такую будущность для нашей родины...

Мы еще сильны, самостоятельны и, пожалуй, богаты. Сейчас еще иностранцы, хотя и сильные числом и капиталами, почти пропадают в общей массе русских промышленников и капиталистов¹. Но если мы усвоим себе тот взгляд, что привлечение иностранных капиталов есть благодеяние для России, мы серьезно рискуем задолжать настолько, что спасение и оздоровление нашей экономической жизни станет невозможным без великого потрясения.

Те же цифры показывают, что в настоящую минуту, не смотря на нашу огромную задолженность, есть простой и

¹ Увы! К 1 января 1899 г. иностранцам принадлежит уже свыше четверти складочных капиталов в наших акционерных обществах.

спокойный выход из нашего разорительного хозяйства: это перемена финансовой политики, восстановление равновесия в расчетном балансе, правильное погашение сделанных долгов и безусловное отречение от всяких новых внешних видов задолженности, какою бы необходимою, заманчивою и выгодною она ни представлялась. И сейчас потребуются тяжелые жертвы, напряжение всех сил нашего народного организма, но сейчас еще никакой непосредственной опасности катастрофы нет. А через несколько лет нынешнего разорительного хозяйства, когда наша внешняя задолженность переступит границы благоразумия, когда главные промышленные дела будут во власти иностранцев, когда русским народным трудом будут распоряжаться акционерные правления Парижа, Брюсселя и Берлина, когда у русского народа уже не будет средств расплатиться с нашими мирными завоевателями и освободиться от их экономического владычества, тогда явится непосредственная опасность катастрофы, размеров и характера которой нельзя и предугадать...¹

Вот выводы, которые вытекали из доклада о расчетном балансе П.В. Оля и были тогда же представлены мною Обществу для содействия Русской Промышленности и Торговли:

1) За все истекшее пятнадцатилетие наш расчетный баланс, несмотря на постоянную выгодность торгового, заключался не в нашу пользу, кроме 1888, 1889, 1890 и 1891 годов. Но выгодное сальдо этих годов едва покрывает $\frac{1}{9}$ убытков, причиненных невыгодными расчетными балансами остальных одиннадцати лет.

2) Покрытие наших убытков по расчетным балансам.

3) До установления фиксированного курса задолженность эта была преимущественно государственною. С этого времени начинается быстрый рост нашей общественной и частной задолженности, выражающийся передвижением за границу наших процентных бумаг в кредитной валюте и приливом к нам иностранных капиталов для эксплуатации наших естественных богатств.

¹ Цифровой анализ расчетного баланса России за пятнадцатилетие 1881—1895 гг. П.В. Оля и С.Ф. Шарапова. — СПб., 1896. С. 15—18.

4) Фиксация курса, облегчая указанное передвижение, способствует увеличению нашей задолженности и, временно облегчая финансовому управлению покрытие убытков по расчетному балансу, готовит в будущем великие затруднения и подвергает опасности экономическую, а с нею вместе и политическую самостоятельность России.

5) Предположенная (теперь осуществленная) денежная реформа, представляющая ту же фиксацию курса, но не временную, а постоянную, и притом утвержденную законодательным порядком, равносильна сознательному и добровольному сожжению своих кораблей, т. е. лишению России возможности даже изменить без катастрофы нынешнюю финансовую политику.

6) Эта политика, состоящая в покрытии убытков расчетного баланса привлечением иностранных капиталов, ложна в своих основаниях и гибельна по своим возможным последствиям»¹.

Вот выводы, сделанные в 1896 году, т. е. раньше осуществления денежной реформы. Теперь она закончена и плоды ее на глазах у всех. Определилась и самая магистраль нашей финансово-экономической политики, начатой еще И. А. Вышнеградским. Нашему национальному самолюбию на этот раз едва ли придется особенно утешаться, что и здесь мы опередили Запад. Там была дана классическая формула «*Après nous le déluge*» — «После нас хоть, потоп!», мы поднялись ступенью выше и безбоязненно провозгласили: «*Après nous le désert*» — «Позади нас пустыня!».

¹ Там же. — С. 19.

ФИНАНСОВОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ

*(Доклад, прочитанный в заседании Русского
Собрания в Петербурге 9 марта 1908 г.)*

I

Милостивые государыни и милостивые государи!

Ровно три месяца тому назад в этой самой зале я имел честь изложить перед вами печальную картину экономического положения России и вопиющее несоответствие нашего погибающего от истощения народного хозяйства той блестящей государственной росписи, которая тогда была только что внесена в Государственную Думу.

Внимание, с которым ваше собрание выслушало мой длинный и скучный доклад, и знаки одобрения, которые вы мне оказали, вызвали во мне желание еще раз испытать ваше терпение и передать на ваш суд работу, составляющую естественное продолжение, вторую часть первой.

Тогда я представил вам посильный анализ нашего экономического положения, указал на огромные предлежащие задачи и закончил сомнением в том, чтобы наша Дума была в состоянии сделать что-либо иное, кроме внесения несущественных, почти пустяковых поправок в роспись, в бухгалтерском и канцелярском отношении безупречную, но не задающуюся даже отдаленно мыслью ни исправить что-либо в народном хозяйстве, ни создать хотя бы малейшее облегчение народному труду.

Теперь я позволю себе представить вашему вниманию обзор финансовых реформ, в которых нуждается наше народное хозяйство, ту программу, которая логически вытекает из положения вещей и которую должен будет принять русский министр финансов, если он пожелает и будет способен выйти из роли равнодушного к опасностям Родины и страданиям народа чиновника и проявить истинное государственное творчество, т. е. сделать то, что именно обязан делать руководитель экономической политики великой державы.

Но прежде, чем перейти к изложению тех преобразований, без коих немислимо финансовое возрождение России, я позволю себе остановиться на минуту над судьбой нашей государственной росписи в Думе и засвидетельствовать правоту сделанного мной в декабре предсказания.

Вот уже три месяца, как Государственная Дума в лице множества комиссий и подкомиссий работает над росписью. Со всех сторон торопят и погоняют эту работу, от задержки которой страдает так сильно техника правящего механизма. Работа подходит к концу, и скоро доклады и заключения комиссии будут предъявлены Думе. И вот, насколько можно судить по отрывочным газетным сообщениям, мы увидим любопытное зрелище. За исключением единственного, узкоспециального вопроса о флоте, лучшие силы, которыми располагает Дума, люди независимые, не принадлежащие к чиновничьему миру, а отчасти даже и прямо враждебные существующему государственному строю, послушным стадом пошли по проложенной дорожке и, сделав огромную канцелярскую работу по проверке цифр и оснований росписи, оставили вместе с ее составителями совершенно в стороне народное хозяйство. Аккуратно подсчитывая, набавляя здесь, сокращая там, добрые люди даже не догадывались, что вся эта их добросовестная и усидчивая работа ничего не стоит по существу и совершенно бесполезна для народного хозяйства. Если бы они, даже вовсе не обсуждая росписи, приняли ее всю целиком, а эти три месяца посвятили изучению экономического положения России и изысканию пути к необходимым реформам, это был бы только чистый выигрыш.

Но увы! Ничего подобного Дума сделать не могла уже потому, что в ней совершенно отсутствуют люди, специально знакомые с финансами. А без этого на одних любительских силах далеко не уедешь. Вот, почему г. Коковцову и было так легко взять Думу на буксир.

II

Система экономических реформ, имеющая целью финансовое возрождение России, т. е. постановку как ее народного, так и государственного хозяйства на верные и прочные основания, распадается на три главные части: 1. Установление надлежащей денежной системы как основного регулятора всех экономических отправлений в стране. 2. Приведение в стройную систему экономических и финансовых органов в государстве и 3. Установление надлежащей экономической политики, согласованной во всех своих частях и стремящейся сознательно и планомерно, с одной стороны, к наилучшей постановке народного труда и наибольшему благосостоянию народа, с другой — к возможно широкой и плодотворной постановке хозяйства собственно государственного и доставлению казне самых широких средств для всесторонней деятельности правящего аппарата.

Начнем с нашей денежной системы. Всякая денежная система в государстве имеет значение, с одной стороны, счетчика народного труда, с другой — организатора и направителя этого труда. Кроме того, в тех государствах, которые достаточно самостоятельны по природе своей и могут выбирать ту или иную денежную систему, а не обязаны силой вещей держаться только одной определенной системы, эта избранная система должна служить орудием экономической независимости государства от его соседей и в особенности от хищной международной биржи.

Итак, вот три стороны, требующие от денег определенных условий. Как счетчик народного труда, денежная единица должна быть постоянна и верна. Как организатор и направ-

тель труда, другими словами, как орудие обращения, деньги должны постоянно и повсюду являться на работу в том количестве, в каком нужно, и, наконец, как охранитель экономической независимости страны, деньги национальные, в известных случаях, должны не совпадать, а противопоставляться деньгам международным и вообще быть от них независимыми.

Посмотрим, как отвечает на эти требования наша государственная денежная система после проведенной графом Витте золотой реформы 1896—1898 годов.

Как счетчик, золотые деньги, кажущиеся наиболее постоянными, являются, в сущности, самыми неверными. Собственная ценность золота подлежит большим колебаниям в зависимости от его добычи, от мировых экономических явлений и, главным образом, от столкновения различных финансовых течений, как, например, недавнее стягивание металла Америкой. После крушения биметаллизма золото, ставшее единственным мировым мерилom ценностей, производит постоянные экономические пертурбации и дает возможность строить на мировых рынках настолько произвольные цены, что народный труд всех стран испытывает зачастую настоящую кабалу.

Как организатор народного труда, золото является деньгами еще более неудовлетворительными. В противность теории его свободного переливания из страны, менее в нем нуждающейся, в страну, более нуждающуюся, оно обыкновенно накапливается и производит застой там, где оно не нужно, и, наоборот, отказывается притекать туда, где в нем особенно нуждаются. Наилучшим примером являются Франция и Америка, Россия и Турция.

Наконец, золото, ставшее единственным мерилom ценностей, стало вместе с тем настоящим орудием закабаления слабых экономически стран международной бирже, которая, в свою очередь, получив бесконтрольную власть над необъятными, постоянно ею перебрасываемыми капиталами, сделалась полной владычицей не только в странах слабых и задолженных, но и в странах экономически сильных, подчинив себе одинаково как ту часть человечества, которая нуждается

в капиталах, так и ту, которая имеет свободные капиталы и ищет им помещения.

Наша старая, номинально серебряная, фактически же чисто бумажная, валюта при всех своих недостатках давала народному хозяйству России огромные преимущества: создавала премию при вывозе хлебов и сырья, затрудняла иностранный ввоз, затрудняла помещение у нас иностранных капиталов и всяческую эксплуатацию России иностранцами. Если бы все до единого русские министры финансов, начиная с Рейтерна и Бунге и кончая Коковцовым, не трепетали перед бумажными деньгами и не считали их бедствием, эта же система могла бы дать и прекрасную организацию снабжения страны своими оборотными средствами. Но боязнь бумажных денег поддерживала всегда денежный голод и не давала развиваться ни публичному кредиту, ни народному труду.

Неудобства нашей старой денежной системы ощущались только государственным хозяйством; при ней было трудно заключать займы. Россия была экономически и денежно изолирована от Европы. Частые колебания курса затрудняли расчеты и платежи по системе государственного кредита. Кроме того, на иностранных биржах, особенно на Берлинской, шла за последние годы перед реформой сильнейшая спекуляция на курс рубля, которую оказалось, однако, возможным прекратить и без ломки денежной системы.

Вся задача русского министра финансов сводилась к тому, чтобы обосновать русскую денежную систему именно на изолированности России, а не на валютном единении с Западом, т. е. на внешних долгах и зависимости от европейских бирж. Но эти воззрения, к сожалению, никогда ни Министерством финансов, ни так называемой наукой не разделялись, и автор денежной реформы всего менее был расположен им следовать. Золотая валюта была решена графом Витте единолично и введена явно недобросовестным способом, в обход Государственного Совета и в нарушение прямой воли Государя.

Эта злополучная реформа резко и надолго изменила экономический путь России (обращение ренты в золотую

бумагу, вечная зависимость от иностранных бирж и пр.). Она нанесла неисчислимые убытки земледелию, вызвала лихорадочное оживление, затем жестокий кризис в промышленности и торговле, погубила огромное количество национальных капиталов, поглощенных спекуляцией и биржевыми крахами, открыла страну для беспощадной эксплуатации иностранцами, заставила нас заключить постыдный мир, обусловленный прямо финансовыми соображениями, и теперь, не давая возможности поднять экономическое положение России, поддерживает и питает революцию, ею же, путем народного разорения, подготовленную.

III

Всякая финансовая ломка, а тем более изменение денежной системы является делом и трудным, и опасным. А потому прежде чем решиться проповедовать уничтожение у нас в России золотой валюты, нужно твердо уяснить себе ее роль в нашей экономической жизни, а также с совершенной точностью определить, какая нужна России денежная система в уровень ее государственным силам и требованиям народного труда.

Уже давно в наше общественное сознание брошена мысль, будто экономическому росту и благосостоянию деревни мешает не та или иная финансовая политика, а главным образом гражданское неустройство, а теперь община. Этим пытались замаскировать перед правительством и обществом истинную причину беды. Заблуждение это необходимо рассеять, как и другое — крестьянское малоземелье. Дело совсем не в поверхности землевладения и не в общинных порядках, а в вопиющем недостатке у народа оборотных средств, обесценивающим и парализующем всякий сельский труд. Поправиться и разбогатеть у нас давно уже стало нельзя от земли, можно лишь около земли, путем кулачества и эксплуатации не сил природы, а своего соседа. Но такая разбогатевшая единица закабаляет и разоряет сотни и в конце неминуемо разоряется сама. При таких условиях все начинания бесплодны и

гражданский строй, даже самый лучший, осужден на гибель, а страна — на разорение и анархию, ибо для толпы обнищавших и доведенных до отчаяния людей, не могущих уважать ничьей собственности и не видящих примеров доброго и выгодного труда, — нет «гражданского устройства», а есть лишь дикие аграрные инстинкты, умело эксплуатируемые разрушительными элементами, а затем бунты и усмирения и самая тяжелая государственная опека.

Первый и самый важный вопрос: возможно ли повернуть наш экономический руль при нынешней денежной системе? Чтобы дать на это ответ, нужно решить сначала другие вопросы: может ли эта система дать деревне нужные оборотные средства для земледелия? В чем эти оборотные средства заключаются и каков их размер?

Теперь уже всеми хорошо понято, что без местного мелкого кредита оборотных средств в деревне создать нельзя. Кредитному товариществу, действующему в районе трех-четырех волостей, Государственный Банк дает основной капитал в 1—2 тысячи рублей. Это капля в море. Кредитное учреждение должно обслуживать не больше одной волости и иметь капитал не менее 50 тыс. рублей. Только тогда все кредитоспособные будут удовлетворены, все земледельческие и промышленные обороты обслужены. Этот капитал в 50 тыс. рублей будет все время обращаться внутри волости, никуда не уходя. Считая волость в 5000 жителей, это составит всего 10 рублей на человека. Чтобы удовлетворить потребность всей России, потребуется денежных знаков только для этого местного сельского обращения 1200 миллионов рублей. Между тем все количество денежных знаков, обращающихся в России, едва превышает ненамного эту сумму и почти всецело поглощается городами и крупными центрами. Деревня почти денег не видит и вынуждена вести свое хозяйство совершенно голыми руками. Взять часть денег из городского обращения и создать на них мелкий кредит невозможно. Для этого необходимо к существующему денежному обращению добавить, по крайней мере, 1 миллиард рублей. Эту именно

цифру определял сам С.Ю. Витте в комиссии по реформе Государственного Банка.

Каким путем найдет эти средства наша финансовая система, вопрос иной, но только та финансовая система и будет отвечать своему назначению, которая это сделает. Нынешняя ограничивается ровно $\frac{1}{500}$ частью задачи (ассигнование 2 млн рублей в пособие мелким кредитным учреждениям), да и это «пособие», кажется, было отнято из видов экономии, когда у нас начала свирепствовать система урезок и сокращений.

IV

Но денежная система важна не только со своей количественной стороны. Качественная сторона денег заслуживает еще более внимания, ибо деньги дорогие, имеющие высшую покупательную способность и мировые, — это одно, деньги дешевые и национальные — совершенно другое. Деньги, выгодные для стран-кредиторов, могут быть разорительны для стран задолженных; деньги мировые, деньги богатых стран, неизбежные и необходимые также для стран экономически не самостоятельных, могут в стране, по природе своей экономически самодовлеющей, но задолженной, вызвать великие бедствия и полную ломку хозяйственных отношений.

Этого вопроса не ставил и не изучал у нас никто, кроме нескольких человек, и в этой области царит полная темнота. Русская финансовая система взяла себе в основание не русскую науку, не данные русской психологии и экономии, а случайные теории, возникшие в странах иного экономического склада и на почве иных экономических данных.

Процесс, ныне нами переживаемый, есть приспособление русского экономического организма к перенесенной им тяжелой операции — замене дешевых национальных денег деньгами дорогими и мировыми. Если этот процесс будет продолжаться, Россия будет в конце концов задолжена, разорена и обезличена. Эта политика, по выражению Г. В. Бутми, напоминает собой выведение свода посредством камней, вы-

ламываемых из фундамента. Единственная надежда — это прекращение действия золотого механизма, добровольное, спокойное и планомерное, когда явится облеченный доверием Монарха финансовый деятель, носитель здоровой и оригинально-русской финансовой теории (без коей здесь шагу сделать нельзя), или несчастное и случайное в момент крупной внешней катастрофы или внутреннего истощения, например, при ближайшем общем неурожае.

Ближайшая задача русского министра финансов — честно, смиренно и внимательно разобраться в вопросе, мобилизовать для его решения все лучшие русские умы, рассеять мнимо научный гипноз и создать, наконец, денежную систему по плечу великой страны и в меру ее жизненных потребностей. Задача эта значительно проще, чем представляется на первый взгляд. Для ее решения материал в русской финансовой истории и литературе имеется достаточный. Нужно лишь добросовестное сомнение в мнимо научных авторитетах, беспристрастное искание правды и смирение перед русской жизнью и мыслью.

Вот, несомненно, главная задача дня. Только в зависимости от ее решения могут быть решены остальные вопросы, ибо никакие иные реформы при действии золотой валюты не обновят и не оживят народного труда. Начало нашего возрождения — довольство и благосостояние крестьянской избы, вытекающее прежде всего из хорошо вознагражденного земледельческого труда, а это вознаграждение мыслимо единственно при работе с достаточными оборотными средствами, т. е. с хорошей скотиной, плугом, молотилкой, при хорошем отдыхе, с сытной пищей, при цветущей семье, со здоровой, не замученной на работе бабой, со здоровыми веселыми детишками. Никакие внешние гражданские реформы этого не дадут, а то, к чему мы стремимся с таким усердием сейчас — к разрушению крестьянской общины и введению отрубного и хуторского хозяйства, — является только плодом недоразумения, вытекающего из нашего давнего и трудно излечимого финансового невежества в союзе с бюрократическим высокомерием и самовластием.

Но не пора ли, в самом деле, вернуться к благоразумию и вместо того, чтобы истощать силы государства в борьбе с тысячелетним народным бытовым и аграрным институтом, поискать и призвать талантливого и серьезного экономиста, который смог бы поставить русские финансы на их надлежащий уровень и сделал бы на первый случай хоть только одно, самое нужное дело, от которого всячески отрешивается нынешнее финансовое начальство: широко и правильно организовал бы народный кредит? Чтобы вывести свое сельское население из той беспросветной тьмы и нищеты, в которой оно заперто искусственно благодаря ложному и антинациональному характеру денежной системы, Россия должна перейти от золота или к нашей старой серебряной валюте, или к валюте абсолютной, чисто кредитной, без всякого металлического основания, которую мы имели в течение двух огромных периодов. И та, и другая дадут стране нужное оборотное средство, позволив расширить денежное обращение в уровень требований народного труда. И та, и другая понижением внутренней стоимости и покупательной силы непомерно дорогого ныне рубля создадут выгодные цены на продукты земледелия, поднимут потребление и промышленность, дадут лучшую расценку труду, ныне явно обесцененному; и та, и другая изолируют нашу Родину от хищного и властного иностранного капитала, в кабале у коего Россия ныне состоит.

V

Чтобы рассеять нелепую клевету, пускаемую золотыми монометаллистами по адресу сторонников серебряной или чисто бумажной валюты, достаточно указать на возможность точного и совершенно автоматического действия эмиссионного механизма, исключаящую какую бы то ни было возможность «инфляции», или «бумого-денежного наводнения». При системе бумажных знаков, разменных на серебро или воплощающих только идею ценностей (чистый абсолютный знак, расчетная квитанция), эмиссионная операция предполагается, разумеет-

ся, только характера банковского, но отнюдь не казначейского. Ни одному государству ныне не придет в голову, кроме случаев политических или военных катастроф, выпускать бумажные деньги для удовлетворения текущих расходов.

С другой стороны, никто не станет осуждать, например, Французский банк за то, что он постоянно расширяет свою выпускную операцию, все более раздвигая законодательным порядком максимум, установленный для бумажных денег. Французский банк имеет в виду удовлетворить всех своих кредитоспособных клиентов, и никому не придет на ум бояться огромного количества бумажных знаков, обращающихся во Франции, которые были бы столь же полноценными без всякого размена, как полноценны теперь, обеспеченные разменом на золото. Все дело в назначении денег и в устройстве системы кредита. Количество же их определяет сама жизнь.

Автоматичность денежного снабжения страны, при котором ни один выпущенный знак не будет излишним и ни за одним необходимым не будет остановки, заключается в правильно организованной сети кредитных учреждений, опирающихся на центральный регулятор денежного обращения и кредита — эмиссионный банк.

Совершенно очевидно, что, сколько бы ни было заготовлено денежных знаков, только выпущенное в обращение в публику их количество имеет экономическое и финансовое значение. Предположим теперь, что в уезде действует отделение Государственного Банка, кроме самостоятельных кредитных операций, питающее еще целую сеть мелких банков — приходских касс. Учетные комитеты отделения и касс организованы, допустим, весьма совершенно. Они не отпустят ни одного кредитоспособного, не выдадут ни рубля не на дело или в неверные руки.

Начинается работа.

Ввиду явного недостатка в знаках в уезде требование на деньги будет по началу огромное. Как сухая губка втягивает влагу, так и страдавший без кредита уезд начнет всасывать оборотные средства и пускать их в ход. В это вре-

мя эмиссионный банк подкрепляет уездные кассы нужными количествами денег. Чрез самое короткое время, вследствие расходования этих денег заемщиками в виде всяких платежей, в разных руках начнут скопляться денежные знаки, свободные от немедленного расходования. В непосредственной близости находится касса, куда эти знаки можно отнести на вклад или текущий счет, получая за них проценты. Начнется прилив вкладов, который будет настолько меньше их отлива из касс, насколько есть в наличных деньгах нужда. Но вот уездная и приходские кассы кредитуют дальше и дальше. Число обращающихся знаков растет, растет количество вкладов. Наступает момент насыщения, когда количество денег, выдаваемых и получаемых сетью касс, выравнивается. В этот момент ходит в данном районе, очевидно, то именно количество денег, какое нужно для населения, ибо если бы оно было меньше, приток вкладов не достигал бы выдаваемых ссуд, если больше, излишние знаки явились бы немедленно искать себе процентного помещения.

Очевидно, что случай равенства количества ссуд и вкладов возможен только в теории. Практически будет всегда превышение одних над другими. Во время застоя в делах ссуд будут брать меньше, наоборот, начнут притекать вклады. При оживлении дел получится обратное. Цифра, выражающая потребность данного района в денежных знаках, будет вечно изменяться, отражая состояние сделок. Но в руках банковского управления имеется регулятор, позволяющий удерживать постоянное равновесие и производить полезное воздействие на промышленность. При застое и приливе вкладов понижается процент по вкладам и ссудам, — промышленность поощряется более дешевым наймом денег. При промышленной горячке и усиленном требовании денег вкладной и ссудный процент повышаются, — поощряются осторожность и спокойствие. Верная и умелая учетно-ссудная политика может служить великолепным регулятором денежного обращения и надежной гарантией постоянства ценности бумажных денег, хотя бы не обеспеченных никаким металлом. Очевидно,

что при таком устройстве кредита и денежного обращения не может быть речи ни о каком излишнем выпуске бумажных денег. Наоборот, через самое короткое время с развитием чековой системы и текущих счетов это количество начнет сокращаться за надобностью, без всякого стеснения для народного труда и оборотов.

VI

Но для истинно широкой и мудрой государственной экономической политики постоянство ценности денежного знака внутри страны столько же важно, сколько и всегда нормальное, т. е. каждую минуту наивыгоднейшее для народа отношение ценности внутреннего национального знака к знаку мировому, коим ныне стало безраздельно золото. Низкий курс наших денег на золото иногда столько же выгоден для страны, сколько в другое время высокий. Центральный денежный аппарат в государстве должен иметь возможность быть не рабом, а хозяином этого соотношения, т. е. управлять курсами.

Управление внешними курсами и даже какая-либо попытка к воздействию на курс считается правоверными экономистами величайшей ересью.

К этому призваны сейчас биржи, имеющие наисовершеннейшим образом осуществлять закон спроса и предложения капитала. В действительности курсы почти всегда выражают собой тайную волю нескольких миродержавных князей дома Израилева, которые мало-помалу во всех странах Запада и стали настоящими, хотя и не венчанными царями и обратили парламентарные правительства в свои послушные агентуры. С тех пор как, разрушив национальную денежную систему Императора Николая I, мы вступили на путь финансового рабства у Европы, увенчанный в 1898 году завершением золотой реформы, власть биржи простирается и на нас, и хотя еще не совсем подчинила себе нашу внешнюю и внутреннюю политику, но уже наложила на Россию своего

рода цепь и заставляет с собой считаться на каждом шагу, особенно в заколдованной области еврейского вопроса.

Управление внешними курсами, помимо и часто в разрез велениям биржи, есть венец освобождения государственной власти от воздействия иностранного капитала, освобождения народного хозяйства от рабства у биржи. Это освобождение осуществимо, конечно, только при системе национальных денег и при благожелательном посредничестве государства во всех денежных расчетах своих граждан с внешним миром путем сосредоточения всех валютных сделок в учреждениях Государственного Банка. Он один в стране должен являться продавцом и покупателем иностранной валюты, устанавливая ей цену в национальных знаках или, что то же, национального знака в иностранной валюте не по биржевым бюллетеням, а по соображениям нужд и пользы государственного хозяйства.

Представим себе огромный урожай у нас при низких ценах на мировом рынке. Подчиняясь биржевому курсу, мы, может быть, ликвидировали бы наш урожай с большими потерями. Но вот эмиссионный банк понижает курс своего знака, увеличивает цену на валюту мировую и этим удерживает цены хлеба от падения на внутреннем рынке. Это же понижение курса является одновременно возвышением таможенной плотины для ввоза и премией для вывоза. Некоторый прямой денежный убыток, если таковой получится в хозяйстве банка в виде недополученного золота, покроется многократно избавлением от убытков народного хозяйства.

Точно так же может представиться и обратный случай искусственного повышения курса национальных денег, т. е. понижения цены золота, например, при неурожае, когда важно понизить непомерно возросшую на международном рынке цену хлеба и удержать его в пределах страны.

Во всяком случае здесь должен действовать некоторый точный регулятор, чуждый всякого произвола и ошибок. Сам вопрос об этом поднимается здесь впервые, и сейчас совершенно нельзя сказать, как скоро может справиться Русское государство с подобной задачей. Но что эта задача ставится

повелительно нашему государственному аппарату, в этом, кажется, нет сомнения.

VII

Независимо от управления курсами, Русское государство в видах национальной экономической независимости и ради доставления народному труду необходимых оборотных средств, получить которые при режиме мировых денег равносильно настоящей кабале, должно отрешиться от мировых денег и вернуться к покинутым им в 1896 году национальным, будь это серебро или бумажные деньги. Как бы ни была, по неподготовленности нашей, несовершенно организована эта национальная система, уже одно то, что только при ней пойдет полным ходом русский народный труд, позволяет заранее примириться со многими ее недостатками.

Особенно трудно будет положение государственного хозяйства впредь до урегулирования нашего огромного внешнего долга. Ради этих трудностей, собственно, и был совершен переход к золотой валюте.

Но эта трудность может быть в значительной степени облегчена разделением государственного хозяйства по двум росписям, составляемым и исполняемым в разной валюте. Все внутреннее хозяйство государства будет иметь счет в национальных деньгах, все внешние платежи и поступления исчисляться и производиться в деньгах мировых, в золоте.

Это разделение установит сразу полную ясность отношений. Золотая часть росписи сложится примерно следующим образом:

Поступления:

Таможенные пошлины.

Военное вознаграждение.

Консульские сборы.

Покупка добываемого золота.

Покупка золота, поступающего в платеж за наш вывоз.

Выпуски долговых обязательств за границу.

Платежи:

Платеж процентов по займам.

Казенные заказы. Содержание посольств и консульств, церквей, стипендиатов, заграничные командировки и пр. расходы.

Продажа золота (тратт) для заграничных расчетов частных лиц.

Покупка (выкуп) наших долговых обязательств за границей.

Сальдо этого счета будет выражаться в уменьшении или приросте золотого запаса, в увеличении или уменьшении внешней задолженности.

До народной экономии и внутреннего бюджета эта часть государственного хозяйства будет касаться лишь постольку, поскольку она влияет на цены ввоза и вывоза.

Из приведенной схемы ясно видно, какую огромную роль играет курс валюты и как важна для государства полная независимость в этой области. Россия, как страна совершенно обеспеченная всем необходимым и самодовлеющая, раньше всех должна придти к этой независимости, обусловливаемой у нас единственно здоровой и верной финансовой политикой с талантливыми и честными ее руководителями. То, о чем многие народы и страны не смеют и мечтать, у нас может быть осуществлено опирающееся на великий коллективный разум Земли единой Самодержавной Волей, коль скоро путь для проявления этой Воли будет надлежащим образом уяснен и подготовлен.

VIII

На этом позвольте с вопросом о денежной системе покончить.

Но прежде чем перейти к необходимым реформам в области народнохозяйственной политики, необходимо коснуться организации самого финансового ведомства, в его нынешнем виде к проведению серьезной экономической политики совершенно неспособного.

Необходимо прежде всего поставить в надлежащее положение то лицо, которое будет призвано Верховной Властью на пост министра финансов. Нынешнее его положение, в смысле работы, заведомо непосильное и неестественное, и только жажда власти и нежелание упускать из своих рук почти монопольного управления всей экономической жизнью народа и государства могло бы удерживать министра от добровольного выдела из состава ведомства большей половины его нынешних органов. Финансовое ведомство, в строгом смысле слова, должно быть только приходорасходчиком государства. Управление свыше чем двухмиллиардным бюджетом мировой державы, раскинувшейся на $\frac{1}{6}$ всей суши земного шара, уже одно может поглотить все силы и внимание выдающегося деятеля. В это ведомство войдут Государственное Казначейство, органы взимания прямых, косвенных и таможенных налогов, Кредитная канцелярия и орган, ведающий государственными долгами. Четыре соответственных департамента и Комиссия погашения государственных долгов, слитая с Кредитной канцелярией, и должны поэтому составить собственно Министерство финансов. Все остальное совершенно не подлежит компетенции этого ведомства, является для него лишь бременем и не может, без очевидного внутреннего противоречия, оставаться долее в его составе.

Первое разделение Министерства финансов произошло на наших глазах. Из его состава выделены были сначала в особую группу учреждения по торговле и промышленности, которые теперь образовали самостоятельное министерство. Следующая очередь за учреждениями, ведающими народным денежным обращением и публичным кредитом. Только нахождением Государственного Банка в составе Министерства финансов и можно объяснить как возможность столь странного, чтобы не сказать более, проведения вредной для народа денежной реформы, так и нынешнюю политику Государственного Банка, совершенно чуждую истинных интересов народного хозяйства.

Задачи собственно финансового управления и народного денежного обращения и кредита представляют две области,

весьма мало общего между собой имеющие. Первое стремится к наилучшему обслуживанию государственной росписи, второе — к сохранению в полной гармонии и порядке экономического кровообращения в стране. Общий руководитель обоих ведомств не может быть беспристрастным судьей при несогласовании их политики и стремлений. Государственное хозяйство будет всегда ближе и дороже министру финансов, чем народное, и интересы последнего, даже самые жизненные, могут легко подчиняться временным и частным задачам финансового управления. Единственным здесь судьей может быть только Верховная Власть, коей одинаково дороги и народное, и государственное хозяйство и которая стоит выше личных пристрастий и частных интересов. Но для свободы этого суда необходимо, чтобы обе стороны были представлены перед Престолом равноправно и политика обоих независимо и всесторонне освещена.

Как только совершится выделение Государственного, а также Дворянского и Крестьянского банков из состава Министерства финансов, тотчас же обнаружится вся ненормальность их обособленного существования. Так как ипотечная операция обоих банков, поставленная ныне на весьма фальшивые основания, должна будет отступать на задний план сравнительно с культурными операциями в области краткосрочного и мелиоративного кредита, то первая может стать особым отделом Государственного Банка и идти в той же сети его учреждений, не спускаясь ниже губернии. Культурные же операции по существу своему родственны операциям коммерческим и нуждаются лишь в несколько иных приемах и особых самостоятельных учетных комитетах при полном единстве кассы. Другими словами, и Дворянский, и Крестьянский банки рассосутся в общем строе учреждений Государственного Банка, который явится самостоятельным ведомством.

Ведомство это должно сохранить за собой и сеть сберегательных касс. Эти учреждения нуждаются в коренной реформе, так как их нынешняя роль поистине плачевна. Они

действуют одной лишь стороной, высасывая, как пиявки, массу мелких народных сбережений, и направляя эти сбережения в сторону от земледелия и деревни, совершенно обезденеживают последнюю. При денежном стеснении, спутнике и последствии золотой валюты и пассивного баланса, государство монополизировало за собой пользование огромным капиталом народных сбережений, разместив этот капитал в разного рода государственные и государством поддерживаемые предприятия. Деревня, имевшая прежде хотя незначительный приток сбережений, в настоящее время его совершенно лишена. Нового типа кредитные товарищества, при ничтожной помощи со стороны Государственного Банка и невозможности конкурировать с казенными сберегательными кассами в привлечении вкладов, осуждены на жалкое прозябание, тем более что ограниченность их оборотов не в состоянии оплачивать даже самой убогой администрации и требует бесплатных работников, т. е. подвижников. Сберегательные кассы должны быть сделаны маленькими местными банками, принимающими вклады и выдающими ссуды краткосрочного характера и исключительно малого размера. Это условие *sine qua non* для развития народного сельского кредита, но освободить для этой цели миллиардный капитал нынешних народных сбережений немыслимо без увеличения на соответственную сумму количества обращающихся денежных знаков.

Замечательным образцом устройства мелкого народного кредита являются финские сберегательные и особенно болгарские земледельческие кассы. Восемьдесят пять земледельческих касс Болгарии раздают, при $2\frac{1}{2}$ млн населения княжества, свыше 100 миллионов франков ежегодно только в области мелкого кредита.

Наш желательный тип — приходская касса, имеющая в малом размере главные банковые операции: учет векселей, переводы, текущие счета, ссуды разного рода, кроме ипотечных, инкассо и всякого рода поручения и комиссии. Управляющий кассой должен быть выборный от прихода, помощник

его, назначенный уездным отделением банка, кассир, учетный комитет, выборный от селений прихода, землевладельцев, промышленников и торговцев. Ревизовать кассу должны приход, земство и Государственный Банк, который, имея в составе кассы своего агента, должен отвечать за целостность вкладов, привлекая к суду виновных в злоупотреблениях.

Кредит землевладельцам, торговцам, промышленникам и иным лицам, не удовлетворяющимся размерами мелкого кредита, открывается кассой не самостоятельно, но по поручению уездных отделений Банка.

В ведомство Государственного Банка должен отойти также Монетный двор. Экспедиция заготовления государственных бумаг может принять междуведомственное положение с контролем от ведомств Государственного Банка, финансов и Государственного контроля, составляющим наблюдательный совет учреждения.

Пограничная стража должна быть совершенно выделена из финансового ведомства и действовать по охране границ на правах боевой воинской части. Школьная сеть должна слиться с общей сетью переустроенного Министерства народного просвещения и вместе с ней перейти к областным самоуправлениям.

IX

Государственные земельные и лесные имущества, государственные предприятия, как винная монополия (до ее упразднения), железные дороги с их тарифами, водные пути, казенные заводы (кроме специально военных и морских), монополии: элеваторная, табачная и нефтяная, а также, может быть, почты, телеграфы и телефоны должны быть сосредоточены в одном очень сильном и самостоятельном ведомстве, которое можно бы было назвать Министерством государственных предприятий или государственного хозяйства.

Сколь ни разнородны на первый взгляд перечисленные здесь отрасли, их общий и важнейший по существу при-

знак — исключительно коммерческое и живое (в противоположность бюрократическому и бумажному) отношение к делу. Главная здесь задача ведомства: обслуживая прямо народное хозяйство (элеваторы, почты, телеграфы и телефоны, железные дороги) или не мешая его свободной экономической деятельности, извлекать для государства значительную часть его доходов путем совершенно иным, чем налоги, ведаемые Министерством финансов. С коммерческой же точки зрения заведовать почтой или телефонной сетью, казенной табачной фабрикой или элеваторами — совершенно одно и то же. Чисто хозяйственное отношение к делу, широкие, если нужно, затраты, щедрое вознаграждение исполнителей за талант и инициативу, принципиальное отрицание чиновничества и бюрократической «высидки», быстрое выдвижение одаренных трудолюбивых и честных деятелей, оценка деятельности по результатам, а главное, полная гласность и широкий общественный контроль — все это составляет «душу живу» государственных предприятий в той же степени, как и любого торгового дома. Главой этого ведомства должен быть коммерческий талант первой величины вроде покойных Кокорева, Мальцева, Губонина или Алчевского или здравствующего А.А. Померанцева.

Доход, который должно давать государству это ведомство, находится в тесной зависимости от постановки в нем дела и приемов контроля и управления, так как предполагается, что государственные предприятия по существу своему могут быть лишь абсолютно верными, не допускающими никаких сомнений. Даже те новые отрасли, в которых государство выступит как бы первым номером, действуя более в интересах народного хозяйства, чем фиска, должны исключать всякую возможность ошибки или убытка.

Достичь этого возможно только при соблюдении условий 1) самостоятельности ведомства, 2) широкой гласности и 3) правильного контроля.

Лучше всего это уяснится на частном примере. Предположим, что ведомство государственных предприятий решает

организовать элеваторную монополию. 1-й момент: открывается гласное и публичное состязание на лучший проект постановки дела. 2 — поступившие проекты, свод коих сделан в ведомстве, сообщаются редакциям газет, рассылаются на заключение заинтересованных земств, биржевых комитетов, городских управлений портовых и пограничных городов, выдающимся техникам и специалистам. 3 — полученные отзывы и статьи вместе с первоначальным материалом гласно и публично разрабатываются в особой комиссии, а тем временем намечается лицо, имеющее стать во главе дела. 4 — этому лицу поручается составление законопроекта, всех инструкций и уставов. 5 — законопроект в законодательном порядке восходит на утверждение Верховной Власти, которая одновременно, по представлению министра, утверждает представленного им руководителя дела. 6 — лицо это выбирает себе сотрудников и организует дело, строго держась закона, выработанных инструкций и утвержденной сметы. 7 — контроль над делом принадлежит как ведомству, так и Государственному контролю в порядке ревизии отчетности и дела в ходу, но отнюдь не в порядке нынешнего «фактического контроля», тормозящего и мертвящего всякое начинание. 8 — учреждения, подведомственные предприятию, его счетоводство и отчетность открыты для осмотра и изучения всем желающим. 9 — печатная оценка и всякого рода разоблачения не могут быть останавливаемы администрацией, а подлежат только судебному преследованию. 10 — руководитель дела и служебный персонал должны, независимо от хорошего вознаграждения, иметь участие в чистой прибыли дела.

Приведенные условия, полагаем, вполне достаточны как для совершенной солидности всякого намеченного дела, так и для его безупречного и выгодного ведения. Полагаем также, что условия эти не имеют ни малейшего сходства с тем бесшабашным грюндерством, которое практиковалось на наших глазах так недавно под покровом канцелярской тайны и при помощи самых грязных отбросов международной биржевой клики (О-ва «Сталь» и пр., и пр.).

Х

Из сказанного явствует необходимость не только правильной постановки, но и надлежащей группировки экономических органов государства, которые только тогда будут в состоянии дать цельную и единую экономическую политику.

Такая группа объединенных органов-ведомств складывается сама собой из следующих министерств:

1. Министерство финансов.
2. Министерство торговли и промышленности.
3. Министерство гос. предприятий или гос. хозяйства.
4. Министерство народного кредита (Государственный Банк).
5. Министерство земледелия.

Группа этих пяти ведомств нуждается, очевидно, в более тесном объединении, чем представляет наш высший государственный аппарат в виде Сената, Совета Министров, Государственной Думы и Государственного Совета. Жизненные интересы страны, ведаемые сетью экономических учреждений, слишком важны и слишком своеобразны, чтобы довольствоваться общим наблюдением и руководством сверху, не говоря уже про законодательство посредством случайного состава Думы. Малейшая несогласованность в частях единой экономической политики государства, и вся хозяйственная жизнь страны пойдет кривь и вкось. С другой стороны, эта область лишь косвенно соприкасается с остальными частями государственного законодательства и управления, полицией, судом, просвещением и пр.

Наилучшим, объединяющим звеном в административном отношении был бы параллельный нынешнему Совету Министров Хозяйственный совет под председательством выдающегося экономиста, состоящий из глав и представителей, входящих в группу ведомств, чинов Государственного контроля и лиц, особо назначенных Верховной Властью из числа известных русских экономистов и финансистов. Задача этого учреждения — согласовать и проверять неослабно

деятельность ведомств, устранять все разногласия и давать компетентное руководство по каждому представляющемуся вопросу. Здесь же должны предварительно обсуждаться и согласовываться все законопроекты, ранее внесенные в законодательном порядке.

Для законодательства в экономической и финансовой области нынешние законодательные учреждения, Государственный Совет и Государственная Дума и недостаточны, и едва ли соответственны. Экономическое законодательство требует прежде всего абсолютной беспартийности и весьма больших специальных познаний.

Я не буду входить в эту область, которая требует совершенно особого исследования и увлекла бы нас слишком далеко. Скажу только пока совершенно голословно и в виде намека, что именно здесь парламентарного типа учреждения особенно непригодны. Если желать серьезного экономического законодательства и серьезного контроля над деятельностью ведомств, нет иного средства, как образование специальных учреждений из выборных от земств как представителей элемента земледельческого и городов и торгово-промышленных учреждений как представителей элемента коммерческого на основании серьезного служебного ценза, определяющего работоспособность членов будущей коллегии.

В этом деле не может быть места никаким случайностям. И если случайности бюрократического характера, вроде полновластного 11-летнего хозяйничанья совершенно невежественного и беспринципного человека, привели Россию к страшному современному положению, то случайности парламентарные в виде законодательства так называемых лучших людей, высланных политической улицей, могут привести нашу Родину к самым тяжким катастрофам.

XI

Перехожу к последнему отделу настоящего труда — к финансовой политике.

Задача финансовой политики, как уже сказано мной в начале: с одной стороны, создать наилучшую обстановку народному труду и наибольшее материальное благосостояние народу, с другой стороны, изыскать средства возможно большие при наименьших жертвах со стороны народа для исполнения государством своих целей и задач.

Я рассмотрел выше то основное условие, без которого не может быть речи о надлежащем выполнении той или другой задачи правильной финансовой политики. Это — надлежущая реформа нашей денежной системы. Далее было рассмотрено другое существенное условие — правильная постановка тех государственных органов, которые ведают экономическую политику в том и другом направлении. Размеры сообщения не позволяют мне остановиться подробно на системе мероприятий, необходимых для подъема нашего народного хозяйства, и на этот раз я вынужден ограничиться лишь той частью экономической политики, которая имеет отношение собственно к государственному хозяйству.

Если наше экономическое возрождение лежит всецело в области народного хозяйства, которая должна служить предметом особых и спешных забот правящего аппарата, то наше финансовое возрождение зависит от правильной постановки приходной части государственной росписи, т. е. от тех необходимых реформ в области казенных налогов и всякого рода сборов и поступлений. И здесь дело обстоит крайне неблагоприятно и существенные и важные реформы необходимы спешно.

В моем первом сообщении о государственной росписи я уже имел честь изложить главные несовершенства нашей приходной сметы и теперь могу прямо перейти к желательным реформам.

Несоответствие размеров государственных расходов с доходами выражено в России чрезвычайно резко. Стоимость нашего государственного аппарата, абсолютно умеренная, вызывает крайнее налоговое перенапряжение. Колоссальные недоимки в прямых доходах, которые с отменой выкупных

платежей придется списать, и дороговизна жизни как результат системы косвенного обложения свидетельствуют о глубоко нарушенной гармонии между хозяйством государственным и народным.

Между тем говорить о каких-либо сокращениях в государственном бюджете едва ли представляется возможным. Наоборот, расходная половина росписи растет и будет расти вполне естественно с развитием государства и усложнением его функций. Единственное серьезное сокращение росписи возможно по системе государственного кредита, о чем будет сказано ниже. Но как ни существенно может быть это сокращение, естественный рост бюджета его быстро обгонит. Поэтому усиленное внимание финансового ведомства должно быть обращено на систему государственных налогов и сюда необходимо внести весьма важные и существенные изменения.

Впредь до надлежащего развития народного хозяйства и потребления и вытекающего отсюда усиления платежных средств населения, существующие налоги, особенно косвенные, должны быть по возможности понижены и весь центр тяжести государственных доходов передвинут в ином направлении.

На первой очереди давно уже стояла отмена особенно тяжелого для населения налога — выкупных платежей. Великодушная воля Монарха это уже сделала. В настоящую минуту государственный поземельный налог представляется не только не обременительным, но прямо ничтожным. Значительно увеличивать его, однако, невозможно, так как земля является главным источником для местного, земского обложения. Но здесь возможна реформа, имеющая, кроме прямой цели увеличения дохода казны, еще и косвенную, отчасти политическую, отчасти экономическую, цель — способствовать дроблению ненормально крупных землевладений. Установление прогрессивного поземельного налога является к тому средством наиболее целесообразным.

Что касается косвенных налогов, то таковые должны быть пересмотрены в смысле облегчения обложения предметов пер-

вой необходимости, каковы чай, сахар, керосин, спички и т. п., и усиления обложения предметов роскоши и особенно привозных из-за границы. Но так как богатых и даже зажиточных людей у нас, по отношению к общей массе населения, ничтожно мало, то последний вид обложения далеко не уравновесит недоборов казны на предметах потребления всенародного. Очевидно, что должны быть изысканы и развиты новые источники государственных доходов.

На первый план здесь должны быть поставлены железные дороги, кредитные учреждения, казенные или пользующиеся казенной поддержкой промышленные предприятия, государственное страхование и разнообразные монополии.

ХП

Чрезвычайно важным источником дохода могли бы быть наши железные дороги, по своему естественному положению и количеству грузов вполне способные давать крупный чистый доход, а теперь дающие лишь огромные убытки.

Доходность наших дорог была бы очень велика, если бы наше коммерческое движение было иначе поставлено и если бы мы не были вынуждены строить ряд бездоходных линий, иногда единственно с целью поддержки золотой валюты, путем прилива иностранного капитала и поддержки металлургической и горной промышленности доставкой им работы. Убытки нашей железнодорожной сети, независимо от крайней дороговизны ее сооружения, имеют прямым источником нашу финансовую систему. Обезденежившая страну, держа население в нищете, она сокращает и производство, и потребление и уменьшает количество грузов. С другой стороны, проведение новых линий, вовлекая в экономический круговорот и предавая расхищению новые земли и леса, сбивает цены на хлеб в старых районах земледелия. Получается лихорадочное выбрасывание на рынок хлеба и сырья, обуславливающее самую нерациональную эксплуатацию всех служб и передвижного состава. При таких условиях

даже очень значительное грузовое движение и при тарифах, тяжело лежащих на обесцененный хлеб, не может быть выгодным вследствие непомерно возрастающих расходов на эксплуатацию. Но самое главное, конечно, условие для повышения доходности железных дорог — это зажиточность населения, т. е. поднятие его хозяйства и потребления.

Между тем в нашей железнодорожной политике замечается стремление возвысить доходность чисто механически. Недавно объявлено повышение цен на пассажирские билеты, самое нерациональное, что только наши финансисты могли придумать, а теперь говорят о необходимости возвысить на 10% все товарные тарифы.

Можно без всякого колебания предсказать результат совершенно обратный предполагаемому. Пассажирское движение сократится, и только, и убытки будут еще больше. А что касается до поднятия фрахтов, то от этой нелепости авось откажутся и сами ее авторы.

Кредитные учреждения. При живой и рациональной постановке Государственного Банка с полной сетью его учреждений до волостной или приходской кассы включительно все дело публичного кредита во всех его видах, кроме, быть может, взаимного кредита, сосредоточится неминуемо в руках государства, без всякого насилия над частными банками. Выше мы видели, что один мелкий народный кредит должен оборачивать капитал около 1200 млн рублей. Если мы попробуем представить себе всю необъятную массу кредитных оборотов в торговле и промышленности, то, сосредоточив ее всю в государственной сети банковых учреждений, получим гигантский оборотный капитал, ежедневно отдаваемый государством в наем. Без всякого обременения клиентов он принесет огромный доход государству, который, как можно предположить, далеко превзойдет сумму прибылей всех существующих частных банков, тем более что централизованное управление сетью учреждений Государственного Банка будет стоить сравнительно очень недорого. При своих до крайности ограниченных кредитных операциях нынеш-

ний Государственный Банк дает казне значительный доход. Что же даст он при полном развитии своих оборотов, включая сюда и громадную эмиссионную операцию всех видов, обслуживающую земства, города, частные предприятия и т. д., когда сам оборотный капитал, при режиме бумажных денег, банку ничего стоить не будет?

Вспомоществуемые казной предприятия. Современная постановка дела на казенных заводах и специальных заводах военного и морского ведомства крайне плоха и ненормальна по самому своему принципу. Заводы эти подлежат передаче в частные руки, лучше всего в аренду. Но казна может извлекать значительные доходы из своего участия капиталом в разнообразных крупных национальных предприятиях, становясь акционером в тех делах, которые для частного капитала не под силу по своему размеру или новизне. Если представители казны не будут вмешиваться в ведение дела, как это, к сожалению, практикуется теперь в виде назначения директоров от правительства, а оставят себе лишь бдительный и постоянный надзор за делом, оно пойдет успешно и хорошо; таким образом могут быть на чисто коммерческих началах организованы прежде всего заводы военного и морского ведомств и основано много новых производств, ныне отсутствующих в национальной промышленности, но имеющих будущность и широкий внутренний рынок. Так, например, при помощи казны может быть организовано производство жней-сноповязалок, швейных и пишущих машин и т. п. новые производства. Пусть правительство дает хотя бы и $\frac{3}{4}$ акционерного капитала, но возложит на своих представителей не руководство делом, а только ревизию и контроль. При мало-мальски добросовестном выполнении этих функций и обдуманном основании предприятия оно пойдет прекрасно и будет давать солидные дивиденды.

Монополии. О винной монополии и государственном страховании будет сказано ниже, здесь же необходимо указать, что значительным источником государственного дохода могут служить монополии табачная, нефтяная и элеваторная.

Табачная монополия, приносящая всем, без исключения, странам, где она введена, огромные доходы, у нас почему-то пренебрежена. Быть может, скоро откроется здесь не первая, но, увы, грандиозная Российская Панама, провалившая в свое время проект табачной монополии. Между тем из всех предметов обложения больше всего может вынести потребление табака. Это налог на предмет не необходимый, относительно легко поддающийся учету и совершенно доступный для государственного приготовления.

Нефтяная монополия, благодаря исключительному положению России и истощению нефтяных запасов в Америке, представляется операцией тем более блестящей, что весь налог может быть переложен с внутреннего потребителя на мировой рынок. Нефтью и ее дериватами казна должна торговать на международном рынке монополично, покупая весь вывозной товар от производителей и добытчиков и устанавливая ему надлежащую цену.

Возможны еще и другие монополии, например, марганца и платины, но самая доходная и верная будет, без сомнения, элеваторная на хлеба и лен. Принцип здесь тот, что, оставляя хлебную и льняную торговлю свободной, казна весь вывозимый хлеб и лен выпускает не иначе, как проведя сквозь свою сеть портовых и пограничных элеваторов и подвергнув их там обезличению, очистке и браковке. Тариф на эти услуги должен быть подвижным и включать в себе изменяющийся размер вывозной пошлины, устанавливаемый сообразно состоянию цен на мировом рынке, внутреннему и внешнему урожаю в движении хлебных запасов. Весьма возможно, что несомненный успех этого дела, в связи с необходимостью правильно поставить дело нашего народного продовольствия и иметь государственный хлебный фонд, вызовет организацию государственной сети элеваторов и для внутренней хлебной торговли; но говорить об этом пока преждевременно. Элеваторная же монополия для вывозной торговли безусловно необходима, так как только она может устранить злоупотребления с засорением русского хлеба и фальсификаций льна, без чего немислимо упорядочение нашего отпуска.

ХIII

Перехожу к винной монополии, ставшей за последнее время на очередь в ряду неотложных реформ благодаря энергичной проповеди члена Думы Чельшева.

Винная монополия, учрежденная с благою целью вытрезвления народа, через самое короткое время обратилась в орудие извлечения наибольшего дохода от питей путем поощрения и облегчения потребления вина, т. е. почти незамаскированного спаивания народа.

Вынудила к этому опять же новая денежная система, ослабившая производительную и потребительную способность народа и задержавшая естественный рост других доходов государства. Пришлось гуманитарную идею отложить в сторону и извлекать доход, откуда можно.

В моем предыдущем сообщении было указано все лицемерие, безнравственность и страшный вред этой торговли. Во имя чести и достоинства русской государственной власти это постыдное предприятие должно быть уничтожено.

Но ранее, чем серьезно об этом говорить, необходимо указать источник, из коего можно добыть необходимые сотни миллионов, получаемых ныне путем отравления народа.

Задача эта, быть может, самая высокая и светлая из всех задач материального благоустройства в нашем пьяном царстве, может быть разрешена, конечно, только установлением на равную сумму нового налога, прямого или косвенного. Всякий такой налог, который, упразднив водку, даст казне выручаемую сумму, будет заплачен тем же народом и из тех же скудных средств, но он сбережет народу равную, а, может быть, еще большую сумму в виде трезвых трудовых дней, материальных сбережений, а главное — здоровья.

Но есть возможность не только получить в замену монопольного дохода равную или большую сумму, но и распределить новый налог с почти идеальной уравнительностью, а, сверх того, за взимаемый налог дать народу не яд, а ряд истинных благодетелей, доступных только государственной власти.

Вот задача, достойная великого самолюбия и великого патриотизма! Царя, скрепившего своей подписью подобную реформу, история без колебания назовет Великим.

Решение этого совершенно еще не разработанного, но уже намеченного в литературе вопроса лежит в государственном всеобщем страховании.

Идея этого страхования не нова. Автономное Царство Польское ввело и практиковало его в широких размерах еще с 40-х годов прошлого столетия. Государственное страхование и сейчас действует в русской Польше, хотя в урезанном и искаленном виде.

По существу своему, ведение страхования есть работа чисто канцелярская, не требующая ничего, кроме статистических выкладок и точного исполнения регламента. Здесь почти нет места личным талантам, творчеству и инициативе. Из всех видов предприимчивости это, бесспорно, самая доступная для государства и, пожалуй, даже более простая, чем управление железными дорогами, почтами, телеграфами и телефонами.

Представим себе, что государство принимает на себя и делает обязательным на всем пространстве русской территории страхование: от огня, града, падежей скота, страхование жизни, пожизненных пенсий, несчастных случаев, товаров в пути — словом, все виды рисков, устанавливая обязательный минимум и допуская свыше этого страхование добровольное. Пусть будет застрахована от огня безусловно всякая постройка, всякая движимость; от града — всякая десятина посева, от падежа — всякая лошадь, корова, овца. Пусть каждый русский подданный, достигший нерабочего возраста, получает пожизненную пенсию обязательную, например, от 3 руб. в месяц, добровольную произвольного размера, а в случае смерти — пенсию детям. Пусть будет застраховано каждое место товара в вагоне и на воде, минимально по классу тарифа, максимально по оценке. Что получится? Необъятная сумма рисков, при которых премия, оплачивающая самую дешевую администрацию и совершенно не оплачивающая услуг капитала (ибо здесь статистика, имея дело с колоссальными

цифрами, будет математически верна, страхование же по существу будет строго взаимное), эта премия будет чрезвычайно, почти ничтожно мала.

Рядом с этим будут во всех главных видах определены имущественные признаки всех русских граждан. Налог в 300—400—500 млн рублей, распределенный на единицу имущества, будет разложен так, как никогда не разложить никакого подоходного налога.

На малоимущие классы упадет сравнительно немного, на богатых ляжет очень много, и ни те, ни другие не будут иметь поводов жаловаться. Последние и сейчас от огня страхуют почти все; страхование от града, эпизоотии, страхование жизни является и сейчас, несомненно, выгодным, даже при относительно очень высоких премиях, и практикуется многими добровольно. При осуществлении государственного страхования, хотя бы с присоединенным к нему 500-миллионным налогом в пользу казны, страховые премии будут едва ли выше нынешних, скорее ниже, принимая во внимание необъятный размер всей массы застрахованных имуществ. При относительно небольшом у нас проценте зажиточных и богатых людей среди общей бедноты тем не менее 500 миллионов налога, составляя при 150 миллионах населения России по 3 рубля на жителя, лягут, вероятно, не более чем 2 рублями на душу бедного населения. Остальная половина падет на страхование добровольное.

Вопрос этот настолько важен и дает такой счастливый выход для государственного хозяйства, что его во всяком случае следует немедленно и всесторонне осветить и изучить в цифрах, не жалея средств на эту работу, дабы привлечь лучших статистиков и специалистов. Эта работа, очевидно, не под силу никакому отдельному экономисту.

XIV

В числе остающихся за реформированным по этой схеме Министерством финансов отраслей деятельности находится

управление государственным долгом. Не вдаваясь в подробный анализ, отмечу самые главные пункты предлагаемой программы по этому вопросу.

Великим несчастьем нашей финансовой политики и поистине тяжким наследством будущему министру финансов является наш огромный государственный долг, перешедший за $8\frac{1}{2}$ млрд рублей и обременяющий роспись более, чем 350-миллионным ежегодным платежом, коего львиная доля приходится на долю зарубежных держателей наших бумаг. Внешний долг наш образовался, смеем думать, единственно по недоразумению. Россия совершенно не такая страна, чтобы неизбежно и неотвратимо быть вынужденной пользоваться иностранными капиталами и внешним кредитом. Имея все необходимое у себя дома, будучи в состоянии при огромном вывозе своих избытков сократить иностранный ввоз до крайнего минимума, т. е. имея на столетия вперед обеспеченный активный торговый баланс, мы могли бы при иной денежной системе явиться с предложением, а не со спросом капитала. И если мы до сих пор действовали обратно, то только потому, что руководились указаниями биржевой финансовой науки, бесплодно истощая силы своего народа и мешая его самобытному земледельческому и промышленному развитию.

Отвергнув в 1859 году здравую и разумную народохозяйственную политику Императора Николая I, оставившего хотя и крепостную, но здоровую и богатую Россию, новое царствование, вместо того чтобы приспособить эту систему к нуждам освободительного дела, коим она как нельзя более соответствовала, ввело финансовую систему, словно нарочно придуманную для разорения только что освобожденного народа. Национальный капитал вместо быстрого прироста стал таять на глазах, старокультурная Россия — обращаться в пустыри. Разраставшийся превыше меры государственный аппарат, ранее почти внешних долгов не знавший, начал все чаще и чаще прибегать к услугам иностранного капитала. Национальная задолженность всех видов стала неудержимо расти и сделала огромный скачек в последнее десятилетие,

особенно с момента, когда введение золотой валюты обменяло наши национальные деньги на мировые и открыло широкие ворота для помещения у нас иностранного капитала. Несчастливая Японская война довершила дело нашего закабаления иностранными биржами, и сбросить это иго теперь под силу разве гениальному экономисту.

Самый печальный в народохозяйственном смысле шаг был сделан обращением нашего главного государственного долга — ренты — в металлическую бумагу с обязательной уплатой на вечные времена иностранным держателям процентов в золоте по неизменному паритету.

Первой заботой нового министра финансов должно быть освобождение от этого обязательства хотя той части ренты, которая находится в руках русских капиталистов; это может быть достигнуто немедленным требованием к заштемпелованию находящихся за границей листов ренты и отменой для дальнейших уходящих за границу количеств обязательства металлической оплаты.

Затем наш внешний долг должен начать последовательно и неуклонно сокращаться, на что не следует жалеть никаких средств. Погашение его возможно единственно путем покупки на иностранных биржах наших бумаг, для чего должен дать средства активный расчетный баланс. Станет же этот баланс активным тогда, когда активность нашего торгового баланса будет гораздо большей, чем ныне, и не будет в зависимости от выпавших или не выпавших вовремя дождей.

И здесь дело прежде всего в подъеме нашего земледелия и промышленности. Достаточно первому увеличить свои крайне низкие ныне урожаи всего на 1—2 зерна, достаточно, чтобы этот хлеб не был искусственно обесцениваем народной нуждой, податным давлением, неустройством кредита и неверной денежной системой, чтобы Россия тотчас же вернулась к своей прежней роли — житницы Европы — и, вывозя одни избытки, увеличила бы свой хлебный экспорт чуть не вдвое. Но достичь этого подъема урожаев можно лишь доставлением народному хозяйству оборотных средств в указанных выше размерах.

Тогда же и русский рынок потребления будет широко удовлетворять национальную промышленность, которая, обладая со своей стороны достаточными капиталами и оборотными средствами и защищенная высокими тарифами, будет в состоянии сократить иностранный ввоз до минимальных размеров.

Так как оплата внешнего государственного долга путем возврата в страну бумаг, ныне находящихся у иностранцев, возможна единственно активным сальдо расчетного баланса, т. е. чистым остатком в пользу России в международных расчетах, то забота об этом остатке должна занимать видное место в финансовой нашей политике. Настоящее положение нашего расчетного баланса, даже при сравнительно выгодном торговом, в высшей степени плачевно. Огромный вывоз нашего хлеба и сырья в ущерб собственному потреблению явно разоряет население. Путешественники, больные и постоянно живущие за границей русские переводят из России огромные суммы. Взамен этого иностранцы в России не только не оставляют ничего (кроме посольств и консульств), но, являясь к нам для заработков и наживы, в свою очередь, уносят огромные суммы. Перестрахование, морские фракты, казенные заказы, дивиденды иностранных промышленных дел, покупка золота и серебра, а главное — оплата процентов по внешнему долгу, не только сполна поглощают все избытки в нашу пользу торгового баланса, но и образуют ежегодно огромный дефицит, так как, кроме жалкого военного вознаграждения от Турции и процентов от Китая, никаких соответствующих статей прихода извне у нас не имеется. Этот ежегодный дефицит мы вынуждены покрывать все новой задолженностью, прямой и замаскированной, в виде размещения за границей бумаг, выпускаемых для постройки новых железных дорог или иного привлечения иностранных капиталов, остановить приток коих значило бы немедленно подвергнуть опасности наш золотой механизм.

При этих условиях образуется замкнутый круг, разомкнуть который нет возможности иначе, как дав народу те оборотные средства, которые ему необходимы, а этому, в свою

очередь, ставит резкое препятствие золотая денежная система, требующая всевозможных жертв и не допускающая увеличения денежного обращения.

Пока золотая валюта и размен будут существовать, нет никакой возможности ни сделать наш расчетный баланс активным, ни поднять народное хозяйство, ни уменьшить нашу национальную задолженность мировому капиталу. Наоборот, задолженность эта будет все возрастать, а хозяйство падать, пока какая-нибудь стихийная или политическая катастрофа не ниспровергнет насильственно золотую денежную систему, которую мы не желаем ликвидировать добровольно.

Подробный анализ нашего расчетного баланса и, как его вывод, указание способа ликвидации золотой валюты и переустройства денежной системы на национальных основаниях подробно разработаны Г. В. Бутми, П.В. Олем и мной в целом ряде сочинений, из коих главные: «Цифровой анализ расчетного баланса России за пятидесятилетие 1881—1895» и брошюра «Как ликвидировать золотую валюту».

В этом последнем сочинении органической частью переустройства нашей денежной системы поставлена, между прочим, ликвидация и нашего внутреннего процентного долга.

Долг этот предлагается обратить последовательно во вклады в кредитные учреждения с соответственным выпуском кредитных знаков и этим одновременно освободить нашу роспись от платежа многих десятков миллионов процентов и создать именно те оборотные средства для народа, в коих он так нуждается.

Операция эта чрезвычайно проста и представляет, в сущности, возврат к системе Императора Николая I. Держателям государственных фондов совершенно безразлично, как называется их бумага и из каких источников выплачиваются по ней проценты, раз их платеж совершенно обеспечен. Но для государства совсем иное дело взыскивать эти проценты путем налогов с разоренного народа или дать только свое ручательство, что эти проценты будут уплачены тем же народом как плата за наем оборотного капитала, в котором он так нуждается и

который ему будет дан в виде кредита посредством целой сети областных, уездных и приходских кредитных учреждений.

Наконец, если бояться совершенно невероятных ныне злоупотреблений с выпусками беспроцентных, денежных знаков, то почему нет этого страха перед совершенно возможным и постоянно практикующимся злоупотреблением с выпуском знаков процентных? А нашими государственными бумагами переполнены портфели французских держателей, русской рентой и консолями снабжены в изобилии все парижские извозчики и прачки. Процентными бумагами переполнен и русский рынок, что явствует из тех жертв, которые еще так недавно приносились финансовым ведомством ради искусственного поддержания нашей ренты у нас и во Франции и, быть может, приносятся еще и теперь.

Но эти жертвы не помогли, и недавнее крушение наших бумаг, вызванное так называемым освободительным движением, принесло жестокое разорение как своим владельцам капиталов, так и нашим доверчивым друзьям — французам. Потеря четвертой доли своего состояния каждым держателем наших бумаг было законным возмездием: нам — за финансовое невежество, французам — за их продажную печать и доверие к международным евреям, поддерживавшим сначала великого Кольбера — графа Витте, а затем пресловутую революцию.

XV

На этом позвольте закончить мое настоящее сообщение и отложить третью и последнюю часть всей работы — изложение желательной экономической политики — до другого раза. Резюмируя все высказанное сегодня, я предложу на ваш суд нижеследующие положения:

1. Чтобы выйти из нынешнего печального экономического положения, ведущего Россию к разорению и гибели, необходимы три условия: во-первых, отменить нынешнюю золотую денежную систему, не отвечающую ни внутренним, ни международным потребностям России, и перейти к такого рода

деньгам, которые как в качественном, так и в количественном отношении соответствовали бы нашим экономическим условиям, т. е. давали бы возможность правильно обставить народный труд и широко развить кредит, способствовали бы накоплению национальных капиталов и избавили бы нашу Родину от кабалы у международной биржи. Такими деньгами может быть или наша старая испытанная серебряная валюта, или бумажные деньги. Во-вторых, переустроить в полной между собой гармонии правящие экономической жизнью народа и государства органы. В-третьих, начать совершенно иную экономическую и, в частности, финансовую политику.

2. Основой здоровой финансовой политики после переустройства русской денежной системы является пересмотр нашей системы прямого и косвенного обложения и перенесение центра тяжести государственных доходов с налогов и сборов на другие источники.

3. Главными источниками государственного дохода должны быть: государственные железные дороги, государственные кредитные учреждения, капиталы казны, вложенные в промышленные предприятия, и монополии: табачная, нефтяная и элеваторная.

4. Вредная и безнравственная питейная монополия должна быть упразднена с возмещением получавшегося от нее дохода равномерной раскладкой соответственной суммы на все виды имущества и рисков, по введении всеобщего обязательного государственного страхования.

5. На первый план должно быть поставлено постепенное погашение нашего внешнего долга, достижимое единственно путем улучшения нашего торгового и расчетного баланса при совершенном прекращении всяких дальнейших займов и привлечения иностранных, капиталов.

Исполнение этой программы зависит исключительно от доброй воли и ясного сознания правящих сфер. Но для того, чтобы прояснить это сознание и разбудить волю, необходимо дружное содействие всего русского общества, ясное одобрение указываемого здесь пути общественным мнением, обществен-

ной совестью. И я думаю, что для этого уже наступает крайняя пора, миновали все сроки и отсрочки. Наше государственное хозяйство, ныне паразитно живущее за счет хозяйства народного, привело нашу Родину в самое печальное, самое опасное и невыносимое положение. Огромная, свежая и живая страна с талантливым и трудолюбивым народом дошла до положения жалкого паралитика, прикованного к своему одру, и то бес- сильно на нем мечущегося, то не подающего признаков жизни. А между тем со всех сторон собираются тучи, готовятся величайшие, быть может, за всю нашу историю испытания. России придется отстаивать и от пробуждающегося Желтого Востока, и от фанатизуемого все более и более ислама, и от своих мнимых западных друзей не только свою целость и независимость, но, быть может, и самое свое существование.

Перед лицом такой страшной угрозы нужно отрешиться от старых гнилых канцелярских традиций и призвать все живые умственные силы нашего народа на то, чтобы предстоящие ей испытания Россия успела встретить цельная, сильная и здоровая. А здоровым и сильным государство может быть только то, у которого здоров и силен его народный труд, управляемый всецело экономической политикой и финансами.

РОССИЯ И СОЦИАЛИЗМ

МАРКСИЗМ И РУССКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ

*(Речь в Собрании экономистов,
произнесенная 5 февраля 1899 г.)*

Мм. гг.

Недавно мне пришлось быть в Финляндии и участвовать в одном обеде среди выдающихся представителей местной печати и науки. Меня спросили: что это за явление в русской жизни — марксизм? Я ответил, как подсказывала совесть и, каюсь, мое очень плохое знакомство с деталями учения Маркса и его последователей. Этот ответ не имеет для вас никакого значения. Но затем я предложил вопрос:

— А у вас, господа, марксистское движение сильно?

По лицам окружающих я увидел, что сказал нечто смешное и что моим, очень вежливым, собеседникам стало как-то неловко. Закончил недоумение профессор Даниэльсон. Я нарочно его называю, так как в случае неверной передачи его слов он может меня опровергнуть. Он отвечал:

— Для марксизма у нас, я думаю, нет места. При изучении политической экономии, Маркса, конечно, отмечают и разбирают. Но ведь наука давно его переросла и разоблачила. А как руководитель общественного движения, как провозвестник идеалов, кого же он у нас увлечет? Наша молодежь глубоко национальна и трезва. Университетская наука стремится осветить народную жизнь и не гоняется за фантомами, а потому университет является неразрывно связанным с жизнью, за нее думает. А затем в самой жизни нет тех вопросов, которые позволили бы увлечься Марксом. Земледелие и промышлен-

ность идут рука об руку. Между сословиями нет ни розни, ни зависти. Правительственная деятельность выражается в положительном творчестве, особенно в области экономической и просвещения. Нет, у нас марксизму места нет, и о марксистах в Финляндии мы даже не слыхали.

Так закончил профессор Даниэльсон.

Марксизм — наше русское явление. В нашей русской почве есть что-то, ему благоприятствующее, его вызывающее. Но ведь мы хорошо знаем, что «Капитал» Маркса написан давно, а марксизм, как общественное движение, вырос недавно. У него были предшественники, которые на наших глазах отцвели и были развенчаны. Сначала хождение в народ, согласен, с целями самыми идеальными, но, увы, народом не одобренными и не понятыми. Потом явилось движение «на землю», в мужики, движение, центром которого был покойный А.Н. Энгельгардт. Затем пошло «опрошение» по рецепту графа Льва Толстого и наконец закончилось марксизмом. Это было внешнее проявление умственной жизни и умственных течений нашей молодежи. Но внутри слагались, вырастали и видоизменялись два направления: сначала чисто западничское, либеральное и космополитического оттенка, и рядом с ним более передовое народническое, искавшее своих устоев в особенностях быта и психического склада русского народа, хотя целую область духа исключавшее, называя ее метафизикой. Это течение долгое время видимо одолевало, затем как-то начало переживать само себя; наступила новая группировка: народники подались назад, вперед вышли марксисты, создавшие целую литературу и выдвинувшие своих корифеев — гг. Струве и Тугана-Барановского.

Как общественные течения, я согласен, могут быть у нас обозначены только эти два. Здесь вся масса русской молодежи, то, что мы называем интеллигенциею. Вне этих групп — *единицы*, работающие особняком и никакого общественного движения, ни общественных направлений не представляющие.

Между этими двумя течениями, из которых одно, старшее, как уже сказано, ослабевает, ведется неустанный спор,

который со столбцов газет и журналов перешел наконец на кафедру, в устную беседу.

Представителем народничества выступил в этом собрании недавно сын покойного профессора и вождя движения «на землю» Николай Александрович Энгельгардт. Три заседания подряд занимался он марксизмом со своей, народнической точки зрения, уличая представителей этого направления в непоследовательности, в курьезных и даже безнравственных по отношению к русскому народу выводах и стараясь доказать правоту и последовательность своего лагеря.

В чем же была сущность длинных речей Н.А. Энгельгардта? Увы! Отнюдь не в критике самого Маркса, отнюдь не в указании научной несостоятельности этого учения, а в обвинении своих противников в неверном истолковании основных и подлинных идей своего «великого» учителя — г. Энгельгардт так-таки прямо и называл Карла Маркса великим и гениальным. Марксисты в лице своих корифеев-писателей извратили и исказили это *бессмертное* учение, а вот они, народники, остались ему верны и представляют его подлинных продолжателей и толкователей...

Мне как одному из представителей славянофильской школы, отлично сознающему, что по обстоятельствам места и времени наши воззрения не могут не только увлечь интеллигентную молодежь, но даже ее заинтересовать, разумеется не пришло бы и в голову вмешиваться в этот, так сказать, домашний спор, если бы одна черточка, случайно подмеченная, не подсказала мне, что явиться на эту кафедру уже можно, а пожалуй и необходимо.

До сих пор спор велся примерно следующим образом. Позволю себе привести коротенькую цитату из самой последней статьи вождя марксистов, г. Струве:

«Прежде всего г. Туган-Барановский обвиняет г. Булгакова в том, что он “мало оригинален” и слишком любит *jugare in verba magistri* (“Мир Божий”, 123). “Изложенное у меня решение вопроса о роли внешнего рынка для капиталистической страны, целиком принимаемое г. Булгаковым, отнюдь не

взято у Маркса”, — заявляет г. Туган-Барановский. Нам кажется, что это заявление неверно, ибо решение вопроса взято г. Туган-Барановским именно у Маркса; отсюда же, несомненно, взял его и г. Булгаков, так что спор может вестись не об “оригинальности”, а о поминании того или другого положения Маркса, о необходимости так или иначе излагать Маркса. Господин Туган-Барановский говорит, что Маркс “во II-м томе вопроса о внешнем рынке совершенно не затрагивает” <...>. Это неверно. В том самом отделе (III-м) **второго тома, в котором** изложен анализ реализации продукта, Маркс совершенно определенно выясняет отношение к этому вопросу внешней торговли, а следовательно, и внешнего рынка. Вот что говорит он об этом...¹) и т. д.

Затем я позволю себе привести еще одно примечание:

«Указывая, что Туган-Барановский, Булгаков и Ильин излагают буржуазно-апологетическую теорию, я вовсе не хочу этим сказать, что они излагают ее с буржуазно-апологетическими целями. Наоборот, они с достаточной резкостью выясняют свою практическую позицию, не имеющую ничего общего с апологетизмом и буржуазностью. Эта оговорка была необходима ввиду возможного недомыслия или передержки со стороны литературных противников нашего направления»².

В таком споре нам, славянофилам, делать нечего. Карл Маркс как для обеих спорящих сторон, так и для споров междоусобных внутри одной стороны является своего рода Священным Писанием, которое можно комментировать, раскрывать, толковать, но отнюдь не критиковать. Но среди здешних споров, может быть в пылу раздражения, вырвались кое у кого из гг. марксистов восклицания, что гг. Струве, Туганы-Барановские и др. не суть ни пророки, ни авторитеты, что они даже «узки». Почудилось даже, что явился некоторый скептизм и по отношению к самому «великому» Марксу...

Вот это-то маленькое и незаметное явление показалось мне признаком, не скажу, разочарования, но некоторого

¹ Научное обозрение. — 1899. I. — С. 38.

² Там же. — С. 57.

утомления в марксистских кружках. Нельзя же в самом деле долго жить замкнутой жизнью ума, копаясь в туманных положениях одного авторитета и только комментируя на все лады его и его комментаторов. Если не в «Мире Божьем», то в Божьем мире есть кое-что и другое, кроме экономического материализма. Живая душа запросила живого, условность и вечное повторение одного лишь марксистского «свят, свят, свят» стало очевидно скучным.

Решив занять ваш сегодняшний вечер моей беседой, я, повторяю, далек от того, чтобы желать использовать такое настрояние в делах нашего направления, нашего лагеря. В этом смысле у меня нет никаких иллюзий. Между славянофильством и всеми фракциями современной интеллигенции — бездна. Наш протест против современной действительности исходит не оттуда, откуда идет ваш, направляется не на то, на что направлен ваш. Наши верования не могут быть симпатичны вашему отрицанию и обратно. Грустно нам видеть даром пропадающую огромную умственную силу нашей молодежи, но что же делать? Условия места и времени не позволяют даже надеяться повернуть ее на другой путь, на путь положительного творчества...

Моя задача другая. Я хочу воспользоваться моментом как бы вашего раздумья, чтобы совершенно объективно и спокойно напомнить вам, что каково бы ни было направление, каковы бы ни были симпатии, в тех вопросах, о которых здесь спорят, надо стараться прежде всего стать твердо на почве науки, на почве свободной критики, свободного, а не загнивающего мышления.

Я не буду поднимать здесь старого вопроса о национальности в науке, так хорошо освещенного Юрием Самариным; я напому лишь то положение, что наука, в особенности гуманитарная, может быть жизненна и составлять равноправную долю общечеловеческой науки только тогда, когда она не безлична, когда на ней лежит отпечаток психических особенностей создающего ее народа. Только при этих условиях она оригинальна и продуктивна. Истина одна, но каждый народ

идет к ней своим путем, согласно своему духовному складу, видит и схватывает лучше одну какую-либо часть, ему более понятную и родственную. Происходит как бы мировое разделение труда, в результате коего получается обмен умственных богатств. Англичанин, француз, германец, русский — все культурные народы должны быть совершенно равноправны в этом общем творчестве. Но англичанину легче понять, изучить и дать научное определение той стороне его бытия, которая составляет особенность его народа и не повторяется у русского, и наоборот. Каждый народ глядит на истину немножко под своим углом зрения, и эта истина раскрывается перед ним только в оригинальном творчестве, а не в заимствованных готовых результатах чужого, часто принимаемых на веру. Все заимствованное поэтому менее жизненно, менее действенно и менее ценно для человечества, чем свое, оригинальное, органически сложившееся и идущее в великую общечеловеческую семью со своей собственной физиономией. В Адаме Смите, Дарвине и Ньюtone всякий сразу узнает англичан, в Декарте, Паскале и Прудоне — французов, в Гете, Гегеле и Рошере или Тьенене — немцев, во Льве Толстом, Аксакове, Пушкине — русских.

Везде я указал среди других великих имен также и экономистов. Между русскими я не назвал никого, да их и нет, таких по крайней мере, которых образованное человечество знало бы и считало вполне своими. Отсюда можно заключить, что в области экономии наша родина не дала, не могла или не успела дать еще своего великого экономиста.

Но почему же так? Неужели у нас нет экономической жизни? Наоборот, есть, огромная и сложная и вдобавок совершенно оригинальная. Такая жизнь не могла возбуждать аналитической мысли, не могла, казалось бы, не вызвать и своих экономических построений. Но, может быть, таковые и есть, да только мы их не видим и не знаем?

Из того, что русская литература, давшая такие огромные и разнообразные вклады в общечеловеческую сокровищницу, упорно не выдвигала до сих пор ни одного мирового экономиста, можно, пожалуй, заключить и нечто иное. Не отвраща-

лась ли русская мысль от западного толкования экономических явлений, не относилась ли она отрицательно к самой возможности признать особый мир экономических явлений со своими особыми законами?

Но я не хочу забегать вперед и попрошу вашего внимания к единственному оригинальному русскому экономисту, который, однако, не только в европейской, но и в русской экономической науке совершенно неизвестен, никем никогда не разбирался и не изучался. А он интересен уже по своей попытке дать оригинальную, вполне русскую теорию экономических явлений, интересен, может быть, и для вас как первый, по времени, критик Маркса в русской литературе.

Я говорю о покойном Никите Петровиче Гилярове-Платонове. После него остался небольшой конвертик с бегло написанными заметками по экономическим вопросам, набросками без всякой системы и даже связи. Но из этих клочков обнаружилось вот что: работая над вопросами высшего нравственного порядка и ища разрешения мучивших его всю жизнь великих вопросов, покойный наталкивался постоянно и на экономическую сторону человеческого бытия. Ища и в ней гармонии и законов, он жадно изучал всех крупных западных экономистов, без различия школ и направлений, сличал их, сверял, пропускал чрез свой анализ и плод этой работы записывал на отдельных листках, складывая в отдельный конверт. Очень скоро начала выясняться основная мысль и внутренняя связь всей этой работы. Ни одна школа, ни один термин не удовлетворяли Гилярова. Везде он видел односторонность, узость взгляда, ограниченность мысли. Приходилось все перерабатывать заново, начиная с основных определений науки. И вот стала обрисовываться совсем новая форма политической экономики, начало выясняться ее место и значение в ряду других наук о человеке, и это место оказывалось *не самостоятельным, а подчиненным*.

Большого труда стоило привести в некоторый порядок листки Гилярова, но когда они были пересмотрены и изданы, то профессор Тарасов, к которому издательница обратилась с

просьбою написать введение, писатель, крайне осторожный, счел себя в праве выразиться так:

«...наброски эти местами таят в себе такую глубину мысли, свидетельствуют о такой шире взгляда, являются результатом такого объективного и всестороннего изучения предмета, что они не только стоят иного целого, но и превосходит многое из появившегося до сих пор в области самостоятельной русской экономической литературы. Читая эти наброски, составившиеся, как выражается сам автор, из рассуждений, не связанных рутинной политико-экономических учебников какого бы ни было лагеря, невольно задаешься вопросом: что же было бы, если бы преждевременная смерть не оторвала автора от начатой им работы и он довел ее до конца, хотя бы даже только в тесных рамках той программы, которая приложена к концу книги? По всем вероятностям было бы то, чего до сих пор нет в нашей литературе, а именно: вполне самостоятельный очерк политической экономии, который, конечно, скоро вытеснил бы собою все компилятивные или на контрверсах основанные руководства, очерки и курсы, занимающие пока первенствующее место в русской учебной литературе политической экономии»¹.

Эго говорит, мм. гг., профессор финансового права, т. е. сам экономист. Что же поразило его больше всего в этих листках, что дает им цену в науке? А вот что говорит тот же комментатор:

«Такое отсутствие цельности и системы, конечно, могло бы послужить достаточным основанием к сомнению в полезности всей книги, если бы в ней не выдвигалось на первый план нечто такое, чего обыкновенно или совсем нет в политико-экономических трактатах, или же проскальзывает в них как бы совершенно случайно, а именно: анализ значения психического, морального элемента в человеческой экономии»².

Этого одного достаточно, я полагаю, чтобы наша экономическая наука должна была пристально заняться изучением

¹ «Основные начала экономии» Н.П. Гилярова-Платонова. — М., 1889. — III—IV.

² Id, V.

Гилярова. Но она этого не сделала. Гораздо легче идти проторенными ходами мысли, чем создавать свои новые пути, гораздо легче компилировать и переводить, чем думать и строить самому, не зная вдобавок, что может выйти в конечном выводе. Но это же тем более оправдывает мое желание разорвать эту печальную систему замалчивания и познакомить вас по крайней мере с некоторыми положениями и выводами так несправедливо забытого автора. Не будем забывать, кроме того, что Гиляров, как уже сказано, был первым по времени русским критиком Маркса. Появление «Капитала» в первом его издании уже застало Гилярова за изучением экономических европейских теорий, и, конечно, он с жадностью схватился за основателя новой школы.

Вы мне разрешите познакомить вас с несколькими листками, где занесены главные замечания Гилярова по поводу Маркса. Он прежде всего указывает «на связь, в которой стоит одностороннее экономическое направление с односторонним философским направлением. Материалистическое направление мысли повело к тому, что вопрос общественности объявлен вопросом *желудка*, а отсюда односторонность в определении понятий о богатстве и ценностях и односторонний идеал общественного устройства, не знающий, что делать с интеллектуальными отправлениями. Маркс посмеивается над *услугами*, введенными в число экономических элементов. Название действительно неудачно, но явление, им обозначенное, тем не менее существует и принадлежит к числу экономических элементов»¹.

Затем Гилярову тотчас же бросается в глаза упущенный из виду Марксом элемент *воздержания*, составляющий существенное различие между миром животных и миром человеческим. Вот какие отсюда сами собой строятся выводы:

«Уже по этой одной способности к воздержанию духовная жизнь есть не только цель растительной, но она ею и управляет; она дает бытие самой экономии, служит основанием материального прогресса. Не руки работают над природою,

¹ Там же. — 3.

изготавливая из нее способное к растительному усвоению благо, а *разум*. Поступая по методу Смита, при отыскивании экономических факторов, мы должны бы признать, что субстанцией всякой стоимости есть не труд, а ум, потому что сам труд в том же, даже более точном смысле, есть воплощение ума, как продукт есть воплощение труда. Труд есть не элемент, вошедший в химический состав продукта, а сила, приложенная к материалу, двигатель. Двигатель же рук есть ум. Следовательно, стоимость приходится измерять количеством потраченного ума. Но здесь всякая мера исчезает. Ум рабочего, пожалуй, можно отождествить с его руками и назвать общим именем труда. Ум в этом случае есть только маятник; но функция ума не ограничивается этим. Ум распорядителя, ум предпринимателя, ум, наконец, изобретателя: в каком количественном отношении стоят они к своему исполнителю — рукам? Во всяком случае и с этой точки зрения труд не есть ни источник, ни меритель ценности; то и другое есть ум, истинная субстанция ценности. Ум есть изобретатель, следовательно, родоначальник *стоимости*; он же есть ценитель, ибо определяет потребности, которые не представляют в себе твердого и неизменного; следовательно, основание *ценности* и, следовательно, субстанция в обоих направлениях¹.

Пусть материализм настоящего века отвергнет разделение функций труда на низшие и высшие и умственную деятельность уравнивает с физической. Но остается вот разница: изобретатель незаменим; он есть монополист по природе, а мускулы заменимы. И не только изобретатель, но распорядитель и наблюдатель. Не всякий рабочий способен быть десятником, а всякий десятник есть уже способный рабочий. Способность к мускульной работе есть перейденная ступень. А следовательно, интеллектуальная сила есть не специальность, а высшая функция, Mehrweth, добавочная стоимость, употребляя выражение Маркса, и следовательно, эквивалента, которого заслуживает умственный деятель за свое участие в производстве, заслуживает несоизмеримо большей премии.

¹ «Основные начала экономики» Н.П. Гилярова-Платонова. — 8, 9.

Несоизмеримо именно по своей незаменимости. Можем представить себе толпу африканских негров, приставленных к работе, которые, оставленные себе, ничего не произведут или произведут бестолочь, а под руководством плантатора производят дорогие ценности. Какая доля выработанной ценности кому принадлежит?»

Отсюда естественный переход к анализу заработной платы и рабочих часов. Является необходимость уяснить себе сущность труда. Определив его как *покорение природы в смысле направления стихийных ее сил к деятельности не слепой, а целесообразной*, в смысле получения не *продукта* природы, но человеческого *изделия*, Гиляров останавливается над анализом умственного труда. «*Умственный труд* есть ли труд? Если да, тогда труд должен быть разделен на непосредственный — мускульный и посредственный — нервный. Не причислить же умственного труда к труду не только в смысле усилия, но и в смысле покорения природы, с целью усвоения материи, невозможно. Даже без кооперации и без разделения труда мускульный труд, ограничивающийся самим собою, не существует: ему предшествует и ему соответствует напряжение нервов, которые двигают мускулами, и еще прежде производят представления и ощущения, вызывающие на мускульный труд. Вернее — именно нервный-то труд и есть главный производитель. Без него труд перестает быть тем, чем он есть, творчеством, оставаясь механической силою, тождественною с паром или лошадьёю. Руки и мускулы только орудие мозга. В разделении труда это яснее. Архитектор чертит план, плотник строит. Что плотник или каменщик без архитектора? Но тогда он сам архитектор. А без этого и дома не выйдет: выйдут слепые, случайные движения, однозначашие с явлениями природы.

Когда станем на эту точку зрения, вся политическая экономия перевертывается, и Адам Смит со всеми последованиями обличается в односторонности. Прежде чем пускаться в теоретическое разъяснение, обращусь к примеру и возьму для него, например, хоть постройку знаменитого Волжского моста. Разберем составные его экономические элементы и, сле-

дую господствующему воззрению, переберем участвовавших работников: слесарей, плотников, кузнецов, углекопов, паровщиков, машинистов — словом, всех, кто участвовал в отделке материала, в подвозке и установке его на место. Но не забудем и строителя. Его и не забывают конечно, об нем скажут, что он участник кооперативного труда. Но как определить его место? И так как вопрос экономический, то какую ценность справедливо определить его труду? Разом, во-первых, бросается в глаза вся неприложимость пошлого измерения, предлагаемого Марксом, посредством *рабочих часов*. Умственная работа по существу недоступна измерению временем, неосновательно прибегнуть, при измерении ее, и к понятию интенсивности. Меритель, очевидно, должен быть приложен какой-то другой. Чудовищною несправедливостью будет, если всю ценность труда ограничим черчением планов и временем, для них требовавшимся. Прежде чем начертить, надобно обдумать, надобно произвести исчисления, надобно свериться с книжками. При исчислениях можно миллион раз ошибиться, миллион раз поправлять; можно просидеть за планом многие годы; может план мгновенно предстать фантазии в конченном виде. Во все время работы материал, бумага и перо, и даже мысленное представление имеют совершенно несущественное значение; ничто не тратится, кроме внутренней жизненной силы, и ничего не портится, как при мускульных опытах с материалом. Однако плод фантазии и ума есть член равнозначительный всему остальному в постройке моста, всем этим каменщикам, кочегарам, слесарям, взятым вместе. Весь мост является только исполнением идеи, и каждый из работников по праву может быть представлен раздвоенным на исполнителя и умствователя и в последней половине, умствовании, заемщиком чужой мысли, ему переданной, без чего вся его работа — ничто и даже не может возникнуть к бытию.

То, что видим на постройке Волжского моста, повторяется ежеминутно: в каждом экономическом моменте неизменно взаимно сопутствующими — *замысел и исполнение*¹.

¹ «Основные начала экономики» Н.П. Гилярова-Платонова. — 69, 70, 71.

Отсюда естественный переход к *капиталу*, и снова здесь приходится Гилярову перестанавливать все понятия и давать новые определения.

«Когда вещь природою, при содействии труда, приведена в вид мне нужный (годный для моего потребления, приноровленный), она есть *капитал*, — дотоле, пока не потреблена, не возвратилась в прежний вид, не отдана обратно природе в разложенном виде. Не только фабрика, дом, скот, но и зерно, и самое поле есть капитал. Поле без поддержки гложет, как и скот без надзора дичает; то и другое возвращается в состояние природы. Капитал есть покоренная природа, в каком бы виде ни на есть; только степени участия человеческого разные, начинаясь от величины, почти равной нулю, и доходя в другом конце к такому напряжению, где действие природы доходит почти до нуля. Скотовод на одном конце, ремесленник на другом.

То, что достигнуто трудом, есть заработок, и капитал, и заработок, согласно вышесказанному, одно и то же; разница, с которого конца смотрим. *Откуда* — заработок; *куда* — капитал. Оставляя заработок капиталом, я хочу, чтоб труд мой кончился, по крайней мере, дошел до возможного *minimum*'а, чтобы природа работала на меня даром. Говоря обыденным языком, я желаю иметь доход, и он должен последовать, в чем бы ни состоял мой заработок. Я ткач, получил за свою работу деньги, но я на них куплю теленка, который через два года будет коровой, или цыпленка, который через год будет курицей, приносящей плод независимо от моих усилий. Следовательно, капиталу присуща способность давать самостоятельный доход, самостоятельный, разумеется, в относительном смысле. Следовательно, процент есть заработок, продолжающийся с моего заработка с постепенно уменьшающимся моим участием, заработок во второй степени, можно так выразиться: a^2 .

«Как же этот заработок во второй степени, a^2 , достигается? Разным образом, смотря по тому, сколько я себе оставляю участия. Я покупаю курицу, но могу отдать деньги другому, который купит курицу или что другое. Я разрабо-

тал участок, повырыл пни, распахал и посеял, да не пшеницу, а траву, часть пустил под сад. Сад и трава берут меньше труда. Обращаюсь за примером к ореховому дереву; впрочем, и луговина хороший пример.

Отсюда следует, что между *рентой* и *процентом* нет существенного различия; то и другое берется за даровые силы природы; с другой стороны — между капиталом и поземельной собственностью исчезает различие; собственность обращается в такой же капитал с разницею единственную, относящуюся к удободвижимости капитала в тесном смысле, чего нет за собственностью. Это выяснится из теории *найма* и *займа*¹.

Откуда эта даровая сила, от природы или от труда, это безразлично; то и другое уравнивается; натурально-черноземная земля потребует за себя столько же, сколько доведенная до черноземности удобрением, и в этом-то смысле рента сливается с процентом, и закон ренты, по-видимому, должен получить иное объяснение, нежели дает ему Рикардо»².

Капитал, по мнению Гилярова, начинается с того момента, когда является собственность. Этому исследованию посвящены остроумнейшие соображения, на которых я не останавливаюсь.

<...>

Одним словом, вывод Гилярова повсюду одинаковый. Экономические явления сами по себе не могут составлять самодовлеющего замкнутого мира, и не они, не их законы управляют человеческим общежитием, но законы иного рода и иного мира — *законы нравственные*. Эти законы должны охватывать собою и проникать насквозь мир человеческой экономии, которая, как наука, если таковая возможна, будет не что иное, как учение *о подчинении человеку природы в целях его хозяйственного преуспеяния*.

Отсюда и самый ход человеческого прогресса представляется Гилярову совершенно иным, чем всякой иной экономической школе, кладущей в основу материалистическое воззрение

¹ «Основные начала экономии» Н.П. Гилярова-Платонова. — 23, 24.

² Там же. — 25.

или пользу как основу человеческих действий. Вот это место крайне существенное для счисления радикально противоположных воззрений Маркса и Гилярова.

«Маркс красиво изобразил логический процесс капитализма. Но он ограничился: а) почти одною мануфактурною промышленностью, уделив сравнительно мало внимания земледелию и ровно ничего интеллектуальному миру; б) берет одну страну, нужды нет, что образцовую, но судьба ее есть звено в цепи других. При определении прибавочной стоимости он предполагает готовыми материал и машины, начиная с пункта, где приставлен к ним рабочий. Но отправимся выше; посмотрим на корабельщика, привезшего хлопок, на плантатора, который его собрал, и негра, который его возделал. Маркс упоминает, правда, о колониальном хищении, составившем богатство Англии, но в своей картине забывает американского негра и китайского кули. Попробуем-ка, однако, приложить и к ним их право на полный заработок, пропорционально рабочим часам, — много ли останется не только для рабочего, но и для капиталиста Великобритании? Не один капиталист, но и рабочий чрез него эксплуатирует и грабит негра и малайца. Если собственность должна быть общая, то не одной Англии, а всего мира. Маркс — международный основатель, спора нет, но международность понимается в смысле частных отношений между хозяевами и рабочими цивилизованных стран. Развернем проповедуемое начало во всю широту и покроем им земной шар, не исключая ни одного в свете хозяина, ни одного в свете рабочего: капиталистический процесс представится в ином виде. “Крупная собственность пожирает мелкую, и под конец экспроприаторы экспроприируются”. Как? Во всем мире? Несмотря на разнообразие промышленных? По большей мере, можно представить, что будет один прядильщик на весь мир, один ткач, наконец, и один землевладелец. Вот к чему должен идти процесс поглощения, и логически, тем путем, каким идет Маркс, необходимо для перехода в обратную экспроприацию, чтобы один сосредоточил у себя и все виды богатства. Это совершенная ахинея, противоречащая другому основному зако-

ну капиталистического производства — дроблению труда, не отрицаемому Марксом, напротив, им самим признаваемому за один из основных законов.

<...>

Итак, вот окончательный вывод Гилярова: материальный прогресс, неслыханные успехи техники направлены к освобождению человечества от труда, к такому полному покорению внешней природы, в конце концов все будет работать как машина, человек явится лишь потребителем, а работником останется интеллект, изобретатель. Но чтобы при этих условиях человеку жилось хорошо и не было бы ни экономических владык, умирающих от пресыщения роскошью, ни обездоленных и голодных экономических рабов, — одних экономических законов недостаточно. Необходимо в ту же меру действие закона нравственного, управляющего человеческими отношениями подобно тому, как творческий ум человека будет управлять природой. Коренная ошибка Маркса и его школы — ждать пришествия этого рая на земле путем искусственной регламентации отношений, путем внешнего порядка, имеющего возникнуть на экономической почве и в экономическом мире. Здесь выхода нет, и самое лучшее человеческое устройство, какое только может вообразить себе мысль человека, окажется схожим с арестантскими ротами. Все дело в *нравственном законе*.

* * *

Гиляров остановился на этом. Он дал полный анализ всех элементов экономического механизма и определил место и роль в нем как психической стороны человека, так и нравственного закона, верховного управителя экономических явлений, сообщающего им и цель, и разумность. Остановимся на этом и перейдем к другому русскому мыслителю, не менее оригинальному, Владимиру Сергеевичу Соловьеву.

Я не имел случая узнать, был ли наш уважаемый философ знаком с «Основами экономии» Гилярова, когда писал

свою книгу «Оправдание добра». Судя по изложению его экономических воззрений, сделанному в 13-й главе этой книги («Экономический вопрос с нравственной точки зрения»), можно с уверенностью сказать, что нет. По ходу мысли видно, как работала она совершенно самостоятельно, имея пред собою не союзника и помощника в лице Гилярова, а только противников в лице представителей западных школ, буржуазных или социалистических, одинаково.

Вл. С. Соловьев сделал замечательную попытку дать полную нравственную философию, т. е. узнать те законы, которыми управляется человеческий мир в разнообразнейших сторонах своего бытия, — законы, сознательное повиновение коим приносит людям благо и радость, а нарушение или забвение — страдание и горе. Я не буду касаться этой работы в ее целостности, но остановлюсь на том ее отделе, где автор исследует роль и значение экономических явлений в сфере нравственной. Из сказанного выше вам будет сразу понятно, что Вл. С. Соловьев начинает собственно оттуда, на чем остановился Гиляров. Но он подходит к вопросу несколько с иной стороны. Гиляров искал законов, управляющих экономическими явлениями, и путем всестороннего анализа этих явлений пришел к сознанию подчиненности мира экономического миру нравственному. Соловьев спустился в экономический мир с высот нравственной философии и позвал этот мир к суду.

Вот исходная точка зрения Соловьева:

«Принцип человеческого достоинства или безусловное значение каждого лица, в силу которого общество определяется как внутренне свободное согласие всех, — вот единственная нравственная основа общества¹. Многих нравственных основ, в собственном смысле этого слова, быть не может, как не может быть многих верховных благ или многих нравственностей. Легко доказать, что религия (в своей

¹ Это положение логически оправдывается в элементарной части нравственной философии, которая (часть) получила, благодаря Канту, такой же характер строгой научности в своей сфере, какой в другой области принадлежит чистой механике. Примеч. Вл. С. Соловьева.

данной исторической конкретности), что семья, собственность не имеют сами по себе значения нравственных основ в собственном смысле»¹.

Объяснив, что и религия, и семья должны сами получить нравственную основу, т. е. оправдать себя, автор так говорит о принципе собственности, который, если припомним указание Гилярова, составляет начальный момент в развитии отношений собственно экономических:

«Что касается до собственности, — говорит Вл. С. Соловьев, — то признать ее нравственную основой общества, следовательно, чем-то священным и неприкосновенным есть не только логическая, но для меня, например (как полагаю и для других моих сверстников), даже и психологическая невозможность: первое пробуждение сознательной жизни и мысли произошло в нас под гром разрушения собственности в двух ее коренных исторических формах — рабства и крепостного права; это разрушение и в Америке, и в России требовалось и совершалось во имя общественной нравственности. Мнимая неприкосновенность была блистательно опровергнута фактом столь удачного и совестью всех одобренного прикосновения. Очевидно, собственность есть нечто, нуждающееся в оправдании, требующее нравственной основы и опоры для себя, а никак не заключающее ее в себе»².

Отсюда ясно и отношение автора к явлениям экономического порядка:

«Признавать в человеке только *деятеля экономического* — производителя, собственника и потребителя вещественных благ — есть точка зрения *ложная и безнравственная*. Упомянутые функции не имеют сами по себе значения для человека и несколько не выражают его существа и достоинства. Производительный труд, обладание и пользование его результатами представляют одну из сторон в жизни человека или одну из сфер его деятельности, но истинно человеческий интерес вызывается здесь только тем, как и для чего человек действует

¹ Оправдание добра. — СПб., 1897. — 345, 346.

² Там же. — 432.

в этой определенной сфере. Как свободная игра химических процессов может происходить только в трупe, а в живом теле эти процессы связаны и определены целями органическими, так точно свободная игра экономических факторов и законов возможна только в обществе мертвом и разлагающемся, а в живом и имеющем будущность хозяйственные элементы связаны и определены целями нравственными, и провозглашать здесь *laissez faire, laissez passer* — значит говорить обществу: “умри и разлагайся”»¹.

Суд, произносимый Вл. С. Соловьевым над ходячими воззрениями экономистов, гораздо строже, чем у Гилярова, но противоречия между ними нет никакого. Это еще более обнаруживается из следующего места.

«Хотя необходимость трудиться для добывания средств к жизни есть действительно нечто роковое, от человеческой воли независящее, но это есть только толчок, понуждающий человека к деятельности, дальнейший ход которой определяется уже причинами психологического и этического, а вовсе не экономического свойства. — При некотором осложнении общественного строя не только результаты труда и способ пользования ими — не только «распределение» и «потребление», — но и самый труд вызывается, кроме житейской нужды, еще другими побуждениями, не имеющими в себе ничего физически принудительного или рокового, например, чтобы назвать самые распространенные, — *страстью к приобретению и жаждою наслаждений*. Так как не только нет экономического закона, которым бы определялась степень корыстолюбия и сластолюбия для всех людей, но нет и такого закона, в силу которого эти страсти были бы вообще неизбежно присущи человеку как роковые мотивы его поступков, то, значит, поскольку экономические деятельности и отношения определяются этими душевными расположениями, они имеют свое основание *не* в экономической области и никаким экономическим законам *не подчиняются* с необходимостью. Более того, обстоятельство, что человек является экономическим деятелем в силу

¹ Там же. — 347.

нравственных качеств или пороков, делает вообще *невозможными какие бы то ни было экономические “законы”* в строгом научном смысле этого слова.

Возьмем самый элементарный и наименее спорный из этих так называемых законов, именно тот, согласно которому цена товаров определяется отношением между спросом и предложением. Это значит: чем товар больше требуется и чем его при этом меньше налицо, тем он дороже стоит — и наоборот. Без всякого сомнения так обыкновенно бывает, но если обычный ход явлений составляет уже научный закон, то не видно, почему такое же значение не принадлежит и следующим достоверным результатам наблюдения: “не обманешь — не продашь”, “от трудов праведных не наживешь палат каменных” и т. п.?

Устанавливающие и благочестиво принимающие “закон” торговой ценности и другие “естественные” законы, управляющие будто бы всеми экономическими отношениями, очевидно, не отдают себе ясного отчета в значении самого термина *закон*. Законом в научном смысле называется, в отличие от простых данных наблюдения, такая связь явлений, которая имеет в своей сфере свойство всеобщности и необходимости, т. е. непременно обнаруживается в каждом случае, входящем в область применения этого закона. Естественный закон выражает не то, что *обыкновенно бывает*, а то, что *бывает неизбежно*, — он *не допускает никаких исключений*. Всякое действительное исключение из закона показывает недействительность самого закона, т. е. что утверждаемая им связь явлений ошибочно принята за всеобщую и необходимую; иначе пришлось бы признать данное исключительное явление за событие сверхъестественное. Представим себе, однако, богатого, но благотворительного товаровладельца, который решил при повысившемся от тех или других причин спросе на имеющийся у него в постоянном количестве предмет необходимого потребления не повышать цены или даже понизить ее для блага нуждающихся ближних, — это будет прямым нарушением предполагаемого экономического “закона”, а между тем при

всей необычности такого явления, конечно, никто не найдет его сверхъестественным; следовательно, самый закон должен быть признан мнимым»¹.

Но мнимыми, по Соловьеву, оказывается не только указанный здесь закон спроса и предложения, но и вообще все так называемые экономические законы. Автор говорит об этом прямо и даже резко:

«Так как подчинение материальных интересов и отношений в человеческом обществе каким-то особым, от себя действующим экономическим законам есть лишь вымысел плохой ребяческой метафизики, не имеющий и тени основания в действительности, то в силе остается общее требование разума и совести, чтобы и эта область подчинялась высшему нравственному началу, чтобы и в экономической своей жизни общество было организованным осуществлением добра.

Никаких самостоятельных экономических законов, никакой экономической необходимости нет и быть не может. Самостоятельный и безусловный закон для человека как такового один — нравственный и необходимость одна — нравственная. Особенность и самостоятельность хозяйственной сферы отношений заключается не в том, что она имеет свои роковые законы, а в том, что она представляет по существу своих отношений особое своеобразное поприще для применения единого нравственного закона, как земля отличается от других планет не тем, что имеет какой-нибудь свой особый источник света (чего у нее в действительности нет), а только тем, что по своему месту в солнечной системе особым, определенным образом воспринимает и отражает единый общий свет солнца.

С эту истиную сталкиваются и разбиваются о нее не только теории школьных экономистов, но и противоположные им на первый взгляд стремления социалистов. В своей критике существующего экономического строя, в своих декламациях против имущественного неравенства, против своекорыстия и бесчеловечия богатых классов социалисты как будто становятся на точку зрения нравственного начала и одушевляются

¹ Оправдание добра. — СПб., 1897. — 433, 434, 435.

добрым чувством жалости к труждающимся и обремененным. Но если обратиться к положительной стороне их воззрения, то мы легко увидим, что оно находилось сперва в двусмысленном, а затем перешло и прямо во враждебное отношение к нравственному началу»¹.

С этой точки зрения Вл. С. Соловьев беспощаден к учениям социализма:

«Социалисты и их видимые противники — представители плутократии — бессознательно подают друг другу руку в самом существенном. Плутократия своекорыстно подчиняет себе народные массы, распоряжается ими в свою пользу, потому что видит в них лишь рабочую силу, лишь производителей вещественного богатства; социализм протестует против такой “эксплуатации”, но этот протест поверхностен, лишен принципиального основания; ибо сам социализм признает в человеке только экономического деятеля, а в этом качестве нет ничего такого, что по существу должно бы было ограждать человека от всякой эксплуатации. С другой стороны, то исключительное значение, которое в современном мещанском царстве принадлежит материальному богатству, естественно, побуждает прямых производителей этого богатства — рабочие классы — к требованию равномерного пользования теми благами, которые без них не могли бы существовать и на которые их приучают смотреть как на самое важное в жизни, так что сами господствующие классы своим исключительно материалистическим направлением вызывают и оправдывают в подчиненных рабочих классах социалистические стремления. А когда испуг перед социальной революцией вызывает у плутократов неискреннее обращение к идеальным началам, то оно оказывается бесполезною игрой; наскоро надетые маски морали и религии не обманут народных масс, которые хорошо чувствуют, что настоящий культ их господ и учителей посвящен не Богу, а мамоне, не Христу, а Ваалу, и, усвоив этот культ от своих хозяев, рабочие естественно сами хотят быть в нем жрецами, а не жертвами.

¹ Оправдание добра. — СПб., 1897. — 439, 440.

Обе враждебные стороны обуславливают себя взаимно и не могут выйти из ложного круга, пока не признают и не примут на деле простого и несомненного, но ими забытого положения, что значение человека, а следовательно, и человеческого общества не определяется по существу экономическими отношениями, что человек не есть прежде всего производитель материальных полезностей или рыночных ценностей, а нечто гораздо более важное, а что, следовательно, и общество есть нечто большее, чем хозяйственный союз.

Для истинного решения так называемого социального вопроса прежде всего следует признать, что норма экономических отношений заключается не в них самих, а что они подлежат общей нравственной норме как особая область ее приложения»¹.

<...>

* * *

Вы видите, мм. гг., как близко сходятся два русских мыслителя в оценке экономических явлений, независимо от совершенно различного умственного склада каждого и значительно различающихся точек зрения и предмета искания. Более духовный, я бы сказал даже, религиозно-аскетический склад ума Вл. С. Соловьева приводит его к более резкому противоположению земных, экономических и высших, нравственных целей, более реальный и жизненно-трезвый взгляд Н.П. Гилярова (несмотря на то, что он был ученым богословом) создает в его представлении, независимо от нравственной высоты и правды, и безмятежно счастливую, полную света, досуга и комфорта гражданскую жизнь людей. Но почва у обоих одна и та же. При всем разнообразии своего склада характеров и научной подготовки оба писателя имеют оригинальный русский ум, оба смотрят на предмет под русским углом зрения, оба вдумываются в явления, ищут и творят, а не компилируют и комментируют принятые на веру авторитеты. А так как твор-

¹ Там же. — 445, 446, 447.

чество возможно только оригинальное, только самобытное, а в данном случае творит ум, и именно русский, а не французский, немецкий или английский, то у обоих авторов получается, несомненно, некоторая *русская точка зрения*, некоторый угол, под которым только русский человек может взглянуть на мир.

И это делается невольно, помимо всяких симпатий и антипатий. Про Вл. С. Соловьева уже отнюдь нельзя сказать, чтобы им руководили какие-либо национальные пристрастия, наоборот, он всячески открещивался от национализма. Точно так же нельзя этого сказать и про Гилярова-Платонова, особенно ярко установившего в своих литературных трудах отношения между личным и общественным, национальным и общечеловеческим.

Мне кажется, самый факт этой аналогии в воззрениях двух великих русских мыслителей объясняется только полной оригинальностью их творчества и добросовестным исканием Истины. Освободясь высоким подъемом духа от всего наносного и механического, извне привнесенного, ищущий Истины дух человека не может не искать ее только теми средствами, какими располагает его *собственный склад ума*, его *собственное чувство*, *собственная совесть* как элемент, проверяющий ход работы! Но этот склад ума, это чувство, эта совесть, что они, как не отражение всех созидających элементов данной почвы, данной культуры, данного народа?

Гиляров и Соловьев мыслили оригинально; это ничего не может обозначать другого, как то, что они *мыслили по-русски*, черпали живую и творческую силу, в них самих заложенную их национальной культурой. Вне ее только бледное подражание и заимствование.

Значит ли отсюда, что и их общий вывод, общая точка зрения национально-русские? Чтобы ответить на этот вопрос, взглянем кругом, призовем и допросим великих русских мыслителей, умевших прикоснуться к правде русской жизни. Не ту ли же, совершенно ясную, совершенно определенную основную ноту найдем и у них? Не волной ли пролилось по всей русской литературе торжество нравственного начала над

материальным, духа над формою, правды высшей над правдою условною? Здесь все наши великие мыслители, поэты, художники подают друг другу руку. «Смирись, гордый человек» Достоевского, Лиза в «Дворянском Гнезде» Тургенева, Платон Каратаев у Толстого, Влас у Некрасова, ряд бессмертных образов у Пушкина и Гоголя чудной стеной стоят окрест нас, складывая камень за камнем ту русскую культуру, которую уже опознал и которой поклонился Запад.

И вот, мы видим, что в этой культуре, в этом умственном богатстве чистые, самодовлеющие учения политической экономии отсутствуют. Огромная русская экономическая литература вся сплошь переводная или грубо компилятивная и комментаторская. Только два писателя, коснувшиеся своим анализом этой области, спускавшиеся туда искать Истину, заявили согласно: один — что это область не самостоятельная, а подчинена и самостоятельных законов иметь не может; под его аналитическим ножом разложились ходячие понятия и произвольно условные термины и дело свелось к первичным элементам жизни, складывающимся совсем по иной схеме. Другой объявил всю западную экономическую науку — *мнимую величиною*, отказал ей в звании науки и объявил ее законы мнимыми и несуществующими.

И мы должны признать, что эти оба мыслителя, не будучи ни в малейшем противоречии между собой, не только не противоречат всему великому ходу русской национальной мысли, но органически в него вливаются, несут и со своей стороны новые устои, подводят дальше фундамент под величавое здание русской культуры.

* * *

Не с тем, мм. гг., занял я сегодня эту кафедру, чтобы вступать в какую бы то ни было полемику с вашим «великим учителем» или его последователями из обоих спорящих лагерей. Я хотел лишь напомнить вам, что, сплотившись под знаменем крупного европейского мыслителя и ученого,

совершенно противоположного по складу ума, симпатиям, идеалам и научным методам русскому человеку, русской науке и русской культуре, вы, по крайней мере, не должны *идти* за ним слепо. Ни за ним, ни за теми, кто облачается в ученую тогу его продолжателей и толкователей. Я хотел предостеречь вас от ложного и совершенно не научного пути — брать все на веру или утомлять разум и мысль в дебрях схоластики, из которых нет выхода. Искать Истину, искать свободно и самостоятельно, ничего не принимая на веру и критически относясь ко всякому извне взятому утверждению, ко всему тому, что предлагается под видом аксиом, — вот истинно научный путь и истинно достойный тех, кто так гордо присваивает себе кличку интеллигенции. Не только не избегать критики, но искать ее во что бы то ни стало, не пугаться никакого, как бы оно ни казалось неприемлемым и несимпатичным, мнения. Все проверять своим анализом и совестью да заботиться свято о том, чтобы эта совесть, это чувство правды было вечно живо и деятельно.

Привнесение какой бы то ни было лжи или условности, допущение себя до унижения в форме господства над совестью той или иной страсти, даже той или иной симпатии — слишком опасно для науки. Но менее опасно, чем разменяться на мелочи, уйти в схоластику. А с политической экономией это уже успело случиться.

<...>

Выписка, приведенная мною в начале этой беседы из статьи г. Петра Струве, как нельзя более подтверждает справедливость этого протеста науки против пустопорожней диалектики марксизма. Да, экономическая наука пришла к банкротству, стала схоластикой, и молодой, свежий ум, в нее углубляющийся и жадно стремящийся ее усвоить и на ней построить свое мировоззрение, рискует не найти в ней ничего, кроме игры в слова и понятия, и выйти искалеченным.

Западная экономия пришла к абсурду, не создав ничего, ибо была на ложной дороге. Я полагаю, уже из простого

сличения этого самими ее корифеями признанного положения с теми воззрениями Соловьева и Гилярова, которыми я так долго занимал вас, оправдывается это положение. Я отнюдь не прошу вас принимать его на веру. Это бы было оскорбительно прежде всего для памяти почившего Гилярова и чести здравствующего Соловьева. Но я имею право просить вас: не будьте односторонни, читайте не одних своих проповедников и авторитетов, имейте дело не с теми только вашими противниками, которые вместе с вами кружатся около одного и того же Маркса, но загляните и дальше! Проверьте и сличите положения русской национальной мысли и прежде всего проверьте и усвойте или отвергните то положение, что *истинное научное творчество возможно только на почве этой национальной мысли, что только посредством нее можно подняться к общечеловеческому.*

Я обращаю ваше внимание на один, действительно ужасный, действительно вопиющий факт нашей русской жизни. Все элементы для великой и могучей русской науки есть налицо. Победы наших великих писателей-художников, их торжество в мире, ныне уже окончательно засвидетельствованное и нами, и Европой, указывает ясно, что таковые же победы предстоят и русской науке. Но где сама эта наука? Где те гиганты мысли, которых наша родина могла бы назвать громко перед всем человечеством рядом со своими гигантами слова, кисти, звука? Их нет, их не видно. У нас существует обширная научная литература, есть кафедры и профессора, но самая русская наука едва видна Европе и кроме одного химика, двух-трех естественников, да одного великого математика (Лобачевского) не предьявляем никого.

Для науки, как и для искусства, нужна *живая школа*. В области художественного творчества, более или менее вдохновенная и непосредственная, эта школа создалась. Русский гений сбросил с себя и в музыке, и в живописи, и в поэзии те пеленки, в которые его долго кутала наша подражательность. Он пробил себе дорогу, он выработал почти бессознательно, но совершенно очевидно для всех и русскую музыкальную, и рус-

скую художественную школу, и русскую литературу, каждую со своей определенной и очень яркой физиономией.

Русская наука этого не сделала. Отчего? Да оттого, мне кажется, что ей именно недоставало школы. Пушкин, Достоевский, Лев Толстой и Тургенев, Глинка, Серов и Даргомыжский, Иванов, Репин, Верещагин и Васнецов создавали русскую школу почти бессознательно. Они учились на иностранных образцах, были окружены иностранными шаблонами, но независимый и непокорный человеку его гений дал свое, нешаблонное, оригинальное — и русская школа создалась.

В науке нет этого повелительного и непокорного гения, действующего почти бессознательно. Наука вся сознательна, и иною быть не может. Роль повелевающего гения играет в ней неугасимая и неутолимая Мысль, *жажда Истины*, ищущая этой Истины повсюду, за нее идущая на костры и в изгнание. Без этой жажды Истины нет науки, нет и школы, ибо только жажда Истины гонит молодежь, ею проникнутую, собираться вокруг того или иного учителя, уже пошедшего вперед по пути к этой Истине, направляет ее к книге, где чувствуется искание Истины.

Вне школы наука бессильна или лежит под спудом в виде отдельных, часто никому неведомых трудов отдельных ученых, неопознанная и остановленная в своем развитии, а те, кого непреодолимая жажда знания и света гонит к науке, вместо науки хватают иногда жалкие лохмотья чужих школ, питаются не наукой, а схоластикой, фальсификацией науки, ложью, имеющею весь внешний образ и подобие науки.

Не случилось ли того же и с нами, господа? При стольких рассадниках науки, при таком изобилии хорошо оплаченных профессоров, при огромной научной литературе, при множестве музеев и библиотек что-то не видать русской науки! Ведь никто же из нас не отважится в области науки экономической сказать серьезно: великий Исаев, великий Ходский, великие Струве и Туган-Барановский...

Но русская наука есть, господа; только затерялась она где-то, отвергнутая, забытая, пренебреженная. Я привел вам

два крупных имени, одно из которых, к счастью, не забыто, хотя, — отметьте этот факт! — стало отодвигаться в забвение именно с той минуты, как Вл. С. Соловьев, бросив ежедневные мелкие злобы дня и полемику, стал на истинно творческую почву. Но я укажу вам, пока голословно, что у нас есть и философы в уровень Канту и Декарту, есть и русский Дарвин, перед которым, не роняя своего достоинства, снял бы шапку Дарвин британский. Я не назову его, господа. *Ищите его сами.* Я укажу лишь, что книга, где изложены открытые им важнейшие и *центральные законы непосредственной связи и взаимодействия мира идеального и мира материального*, разошлась в количестве десятка экземпляров, что о ней не заикнулся никто в литературе, что сам автор, измученный и разочарованный, бросил науку и пошел кормиться 20-м числом, ибо русская наука (истинная, свободная наука!) не кормит, господа!

Вот на что хотел я обратить ваше внимание и предостеречь вас от опасности, которой подвергается каждый, попав на ложную дорогу односторонности мысли, пошедший не за бессмертной и бескорыстной Истиной, а за теми или иными симпатиями и мимолетными политическими течениями, а еще хуже того, погнавшийся за модой.

Я позволю себе закончить небольшой цитатой из писателя, которого мы все хорошо знаем как блестящий литературный талант, как несравненного фельетониста. Но увы! знаем теперь, когда он обратился в литературного поденщика и зарабатывает себе хлеб, и не знали вовсе тогда, когда он писал одну из оригинальнейших книг, имеющихся в мировой литературе:

«Чистый интерес ума — узнать еще неизвестное; вот единственно, что двигало науку, и раз этот интерес прекращается, наука умирает безусловно и безвозвратно.

И это понятно. Можно ли открыть что-нибудь не ища? Можно ли искать чего-нибудь без интереса найти? И когда нет этого интереса, пробудится ли он, если для него воздвигнется университет, или академия, или соберется библиотека? Те, для кого сделано это, будут заниматься в них; они станут располагать все в новые и новые сочетания ранее

открытые истины, станут собирать по различным вопросам мысли всех времен и народов. Но что откроют они, какую невысказанную мысль скажут, когда нет более интереса в их уме, не о чем им сказать что-нибудь?

Наука живет не в университетах и академиях, но во всякой душе, ищущей Истины, не понимающей и хотящей понять. Только эта *потребность понимания* создает науку. Все же остальное, что шумно делается, — как думают, — для науки, делается для удовлетворения человеческого тщеславия, личного и национального, и к науке не имеет отношения. Быть может, она погибнет среди этих забот о ней, превратившись окончательно в ученость»¹.

Вот в чем, господа, страшная опасность. Не для вас одних, не для русской молодежи, которая рискует *только* разочарованием и скорбью о даром потраченном труде, о бесполезно протекшей молодой жизни и растраченных силах. Опасность для нашей родины, господа! Русская наука молчит, она под спудом, русская псевдонаука ничего сказать не может, ибо нет у нее ответа на жизненные запросы русского народа, — и вот, смотрите, до чего дошел русский народ, в каком положении он очутился и что с ним проделывается всякими проходимцами. А мы бессильны ему помочь, ибо помочь ему можем не только одной слепой к нему любовью, но и разумом, то есть тою же наукой.

Пора, пора открыть из-под спуда русскую науку, пора создать свою истинно научную школу во всех областях нашего ведения и мышления, и вот, во имя этого я приглашаю русскую молодежь: забудьте все побочные мотивы, ищите одной строгой и неумолимой Истины и пуще всего храните независимость ума и строгость свободной мысли.

¹ Розанов В. О понимании. — С. 700, 701.

СОЦИАЛИЗМ КАК РЕЛИГИЯ НЕНАВИСТИ

I

Нашу пресловутую революцию сравнивают с «великой» французской, и кто-то рекомендовал даже следить за ней по краткой истории, как по отрывному календарю, ручаясь за возможность прямо предугадывать дальнейшие события.

Увы, этот пророк «отгадчиком» не оказался, и наша «революция» хоть и потребовала много крови и жертв, но во французскую не выросла, а обратилась в некую политическую гнусность, закончившуюся убийствами из-за угла и экспроприациями, сначала идейными, а затем и просто разбойными.

Сходство с сильной натяжкой, пожалуй, найдется, как всегда найдется сходство между двумя ломаемыми домами. И там, и здесь разбирают старую постройку, летит пыль, накапливается много мусора. В обоих случаях, когда процесс ломки закончится, старого здания не будет. Но на этом кончается и все сходство.

Как видите, оно чисто внешнее. Но зато, если мы обратим внимание на разницу между нашей революцией и французской, то она окажется так велика и существенна, что ни о каком сходстве не придется и говорить.

Довольно указать на два пункта. Французская революция была не только национальна, но, можно сказать, крайне преувеличенно национальна. Никакие инородцы в ней не участвовали, а вся остальная Европа шла на ее усмирение. Патриотизм самих французов был так горяч, что за одно

подозрение в его недостатке господа революционеры без церемонии рубили головы.

В этом смысле наша революция является прямой противоположностью. Ее вожаки — в большинстве инородцы, вошедшие между собой в союз и предоставившие господам россиянам роль весьма второстепенную. Затем насчет патриотизма замечается тоже как раз обратное. Если бы дело дошло, помилуй Бог, до снятия голов, то таковые стали бы сниматься за проявление русского патриотизма, а уж никак не за его недостаток. Подсчитайте число политических жертв и их окраску — и вы увидите, что это все были именно патриоты. Кто же не знает, что для нашей революции «патриотизм» — понятие весьма презренное, а «патриот» даже прямо ругательное слово? Да это и понятно. На свою национальную революцию французские патриоты несли патриотически свое, иногда последнее достояние. Наша революция идет сплошь за чужой счет, сначала за японский, как это недавно документально доказано, затем за счет международных, точнее — еврейских денег, ибо главная задача русской революции есть все-таки еврейское равноправие, недостижимое при старом самодержавном строе. Теперь этот строй заменяется парламентарным, то есть именно тем, который нужен опять же евреям и всяким инородцам, а русским пристал, как корове седло.

Будь наша революция национальной, она прежде всего вылилась бы в форму борьбы за *земщину* против бюрократии. Но земщина-то именно у нас и провалилась в революционный период как понятие чисто русское, для еврейства еще гораздо более противное, чем самодержавие. И наивен был бы тот, кто стал бы ждать от нашего парламента серьезной постановки и свободы самоуправления. Наоборот, он, если бы удался, создал бы неминуемо централистский шаблон, так бы все нивелировал и обезличил и законодательством, и всякими общеимперскими союзами, что от всей земской свободы осталось бы едва ли не одно только великое право — собираться на митинги, да и то левые, а отнюдь не патриотические.

Второе коренное отличие нашей революции — это ее социальный характер в противоположность чисто политическому характеру революций западных. Насколько во французской революции бьет в глаза ее решительно буржуазный облик, ее домогательства устранения феодальных привилегий во имя чисто политических прав и свобод (припомним драконовские постановления о собственности, о стачках и т. п.), — настолько же наша русская революция насквозь прокрашена социалистическими вождениями и нежеланием ни одной минуты остановиться и укрепиться на ненавистном капиталистическом или буржуазном строе.

Это последнее обстоятельство придает всему нашему «освободительному» движению совершенно своеобразный колорит и предначертывает ему путь совсем особый, где французская книжка по истории ровно ничему не поможет и ничего не уяснит.

II

Многие русские люди ломают себе голову, решая вопрос: *откуда взялся у нас социализм и почему это учение в такое короткое время и так могущественно овладело умами нашей молодежи*, да и не только молодежи, а даже взрослых и серьезных, по-видимому, людей, которым, казалось бы, обязательно более вдумчивое отношение к тому, что проповедуется на газетных столбцах?

Чтобы выяснить этот вопрос, от которого в значительной степени зависит то или иное отношение к русскому освободительному движению, необходимо установить сначала твердую принципиальную точку зрения на самый социализм как на положительное учение. Смело говорим, что в широких кругах русского так называемого образованного общества никакой такой точки зрения не существует. Огромное большинство судит о социальных доктринах совершенно превратно, и мы не ошибемся, если этот общий расхожий взгляд выразим так:

«Социализм есть учение весьма дельное и серьезное. Но в самую глубину этой премудрости заглянуть обыкновенному

смертному очень трудно, так как она окружена чрезвычайно туманной и сложной диалектикой, в которой и упражняются специалисты. Наш доморощенный социализм в его практических применениях и в *популярной* проповеди есть нечто весьма искаженное и изуродованное, годное, конечно, для гимназистов да совершенно отпетых и невежественных людей вроде Аладыных, Жилкиных и К° в первой Думе и Алексинских во второй или новоявленных кавказских выходцев, каковы, например, были пресловутые Рамишвили, Зурабовы, Церетели и т. п. Эти господа только компрометируют социализм, требуя слишком преждевременно разных несуразных вещей и притом с ненавистью и дерзостями. Но это не мешает социализму *подлинному* быть “учением будущего” и привести человечество к благу».

Думаем, что этим довольно верно определяется взгляд среднего грамотного русского обывателя. Если мы прибавим сюда ходячее мнение, будто существует еще какой-то христианский социализм, мирный и благодетельный, и что вот этот-то социализм и есть самый настоящий, мы можем на этом и закончить, большего от русской публики не требуйте. Маркса ни в подлиннике, ни в переводах она не читала, хотя усердно раскупила несколько изданий *Kaputala*. Комментаторов и продолжателей Маркса вроде Энгельса, Каутского и прочих она знает еще меньше, а серьезных критиков и близко не видала. Все, что она читала, — это ряд популярных брошюр, которые прежде проносились под полой, а ныне свободно продаются и раздаются бесплатно и которые для несамостоятельных умственно людей представляют критику современного капиталистического строя — весьма сокрушительную и обещания будущего — самые заманчивые.

Добрая и душевная русская публика даже и не подозревает, что социализм *никакой науки, никакого учения собой вовсе не представляет*; что это есть не более, как известная система диалектики, чрезвычайно утонченной и сложной, вся цена коей ломаный грош, ибо отправной пункт содержит в себе первоначальную *ложь*; что сила социальной доктрины заключается не в ее выводах, которых и сами социалисты не сделали, не в по-

ложительных формулах людского общежития, которых никто не установил и установить не мог, а только в отрицании, опирающемся на специальное *настроение* отдельных ли лиц или целых общественных групп; что в социализме нет поэтому абсолютно никакой *творческой* стороны, а исключительно *разрушительная* и что, наконец, как учение, построенное на лжи, вражде и ненависти, оно не имеет никаких иных логических выводов, кроме чистейшего анархизма, если остаться только при разрушении, или неслыханного нигде и никогда рабства, если упорствовать в праздной мечте и созидании общежития на социалистических началах.

III

Научная истина всегда объективна, ясна, сама себе равна и воспринимается *разумом* достаточно независимо от настроения учащего или поучаемого. Социальная доктрина для своего усвоения требует *чувства*, особенным образом подготовленного, которое только тогда ее не отвергнет, когда поучаемый будет заранее подготовлен звучать в унисон с учащим. Отсюда всеобщее и давнее наблюдение: социальное неравенство есть повсюду и всегда, но чтобы социальное учение нашло восприимчивых слушателей и воспламенило массы, необходимо, чтобы общественные страдания, насилия и несправедливости перешли известную черту, за которой уже неугасимым огнем загорается ненависть слабого к сильному, бедного к богатому, глупого к разумному.

Только в такую среду социальная доктрина может с успехом бросать свои ядовитые семена.

Потрудитесь американцу Соединенных Штатов, получающему заработную плату до 2 и больше долларов в сутки и быстро накапливающему сбережения, начать развивать ту доктрину социалистов, что предприниматель-капиталист его грабит, отнимая от него «прибавочную ценность», которая ему, рабочему, принадлежит. Американец засмеется вам в глаза и решительно не будет в состоянии понять, каким образом

у свободного гражданина, свободно предлагающего свой труд и назначающего ему свободную расценку, кто-нибудь может что-нибудь украсть.

Но обратитесь с той же проповедью к голому и голодному итальянцу или к русскому фабричному пропойце — и ваш слушатель развесит уши. На заманчивые перспективы всеобщего равенства имуществ американец ответит бранью, потому что у него впереди благосостояние и победа, основанная на личной предприимчивости, удаче и сбережениях. У него самого растет его небольшой капитал, который в будущем будет только удваивать его трудовые силы, и потому всякое покушение на этот капитал будет ему казаться покушением также и на него лично. Наоборот, какой-нибудь итальянец, совершенно изверившийся в возможности выбиться из бедности упорным трудом и бережливостью и вынужденный покинуть родину, чтобы идти куда глаза глядят, уверует в будущий коллективизм как в Евангелие.

Вот почему Северная Америка, страна исключительно расцвета промышленного капитализма, является, по выражению социалистов, «страной оставления всех надежд» (для них), а Италия — истинным рассадником и гнездом социализма. Поэтому же Германия с ее твердой властью и прочным экономическим строем хотя и прислушивается к туманной диалектике своих главарей социального движения, хотя и охотно рассуждает о нем за кружкой пива, но практически переработала самое учение так, что истинные, кровные социалисты называют германский социализм «наукой о безропотном перенесении рабочими ига капиталистов».

И это выражение необыкновенно счастливо и точно. Немецкий рабочий отлично знает, с каким колоссальным трудом и борьбой отвоевывает рынок и дает своим рабочим работу немецкий капитал и каким небольшим, сравнительно, довольствуется он вознаграждением. Он хорошо знает, что малейшее неловкое прикосновение к этому капиталу отразится страшной катастрофой прежде всего на самих же рабочих. И вот господа немецкие социалисты, покуривая свои трубки, рассуждают

весьма здраво, что хотя, по Марксу, капитал им и враг, но пока что они от него кормятся; хотя милитаризм и недостойная и презренная вещь, поддерживающая буржуазный строй, но, однако, без внушительной военной силы Германия не могла бы так шагать на иностранных рынках — и потому хоть и неохотно, но все же вотируют в рейхстаге нужные кредиты на армию и флот.

А попробовали те же социалисты стать поперек дороги германскому буржуазному творчеству — получился неслыханный разгром партии, которую на последних выборах в рейхстаг жестоко закидали черняками и сократили более чем вдвое.

IV

Так стоит дело на культурном Западе, потоками крови оплатившем всякие перевороты и революции. У дальнейших из тамошних народов — немцев и американцев — социальная доктрина, являясь всем понятным предупреждением, принесла и свою долю пользы. В Америке гигантские *стачки всемогущего капитала* вызвали не менее гигантские рабочие союзы, прекрасно оградившие трудящиеся массы от возможности хищнической их эксплуатации. Но увы! Об *этих* рабочих союзах социалисты предпочитают умалчивать, ибо они построены на чистейших буржуазных принципах и в корне противны социальному учению. Это не более как взаимное страхование мелких капиталистов в ответ на стачку крупных. Пролетарий, в этот союз не попавший, услугами его не только не пользуется, но и встречает явно враждебное к себе отношение. Подите-ка, вступите в американский рабочий союз! Это потруднее, чем в любую из наших биржевых артелей, где нужен взнос в несколько тысяч рублей.

В Германии развитие социальных учений подсказало правительству вовремя позаботиться о правовом и экономическом положении рабочих. Государство мастерски вырвало инициативу всяких *разумных* улучшений из рук вожаков социализма и еще руками Бисмарка само создало прекрасное рабочее законодательство, обеспечив рабочих в их внешних

условиях труда, насколько только это доступно государственной власти. Социализму в Германии остались только невинные ораторские упражнения да забастовки, производимые очень редко, тонко и осторожно.

В России, где при ничтожном процентном отношении фабричных рабочих к общей массе населения и при землевладении всей крестьянской массы социализму, казалось бы, совсем нечего делать, это учение волею судеб оказалось в противность всякому здравому смыслу руководителем революционного движения. Главари социализма, скрывавшиеся в подполье в то время, когда земские передовые силы выступили на борьбу со старым режимом, тотчас же после первых побед земцев вышли на поверхность и буквально сели буржуазно-либеральному течению на шею.

Не успели наши конституционалисты отпраздновать первый медовый месяц отвоёванного с таким напряжением и хитростями парламентаризма, как уже в Государственной Думе за их спиной выросли разные «трудовые группы», явились люди столько же некультурные, как и наглые, и сразу предъявили свои претензии на власть.

Никогда еще великий господин Пролетариат не выступал в мировой истории с таким умственным и нравственным убожеством и... с таким апломбом. Он не хочет считаться ни с чем. Для правительства у него нет других терминов речи, как «воры», «provokatory», «хулиганы». Почтенных и истинно свободолюбивых людей, как покойный гражданин Гейден, он величественно именует «старыми шлепаками» (можем привести подлинную цитату из одной пугачевской газеты) и кричит им «довольно» и «долой». Милостиво-презрительно, как истинно зазнавшийся хам, относится он к перетрусившим либералам, усердно вертящим перед ним хвостом, и при малейшем серьезном противоречии дает им пинка. Пользуясь растерянностью и скудоумием власти, устраивает в России пугачевщину и готов взять за горло все ему сопротивляющееся, все культурное, спокойное, просвещенное. И при этом полное отсутствие какого бы то ни было намека на патриотизм, стрем-

ление к неслыханному самовластию, переходящему в прямое самодурство, нетерпимость, забывающую всякие границы, и насилие, насилие и кровь без конца...

Вот в каком виде довольно неожиданно появился на нашей политической сцене Российский Пролетариат, одушевленный великими доктринами социализма. Пока что перед удалю этого младенца все в ужасе расступаются и все чувствуют основательность этого ужаса. В голосах господ Алексинских, Жилкиных, Аладыных и иных чувствуется не их личное нахальство, а огромный, косматый, проснувшийся дикий зверь, нечто вроде древнего апокалипсического Змия, неуголимый и неукротимый, словно олицетворивший в себе все, что жило в грязном и мрачном подполье русской народной души, жило, сдавленное тисками полицейского государства, и со времен Стеньки Разина и «дедушки Емельяна Ивановича» не подавало голоса.

Теперь этот зверь рычит и выпрямляется, и мы с ужасом чувствуем, как его когти вонзились в нашу Родину. Волей-неволей приходится этому зверю заглянуть в лицо и ознакомиться с его родословной.

V

Мы сказали выше, что вся социальная доктрина основана на первородной лжи и потому ровно никакой, ни научной, ни практической, ценности не представляет. Ложь эту необходимо разобрать и выяснить истинную сущность столь властно утвердившегося у нас учения.

Один из главарей немецкого социализма, Бебель, так определил свое исповедание: «Наша цель, — сказал он, — в области политики — *республика*, в области экономики — *коммунизм* и в области религиозной — *атеизм*».

Если мы отстраним первый член этой формулы — республику как взятый из чужого лексикона за неимением собственных ясных понятий о желательном типе государства, то двух остальных будет вполне достаточно, чтобы определить всю духовную сущность социальной доктрины.

Это то же христианство, но с отрицательным знаком.

Современное человечество переживает самый расцвет буржуазно-капиталистического строя. Его основы — широкая политическая свобода и широкий экономический индивидуализм, прямо из этой свободы вытекающий. Правовое государство твердо держится принципа экономического невмешательства и предоставляет личностям и их союзам устраивать свои материальные отношения как хотят, проявляя активную власть единственно ради поддержания общественного порядка, охранения свобод и дарования минимальной обязательной справедливости во внешних отношениях своих граждан.

Вправо от этого строя начинается область религии, которая в лице христианства усиливается побороть старое юридическое и языческое государство и построить жизнь людей на иных, высших началах. Церковь, не отрицая государства и не борясь с ним (Кесарево Кесареви), старается воспитать и вознести души людей так, чтобы, оставаясь в прежних материальных и юридических условиях, люди перестали их ценить и смотреть на них как на высшее благо, ища такового не здесь, на земле, а за гробом. Христианин должен поэтому относиться совершенно безразлично и к своему имуществу, и к своим правам, и ко всей земной обстановке. Последняя должна быть ему ценна лишь постольку, поскольку дает возможность совершать *дело любви*, то есть помогать благополучию своих ближних. А так как дело любви возможно при каких угодно политических и экономических условиях, то с христианской точки зрения нет ни оправдания, ни осуждения никаким общественным и государственным формам. Всякий строй для него приемлем, поскольку в нем возможно «тихое и мирное житие», ибо только это с христианской точки зрения и требуется от государства. Остальное дадут личный подвиг, личный духовный подъем и самосовершенствование христианина. И в этом смысле все общественные деления, например сословность, все неравенства состояний, даже рабство, для христианства одинаково приемлемы, как и наисвободнейшее общественное и политическое устройство. Любовь все сгладит и

восполнит, Христос всех уравнивает и даже сделает первых последними, а последних первыми.

И эта вера в могущество высшей небесной правды составляет такое сильное орудие христианства, что совершенно исключает всякую зависть бедного к богатому (богатый несчастнее, ибо ему труднее войти в Царство Небесное), всякую ревность подвластного к властвующему (сознание величайшего бремени ответственности) и делает из истинно христианского общества и народа единый целостный организм, сознающий и свое братство во Христе, и свое полное духовное равенство, даже с некоторыми привилегиями для кротких, милостивых и нищих духом, то есть для наиболее обездоленных общественных слоев.

VI

Влево от правового капиталистического буржуазного строя лежит социализм. Для этой доктрины небо является областью «святых и воробьев», человеку же остается искать своего счастья только на земле и в пределах земного. Для любви места нет, и она является в этом мировоззрении как странный пережиток чего-то прошлого, как *альтруизм*, неизвестно зачем впутывающийся по старой привычке в отношения людей между собой и эти отношения только искривляющий. Счастье добывается только борьбой (в борьбе обретишь право свое), воодушевить же на борьбу может прежде всего *ненависть*, которая в социализме играет ту же самую роль главного двигателя человеческой души, какую в христианстве играет *любовь*.

Отсюда полный параллелизм социализма и христианства. Перемените у любого из атрибутов христианства плюс на минус — получится соответствующее понятие у социалистов. Возьмите, например, *равенство*. У христиан равенство перед Отцом Небесным заставляет людей совершенно различных, но одинаково одушевленных любовью, смотреть друг на друга как на братьев. У социалистов равенство есть требование земного общежития; отсюда жгучая ненависть ко всякому политическому и экономическому неравенству, заставляющая низ-

шего по положению видеть в высшем заклятого врага. Чувство совершенно однородное, но с обратным знаком.

То же самое с *братством*. С положительным знаком это чувство единит самых различных людей любовью во Христе. С отрицательным оно сплачивает однородные элементы ненавистью ко всему тому, что не они, создавая новый термин «товарищ». Наконец, и самая *свобода*, понятие для христианства совершенно положительное, как абсолютно необходимое условие для проявления и веры, и деятельной любви, получает в социализме отрицательный знак, превращаясь в совершенно определенное *принуждение*. Так, *политическая свобода*, первейшее требование социализма, есть в сущности только условие свободного проявления ненависти, в форме ли слова, печати, союзов и т. д. *во имя борьбы*. Борьба эта должна уничтожить все существующие неравенства, все привести к одному уровню, а затем свобода превращается в грубое и абсолютное *насилие* общества над индивидуумом.

Насилие — да ведь это и есть свобода с отрицательным знаком! И поскольку свобода есть необходимая принадлежность христианства, допускающего только свободный личный подвиг, постольку же насилие есть неизбежный основной фундамент социального строя, ибо без насилия не могло бы ни одного дня продержаться обезличенное и уравненное под один ранжир человечество. Насилием должен *осаживаться* до среднего уровня каждый умный, сильный и независимый — насилием подниматься до того же среднего уровня глупый, слабый и несамостоятельный или ленивый. Попробуйте вычеркнуть элемент насилия и допустить хотя небольшую свободу, и от социального построения тотчас же не останется камня на камне. Общество дифференцируется самым буржуазным образом, и установленное насильственно равенство будет радикально ниспровергнуто.

И совершенно так же, как христианская свобода по существу своему безгранична, имея регулятором только совесть личную и общественную, безгранично и насилие социализма. Оно не останавливается не только перед принудительным распределением работ и профессий, перед принудительным распреде-

лением благ, но даже и перед принудительным общественным воспитанием¹. Это совершенно логично и последовательно. Раз отрицается высший регулятор — совесть, человечество, чтобы не стать диким стадом, должно подчиниться внешнему регулятору — отвлеченной общественной воле, организованному до последних мелочей принуждению и насилию.

VII

Чтобы закончить параллель между христианством и социализмом, необходимо остановиться над идеями коммунизма, одинаково свойственными и тому, и другому.

Возвышая дух, обостряя и усиливая деятельную любовь к ближнему и самопожертвование, христианство совершенно естественно освобождает душу человека от связи с обстановкой буржуазно-капиталистического строя. Собственность и богатство становятся в тягость, как и индивидуальное одиночество. Во главе церковной общины в качестве учителей и добровольно признанных распорядителей стоят люди высокой нравственной доблести и духовных совершенств. В церкви-общине есть неимущие, нуждающиеся, больные, хилые. Величайшая радость, величайшее удовлетворение христианина — отрешиться добровольно от ига собственности, снести свое богатство в общую кассу и предоставить своим духовным вождям позаботиться о неимущих. Но вот у христианина не осталось и собственности, а есть только его личность, его труд. Не веря в свои силы и ища дальнейшего подвига, он и эти силы, и волю, и труд отдает в распоряжение общины. Является полная свобода даже от собственных дум и воли, снимается самое невыносимое для любящей и смиренной души — страх *ответственности*. И вот чистый коммунизм, коммунизм апостольской общины первого века, готов.

«У многочисленного же общества верующих было *одно сердце и одна душа*; и никто ничего из имения своего не на-

¹ А быть может, даже и перед принудительным половым общением. В социальной литературе на это есть намеки.

зывал своим, но все было у них общее... не было между ними никого бедного; ибо все владельцы поместий или домов, продавая оные, приносили цену проданного. И полагали к ногам апостолов; и каждому давалось, в чем кто имел нужду».

Так повествуется в IV главе «Деяний Апостольских». Совершенно то же, но с отрицательным знаком мы встречаем в мечтах социалистов. Личной собственности быть не должно. Все принадлежит «обществу» или «нации». Всякий вносит все, что имеет, всякий получает, что ему нужно. Но так как *одного сердца и одной души* нет и никакая любовь этого общества не согревает, то вместо добровольной складки и добровольного отречения от собственности в пользу всех приходится прибегать к регламентации и насилию. Организованные неимущие овладевают благами имущих, и эти блага поступают в общее распоряжение. Эгоистический протест имущих заглушается огромным большинством «пролетариата», который, как большинство и как подавляющая физическая сила, захватывает диктаторскую власть и не делится ею ни с кем. А чтобы «пролетариат» был готов к этому торжеству, его необходимо сплотить и, прежде всего, сплотить ненавистью к богатым, к имущественным классам, в коих видится общий враг и угнетатель.

VIII

Параллельность, как видите, самая полная. Элементы христианства и соответственные элементы социализма могут быть расположены в следующем характерном ряду:

Вера	Атеизм
Свобода	Насилие
Любовь	Ненависть
Совесть	Принуждение
Отречение от собственности добровольное	Обязательный коммунизм
Добровольное подчинение	Насильственная регламентация

Все члены одного ряда совершенно однородны с членами другого ряда и находятся между собой во взаимном отрицании. Ход и последовательность логики одна и та же. Человек, не удовлетворяющийся условиями современного общежития, опирающегося на чисто языческие начала индивидуализма, политической свободы, положительного права и собственности, может порвать с этим строем и выйти в любую сторону. Одушевленный верой и любовью, сознавая свою безграничную духовную свободу и повинаясь голосу совести, он может стать христианином активным, то есть добровольно отречься от своей индивидуальной собственности и направить свое состояние на облегчение чужого горя и нищеты. Если при этом он захочет сложить с себя и последнюю тяготу буржуазного строя — личную свободу и ответственность, он может найти общину таких же, как и он, активных христиан и, вступив в нее, закончить подвиг самоотречения, добровольно подчинив себя признанным вождям и духовным руководителям.

В этой общине его земная личность, имущество, воля, права исчезнут, освободив всецело его духовную личность на подвиг самоусовершенствования и на бескорыстную службу ближним.

Таков в идеале своем монастырский режим. Таково учреждение «старчества», столь чтимое народом.

Совершенно таким же образом человек может взять направление противоположное и из буржуазного мира уйти в мир социальной доктрины.

Твердо уверенный, что на земле конец всему, отбросивший всякие упования на Небо, одушевленный ненавистью к общественному неравенству, разврату, несправедливости и злу, он, пользуясь своей политической свободой, может вступать в союзы людей, добивающихся проведения своих идеалов путем регламентации и насилия. Образовав сознательное большинство своих сторонников в государственном механизме, он может принудительно завладеть чужими имуществами для обращения их в коллективную собственность. Добившись власти путем современной парламентской организации,

изображающей собой безразличный и мертвый регулятор общественной воли (поскольку последняя выражима системой выборов), социалист может переломать все человеческие отношения и ввести путем принуждения какой угодно регламент, хотя бы индивидуальную свободу и самоопределение и вовсе уничтожающий.

Из сказанного, надеемся, станут понятными и ход, и приемы, и условия успеха социальной доктрины в том или другом обществе.

Необходимо прежде всего, чтобы образовалась среда, удобная для процветания ненависти и к ее семенам восприимчивая. Такая среда образуется само собой в государствах, идущих по пути к разорению. Нищета, падение земледелия, разорение промышленности, безработица, отсутствие возможности правильно приложить труд, непосильные налоги. В народе воспитывается глухое раздражение, количество бедствующих увеличивается, духовные силы народа надламываются и уродуются, злые инстинкты растут.

Все это постепенно создает почву для ненависти, но еще ее самостоятельного возникновения и развития не обуславливает. В утешение бедствующему народу приходит религия, сохраняется надежда на высшие правящие классы, которые должны приложить старания, чтобы народную нужду облегчить. Наконец, огромной сдерживающей силой является патриотизм, особенно в тех случаях, когда страдания и злоключения народа приходят извне, от несчастной войны, то есть насилия соседей.

Нужно, следовательно, чтоб эти умеряющие ненависть факторы ослабли и перестали действовать.

Религия может обратиться в холодное выполнение обрядов и перестать быть руководительницей и утешительницей.

Высшие классы и правительство могут оказаться для своей задачи совершенно непригодными и быть скомпрометированы.

Наконец, может иссякнуть в народе и патриотизм путем долгого проведения антinationальной политики и утраты патриотизма верхними классами.

Тогда к чувству горя, обиды и страдания сама собой начинает примешиваться ненависть — и почва для социалистического посева готова.

IX

Ход заражения социальной болезнью таков.

Государственный строй не в силах ответить нуждам и желаниям народа — долой его!

Высшие классы — «общество» неспособно постоять за народ, неспособно исполнить свои правящие обязанности. Отсюда его богатство есть грабеж, его землевладение — узурпация, его промышленность — эксплуатация рабочих масс — долой их!

Религия, не дающая утешения в бедах, не возрождающая и не просвещающая душу, а только кормящая своих жрецов, — ложь и обман — долой попов!

Затем и патриотизм, который оказывается простой слепой приверженностью к существующему порядку, постепенно вытравляется, и крик: «Пролетарии всех стран, объединяйтесь!» — становится естественным лозунгом.

Таков естественный ход страшной болезни, именуемой социальной доктриной. Это пока только отрицание существующего, без всяких идеалов, без всяких даже серьезных обещаний и программ на будущее. Это просто религия ненависти, которая, как эпидемия, овладевает низшими слоями народа и сильнее всего отражается на молодежи как на наиболее чувствительном органе общественного тела. Здесь болезнь развивается ярче всего, поражает все умы и приобретает пропагандистов-апостолов, которые с жаром новообращенных разносят заразу шире и шире, пока она не охватит всего народа.

Поэтому же и проповедь социализма необыкновенно проста и доступна самому малограмотному, но с распаленным ненавистью фанатизмом юнцу. Фразы, для серьезного человека до тошноты пошлые и банальные, звучат как откровение, падая прямо на раскрытые раны. Ненависть фанатика встре-

чается с ненавистью обездоленного, и контагий прививается сразу. Для *сознательности* учения, то есть для его формального закрепления в душе простеца, достаточно нескольких диалектических приемов, быстро заучиваемых. А так как без положительной стороны, без идеала и некоторой программы учение было бы совсем лишено реального содержания, то и эта сторона является сама собой.

И здесь снова бросающийся в глаза параллелизм с христианством. Оно обещает *рай на небе*, социализм обещает *рай на земле*, как только установится царство пролетариата, то есть как только общественная власть перейдет к заведомому готовому большинству нищих и обездоленных. О существовании этого рая, о будущих в нем порядках незачем ни спрашивать, ни распространяться. Ведь эти же люди сами непосредственно будут хозяевами. Так неужели же они не устроят своей судьбы лучше, чем им до сих пор устраивали «господа»? Важно только то, чтобы пролетарии скорее объединились, жарче разжигали в себе ненависть, дружнее шли на разрушение. Все остальное придет само собой.

Из сказанного читатель легко уяснит себе, какую силу может возыметь социальное движение у нас, в России, где, словно нарочно, все условия соединились в самой счастливой комбинации, чтобы дать торжество учению ненависти и разрушения.

Сопоставьте только.

Население разорено. Класс обездоленных, спивающихся, голодающих, мерзнущих, обираемых и всякими способами угнетаемых — да ведь это же чуть ли не все наше многомиллионное крестьянство!

Правительство представляет образец отсутствия инициативы и бесплодия, и не по личному составу даже, а по тому бюрократическому болоту, в котором господа правящие безнадежно барахтаются и вязнут, в котором гибнет всякое достоинство, ум, честь и талант.

Высшие классы — образованное общество — на редкость неспособны у нас к живому делу, тунеядцы, невежественны и духовно ничтожны.

Церковь в лице духовенства давно уже омертвела, сложила с себя всякое духовное водительство, утратила всякую нравственную власть.

Прибавьте сюда долгую антинациональную политику, увенчавшуюся небывало постыдными поражениями на суше и на море и подлым, трусливым миром, продиктованным заграничными евреями.

Х

Это ли не исключительно благоприятные условия для *торжества ненависти*, для успеха проповеди *разрушения*? И поистине, не успехам социальной доктрины надо удивляться, а тому, как еще слаба она, как крепко держится русский народ за свои верования, как стойко переносит свои истинно каторжные условия.

Прибавьте сюда еще, что наша молодежь развращена ту-поумнейшей школой, озлоблена мертвечиной, формализмом и нуждой и совершенно неспособна ни к научной критике, ни к самостоятельности мышления, но зато воспламенима, как порох; что в России, кроме всего указанного, существуют еще два специально благоприятствующих разрушительным силам условия: близкая наличность земель, могущих быть пущенными в грабеж и раздел, и многочисленный контингент евреев, только путем революции могущих получить давно и страстно желаемое равноправие.

И еще прибавьте для полноты картины, что сил, способных не то чтобы остановить, а даже только оказать серьезное противодействие политической заразе, почти вовсе нет.

Печать в огромном большинстве органов захвачена евреями и служит «освободительному движению», явно потворствуя социальным пропагандистам. Устное слово не раздается, заглушаемое революционными криками, школа в руках революции, власть лишена всякого авторитета, армия развращается с каждым днем все больше и больше.

Единственно, что может нас спасти, — это здравый смысл нашего народа и его еще не окончательно вытравленное христианское чувство. Но для проявления и народного разума, и народной веры не хватает *пустяков* — не хватает организации, и потому если эти силы и есть, то они парализованы. «Союз русского народа» и всякие патриотические сообщества еще ничего творческого не дали, никаких программ не выработали и уже начинают становиться политическими партиями и втягиваться в парламентарную игру, заведомо недостойную и безнадежную.

В будущем не видно ничего, кроме взрыва стихийной ненависти, которая накаплиется все больше и больше. Этот взрыв, если до него доведут, может привести к анархии и даже иностранной оккупации, а быть может, и временному разделу России, о чем мы уже имели случай говорить.

Но не невозможен ли какой-нибудь иной исход? А что, если России придется пережить еще нечто совершенно неизведанное — опыт государственного и общественного творчества в духе социальной доктрины? Быть может, имеющие овладеть государственным рулем господа социалисты разрешат практически проблему всеобщего благополучия под красным флагом? А что, если социализму свойственно не одно голое отрицание? Пример Запада ведь нам не указ. Если социальная республика не могла до сих пор нигде в Европе установиться, то помехой ей было буржуазное большинство парламентов, не подпускавшее социалистов к рулю и жестоко с ними боровшееся. У нас с первого же шага нашего нелепого парламентаризма Государственная Дума получила громадный контингент социалистов, который чуть не смел весь старый режим. Временное торжество этих доктрин возможно, и еще не устроит ли нам тогда наш российский пролетариат некоего нового порядка?

Для нас лично здесь все ясно. Мы верим твердо, что на ненависти построить ничего нельзя — это только элемент разрушения. Но для читателя коснуться этого вопроса, пожалуй, и не лишнее.

XI

Главное орудие социального переворота — это политические забастовки. Мы пережили их в конце 1905 года и притом в таких размерах, какие Западу не знакомы. Останавливалась вся железнодорожная сеть, бастовали неделями почты и телеграфы, прекращалось электричество, газ, водоснабжение. При наличии наверху графа Витте эти забастовки вызвали знаменитый акт 17 октября, если только не были инсценированы умелой рукой самого его сиятельства, чтобы добить ненавистное ему самодержавие.

И что же получилось? Только два года политической судороги, всеобщее одичание и разорение и, наконец, медленный поворот к старому. Социальная революция не удалась, торжества для социальной идеи не вышло. А, казалось бы, все старое пошло прахом, и пролетариат крепко держал власть за горло.

В чем же дело? Да именно в том, что социализм как учение есть ложь, а как режим — только ненависть, разрушение и всеобщее разорение. Может ли он, даже при самых лучших для своего торжества условиях, иметь какую-либо будущность?

Рассмотрим, что такое стачка как главное орудие социальной борьбы.

Существует воззрение, по которому признается право для рабочего в промышленном деле «улучшать свое положение» путем стачек. Исходя из совершенно неправильного и вздорного противоположения капитала труду, представителям последнего предоставляется организовываться в союзы и, добровольно подчиняясь решению своих выборных властей, устраивать мирные стачки, то есть производить экономическое насилие над капиталом, дабы заставить его поступиться частью своих барышей, отвоевать у него долю той Mehrwerth — прибавочной стоимости, которую он будто бы отнимает у рабочих. Но, вводя это право в законодательство и отказываясь от преследования забастовщиков, все решительно правительства считают своей неременной обязанностью охранять «свободу труда», то есть

не позволяют забастовавшим распространять свою власть насилием над желающими работать.

На деле эта защита «свободы труда» сводится, разумеется, к фикции. Рабочие союзы разрастаются, приобретают власть, вооружаются накопленными сбережениями и устраивают грандиозные стачки, в результате коих победа иногда остается на стороне рабочих.

Но эта победа обыкновенно оказывается мнимой. Конкуренция в мировой промышленности не допускает чрезмерных барышей для капитала. Обыкновенно его вознаграждение весьма и весьма умеренно, так как достаточно какому-нибудь производству стать особенно выгодным, чтобы к нему тотчас же бросились новые капиталы и понизили его доходность до известной законной нормы.

Одна или несколько победоносных стачек, нанеся поражение капиталу, вложенному в дело, вызывают неминуемо перекладку принесенной жертвы на товар и вздорожание товара на рынке. Но этому вздорожанию кладет предел та же мировая конкуренция или в странах, таможенно защищенных, покупательная способность рынка. В результате получается неминуемый уход части капитала из данной отрасли промышленности и тотчас же как логическое последствие — сокращение производства и соответственное сокращение рабочей силы, остающейся вовсе без работы.

В конце концов: вздорожание товара, ложащееся тяжким гнетом на бедную часть населения, или огромный ущерб в вывозной торговле и небольшое улучшение благосостояния и заработка части рабочих при совершенной безработности и нищете остальных.

Яснее всего выразилось это в английской промышленности. Ряд рабочих стачек дал, с одной стороны, некоторое улучшение быта рабочего класса, с другой — удорожил английскую промышленность и заставил ее отдать огромную часть мирового рынка немцам, с третьей — образовал в самой Англии многочисленный контингент безработного, прямо

умирающего с голода люда, представляющий великую государственную опасность.

ХII

При всем безобразии нашего бюрократического строя рабочий вопрос в министерство Бунге был у нас поставлен довольно правильно. Стачки считались незаконными и не допускались, но правительство ввело фабричную инспекцию и ряд законов, регулирующих труд. Был поставлен известный *mini-tum* условий, которым фабрика должна была удовлетворять в отношении рабочих. Вопрос о заработной плате был предоставлен свободному соглашению сторон.

В результате получилось попечение о рабочем как о человеке и гражданине, внешний порядок и полное невмешательство в отношения экономические. Избытку населения, обращавшемуся на фабрику, представлялось предлагать свой труд, где и как ему выгоднее, а так как шел предлагать свой труд почти всегда член семьи *земельного крестьянина*, то его положение и заработок как рабочего являлись всегда лучшими по отношению к земельному крестьянству. Иначе не было бы смысла идти из деревни на фабрику.

И если наша заработная плата была невысока и жилось рабочим неважно, то все-таки их положение, во-первых, было всегда лучше крестьянского, во-вторых, в России почти не было безработных. Все теснились, но все же так или иначе пристраивались и кормились.

Довольно было нашему правительству смалодушествовать и под впечатлением паники январских дней 1905 года в Петербурге допустить и узаконить стачки, чтобы наш рабочий вопрос сразу же обострился, как никогда, сделался губительным для русской промышленности и явился могущественнейшим орудием в руках деятелей революции. Довольно было допустить рабочие организации, чтобы такие тотчас же попали в руки «освободительного движения»,

то есть социал-демократов и «бунда», и стали величайшей опасностью для государства.

Получилась такая картина. Экономические отношения по самой природе своей не такого свойства, чтобы их было легко регулировать вмешательством ли власти или какими бы то ни было рабочими организациями, стачками и забастовками. Их можно насильственно нарушить, надолго исковеркать; можно перепутать и ослабить всю промышленность, но *нельзя рабочему классу за счет капитала улучшить свое положение*. Это самая вредная и дикая из утопий. Улучшить насильственно свое положение могут разве *некоторые* рабочие за счет *остальных*, выбрасываемых на улицу, но и это улучшение является только *мнимым*, так как нарушенная экономическая жизнь и ее законы мстят за себя с жестокостью беспощадной.

Сегодня рабочий путем стачки увеличил свое вознаграждение на 10 процентов — завтра же чувствует он, что условия жизни вздорожали на 15 процентов и он остался в чистом убытке.

Неужели же не очевидно, что для освободительного движения, для всех вчера еще ворочавших судьбами России конституционалистов-демократов, социал-демократов и социал-революционеров не *это* главное? Не сытость и благосостояние рабочего класса их интересует. Это только предлог. Они обманывают рабочих, быть может, бессознательно, вследствие своего полного невежества в политической экономии и делают их орудием своей политической агитации — и только. В лице рабочего класса им нужна человеческая толпа, масса, дисциплинированная и объединенная в их руках и послушная их команде для борьбы с государством. Чтобы понять все это и определить, довольно взглянуть на такие стачки, как железнодорожных и городских рабочих.

Слов нет, и частные, и казенные наши дороги были очень виноваты в том, что недостаточно следили за отношением размера вознаграждения своих служащих к условиям жизни. Множество низших агентов получают за свой труд непропорционально мало и зачастую живут впроголодь. Это обстоя-

тельство, это преступное невнимание «начальства» в сильной степени оправдывает несчастных служащих в их податливости на соблазн главарей революции. Но оно ничуть не оправдывает вожakov революционного движения. Стачка железнодорожного персонала, направленная к прекращению движения по линиям, не может быть даже и близко приравнена к стачке рабочих на какой-нибудь фабрике. Железная дорога монополизировала все перевозки, убила всякую иную возможность сообщения. Перерыв железнодорожного движения ставит в критическое положение город как потребителя и деревню как производительницу. Скот, молоко, дрова, многое множество продуктов первой необходимости, делая пробку, одинаково разоряют и город, и деревню. 3—5—10 рублей прибавки к жалованью какого-нибудь товарного кондуктора или стрелочника, вымогаемые этим путем, вызывают такое колоссальное количество убытков для всей страны, сопровождаются такими страданиями и несчастьями, что не только не могут быть ничем оправданы, но составляют прямое и тяжкое преступление перед родиной и преступление тем более ужасное, что его авторы, господствуя над бессознательной массой, творят его совершенно холодно и сознательно, обращая забастовку экономическую в забастовку политическую.

Народу, не спрашиваясь у него, навязывают свои собственные книжные и теоретические построения, ломают у него на глазах привычную его государственность и этот же самый народ заставляют оплачивать эти опыты ценой великого и всеобщего разорения, кровавых смут и анархии.

ХІІІ

Бывало ли когда-нибудь в мире худшее и преступнейшее проявление деспотизма? И если это называется «освободительным движением», то что же тогда называется гнетом, тиранией и произволом?

Нужно ли говорить про забастовки водопроводные, фармацевтические или недавнюю забастовку почтово-телеграфную?

А мы пережили и их. Когда заглядываешь в условия почтово-телеграфной службы, когда видишь преступное нежелание начальства изменять хоть немного действительно капризное положение несчастных людей, обслуживающих доходнейшее ведомство, разумеется, не чувствуешь в себе мужества обвинить голодную толпу, заведомо направляемую на гнусное и скверное дело насилия над всем народом. Но тем сильнее, тем категоричнее наше осуждение революционным главарям.

Вы, господа, стоите за обездоленных? Просите, *требу́йте* наконец справедливого и безобидного для народа вознаграждения почтовых и телеграфных служащих. Помогите вырабатывать законные нормы их вознаграждения и предъявите эти нормы кому следует. Будьте уверены, что *теперь* ваши требования будут быстро и справедливо уважены. Но, прежде всего, оставьте этих самых несчастных тружеников в покое, не налагайте на родину их руками лишних страданий и разорения, не ввергайте ее в анархию.

Но в том-то и дело, что этим элементам было нужно не быстрое и справедливое удовлетворение тружеников, а *сами эти труженики* как армия революции, как орудие политических домогательств и переворота.

Ну и чего же они добились, наконец? Народ в его массе уже начал выходить из напущенного тумана и после первых же моментов торжества революции ответил на нее то грозными репрессиями в Нижнем, Балашове, Кишиневе, Твери, Томске и других городах, то мирными демонстрациями необыкновенного ума, достоинства и юмора, как в Нежине.

«Еще немного, — писали мы в № 40 *«Русского дела»* за 1905 год, то есть в самый разгар забастовок, — и правительство почувствует точку опоры в пробужденном народе, выйдет из-под вашего гипноза и освободится от охватившей его трусости и нерешительности. Реакция уже начинается. Вы полагаете на нее ответить новыми взрывами мятежа, новыми забастовками? А если дисциплинированные вами рабочие массы ускользнут из ваших рук? Если та резня и гражданская война, которую вы уже вызываете еще и еще, окончится вашим поражением?

Подумали ли вы, что это будет торжеством только старого бюрократического строя, возвратом к реакции, которая закует Россию надолго, ибо все освободительное движение с начала и до конца будет вами бесповоротно и надолго скомпрометировано? И опять заглохнет творческая мысль, опять водворится полицейский режим, опять наступит царство чиновника, который при всем своем нравственном и политическом ничтожестве, при всем беззаконии и воровстве все-таки умел оберегать общественный порядок.

К чему и для кого вы все это говорите? — спросит читатель. Есть старая английская поговорка, гласящая, что “из всех глухих самый глухой тот, кто не желает слушать”. А таковы — увы! — наши вожаки и герои социального переворота. Они идут все вперед и вперед, не разбирая средств, не видя цели, не зная конца. Глубоко трагична их судьба — быть живыми жертвами конца смрадного и позорного петербургского периода русской истории».

События нас оправдали. Социальная революция сошла на нет, социализм остался только в разгоряченных мозгах молодежи да в диких мечтах рабочих, еще не освободившихся от тумана, напущенного грошовой социальной литературой. Будущности у социализма не оказывается, болезнь идет на излечение, опыт дал результаты, противоположные ожиданиям фанатиков социализма.

Пожелаем же нашей молодежи скорейшего вытрезвления, а бедной родине успокоения. Но оно наступит не раньше, чем у господ социальных утопистов не будет вырвана почва и русская экономическая жизнь не подвергнется коренной дезинфекции и оздоровлению.

ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС

Мы всегда искреннейшим образом отвращались от еврейского вопроса. И не потому, чтобы мы евреям сочувствовали или боялись их, а потому, что трудно и больно прямо говорить о вопросе, который в глубине совести считаешь *неразрешимым*. То есть неразрешимым для петербургского периода русской истории, ибо допетровская да отчасти и петровская Русь его решала совершенно твердо и правильно. «Вот это наша, русская земля, наша родина, наш дом. Евреи — недруги христианства, и им здесь места нет». «От врагов Христовых интересной прибыли не желаю». Это говорила всего полтора столетия назад дочь Петра Великого. И евреев в России не было.

Худо ли, хорошо ли, но это было решение еврейского вопроса, великорусское, несомненное и категорическое. Другое решение, столь же категорическое, давали малороссы. Вспомните замечательную картину в «Тарасе Бульбе» у Гоголя. Барин и рыцарь, безумно храбрый и бесконечно ленивый казак Запорожской Сечи без услуг еврея обойтись не мог. Но он «держал» евреев, как держат тот или иной живой инвентарь, в определенном количестве. Постепенно евреи размножались, забирали запорожцев в кабалу и становились тяжелыми, как общественный класс. Казаки проедались, пропивались, впадали в долги, наконец им это надоедало, и тогда происходил своеобразный еврейский погром: лишних без церемонии кидали в Днепр. Наши современные еврейские погромы представляют только отголосок классического «доведения до нормы» еврейского элемента.

Но заметьте, тут же рядом, и вплоть до сего дня: подают крестьяне (малороссы, конечно) просьбу о переселении и при ней список. Чиновник читает и видит: вместе с крестьянами стоит Мошка Зильберман. — Это что? — «Та-ж нам без його не можно, ваше благородие»!

И действительно, великоросс найдется везде сам и ему еврей не нужен, малоросс без еврейской услуги обойтись не может, и *одного* Мошку Зильбермана, вместе с его Хайкой, готов даже к своему обществу приписать, но когда эти Мошки размножатся и заберут его в кабалу, он таит в душе неугасающую надежду *лишних* перетопить в Днепре.

Вот два русских решения, повторяем, совершенно категорических. До *качества* их мы не касаемся, но приводим их лишь как факт, достаточно обоснованный и в истории, и в народной психологии.

Третье решение было *польское*. Психологически оно было почти тождественно с малорусским, но в момент появления евреев Польша была государством очень сильным, очень идеалистическим (вернейшая дочь Римской Церкви!) и совершенно беспутным. Польша не дала евреям больших прав, но уступила им промышленность и торговлю и позволила безгранично размножаться. Не успели поляки оглянуться, как уже в их отечестве образовалось два слоя: городской и капиталистический, почти сплошь еврейский, и сельский — христианский. Это польское село евреи, рука об руку с иезуитами, высосали экономически и развратили так глубоко (панов — классицизмом, римским и крепостным правом, крестьянство — безысходным рабством), что Польша не устояла и свалилась, главной и огромной своей частью упав в Россию. Евреев русский народ не призывал и не принимал, он получил их в наследство вместе с территорией Речи Посполитой.

Что могла сделать Россия? Попытаться установить некоторую китайскую стену в виде пресловутой «черты еврейской оседлости». Вне этой черты евреи были по-прежнему лишены права жительства. Забравшийся в Россию еврей, не имея здесь больших прав и резко выделявшийся и расовыми признака-

ми, и костюмом, очевидно, никаких корней пустить не мог, и его контрабандный характер был слишком заметен. Но и при этих условиях еврейство начало просачиваться в большие центры России неудержимо, как просачивается вода сквозь худо устроенную плотину. Так продолжалось до середины 50-х годов, когда севастопольская волна, всколыхнувшая всю Россию, поставила на очередь и еврейский вопрос.

Ни русское правительство, ни русское общество того времени, охваченные либерализмом, гуманностью и другими хорошими чувствами, вовсе и не подозревали, что их новая программа приобщения евреев к русскому просвещению и русской гражданственности будет в самом скором времени иметь последствием истинное затопление России еврейством и *полную невозможность* в дальнейшем ходе истории *как бы то ни было разрешить еврейский вопрос*.

Мы водворили в русском обществе три новых типа граждан, снабдив их правом свободного перехода через плотину «еврейской оседлости»: во-первых, еврея, получившего высшее образование, во-вторых, еврея — крупного капиталиста и экономического деятеля (купцы 1-й гильдии), наконец, еврея — ремесленника. В ту же минуту плотина оказалась наполовину разрушенной, и поток хлынул: прибежал еврей просвещенный и сразу захватил важнейшие умственные отправления страны: адвокатуру, медицину, профессию, и, что самое страшное, печать. Прибежал еврей-капиталист и захватил все экономические центры общественной жизни: банки, биржи, акционерные компании, комиссионерства, железные дороги, страховые и транспортные предприятия, оптовую торговлю. Прибежал еврей-ремесленник, на $\frac{9}{10}$ мнимый, обслуживать русский народ мелким кредитом, мелкой торговлей, наиболее легкими ремеслами: портняжничеством, часовщицеством, производством уксуса, сургуча, ваксы, пробок, большей частью *для вида*, ради получения права на жительство, а в действительности помогать ликвидировать старую культуру, пускать ее в лом. Именно в это время шло гигантское разорение России. Сколько лесов сведено при посредстве

евреев, сколько уничтожено усадеб, мелких промышленных дел, сколько разорено и высосано имений! Полвека не прошло с первого легкого послабления евреям в России, а уже оккупация ими нашей бедной Родины можно сказать закончена! Что пользы издавать теперь ограничительные законы, когда и в столицах, и во всех мелких и крупных центрах евреи засели территориально и капитально, когда ликвидировать их землевладение и домовладение уже фактически невыносимо? Уберите из Москвы Поляковых и Гиршманов, из Петербурга Гинцбургов и Ротштейнов, из Киева Бродских, из Варшавы Блюхов и Кронебергов! Освободите сполна захваченную евреями печать, сцену, эстраду, аптеку, лабораторию (про торговлю и не говорим), лишите права жительства и удалите вновь за черту сотни тысяч так называемых ремесленников. Возможно ли это сделать, возможно ли отвести Волгу из ее русла? Если мы этого не могли бы сделать под Осташковым, то тем паче это невыносимо у Самары или Саратова.

Мы не решаем и не пытаемся решить еврейский вопрос в *этом*, современном его фазисе. Его древнее русское решение отменено, нового решения не видно, видны лишь все более и более растущие волны миродержавного разлива...

Помещаем отрывок и полученного нами письма из Женевы по этому вопросу от одного русского г. *Е. Ш.*, постоянно там живущего:

«Еврейство слишком дает себя чувствовать, опасность от него для нас, русских, громадна; но мы не хотим сознавать этого. Еврейство “ученое” и литературное подкупает просвещенных русских людей и тех, которые желают казаться просвещенными, своими высокими принципами — свободы, общечеловечности, справедливости и т. д. Но они, русские люди, не видят или не хотят видеть, что эти принципы в еврейских устах имеют другую окраску, и даже более — другую сущность, чем те, которые дало и дает нам христианство; что под той же формой преподносится нам нечто иное по существу, суррогат. И я глубоко убежден, или, по крайней мере, чувствую это всем своим существом, что эти еврейские принципы, сходные с христиан-

скими (и взятые из христианства), незаметно, но верно расшатывают и нашу христианскую этику, и нашу веру, и наши русские идеалы, и устои жизненные, и характер, и проч. и проч. (Я не касаюсь материальной, экономической стороны дела, которая у всех на виду.) Враг в лице «просвещенных» евреев тем более опасен, что его воздействие, его губительное влияние совершается незаметно, и притом путем печати, являющейся страшной силой. Борьба с этим врагом необходима, и борьба упорная, ибо это борьба не Ивановых с Зильберштейнами, но борьба христианства с еврейством, христианских светлых и чистых принципов с мутными и безнравственными (Талмуд) принципами еврейскими. Нас не должна ни удивлять, ни останавливать такая борьба, ибо это та великая борьба, которую начал еще апостол Павел, которую продолжали многие народы и которая будет продолжаться до скончания мира, “дондеже весь Израиль спасется”.

Она необходима как для нас, так и для самого Израиля: для нас — она средство к самозащите и побуждение к бодрствованию, для Израиля — она условие его спасения, обращения, перерождения. Здесь пред нами одна из величайших коллизий, которых немало в христианстве: считать врагами и бороться с теми, которых нужно любить как «человеков». Итак, по примеру великого апостола и мудрейшего христианина, будем бороться до конца, но христианскими средствами — удалением, прекращением общения, обнаружением козней врага, изолированием, где нужно — любовью и милостью, где нужно — гневом и силой (разумею нравственную силу — например, закон, литература и проч.). Поэтому, С. Ф., выражение — *уже поздно* — благоволите заменить девизом: *будем бороться всегда и везде!*»

Увы! Этим себя утешить даже на минуту нельзя. Еврейский вопрос — религиозный лишь косвенно, и не на этой почве предстоит борьба; суть еврейского вопроса заключается исключительно в *расовых свойствах* еврейского племени, как прирожденных, так и воспитанных несколькими тысячами лет гнета и борьбы с другими расами и племенами. Именно в силу

этих свойств борьба возможна лишь до тех пор, пока евреи не перешли по своей численности и общественному положению известной границы. На Западе эта граница перейдена давно, у нас определенно сказать еще нельзя, но, судя по безуспешности борьбы, которую от времени до времени начинает государственная власть, граница эта перейдена тоже, и можно повторить лишь: «поздно».

Да, поздно, поэтому у нас нет и не может быть теперь никакой сколько-нибудь реальной и осуществимой *программы* по еврейскому вопросу. Нечего предложить, не о чем хлопотать. Бесплезность каждой проектируемой меры, несостоятельность каждого возможного направления в еврейской политике бьет в глаза. Возьмем главные пункты:

1. Возврат к древнерусскому взгляду: *удаление всех евреев без всякого исключения*. Очевидный абсурд. Некуда удалять, да и средств не найдется.

2. Малороссийский взгляд: уничтожение излишних, то есть погромы. Нужно ли говорить, что в современном государстве этот возмутительный сам по себе и нехристианский взгляд даже немислим?

3. Полное уравнивание прав, уничтожение черты оседлости и пр.? А Галиция? А современная Франция, Венгрия, Австрия, Германия? *Г. Непризванный* совершенно справедливо указывает ниже, что славяне по своей природе особенно идеалистичны, то есть особенно беззащитны в борьбе с евреями.

4. Наконец, политика слияния. Смешанные браки, переход евреев в христианство? Увы! Это тоже не решение вопроса. Еврейская кровь, влитая в арийскую, претворяет ее до такой степени, что новая раса становится своего рода бичом Божиим среди того народа, который этот опыт в больших размерах проделал. Живой пример — Венгрия, где евреи слились совершенно с верхним венгерским классом и фактически растворили его в себе. Это же движение идет в Польше, обуславливая полное разложение исторических культурных родов.

Что же касается перехода евреев в христианство, то, при ослаблении в нас церковного духа и веры, каков будет в новой

вере гораздо более крепкий духовно еврей и по каким мотивам он здесь очутится? Не говорим об исключительных случаях искреннего перехода единиц, но огромное большинство разве не делает из этого акта очевидного гешефта?

Можно ли об этом серьезно говорить? Не наоборот ли? Не следовало ли бы установить более осмотнительный и строгий прием евреев в христианскую сферу?

Мы глубоко убеждены, что еврейский вопрос неразрешим. Оттого так тяжело и грустно о нем говорить.

РОССИЯ БУДУЩЕГО

ЧЕРЕЗ ПОЛВЕКА

Фантастический политико-социальный роман

Часть первая Вместо предисловия

Как ни хлопотал я, как ни старался найти несколько недель посвободнее, чтобы закончить шалость пера, которую я обещал читателям под громким названием «романа», — ничего поделать не мог. Ни весной, ни летом, ни осенью свободно-го времени не оказалось, а потому должен был ограничиться тем, что пересмотрел и несколько переделал уже написанную раньше первую часть, т. е. почти *треть* намеченного, и издаю ее в свет с моими обычными извинениями, к которым читатели так привыкли.

Называю это произведение шалостью, конечно, только по форме и по обстановке писания. Имей я возможность практически соблюдать священный завет литературы «Служение муз не терпит суеты», вышло бы, может быть, нечто совершенно иное, цельное и даже художественное, теперь же это лишь очень плохое исполнение некоего хорошего замысла.

Об этом замысле разрешите сказать два слова.

Литература «романов будущего», с легкой руки Беллами, разрослась до огромных размеров. В самом деле, в этой форме сойдет самое несуразное вранье, лишь бы рассказ носил хоть сколько-нибудь занимательный характер и рисуемое будущее было лучше настоящего. А так как хуже последнего, собственно говоря, никто ничего не придумает, то это удивительно облегчает задачу наших российских Жюль Вернов и Фламарионов.

В эту шеренгу захотелось встать и мне с похвальной, впрочем, целью. Я хотел в фантастической и, следовательно, довольно безответственной форме дать читателю практический свод славянофильских мечтаний и идеалов, изобразить нашу политическую и общественную программу как бы осуществленной. Это служило для нее своего рода проверкой. Если программа верна, то в романе чепухи не получится, все крючки на петельки попадут. Если в программе есть дефекты принципиальные, они неминуемо обнаружатся, как обнаружались дефекты будущего социального строя, несмотря на огромный талант Беллами и удивительное умение этого автора кататься на самых смелых турусах на колесах.

В первой части мне удалось затронуть следующие важные вопросы: о печати, о приходе, о денежном обращении и кредите, о евреях, о женском и общем образовании, о славянстве, об административном и земском устройстве России, о Церкви, старообрядцах и старокаатоликах. Все это заняло 20 глав.

Во второй и третьей части когда-нибудь надеюсь нарисовать будущую культурную и богатую сельскую Русь с будущей общиной и помещиком, пройти вопросы народного образования, продовольствия, податный, судебный, сословный, рабочий.

Прошу читателя отнюдь не думать, что я пытаюсь *предсказать* что-либо. Отнюдь нет: я очень хорошо знаю, что ничего подобного не будет. Я хотел только показать, чтобы могло бы быть, если бы славянофильские воззрения стали руководящими в обществе и правящих сферах.

Повторяю: сделано это только наполовину и притом из рук вон плохо. Переделка улучшила мало. Ничего не подделаешь с тоном, который уже взят. Но я прошу снисхождения хотя бы уже ради того, что «роман» этот в свое время писался фельетонами в уличную газету, которую я возымел дикое намерение «отмыть» и «приподнять», но которая упорно старалась меня запачкать по уши и втянуть в свое болото. Очень уж было заманчиво в невинной форме изложить заветную политическую, церковную и общественную программу

славянофильства перед тридцатитысячной аудиторией простецов, никогда ни о чем подобном не слыхавших.

Не без некоторой досады пускаю я эту фантазию в печать за моей подписью. Лучше бы она могла быть, много лучше. Ну, да ничего не поделаешь...

Октябрь 1902, Москва

I. Искушение

24 июля 1899 года, вечером, я попал в один кружок. Было много незнакомых мне лиц. Как водится, сидели, пили чай и бранились. Бранились не между собой, а вообще, т. е. бранили нашу русскую современность во всех ее видах.

Что же делать? Бранить все и всех — наша национальная слабость. Да и то сказать: разве же нам хорошо живется? Разве не нависла над почтеннейшим нашим отечеством густая туча всевозможных недоразумений, из которых многие прямо могут отравить жизнь?

Не бранятся у нас разве только люди, целиком отдавшие себя на служение мамону, да и те, лишь пока им везет удача. Не бранятся еще, когда пьют водку. Тогда всякая политика откладывается сама собой, люди предаются блаженству свинского времяпрепровождения, затем теряют образ человеческого и начинают уже не браниться, а ругаться и сводить между собой старые и новые счеты, кончая иногда фонарями (не электрическими), а в публичном месте — и полицейским протоколом.

Наша компания пила только чай, и даже без коньяку, и бранилась очень усердно. Бранили все окружающее, всю русскую жизнь, доходили даже до очень печальных пророчеств. России прямо сулили разложение и гибель, если так пойдет дальше.

Этот, совсем уже крайний, взгляд вызывал, однако, возражения. Возражали, что хоть сейчас и дурно живется, но

все-таки Русь-матушка идет по своему историческому пути вперед и вперед; что перемелется — мука будет... и т. д.

Я прислушивался и не выдержал:

— Эх, дорого бы я дал, чтобы дожить да посмотреть, что у нас лет через сто будет?

Это мое восклицание никем поддержано не было, но я увидел, что на меня пристально посмотрел нестарый еще человек, сидевший в сторонке, да так посмотрел, что мне жутко стало. В этих черных, блестящих глазах было что-то пронизывающее, острое, углубляющееся в самую душу.

Должно быть, я смутился от этого взгляда. Велика и могущественна тайна, скрытая в глазах у человека. Что такое, в самом деле, глаз? Ничего особенного. Камера-обскура, фотографический аппарат без пластинок. Подите-ка, определите, отчего одни глаза вас ласкают, радуют и манят к себе, обдавая, словно солнцем и теплом, а другие колют, как кинжалы?

Через минуту этот человек подошел ко мне и сказал тихо:

— Правда, вы хотели бы увидеть, что будет через сто лет в России?

Я оправился от моего смущения и отвечал:

— Да, очень бы хотел.

— Seriously?

— Совершенно серьезно.

Он подумал немного.

— Сто лет с лишком — длинный срок. Жизненная сила человека не выдержит и погаснет. Но лет на пятьдесят заснуть можно. Да и на что сто лет? В России идет все с такой быстротой, что вы ее и через пятьдесят лет не узнаете. Возьмите, например, хоть бы последнюю половину девятнадцатого века. Разве Россия 40-х годов хоть издали похожа на Россию девяностых?

— Все равно, и через полвека любопытно...

— На этот срок заснуть можно...

— В самом деле? Это не сказка и не шутка?

— Ничуть. Это великое научное открытие, сделанное, разумеется, не нашей европейской наукой...

— А чьей же?

— Индийской. Мы привыкли искать там магии, фокусовничества. Между тем в смысле изучения основных свойств человека, особенно его нервов и души, там ушли очень далеко. Да неужели вы не читали о тамошних опытах временного прекращения жизни?

— Читал что-то... Кажется, там зарывали в землю усыпленного факира и через несколько времени пробуждали. Только я был уверен, что это вздор, сказки, что-нибудь вроде рассказней покойной Блаватской...

— Вы ошибаетесь. Это не фокусы, а совершенно серьезные научные опыты. Человека, разумеется, если он сам желает, усыпляют на очень продолжительный срок. Его тело тщательно хранят, потому что, вы понимаете, в этом все дело. Затем осторожно возвращают к жизни. Он не только не подвергается никакой опасности, но в течение своей длинной летаргии (и чем срок дальше, тем верней) излечивается от некоторых внутренних болезней.

— Это удивительно.

— Вы бы согласились испытать это на себе?

— Да вы это серьезно, или вы надо мной смеетесь?

— Полноте! Это было бы слишком с моей стороны глупо.

— Но кто же это может сделать? И где?

— Здесь, в Москве. С неделю назад сюда приехал очень замечательный молодой индус-ученый. Я с ним познакомился совершенно случайно. Он здесь пробудет неделю; он остановился на пути в Париж, чтобы познакомиться с некоторыми здешними врачами и знахарями. Знаете ли вы, что двух наших москвичей он уже усыпил?

— Неужели! Кого же?

— Купца и молоденькую барышню. Купцу предстояло лететь в трубу, а человек был честный и порядочный и потому хотел застрелиться. Я предложил ему пожертвовать собой для опыта. Он взял самый длинный срок — пятьдесят лет. Охотно сам пошел. «Тогда, — говорит, — наверно, люди будут гораздо честнее, а теперешних я, — говорит, — и видеть не хочу. Пусть их за это время переколют!»

— Ну, а барышня?

— Та от безнадежной любви. Влюбилась в какого-то шута горохового, совсем уж и свадьба была назначена. Вдруг перед самым венцом тот, жених-то, заявляет, что он отказывается, потому что тятенька обещал из дому выгнать и денег гроша не дать. А дело-то у них, понимаете, зашло дальше, чем нужно. Особенных последствий нет, но вокруг ракитова куста уже повенчались. Ну, вот, вы и представьте себе положение барышни. «Отравлюсь» или «утоплюсь» — и конец. Я и говорю: чем травиться или топить, поезжайте-ка вы лет на пятьдесят в отпуска на тот свет. Проснетесь опять молоденькая и хорошенькая и карьеру себе еще лучше потом делаете. Что вы думаете? Согласилась. Повез я ее к моему индусу, и тот ее живо обработал. Дня два тренировал, на третий спеленал, запечатал и лежи!.. Так пойдем?

— Ну, а если какая-нибудь ошибка, да не проснешься? Тогда что?

— Все равно, к Страшному Суду проснетесь. Еще лучше, меньше нагрешите. Только на этот раз я шучу, не бойтесь. Наука у них безошибочна...

— Позвольте... но ведь в эти пятьдесят лет меня, т. е. мое тело, будет нужно хранить... Вы подумайте только. Разве у нас сберегут как следует? Либо пожар, либо подмочат, или заморозят.

— Будьте покойны. У него это все предусмотрено.

— Именно?

— Да что вы меня расспрашиваете? Пойдемте к индусу. Ведь вас никто не неволит непременно засыпать. Пойдемте так, посмотреть, познакомиться. Зовут его доктор Блэк. Он вам покажет много любопытного. Поговорите с ним. Это большая умница. Вы по-английски говорите?

— Говорю.

— Ну, так вам и переводчик не нужен. Пойдемте, право, будете меня потом благодарить...

Мне оставалось только согласиться. Мы вышли, сели на собственную пролетку моего знакомого, и раскормлен-

ный рысак, широко раскачиваясь на ходу, понес нас на одну из окраин Москвы.

II. Доктор Блэк и его обстановка

Я посмотрел на часы, когда кучер круто осадил лошадь у старого массивного каменного дома. Было ровно одиннадцать вечера. Луна ярко светила. Мы вошли в ворота, прошли два двора, вышли в калитку и очутились в очень густом и заросшем саду, полном слив, яблонь и груш. Деревья ломились под множеством плодов и были со всех сторон подперты жердями. Пройдя шагов сто по извилистой дорожке, мы увидели узенькую площадку-цветник и за нею двухэтажный каменный особняк, весь оплетенный брионией и диким виноградом.

Четыре окна наверху были освещены голубоватым светом, а внизу, на площадке, за красивым садовым столиком, на котором стояла свеча в круглом стеклянном колпаке, сидел молодой человек в костюме английского туриста и читал газету; на ее заголовке стояло «India News».

— Позвольте вас, господа, познакомить, — произнес по-английски мой спутник.

Он назвал меня. Сидевший за столиком оказался доктором Блэком.

— Это не настоящее его имя, а псевдоним, под которым он пишет в английских журналах и путешествует. Настоящее его имя и не выговоришь. Да вам оно и не нужно.

Доктор Блэк подал мне руку и мягко пожал мою. Никогда еще не видел я такой руки. Она была нежна и совершенно мягка, как будто в ней вовсе не было костей.

Мы уселись, и я мог рассмотреть доктора.

Его возраст было трудно определить, как вообще лета человека другой расы. Ему было, по-видимому, не больше тридцати. Маленького роста, очень сухощавый и стройный. Гладко зачесанные черные, как вороново крыло, волосы.

Характерный серо-желтоватый цвет кожи. Маленькие усики с остро закрученными концами. Великолепные белые зубы, видимые, впрочем, очень редко, так как доктор почти не смеялся, и замечательные глаза, еще более проникавшие в душу, чем у моего спутника, — глаза почти фосфорические, властные и повелевающие. Мне, мужчине, становилось от них жутко; можно себе представить, как трепетали перед этим взглядом и повиновались ему нервные женщины...

— Я уже собирался уходить, — заметил доктор. — Становится сыро, да только очень хорош вечер. Хотите пройти ко мне наверх?

Доктор говорил без акцента на прекрасном английском языке, но несколько певучее, чем англичане. Мы пошли за ним.

Роскошно отделанная комната была оклеена светло-голубыми обоями и освещалась лампой с горелкой накаливания под синим стеклом. Это придавало всей обстановке некоторую таинственность, усиливавшуюся от своеобразного убранства. Огромный, крытый коврами диван занимал всю стену; кругом висели дорогие старые гравюры и картины. Большой стеклянный шкаф был наполнен, словно лаборатория, объемистыми склянками с притертыми пробками. В раскрытом сундуке в углу помещались тоже светлые и темные бутылки с жидкостями и металлические ящики с сухими препаратами.

Традиционных принадлежностей всякой магии — скелетов, черепов, чучел и т. п. — не было и в помине. Зато под большим стеклянным колпаком стояли дорогие химические весы.

Тяжелая портьера отделяла соседнюю комнату, которая тоже была освещена, так как в узенькую щель проникал луч света. Пахло слегка лабораторией, хотя были открыты окна.

— Чаю, господа? Я угощу вас превосходным чаем с моей родины.

Доктор два раза ударил в ладоши, и перед нами появился малайский мальчик, одетый в национальный костюм. Блэк сказал ему два слова, тот исчез и через минуту появился с чайным прибором.

Мы расположились поудобнее, и между нами начался общий разговор, который скоро перешел на магию, мертвецов и всякую чертовщину. Я, конечно, интересовался больше всего опытами долголетнего сна и хотел узнать все подробности. Особенно занимало меня хранение тела в такой долгий срок, как тридцать или пятьдесят лет. Доктор Блэк охотно отвечал на мои вопросы.

— Я делаю обыкновенно так: помещаю усыпленного пациента в два герметически закрытых ящика; сначала в стеклянный, который запаиваю стеклом, затем этот первый ящик ставлю в очень просторный и прочный железный футляр и, залив промежуток гипсом, снова запаиваю. Получается укупорка безусловно герметическая. Затем важно только, чтобы вокруг тела не было резких колебаний температуры и, конечно, никакой внешней опасности: пожара, наводнения, разграбления.

— Значит, где же хранить тело лучше всего?

— Я думаю, всего безопаснее похоронить, как обыкновенного мертвеца, лишь бы было достаточно глубоко.

У меня мурашки пошли по коже.

— Ну, а если в срок не догадываются или забудут, то и конец? А ну, как он там проснется?

— Сам пациент проснуться не может, а на случай забвения очень легко принять меры. Я составляю самую точнейшую инструкцию, как оживлять, вкладываю ее в запечатанный конверт и делаю надпись: «Вскрыть такого-то года и числа». Этот конверт всегда можно сдать на хранение в совершенно благонадежное место. Я сдаю обыкновенно в Парижскую академию, которая наверно и через пятьдесят лет будет существовать. Когда наступит срок, конверт будет вскрыт. Там найдут полное указание, где похоронен пациент и что с ним надлежит делать.

— Оживление очень трудно?

— Наоборот, оживление гораздо проще усыпления. Довольно вернуть телу нормальную температуру и влить в него живой крови...

— Как влить? Разве кровь будет выпущена?

— Непременно. До последней капли. Только при этом и могут быть безопасно остановлены все жизненные процессы на долгое время. Я останавливаю жизнь, но ее оболочку оставляю и храню в полной готовности жизнь снова принять. Вливается свежая кровь, и тело оживает.

— Но откуда же вы возьмете свежей человеческой крови?

— О, это делается и сейчас! Очень просто. Приглашаются три-четыре здоровых человека. Вскрывается на руке артерия, например, *arteria brachialis*, и такая же артерия у пациента. Затем обе артерии соединяются гуттаперчевой трубкой, сердце действует, как насос, и живой человек отдает некоторую долю своей крови. Потом берут часть у другого и т. д. Затем действуют электричеством. Тотчас же восстанавливается деятельность сердца, и человек оживает.

— И неужели все отправления будут восстановлены, и разум, и память?

— Все в неприкосновенности.

Мы пили чай и продолжали наш разговор. Доктор Блэк и не пытался меня уговаривать подвергнуться его удивительному опыту. Мы попробовали еще каких-то индийских ликеров. Мало-помалу я начал чувствовать сладкую истому во всех членах и понемногу дремать.

Было уже 2 часа ночи. Мы засиделись и не заметили времени. Мой спутник предложил, наконец, мне ехать домой. Но я был бесконечно признателен доктору Блэку, который избавил меня от скучной операции возвращения по скверным московским мостовым. Радушно и просто предложил он мне уснуть на этом же диване; доктор заявил, что он живет один и я его нисколько не стесню.

Мой спутник распрощался и уехал. Малаец-слуга принес прекрасное белье, подушки и одеяло, и мы расстались с доктором Блэком, сердечно пожав руки и пожелав друг другу доброй ночи.

Я ложился в необыкновенно радужном и светлом настроении, в каком давно себя не чувствовал. Сердце едва билось, но ровно и сладко. Голова была свежа, чудные грезы начинали

окружать меня наяву. Прошедшее, настоящее, все заботы, печали, дела куда-то отодвинулись. Я чувствовал себя вне пространства и времени, и это тихое блаженство радости и покоя приписывал удивительным индийским ликерам.

«Разумеется, — думал я, — туда было подложено что-то усыпляющее, наркотическое, здесь у нас в Европе еще неизвестное...»

От овладевшей мной истомы я едва мог раздеться. Грезы становились все прекраснее. Где-то вдали раздавалась чудная тихая музыка, к которой упорно хотелось прислушаться. Этот новый мир охватил меня всего, едва моя голова коснулась подушки. По старой привычке я хотел было закурить папиросу, но сил уже не было.

Несчастный! Я и не подозревал страшного двойного предательства: и со стороны моего спутника, привезшего меня сюда, и со стороны этого ужасного доктора Блэка. Мне и на мысль не приходило, чтобы, заснув 25 июля 1899 года в 2 час. 30 мин. утра, я проснулся только 7 октября 1951 года, пролежав пятьдесят один год и два месяца под землей на кладбище одного из московских монастырей и возвращенный к жизни чистой случайностью.

III. Пробуждение

Но погибнуть мне не было суждено. Наступил момент моего пробуждения. Ко мне начало понемногу возвращаться сознание. Затеплилось чуть заметно мое «я», ожил мозг. Я начинал сознавать, что существую; реально это выражалось в том, что было различимо слабое ощущение холода и еще более слабое появление теплоты, как будто меня согревали и никак не могли согреть, не могли одолеть мертвенного холода, который сковывал все мое тело.

Но тела своего я не чувствовал. Я не мог бы найти сам своим самосознанием, где у меня рука, глаз, ухо. А кругом был мрак и мертвая тишина.

Теплота, однако, усиливалась. Понемногу я начал ощущать, вернее, сознавать несколько мест, очевидно, мне принадлежавших, которые не то терли, не то мяли. Начал чувствовать, как поднимают и опускают мои руки, сгибают ноги, давят грудь и накачивают в легкие воздух. Но я не мог ни открыть глаз, ни чего-либо услышать, кроме неопределенного далекого шума. Затем я почувствовал несколько резких болезненных толчков и сильнейшую боль в спине и конечностях. Шум распался уже на отдельные голоса. Я слышал почти над самым ухом французские слова:

— *Le coeur va bien. Il est sauvé!*

Это были первые слова, которые я понял. Но ни ответить, ни шевельнуться, ни открыть глаз я по-прежнему не мог. Сколько времени это происходило, не знаю.

Боль и шум, наконец, прекратились. Я почувствовал, что снова теряю сознание и засыпаю.

Через несколько времени я проснулся и на этот раз уже основательно. Раскрыв глаза, я увидел прямо против себя огромное окно, ярко освещенное солнцем. Лучи заливали всю комнату и мучительно отражались на белых стенах и белоснежном белье моей постели. В креслах у моих ног дремала красивая женщина в сером парусинном платье и белом переднике с красным крестом на груди. Я чувствовал себя бесконечно слабым. Хотел позвать ее и не мог. Попробовал поднять руку, но она тотчас же упала без движения. Мой шорох разбудил сиделку. Она поднялась с места, и наши взгляды встретились.

— Тсс! не шевелитесь и не говорите. Я сейчас позову доктора.

Она нажала кнопку и вошел служитель.

— Доложите доктору Неведомскому и пошлите сказать профессору Бонпарелю: пациент проснулся.

Я собрал все силы и едва мог спросить шепотом.

— Где я?

— Молчите, молчите. Сейчас придут врачи. Вы в центральной городской клинике для нервных болезней. Мы пробуждаем вас уже десятый день. И вот, наконец — слава Богу!

Больше она не сказала ничего, да и я был настолько слаб, что стал опять впадать в дремоту.

Через несколько времени я вновь проснулся, почувствовав во рту нечто необыкновенно горькое. Вокруг меня была толпа. Говорили шепотом. Мои силы постепенно возвращались. Я уже мог отвечать односложными звуками на краткие вопросы француза-профессора. Мне прописали лекарство, назначили ванну, определили питание, и с этого момента началось довольно быстрое восстановление моих сил.

Через пять дней я уже кое-как ходил, пробовал читать газеты, ел порцию «выздоровливающих» и мог довольно определенно узнать, что со мной случилось.

Моя сиделка, оказавшаяся прекрасной сестрой милосердия и очень образованной девушкой, принесла мне кипу разнообразных московских изданий, где говорилось обо мне. Господа репортеры рассказали все так обстоятельно-подробно, что словесное сообщение было бы вполне излишним. Среди статей мелькало множество прекрасных фотографических снимков, сделанных в тексте совершенно неизвестным мне способом, и на этих снимках я мог увидеть все фазы моего пробуждения.

Дело, как оказывается, происходило так. Доктор Блэк, усыпив меня, проделал надо мной все необходимые операции, затем запаял в двойной гроб и тихонько похоронил на кладбище N-ского монастыря в Москве. Была составлена инструкция для моего оживления и, как обещано, сдана на хранение в Парижскую академию.

Вообразите себе, однако, что за год до наступления моего срока в Париже произошла кровавая революция. Правительственным войскам снова пришлось брать Париж, как семьдесят лет назад. Осада длилась очень долго, и во время бомбардировки Парижская академия со всеми ее архивами была почти разрушена. Бумаги прятали куда попало, в подполья и погреба, и значительная их часть погибла. Мой конверт был найден совершенно случайно в подвале церкви Мадлен одним из священников, который, прочитав на обло-

жке, что срок вскрытия давно прошел, отнес свою находку к епископу. Там конверт распечатали и узнали, что в Москве на таком-то кладбище закопан живой человек, которого надо было извлечь и оживить еще год назад!

Подняли тревогу, собрали врачей и назначили особую комиссию с профессором доктором Бонпарелем во главе для поездки в Россию. Здесь, конечно, никаких препятствий не встретилось, мои бранные останки были выкопаны, оживлены, и вот, ваш покорный слуга очутился вновь среди своих соотечественников — увы! — на целых два поколения младших, чем он.

Нечего делать, надо опять жить. Давайте же посмотрим, как устроились и действуют господа наши внуки и правнуки...

IV. Московская пресса

Ко мне еще никого не допускали. Я был почти отрезан от внешнего мира и поэтому первое, что остановило мое внимание, были газеты. Фу, сколько бумаги! Это были огромные простыни, или тетради, выходившие в день двумя, а некоторые даже тремя изданиями. Больше и толще всех была газета «Европеец». Она имела 16 полос большого газетного формата, и чуть не половину ее страниц занимали огромные иллюстрации, относящиеся к событиям дня. Под большинством была подпись: «по телефону». А, значит, дошли до передачи картин на расстояния! Большинство сообщений было очень сжато, составляя чуть не одну подпись к картинке. Моему случаю было посвящено несколько великолепных клише.

Последнее относилось ко вчерашнему дню. Репортер-фотограф снял меня во весь рост во время первого моего выхода на прогулку. Скоро!

Другая газета, менее крикливая по внешности и меньше, но с большим вкусом иллюстрированная, носила название «Святая Русь». Ба! Старые знакомые: «Московские ведомости»! «Год издания сто девяносто седьмой». Старуха помолоде-

ла, тоже завела иллюстрации и выросла в огромную тетрадь... Вот «Русские ведомости». Также ли скучны они, как тогда, в мое время? А объявлений-то, объявлений! Да какие! Это были настоящие публичные лекции с иллюстрациями, чертежами и подробнейшими описаниями преимуществ разных товаров, их выработки, происхождения, материалов и пр.

Я заглянул в текст и сразу на первой же странице «Европейца» натолкнулся на такое воззвание:

«Общество друзей цивилизации и свободы приглашает своих членов и сочувствующих лиц на большое публичное собрание сегодня, 12 октября 1951 года, в крытом дворе общества на Воробьевых горах. Начало в 7 час. вечера».

Затем было напечатано следующее:

«Национальное движение последних лет в России настолько овладело общественной жизнью, что друзьям гуманности, свободы и европейской цивилизации приходится напрячь все усилия в последней борьбе. Мы с каждым днем теряем почву. Наше общество пригласило знаменитого германского юриста и историка профессора Аарона Гольденбаума прочесть несколько публичных лекций, чтобы осветить перед нашими друзьями и сторонниками мира и прогресса фатальный вопрос».

Далее шло почти афишными буквами: *Где на земном шаре искать убежища для свободы и гуманности?*

Отстав на целых пятьдесят лет от современности, я решительно ничего в этом воззвании не понимал. На Воробьевых горах публичное собрание, т. е. митинг? Национализм, да еще воинствующий в России, где в мое время чуть не руки целовали всякому иностранцу? Какие-то «друзья цивилизации и свободы» ищут убежища для гуманности... Приглашен профессор Аарон... Ба! Да это еврейская штука! Это они, мои старые друзья, узнаю их.

Инстинктивно развернул я «Московские ведомости», хотя в мое время мы и не были приучены искать в органе г. Грингмута объяснений по еврейскому вопросу. Но ведь г. Грингмута давно уже нет и кости его истлели...

Однако «Московские ведомости» и без г. Грингмута продолжали, по-видимому, нести верную службу национальным началам и консерватизму.

И действительно, в вечернем издании старейшей нашей газеты я нашел относившейся к моему вопросу *entrefilet*.

«Наши космополиты, либералы и гуманисты, — писала газета, — проиграв свое дело по всей линии, напрягают, по собственному их признанию, все усилия в *последней* борьбе. В качестве, вероятно, *последнего* бойца будет ораторствовать на одном из них скопищ на Воробьевых горах небезызвестный еврейский профессор и великий гешефтмахер Аарон Гольденбаум. Любопытно, как-то ему удастся одолеть “варварский” принцип “Россия для русских” и снова закабалить нашу Русь? Не менее любопытно также, где будет им указано “на земном шаре” убежище для европейской гуманности и свободы, после того как эту гуманность и свободу во второй раз вытурили из их собственных Сирии и Палестины».

Я не мог удержаться от восклицания:

— Хорошо пишут «Московские ведомости»! Так вот какой, с Божьей помощью, поворот за пятьдесят лет! В России объявились националисты, одолели космополитов! Евреи, в мое время обратившие было Россию в свой Ханаан, чувствуют дело проигранным и собираются уходить. Когда, кто, как совершил это чудо?

Мои размышления были прерваны поданной карточкой: «Махмет Рахим Сакалаев, сотрудник-посетитель газеты «Желтая идея».

— Вас одолевали сотрудники газет, но до сегодня их не пускали. Позволяли вас снимать только фотографам. А теперь врачи разрешили, дело зависит от вас. Если хотите, я его пущу. Вам не вредно будет с ним разговаривать? — спросила меня сестра.

— Нет, я думаю, а что?

— Да уж эта «Желтая идея» очень изуверский орган. Вообразите, проповедуют буддизм, славяно-монгольскую цивилизацию, азиатские идеалы!

— Что же, это хорошо. В мое время этим занимался кн. Ухтомский в «С.-Петербургских ведомостях». Просите этого Махмет-Рахима...

Не успел я сказать это, как подали другую карточку, тоже репортерскую. Это был «сотрудник-посетитель» «Уличной жизни», некий господин Солнцев, финансист и правовед.

— Не принимайте его, — заявила сестра. — «Уличная жизнь» — это отвратительная газета.

— Шантажная, грязная?

— Что такое «шантажная»? — переспросила сестра.

— Как бы вам объяснить? В мое время эта мерзость была обычным явлением. Ну вот, например, редакция газеты пишет про кого-нибудь гадости с таким расчетом, чтобы тот пришел и откупился. Это называлось шантажом.

— О, нет, не то! Шантажа, как вы его понимаете, у нас в печати, можно сказать, не существует вовсе и притом давно уже. Грязь тоже выведена. За грязь и общественный соблазн суд налагает очень строгие наказания и даже закрывает газеты. «Уличная жизнь» просто неустойчива, беспринципна, наконец нахальна. На днях еще ей в редакции сделали скандал из-за неуважительного отзыва о нашем гениальном Федоте Пантелееве.

Мне не удалось на этот раз узнать, что это за гениальный Федот Пантелеев, потому что нужно было решать вопрос, принять или не принять господина Солнцева, репортера или «сотрудника-посетителя» «Уличной жизни». Я все-таки решил принять.

Эка важность, какой-то там неуважительный отзыв о Федоте Пантелееве! В мое время господа редакторы-издатели... Ну, да что об этом говорить! И какое дело до какого-то Федота Пантелеева?

V. Новые порядки в печати

Вошел изящнейший молодой человек с небольшим портфелем и вместе с ним служитель с карточкой Мехмета Рахима Сакалаева, на которой было написано карандашом:

«Очень сожалею, что присутствие г. Солнцева помешает нашей беседе, равно сожалею о вашем совершенно извинительном, впрочем, незнании с нашими литературными условиями. Позвольте навестить вас в другое время».

Я передал карточку Солнцеву, который прочел ее и несколько сконфузился.

— Фанатики!

Сестра отозвалась:

— Не фанатики, а с вами не хотят иметь дела. Стыдитесь, г. Солнцев!

Она повернулась и вышла из комнаты.

— Я ничего не понимаю. Объясните мне, пожалуйста, в чем тут дело и почему против вашей газеты так возбуждены?

— С удовольствием, все вам объясню, но прежде позвольте исполнить мою обязанность. В нашем деле дороги минуты, даже секунды. Позвольте предложить вам несколько вопросов. Ваши ответы я запишу и сдам на воздушную почту, а затем я к вашим услугам.

Он вынул из портфеля крошечную пишущую машинку, вставил листок бумаги, что-то быстро нахлобачил и обратился ко мне. Я заметил, что машинка работала без всякого шума, едва слышно.

Допрос оказался самый обыкновенный, как бывало и в мое время. Солнцев желал знать некоторые интимные подробности из моей жизни, еще в печать не попавшие, задавал и другие вопросы о моей эпохе и знаменитых современниках. Записывал он с быстротой лучшего стенографа, так что в десять минут составила довольно большая статья. Он вложил свое писание в тоненький конверт со штемпелем и передал служителю для отправки отсюда же, с клинической воздушной станции. Затем обратился ко мне:

— Теперь я весь ваш... На десять минут.

— Видите ли, меня ваши газетные дразги мало интересуют. Но я в свое время был сам журналистом и мне хотелось бы знать, в каком положении печать? Скажите, цензура есть?

— К несчастью, нет. Упразднена.

— Как так «к несчастью»?

— Я не застал цензурных времен, но я глубоко убежден, что тогда писать было гораздо легче и жизнь журналиста была менее отравлена. Вы видели?

— Вы мне говорите невероятные вещи. Вы, литератор, вздыхаете о цензуре! Да что же такое с вами делают сейчас?

— Сейчас? О, Господи! Ну, вычеркнул у вас цензор что-нибудь, хотя и не понимаю, как и что можно вычеркивать, раз говорится спокойно и серьезно... Ну, положим, вычеркнул! Вы печатаете остальное, что вам пропущено, и спите спокойно. А теперь дрожи за каждую строку. Наши суды положительно с ума сходят. Недавно одного почтенного человека и старого журналиста посадили на месяц в рабочий дом, как вы думаете, за что? За «предумышленный обман читателя в форме недобросовестной полемики». Слыхали в ваши времена о таких преступлениях? Дальше: закрыли газету за «злостное и постоянное вторжение в частную жизнь и общественный соблазн». А весь соблазн заключался в том, что был помещен роман с несколькими эффектными убийствами. И роман, который читался нарасхват!

— Но как же можно закрывать издание за роман?

— А вот подите же! Обвинитель представил мнение художественного общества, суд вызвал «сведущих людей», и издание запретили. У нас думают, что рассказы об убийствах и разных преступлениях действуют психически на публику, подготавливая преступления. Да, вы знаете ли, что у нас тащат к суду и налагают взыскания за простые сообщения о кражах и мошенничествах?

— Ну, а в политическом отношении как? Печать очень стеснена?

Мой собеседник вздохнул.

— Нет, тут-то свободно. Теории можно проповедывать какие угодно, о политике говорить тоже можно без стеснения. Да что нам политика? Нам важна общественная жизнь; ну, какой может иметь газета успех, если того нельзя, другого

нельзя? Ведь все эти «вопросы», я думаю, и в ваше время достаточно публике надоели.

— Значит, по делам печати только суд? А разрешение на издание нужно получать по-прежнему?

— Ах, нужно, но только не по-прежнему. Как прежде лучше было! Есть у вас небольшая протекция, знает вас начальство за человека благонадежного, идите и подавайте прошение. Теперь совсем иначе.

— Насколько я понимаю, разрешение получить стало труднее?

— Еще бы! Да еще как! Нужно представить в управление словесности подробную программу, да не название отделов газеты, а целый свод взглядов и убеждений, которые будет проводить орган, затем представить доказательства беспорочного и вполне нравственного прошлого, список своих литературных работ... Да не угодно ли еще эту представленную программу защитить в публичном собрании при управлении словесности!..

— Что это за управление словесности?

— А это отделение при Славянской академии.

— Как вы сказали: Славянской?

— Да! Ведь вы не знаете, что Академия наук, которая была при вас, была переименована сначала в Российскую, а потом в Славянскую академию. Это случилось лет двадцать назад, когда взяли Царьград.

— Разве Константинополь наш?

— Да, это четвертая наша столица.

— Простите, пожалуйста, а первые три?

— Правительство в Киеве. Вторая столица — Москва, третья — Петербург.

Все это было для меня, разумеется, новостью, и я стал расспрашивать моего собеседника об исторических подробностях совершившихся великих событий, но тому, к несчастью, было некогда. Его десять минут прошли. Он торопился и скоро от меня ушел. Я хотел было приняться за сестру, но та вошла с развернутой бумагой, только что полученной, и

сообщила мне, что, согласно решению городской Думы, мне назначено пребывание и полное содержание в странноприимном управлении прихода Николы на Плотниках впредь до того времени, когда, «по ознакомлении с новым укладом жизни и обстоятельствами, я могу стать самостоятельным и полезным членом общества».

Так гласила присланная из городской Управы бумага.

В тот же день, часов около шести вечера, в сопровождении доктора и сторожа, я был перевезен в прекрасной клинической карете на Арбат и сдан на попечение управляющему странноприимного дома Степану Степановичу Памфилову. Мне отвели скромную, но чистую и уютную комнату, и я, еще слабый и уставший как от разговоров и впечатлений, так и от переезда, поскорее залег в постель, чтобы собраться с силами для новых предстоявших мне впечатлений.

VI. Приходской дом и учреждения

Да-с, многое за это время пережила Москва! Ее теперь совсем узнать нельзя, — наше поколение начинает уже не верить тому, что рассказывается в старых книгах. Seriously: я даже представить себе не могу. Неужели в ваше время люди могли спокойно жить, не разбегаясь или не вешаясь с отчаяния?

Так говорил Степан Степанович, мой гостеприимный хозяин, управляющий странноприимным отделением в приходе Николы на Плотниках. Здоровье мое достаточно восстановилось, чтобы можно было безопасно изучать новую Москву и ее распорядки, и я охотно принял предложение Степана Степановича — осмотреть здешние приходские учреждения.

Как раз на сегодня было, кстати, назначено заседание собрания приходских уполномоченных, которому предстояло обсуждение чрезвычайно важного, поднятого в Думе вопроса. Речь шла о непомерном размножении в Москве еврейского и иностранного элемента, сделавшего старую русскую Москву совершенно международным и еврейским городом.

Так стояло в повестке. Этот важный вопрос о борьбе с чужеродным населением, совершенно было покорившим и обезличившим Москву, Дума передала на предварительное обсуждение приходских собраний.

— Где же собирается ваше приходское собрание? — спросил я.

— В приходском доме.

— Что это за приходской дом?

— Да вот этот самый, где мы с вами находимся. Ведь я уже имел честь об этом докладывать.

— Верно, верно, но вы простите мою рассеянность. Все это ведь для меня совершенная новость.

Степан Степанович улыбнулся.

— А при вас этих домов не было?

— Были дома причта. Про приходские дома я и не слышал.

— Но где же у вас собирались приходские собрания?

Я начал припоминать и не мог припомнить.

— Неужели в наемном помещении? Но тогда как же выражались ваши приходские капиталы? У нас они помещены в домах. Неужели вы их держали в процентных ваших бумагах?

Теперь я сделал удивленное лицо.

— Какие приходские капиталы? У нас были капиталы духовного ведомства, были церковные деньги. О приходских капиталах я ничего не знаю. Да и относительно приходских собраний я тоже ничего не могу сказать. Кажется, у нас их тоже не было.

— Но как же у вас выбирали священника, например?

— У нас священников не выбирали...

— Ах, виноват, виноват! Ведь выборное начало восстановлено всего сорок лет назад, а вы проспали пятьдесят. Да, да, у вас действительно и приходских собраний не было, да, собственно говоря, не было и прихода... Ну, так вот вы посмотрите, как это устроено теперь...

В эту минуту в комнату вошел полицейский. Он доложил, что из центральной больницы для умалишенных до-

ставили выздоровевшего больного, который возвращается в приход на попечение родных, под наблюдением странноприимного управления. Степан Степанович удалился к больному, а я остался с полицейским, присевшим отдохнуть с дороги.

На нем был красивый синий кафтан, а на груди серебряный знак с обозначением прихода.

— Вы на службе у прихода?

— Так точно, — отвечал полицейский, оказавшийся рязанским уроженцем.

— А кто вами начальствует?

— Мы находимся в распоряжении приходского пристава.

— Это что же такое? Вроде прежних частных приставов или участковых?

— Не могу знать, о чем вы изволите спрашивать. Наш приходской пристав выбирается приходским собранием, а утверждается градоначальником. Сколько приходов, столько и приставов...

— Что же, ваш пристав под начальством у градоначальника рапортует ему?

Полицейский улыбнулся.

— Мудреное вы слово сказали, господин, должно быть — по-старинному... Что это значит — *рапортует*? Господа пристава с градоначальником разговаривают по проволоке, а каждую субботу собираются по «концам» на кончанские советы. Там обсуждают разные наши полицейские дела.

— Это что же за «концы» такие?

— А это большие городские части. У каждого конца свое управление и свой голова.

— Сколько же всех в Москве концов?

— Пока двадцать, но, вероятно, прибавится, потому что очень уж наш город разрастается.

— А сколько теперь в Москве жителей?

— С чем-то четыре миллиона.

— Вот как!

Степан Степанович воротился и стал торопить меня на собрание; до его открытия оставалось всего десять минут;

впрочем, идти было не далеко. Зала собраний помещалась в том же приходском доме.

«Приходской дом» представлял собой грандиозное четырехэтажное здание со множеством прекрасных квартир и несколькими залами для собраний. Одна из зал, самая большая, предназначалась для общих собраний всего прихода, торжеств и публичных чтений, в меньших залах происходили заседания обыкновенных приходских собраний и разных комиссий, а также читались всевозможные дневные и вечерние курсы.

Казенные квартиры были отведены приходскому голове, духовенству, приходскому казначею, приставу, судье, заведующему школами, эконому, носившему название «распорядителя по хозяйственной части», приходскому врачу, акушерке, учителям и многим другим служащим. Одна из больших зал была обращена в зимний храм, так как старинная, тщательно реставрированная и охраняемая каменная церковка была слишком тесна и в ней служили только летом.

Внутри обширного двора помещался роскошный зимний сад под общей стеклянной крышей, в котором возилась детвора. Везде, разумеется, была проведена вода, все отлично освещено и соединено разнообразными сигнальными аппаратами. В одном из этажей находилась пневматическая почта. Внизу, в подвалах, были обширные склады разнообразных материалов и припасов, принадлежащих приходским учреждениям.

VII. Приходская казна. Общественный кредит

Мы прошли несколько лестниц и коридоров. Я обратил внимание на массивные дубовые двери с табличкой: «Приходская казна».

— Там у вас хранятся деньги?

— Ваш вопрос не совсем ясен для меня. Как мы их будем хранить и зачем?

— Разве вы живете без денег?

— Нет, у нас деньги есть, т. е. мы считаем на деньги. Ваш старинный рубль так и остался рубль. Но я бы желал посмотреть на чудака, который стал бы теперь носить деньги в кармане или деньгами платить. Мы рассчитываемся чеками.

— А! это и мы знали. Только в мое время чеки были в ходу в одной Англии. У нас было золото, серебро и бумажки.

— Знаю, знаю! Воображаю себе, как это было неудобно. Носить в кармане металлические кружки! Во-первых — тяжесть, во-вторых, можно было выронить, а затем — какая потеря времени считать деньги, менять их, брать сдачу!

— Разве теперь этого ничего нет?

Степан Степанович улыбнулся.

— Металлические деньги лет двадцать как вышли из употребления вовсе. Их теперь нет нигде, разве в музеях. Теперь даже и бумажные деньги становятся редкостью. У каждого из нас есть открытый счет в приходской казне, а в карман — чековая книжка. Подумайте сами: не гораздо ли же проще взять книжку, написать на листочке две-три цифры и отдать этот листок, чем платить по-вашему?

— Позвольте! Как так? Ну, а если моего чека не возьмут?

— Как же не возьмут, если на нем напечатано ваше имя и звание прихода?

— Ну, хорошо. Значит, я могу написать на чеке какую угодно цифру?

— Какую угодно, конечно, смотря по тому, сколько у вас есть денег на счету в казне.

— Ну, а если я имею, скажем, сто рублей, а напишу чек на двести?

— Не понимаю. Как же вы это сделаете?

— Да очень просто. Возьму и напишу: «200 рублей».

Степан Степанович задумался.

— Нет, вы этого не сделаете.

— Да почему же?

— А потому, что это было бы очень... глупо.

Теперь я ничего не понимал. Что это было бы мошенничество, это — ясно. Ну, так и говори. Но почему же это глупо?

Степан Степанович пришел на помощь моему затруднению. Он спросил меня:

— Вы мне объясните: зачем и кому это может понадобиться?

— Странные у вас понятия, господа. Ну, да вот, например, у меня в кармане... виноват, «на счету» сто рублей. А в магазине я высмотрел шубу, за которую просят 200. Если у меня хватить совести, я чек и выдам.

— Голубчик мой, ей-Богу, вы бредите или говорите явные несообразности. Уверяю вас, что вы этого не сделаете. Начать с того, что вам незачем идти в незнакомый магазин. Вы придете в нашу «палату образцов» и выберете себе ту вещь, которая понравится; затем вам ее вытребуют по телефону из склада или закажут по вашей мерке. Вы заплатите чеком.

— Ну, хорошо. Вот я там и дам чек выше, чем имею право.

— Да не дадите, уверяю вас! Во-первых, наш заведующий образцами одежды знает весь приход поголовно, следовательно, знает и вас, так как вы не в первый же раз приходите покупать платье. Во-вторых, если вы подобный чек дадите, вас завтра же, по окончании дневных счетов в казне, пригласят туда и попросят исправить вашу ошибку, т. е. пополнить цифру вашего кредита. Поверьте, вас даже не заподозрят в злом умысле, а только попеняют вам за небрежность.

— Ну, а если я не пополню?

— Взыщут с вашего имущества.

— А если у меня не окажется имущества?

— Этого случая быть не может. Тогда у вас есть поручитель, — иначе не может быть и чековой книжки...

— Вот как!

— Разумеется, если у вас нет имущества, а только личный труд, вам может быть открыт кредит только за чьим-нибудь поручительством. Конечно, это лицо будет известно приходскому казначею.

— Значит, взыщут с него, с этого поручителя?

— Да, запишут на его счет и его уведомят, а уж вы ведаетесь с ним сами. При этом имейте в виду, что по его заявлению о прекращении поручительства ваша чековая книжка отбирается и вы нигде не достанете ни гроша.

— Ну, а если я книжку не отдам?

— Этого случая я не знаю, но в законе на этот счет предусмотрено. Ваше имя публикуется в списке людей неблагонадежных, и вы тотчас же очутитесь вне общества. Знаете, это — ужасное положение! Так можно умереть с голоду или попасть в рабочий дом; вам останется просить милостыню, а это у нас — тяжкое преступление. За него сейчас же у нас под замок и на работу...

— Да, этак, пожалуй, у вас мошенничать трудно.

— Уверяю вас, совершенно нельзя.

Кое-как я этот порядок понял. Но многое все-таки мне оставалось еще неясным. Я спросил:

— Ну, а как же быть жителю другого города или другого прихода? Ведь чужие чеки, надеюсь, не ходят?

— Наши приходские чеки ходят по всей Москве. Злоупотреблений опять-таки быть не может, потому что все кассы связаны телефоном. А когда кто-нибудь уезжает из Москвы, он берет кредитивы на местные кассы.

— И злоупотреблений не бывает?

Степан Степанович рассмеялся.

— Наконец-то я вас понял и совершенно извиняю. Вам везде мерещатся подвохи и злоупотребления. Вот, должно быть, мошенническое было ваше время!..

— Неужели у вас все так уж честны?

— Как вам сказать? Люди — всегда люди. Но вы обратите внимание вот на что. За триста, за четыреста лет перед вами вся Европа кишела разбойниками. Убивали и грабили на всех дорогах. Тогдашний честный человек ехал в дорогу вооруженный с ног до головы, иногда даже с конвоем. Попробовали бы вы ему сказать, что наступит такое время, когда все дороги будут безопасны и можно будет ехать за тысячи верст без всякого оружия, — он бы не поверил и расхохотался.

Так вот и вы не верите, что наш век справился с мошенничеством и почти совсем его вывел. Однако это так.

VIII. Духовенство. Приходское собрание

Мы подошли к небольшой зале, где уже собралось человек пятьдесят мужчин и дам, скромно одетых, с какими-то значками на груди. Моего спутника сердечно приветствовали. Я в моем костюме конца XIX века возбуждал общее любопытство. Мне самому было неловко в моем куцем сюртучке и узких панталонах среди толпы в красивых и просторных одеждах, несколько напоминавших наши древнерусские образцы, но значительно улучшенные. Меня рассматривали совершенно так же, как бы мы рассматривали неожиданно появившегося среди нас современника Екатерины II в парике с пудрой и французском кафтане.

Часы пробили 8 вечера, и в залу вошли два благообразных старика. Один из них, судя по одежде, был священник. У другого на груди была массивная золотая цепь с бляхой наподобие наших знаков мировых судей. Публика в зале почтительно расступилась, многие подходили к священнику под благословение и целовали его руку.

— Я думаю, батюшка, можно начинать? — спросил человек с цепью.

— Да вот, что-то отец дьякон замешкался, — отвечал старик-священник, поглядывая на дверь.

— У отца дьякона сейчас кончился школьный совет, — заметила одна дама. — Я видела, как он торопился. Забежал, должно быть, к себе выпить стакан чаю.

— Чай бы ему и здесь подали, — заметил человек с цепью. — Что же задерживать собрание?

— Кто это? — спросил я у моего спутника.

— Наш приходской голова. Строгий человек. Был предводителем дворянства в своем уезде, теперь переехал в Москву и поселился в нашем приходе. Замечательный человек.

— А! Так у вас дворянство еще есть?

Степан Степанович даже обиделся.

— Не только есть, но и пользуется большим уважением. Правда, его значительно меньше, чем было в ваше время, но за то это действительно цвет земли Русской. Теперь дворянства не высидишь в канцелярии — это время прошло. Теперь дворянство дается лишь за действительные заслуги Царю и Родине, а не за продырявление казенных стульев. Да кстати и чинов нет. Их упразднили уже лет тридцать тому назад.

— Ну а другие титулы остались?

— Остались, конечно. Есть и графы, и князья. Бароны больше иностранцы и евреи. Была такая полоса в начале XX века, когда Россия попала в очень тяжелые финансовые обстоятельства. Тогда множество евреев нахватало баронских титулов. Но теперь баронства больше не дают. Да и графства тоже не дают, потому что все это — иностранщина. Но за то восстановлено древнерусское боярство.

Около нас проходил старик-священник, оживленно беседовавший с пожилой дамой.

— Вашего священника, кажется, здесь очень уважают, — заметил я.

— Да, это — выдающийся по уму и высокой нравственной жизни человек, — отвечал Степан Степанович. — За это его и избрали.

— Он, вероятно, глубокого богословского образования?

— Ошибаетесь. Он — крестьянин, почти нигде не учившийся. Правда, он очень начитан в Священном Писании. Но его избрали не столько за это, сколько за его жизнь.

— Крестьянин? — переспросил я. — Но как же вы его узнали и определили его достоинства?

— Он очень долго жил в нашем приходе. У него была столлярная мастерская... Однако странные вы задаете вопросы: да разве же при нашей широкой и открытой общественной жизни выдающийся человек может надолго остаться в тени? Мало того, мы три года упрашивали отца Никанора принять сан священника. Сам владыка его просил.

— Вот как. Что же, вероятно, теперь и большинство духовенства из простого народа? Ведь там всего непосредственное вера и глубже благочестие.

— Нет, наше духовенство из всех сословий. Вот, например, наш отец дьякон родовитый князь, и даже Рюрикович. Явилось призвание — и он надел рясу... А вот и он кстати.

В эту минуту раздался громкий и протяжный звонок. Члены приходского совета заняли места за большим столом, покрытым голубым сукном, все встали, повернувшись, лицом к большому, окруженному лампадами образу святителя Николая и пропели хором старый великолепный тропарь святому: «Правило веры и образ кротости».

Затем все уселись, и приходской голова объявил собрание открытым.

IX. История еврейского вопроса

Все смолкло. Секретарь прочел протокол предыдущего заседания, который и был утвержден без возражений. Затем председатель поднялся и в коротких словах изложил сущность вопроса в том виде, как ставила его Дума на обсуждение приходских собраний. Речь шла о завершении нашего национального возрождения путем устранения еще очень сильного еврейского влияния на городские дела, а также о борьбе с многочисленным и сильным иностранным элементом Москвы, не принадлежавшим к новой приходской организации.

Голова предпослал краткий исторический очерк еврейского вопроса в России. Все, что происходило в XIX столетии, было мне хорошо известно, но с середины 1899 года нить моих сведений обрывалась, и я с жадностью вслушивался и ловил совершенно новые для меня факты.

Начало XX века было ознаменовано, с одной стороны, установлением почти полной еврейской равноправности, с другой — чрезвычайно сильными и частыми еврейскими по-

громами во всей Европейской России и даже в Сибири, усмирёнными повсюду военного силой.

Началось с того, что в трудную финансовую минуту под давлением парижского Ротшильда, в руках которого фактически находился регулятор государственного кредита России, была упразднена черта еврейской оседлости и евреям было разрешено не только селиться в городах раньше запретной для них части России, но и покупать земли в селениях, сначала в ограниченном размере и по особому разрешению местных властей, затем без всякого ограничения. Поднялось массовое передвижение евреев во внутрь страны. Не осталось почти ни одного вида торговли или промышленности, который не был бы ими захвачен. Вслед затем было уничтожено процентное отношение для учащих евреев почти во всех средних и высших учебных заведениях. За эти две льготы Ротшильд дал нам возможность заключить два больших металлических займа.

Последней льготой было допущение евреев-офицеров на службу. В самое короткое время ими были переполнены все военные и юнкерские училища и во многих выпусках к ряду число евреев-офицеров доходило до 60 и 70% всего числа производимых юнкеров.

По мере того как расширялись права евреев и они стремительно расселялись по России, скупая дома, земли, основывая фабрики, заводы, газеты, агентства и конторы, росло против них народное возмущение, сдавленное недавними кровавыми репрессиями, но каждую минуту готовое выразиться в самых резких формах. Обнаружилось разложение в нашей прекрасной и доблестной армии. С одной стороны, при военном усмирении еврейских погромов солдаты начинали плохо слушаться евреев-офицеров и выражали охоту присоединяться к бушевавшим толпам, что совсем уже компрометировало и армию, и законный порядок, с другой стороны — между евреями-офицерами, занимавшими должности по Главному Штабу, нашлось несколько личностей, выдававших иностранным державам наши важнейшие военные

секреты. Полковник Зильберштейн продал одной соседней державе новейший план мобилизации нашей западной границы, был судим и приговорен к расстрелу, но помилован и только заключен пожизненно в крепость. Профессор военной академии генерал Мордух Иохелес в 1922 году скопировал тоже для соседней державы планы двух наших важнейших крепостей, был пойман, уличен и повешен.

В первый раз не без тяжелых колебаний правительство решилось принять некоторые меры, и в 1924 году было издано распоряжение, в силу которого евреи впредь не должны были иметь доступа в Главный Штаб, артиллерию и инженерные войска. Это вызвало взрыв негодования во всей Европе, которая в это время была уже в совершенном подчинении евреям. В нашей армии произошел крупный раскол, и отношения офицеров-русских к офицерам-евреям до крайности обострились. Дуэли происходили чуть не ежедневно, и дисциплина видимо падала.

Новый ряд страшных еврейских погромов довершил дело. Кроткий и незлобивый русский народ был раздражен до такой степени еврейской эксплуатацией, что доходил в отдельных случаях до неслыханных зверств. Но права евреям были даны, ими они успели уже широко воспользоваться, и отнять их назад или вновь восстановить границу оседлости было невозможно. Правительство было совершенно бессильно справиться с обострившимся до последних пределов еврейским вопросом.

Поворот начался с великой финансовой катастрофы, разразившейся во второй половине двадцатых годов. Говоривший не останавливался на ней подробно, но я понял, что эта катастрофа каким-то образом развязала нам руки, и с этого момента началось как постепенное наше освобождение от давления иностранного биржевого еврейства, так и наше национальное возрождение.

Но самым могущественным толчком на пути этого возрождения было восстановление нашего древнего церковно-общинного строя. Начало этому делу было положено еще в 1910 году устройством прихода как низшей земской и го-

родской единицы и восстановлением избираемого приходом духовенства.

Эта законодательная мера приветствовалась взрывом всеобщей радости. У православных русских людей явилась точка опоры, восстановилась союзность, упраздненная в течение слишком двухсот лет. Наряду со всемогущим еврейским кагалом явилась тесно сплоченная православная организация в лице бесчисленных церковных общин. С евреями началась не законодательная, а чисто культурная борьба, и в этой борьбе в первый раз за огромный срок победа начала склоняться на сторону коренных русских людей, которые наконец почувствовали себя хозяевами земли своей.

Вопрос, который Московская городская дума ставила на обсуждение приходских собраний, был следующий. Основанная в 1939 году специально для борьбы с еврейской и иностранной эксплуатацией России газета «Святая Русь» поддерживала вот уже двенадцать лет неустанную патриотическую агитацию в том смысле, что христиане должны ничего не покупать у евреев, ничего им не продавать, не входить ни в какие сделки и отношения, изолировать их в общественном смысле и заставлять ликвидировать дела и уходить. Этим способом освободилась от евреев русская Польша, откуда они все малопомалу перекочевали в Россию. А уж Польша ли не была в свое время истинным Ханааном?

Проповедь эта имела полный успех, и начавшееся по всей России движение, совершенно мирное и чуждое всякого оттенка насилия, оказалось для евреев страшнее самых кровавых погромов. Приходское устройство и правильная постановка общественного кредита при изобилии и дешевизне денег необыкновенно помогали в борьбе.

Евреи начинали терять почву. Приходы открывали собственные склады, мастерские, магазины. Чековая система, сама собой вошедшая в жизнь после финансового краха и полного исчезновения металлических денег, делала самостоятельными и независимыми даже самых слабых. Не помогали никакие хитрости и торговые выдумки. В первый раз за всю свою

историю евреи были поставлены в необходимость кормить себя сами, кормить руками, а не изворотливостью, так как в их услугах переставало с каждым днем нуждаться организованное общество. Что оставалось делать?

Уходить? Но куда? Европа вся была переполнена. Из Палестины, вновь было захваченной евреями, их усердно гнали арабы, сирийцы, греки... И вот, началось массовое принятие евреями Православия, что давало одно из главных и драгоценных по времени прав: право сделаться членом прихода.

Движение это настолько беспокоило коренных русских людей, что церковное правительство задалось вопросом о желательности и полезности таких обращений, и последний поместный собор епископов Московской области выработал специальный законопроект, который предлагал внести в ближайшую сессию Государственного Совета. Проект этот заключался в том, чтобы допускать до крещения только тех евреев, искренность обращения коих будет засвидетельствована приходским собранием уполномоченных и притом не ранее, как через пять лет после заявленного о том ходатайства.

Но и этого ревностным защитникам чистоты русской народности казалось мало. Предлагалось на новых христиан не распространять полных прав членов прихода, а только на их детей. Другая редакция законопроекта требовала для принятия в церковную общину ходатайства за каждого данного еврея со стороны самого приходского общества в лице $\frac{2}{3}$ всех голосов. Было очевидно, что при этих условиях разве совершенно исключительный по своим нравственным качествам еврей мог быть принят как член прихода.

Это предложение архиерейского собора и было городской думой передано на обсуждение приходских уполномоченных.

Х. Трагедия народа Божия

Речь председателя кончилась. Слово было предоставлено юристу, профессору Матвееву, одному из влиятельнейших

прихожан и бесплатному юрисконсульту прихода. Поднялся скромного вида не старый еще человек в больших синих очках и начал горячо доказывать уместность и необходимость нового закона.

— Основное право всякого организованного общества, — говорил он, — есть право самоопределения. Нельзя заставлять ту или иную группу людей принимать в свою среду то лицо, которое она не захотела бы принять добровольно. При страшном развитии еврейской силы и влияния в России только один приход показал свою жизнеспособность в смысле сопротивления евреям. Только приход ими не захвачен. Евреи, входящие к нам в качестве наших сочленов, ничего не внесут, кроме разложения, раздора и недобросовестности. Неужели после достигнутых успехов мы снова дадим им укрепиться и забрать нас в руки? А теперь опасность больше, так как евреи стремятся проникнуть в самую нашу цитадель.

Оратору возражали, что с принятием христианства, хотя бы и не совсем искренним, а лишь по нужде, еврей выходит из своей национальной организации, прерывает с ней связь и, становясь членом православного общества, мало-помалу в нем растворяется.

— Слыхали мы это! — заговорил пожилой человек с гривой густых черных волос, сидевший вдали от стола. — Но ведь не забывайте, господа, что борьба с евреями идет не религиозная, а племенная. В этом все дело. Еврей-мозаист и еврей-христианин, на мой взгляд, одно и то же. Религия ничего не переменит ни в его взглядах, ни во вкусах, ни в образе действий. Его кровь совсем иная, чем наша, равно как и его психология. Нашей ли группы член или своей, он будет всегда одним и тем же элементом гибели и разложения для всякой страны, для всякого общества. К чему отуманивать себя заведомо несостоятельными рассуждениями? Пусть евреи живут, как могут и как умеют. Правительство встало на совершенно справедливую и прекрасную точку зрения. Никто не нарушает прав евреев и не домогается их умаления. Но не нарушайте же и наших прав, прав христианского

общества, прав хозяев этой земли. Мы не желаем иметь евреев членами нашей церковной общины, мы не верим в искренность их обращения и аминь! Пусть остаются вне нас и устраиваются, как хотят.

Защитником евреев выступил один молодой еще член совета. Он сказал примерно следующее:

— Станьте же на минуту, господа, и на еврейскую точку зрения. Обратите внимание на то, что делается в Москве, и оцените результаты. Почти во всех приходах идет настоящая война, хотя и совершенно мирная, но тем более беспощадная. Образуются группы, дающие друг другу слово ничего у евреев не покупать и ни в какие деловые отношения с ними не входить. За какие-нибудь пять лет приостановилась чуть не половина еврейских торговых дел. Многие из них были вынуждены продать свои дома и земли, ибо квартиры стоят незанятыми, а на сельские работы никто не идет. Что остается делать евреям? Ведь жить же нужно! Ведь такие стачки, какие теперь устраиваются против них повсюду, хуже, чем средневековые гонения. Если мы не на словах, а на деле христиане, мы должны быть милосердны и терпимы...

Профессор не выдержал и попросил слова:

— Все это жалкие слова, — заявил он. — И сейчас, как пятьдесят и сто лет назад, еврейский вопрос один и тот же. Евреи не желают заниматься производительным и вообще черным трудом, не хотят тянуть общую лямку с христианами. Им нужно господство, нужна торговля, нужен легкий умственный труд, нужен простор для «комбинаций» и гешефтов. Как не заставите вы волка есть траву — так не заставите еврея трудиться наравне с нами. Вспомните, как еще недавно мы задыхались в их тисках и с какими страшными усилиями освободились. Оглянитесь, какое ужасное наследство остается еще от этой несчастной исторической полосы. Неужели же всего этого не достаточно для нашего вразумления?

Прения затягивались. Я видел, как ораторы кружились вокруг одного пункта, который и в мое время составлял камень преткновения при решении еврейского вопроса: с

одной стороны — высокие понятия человечности, братства во Христе и пр., с другой — явные, доказанные и вековым опытом проверенные противообщественные, чисто расовые свойства евреев.

Дав высказаться всем, старик священник пожелал встать и свое мудрое слово.

— Борьба борьбе рознь, друзья мои, — сказал он. — При самой высокой христианской любви ко всем нельзя осудить человека, который, располагая полной свободой действия, идет, например, к врачу-христианину и дает ему заработок и не желает лечиться у врача-еврея, осуждая последнего сидеть без дела. Я не могу осудить никого из нас, составляющих здешнее или иное церковное общество, за то, что он не захочет допустить в свою среду, а эта среда — наша семья, — чуждого по духу и крови человека только потому, что этот чужеродец заявил под давлением обстоятельств о принятии нашей веры. Мы не можем войти к нему в душу и проверить его искренность, но, к несчастью, мы уже имеем слишком частые примеры разложения дружной и доброй приходской жизни вследствие появления евреев в качестве равноправных членов православной семьи. Избави Бог от угнетения и насилия над кем бы то ни было. Евреи теперь полноправны. Им открыты все роды деятельности. Русский народ не гонит их из земли своей. Он желает лишь, чтобы они изменили, насколько можно, свою природу, а не только свои верования. А изменится эта природа только тогда, когда не будет для них никаких иных способов жизни, кроме такого же труда, какой несет и весь русский народ. Пусть идут на землю, пусть переделываются духовно, и тогда христианство не будет для них одним лишь внешним оружием для удержания их нынешних способов жизни. А не захотят этого, да будет им ведомо отныне и навсегда, что уступок им никаких не будет и вся православная Русь, как один человек, ответит: вы нам не нужны!

Раздались крики: «Да», «да», «не нужны!» Председатель сказал несколько слов, заключая прения. Затем было предложено согласным с думским проектом сидеть, несогласным —

встать. Последних оказалось из 48 присутствовавших только двое: говоривший после профессора оратор и худой высокий старик с семитическим профилем и совершенно белой бородой. Это был аптекарь-еврей, лет тридцать уже как принявший христианство по глубокому убеждению и принявший его тогда, когда такой шаг ровно никаких выгод не сулил...

Я заметил у этого почтенного человека платок в руке. Глаза его были влажны. Он плакал.

Вечная, неизменная в своем существе трагедия разыгрывалась и здесь, как и в мое время. Менялись формы, но содержание оставалось. Виноватых не было, зато тем тяжелее было видеть глубокое человеческое горе, незаслуженное лично, но тем более оскорбительное, тем более тяжкое.

Заседание кончилось пением хора, и мы тихо разошлись. В этот вечер решила и моя судьба. Мне было ассигновано городом пособие в размере 2,400 рублей в течение одного года при полной свободе приискать себе род занятий и место жительства. Я решил сделать небольшое путешествие, чтобы посмотреть обновленную Родину и посетить места дорогого детства.

XI. Мой отъезд. Железные дороги

Утром на следующий день Степан Степанович вручил мне бумагу, которую привожу полностью. Она являлась одновременно и моим паспортом, и кредитивом.

Управление города Москвы

ГОРОДСКАЯ КАЗНА

22 октября 1951 года

Д. № 28.261

Предъявитель сего дворянин такой-то, согласно дневной записи Московского городского совета от 20 текущего октября, утвержденной городским головой, имеет доверие в каждой открытой кассе Российской Империи с 1 ноября 1951 года

в течение одного года на 200 рублей в месяц, выдаваемых на основании прилагаемого расчетного листа в одолжение Московской городской казны.

Главный казначей *Лишин*.

Начальник счетоводства *Петров*.

Вторая половина листа состояла из двенадцати «расчетных ярлыков» за одним и тем же номером, которые должны были отрезаться по предъявлении в обмен на чековую книжку.

На эти 200 рублей в месяц, принимая во внимание вздорожание многих предметов против моего времени, т. е. относительно дешевизну денег, широко путешествовать было, понятно, нельзя. Этой суммы хватило бы только в обрез. Но мне как журналисту, попавшему в столь любопытное и исключительное положение, было уже предложено несколькими редакциями очень выгодное сотрудничество. Я остановился на двух изданиях: одном столичном — киевском и одном московском, куда должен был посылать корреспонденции. Через самое короткое время я получил денежные кредитивы от обоих изданий, точно также на все «открытые кассы Российской Империи». Теперь я мог выехать из Москвы, не откладывая, хотя на дворе стояла глубокая осень и была скверная, сырая погода. Я думал и, как оказалось, совершенно основательно, что наши мудрые господа потомки будут иметь и осенью в деревне достаточный комфорт — не так, как в наше время, и что в родных местах я, по крайней мере, не утону в грязи. Проводить меня на вокзал вызвалась хорошенькая дочь Степана Степановича, Дарья Степановна, ради которой я даже дня на два отложил свой отъезд. Собственно говоря, провожала не она меня, а я ее. Вместе с группой подруг-сверстниц она отправлялась в путешествие по Кавказу и Персии. Барышням, знавшим обо мне все подробности из газет, было очень любопытно хоть часть дороги проехать с живым человеком XIX столетия. Девицы только что окончили свое образование и предпринимали поездку-прогулку как ради развлечения и отдыха, так и для ознаком-

ления с отечеством. Такие прогулки были, как оказывается, для всей учащейся молодежи как бы последней школой. Они продолжались несколько месяцев, причем и государство, и общественные управления широко приходили на помощь молодежи, выдавая путевые пособия и понижая до последних пределов цены на проезд и на все то, что можно было иметь от казны, земства, городов или приходов. Таким образом, Степану Степановичу это путешествие его дочери в течение месяцев шести могло обойтись никак не дороже двухсот-трехсот рублей, что было вполне в его средствах.

Отъезд наш произошел так: было сказано по телефону насчет багажа и билетов. Утром явился агент железной дороги, который вручил нам ярлычки наших мест в вагонах и забрал чемоданы — мой и Дарьи Степановны. В четыре часа дня, после раннего обеда и сердечного прощания с отцом моей спутницы, мы вышли на Арбат, прошли несколько шагов, подождали две-три минуты, пропустили несколько электрических вагонов, бежавших не туда, куда нам было нужно, и вошли в свой, отправлявшийся на Южную железную дорогу.

Как и в мое время, по улицам шли пешеходы и ехали в два ряда извозчики и частные экипажи. Тротуары были шире, дома выше, мостовые превосходные. Несмотря на шедший эти дни дождь, грязи не было и в помине. Меня поразило отсутствие автомобилей и велосипедов.

— И то и другое давно уже запрещено думой, — объяснила моя спутница. — Автомобили лет тридцать назад совсем было упразднили лошадей. Жизнь в городе стала невыносимой до того, что участились помешательства. А что касается до велосипедов, то было обнаружено не только увеличение всяких расстройств, но даже некоторое как бы одичание среди пользовавшихся ими. И вот, сначала велосипеды были запрещены для женщин, затем изъяты из употребления и вовсе.

Через десять минут мы были на Садовой, где я узнал новый в мое время вокзал Курской и Нижегородской дорог, теперь значительно расширенный и обратившийся в центральный городской вокзал, от которого двигалось в разные

стороны до 1400 поездов в день, а в праздники — свыше 2000. Вместо унылой асфальтовой площади перед ним был разбит великолепный сквер из высоких деревьев, уже потерявших свой лист. Только могучие ели да сосны оставались в зимнем зеленом уборе.

— Ну, а железные дороги, как видится, целы? — засмеялся я.

— Да, с железными дорогами обществу уже расстаться было нельзя, хотя, знаете ли, года три назад шла жестокая против них агитация. Указывали, что благодаря быстроте сообщений общество дичает. Ну, это течение победы не одержало. Однако добились того, что скорость выше 120 верст в час запрещена.

— Сто двадцать верст!

— Ах, это что за скорость! В 45-м году между Москвой и Киевом ходили поезда по 150 верст в час.

— Теперь этого уже нет?

— Я вам говорю, что скорость в 120 верст признана предельной.

— Скорей, скорей, осталось всего пять минут, вы чуть не опоздали, — щебетала на подъезде группа девушек, встречая мою спутницу.

Мы прошли на огромную платформу, которую я тоже не мог бы узнать. Необъятных размеров стеклянная арка была перекинута через двадцать или тридцать пар рельсов с платформами между ними. Поезда приходили и уходили поминутно без дыма и почти без грохота. Огромные паровозы наших времен были заменены легкими электрическими двигателями также иного устройства, чем в мое время. Вагоны тоже показались мне и длиннее, и выше.

Мы отыскиали нужную платформу и перед нею наш поезд. На вагонах не было обозначения классов, да их, как оказалось, не существовало вовсе. Вагон для дам, два вагона для мужчин, вагон-гостиная и столовая. Это был скорый Индийский поезд, шедший из Москвы прямо и почти без остановок до Индийского океана через Тулу, Харьков, Ростов, Владикавказ, Тифлис и

Тегеран к порту Чахбар, где еще в мое время было намечено к прорубке «окно». Теперь все это давно было исполнено и Персия представляла нашу провинцию, такую же, как Хива, Бухара и Афганистан. Прямых поездов ежедневно отправлялось три и, кроме того, десять обыкновенных, по дешевому тарифу.

Едва я успел найти и занять свое место, как поезд тронулся. В несколько минут Москва осталась позади.

Последние отблески короткого октябрьского дня исчезли, и вокруг нас разостлалась темная пустыня с быстро мелькавшими кое-где электрическими огоньками. Мы встречали и на полном ходу обгоняли поезда, шедшие, как оказалось, по параллельным рельсам. Движение между Москвой и Югом разрослось настолько, что на нынешней Курской дороге во всю ее длину было уложено четыре рельсовых пути.

ХII. Школа. Женский вопрос

— Куда вы там забились, дедушка? Идите к нам.

Звонкий голосок принадлежал Дарье Степановне, которая вместе с другой подругой отправилась меня разыскивать.

«Дедушка!» Это меня так окрестила моя хорошенькая спутница. Положим, что официально мне было уже более 80 лет и на этот почетный титул я имел все права, но ведь из этих 80 лет нужно было вычесть проведенные мной под землею 51 год. Я был тот же тридцатилетний мужчина, что и в памятный для меня вечер моего усыпления. Мало того, мне казалось, что после такого продолжительного отдыха и при доброй заботливости управления странноприимного дома прихода Николы на Плотниках я даже несколько окреп и помолодел.

Во всяком случае, прошла моя нервность, так как теперь я был слишком чужд окружавшей меня действительности, чтобы волноваться. Я проспал мою старую Россию, которую любил и жизнью которой жил. Теперь я был только свидетелем чужой жизни, почти иностранцем. Тяжело было это ощущение, но избавиться от него не было возможности.

Мы прошли в вагон-гостиную. Там собралось разнообразное общество. Семь или восемь подруг Дарьи Степановны, старичок почтенной наружности, как оказалось, отставной профессор, приглашенный барышнями сопровождать их во время путешествия и давать нужные объяснения. Два молодых человека в вышитых шелками толстых шерстяных рубашках. Пожилая дама. Председатель земской управы одного из южных уездов. Черный, широкоплечий тифлисский армянин, несколько иностранцев.

Девушки окружали своего профессора и чему-то усердно смеялись. При моем входе раздалось то же восклицание «дедушка», и молодежь обступила меня.

Последовали взаимные представления. Двое молодых людей в рубашках показали мне студентами, окончившими свои научные занятия и присоединившимися к дамской курсии. Судя по нежным взглядам, изредка обмениваемым, и некоторой интимности отношений, молодые люди уже имели своих избранниц в группе девушек. Моя догадка скоро подтвердилась, так как я услышал слово «твой жених», сказанное одной из девушек по адресу другой.

Скоро появился чайный прибор с большим самоваром, достали дорожную провизию, пирожки и фрукты, мне отвели почетное место за столом рядом со стариком-профессором, и начался разговор, направленный на мое поучение и просвещение. Девушки наперебой старались рассказать, как устроенно «у них». Я едва поспевал задавать вопросы. Мой первый вопрос был, конечно, о том, из каких учебных заведений мои спутницы? Все рассмеялись.

— Успокойтесь, никаких учебных заведений у нас нет. Все эти ваши гимназии, институты и прочее давно упразднено.

— Как же у вас учатся?

— Первоначальное образование дается дома. Родители соединяются в кружки и приглашают к детям учителей по своему вкусу и выбору. Затем, кто желает учиться, ходит на приходские курсы. Видели наши аудитории? Там читают все

предметы, которые нужны для среднего образования, и полный курс домоводства. Большинство девушек бедного класса тем и заканчивает.

— Ну а те, которые желают учиться дальше?

— Те выбирают себе интересные их предметы и слушают или высшие курсы вместе со студентами, или ходят на специальные городские курсы.

— Значит, высшее образование вполне свободно? Дает ли оно женщине какие-нибудь права?

— Права? Какие права? Мы совершенно полноправны...

— Например, стать врачом, адвокатом...

— Ах, вы вот про что! Да ведь эти профессии все вольные! Зачем же тут какие-нибудь права?

— Ну, в мое время это было не так-то легко.

— Знаем, знаем. У вас шла борьба о том, давать ли женщине диплом и допускать ли ее к тем занятиям, которые вы считали пригодными только для мужчин. Мы этот вопрос решили проще. Мы отменили все дипломы. Любой из нас, мужчина или женщина, может вполне свободно учить, лечить, защищать на суде. Разве же может невежда взяться за незнакомое ему дело? Возьмите хоть врачевание. Да кто же решится лечить, не зная медицины? Ведь за всякое шарлатанство установлена строжайшая ответственность! А если кто-нибудь лечит и лечит успешно, народ к нему идет и жалоб никто не заявляет, так с какой же стати власть будет вмешиваться?

— Ого! Это что-то совсем по-американски. Но, однако, вы же ввели большие стеснения в области печати, такие даже, каких не было и в мое время?

Профессор возразил:

— Печать не стеснена. Книга, брошюра бесцензурна и совершенно свободна. Газета — совсем другое дело. Газета есть общественная кафедра, есть формальная *власть*. На эту кафедру нельзя пускать первого встречного. Это *общественная должность*, а не частная профессия. Вот почему здесь требуется такой же публичный экзамен, как и для других общественных специальных служб.

— Разве у вас общественные должности даются по экзамену?

— Все, где требуются специальные познания. Чтобы получить место городского, земского или приходского врача, например, или адвоката, преподавателя, нужно выдержать экзамен, и притом очень строгий.

— Кто же экзаменует?

— Ученые, к которым обращается соответственное учреждение. Например, открывается место приходского врача. Вызываются желающие. Все более или менее заручились свидетельствами о слушании курсов у хороших профессоров. Но приходу этого мало. Приходской совет приглашает трех-четырех знаменитых врачей, образует совещание, и это совещание экзаменует желающих. Вот, на основании этих экзаменов и пишут договор.

— Как это сложно! У нас, раз получил человек диплом, его уже вновь не экзаменовали.

Все разом запротестовали:

— Сложно? А ваш порядок был лучше? У нас не может быть тех невежественных шарлатанов-врачей, какие бывали в ваши времена. Получил диплом — и бросил заниматься наукой.

— А много у вас женщин-врачей?

— Порядочно. Женские и детские болезни лечат преимущественно женщины, мужские — мужчины.

— Ну, а адвокаты?

Девушки переглянулись и рассмеялись.

— Есть женщины-адвокаты, и даже знаменитые... Только наши суды их недолюбливают.

— А чему вы рассмеялись, Дарья Степановна?

— Да вот видите ли, — ответил за нее старик-профессор. — В адвокаты идут преимущественно те дамы, которых уж очень Господь лицом обидел. Все наши дамы, юридические знаменитости, — на подбор рожи. Да и какая порядочная женщина пойдет на такую кляузную должность?

— Судя по всему, у вас, господа, женского вопроса как будто вовсе нет?

— Женского вопроса? — заметила, смеясь, хорошенькая блондинка, та самая, которой было сказано «твой жених». — Женский вопрос у нас заключается в том, чтобы честно и умело отдать свою руку и сердце порядочному человеку, не ошибиться в выборе и его не обмануть. Вот как ставится у нас женский вопрос.

— Bravo, Саша, bravo! Выражено прекрасно, — заметил молодой человек, жених этой самой Саши.

— Неполно, сударыня, — отозвался профессор. — Если вы хотите дать настоящее представление, то добавьте уж кстати: быть хорошей матерью, дать своей Родине преданных, умных и здоровых граждан.

Я подумал: «Рассказать бы это нашим интеллигентным барышням!» Мою мысль словно угадал миловидная брюнетка, смеявшаяся больше всех.

— Да, да! — сказала она. — А вот, мы никак понять не можем вашей постановки женского вопроса. Перед отъездом я прослушала два чтения о женском движении в России во второй половине XIX века и вынесла очень странное впечатление. Объясните нам, пожалуйста, почему у вас образованные девушки с таким пренебрежением смотрели на брак и на роль жены и матери?

Я попытался объяснить, как умел, зарождение и ход у нас так называемого женского вопроса. Были ли мои доводы слабы, или публика слишком психологически чужда, но мои девицы так и остались при убеждении, что это была своего рода психическая болезнь, если не что-нибудь худшее. Поняли, впрочем, что в мое время семья была из рук вон плоха. Я спросил в свою очередь:

— А у вас живут счастливее?

— У нас семья поставлена недурно. При прочной ответственности и не может быть иначе.

— Развод облегчен?

— Юридически — очень. Брак расторгает духовная власть по данным, добытым светским судом. Но разводы у нас — большая редкость. Разведенных супругов судит очень

строго само общество. Их презируют. Конечно, не во всех случаях, например, когда один из членов семьи сойдет с ума или неизлечимо болен и т. д., делается снисхождение. Но вообще развод считается делом постыдным, и это так вошло в наши нравы, что составляет гарантию вполне достаточную.

Быстро заторможенный ход поезда и множество замелькавших по обеим сторонам окон огней указали на приближение большой станции. Это была Тула. 186 верст расстояния мы сделали в полтора часа с маленькими минутами. Здесь мне предстояла пересадка, так как мой путь лежал не к Каспию, а к Черному морю, на Севастополь. Я мог бы ехать прямо из Москвы таким же, как наш, скорым Черноморским поездом, но я хотел проводить Дарью Степановну и потому должен был в Туле пересаживаться и ждать два с половиной часа.

Поезд простоял всего пять минут. Самым сердечным образом простилась со мной моя дорожная компания, я пожелал милым девушкам всяких успехов. Через минуту вдоль платформы пронесся ряд окриков «готово!» — и поезд без всяких звонков и свистков плавно покатился, исчезая в густом тумане, а я прошел на вокзал и, бросив беглый взгляд на огромную, ярко освещенную стену, остановился, словно вкопанный, как был, с мелким багажом на руках.

XIII. География новой России

На стене, которая так привлекла мое внимание, была изображена огромная карта Российской Империи, аршин 8 в высоту и аршин 12 в ширину. Вот она, матушка Русь, какой стала за полвека! В первую минуту я даже немного растерялся. Во-первых, не было привычных делений на губернии, которые так запомнились еще со школьных времен. Во-вторых, западная граница шла совсем не там, где в мое время.

Теперь эта западная граница начиналась у Данцига, крупными буквами обозначенного «Гданьск», охватывала

всю Восточную Пруссию и Познань и упиралась в крошечную, тоже нашу русскую область с крупно отпечатанным городом «Будышин». Я узнал маленькую, поэтическую Лужицу. Далее государственная черта переходила в прежнюю Австрию, охватывала всю Чехию с Моравией и, мимо Зальцбурга и Баварии, спускалась к Адриатическому морю, окружая и включая Триест.

В этой новой части Российской Империи определялись яркими красными границами следующие области: Царство Польское со столицей Варшавой, напечатанной крупно, и двумя главными городами Краковом и Познанью, отмеченными помельче. Червонная Русь со Львовом, Лужица с Булышином, Чехия с Веной в качестве столицы, Прагой и Оломуцем, напечатанными помельче. Маленькая, обрезанная со всех сторон Венгрия с Будапештом, Сербо-Хорватия со столицами Белградом, Дубровником и Загребом, Румыния с Бухарестом, Болгария с Софией и Адрианополем и, наконец, Греция, охватывающая прежнее королевство, острова и часть побережья, с Афинами в качестве главного города.

Очень крупно был обозначен Царьград, четвертая столица Империи, по-видимому, не принадлежавший ни к какой области.

Но крупнее всех сверкал Киев. Здесь была первая столица России, перенесенная с Севера. Мне припомнились вещи стихи Тютчева:

...в славянской мировой громаде
Строй вожделенный водворится,
Как с Русью Польша примирится.
А примирятся эти две
Не в Петербурге, не в Москве,
А в *Киеве* и Цареграде.

Итак, значит, сон поэта исполнился! Россия объединила славянские племена, «славянские ручьи» «слились в русском море», а это море разлилось на половину Европы и Азии, от

Северного до Индийского океана и от Великого Тихого океана до Архипелага и Адрии.

С западной границы от этой новой славянской России взгляд мой перешел на наш старый центр и на Восток. Как изменилось административное деление России!

Губерний, как я уже заметил, не было. Широкой красной полосой были очерчены новые, более крупные области: на севере правее Финляндии, оставшейся в старых очертаниях, крупно выделялся Петербург. Он был главным городом Северной области, огромного пространства, охватывавшего бывшие в мое время губернии Петербургскую, Новгородскую, Псковскую, Олонецкую, отчасти Вологодскую и Архангельскую. Восточная половина этих двух губерний соединялась с прежними губерниями: Вятской, Пермской и Казанской и во главе области крупным шрифтом стояла Казань. Далее шла группа губерний — Смоленской, Тверской, Ярославской, Костромской, Калужской, Московской и Нижегородской — с Москвой в качестве областного центра. Киев служил центром значительной области из прежних губерний Киевской, Волынской, Подольской, Полтавской и Черниговской с Холмщиной, выделенной из состава Польши.

Средние черноземные губернии — Орловская, Тульская, Курская, Харьковская, Воронежская, Тамбовская, Пензенская и Симбирская с частью губернии Рязанской и области Войска Донского — группировались вокруг Воронежа, ставшего центром. Далее шло Заволжье с Оренбургом, Новороссия с Одессой, Северный Кавказ с Ростовом-на-Дону, Закавказье с Тифлисом. Сибирь, обозначенная на отдельной карте сбоку, разделялась на четыре области с городами Омском, Томском, Иркутском и Владивостоком. К ним примыкала «оккупированная», должно быть, область «Манчжурия». Таким же цветом были закрашены области, вошедшие в состав Империи на особых правах, как Бухара, Афганистан, Персия. Сквозь всю последнюю, начиная от Астары, шла железная дорога, упираясь в порт Чохбар на Индийском океане.

Я так увлекся созерцанием преобразованной Родины, что совершенно не заметил, как вокруг меня собралась поря- дочная толпа. Выйдя из поезда на Тульском вокзале, я вооб- ражал, что мое инкогнито будет полное. Увы! Телефоны уже оповестили о моем отъезде из Москвы с поездом таким-то и даже о моей пересадке в Туле, а кроме того, со мной вместе вышел из вагона земский голова, тоже в Туле менявший по- езд. Я был открыт господами любознательными потомками несмотря на то, что был одет в их современный костюм и че- рез четверть часа захвачен ими для разговоров и угощений. Особенно усердствовала молодежь.

Меня усадили за большим столом под огромным брон- зовым бюстом, который я сразу узнал. Это был Лев Толстой, гордость Тулы и величайший русский писатель. Когда я сказал мельком, что в свое время знал Толстого лично, выражению восторга и зависти не было границ. Увы! Ничего нового моим собеседникам я сообщить об их кумире не мог, так как мель- чайшие подробности жизни великого писателя были известны здесь каждому школьнику.

— Вы знаете, — говорили мне с жаром, — после его смер- ти Ясная Поляна была куплена земством. Там устроены тол- стовский музей и библиотека, открыта художественная школа, убежище для престарелых писателей и настроено множество дач. Да, мы чтим Толстого!

Разговор перешел на интересовавшие меня исторические события за истекшие полвека, свидетелем которых я не был. Присутствующие наперерыв старались меня просветить. Осо- бенно усердствовал молодой профессор, основавший в Туле высшие политехнические курсы и с моим поездом ехавший до Харькова. Он говорил, другие подсказывали и дополняли.

XIV. Политическая летопись полувека

Вот как все происходило. В 1900 году начались китай- ские беспорядки. Вся Европа бросилась умирять, а, в сущ-

ности, делить Китай. Впереди всех шли немцы, которым удалось добиться, чтобы над соединенными силами европейцев командовал их фельдмаршал. Россия с самого начала отказалась от дележа Китая и отвела свои войска из Пекина, чтобы охранять только свою Сибирскую дорогу, которая в Монголии и Маньчжурии была вся разрушена. Настроение русской публики было относительно Китая самое миролюбивое. Однако «экспедиция», затеянная в составе европейского концерта, все-таки привела Китай к покорности. Был заключен мирный договор, Китай обязался платить огромную контрибуцию, и двор вернулся в Пекин.

Но не успели европейцы сдать Китаю Тянь-Дзин, как в Небесной Империи вновь началось восстание. Хотя ввоз оружия и был запрещен, но сами же европейцы провезли его контрабандой множество. Пекинское правительство стало серьезно обучать войска, для чего, как водится, пригласило немецких инструкторов. Дело пошло хорошо. В мелких стычках китайцы уже не бежали, как раньше, а дрались весьма исправно.

Через два года разразилось наконец новое и страшно кровавое восстание против европейцев. На этот раз Россия благоразумно воздержалась от участия в «усмирении Китая» и вступила с ним в соглашение, по которому Маньчжурскую свою дорогу и все, что к северу, оставила за собой, южную же ветвь вместе с новыми городами Дальним и Порт-Артуром передала обратно Китаю, исправив таким образом свои границы.

Имея обеспеченный тыл и уже порядочную армию, Китай победоносно отражал инвазионные отряды англичан и немцев. Последние мало-помалу переправили в Китай до 200 тыс. войска, но всего этого оказывалось мало. Тем временем в самой России началось движение в пользу Китая. Русское общество было глубоко возмущено немецкими зверствами над мирными китайцами, которых немцы вешали, расстреливали и т. п. Оскорбляли могилы предков, выжигали целые города. После возвращения специальной миссии,

посланной в Пекин, в Россию приехал уполномоченный богдыхана просить защиты. Россия осталась нейтральной, но по секрету было разрешено нашим офицерам, не выходя в отставку, поступать в китайские войска.

Негодование против немцев было так велико, что этим разрешением воспользовалось множество наших офицеров запаса. Можете себе представить, что произошло. Ведь китайцы — превосходные солдаты, и им недоставало лишь путного командования и военных традиций. Как только появились русские офицеры, война начала принимать совсем другой оборот.

В Германии, понятно, злобствовали и шипели, но официально держали себя тише воды, ниже травы. Но вот, на четвертый год войны случилось одно обстоятельство, которое переполнило чашу терпения России и вызвало разрыв между нею и Германией.

Очень важный стратегический пункт Дзян-дзи-фу защищали китайцы под командой русского полковника Птицына. Осада была беспрецедентная по мужеству и лишениям осажденных. Но вот наконец немцы взяли город.

Птицын и шесть китайских офицеров, бывших под его командой, были расстреляны.

Когда весть об этом дошла до России, негодование выразилось настоящим взрывом. Россия прекратила с Германией дипломатические сношения и отозвала своего посла. Германский посол тоже выехал и вслед за тем, как-то само собой, даже без официального объявления, начались военные действия.

Тройственный союз еще существовал, а потому нам приходилось иметь против себя сразу и Австрию, и Германию. Как ни была истощена и ослаблена Германия четырехлетней войной, но все же это была грозная сила. Немцы, опередившие нас в мобилизации, вторглись в Царство Польское. Но не успели они еще дойти до первой линии наших крепостей, как совершенно неожиданно наступила катастрофа для их союзницы — Австро-Венгрии.

Выдвинутая против нас императором Францем-Фердинандом восьмисоттысячная армия под Самбором и Станиславовом сложила оружие. Дело в том, что драться с Россией желали только одни мадьяры. Даже поляки благодаря мудрой и примирительной политике Николая II отказались поднимать против нас оружие, тем более что все земли старой Польши были необыкновенно возбуждены фактами страшных немецких насилий в Познани. Поляки присоединились к остальным славянам и положили оружие.

Мадьяры отступили за Карпаты, забранные немецкие офицеры были отправлены в Россию в плен, а австрийская армия была наскоро реорганизована и присоединена к нашей южной армии, половина которой могла быть переброшена в Царство Польское против Германии.

Я воскликнул:

— А Франция? А наш союз?

Со всех сторон раздались голоса:

— Франция... опоздала. При начале военных действий правительство выдвинуло несколько корпусов против Италии, которая устроила мобилизацию и привела на военное положение свою западную границу. Но в Германию ей вступить пришлось позднее. Случилась катастрофа с русскими ценностями, и в самом Париже начались смуты и беспорядки. Министерство сменялось за министерством, а тем временем русские войска заняли Берлин. Уже когда мы были там, а по всей Австрии были объявлены выборы на местные сеймы, чтобы решить вопрос о дальнейшем будущем габсбургской монархии, Франция перешла Рейн и остановилась, заняв Эльзас и Лотарингию. Война для Германии оказалась непосильной, и немцы стали просить мира.

В это же время выручили нас парижские и лондонские Ротшильды, произведя конверсию нашего долга и снабдив нас необходимым золотом.

— В чем же заключались условия мира?

— Германия отдавала нам все земли старой Речи Посполитой, Эльзас и Лотарингию возвращала себе Франция.

— А Англия?

— О! Англия в самом начале войны покинула свою союзницу, Германию, объявила себя нейтральной и прежде всего постаралась захватить немецкие колонии и флот. Теперь Great Britain окончательно устроена.

— Неужели Индия не восстала?

— России было не до того, чтобы вызывать там восстание. Были у нас охотники устроить поход на Индию, но дело кончилось тем, что мы заняли Афганистан и Персию и дальше не пошли. Да тогда нам не позволяли и наши финансы.

— Неужели Англия и до сих пор владеет Индией?

— Владеет — этого нельзя сказать. Англия умна. Ввиду возможных осложнений она поспешила дать Индии полную автономию. Индия теперь так же свободна, как Австралия, Канада, Южная Африка. Да и самой Англии в прежнем виде не существует. Теперь это союз британских колоний — и только.

— Южная Африка... А кстати, что с бурами? Чем кончилась война?

— Конечно, Англия подавила в конце концов несчастных буров. Но сейчас Африка организована довольно хорошо. Там возникли Южно-Африканские штаты, вполне самостоятельные и только номинально принадлежащие к союзу Великобританских колоний. Голландцы там равноправные хозяева.

XV. Судьбы Австрии и славянства

Но, позвольте, мы отошли от самого любопытного. Расскажите, что случилось с Австрией.

— Ах, да! Ну вот, австрийская армия сдалась, император бежал сначала в Вену, оттуда направился в Будапешт. Городские и областные управления, где повсюду было славянское большинство, объявили восстановление исторических прав своих земель. Черногория вступила в Хорватию и Герцеговину. Сербы заняли Боснию и сербские части южной

Венгрии. Румыны вступили в Трансильванию. Между поляками и русскими галичанами последовало полное примирение. Восточная Галиция до реки Сан объявила себя частью России, Западная Галиция выслала к Государю депутацию с просьбой объединить польский народ в его этнографических пределах. Чешский сейм принял в свою среду моравских и словацких депутатов и очертил границу чешских земель, включив туда же Вену, где насчитывалось до $\frac{1}{2}$ миллиона чехов. Хорват и сербов удалось примирить. Затем Венгрия была оккупирована; а так как она находится в самой середине славянских земель и выделить ее нельзя, то она была более или менее насильственно включена в союз как автономная земская область. Императору было даже предложено остаться королем венгерским, но он предпочел сложить корону и удалиться вовсе.

Война была кончена, и вот наступил вопрос о будущем австрийских земель. Местные сеймы выслали своих делегатов на общеавстрийский сейм, и там было сделано два предложения: образовать независимую Западно-Славянскую, или Дунайскую, федерацию или присоединиться к России, стать под державу русского Царя, который охотно гарантировал австрийским народам полное национальное самоуправление при крепком государственном единстве.

Последняя мысль восторжествовала. И что страннее всего: за присоединение к России ратовали преимущественно венгры, поляки и хорваты. Они боялись, что в независимой австрийской федерации против них будет всегда слишком преобладающее большинство православных народностей. Центральная же русская власть, даже самодержавная, им была далеко не так страшна.

Кроме того, тут действовали и соображения экономические. При государственном единстве с Россией упразднились всякие таможенные преграды и местная промышленность получала огромные рынки. Наконец, знали слишком хорошо, что русские государи свято держат свои обещания и выполняют договоры.

Вот почему значительным большинством голосов общевосточный сейм постановил ходатайствовать перед нашим Государем о принятии всех восточных земель на правах автономных земских областей в состав Российской Империи.

— А мы мечтали, что образуется Славянский Союз и в нем растворится «Российская Империя».

— Послушайте, это смешно. Вы посмотрите, какая необъятная величина Россия и какой к ней маленький привесок западное славянство. Неужели было бы справедливо нам, победителям и первому в славянстве, а теперь и в мире народу, садиться на корточки ради какого-то равенства со славянами? Да они и сами этого не просят. Они имеют свою национальную обстановку, свои земли, язык, управление и очень довольны, что состоят членами великой Русской державы.

— Ну а Турция? Константинополь?

— Турция осудила сама себя на гибель, присоединившись для войны с Россией к австро-германскому союзу. Мы не могли отделить против нее больших сил, а потому всей своей армией Турция обрушилась на Болгарию и страшно опустошила Македонию и Восточную Румелию. Но болгары при нашей и сербской поддержке далее Филиппополя турок не пустили. Им было нанесено несколько жестоких поражений. Затем соединенные русские, болгарские, сербские и греческие силы вступили в Константинополь, откуда султан предусмотрительно убежал в Азию, где и сидит до сих пор. С тех пор мы из Царьграда не выходили.

— Чей же Константинополь теперь?

— Наш. Но он не включен в состав ни одной области, а представляет вольный имперский город с небольшой вокруг него территорией. Укрепления Босфора и Дарданелл на обоих берегах находятся в русских руках, но теперь они потеряли всякое значение и почти упразднены.

Мне хотелось расспросить про внутренние перемены, совершившиеся за этот срок в самой России. Но на это уже не было времени. Подходил мой поезд. К счастью, меня, как уже сказано, провожал молодой харьковский профессор,

возвращавшийся домой. Он и земский голова, со мной приехавший, обещали изложить мне все подробности дорогой.

Подошел поезд, я отыскал свое место, и мы понеслись на Юг.

XVI. Федот Пантелеев и наше возрождение

Хотя было уже довольно поздно и я порядочно устал и от дороги, и от пережитых впечатлений, но мне не хотелось упускать такого знающего и милого собеседника, как ехавший со мной харьковский профессор, и я решил пожертвовать лишним часом сна, чтобы расспросить его о тех превращениях, который испытала за полвека моя, теперь такая богатая, такая бодрая и прекрасная Родина. Из всего того, что я видел и слышал, я могу заключить, что Россия выбилась на свою историческую дорогу, процветает, благоденствует и преуспевает. Контраст с моим временем невероятный. Скажите, как это все произошло? С каких пор мы сделали такие огромные успехи?

— Да именно с тех пор, как вышли на историческую дорогу, как вы совершенно правильно выразились. А эта историческая дорога наша — не что иное, как гармоническое сочетание самодержавия и самоуправления. Нужно было сделать лишь первый шаг в этом направлении, чтобы все сразу выяснилось и пошло само собой.

— Что же это был за первый шаг?

— Восстановление прихода, воскрешение органической жизни на месте мертвого бюрократического механизма. Оживший приход дал новую жизнь земству; а раз земство ожило, обновилась и вся жизнь России.

— Прекрасно, верно, эти идеи и в мое время носились в воздухе, но вы мне передайте факты. Кто, как, в каком порядке все это выработал и осуществил?

— А вот видите ли. В первые годы этого столетия реакция против земства и самоуправления была особенно сильна.

От земства понемногу были отняты все его функции, и оно обратилось в пустой звук...

— Помню, помню, мы в мое время именно этого и ждали...

— Наконец, земство было окончательно упразднено, а вместо него были введены административные советы из лиц по назначению губернаторов. Разумеется, в провинции наступило удущье неслыханное. Но это было последнее слово петербургского периода русской истории. В воздухе почувствовались совсем новые веяния, и, наконец, с назначением на должность министра внутренних дел нашего гениального Федота Пантелеева долгая полоса реакции была закончена и мы сразу вступили на широкий путь давно жданных внутренних реформ.

Я припомнил имя «гениального Федота Пантелеева», произнесенное еще в клинике ухаживавшей за мной сестрой милосердия. «Так вот кто этот Федот Пантелеев, — подумал я, — министр внутренних дел!..»

Профессор продолжал:

— В это же время России предстояли великие испытания, и всем было ясно, что для исторического подвига мало одного внешнего порядка, а необходим подъем духа, необходима свобода... не в западном, скверном смысле, а в нашем, русском, историческом. И вот, довольно было с высоты Престола раздаться давно желанному призывному живому и бодрящему слову, чтобы все сразу ожило. Вот тут-то и выдвинулся Федот Пантелеев...

— Кто он собственно?

— Простой, маленький дворянин, совершенно незнатный. Он сидел у себя в деревне, в Саратовской губернии, и появился в Петербурге довольно неожиданно. Им был сделан в Историческом обществе доклад, обративший на него общее внимание. Я не помню заглавия этого доклада, но знаю, что автора «призвали», и с этого дня его звезда начала подниматься. Волна выдвинула его на пост министра, и за несколько лет до последней великой европейской войны реформы в России были закончены...

— Я вас слушаю, слушаю.

— Еще великий Аксаков сказал, что славянский вопрос есть, в сущности, русский внутренний вопрос, и эти слова блистательно оправдались. Ну, как мы, такие, как в ваше время, могли сметь поднимать славянский вопрос? Разумеется, славяне отвернулись бы от нас и засмеяли нас... Но теперь было совсем другое дело.

Мой собеседник готов был опять увлечься своим красноречием и позабыть о фактах, которых я от него ждал. Я постарался вернуть ему потерянную нить.

— Ах, да... Первая и самая трудная реформа, как я уже сказал, была — восстановление прихода. Затем последовало восстановление земства. Уездное земство было организовано из выборных от приходов, и ему были переданы все органы управления. В то же время было восстановлено древнее каноническое избрание епископов, и в каждом уезде учреждена епископская кафедра. Церковное управление само собой слилось с земским. Уезд стал епархией, земское собрание — епархиальным советом. Получилась живая органическая единица. Очень скоро оказалось, что деление на губернии не отвечает новым условиям и мешает истинному развитию и проявлению самодержавия. При огромной, прямо необъятной русской территории, чтобы Государь мог во всей силе и полноте проявлять свою самодержавную власть, ему можно иметь дело лишь с очень крупными земскими единицами, и такой единицей была принята *область*.

Мне мысленно представилась только что виденная в тульском вокзале карта. Я спросил:

— Что же такое ваша нынешняя область и в чем ее отличие от прежней губернии?

— В широкой постановке самоуправления, в полном отсутствии бюрократического духа, который в ваше время господствовал и связывал по рукам и ногам всю местную жизнь.

— Это любопытно. Как же устроена ваша область?

XVII. Центральное и областное управление России

Во главе стоит начальник области или наместник, непосредственно назначаемый Верховной Властью. Рядом с ним, в полной от него независимости, — областной предводитель дворянства, избранный уездными предводителями области. По всем делам области предводитель и наместник докладывают Государю совместно. Областной предводитель есть по праву председатель областного земского собрания, которое состоит из гласных, выбранных уездными земствами по одному от уезда, и из всех уездных предводителей дворянства. Это собрание действует совершенно самостоятельно в пределах своего регламента. Ему даже предоставлено право местного законодательства в развитие и пополнение общего. Это нечто похожее, но гораздо шире, чем ваши прежние обязательные постановления. Правит областью Областная Дума, коей члены заведуют каждый своей частью. Это в маленьком виде прежнее западное министерство, ответственное перед собранием и наместником. Разумеется, дела области от дел государственных, с одной стороны, и от дел уездных — с другой, строго разграничены. Ну, пожалуй, прибавлю еще, что непременно членом Думы состоит областной митрополит. По делам Церкви в своей области он докладывает лично Государю в присутствии наместника и областного предводителя. Эти три лица большей частью имеют всегда общий доклад у Царя.

— Ну а начальнику области дана широкая власть?

— Его власть чисто исполнительная, хотя при несогласии с земским собранием он имеет право приостановить исполнение любого постановления. Но в этом случае немедленно созывается чрезвычайное собрание в усиленном составе для пересмотра дела.

— А если это собрание подтвердит решение первого, а наместник или начальник области по-прежнему не будет согласен?

— Тогда весь спор в двухнедельный срок должен быть передан Церковному Собору, если не согласен митрополит по какому-нибудь церковному делу, в Сенат, если дело идет о формальном правонарушении, или в Государственный Совет, если дело имеет характер политический.

— А, — заметил я, — Сенат и Государственный Совет существуют?

— Еще бы, — отвечал профессор. — Только их деятельность значительно расширена и упорядочена. Заседания их публичны и гласны, кроме секретных государственных дел, и прения печатаются в стенографических отчетах в «Правительственном вестнике»... Ну вот, мы дошли теперь до центрального правительственного аппарата, и я вам передам в кратких чертах его постановку. Во-первых, я думаю, лишнее говорить, что самодержавие не только сохранилось, но необыкновенно укрепилось и приобрело окончательно облик самой лучшей, самой свободолюбивой и самой желанной формы правления при условии, конечно, что страна живет нравственными началами, а не хищным эгоизмом. Вот почему, хотя превосходство самодержавия теперь не отрицается никем, даже на Западе, по-прежнему только одна Россия самодержавна. В Германии, например, сделанная попытка устроить по нашему образцу самодержавную монархию кончилась катастрофой. Вас это интересует? Я, пожалуй, расскажу...

— Нет, это потом, а теперь кончите про наш государственный аппарат.

— С удовольствием. Наверху мы сейчас имеем четыре главных органа царской самодержавной власти. Во-первых, Государственный Совет как орган *законодательный*. Он действует так же, как и в ваше время; вся разница лишь в том, что в его состав входят члены от областей, составляющие около половины всего состава; затем из его ведения выделены вопросы экономические и финансовые. Для законодательства в этой области существует особый Народнохозяйственный Совет, совершенно параллельный Государственному. Оба эти учреждения, каждое в своей области, вырабатывают законопроекты,

которые, как и в ваше время, называются «мнениями», отнюдь для самодержавной власти необязательными, и подносятся на Высочайшее утверждение. Итак, вот два органа *законодательных*. Во-вторых, орган *административный*: это — Сенат. Он имеет задачей наблюдение над точным и неуклонным повсюду и всеми соблюдением закона. Деятельность его замечательно упорядочена в наше время. Не говоря уже про быстрое и очень самостоятельное учинение всех возникающих дел, сенаторы посылаются по областям самодержавной властью в качестве уполномоченных для разбора чрезвычайных дел. Им даются громадные права, например, приостанавливать уездное и даже областное самоуправление, смещать выборных лиц, производить при себе новые выборы и т. д. Сенаторские поездки, собственно, и подняли наше самоуправление на ту высоту, на которой оно сейчас стоит. Четвертый орган — *судебный*. Лет тридцать назад от Сената были отняты совершенно неподходящие ему функции кассационной инстанции и был учрежден Верховный кассационный суд.

— Ну а министерства у вас есть?

Мой собеседник улыбнулся.

— Есть, конечно, но они так больше не называются. Надо вам заметить, что мы относительно всяких ломок и переименований необыкновенно консервативны. Но в эпоху реформ ваше бюрократическое прошлое до такой степени всем надоело, что даже самое название «министерство» было упразднено; это, конечно, мелочь, однако характерная. Да и самое слово было иностранное, — не стоило жалеть.

— Как же ваши ведомства сейчас называются? Неужели приказы?

— Ну, это было, пожалуй, и еще хуже. Наши центральные ведомства называются просто «управлениями» или имеют собственные имена.

— Назовите мне, пожалуйста, ваши эти управления.

— Извольте. Во-первых, Большая казна. Это — ваш прежний Государственный Банк. Теперь это вполне самостоятельное учреждение и замечательно организованное. Си-

стема его отделений, уездных и областных казен упразднила давно уже все частные банки. Затем Державная казна, соответствующая вашему прежнему Министерству финансов. Она ведаёт общегосударственными приходами и расходами. Счетная палата — ваш прежний Контроль. Управление государственной безопасности — ваша прежняя полиция. Затем идут управления земледелия, промышленности и торговли, наук и искусств, путей сообщения, почт, телеграфов и телефонов, народного здоровья, государственных имуществ и предприятий, военное, морское, внешних сношений...

— Вот видите, «почты, телеграфы, телефоны» — значит, иностранные слова все-таки остаются?

— Ах, Боже мой, — воскликнул профессор, — я ведь говорю только про такие иностранные слова, для которых есть готовый и точный русский синоним. Зачем же выдумывать и ковать новые слова, когда иностранное слово уже органически вошло в состав языка и его обогатило? Это в ваше время сочиняли слова вроде «мокроступов», «шарокатов» и пр. Помните «Петроград»?

— Ну нет, это было много раньше. В мое время над этим уже смеялись. Хотя «Петроград», правда, это при мне. Но вот что: в вашем перечислении вы забыли упомянуть про министерство или управление внутренних дел...

— Нет, я не забыл, но этого министерства больше нет.

— Позвольте, вы же, кажется, называли вашего реформатора Федота Пантелеева министром внутренних дел?

— Совершенно верно. Он и был им целых двадцать лет, пока не закончились реформы. Затем его пожаловали государственным канцлером и он в виде особой милости просил Государя никого не назначать на его место, а самое министерство упразднить, создав для полиции особое Управление государственной безопасности. Этим замечательным актом было устранено последнее недоразумение между Центром и областью.

— Я начинаю чтить вашего Федота Пантелеева. Скажите, он жив?

— О, да! Сейчас ему около 70 лет, но он совершенно здоров и бодр и работает неустойчиво. Это ближайший друг и советник Царя и, можно сказать, спаситель и опора русского Самодержавия. Ведь мы чуть-чуть не повернули на западный конституционный путь. Тогда был бы конец России. Спас нас именно Федот Пантелеев. Однако смотрите, уже Орел, — заметил мой ментор, когда мимо наших окон замелькали электрические огни освещенной платформы. — Если мы еще будем говорить, то не успеем заснуть и я приду домой с головной болью, а мне предстоит экстренная и спешная работа...

— Простите, пожалуйста, но уж продолжите вашу любезность еще на десять минут, не больше. Мне хотелось предложить вам несколько вопросов...

— Десять минут, пожалуй, но, ради Бога, только десять минут. Спрашивайте.

Профессор заглянул на часы и покачал головой.

— Все это для меня очень ново, и я сразу не разберусь, пожалуй. Судя по тому, что вы рассказывали, ведь и у вас есть и ведомства, и бюрократия. Вы устранили, правда, централизацию, вы поставили области на место губерний, но ведь по существу-то в руках государства осталось все старому: финансовое управление государственное и очень централизованное, железные дороги все казенные, телеграфы и телефоны тоже, есть у вас государственная полиция, завели вы даже новое министерство, виноват, управление народного здоровья. Значит же, есть у вас чиновничество, есть бюрократия? Правда, ваш Федот Пантелеев добился упразднения министерства внутренних дел. Не спорю, это очень эффектный поступок для министра — но ведь теперь это министерство внутренних дел есть в каждой области. Ведь ваша область устроена наподобие самостоятельного государства... В чем же разница?

— Я понимаю ваши недоумения. Как человек XIX века, вы с трудом схватываете нашу обстановку; еще труднее вам уловить ее принципы, ее дух. Ну, разумеется, бюрократия

есть, если называть ею наш обширный персонал государственных и земских агентов. Но упразднен старый бюрократический принцип, установлена полнейшая гласность, ответственность.

— Знаете, профессор, чтобы нам понять друг друга, прежде всего мне придется вас попросить сделать более точное определение. Что такое, по-вашему, бюрократический принцип, бюрократический дух?

— Извольте. Бюрократический принцип — это было ваше деление и передача власти. Верховная власть избирала министров. Министры подбирали свой персонал центральный и провинциальный и передавали ему власть. Местная власть избирала низших служащих и облакала их властью. Эта власть шла из единого источника, постепенно разветвляясь от кабинета Царя до избы мужика или прилавка купца. Получался необъятного размера правящий механизм, в котором по теории все делалось именем Государя и на основании закона, на практике же... вы, вероятно, лучше меня знаете, что было. На практике господствовал в ваше время полный произвол низших агентов власти, ибо контроль отсутствовал и ответственности, можно сказать, не существовало. Низший агент был ставленником высшего и контролировался только им. Ясно, что при столкновении с обывателем самый лучший из высших агентов имел наклонность становиться на сторону своего ставленника и обывателю было очень трудно с ним бороться. До Государя же правда могла доходить только случайно. Вы помните, как ревниво оберегали себя местные власти от печати? Помните, как в ваше время отсутствовал всякий общественный контроль над бюрократией? Да это же и понятно. Престиж власти не допускал над собой контроля со стороны первого встречного.

— Ну, а у вас?

— Мы поняли ту простую вещь, которую в ваше время не понимали. Самодержавие в его истинном *свободном* виде не дробимо и не делимо. Следовательно, Государь не может и не должен быть только вершиной бюрократической пира-

миды. Он Самодержец, а не глава бюрократии. Под ним не *механизм* бумажного управления с передачей власти из рук в руки, но ряд живых *организмов* — самоуправляющаяся по данному им закону области... Централизация и у нас есть, но какая? Техническая. Это совсем другое дело. Почтовый чиновник, начальник железнодорожной службы, агент Большой казны — это не власть, это служебные элементы государства. Вся общественная власть возникает из выборов, вся государственная власть в руках Царя. Вот наша схема. А так как государственная власть всецело обнимает собой и господствует над властью общественной, контролирует ее и правит ею, то не только никакого ущерба или ограничения царского самодержавия здесь не происходит, но только при этих условиях и возможно настоящее истинное и свободное самодержавие. В том-то и дело, что теперь не может быть речи о делении России на правящих и управляемых, как в ваше время, причем правящие, как носители власти, всегда оказывались детьми, а управляемые пасынками. Теперь и правящие, и управляемые стоят рядом и равноправные перед лицом своего верховного судьи — самодержавного Царя. Пока их спор между собой не выходит из рамок закона, личное вмешательство Верховной Власти не требуется. Но вот, закон бессилён, или страдает несовершенством, или прямо указывает, что дело должно взойти на личное решение Государя. Тогда во всей силе и полноте проявляется самодержавная власть Царя, и спор решен. Повторяю вам, мы признаем только личное самодержавие Царя, он один выше закона, все остальные подзаконны. В наше время возможен упорный и долгий спор между каким-нибудь маленьким приходом, или даже отдельной личностью и представителем Государя в области, наместником, или целым областным правительством; и мы твердо знаем, что, раз этот спор поднимется до Самодержца, его суд будет нелицеприятен... и безошибочен, потому что дело будет освещено со всех сторон. Но ради Бога, давайте же, наконец, спать...

— Нет-нет, еще минутку!..

XVIII. Православная Польша

— Вот вы мне рассказали про наше внутреннее переустройство. В идее все эти вещи проповедовались и в наше время, и ваше дело заключалось лишь в том, что вы все это осуществили. Между тем я вижу, что вы разрешили и такие вопросы, которые в мое время считались прямо неразрешимыми. Возьмем хоть Польшу. Знаете ли, что пятьдесят лет назад лучшие русские умы отказывались от решения польского вопроса, и, я помню, были даже голоса, которые рекомендовали произвести с Германией обмен: ей отдать наше Царство Польское по Вислу, а от Австрии взять Восточную Галицию; этим хотели, с одной стороны, завершить объединение русского народа, с другой — избавиться от Польши, которую называли «пластырем, приставленным к русскому государственному организму». Теперь я вижу Польшу, воскрешенную и объединенную, в составе Империи. Неужели с поляками нет никаких недоразумений? Неужели это добрые и спокойные граждане? Ну а католичество, ксендзы, шляхетские традиции, ненависть, вечные замыслы против России? Каким чудом все это исчезло?

— Очень просто. Католичества в Польше почти нет. Польша в духовном единении с нами.

Я даже с места привскочил.

— Польша православная?

Профессор опять улыбнулся.

— Вы все меряете на прежний ваш аршин, — заметил он. — Присоединиться к вселенскому церковному единству вовсе не значит «перейти в Православие». Православие — это *восточная* форма вселенского христианства. Но есть формы и другие: *западная, африканская...*

— Я догадываюсь: западная — это старокатоличество?

— Верно, хотя это слово почти вышло из употребления. Мы их называем западными христианами, они нас — восточными, и мы находимся в полном единении. Существует разни-

ца в обрядах, но Никейский Символ веры принят западными Церквами, и все догматические и существенные в церковной практике разности сглажены и устранены.

— А прежнее католичество? А папа?

— Папство еще существует, но это уже одна тень прежнего. Католический мир начал распадаться еще в ваше время. Теперь огромное большинство западного христианского человечества покинуло Рим. Англиканство раньше всех примкнуло к вселенскому единству. Теперь на Западе существует несколько автокефальных Церквей: Германская, Французская, Английская, Швейцарская, Итальянская, образуется Испанская. И все в единении с Востоком.

— Но как же это происходило в Польше?

— Польское старокатолическое движение существовало давно, но не имело успеха, пока латинство было единственной защитой польской народности. Да и мы долго чуждались церковного единения со старокатоликами, подрывая и их, и общее церковное дело. Но вот, наконец, истинно церковные и христианские взгляды восторжествовали. С одной стороны, наш Синод еще до восстановления патриаршества, снесясь с автокефальными Церквами Востока, объявил, что нет препятствий к общению в таинствах со старокатоликами, с другой стороны, русское правительство приняло замечательно мудрую и симпатичную меру: оно признало старокатоличество в Царстве Польском и первого из польских епископов, отложившегося от Рима и папы, графа Валерия Дембского, призвало в архиепископы Варшавские. Он ввел у себя национальное богослужение на польском языке, причащение под обоими видами, отменил безбрачие духовенства и в местных католических кружках произвел полный раскол. Поляки увидели, что ни о каком здесь обрусении нет речи, а, наоборот, это-то и есть их национальное возрождение. Началось массовое присоединение к новой Церкви, приобретшей весь облик национальной Польской Церкви. Почти одновременно последовало официальное единение старокатоличества с восточным Православием, и вот неожиданно для самих себя поляки стали нашими единоверцами. К тому

времени изгладились почти и последние следы русско-польской вражды, назрело решение славянского вопроса, и мы имеем теперь в наших пределах Польскую, Чешскую, Венгерскую и другие национальные Церкви, возникшие одна за другой.

— Последний вопрос, а то я действительно злоупотребляю вашей добротой. Как же решился другой, тоже в мое время считавшийся неразрешимым вопрос: а Северо-Западный край, Белоруссия, Литва, Юго-Западный край и прочие? Неужели мы их отдали полякам?

— Господь с вами! Да это теперь самые фанатические русские области. Мы, жители Центра, даже посмеиваемся немножко над их чрезмерным патриотизмом, которому теперь уже вовсе ничего не угрожает. Довольно было остановить культурную борьбу с поляками да дать простор местным силам, чтобы русское дело сделало там огромный успех. В Белоруссии и Литве — увы! — не поляки зло, и не с ними приходится бороться. Пока шла русско-польская вражда, наш Северо-Запад был чуть не сполна захвачен евреями и немцами. Вот с кем должны были повести упорную борьбу и русские, и поляки, и эта борьба не кончена даже сейчас... Ну, однако, давайте же, наконец, спать...

— Спокойной вам ночи, профессор, и великое спасибо...

Мы пожали друг другу руки. Мой собеседник улегся и почти тотчас же заснул, я же хотя и страшно устал, но был до такой степени взволнован всем виденным и слышанным, что мой сон окончательно пропал. Я проворочался до самого рассвета, а утром только было начал смыкать глаза, как новое любопытное и неожиданное явление заставило меня не только проснуться, но и встать на ноги.

XIX. Уездный архиерей. Окончание раскола

На одной из станций с полуминутной остановкой в наш вагон вошел высокий, статный монах. Когда он снял шубу и передал ее послушнику, оставшись в рясе с пелеринкой и бар-

хатном, обшитом черным валиком, низеньком круглом кlobуке, я понял, что это — архиерей.

Он осмотрелся кругом и, заметив свободное кресло около меня, извинился и сел.

Я подошел под благословение и спросил:

— Куда, владыка, путь держите?

— В Севастополь, друг мой, а оттуда через Царьград в Иерусалим.

— Доброе дело... А епископствовать где изволите?

— Здесь неподалеку, за Днепром, в Концерополе.

— Это город?

— Новый уездный город Киевской области.

— Ах, да! Ведь теперь епископские кафедры учреждены в каждом уездном городе...

— Что значит «теперь»? Это сделано уже давно, лет, пожалуй, с тридцать...

— Да, да, владыка, я слышал.

— Ну вот, у вас опять какие странные слова: «слышал». Точно вы сами никогда архиерея не видали?

— Уездного — никогда, владыка, — улыбнулся я.

— Да как же так? Вы православный?

— Православный, владыка, да только я на особом положении...

Он посмотрел на меня пристально, затем улыбнулся сам, достал из кармана газету, развернул ее и, найдя мой портрет и небольшую статейку, вскинул на меня глаза, как бы желая окончательно убедиться, и подал мне.

— Верно, это вы самый и будете?

Я пробежал заметку. В ней действительно говорилось обо мне, напоминалась моя история и сообщалось о моем отъезде на Юг.

— Да, это — я, владыка.

— Ну, так теперь все понятно. Да, с любопытством прочел я вашу историю. Немало, я думаю, и вы подивились среди нас? Наверно, не скажете, что в ваше время против нашего было лучше?

— Разве можно сравнивать? Вы гораздо счастливее нас.

— Я себе легко представляю ваше время. Много было у вас недоразумений, неустройства и бед. Но едва ли мы уже настолько ушли против вас вперед, чтобы нельзя было и сравнивать. Каждой эпохе, каждому поколению свойственны свои радости и свое горе. Почему вы знаете, что и в наше время для выдающихся по уму и сердцу людей нет тех самых, а может быть, и больших душевных страданий, чем были у ваших лучших людей?

— Ну нет, владыка, с этим позвольте не согласиться. Страдание страданию рознь. Но если в ваше сердце закрадывается отчаяние за самую судьбу вашей Родины и вашего народа, если вы перестаете верить и осуждены лишь молча смотреть... Этого страдания, я думаю, ни с каким другим нельзя и сравнивать. Неужели в ваши дни найдется хоть один человек в России, который бы *такое* страдание испытывал?

Владыка задумался на минуту, а потом сказал:

— Да, вы переживали тяжелый конец одного культурного периода, а нам досталось жить в светлом начале другого. Верно, верно; след этого настроения остался в литературе вашего времени. Но простите меня: не было ли это все-таки некоторым малодушием со стороны ваших современников? Неужели были такие уже незыблемые основания для вашего мрачного пессимизма? Неужели не было в жизни совсем никаких данных для воссоздания себе хоть сколько-нибудь сносной картины будущего? А Церковь?

— В мое время Церковь-то больше всего и заставляла трепетать за будущее: вера и личная, и народная падала на глазах...

— Знаю, знаю; ужасная вещь — падение веры.

Мой спутник умолк, погруженный в думу. Мне захотелось воспользоваться таким благоприятным случаем, как наша встреча, и расспросить его о нашем церковном возрождении. Отчасти факты я уже знал. Но, разумеется, никто не мог бы так просветить меня в этом деле, как этот бодрый и энергичный старец.

— О русском церковном возрождении я кое-что слышал, владыка, — обратился я к нему. — Но многое для меня еще неясно. Я знаю, что у вас восстановлен приход, духовенство избирается; во главе Церкви, как в древности, стоит патриарх, собираются соборы епископов. Знаю, что православная Церковь вступила в общение со старокатоликами. Но внутреннее церковное русское единство восстановлено? Старообрядческий раскол устранен?

Владыка отвечал:

— О, давно. От раскола едва остаются слабые воспоминания. Есть еще рационалистические секты, например штунда, духоборы. Но старообрядцы давным-давно стали чадами нашей Восточной Церкви, и, по правде говоря, им она больше всего обязана своим нынешним цветущим состоянием...

— Очень рад это услышать. Я всегда сам так думал. Но расскажите, как же все это совершилось?

— Вы помните, вероятно, — отвечал владыка, — что в царствование Александра III старообрядцам были даны очень существенные льготы? Затем началось понемногу движение в обратном направлении. Опасались чрезмерного роста старообрядчества, которое действительно стало усиливаться. У них и прежде была своя полная церковная организация, а тут пошли правильные периодические епископские соборы, вся Россия оказалась разделенной на епархии и архиепископии, и это создавало соблазн тем больший, что, несмотря на все усилия миссионеров, дело борьбы с расколом не подвигалось, а наоборот, раскол все усиливался. Вы легко поймете, конечно, что в деле веры крутыми мерами внешнего принуждения никогда добрых результатов не достигалось, да и самые эти меры, как насилие, совершенно несовместимы с духом Христова учения. Поэтому раскол усиливался. Случаи отпадения от Православия и единоверия и возвращения в раскол становились все чаще и чаще. Положение единоверцев было фальшивое как по отношению к старообрядцам, так и относительно Церкви. Все дело заключалось в недоразумении с клятвами Собора 1667 года. Теперь даже трудно себе

представить те мотивы, в силу которых тогдашняя церковная власть отказывалась сделать необходимые шаги для канонического разрешения соборных клятв. Но вот, наконец, наступил момент, когда медлить и колебаться стало невозможным. Церковная власть получила разрешение созвать Поместный Собор иерархов Русской Церкви, и на этот Собор были позваны для объяснений выдающиеся вожаки старообрядчества. К тому времени и единоверцы получили то, чего давно добивались, — особых архиереев в качестве викарных в некоторые епархии. Старообрядцы и единоверцы выработали для Собора обширную записку, содержащую полное изложение тех условий, при которых первые соглашались прекратить свое отчуждение от господствующей Церкви, вернуться к послушанию ей и общению. Этих условий я не имею под руками в буквальном их тексте, но я не побоюсь привести их вам на память. Старообрядцы требовали обращения Собора к восточным патриархам тех самых престолов, предстоятели коих участвовали в наложении клятв. Это, разумеется, не представляло никаких особых затруднений. Россия была политически полновластной на Востоке. Затем, по снятии клятв, они требовали установить полное равенство старого и нового обряда и не стесняемый ничем выбор того или другого. В приходах со смешанным населением рекомендовали установить или двойной состав причта, или служение по обоим обрядам по очереди. Далее старообрядцы ставили непременно условием восстановление древнего устройства прихода, то есть выборного духовенства, и управления церковными имуществами посредством выборных приходских властей при законодательном признании прихода церковной общиной и полноправным юридическим лицом. Наконец, относительно высшего иерархического устройства Русской Церкви старообрядцы предлагали восстановление патриаршества и постоянный ежегодный созыв епископского Собора в качестве верховной русской церковной власти. Все эти требования большого противодействия на Соборе не встречали, ибо служили лишь отголоском общего желания всех верую-

щих русских людей и в огромном большинстве разделялись и самими иерархами собора. Но одно препятствие казалось непреодолимым. Старообрядцы требовали, чтоб их архиереи австрийского белокриницкого посвящения были признаны Собором в сущем сане, даже без предварительного отречения от заблуждений и без какого-либо покаяния или перепосвящения. Они настаивали на том, что их белокриницкая иерархия произошла от *незапрещенного* канонически боснийского митрополита Амвросия. Соглашаясь, что рукоположение им первых старообрядческих епископов было единоличным, то есть несогласным с канонами, они утверждали, что того требовала крайняя нужда, и приводили аналогичные примеры из русской церковной истории. Этой уступки Собор сделать не решался, и кто знает, чем бы кончилось дело примирения, если бы не нашли очень счастливого и истинно христианского выхода сами старообрядцы. Несмотря на то что у них в ту минуту состояло около двенадцати архиереев австрийского белокриницкого посвящения, они попросили их ради дела церковного мира удалиться на покой; это сразу устранило главное препятствие. Собор закончил свои заседания торжественным актом, где излагались подробности нового церковного распорядка и возвещалось возвращение в лоно Церкви двадцати миллионов ее ревностных чад. Акт этот вошел в Свод Законов как основной церковный закон. Вслед за тем на утверждение Верховной Власти были представлены три избранные собором кандидаты, из коих и был утвержден патриархом митрополит киевский Варсонофий.

XX. Обновленная Русская Церковь

— Разве кафедра патриарха не в Москве? — спросил я.

— Нет, высшая церковная власть по канонам там же, где и средоточие правительственной власти, — в Киеве. По областям управляют митрополиты, простые епархии имеют границами уезды, но теперь и эта единица начинает казаться слиш-

ком большой. Епископ, согласно канонам, должен знать в лицо всю свою паству, а это при наших иногда огромных уездах прямо невозможно. Пока мы стараемся исправить недостаток назначением викарных архиереев в большие села.

— Но ведь содержание ваше, владыка, все же должно дорого стоить. Не трудно ли это для населения?

— Вы ошибаетесь, друг мой, — отвечал владыка. — Наше содержание стоит очень мало, потому что мы лично ничего не получаем. Да и какое жалованье монаху? Разве об этом можно говорить?

— Вот как! — заметил я в удивлении. — В мое время было совершенно иначе. Но на какие же средства вы живете?

— Средства нам дает епархиальный совет, состоящий из представителей приходов, или то же земское собрание. Каждый год составляется смета на содержание архиерейского дома, духовного правления, кафедрального храма, хора и на все наши необходимые расходы. Необходимая сумма раскладывается на городские и сельские приходы, которые и вносят. Раскладка эта — самая умеренная. Бедные приходы из нее все изъеются; мало того, иногда епархиальный совет им же еще оказывает пособие. Но зато митрополиты и патриарх по мере нужды посылают нам милостыню. Средства для этого дают богатые монастыри.

— Разве у вас в управлении нет монастырей?

— Теперь нет. Архиереи монастырями больше не управляют... Многое, слава Богу, изменилось с тех пор, как установлено избрание епископов.

— А кстати, владыка, как это избрание совершается? В мое время об этом и мечтать не смели...

— Когда епископская кафедра освобождается, в тот город отправляется окружной архиепископ или митрополит области. Он имеет нескольких кандидатов, которых ему поручено предложить от имени областного синода. Но избрание этих лиц для местной паствы отнюдь не обязательно. Она избирает из них лишь в том случае, когда не имеется своего достойного кандидата.

— А как составляется избирательная коллегия?

— Избирает вся Церковь, то есть весь церковный народ. Каждая общественная группа должна быть законно представлена. Таким образом, избирательное собрание составляется из представителей духовенства и монастырей, земства и городов, а также отдельных корпораций, где они имеются, например академии, университеты и т. п.

— Ну а самый порядок выборов?

— Избиратели собираются обыкновенно в местном соборном храме, и после торжественного богослужения и молебствия собрание объявляется открытым под председательством прибывшего архиепископа или митрополита. Составляется список предлагаемых кандидатов, куда также включаются и кандидаты синода. Затем против отдельных кандидатов предъявляются канонические возражения. Остающиеся в списке лица подвергаются голосованию, и получивший большинство голосов объявляется избранным. Его имя вывешивается на три воскресных службы во всех церквях епархии, и в течение двух месяцев каждый может объявить протест с надлежащими, конечно, доказательствами. К истечению этого срока в данный город съезжаются епископы соседних уездов, количеством не менее двух, и назначается день для докимасии, а затем рукоположения.

— Что такое «докимасия»? — спросил я.

— Древнее церковное испытание веры и жизни. Рукополагаемый удостоверяет чистоту своего исповедания. Тут же разбираются все взводимые на него обвинения и протесты против его избрания. Затем, когда испытания кончено, совершается торжественное рукоположение и новый епископ произносит свое первое слово пастве.

— А если голоса разделятся?

— Тогда выбор предоставляется жребию.

— А от кого зависит перемещение епископов?

— Перемещение? Зачем может понадобиться перемещение?

— Например, если возникнут недоразумения между епископом и его паствою?

— Перемещений у нас не бывает. Помилуй Бог разлучать паству и пастыря из-за личных недоразумений. Разве это решение вопроса? При незначительных столкновениях достаточно христианского воздействия архиепископа области, в случаях же более тяжелых созывается церковный суд. Перемещений же, о которых вы говорите, на моей памяти было всего два случая. Слободскому Павлу врачи предписали покинуть Северо-Восточную область и поселиться на юге. Одновременно освободилась кафедра в Феодосии. Он послал просьбу митрополиту Новороссийскому предложить феодосийской пастве его принять. Та охотно согласилась, и дело было кончено. Другой подобный случай был в Сибири. Вот и все, что я знаю.

— Последний вопрос, владыка, если позволите: консистории сохранились?

Владыка улыбнулся.

— Нет, их больше нет. Существуют епархиальные советы, собирающиеся периодически для разрешения хозяйственных дел, и духовные правления при архиереях в качестве учреждений постоянных. Правления состоят из членов по выбору приходского духовенства и монастырей и являются при епископе в качестве совещательных органов. Он утверждает их постановления и на их рассмотрение передает все важные вопросы церковного управления. Но мнение правления для епископа необязательно. Его решение всегда самостоятельное и единоличное, как и требуется канонами. Чтобы закончить об органах епархиального управления, прибавлю, что у архиерея существуют особые священники — духовные следователи, особые священники-проповедники и, наконец, особые наблюдатели над преподаванием Закона Божия и пения в школах и храмах.

Совершенно незаметно в живой и интересной беседе прошло три часа. Поезд быстро несся к югу, прорезая Новороссийскую степь.

— Смотрите-ка, вот и море Господь послал, — заметил владыка, осеняя себя широким крестом. — Скоро и нашему пути конец.

Направо и налево весь горизонт занимал Сиваш, такой же мутный, мелкий и противный, как и в мое время. Чайки, как осужденные грешные души, кружились над тростниками.

— А вы, почтеннейший господин предок, куда путь держите? — спросил владыка.

— Посижу недельки две на южном берегу, соберусь с силами, а потом хочется в родных местах побывать, — отвечал я.

— Ну, помогай вам Бог. Чай, из родных никого не осталось?

— Никого, владыка, из близких. Я наводил справки: все мое родство — внук и внучка покойной сестры. Они обо мне не имеют никакого понятия... Вот поеду — познакомлюсь.

— Желаю вам найти в них истинных родных и хороших людей, — сказал владыка.

Быстро пролетели мы Крым, сделав всего одноминутную остановку в Симферополе, и к двум часам остановились у севастопольского вокзала.

ДИКТАТОР

Политическая фантазия

I

И Петербург, и провинция были как громом поражены объявленным Сенату Высочайшим Указом, в силу коего в видах объединения власти и прекращения смуты, грозившей полным разложением государству, назначался верховным Императорским уполномоченным по всем частям гражданского управления и главнокомандующим армией и флотом командир Красногорского полка полковник Иванов 16-й с производством в генерал-майоры и назначением генерал-адъютантом.

Об этом полковнике Иванове 16-м никто не имел ни малейшего понятия. Газетные репортеры не могли дать решительно никаких сведений. Бросились в военное министерство, но там могли только узнать, что полковник Иванов 16-й действительно существует, командует полком всего год, ровно ничем выдающимся не отмечен и имеет послужной список самый скромный и, можно сказать, бесцветный. Из дворян, воспитание получил в кадетском корпусе, затем прошел Павловское военное училище и инженерную академию, откуда выпущен в строй. Командовал ротой в саперном батальоне. Ранен на рекогносцировке под Шахэ и награжден золотым оружием. Лет от роду 35. Женат, и жена имеет 420 десятин в Новгородской губернии. Вот и все.

Этот формуляр ровно ничего не говорил. Таких офицеров у нас тысячи, и почему именно на Иванове 16-м остановился выбор Государя — являлось ничем не объяснимым. Больше всех были заинтригованы придворные сферы, где о будущем

диктаторе никто не имел ни малейшего понятия и самое имя Иванова нигде не произносилось.

Не знали даже, где новый правитель государства. Газетные сведения были противоречивы. Одни газеты сообщали, что Иванов уже в Петербурге и находится в Царском Селе, другие — что он едет откуда-то с Дальнего Востока.

Недоразумениям положила конец краткая заметка, появившаяся на следующий день в «Правительственном вестнике»:

«Верховный Императорский уполномоченный сегодня, в 11 часов утра, будет принимать в Зимнем Дворце гг. министров, членов Св. Синода и Правительствующего Сената».

II

С 10.30 утра на Дворцовой площади начали вытягиваться несколько линий карет и колясок, а в залах столпившиеся первые чины государства в полной парадной форме с волнением и тревогой ожидали выхода молодого диктатора.

Ровно в 11 часов в Георгиевский зал, где огромным pokojем разместились присутствовавшие сановники, вышел генерал-адъютант Иванов.

Это был совсем еще молодой генерал, среднего роста, худощавый, с красивыми чертами лица и острыми, насквозь принизывавшими серыми глазами. Он вышел просто и уверенно, подошел под благословение митрополита Антония, сделал общий поклон и громким металлическим голосом сказал следующее:

«Ваши высокопреосвященства и милостивые государи!

Его Величество Государь Император, нравственно истерзанный и измученный вот уже третий год тянущейся смутой, грозящей России разложением и гибелью, решил положить ей конец и для этого призвал меня и облек Своим высоким доверием и властью. Эту власть я решил принять только как полную, единую и безусловную. Умиротворив Россию, восстановив в ней всеобщее доверие, твердую власть, свободу и порядок, я сложу мои полномочия к стопам Монарха и вернусь

к моему скромному делу. Знаю хорошо, что меня ожидает, и готов к этому. Меня могут убить сегодня, завтра или в любую минуту. Но мое место займет тотчас же другой столь же вам неизвестный Иванов, за ним третий и т. д.; преемственность наша уже намечена и установлена, и перерыва в работе не будет никакого. Программа определена твердо и будет выполнена неуклонно. Она очень проста.

Россия тяжело больна — ее нужно вылечить. Лекарство для великой страны — не теория, не доктрина, а здравый смысл. Он затуманился и исчез у нас за странными и нелепыми понятиями о либерализме, реакции и т. п. Его надо отыскать и восстановить, и тогда только станет возможно правительству править, а народу жить.

В этом — вся моя программа, и другой у меня нет никакой. И вот я приглашаю вас: вы, отцы и владыки, приложите все усилия оживить и восстановить деятельность Церкви. Безотлагательно должен быть созван российский поместный Собор. Без колебаний и шатаний должна Православная Церковь подать свой руководящий голос и указать народу его высшие цели и Обязанности. Вам, владыка святой, как первосвященнику Церкви Русской, предстоит сказать твердое и мужественное слово, и я прошу вас, не дальше как завтра, произнести достойное вас слово с соборной кафедры. Оно должно быть повторено в церквях всей России и пронестись как благовест. О подробностях условимся сегодня.

Вас, господа Сенат, как представителей единственного не расшатанного смутой высшего учреждения России, я прошу твердо встать на защиту закона и порядка. Моим первым шагом должно быть восстановление значения Сената как высшего правящего органа в Империи, и я прошу гг. первоприсутствующих без малейшего промедления представить мне свои об этом соображения. Вам вскоре предстоит широко поработать в вашей законной роли государственного административного суда, перед которым я поставлю очень крупных обвиняемых. И если правде суждено воссиять в России, это будет венцом ваших, господа, усилий.

Наконец, с вами, господа министры и начальники правящих ведомств, мне предстоит подробная беседа с каждым в отдельности. Здесь я должен сказать вам, как объединенному Кабинету, только одно — что именно единства недоставало нам до сих пор, столько же единства замысла и творчества, как и единства исполнения. Наши ведомства, во-первых, совсем не знают России, во-вторых, до сих пор представляли не части одного великого организма, а особые государства, вернее — страны света, связанные только тем, что нарисованы на одном глобусе. Я постараюсь дать вам это единство, а вас прошу дружно и добросовестно мне в этом помочь».

III

Произнесенная ясно, просто и со спокойной уверенностью речь произвела на присутствующих сильное впечатление. Сделав общий поклон, генерал-адъютант Иванов удалился из залы. Митрополиты, архиереи и сенаторы двинулись к выходу, министры столпились в кружок, обмениваясь впечатлениями.

— Господин председатель Совета Министров, Императорский уполномоченный просит вас к себе, — провозгласил дежурный адъютант.

Столыпин отделился от группы министров и направился в небольшой кабинет, где был Иванов. Двери затворились, и они остались одни.

— Садитесь, — начал диктатор, — и выслушайте меня внимательно. Моей первой мыслью, получив это назначение, было расстаться с вами. И не только расстаться, но торжественно предать вас суду как одного из главных виновников обострения смуты. Вы вместо того, чтобы предостеречь Государя и честно открыть Ему глаза на все безумие парламентского опыта в России, стали сами усердно играть в конституцию. Вы доверились темной личности — господину Крыжановскому и стали устраивать с ним выборную комедию; вы развели гнусную официозную печать вроде вашей «России», которая только компрометирует правительство. Вы пошли в народ с подкупом и соблазном,

бросая в грязную агитацию правительственные мероприятия, ломавшие и законодательство, и все устои народного быта, чтобы только задобрить деревню и выиграть мужицкие голоса. Это называлось у вас законодательство по 87-й статье! За одно это вы уже заслуживаете самого строгого суда.

— Таково было единогласное требование и общества, и народа, — пытался оправдаться министр.

— Это была ваша фантазия, ваши меры вызвали общий и дружный протест со всех сторон. Но самое ужасное — это то, что новые законы жестоко скомпрометировали самую идею власти. Народ понял, что бюрократия готова на всякую ломку, на всякую подачку, лишь бы сохранить за собой власть. Поняли, что вы хлопчете не о благе России, а об успехе на выборах. И что же? Получили ли вы, чего хотели? Нет, вас закидали черняками, вам прислали социалистов, анархистов и смутьянов еще в большем числе. Не правда ли, как хорош ваш парламент! Как хороши вы, которые бегаєте туда фехтоваться со всякими Озолями, Алексинскими и Зурабовыми!

Столыпин молчал.

— Затем все ваше управление было рядом самых постыдных колебаний, простите мне это выражение, — сплошным вилянием хвостом. Одной рукой вы поддерживали монархические организации, рисуясь перед ними чуть не черносотенцем. Другой рукой вы удерживали местные власти от всяких серьезных мер против анархии. Вы шли на уступки там, где об уступках не могло быть и речи, где только твердость власти и могла произвести нужное впечатление...

Диктатор замолчал на минуту и, не слыша возражений, продолжал, смягчая тон:

— Но я должен быть справедливым. Рядом с этими темными сторонами вашей деятельности есть и светлые, и ради них вам не только можно простить то, что вы наделали, но и возможна дальнейшая работа с вами. Вы не испугались военно-полевых судов — это раз. Вы обновили состав полиции, и особенно губернаторов, и подняли ее на большую высоту — это два. Вы все-таки осадил революционные элементы

в Думе — это три. Вы лично мужественный и толковый работник, не боящийся ответственности. Заменить все было бы трудно. Рука об руку с вами мне удастся сделать многое. Могу я на вас рассчитывать, но уже, разумеется, не на первой роли, а на второй, как исполнителя?

Иванов протянул руку.

— Честно, искренно, душа в душу? Наград у меня для вас никаких нет. Наша награда — благо родины и суд истории. Жертвы и опасности — сплошные, да вы это сами хорошо знаете. Не сердитесь же на меня за горькое слово и будем работать.

Столыпин молча пожал протянутую руку. Собеседники взглянули друг на друга и сердечно обнялись.

IV

Министр повернулся было, чтобы уходить, но Императорский уполномоченный остановил его:

— Еще два слова. Время дорого, и я буду краток. Слушайте же и примите к сердцу то, что я вам скажу. Парламентаризм в России, как вы сами теперь видите, ложь и обман. Возврат к старому режиму невозможен. Бюрократия отжила свой век, опозорила и разорила Россию и вызвала к себе такую ненависть, с которой нам с вами не справиться. Нужно вступать на новый путь. Иной, кроме Царской и Самодержавной, верховной власти в России быть не может. Но под нее нужно подвести совсем иной фундамент. Этот фундамент — широкое самоуправление, которое должно всецело заменить бюрократию. Все будущее России — в земстве, поставленном как первооснова государственного здания. Выделите из области государственной работы все, что имеет местный характер, — только тогда со своим делом будет в состоянии справляться центральное правительство. Местную работу отдайте самоуправляющимся земствам. Организуйте уезд в совершенно самостоятельную единицу. Группа уездов, однородных по этнографическим, хозяйственным и бытовым свойствам, должна составить самоуправляющуюся область, обнимающую район

нескольких губерний. Это должно быть нечто вроде штатов Северной Америки. Вот наш тип государства. Союз этих штатов с Самодержавным Царем во главе и будет искомой нашей государственной организацией. Только при этих условиях станет возможной работа центрального правительства, только при такой постановке самодержавия на основах самоуправления будут обеспечены как свобода от нынешней чудовищной опеки бюрократии, так и порядок, ибо настоящего порядка из Петербурга устроить нельзя, не обращая всей страны в огромные арестантские роты.

Областное деление намечается само собой; его требует и указывает жизнь, его не нужно выдумывать, а только развить и завершить. Смотрите: Финляндия, Польша, Прибалтийский край, Кавказ, Туркестанский край — все это области уже совершенно очерченные. Организуйте по областям и остальную Россию. Что общего между Северным краем и Малороссией, между Заволжьем и черноземным или промышленным районами? А Сибирь? Каким ярким ключом забьет повсюду жизнь, как воспрянет русский человек, когда окончится наш проклятый петербургский шаблон и всеобщее обезличение! И как будет легко править двумя десятками областей, вызвав в общий центр их лучшие рабочие силы и из них составив все государственные органы. Это будет государственное устройство, которому позавидует Америка. Какой чудный облик и какую несокрушимую силу приобретет Русский Самодержавный Царь, окруженный не оподлевшей бюрократической кастой, не гнилой придворной средой, а истинными выборными всей земли, ее лучшими работниками!

— Вы вводите автономность и федеративное начало. А если это будет ослаблением государственного единства России? — заметил Столыпин.

— Оставьте эти пошлые книжные определения, — живо возразил диктатор, — Мысль об областях взята не из книжки; она красной нитью проходит через всю русскую историю. Полное самоуправление областям давал Иоанн Грозный. Областное деление являлось необходимым условием для каждого

самостоятельного русского государственного ума от Пестеля, либерала и революционера, до крайнего консерватора Фадеева. Я глубоко верю, что государственная связь России не ослабнет, а только окрепнет при широком областном самоуправлении. Отчего так легко править Вильгельму как германскому императору? Да оттого, что вся местная работа лежит на союзных правительствах, что все эти баварские, саксонские и виртембергские короли суть только председатели местных земских управ и несут на себе всю черновую работу управления. Вы говорите: ослабнет связь. А нынешнее полицейское единство прочно? Неужели вы не замечаете, что эта связь совершенно сгнила, и если мы не дадим другой, свободной и широкой, то Россия развалится от одной ненависти своих составных частей к Петербургу? Вон, Менделеев и карту областей дал.

Иванов остановился и взглянул на часы.

— Простите. Серьезный и подробный разговор об этом впереди. В этом — главная наша реформа, и я уверяю, что когда вы хорошенько вдумаетесь в вопрос, я найду в вас самого ревностного и убежденного сотрудника.

Диктатор подал Столыпину руку и проводил его до двери.

V

— Статс-секретарь Коковцов! — провозгласил адъютант.

Министр финансов вошел и приготовился слушать. Диктатор начал без всяких предисловий.

— Мне предстоит, Владимир Николаевич, здесь же, в беседе с вами, решить вопрос о возможности совместной работы. Должен вас предупредить. Я не финансист, а дилетант. Но, следя за всем движением общественной и государственной жизни, я не мог не видеть, что в основе хода и той, и другой лежит экономическая политика государства. Сытая и благоденствующая страна — плохой материал для революции. В разоренной и голодающей, наоборот, неудержим никакой порядок, никакой гражданский строй. Естественно, что я счел своим долгом хотя настолько ознакомиться с экономикой и финансами, чтобы не

стоять, беспомощно разинув рот, перед специалистом. Это в виде предисловия, а теперь перехожу к делу. Как вы смотрите на финансовое положение России?

— Без займа нам не выйти. Но так как ваше назначение связано, как можно думать, с немедленным роспуском Думы, то я совершенно не вижу возможности сделать заем.

— На займы ставьте крест, Владимир Николаевич. Их больше не будет. Давайте думать, как выйти без займа.

— Если мы не заключим займа, будет дефицит примерно в 300 миллионов рублей. Мы можем, конечно, расходовать наш золотой запас, но в таком случае валюта неудержима и наступит крах.

— А вы, конечно, стоите за поддержание золотой валюты?

— Я не могу себе представить большего несчастья, как возврат к бумажным деньгам, колеблющемуся курсу и т. д. Неужели Россия приносила такие жертвы для установления у себя хорошей и прочной денежной системы, чтобы в один прекрасный день пустить все насмарку?

— Хорошо. Я не стану вас опровергать, но я предложу вам как министру финансов ответить на следующий вопрос. Сельское хозяйство, ни частное, ни крестьянское, не может идти без оборотного капитала. Денег в народе нет вовсе. Деревня разорена совершенно. Отсюда — всякие аграрные вопросы, стремление захватить помещичьи земли, возможность новой пугачевщины. Первое средство успокоить сельскую Россию — это влить в деревню посредством мелкого кредита по меньшей мере миллиард рублей. Ваша денежная система может это сделать или нет?

Коковцов вынул из кармана бумажку и подал диктатору.

— Вот справка о состоянии средств наших главных банков в эту минуту. Никакого безденежья не замечается, кассы полны.

Иванов вспыхнул.

— Неужели же вы не понимаете, что эта справка не опровергает, а только подтверждает то, что я говорю? Да, в банках скопились свободные средства, потому что остановились все промышленные дела, закрыты кредиты, никто не платит,

банковые кассы должны иметь огромные резервы в наличности. Да, в банках деньги есть, но в деревню не попадает из них ни одной копейки. Вы сами останавливаете всю промышленность, так как держите учетную норму в 7,5 процента по трехмесячным векселям, заставляя частные банки брать 10 и 12. Какое промышленное дело может это выдержать? Я ставлю вам совершенно определенный вопрос: можете ли вы создать для народного кредита капитал в миллиард рублей и притом своими средствами, без всяких займов?

— Машин в экспедиции достаточно, можно напечатать хоть пять...

Диктатор сделал нетерпеливое движение, но сдержался.

— Я знаю, что вы хотите сказать. Вы грозите, что можно сорвать валюту и начать наводнять Россию бумажками, да? Хорошо. Пусть вы правы. Но тогда что же по-вашему? Стеречь валюту, отказаться от поднятия хозяйства и устройства народного кредита? Оставить деревню в том ужасном виде, как сейчас? Продолжать строить государственный бюджет на спаивании и обирании народа? Ответьте же мне, как *вам* представляется выход? Покажите положительную сторону вашей программы, или вы предпочитаете жить со дня на день?

— Ваше превосходительство! У меня есть мои твердо сложившиеся воззрения. Я не сторонник финансовых экспериментов и могу вам поручиться, что не я буду тот министр финансов, который вывесит объявление в Государственном Банке о прекращении размена.

— Высоко ценю твердость вашего характера и просил бы вас ответить мне на последний вопрос. Вы знаете, чего я хочу. Кто мог бы ответить этим задачам в роли министра финансов? К кому мне обратиться?

— Да чего же лучше? Вот вам Сергей Юльевич. Он уже категорически отрекается от золотой валюты и будет готов на всякие реформы, какие вам угодно.

— Нет, с Витте у нас будет разговор совсем о другом.

— Ну, тогда возьмите Шипова. Иван Павлович уже писал кстати и доклад об уничтожении золотой валюты.

VI

Вслед за Коковцевым в кабинет диктатора был вызван Государственный контролер. Шванебах вошел истым царедворцем, с приятнейшей улыбкой и низким поклоном.

— Бью челом представителю молодости, свежести и энергии. Ваше превосходительство омолодите нас, стариков...

— Садитесь, Петр Христианович, и будем кратки. Я нарочно пригласил вас после Коковцева, с которым мы, кажется, больше не увидимся. Вы о нем сожалеть не будете?

— Ваше превосходительство, у Мопассана есть прелестный рассказ...

— Нет, Бога ради, оставим Мопассана. Вы единственный человек, хорошо знакомый с нашими финансами, у вас огромный опыт, вы дали прекрасные работы по финансам. Нынешняя финансовая система никуда не годна и привела нас к разорению и революции. Нам остается два выхода: или перейти к нашей старой серебряной валюте, которая даст нам нужные средства для подъема народного хозяйства, или сделать шаг еще более смелый и перейти прямо на бумажные деньги. Я хочу услышать ваше мнение.

— Я должен покаяться — вы меня ставите в затруднение. Я не сторонник политики графа Витте и писал против золотой валюты, но я еще менее склонен рекомендовать переход к серебру и уже считаю совершенной ересью бумажные деньги.

— Но тогда я вас совсем не понимаю. Если не золото, не серебро и не бумажки, то тогда что же? Четвертого, сколько мне известно, ничего не открыто. Между тем мне нужен выход.

Диктатор повторил сказанное Коковцеву по поводу народного кредита и поставил Шванебаху тот же вопрос. Контролер выслушал внимательно и, казалось, был в величайшем затруднении.

— Признаюсь, ваше превосходительство, застаете меня совершенно врасплох. Это надо обдумать. Усиление денежного обращения целым миллиардом рублей независимо от вопроса,

как эти деньги получить, вносит также усложнение в государственное хозяйство, которое учесть очень трудно.

— Да, но это требование безусловное. Если ему не может удовлетворить современная денежная система, значит, она никуда не годится и нужна иная. И вот об этом я и хотел услышать ваше мнение.

— Я могу сказать только одно: золотая валюта неудержима. Поддерживать размен ценой народного разорения немислимо. Покинуть ее необходимо. Я думаю, что было бы возможно, не связывая себя ничем, допустить некоторое падение курса и затем удерживать его в благоразумных пределах.

— Что же это будет такое? Золотая система без размена на золото? Впрочем, пусть себе называется как угодно, только достаньте средства для народного кредита.

— Но выпущенный миллиард рублей сделает курс неудержимым, уронит его стремительно!

— Почему? Разве это не будет вполне производительная затрата? И каким образом знаки, которые войдут в народное обращение и будут им удержаны, могут уронить курс? Какое действие этот миллиард окажет на наш расчетный баланс?

— Повторяю вашему превосходительству, что я не могу так сразу ответить на ваши вопросы. Я полагал, что наша беседа пойдет по ближайшему предмету моего ведомства.

— А что же говорить о вашем ведомстве? У нас давным-давно установился девиз, которому и вы неукоснительно следуете: *ни с кем не ссориться*. При бюрократическом строе контроль, как *ведомство*, иным быть и не может.

— Как же надеетесь изменить это положение?

— По-моему, в таком необъятном государстве, как Россия, контроль не может быть «ведомством». Эта деятельность, составляющая главную силу государственной власти и важную задачу управления, должна принадлежать такому же специальному высшему установлению, как Сенат, стоящему непосредственно около Монарха и составленному из земских выборных людей. Затем контроль государства, стоящий выше всяких партий, пристрастий и местных интриг, должен идти в

самую глубину местной жизни и проникать в самоуправление до последней общественной ячейки. Здесь государство должно быть абсолютным, полновластным и неумолимым.

— Какая огромная задача!

— Да, и именно в вашем ведомстве множество молодых сил для ее прекрасного выполнения. Но благодаря вашим верхам эти силы совершенно пропадают...

VII

Государственный контролер отклонялся, и вслед за ним появился Кауфман, министр народного просвещения.

— Ну-с, господин командир без армии, — начал диктатор, указывая министру на кресло против себя, — где же мы с вами будем разыскивать русское просвещение? Осталось ли у вас хоть одно высшее учебное заведение работающее?

— Да, дело плохо. Революция захватила всю молодежь поголовно.

— При добром содействии начальства. Не правда ли, как вовремя дана автономия? Но все-таки что же вы предполагаете делать? Как вы смотрите на будущее?

— Я думаю, что успокоение молодежи стоит в тесной зависимости от общего успокоения страны. Когда все войдет в норму, тогда и в учебных заведениях кончатся волнения... Мы теперь стараемся спасти что можно. Пусть хоть некоторая часть студенчества выдержит экзамены и не будет выброшена на улицу.

— Это не экзамены, а позор! — гневно перебил диктатор. — Министерство закрывает глаза на самые вопиющие безобразия и хлопочет только о том, чтобы как-нибудь соблюсти внешнюю видимость. Я знаю, как держатся экзамены. Студент берет билет и тут же в сторонке прочитывает соответствующую часть курса по тетрадке. И что бы он ни говорил, какую бы дичь ни нес, профессор не смеет поставить плохую отметку, потому что центральные органы объявляют бойкот, делают насилия. И с этим все мирятся, это называется госу-

дарственными экзаменами! Безграмотные люди с дипломами высшего образования?!

— Я не вижу, каким образом мы могли бы в это дело вмешаться.

— Это несчастное поколение насквозь отравлено, — не отвечая министру, продолжал диктатор. — Нужно спасти по крайней мере будущие поколения, спасти русскую науку. Я не верю в возможность казенной науки, казенной школы, кроме, конечно, школ социально-военных и морских. Казенная наука есть величайшая ложь, которую мы когда-нибудь видали. Необходимо решительные и крутые меры. Автономия казенных университетов — чудовищный самообман. Необходимо дать науке полную свободу, полный простор. Пусть каждый учится где угодно, чему угодно, у кого угодно. Задача правительства — только надзор, чтобы публичная школа не развращала учащихся. Отсюда вывод: всякие дипломы должны быть уничтожены, все казенные высшие школы упразднены. Университетские здания, лаборатории, разные пособия, библиотеки и пр. могут сдаваться в аренду группам профессоров, которые пожелают открыть тот или иной факультет. Расходы должны покрывать сами учащиеся. Есть ли что безнравственнее, чем брать деньги с нищего народа, чтобы воспитывать современную невежественную и гнусную интеллигенцию? Затем средняя и низшая школа. И здесь принцип тот же: казне, правительству, кроме надзора, делать нечего. Пусть родители сами основывают школы, какие им угодно и на свой счет. Низшие школы пусть основывают и содержат приходы и селения, средние — города и земства.

— Но у нас уже принят принцип всеобщего обучения...

Диктатор вспыхнул.

— Не говорите мне об этой гнусной и безнравственной затее. Мир не видал большего насилия, чем это обязательное вколачивание казенной науки там, где ее совсем не желают. Знаете ли вы, что всеобщее обязательное обучение есть только средство в руках республиканских и масонских правительств перевоспитать по-своему народ, потушить в нем историче-

ские, национальные и монархические чувства, убить веру и поставить в полное подчинение бюрократии? Желать этого для России может только ее предатель и злейший враг. Русский народ жаждет неудержимо просвещения, но в своем историческом, бытовом и христианском духе. Помеха ему только бедность. Улучшите экономическое положение народа, освободите церковь, устройте широкое самоуправление, и вся Россия без казенной палки покроется школами, и эти школы понесут свет. Найдутся и подвижники для этого дела. Только лишь бы к нему не смел даже издали прикасаться чиновник.

Диктатор помолчал немного и круто переменял тему разговора.

— Теперь о вас лично. Вам наша высшая школа обязана в огромной степени ее нынешним ужасным положением. Вы все время с вашим гениальным Герасимовым оказывали попустительство всяким безобразиям, а главное, вы разрешили прием евреев без нормы. Полюбуйтесь на университеты киевский, московский, одесский.

— Я этого ожидал, — грустно сказал Кауфман, — и моя отставка в кармане.

— Благодарю вас. Передайте ее председателю Совета.

VIII

Генерал-адъютант Иванов взглянул на часы и сказал адъютанту, провожавшему министра юстиции Щегловитова:

— Уже половина второго, в три я в Думе. Будьте добры передать господам министрам, что сейчас я приму только князя Васильчикова. Прошу садиться, — обратился диктатор к Щегловитову, — и прибавил: — Что нам делать с судом?

Министр грустно поник головой.

— Половина магистратуры — в рядах революции. Но это не открытые бунтовщики, о нет! Это добродетельные служители 20-го числа и пакостят своей Родине исподтишка. Скажите, задумывались ли вы над тем, как вернуть этих господ к сознанию долга?

— Это страшно трудно. Судебное ведомство развращалось давно и совершенно упало при Муравьеве. Чтобы подвигаться вверх, нужно было быть отъявленным карьеристом. Это и сказывается теперь, когда делает карьеру не исполнение долга, не честь и доблесть, а революция. Вопрос почти неразрешимый.

— И, однако, его во что бы то ни стало надо решать и решать быстро, ибо при потворстве суда справиться с анархией невозможно. Что сказали бы вы на такой прием: произвести основательную чистку верхов, чтобы навести страх на низы?

— Боюсь, что слишком многих придется увольнять...

— А я, наоборот, думаю, что в вашем ведомстве тон всей судебной корпорации дает десяток, много — полтора лиц. Важно только разбить уверенность, что именно эти лица неприкосновенные, хотя бы даже председательствовали на революционных митингах. Но этим вопросом мы успеем еще заняться, а главное на очереди дело — это наши тюрьмы и политические заключенные. Вот где истинное государственное бедствие и самая большая опасность для России. Скажите, у вас по этому вопросу никаких предположений не возникало?

— Обсуждалась амнистия...

— Мне кажется, что русских господ правящих Бог минутами вовсе лишает разума. Амнистия, то есть освобождение тысяч заведомых революционеров, озлобленных и абсолютно непримиримых! Неужели в этом есть хоть капля здравого смысла?

— Но и такое положение, как сейчас, невозможно.

— Разумеется. Выход необходим и выход немедленный. Вот из какого принципа я исхожу: нет никакой возможности считать всю эту революционную молодежь преступниками. Даже самые закоснелые, самые кровавые между ними должны рассматриваться только как больные, в крайнем случае — как помешанные. Правительство, которое всю эту молодежь сначала подготовило, затем своими преступлениями, глупостью и трусостью бросило в революцию и сделало преступниками, не имеет никакого нравственного права ни казнить

их, ни даже карать. Неужели человека, бросающего бомбу среди толпы женщин и детей, можно считать нормальным и ответственным? Его нужно лечить, как лечат безумцев. Но ваш тюремный режим не лекарство, а окончательная гибель для юноши. Он поднимается вами в герои, он закаляется лишениями и страданиями и теряет всякую возможность возродиться. С другой стороны, оставаться среди общества он не может. Что же делать поэтому? Мне представляется единственный план, который очень прошу вас принять к сердцу и надлежащим образом обсудить. Всю эту революционную молодежь необходимо изолировать, но не по тюрьмам, а на чистом воздухе, в совершенно глухой местности, в деревне. Представьте себе, что где-нибудь в хорошем климате вы отделяете тысяч двадцать или тридцать десятин, строите временные бараки или датские домики, что ли, устраиваете сельское хозяйство в целом ряде хуторов и разные технические производства и пускаете туда всю содержащуюся у вас безумную молодежь, предоставляя ей устраивать социальный распорядок какой ей угодно, на полной свободе, но с безусловным запретом всякого общения с внешним миром, то есть агитации и пропаганды. Все средства для правильной работы и дальнейшего образования государство должно дать, а главное — прекрасную, серьезную библиотеку. Кругом — военный кордон, предупреждающий всякую возможность побега. Прежде всего вы очищаете от политических все тюрьмы и все места ссылки, отправляя всех туда. Затем туда же пойдут все, кому не по нутру современный общественный строй и кто желает силой насаждать строй социальный. Пожалуйста, господа, изучите сначала на опыте, в самых благоприятных условиях. Таким образом, у вас скопятся в одном месте все герои революции и апостолы социализма. Выигрыш будет огромный, ибо теперь эти господа только разносят политическую заразу. Затем — всякому мученичеству конец. ореол героя сменяется простой смирительной рубашкой. Это тоже плюс немалый. Наконец — экономия. Содержание этих господ в таком лагере будет стоить неизмеримо дешевле для

казны, чем теперь, — там все будут обязаны работать. Вы себе представляете, что получится?

— Я думаю, прежде всего эти господа страшно все перегрызутся.

— Это ничего, лучше сказать — это-то и хорошо. Теория всеобщего равенства и социального рая на земле окажется сразу несостоятельной. Явится чрезвычайно деспотическое начальство, против которого пойдут восстания и революции, и, наконец, все хором станут звать городского. Но городской через ограду переступить не смеет. Спасения от деспотизма и анархии не будет, и этот ужас отрезвит очень многих. На наш старый презренный буржуазный строй станут смотреть как на нечто драгоценное и справедливое, в государстве будут видеть не деспотическую власть насильника, а беспристрастного защитника всех. И вот тогда приносите, господа, повинную, отрекайтесь от утопий и пожалуйте в наш старый мир. И поверьте, все придут, никого не останется, ибо утопия, логически развиваясь, не может не дать абсурда. Вы понимаете теперь, чем дорога эта идея и почему я ставлю ее на первый план? Только этим путем мы возродим самых закоснелых преступников, излечим самых безнадежных. Вот почему я буду очень вас просить: составьте специальную комиссию, пригласите туда хороших техников, агрономов. Разработайте мне подробно этот проект «Сумасшедшей» республики. Я даже место вам приблизительно намечу — где-нибудь около Оша, в Фергане или по Иртышу, между Семипалатинском и Усть-Каменогорском. В Европейской России такого уголка не найти. Сделайте также смету, чего все это будет стоить, и помните, что эту меру я считаю самой главной и самой неотложной в борьбе с революцией. А пока честь имею кланяться.

IX

Щегловитова сменил князь Васильчиков.

— Наш с вами разговор, дорогой князь, впереди, и он будет долгий и серьезный. Теперь я едва буду в состоянии на-

метить только главные темы. Надеюсь, что мне, как ученику и глубокому почитателю вашего отца, воспитавшемуся на его произведениях, вы поверите: я счастлив, имея вас в числе сотрудников, да еще по такому важному отделу, как земледелие и землеустройство. Время коротко, и потому приступим прямо к делу. Скажите мне, во-первых, неужели это правда, что вы, сын князя Александра Илларионовича, стоите за уничтожение дворянского землевладения? Я этому не могу верить и потому вашей политики к этом несчастном аграрном вопросе совершенно не понимаю.

— Я боюсь, что дворянство осуждено историей и что наша задача — помочь ему благополучно и по возможности безболезненно ликвидироваться.

— Князь! Как грустно мне это слышать от вас! Какая жестокая ошибка думать, что русское дворянство свою роль уже закончило и должно уступить место демократии! Что такое демократия? Национальное обезличение, пошлая нивелировка умного и глупого, культурного и дикого, упразднение всех традиций, гибель всякого гения и таланта и торжество грядущего Хама? Этого ли надо желать для России? Затем, с упразднением дворянства вы социального, умственного и экономического равенства все же не введете, значит, в общественном организме кто-нибудь будет занимать место верхнего класса. Кто же, позвольте спросить? Вы хороните русское земельное дворянство и желаете иметь американских ситцевых, нефтяных и стеариновых лордов? Вы снимаете герб и водружаете аршин. Я не отрицаю значения и заслуг русского купечества, но, простите меня, ни Карнеджи и Рокфеллеры, ни Саввы Морозовы и Гучковы роли дворянства не сыграют. А русское дворянство было лучшим из лучших. В нем никогда не было и тени сословного эгоизма.

— Я вовсе не отрицаю великого культурного значения нашего дворянства, но ведь перед нами же факт налицо: оно сходит со сцены, оно почти не борется ни за свою землю, ни за свое положение.

— О, как вы ошибаетесь! Оно не сходит со сцены само, его грубо выгоняют и упраздняют. В момент освобождения

крестьян три четверти земельного дворянства погибло от невозможности организовать свое хозяйство при безумной и предательской тогдашней финансовой политике. Остальная часть кое-как приспособилась, но ее начала разорять и добивать финансовая политика Витте, сознательно подрывавшего дворянство. Теперь окончательно ликвидируете вы.

— Мы только облегчаем неизбежный естественный процесс.

— Бога ради, столкнемся. Неужели вы считаете нынешнее аграрное движение естественным процессом? Неужели вам не ясно, что весь аграрный вопрос заключается у нас в том, что голыми руками нельзя вести современного хозяйства, а вы ставляете это делать и барина, и мужика? Чтобы иметь высокую земледельческую культуру, необходимо, чтобы на каждую единицу площади обращался значительный оборотный капитал. У нас его нет, так как Россия разорена и совершенно обездешена. Отсюда мужик ковыряет кое-как свой надеж и сидит голодный. Барин или вынужден закабалить мужика на свое хозяйство зимними наймами и безобразно низкой платой, или бросать хозяйство и обращаться в земельного ростовщика, раздавая земли в аренду за безбожную цену, — безбожную при нашей безобразной культуре, конечно. Разве не величайший абсурд, например, наши жалобы на постоянный рост земельных цен? Во всем мире этому радуются, этим гордятся. В Германии за десятину песка платят до 3000 марок, у нас кричат, что 300 рублей за десятину великолепного черноземца — грабительская цена! Да, весь народ помешался на прирезке земли, на разделе помещичьей земли, на упразднении частных экономий, которые он возненавидел. Откуда это взялось, как не от истощения земель и недостатка оборотных средств, допускающего только хищничество? Денежных знаков у нас не обращается и 10 рублей на жителя, а много ли отсюда приходится на деревню? Когда мужик видит деньги? Что он думает о правительстве, спаивающем его водкой? Каким образом вы его, голодного, нищего, пьяного, научите уважать культуру, которой он не видит, и собственность, когда он весь окружен самым бесстыдным грабежом?

— Прибавьте сюда общину.

— Оставьте общину, князь. Она ни при чем. Она только равняла мужика, не давая России обезземелиться и разбежаться куда глаза глядят. Община не отучает, а приучает к собственности. Но у нее собственность иного вида, чем у нас. Там она семейная и основана не на мертвой букве закона, а на верной расценке труда каждого из членов семьи. Эта расценка изумительно точна. Крестьянская девушка сегодня поденную плату несет большаку, а завтра спрячет в свой сундучок, потому что это ее личный заработок. И попробуйте из этого заработка взять хоть копейку! Смешно и жалко смотреть на ваши усилия разложить общину и расселить мужиков на хутора. Попробуйте изменить национальный характер великоросса, который немислим без улицы, без мира, без тесного соседства. Я смотрю на общину не как на тормоз, а как на лучшее орудие к поднятию сельского хозяйства, умеете только ее на это направить. И вот об этом именно я собирался с вами говорить. Спасение России не в перераспределении землевладения, не в уничтожении поместного класса и культурного хозяйства. Спасение — в народном кредите. С этим вопросом нельзя медлить ни дня, ни часа! Но это дело финансового ведомства, а не ваше. Ваше дело — направить все усилия для технического подъема земледелия, для широкой организации агрономической помощи всех видов, для устройства переселений. Переселения не только устранят земельную тесноту, где она действительно есть, но и укрепят за нами окраины. И я не знаю, какая часть вопроса важнее. Остановка переселенческого движения есть величайшее преступление, оно может нам стоить Сибири. Затем необходима самая широкая постановка продовольственного вопроса. Он должен быть вновь передан земству, но центральное им заведывание должно быть ваше. Государственный хлебный запас должен быть регулятором цен на хлеб и вместе с тем могущественнейшим рычагом к поднятию земледелия. И здесь земства будут естественными вашими органами. Усердно прошу вас немедленно же поставить этот вопрос на разработку в связи с реформой Крестьян-

ского и Дворянского банков и мелиоративного кредита. Все это должно быть органически между собой связано.

Х

К двум часам министерские аудиенции были покончены. Наскоро позавтракав, генерал-адъютант Иванов направился к зданию городской Думы, где были собраны человек триста рабочих от всевозможных фабрик и заводов Петербурга, частных и казенных. Выбраны были люди, по указанию заводских управлений, самые толковые и авторитетные в своей среде. В зале, кроме рабочих, ожидали городские власти, гласные Думы, группа заводчиков и фабрикантов. Городской голова держал на блюде хлеб-соль.

После краткого приветствия головы, на которое диктатор ответил несколькими словами, он подошел к рабочим и, беглым взглядом окинув их пеструю толпу, громко и внушительно произнес:

«Я вызвал вас, чтобы поговорить с вами, и прошу вас в мои слова хорошенько вдуматься, запомнить их и передать там у себя остальным. Его Величество Государь Император назначил меня Своим уполномоченным и даровал мне огромную власть, возложив на меня задачу прекратить смуту и привести Россию в порядок. И я надеюсь с Божией помощью это сделать. Те, кто затеял в России революцию, начали с вас. Чтобы закончить революцию, я тоже начинаю с вас и говорю вам прямо: довольно безобразий! Стыдно русским людям разыгрывать стадо баранов и терять разум и совесть. Пора понять, что весь этот социализм, борьба труда с капиталом, профессиональные организации и прочее, — все это ложь, вздор и только предлог для разных проходимцев забирать власть над рабочими в свои руки и делать в государстве смуту, разоряя прежде всего самих рабочих. Скажите, что выгадали рабочие за эти несчастные три года? Разорили промышленность, разорили сами себя, выбросили на улицу тысячи безработных, попали под расстрел, озлились, озверели, поте-

ряли образ Божий. Довольно, друзья мои! Знайте: лгут те, что проповедуют борьбу труда и капитала. Между ними борьбы быть не может, ибо капитал и труд — союзники, члены одного организма, а не враги. Без труда капитал несостоятелен и мертв, без капитала труд немислим вовсе. В любовном союзе капитал и труд делают чудеса, во вражде гибнут оба, но раньше гибнет труд. Капиталист остановил дело, свернулся и ушел, а рабочий выброшен на улицу, на нищету и голод. Рабочему хорошо только тогда, когда свободно и выгодно капиталу. Не завидуйте, а радуйтесь, если предприниматель наживает огромные барыши и богатеет. Это ваша прямая польза. Барыши возбуждают зависть в других, открываются новые дела, являются новые капиталы. Этим капиталам нужны рабочие руки, их не хватает, и вот капиталисты наперебой поднимают заработную плату. Весь результат развития промышленности идет в пользу рабочих. Стачкой и забастовкой можно капиталиста заставить пойти на разные жертвы.

Но это победа непрочная и нездоровая. Капитал начинает бояться идти в дело, и в конце концов остаются без работы и разоряются рабочие. Небольшая часть останется на повышенной плате, а большинство очутится на улице. Это ли выигрыш?

Друзья мои! Экономические законы не нами выдуманы, и нарушать их безнаказанно нельзя. Раз начинается борьба между капиталом и трудом — конец один, и другого быть не может: разорение рабочего, разорение всей промышленности, дороговизна товаров, выгода только для иностранных фабрикантов. Этого ли должны мы добиваться? Вот почему я должен прекратить эту борьбу в самом корне. Прочь все эти ваши союзы, профессиональные организации и прочее! Интересы рабочего должны и будут защищать закон и правительство, а не разные проходимцы, которые вкрадываются в ваше доверие и бунтуют вас. Есть заводчики своекорыстные, желающие эксплуатировать рабочего. Единственное от них ограждение рабочего — закон. Закон должен обеспечить и рабочие часы, и безопасность рабочего, и охрану его здоровья, и хорошую квартиру, и пищу, и страхование от несчастий, и школу детям,

и пенсию на старость. Закон, и никто другой, должен обеспечить полную свободу как предпринимателю, так и рабочему. Я считаю стачки рабочих столь же недопустимыми и преступными, как и всякие синдикаты хозяев, союзы и локауты. И я твердой рукой водворю у вас законность, и первые же рабочие скажут за это спасибо.

А затем, господа, мое последнее слово. Революция и всякие безобразия кончены, и ни о чем подобном не может быть более речи. Всякую попытку бунта я раздавлю твердой рукой и не остановлюсь перед самыми решительными, самыми жестокими мерами. Вы, рабочие, — только ничтожная часть русского народа, и не вам распоряжаться судьбами России. Ваша сила — кучность, толпа. Но Россия еще вооружена, и армия цела. Патронов хватит, и вверх стрелять не будут. Поэтому скажите вашим, что не должно быть и мысли о каких-нибудь демонстрациях или выступлениях. Шутить я не буду. Гоните в шею всяких ваших ораторов и агитаторов и мирно, дружно, любовно за работу! Надо во что бы то ни стало успокоить столицу и возвратить всеобщее доверие».

Диктатор обратился к группе фабрикантов и прибавил:

— Вы слышали, господа, что я говорил рабочим? Теперь мое слово к вам: будьте добры, сами, без понуждения, установите добрые распорядки, пересмотрите и проверьте надежность вашего служебного персонала, чтобы не давать ни малейшего повода к каким-нибудь жалобам. А главное — примите меры, чтобы поставить на работу несчастных, выбитых из колеи, безработных. За спокойствие, порядок и свободу труда я отвечаю вполне, прошу мне в этом верить.

Генерал-адъютант Иванов сделал общий поклон и тронулся к выходу.

XI

Императорскому уполномоченному были отведены апартаменты в Зимнем Дворце. К его возвращению из Думы в приемной дожидались вызванные граф Витте, начальник главного

управления печати Бельгард, военный министр и командиры полков вместе с другими начальниками отдельных воинских частей петербургского гарнизона.

Диктатор сердечно пожал руки министру и военным товарищам.

— Располагайтесь, господа, курите, беседуйте. Мне надо несколько минут переговорить вот с этими господами, и затем мы устроим небольшое совещание. Граф Витте, пожалуйте.

Уполномоченный и отставной председатель Совета Министров прошли в кабинет.

— Я вам очень признателен, генерал, — начал граф Витте, — что вы изволили меня вызвать. Рад буду вам помочь, чем могу. Мой опыт, мои знания — все к вашим услугам.

— Очень сожалею, что не придется ими пользоваться, — сухо остановил Витте диктатор. — Я вызвал вас не за этим...

Витте побледнел.

— Я считаю вас родоначальником и главной пружиной революционного движения в России. Как министр финансов, вы вашей политикой разорили Россию и подготовили то положение вещей, в котором застала нас Японская война. Вы развратили все правительство, печать, общество, вы убили народную честь и совесть. В Портсмуте вы заключили преступный мир и предали Россию и, наконец, как глава правительства, вы устроили ряд революционных выступлений, чтобы вырвать у Государя несчастный Манифест 17 октября. Все это, взятое вместе, дает такую ужасную картину измены и предательства, что я не затруднился бы расстрелять вас в 24 часа. Я умолял Государя разрешить мне предать вас Верховному Суду как государственного изменника и с вас начать очищение России. К несчастью, Государь не дал на это своего согласия. Все, на что Он меня уполномочил, это предложить вам немедленно и навсегда покинуть Россию. Преклоняюсь перед бесконечной добротой Государя и даю вам срок... Сколько вы желаете?

— Простите, генерал, — произнес Витте, уже успевший несколько оправиться от первого впечатления, — я этому решению подчиниться не могу. Я не чувствую за собой ни

одной из тех вин, в которых вы меня обвиняете. Я действовал по чувству долга, по совести и крайнему разумению. Кроме того, каждый мой шаг бывал всегда известен Его Величеству и Им одобрен. Я требую над собой суда и на этом суде, кого бы вы моими судьями ни поставили, сумею оправдать каждый свой шаг.

— Вплоть до последних бомб в печах, не правда ли? Да, я понимаю вашу мысль. Вы, я знаю, запаслись документами вроде пресловутого журнала заседания в Царском Селе, когда речь шла о занятии Порт-Артура. Вы хотите сделать Государя участником ваших преступлений, другими словами — свалить все на Него. О, разумеется, вы, как истинный бюрократ, на каждом шагу устраивали себе надежное прикрытие. Но поверьте мне, я бы этого не побоялся. Я сумел бы показать, как вы обманывали Государя и подготавливали Его волю к тем актам, которые были вам нужны, а затем предавали Его. Вы рассчитываете на евреев и на нашу революционную печать. Да, вы отчасти правы; вы устроили бы себе грандиозное торжество, новую и огромную рекламу. Какой ценой — вам это все равно. Нет, Государь это хорошо взвесил: вам этого торжества давать нельзя. Так вот-с, какой срок угодно вам назначить?

— А если я не поеду?

— Вы будете арестованы немедленно, прямо отсюда. Я, господин Витте, не за тем пригласил вас, чтобы шутить или бросать слова на ветер. Я вас не боюсь и справлюсь с вами сумею. И если я вас арестую, то, поверьте, вас уже никакая сила не освободит.

— Хорошо, — подумав немного, отвечал Витте, — я подчиняюсь воле Государя. Через две недели я уеду.

— О, нет! Это слишком долгий срок. Самое большее — через три дня. Это мое последнее слово. Затем с вами отправится мой адъютант, которому вы будете добры передать документы вот по этому списку.

Витте бегло просмотрел бумажку и с ненавистью произнес:

— О, какая тонкая мстительность! От меня требуют выдачи моего единственного оправдания перед историей. Но если

там так дорожат историческими свидетельствами, то позвольте же и мне дорожить своей репутацией!

— Вы говорите о вашей «репутации»! Право, вы надомной смеетесь...

— Некоторых из указанных здесь документов у меня нет...

— Они у вас.

— Да, но не здесь. Было время, когда я ждал обыска, и некоторые документы должен был сдать в верное место.

— Вы их возьмете и доставите к 12-ти часам завтра.

Иванов позвонил и сказал вошедшему адъютанту:

— Вы отправитесь с графом Витте и получите от него документы по этому списку, часть разрешаю получить завтра. Затем — помните мою инструкцию. Надеюсь, что все будет в порядке. Граф, честь имею кланяться. Попросите господина Бельгарда.

ХП

Вошел добродушный толстяк, начальник главного управления по делам печати. Диктатор радушно подал руку и посадил его против себя.

— Как быть с печатью? — начал он. — Это главная сила и главное орудие смуты.

— Совершенно верно.

— Пока будет существовать анархистская и вообще революционная печать, ни о каком успокоении умов нечего и думать.

— Совершенно верно.

— Неужели нет возможности бороться?

— Мы и боремся, но при существовании нынешних «Временных правил» наша борьба — это ловля ветра в поле.

— Понимаю, понимаю. Нужен серьезный закон о печати, а этот господин (диктатор указан на дверь) умышленно связал правительству руки.

— Да. И мастерски связал. Пока действует чрезвычайная охрана или военное положение — борьба еще кое-как возможна. Но в обыкновенных условиях поделаться ничего нельзя.

— Как вам представляется это дело? Есть возможность выработать скоро закон о печати?

— Теперь во всем такая путаница. Комиссия Кобеко кое-что выработала, да все это очень бестолково.

— Я прошу вас высказаться совершенно откровенно относительно моей идеи, которую я хотел бы положить в основу закона о печати. Дело вот в чем. Коренная ошибка всякого законодательства о печати заключается в том, что для законодателя нет литератора, нет писателя, а есть отвлеченный гражданин. Другими словами, под один закон подводят Каткова, Аксакова, Суворина, Стасюлевского и всякого безграмотного писаря или жиденка, которому надумается издавать газету. Ясно, что на таком принципе никакого закона создать нельзя. Вы даете простор Каткову, и этим пользуется всякий гад. Вы пишете закон для гада и душите Каткова. Думаю, что это ясно. Теперь взгляните, какая страшная сила — политическая ежедневная газета. Никакая кафедра не сравнится по значению. Неужели же любой прохвост, могущий подписать заявление и внести гербовый сбор, имеет право занимать эту кафедру? Да ведь это же вопиющий абсурд?!

— Старый закон этого не допускал.

— Да, но старый закон отдавал писателя на суд чиновника и кончил тем, что убил независимую печать и расплодил литературного негодяя и хама. Дело не в концессии, а в том, кто и почему ее дает. Закон должен определить писателя-публициста, выделить его из толпы и дать ему полную свободу слова, а толпу отстранить. Здесь не должно быть места произволу чиновника, а ясный и определенный ценз. Для публициста он должен быть тройкий: *общегражданский*, то есть добропорядочность, несудимость и т. д., *писательский*, то есть прежние литературные работы, и наконец, *нравственный*, то есть незапятнанная личность. Самый трудный вопрос в том, кто должен все это проверять и давать на газету разрешение. Наилучшая гарантия правильной проверки — ее публичность. Это должно быть нечто вроде защиты диссертации, после которой факультет признает соискателя достой-

ным. Но какой «факультет» является для этого компетентным? Очевидно, роль факультета должна играть здесь коллегия выдающихся литераторов. Если образовать такой постоянный трибунал из людей, имеющих в литературе почтенные имена, ему можно будет доверить не только проверку прав желающих стать редакторами ежедневных политических газет, но и судебные функции, например дела об окончательном прекращении изданий. Что вы на это скажете?

— Этот вопрос надо разработать.

— И как можно скорее, — добавил диктатор — А пока необходимо принять меры к очистке печати на почве существующего закона или, если это невозможно, придется отменить или дополнить «Временные правила». Думаю, что опыт у вас уже имеется достаточный и проектировать немедленно нужные изменения вы не затруднитесь.

— Разумеется.

— Затем подумайте: нет ли какого-нибудь способа устранить из печати еврея? Ведь главная доля печатной заразы принадлежит еврейским сотрудникам и корреспондентам. Нельзя ли брать с редакций какие-нибудь подписки, что ли? Ведь пока евреи руководят печатью, она никогда не делается ни чистой, ни честной, ни патриотичной.

— Это очень трудный вопрос, ибо его никак не сформулируешь. Вы можете устранить еврея номинально, но не устраните фактически. Он будет писать анонимки. А затем и между русскими всегда найдутся люди, которые за деньги дадут свою подпись и фирму.

— Да! Единственное спасение печати — это выдача разрешений на газеты только истинным, уважающим себя писателям. Другого средства нет.

XIII

Бельгард откланялся, и в кабинет диктатора направились военный министр Редигер и вызванные командиры воинских частей, ожидавшие в зале. Начало совещания, имевшее пред-

метом отчет о состоянии духа петербургского гарнизона, о готовности войск исполнить в критическую минуту долг присяги, об офицерском и командном составе и главным образом — о противодействии анархистской пропаганде и о нравственном возрождении армии, расшатанной и поникшей духом после бесславной войны.

Тем временем интеллигентные кружки Петербурга волновались. Был сделан слишком крутой и резкий шаг, полагавший границу всяким уступкам и колебаниям власти. Нашелся человек, которому Государь вверил всю полноту Своей державной власти и поручил успокоить Россию и единой своей волей прекратить смуту и двинуть государство на новый путь. Вчера еще этого человека никто не знал, сегодня он уже повелевает всеми, дает тон всей государственной жизни. Без всяких внешних эффектов, без красивых фраз, в речах диктатора почувствовалась творческая мысль и железная воля. Рассказы передавали с явными преувеличениями о первых разговорах министров. Его фигура вырастала с часу на час в нечто таинственное. Корреспонденты свои и иностранные метались по сановникам и осаждали телеграф. Депутаты Думы, предчувствуя развязку, шумели в своих клубах и фракциях. Русское Собрание стало самым бойким и оживленным центром Петербурга. В Союзе русского народа шли таинственные совещания, комментировались слова неодобрения, будто бы сказанные диктатором по адресу этого учреждения. Стоустая молва подхватывала слухи и говорила о роспуске Союза как о деле решенном. Учащаяся молодежь, переполняющая Петербург, волновалась, как никогда раньше, но в действиях революционной части петербургского населения чувствовалась растерянность и не хватало единства. Войска и полиция были начеку, готовые предупредить малейшее «выступление». Ожидали самых необыкновенных событий, но толком никто ничего не знал, и эта таинственность возбуждала умы и поднимала общественную атмосферу.

Вечернее прибавление к «Правительственному вестнику» принесло несколько «Приказов Императорского уполномоченного», разразившихся как удар грома.

В одном из приказов сообщалось, что академическая автономия не принесла ожидаемых результатов, а потому, впредь до предполагаемой коренной реформы высших учебных заведений, отменяется.

Второй приказ гласил об исключении всех евреев — студентов и вольнослушателей, как организаторов и руководителей смуты, и о высылке таковых из Петербурга в места оседлости в течение ближайших трех дней.

Это был удар в самое больное место «освободительного движения», и удар неслыханно смелый. Чтобы отважиться тронуть евреев, нужна была большая решимость и полная уверенность в своей силе. Но диктатор пошел еще дальше и в третьем приказе бросил самый страшный вызов всей передовой дружине революции. Приказ гласил, что с Высочайшего соизволения приостанавливается действие закона об отмене телесного наказания и что к таковому могут присуждать военно-полевые суды как революционеров, так и обыкновенных хулиганов за проступки, где смертная казнь была бы слишком несоответствующим возмездием. Одновременно расширялась компетенция военно-полевых судов по целому ряду революционного характера преступлений, застигнутых на месте. Сюда относились, между прочим, стачки, всякого рода революционные демонстрации, сопротивление властям, уличные насилия и т. п. За все это категорически предписывались... розги.

Передавали слышанное кем-то будто бы подлинное выражение диктатора: «Ваша революция так глупа и так грязна, что казнь для ее героев слишком большая честь — довольно и простой порки». Были ли эти слова произнесены или нет, проверить было невозможно, но эта мера вызывала особенное бешенство среди молодежи и революционной интеллигенции как явное надругательство над «великой» революцией и полное к ней презрение. Но эта злоба была тем более бессильна, чем большее был удар; чувствовалось в атмосфере, что приказ попал в цель и что революция им действительно уничтожена и осмеяна. Трезвые и благоразумные голоса высказывались очень смело и определенно: «Вот это дело, давно бы так».

Вечер первого дня прошел в совещаниях диктатора с выдающимися государственными и общественными деятелями. Генерал-адъютант Иванов искал себе по мысли министра финансов, но — увы! — ни между «сановниками», ни среди казенных профессоров не мог найти.

XIV

Участь Государственной Думы была в сущности решена с назначением генерал-адъютанта Иванова. Он был слишком военный и слишком здравомыслящий человек, чтобы не понимать всей кричащей нелепости затеи графа Витте: в стране, насквозь возбужденной и перебунтованной, сорок лет лишенной всякого проблеска общественной и политической жизни, ненавидящей правительство как символ бессмысленного гнета и духоугашения, — устроить политические выборы, привлечь к урнам не только сравнительно культурное русское и польское общество, но и никакого понятия о государственном деле не имеющее крестьянское население, но и всякую безграмотную и бестолковую инородчину до тунгусов и якутов включительно, широко снабдить весь этот конгломерат надлежащими орудиями агитации и соблазна, поставить во главе бесчисленной красной печати евреев и всяких социалистов и анархистов и ждать, чтобы из этого дикого шабаша вышло 500 законодателей, «богатырей» и «лучших людей» земли! Это было очевидное безумие, которое и выразилось в первой Думе. Но правительство не остановилось после этого первого опыта и пожелало его повторить. Получилась та же орда варваров, захватившая большинство парламента, и вся разница с первой Думой была лишь та, что с невероятными усилиями удалось кое-где провести небольшую сравнительно группу правых и умеренных.

Первым сердечным движением диктатора было поэтому желание демонстративно распустить Думу, отменить все наше новое парламентское устройство и объявить созыв Земского Собора, которому и предложить переработанные заново основ-

ные законы с разделением России на крупные области и последовательно проведенным самоуправлением. Но здесь являлось препятствие нравственного свойства. То, что было так легко сделать после первой Думы, после созыва второй не могло не компрометировать Верховную Власть. Чем можно было бы в этом случае объяснить эту слепую веру правительства в совершенно непригодную для России форму народного представительства? Зачем понадобился этот злополучный второй опыт, когда уже и первого было чересчур достаточно, чтобы убедиться в сделанной ошибке?

Эти соображения, при желании во что бы то ни стало поднять и укрепить престиж Верховной Власти, связывали диктатору руки по отношению второй Государственной Думы и не позволяли ее немедленно разогнать, как это ни было необходимо в интересах общественного порядка и спокойствия. В самом деле, левая сторона Думы представляла собой готовый главный штаб революции. Мятежные организации социалистов и трудовиков поддерживали самые тесные сношения с провинциальными революционными кружками, своими корнями все более и более опутывавшими деревню и волновавшими крестьянство. Разрастался голод, росла цена на хлеб, печать изо дня в день помещала зажигательные статьи, и к лету можно было ждать возобновления беспорядков и мятежей. Все это можно было предупредить только разгоном Думы и восстановлением твердой власти, не знающей никаких колебаний. И от всего этого пока приходилось отказываться, чтобы не давать на посрамление Царского имени и, скрепя сердце, исполнять существующий, хотя и ошибочный закон.

И вот Иванов решил сделать попытку составить в Думе, хотя бы и искусственно, некоторое благоразумное большинство, которому было бы можно предложить соответственно измененный закон о выборах. Расположение думских партий допускало такую комбинацию: если бы к правым и октябристам примкнули «кадеты» и поляки, это дало бы правительству перевес и позволило бы рискнуть на внесение нового

избирательного закона, устранявшего из парламента улицу, уничтожавшего совершенно несправедливое преобладание крестьянства и передававшего избирательные голоса в руки более культурных классов.

Вопрос сводился, очевидно, только к согласию «кадетов». За поляков диктатор был спокоен. Областное деление, давая Польше широкое местное самоуправление, отвечало в значительной мере их мечтам об автономии, и, кроме того, поляки уже и без того показали себя совершенно чуждыми революционной левой. Оставались «кадеты».

Диктатор хорошо понимал всю трудность задачи — оторвать эту группу от левых «товарищей». Но, с другой стороны, он совершенно не верил в искренность «кадетского» демократизма и отлично знал, из чего он сделан. Без этого демократизма, без самого безшабашного заигрывания с левыми «кадеты» потерпели бы на выборах поражение, совершенно такое же, как мирнообновленцы. Их прошло бы едва несколько человек. Пока выборы в Думу обставлены так, как сейчас, «кадеты» изменить своей тактики не могут. Но теперь от их собственного согласия зависело переделать выборный закон и обеспечить себя от необходимости ухаживания за революционной улицей. Что же касалось главного стремления «кадетских» главарей — пробиться к министерским портфелям — удовлетворить это желание было совсем нетрудно. Пусть только «кадеты» окончательно и бесповоротно разойдутся с социалистами, их либерализм не будет стоять в противоречии с русской государственностью и из их правой половины могут выйти отличные практические деятели.

Ввиду этого диктатор решил вступить в переговоры с лидерами «кадетской» партии и прежде всего с Милюковым.

XV

Вызов в Зимний Дворец Милюкова на другой день по появлении грозных приказов диктатора произвел в Петербурге сенсацию необыкновенную.

Диктатор встретил главу «кадетов» чрезвычайно любезно.

— Вы удивлены моим приглашением?

— Ваше превосходительство вполне правы. Что может быть общего между мной и моими единомышленниками и товарищами и вами после вчерашних ваших приказов? Мы отлично сознаем, что сила в ваших руках, и спокойно готовимся ко всяким случайностям. Я не могу себе даже представить, какая может быть у вас почва для разговора с нами? Не за тем же вы меня вызвали, чтобы говорить о погоде...

— Ну разумеется. Но я думаю, что между нами разговор не только возможен, но и разговор весьма содержательный и плодотворный. Я буду совершенно откровенен и прошу от вас того же.

— Я весь внимание.

— Насколько я понимаю вас и вашу группу, вы боретесь против бюрократического самовластия и полагаете, что можете достичь вашей цели установлением в России конституционного режима по западному образцу и, конечно, в самой совершенной, то есть самой либеральной форме?

— Вы определили верно.

— Скажите: из двух опытов с Думой вы не вынесли заключения, что парламентаризм в России невозможен и что работоспособной Думы получить нельзя?

— Нет, не вынес. Нам не хватает истинно демократического избирательного закона...

— То есть всеобщей, равной, тайной? Да, но тогда выборы были бы еще менее сознательны и парламент еще бессмысленнее.

— Всякий парламент предполагает борьбу партий и господство одной из них. При всеобщем голосовании партии организуются и будут работать наиболее совершенно.

— Боже мой, все это доктрина, книга! Ну а совсем без партий вы не предполагаете возможным устройство государства?

— Современного — нет.

— Послушайте, я смотрю шире вашего. Вы хотите отдать бюрократию под контроль народного представитель-

ства, то есть партий. Я хочу вовсе упразднить бюрократию и все основать на самоуправлении. Неужели это не шире? А главное, ведь именно в этом наш национальный исторический путь. Наше государство выросло не на борьбе и не из борьбы. Но для вас все это «славянофильство», которого вы не любите. Поэтому я выскажу мою мысль в практической форме и тогда вам легче будет сказать: да или нет. Вообразите себе, что Россия разделена на большие области, в своем местном управлении вполне самостоятельные. Области эти составляют государственное единство с Царем во главе. Царь окружен только выборными от областей. Никакого бюрократического аппарата вне участия и контроля этих выборных нет, и за Центром оставлены только строго определенные государственные задачи. Может ли такой Царь оставаться самодержавным или необходимы конституционные ограничения?

— Я не могу допустить неограниченной монархии — это абсурд.

— Ну хорошо. Мы об этом спорить не будем. Предположим на минуту, что основные законы устанавливают ограничения, хотя бы, например, в виде обязательства для Царя соблюдать эти основные законы. Его роль верховной совести, верховного суперарбитра от этого не меняется. Что вы можете иметь против этой схемы?

— Я не могу ее себе представить в действии. Я думаю, что это нечто фантастичное.

— Да, господа, трудно вам отделаться от шаблонов. Но я опять возвращусь к практике, и тогда вы меня лучше поймете. Я хочу вот чего: пусть ваша партия соединится в этом вопросе с октябристами и правыми. Тогда левые будут изолированы и правительство внесет законопроект о пересмотре основных законов.

— Что же вы предложите?

— Во-первых, полную схему самоуправления, начиная снизу, с прихода.

— С прихода? Вы хотите вероисповедную единицу?

— С территориального прихода для вероисповедного большинства, — твердо ответил диктатор. — При свободе и покровительстве всем вероисповеданиям ни о каких стеснениях здесь речи быть не может. Затем пойдет организация самоуправляющегося уезда. Уезды соединятся в области, где также будет проведено самое широкое самоуправление. Наконец, выборные от областей на основании известного служебного ценза составят из себя высшие государственные учреждения и специальные советы. Все высшее государственное управление будет исключительно в руках выборных земских людей, даже хозяйственная часть армии. Чиновник как власть будет совершенно упразднен. Неужели это не шире и не жизненнее западного парламентаризма со всей его ложью и со всеми его мерзостями? Неужели ваше русское чувство не подсказывает вам, что вот это и будет наш искомый и желанный тип государства? Да разве такое необъятное государство, как Россия, может управляться иначе? Ведь вы же сами видите, что Россия гибнет и другого средства для ее спасения нет? Скажите же ваш ответ!

— Что я могу ответить вашему превосходительству? У нашей группы политические идеалы и воззрения являются достаточно установившимися, чтобы от них отказываться ради каких-то фантастических построений. Я не могу дать вам ответа даже за себя, да мое личное мнение вам едва ли и интересно.

— Прибавлю вам, что эту схему я считаю единственно верной и спасительной, и я верю, что в этом меня оправдает общий голос народа, который я сумею вызвать. Если я теперь пригласил вас, то только потому, что мне не хочется прибегать к таким крайностям, как роспуск Думы. От вас зависит помочь мне всего этого достичь мирно и планомерно.

XVI

Разговор с Милюковым не привел ни к чему. Попытки столковаться с другими главарями «кадетской» группы —

тоже. Эта партия не имела мужества порвать с левыми и дать нужное большинство для мирного разрешения вопроса. Оставалось действовать, тем более что со всех сторон поступали донесения губернаторов о том безобразно вредном влиянии, которое производили стенографические записи левых речей в красных газетах, широко распространявшиеся в темной среде крестьянства.

Диктатор не считал достойным правительства и себя подыскивать предлог к роспуску Думы или искусственно вызывать конфликт. Он решил закрыть Думу лично, в простой, но торжественной форме, среди обыкновенного заседания и без малейших полицейских или военных предосторожностей. Генерал-адъютант Иванов слишком верил в силу своей воли и твердо знал русскую психологию. Революция существовала только вследствие трусости перед ней.

Шел третий день назначения Иванова уполномоченным. В кулуарах Государственной Думы господствовало страшное возбуждение по поводу опубликованных приказов диктатора, но в первый раз обнаруживался в рядах левых коренной раскол, и крестьяне, самые, по-видимому, крайние, оставались в еврейском вопросе очень равнодушными. Многие из них говорили даже довольно откровенно, что приказы хороши и что как евреев, так и безобразничающую молодежь давно пора сократить. Главари выбивались из сил сплотить крестьян на активный протест, но те упорно твердили, что их интересует только земля и воля, и не выражали желания рисковать Думой из-за того, что из Петербурга вышлют сотню-другую жидов или «пропишут» кому-нибудь телесное нравоучение. С другой стороны, самый факт назначения Императорского уполномоченного с огромными правами, почти равными Царским, производил сильнейшее впечатление и парализовал всякую охоту к борьбе. За эти два дня репутация человека, абсолютно бесстрашного и с железной волей, успела настолько укрепиться за Ивановым, что у революционных элементов явно опускались руки. Эта же наличность возродившейся столь неожиданно новой твердой власти производила могущественное впечатление

на простого мирного обывателя, и он решительно поднимал голову и готов был даже выражать удовольствие.

Заседание Думы шло сумрачно и вяло, когда к Таврическому дворцу подъехала коляска уполномоченного, сопровождаемого небольшим казацким конвоем.

В зале воцарилась мертвая тишина, когда вошел диктатор. Правая сторона и часть центра встали. Начали вставать отдельные депутаты и левых. Не спеша, подошел Иванов к епископам Платону и Евлогию и принял благословение. Затем приблизился к трибуне председателя и тихо сказал несколько слов.

Головин, бледный как полотно, поднялся с места.

— Слово принадлежит Верховному уполномоченному Его Императорского Величества. Слагаю с себя председательство и прошу всех встать.

Головин сошел с трибуны, а за ним поднялся диктатор, остановился и обвел взглядом залу. На крайней левой десятка полтора депутатов продолжали сидеть. Он направил туда пристальный взгляд, и под этим повелевающим взглядом медленно и неохотно встали еще несколько человек.

— Всех прошу встать, — тихо произнес Иванов, и эти слова раздались по всем углам огромной залы, до того торжественна была тишина. В голосе диктатора чувствовалась отдаленная приближающаяся гроза. — С Высочайшего соизволения объявляю вторую Государственную Думу закрытой.

Зала словно окаменела. На правой стороне Пуришкевич провозгласил театрально:

— Государю Императору «ура!».

Этот крик был слабо поддержан правыми, но Иванов поднял руку и зала вновь стихла.

— Господа, — произнес спокойно диктатор, — мы переживаем великий исторический момент. Мне было суждено своей слабой рукой перевернуть страницу русской истории. Дай Бог, чтобы это была последняя страница страшного и позорного для России петербургского периода. В эту ужасную двухсотлетнюю полосу мы забыли Бога, исказили нашу исто-

рию, развратили и обезличили наш великий и умный народ. Разросшаяся язва чиновничества и канцелярщины убила в нас истинную свободу, самостоятельность, человеческое достоинство. В христианской, доброй и мирной стране расплодилось ненависть, ослабело и исчезло национальное чувство. Ложь и обман проникли насквозь в нашу общественную жизнь, и когда Россия была вызвана на великое испытание последней войны, все наши народные и общественные язвы раскрылись и у нас не хватило ни старого русского мужества, ни старой силы, ни патриотизма, чтобы отстоять честь и интересы Родины. Совершенно естественно и законно тотчас же после первого позора началось наше освободительное движение. Велика и болезненна была народная обида и негодование на тех, кто привел Россию в такое ужасное положение. Понятно, что и у правительства опустили руки, и оно, вчера еще грозное и самоуверенное, вдруг ослабело и бессильно заметалось, ища выхода. И вот тут-то сказалось наше забвение истинных народных основ, наше презрение к велениям родной истории. Правительство сделало последний шаг по ложному западному пути, по которому шло двести лет, и увенчало свои великие исторические ошибки последней и самой тяжелой: было дано подобие западной конституции, дважды был собран западного типа парламент. Тем временем поднялись все прижатые и озлобленные общественные силы, легко возбудили оскорбленный, униженный и материально разоренный народ, закон и порядок исчезли, водворилась анархия, и на глазах у всех Россия очутилась на краю пропасти.

Все это естественно и понятно, все это нужно было пережить, но пора же наконец дать место и любви к Родине, к здравому русскому смыслу. Заглянем в глубину наших душ, спросим нашу совесть: разве вот это наше собрание обладает необходимой мудростью, верой и нравственной силой, чтобы спасти и переустроить Россию? Огромное большинство вас, господа, в первый раз слышите о тех важных и бесконечно сложных государственных работах, которые предстоит исполнить. Можете ли вы даже браться за них? Но при этом еще

добрая половина из вас затуманена злым и ложным учением социализма, способным только к разрушению и ненависти. А сколько между вами и чуждых России по духу людей, которым наша великая страна ничуть не дорога, ибо была доселе мачехой, а не матерью? Чего же можно было ждать от вас в смысле обновления России?

Мне удалось получить согласие Государя Императора закончить этот печальный опыт русской конституции и парламента. Расставаясь с вами и распуская Государственную Думу, считаю своей обязанностью, как лицо, облеченное высоким доверием Монарха и всей полнотой государственной власти, сказать вам с полной откровенностью, какой путь намечен мной к обновлению России, чего наша Родина может и должна от меня ждать, пока Богу угодно меня сохранить, а Царю мне верить и мою работу одобрять.

Ни о каком возврате к старым порядкам нет и не может быть речи. Эти порядки ненавистны всем вам, еще более ненавистны Государю. В основе этих порядков лежало бюрократическое самовластие чиновника, презрение и недоверие к живым общественным и народным силам. Нашей задачей является постановка чиновника на свое служебное и ответственное место и такая организация сил общественных и народных, при которой Царь правил бы Россией в полном духовном единстве с народом. Эта организация и есть наш главный, жизненный и неотложный вопрос.

Дело это Верховной Властью поручено мне. Оно распадается на две резко разграниченные и совершенно определенные задачи. Во-первых, — успокоение России, во-вторых, — ее обновление.

Для первой задачи, заявляю это громко, я чувствую себя и подготовленным, и достаточно решительным, и сильным. Моя рука не дрогнет, и ум не смутится употребить всю огромную государственную мощь на восстановление и удержание порядка, и притом полного, безусловного, без всяких послаблений и колебаний. Я слишком горячо люблю мою великую Родину, чтобы остановиться малодушно перед

самыми крутыми мерами, когда речь идет не только о ее благе и спокойствии, но и о всей будущности, о самом ее существовании. Здесь я не спасаю.

Что касается второй половины задачи — обновления и возрождения России, — вы имели бы право считать меня последним из безумцев, если бы я здесь отважился сделать хоть один шаг на основании личной мысли, личных взглядов и соображений. Такое реформаторство, такое сочинительство я считаю тягчайшим преступлением. И если наша бюрократия заслужила нынешнюю всеобщую к себе ненависть, то именно за эту свою преступную повадку реформировать и сочинять, ни у кого не спросясь.

Дело нашего обновления — дело разума всей земли, дело ее совести и правды, и я считаю здесь своей задачей одно — вызвать этот подлинный голос земли, дать простор великому мирскому разуму. Не в несколько недель или месяцев, а спокойно, кропотливо, целыми годами придется перестраивать наше ветхое государственное здание, перестраивать во всех частях. Безобразно управление, плохи финансы, расстроено просвещение, ослабла военная сила, все плохо, все ждет исправления. И пусть же знают все, что эта работа начнется теперь же, по всем частям; начнется лучшими силами, лучшими специалистами, каких только может выдвинуть Россия. Но как бы ни были эти люди сведущи и талантливы, как бы ни была хороша их работа, ни одна самая малая часть ее не будет поднесена к подписи Царя и проведена в жизнь без всенародного гласного одобрения. Никакого самовластия, никакого насилия, никакой неожиданности — вот что будет девизом нашего нового законодательства. Готовые законопроекты будут рассылаться на обсуждение земских собраний, городских дум, сословных собраний, биржевых комитетов. Будут собраны, взвешены и распределены все мнения, приняты в соображение все указания. Исправленный и переделанный согласно этому каждый законопроект будет вновь разослан на окончательное обсуждение, и только тогда, когда в нем воплотится и отразится вся народная мысль, со всех

концов России, тогда можно будет считать закон созревшим для утверждения и осуществления.

Разумеется, на первую очередь будут поставлены: здравая экономическая политика и организация самоуправления и управления. Затем, когда Россия будет организована, не будет уже надобности в таком сложном ходе законопроектов. Первым делом новой организации будет устройство достойных великой России законодательных органов. Эти органы утвердит и поставит Великий Русский Земский Собор, которому будет предложена на последний просмотр вся огромная всенародная работа.

Вот тот путь, господа, который мне представляется единственно правым, единственно спасительным. И то правительство, которое честно и смиренно будет ему следовать, не заслужит обвинения в насилии и самовластии. Моя личная задача будет: охранять этот путь, не допускать от него отступать, хранить свято заветы величайшего смирения перед народной мыслью и разумом.

Мне нет надобности говорить вам, что я считаю этот путь устроения России возможным только при широчайшей общественной свободе, при полной гласности и при самой твердой охране законности. Я страстно чту свободу, но свободу не для одной какой-либо партии или группы, а для всех, а такая свобода требует строжайшего общественного порядка. Я не менее страстный поклонник свободной мысли, но и эта свобода дается только при ясном сознании правды и важности высказываемого, при строгой ответственности за всякое праздное или вредное публичное слово. Не забывайте, что печатное и живое слово является зачастую еще более сильным орудием разрушения, чем созидания.

В заключение, господа, позвольте сказать вам, что, вступая на новый путь, надо запастись любовью и добром. Повелевая мне распустить Государственную Думу, Государь Император приказал мне передать вам, что Он дарует полное прощение и забвение всем политическим преступлениям. Это не значит, чтобы были немедленно освобождены все те, кто

насильственно выбросился из рамок общественного порядка или запятнал свои руки кровью и насилием. Это значит, что отныне государственная власть будет смотреть на них не как на преступников, а как на более или менее тяжело больных, которых надо лечить.

Я кончил, господа, и смиренно прошу у вас прощения за те горькие минуты, которые нам всем здесь пришлось пережить. Грех лежит на всех нас. Простим же чистосердечно друг другу, не затаим зла в сердцах наших и, вступая в новую полосу русской истории, проникнемся миром и любовью и будем работать каждый на своем посту для блага Родины и во славу нашего Самодержавного Царя!

Диктатор отдал глубокий поклон собранию и тихо сошел с трибуны.

* * *

Страница русской истории была перевернута без шума и крови.

ИВАНОВ 16-й И СОКОЛОВ 18-й

Политическая фантазия. Продолжение «Диктатора»

XVII

Роспуск Государственной Думы не вызвал никаких волнений, ни революционных выступлений. Все отлично понимали, что власть в надежных руках и что генерал-адъютант Иванов не такой человек, чтобы испугаться какого угодно бунта. Затем выцвела, испошилась и безмерно надоела всем и самая Дума. Бесконечные, озлобленные словоизвержения левых, бестолковые выходки правых, вечные колебания и некая особая «высшая тактика» кадетов и октябристов и совершенная безграмотность и бестолковость крестьянского «представительства» надоели до тошноты. Никаких надежд на «работоспособность» Думы не оставалось, а между тем это странное сборище в Таврическом Дворце остановило все законодательство, обратило дело важнейших реформ в глупую комедию.

Вот почему господа депутаты, получив прогоны в обратный путь, разъехались довольно мирно. На этот раз не только никаким Выборгом и не пахло, но даже представительство крайних левых в сильной степени поджало хвосты, бравидуя и угрожая только для виду.

Да и меры предусмотрительности были приняты серьезные. Губернаторам были посланы энергичные приказы наблюдать за деятельностью бывших депутатов, распущены все профессиональные организации, где главарями или тайными руководителями состояли революционеры, и в течение нескольких дней закрыты все газеты социал-демократического или социал-революционного толка.

Все это не могло не произвести надлежащего воздействия, и хотя либеральная и кадетская печать проливала горькие слезы над торжеством «реакции» и сулила всякие ужасы, огромное большинство и в обществе, и в народе, утомленное трехлетней анархией, приветствовало крутые меры диктатора и, судя по его первым речам и распоряжениям, с доверием смотрело на будущее и ждало.

А диктатор?

О, как отчетливо сознавал он всю страшную тяжесть лежавшей на нем задачи, всю бесконечную трудность приведения в порядок необъятной страны, где после сорока лет преступного духоугашения три года подряд анархия расшатывала все устои, отравляла умы и сердца! Он отлично понимал, что наступившее успокоение измеряется днями и часами, что им не сделано еще ровно ничего, что те, на кого он мог и должен был опереться, только кредитуют его, кредитуют, можно сказать, под звук его имени да под необычность факта его призыва к власти. А что, если ему не удастся сделать того великого дела, на которое он шел? Что, если его личный ум и личные силы окажутся слабыми, а общество на его страстный призыв не ответит и нужных ему работников не даст? А зло, старое зло стоит кругом. Освободительный взрыв ничего не принес, ничего не направил, он только вскрыл одновременно тысячи гнойных язв русской жизни, которые раньше затягивались, замазывались и вгонялись вовнутрь. Россия раскололась во всю величину и пошла по двум противоположным дорогам. И те, кто пошли налево, в сторону освободительного движения, возненавидели тех, кто пошел направо, в сторону защиты старых устоев государства. Ненависть, раздуваемая партийной печатью, сделала гигантские успехи и отравила всех. Люди, приставшие к освободительному движению, возненавидев смрадные язвы старого режима, возненавидели вместе с ним и самые основы русского народного и исторического быта, возненавидели патриотизм и даже самое имя своей Родины. Люди противного лагеря свою справедливую ненависть ко лжи, насилию и деспотизму освободительного движения перенесли и

на ту великую правду, которую оно в себе заключало, и бросились слепо на защиту старого...

Словно микробы страшной болезни заражали все больше и больше обе стороны. Иванов с ужасом видел, что его, цельного, спокойного, уравновешенного и здорового, могут не понять ни там, ни здесь. Он почти не видел вокруг себя тех спокойных, трезвых и здоровых людей, на которых он мог бы опереться, не находил того незараженного политически слоя, откуда мог бы черпать нужный персонал своих помощников. А в правительственном мире, куда он попал, карьеристы всех видов и рангов образовали вокруг молодого диктатора многоголовое море, и это море грозило его залить.

Нужно было действовать, и действовать решительно и быстро. Программа у Иванова была, но только в виде самых общих директив. Нужны были, с одной стороны, талантливые исполнители, с другой — сознательное и доверчивое отношение общества. Это отношение на минуту установилось, оно было как бы выхвачено блестящим первым выходом Иванова, но диктатор отлично сознавал, до какой степени общественное настроение капризно и непрочное. А исполнителей не было.

Особенно тягостно было диктатору полное отсутствие талантливых финансистов. Он ясно сознавал, что ключ к материальному возрождению России лежит в финансах, и усиленно искал министра, не принимая пока что отставки Ковковцева. Но ни в огромной нашей бюрократической машине, ни среди многочисленной профессуры, ни в банковых, ни в торгово-промышленных сферах нельзя было остановиться ни на одном имени.

XVIII

Возрождение России представлялось Иванову в трех основных формах. Возрождение *духовное* требовало очищения и восстановления Церкви во всей ее внутренней силе и правде. Возрождение *политическое* требовало уничтожения всеразъедающего начала бюрократизма и возрождения зем-

щины, которая должна была стать добрым историческим фундаментом государства. Наконец, возрождение *экономическое* требовало правильной и стройной денежной системы, которая могла бы достойно обслуживать великую страну, дать широкое развитие народному кредиту, освободить Россию от ее печального рабства у иностранной биржи, создать национальную независимость, оплодотворить русскую предпримчивость, поднять народный труд.

И ни в одной из этих областей Иванов не находил людей, которые были бы на уровне понимания объема и значения своей задачи. Среди огромного персонала высшей церковной иерархии и академической богословской профессуры, при всем изобилии ученых специалистов и приличных администраторов меньше всего можно было встретить людей истинно церковного духа. Двухсотлетняя жизнь Русской Церкви, обращенной в бюрократическое ведомство, принесла свой горький плод. Все мнения и течения от крайнего католического, почти ультрамонтанского или византийского и до яркорационалистического протестантского и даже революционного были налицо, не видно было лишь русского исторического понимания Церкви в простом, несколько суровом и строго православном ее облике. Не чувствовалось веяния теплой народной веры; ни под одной раззолоченной митрой не были видно *народного* святителя, смиренного и вместе с тем авторитетного и любимого. Собор был накануне своего созыва, но не ждал от него больших плодов диктатор и даже скорее опасался тех споров и разногласий, которые могли возникнуть к соблазну и потрясению Церкви.

Оставались миряне — ревнители Церкви. Здесь блистали имена Д.А. Хомякова, А.А. Папкова, Г.А. Шечкова, А.А. Киреева, Н.П. Аксакова, Ф.Д. Самарина, Н.Д. Кузнецова. Диктатор решит созвать у себя частное совещание, чтобы обменяться мыслями и установить твердый взгляд на приход как на основную не только церковную, но и общественную, земскую и государственную ячейку.

На совещание собрались намеченные Ивановым лица из бывших налицо. Он открыл заседание таким обращением:

«Пусть вас не удивляет, господа, что в вопросе, близко касающемся Церкви, я пригласил вас, мирян, а не лиц духовных. Мне нужно осветить один вопрос, где наше духовенство является стороной, и дать ответ может только односторонний. Признаю заранее свою полную некомпетентность в вопросах церковных и, прямо скажу, невежество в вопросах канонических и богословских. Но этих сторон касаться я и не думаю. Я ставлю вопрос исключительно государственного характера и хочу услышать ваше мнение. Древняя Русь была основана на тесном единстве государства и Церкви, народа и общества и Церкви. Точнее: и государство, и народ составляли Церковь, жили в ней. Основной ячейкой всего быта народного и земского строя был приход. Этот строй был настолько прочен, настолько отвечал нашему национальному характеру, что в смутное время только он один спас Россию от порабощения и анархии и восстановил государство, вдохнув в него тот же церковный и земский дух, которым был проникнут сам.

Теперь мы видим совсем не то. Прекрасно оборудованная Церковь стала одной из отраслей государства и потеряла всякую связь с душой народа, стала для него внешней силой. Народ привязан к ней только обрядностью, в огромной части обязательной. Звонят колокола, идут чинные службы, но дух церковности отлетел, но живого Христа Церковь постепенно забывает. Верующие ходят слушать певчих, говеть, даже молиться, но жизнь стала языческой, в жизни Церковь потеряла всякое значение. Отсюда глубокая народная тоска, сознание пустоты, лжи и обмана и поразительная легкость всяких соблазнов и соvrашений. А с государственной точки зрения, на которой я единственно имею право стоять в этом вопросе, является вот что: наша национальная основа всей государственности и общественности есть христианство, иной нет. Эта основа отнята, выкрадена, изуродована, и вот мы не можем найти никакой общественной связи, никакого цемента для разлагающегося государства. И я глубоко убежден, что пока в той или иной форме мы этой связи не найдем и не восстановим, пока народная тоска по высшей Божией правде

не будет утолена, до тех пор анархия не кончится, ибо самая эта анархия есть, по-моему, только протест против опрофанованного идеала, против казенной лжи, вставшей на место народной правды.

Мне думается поэтому, что первым шагом к восстановлению правды в русской жизни есть возрождение прихода. Оживите нашу древнюю церковную общину, верните народу Христа — и Россия воспрянет духом и обновится».

XIX

Разумеется, собеседники признали полную правильность такой постановки вопроса, только Хомяков заметил:

— Против того, что вы высказали, возразить нечего, но я боюсь продолжения. Вопрос о приходе — лукавый вопрос. Насколько правильна его идеальная, церковная сторона, настолько же опасны те формы, в которых нам предлагается возрождение прихода. Избави Бог соединять это дело с организацией так называемой мелкой земской единицы, а я в ваших словах уже предчувствую этот вывод.

— Грустно мне это слышать, — отвечал диктатор, — но чтобы сразу поставить вопрос начистоту и во всем объеме, я выскажу свою мысль до конца. Приход я понимаю не только как церковную общину, в деле веры руководимую епископом и составляющую, следовательно, ячейку местной Церкви, — кажется, это не противоречит канонам? — но и как самостоятельную низшую организацию земскую, административную, финансовую, судебную, школьную — словом, как очаг местной самостоятельности и самоуправления. Только в приходе возможен сознательно производимый выбор деятелей, только в приходе достижимо истинное равенство, ибо это равенство перед Богом и братство о Христе, только на приходе можно основать истинную земщину.

Самарин горячо возражал:

— Едва ли это правильно. Вы смешиваете дело Церкви с делами, ей посторонними, и этим создаете опасность обмир-

щения Церкви, растворения дела Божия в заботах о благоустройстве внешнем. Это очень опасный принцип.

Хомяков прибавил:

— Вы вводите в Церковь элементы, ей чуждые, и, быть может, даже враждебные. Кто будет управлять приходом? Совет в форме большинства? Значит, будет баллотировка, подсчет голосов? Неужели этого одного не достаточно, чтобы совершенно убить церковный дух?

Остальные собеседники тоже высказали свои сомнения относительно мысли диктатора, казавшейся им слишком резкой и радикальной.

Иванов грустно покачал головой.

— Простите, господа, вы все здесь специалисты и знатоки вопроса, а я профан, едва прочитавший пять-шесть книг. Но я моим непосредственным чувством иду в самую глубину вопроса, куда проникнуть вам мешает ваш научный балласт. Простите эту самоуверенность, но я думаю, что опасности омирщения Церкви не существует. Что-нибудь одно. Или еще в русском народе сохранилась его вера и духовные идеалы, или он уже их потерял. Если случилось последнее, то все наши заботы о Церкви, все наши сложные рассуждения, организации, каноны, соборы и прочее — все это ложь, пережиток невозвратно минувшего прежнего, и тогда государству нечего с этим со всем делать и надо искать простых гражданских форм общежития, а Церковь предоставить своей судьбе. Но если вера жива, если, несмотря на все свое одичание, разврат, пьянство и т. д., русский народ свои идеалы хранит, если его вера и дух жизнеспособны, если, наконец, верно, что «врата адовы не одолеют», тогда не бойтесь за Церковь, не опекайте и не изолируйте ее. Не Церковь омирщится от прикосновения к мирскому, а это мирское одухотворится! Если возможна церковная община, если наша русская общественная связь есть связь братства о Христе, то эта община будет и судиться о Христе, и самоуправляться о Христе, и землю пахать о Христе, и даже кредит давать и торговлю вести о Христе. Я чувствую глубокую фальшь в том, что вы словно боитесь за Христа, что Он не справится, у Него не хватит силы

одушевить ту группу людей, которая, однако, приняла и носит Его имя... Признаюсь вам, на меня тяжелое впечатление произвели работы Предсоборного Присутствия...

Кузнецов возразил:

— Мы, как члены Присутствия, занимались преобразованием прихода лишь в церковном отношении и убеждены, что обращение его в земскую единицу еще не обеспечивает его развития в религиозном отношении. Во всяком же случае, это вопрос законодательства чисто государственного, и мы не могли им заниматься.

— Я понимаю, — отозвался Иванов, — значит, мне вы, собственно, не возражаете?

На стороне Иванова были Щечков и Папков, но и они высказывались несколько робко и уклончиво.

— Но вы себе едва ли представляете, — заметил Хомяков, — что это такое будет в действительности. Вы предоставляете пьяным, слабым и темным людям выбирать себе священника. Вы предоставляете кулакам распоряжение церковными суммами. Вы вводите, наконец, наш неверующий и политически развращенный третий элемент в приход, где он сразу же сплотится и возьмет верх. Хорош будет ваш приходский совет из неверующего семинариста-попа, красного фельдшера, трех-четырех распропагандированных «сознательных» запасных и кулака, церковного старосты! А выборы, а водка, а всякая мерзость при этом! И этой милой компании вы отдаете и интересы Церкви, и все самоуправление!

Диктатор с горечью возразил Хомякову:

— Вы этого боитесь, да? Хорошо, я иду навстречу и преувеличиваю картину в худую сторону. Что может получиться? Вообразите самое ужасное, самый безобразный приходский совет. Начнутся невероятные притеснения, взятки. Кассу раскрадут. В церкви богослужение будет совершаться кое-как, а может быть, будут допущены и прямые кощунства. В школу поставят анархиста-учителя, и начнется соблазн детей. Ну придумайте самое худшее! И чем хуже вы придумаете, чем больше представите себе безобразий, тем более я буду рад, ибо тем

скорее пройдет кризис. Скажите, господа, неужели вы думаете, что население с этим может смириться, что все так и останется? Да за кого же вы в самом деле принимаете наше крестьянство? Если в нем исчезла уже здоровая сердцевина, если все это только разбойники, неверующие и хулиганы, тогда о чем толковать? Ставьте на Россию крест, и пусть идут брать ее кто угодно: немцы, японцы, татары. Тогда ведь никакой и земской единицы не устроишь. Но я в это не верю. Я думаю, что если безобразия будут, то тут же начнется здоровая реакция. Пусть только мужик убедится, что у него руки в самом деле развязаны, что начальство ему не мешает, *только не мешает*, и вы посмотрите, что будет. Года не пройдет, как вся эта накипь будет убрана, и здоровые элементы прихода сплотятся. В деревне это легко и это движение уже идет повсюду. Агитаторам больше не верят, а крик «земли и воли» — совершенно другое дело, и я полагаю, что в данных условиях он весьма естественен. Но это уже посторонний вопрос. А теперь, господа, я предлагаю вам обсудить следующее. Моя мысль, что территориальный приход должен лечь в основу земского самоуправления, вами не поколеблена, а усилена. Оставим пока инородческие окраины и возьмем сплошные православные части России. Организуем в первую очередь их и тем самым, конечно, страшно усилим. Вот готовый законопроект приходской организации, составленный одним добровольцем из глубокой провинции. Мне он очень нравится. Потрудитесь его рассмотреть и сделать ваши замечания. Я приму их с благодарностью и, что нужно, будет исправлено. Затем проект будет отпечатан и разослан на обсуждение всех, сначала приходских, затем волостных сходов. В этом деле крестьяне вполне компетентны, простите, господа, думаю, что даже более компетентны, чем все мы, здесь находящиеся, ибо это дело практики. Нужно только ясно и определенно поставить вопросы и к участию в этих сходах привлечь духовенство и землевладельцев. Обработка волостных ответов, их сводка и проверка будет сделана на уездных земских собраниях. Ну а затем весь этот огромный материал будет систематизирован, и мы получим полную картину народной мысли

по этому вопросу. Вы не откажетесь, господа, разумеется, если этот путь признаете правильным, помочь именно в разработке вопросов, которые на местах должны быть поставлены? Дело это спешное и неотложное. Независимо от своего существа, оно дорого еще и как величайшее орудие успокоения. Народ поймет, что правительство его уважает и отнюдь не насилует, а наоборот, желает работать совместно с ним. Поэтому прошу вас организовать в комиссию, заслушать проект и отредактировать вопросные пункты для обсуждения на сходах.

XX

Проект приходского самоуправления, присланный диктатору и ему понравившийся, был очень прост. Приходская община обнимала собой территориальный округ сельский и городской, причем малые приходы соединялись и подчинялись центральному управлению. В общину входили все постоянные жители без различия исповедания. Приходское собрание составлялось из землевладельцев и уполномоченных от селений и выбирало свой постоянный орган, «приходский совет». В этот совет на правах неперменного члена входил старший православный священник прихода и духовные лица тех исповеданий, которые составляли не менее трети населения. Члены совета избирали председателя, приходского голову и распределяли между собой обязанности. Церковный староста ведал хозяйством храма, остальные члены — приходской полицией, приходской кассой, школами, дорогами, благотворительными учреждениями, приходскими предприятиями. Устанавливался приходский суд. В каждом приходе открывалось кредитное учреждение для приема вкладов и выдачи ссуд и склад орудий и семян, а также материалов и инструментов для местных кустарных промыслов. Восстанавливалось выборное начало для духовенства. Кандидатами в священники могли являться или благочестивые прихожане в возрасте не моложе 40 лет, или учителя, зарекомендовавшие себя школьной деятельностью в ближайших приходах, в

возрасте не моложе 30 лет. Кандидаты предлагались приходским советом общему собранию и по избрании отправлялись к епископу на испытание и для посвящения. В этих избраниях иноверцы участия не принимали, выбирая свое духовенство сами. В случае отсутствия кандидатов в священники таковые рекомендовались епископом, но должны были во всяком случае не менее двух лет учительствовать в местной школе до принятия священного сана или в сан дьякона.

Приход получал право самообложения. Жалобы на неравномерность или притеснения приносились уездному земскому собранию, которое проверяло и утверждало приходские раскладки. Земскому же собранию приносились жалобы на действия местных приходских властей в случае, если общее собрание прихода не давало жалобщику удовлетворения. Апелляционной инстанцией для приходского суда являлся съезд мировых судей. Церкви прихода освобождались от всяких взносов на епархиальные нужды; необходимые для этого суммы ставились в смету уездного земства. Раскладка всякого рода земских сборов производилась на целые приходы, которые и распределяли их внутри своей территории. В приходе велись книги населения, кадастровые книги и планы всех земель.

Контроль над приходским самоуправлением принадлежал: в области вероучения, церковной практики и суда — епископу; в области управления — уездному земству; в области финансов — уездному государственному контролеру, лично ревизовавшему периодически всякого рода денежную отчетность прихода; в области судебной — местным мировым судьям; в области школьной — местной земской инспекции; наконец, в ведении списков по воинской повинности и по учету запасных и ополченцев — местному воинскому начальнику. Во всех случаях нарушения закона или обязательных постановлений соответственная контролирующая власть имела право привлечения виновных к судебной ответственности.

Общее собрание сельского прихода производило выборы в гласные уездных земских собраний, а городского — городских дум. Каждый сельский приход выбирал двух гласных:

одного — от личных землевладельцев известного имущественного ценза, другого — от крестьян, а в городах — равное количество от домовладельцев и от остальных членов прихода, причем, начиная с пятого года по введению приходского самоуправления, выбираемы в земские и городские гласные могли быть лишь лица, прослужившие в должности членов приходского совета не менее трех лет.

Высшей властью прихода и ответственным лицом за все приходское управление являлся, по проекту, председатель приходского совета, приходский голова. Он приводил в исполнение все постановления приходского совета и суда, скреплял своей подписью светскую переписку, наблюдал за делопроизводством, ревизовал все отрасли приходского дела, принимал в экстренных случаях распорядительные меры, единолично сообщая о своих действиях приходскому совету. Все правительственные и земские распоряжения производились через него. Отрешить от должности приходского голову и членов совета могло только земское собрание или суд.

Все земские сборы поступали в приходскую кассу, и все расходы производились через приходский совет. Непосредственно уездное земство производило только такие расходы, коими обслуживались несколько приходов или целый уезд. Значительная неравномерность в имущественном положении различных приходов исправлялась соответственной уездной раскладкой, чем достигалась возможность выполнять в самых бедных приходах необходимые функции управления.

Таков был проект, предложенный Ивановым на обсуждение сведущих людей. Когда он был доложен собранию, диктатор сказал:

— Этот устав, господа, написан скромным сельским священником в глухой деревне. Отнеситесь к нему, как хотите, изменяйте любую часть. Но два принципа я считаю здесь основными. Во-первых, именно то, против чего вы протестуете: тесную связь с Церковью, общую работу «Бога для». Самоуправление идет около того храма, который собирает на молитву. Во-вторых, законченность организации. Приход является здесь совершенно

цельной общиной, почти семьей, с совершенно определенной физиономией. И при этом полная самостоятельность всех управлений. Все требует сплоченной дружной местной работы. Это будет фундамент и школа русского самоуправления. И я глубоко убежден, что там на местах поймут и оценят эту схему. Нужно только ее как следует объяснить и умело поставить вопросы. Затем помните, господа, что совершенства на земле вообще нет и что лучшее есть враг хорошего.

Диктатор удалился, а между сведущими людьми начались прения, наши долгие русские прения, где обыкновенно ярко блещут высокие принципы, кипит глубокая научная эрудиция, стойко отстаиваются самые тонкие оттенки мнений, но где незаметно ускользает вся практическая, серая, жизненная сторона вопроса.

Своеобразный плебисцит о приходе Иванову пришлось редактировать помимо комиссии...

XXI

Председатель Совета Министров Столыпин докладывал диктатору важнейшие из текущих дел, когда курьер подал карточку. Это было строго запрещено ввиду невероятной облавы со стороны «всякого чина и звания людей», желавших проникнуть к диктатору. На гневный взгляд Иванова курьер почтительно прошептал:

— Виноват, ваше высокопревосходительство, они сказали, что вы их ожидаете.

Но морщина на лице диктатора быстро разгладилась и глаза улыбнулись, когда он взглянул на карточку. На ней стояло всего: «Соколов 18-й».

Он подал карточку Столыпину и сказал:

— Знаете, кто это?

— Не имею никакого понятия.

— Ваш будущий министр финансов.

— О! Как это вовремя! Кто это такой?

— Я тоже его не знаю и никогда в глаза не видел.

Столыпин выразил на лице полное изумление.

— Прочтите: «Соколов 18-й». Что это значит? Кто может послать такую карточку Иванову 16-му? Очевидно, только тот, кто знает, что мне больше всего нужно, и знает, что именно он сумеет это дать. Я уверен, что это военный. Это офицер? — обратился Иванов к курьеру.

— Так точно, ваше высокопревосходительство.

— Вот видите. Ну-с, кажется, со всем особенно важным мы покончили. Я могу его принять. Хотите остаться на минутку, Петр Аркадьевич, посмотреть, что такое «Соколов 18-й»? Проси!

В кабинет вошел молодой офицер в артиллерийской форме. В его фигуре не было ничего выдающегося. Среднего роста, коренастый блондин с маленькими усиками и гладко выбритым подбородком. Привлекали разве что внимание глаза, глубокие и вместе с тем добрые и насмешливые. Эти глаза смеялись иногда при совершенно серьезной физиономии.

— Ваше превосходительство, имею честь явиться.

— Очень рад, — Столыпин — капитан Соколов, Вы занимаетесь финансовыми вопросами?

— Вы угадали, ваше превосходительство.

— Давно?

— Более пятнадцати лет.

Иванов многозначительно взглянул на Столыпина. Министр только пожал плечами.

— Когда же вы начали? Ведь вам самое большее тридцать — тридцать два года.

— Я работаю с семнадцати лет, еще с училища.

— Ну конечно, своим предметом овладели.

— Судить не берусь. Я занимался русскими финансами.

— Скажите, каким образом вы на этом предмете остановились?

— У нас в училище была группа юнкеров, которая сейчас же по поступлении решила заниматься каждый какой-нибудь наукой. Один брал химию, другой — биологию или социологию, третий — языковедение. Случайно попалась мне

одна книжка по финансам, из которой я увидел, что русской финансовой науки нет и что ее предстоит создать. В это время как раз был назначен Витте и поднимались финансовые вопросы. Это решило мой выбор. Я увидел, что в этой области я могу принести Родине наиболее пользы, и стал работать.

— Вы признаете европейскую финансовую науку или считаете ее вздором?

— Ваше превосходительство, что за вопрос! Разумеется, признаю, то есть, вернее сказать, чту. Помилуйте, там гиганты мысли...

— А русскую?

— Ну, это другой вопрос.

— Хорошо. Предупреждаю вас, что я в финансах профан. Скажите мне, почему все то, что у нас сделано и делается в России по указанию финансовой науки, является сплошной глупостью и разорением?

— Постараюсь ответить по возможности точно. Финансовая наука есть ряд выводов из фактов, из статистики, из истории. Западная наука имела факты и данные из западной жизни и их отлично осветила. Наших русских данных она почти не касалась. Между тем разница настолько велика, что при изучении наших данных может явиться даже совсем другая теория финансов. Это раз. Ну, а затем недобросовестность и соблазн. Здесь разобраться труднее всего. Значительное число ученых прямо продавалось бирже и проповедует то, что ей на руку. Этим, между прочим, мастерски пользовался Витте. В его время чуть не все европейские знаменитости были на содержании у кредитной канцелярии. Из наших от тоже наберу немало. Возьмите, например, покойного Миклашевского. До Витте дал чудные работы по бумажным деньгам, затем поговорил с Сергеем Юльевичем — и начал воспевать золото. Также были завербованы Чупров, Постников, Янжул, Озеров и др., я таких знаю человек десять из наших профессоров. Европейцы тоже. Знаете ли вы, что последняя статья Леруа Боле в «Neue Freie Presse», наделавшая столько шуму, была писана в кабинете у Витте? Зачем в Париже

сидит Рафалович? Почему ни одна русская газета строки не напечатает против золотой валюты? Я не говорю, конечно, про так называемые черносотенные...

Столыпин встал с кресла.

— Для меня все это китайская грамота. Я рассуждаю о финансах, как петербургская дама... Вы мне разрешите откланяться?

— Вы напрасно обижаете петербургских дам, — серьезно заметил Соколов. — Они рассуждают лучше многих профессоров.

Иванов тоже встал.

— Да, Петр Аркадьевич, время дорого, поезжайте. Но и с вами, капитан, сейчас я разговаривать не могу. А разговор у нас будет основательный. Времени у меня, вы сами понимаете, совсем нет. Можете не поспать ночь, тогда милости просим завтра после двенадцати — сюда же. Пропуск вам даст адъютант.

— Слушаю-с.

На столе резко задребезжал телефон. Иванов взял трубку.

— Это Государь. До свидания, господа.

XXII

Председатель Совета Министров и молодой капитан удалились, а Иванов приставил трубку к уху и расположился поуютнее у стола, чтобы говорить с Государем. Слышна была только половина разговора, которую и отметим.

— Доложите Его Величеству, что я у телефона.

— Ваше Величество, а я только что собирался к Вам явиться, но Вы так милостивы, все меня бережете. Уверяю Вас, меры приняты, опасности никакой.

— С нетерпением ожидал. И у Вашего Величества это на сердце лежит. Слушаю, слушаю! Только ради Бога, позвольте быть совершенно откровенным.

— Сносился телеграммой. Увы! Антонович болен, только что начал поправляться, но еще к делу не годен.

— Да, ужасно жаль. Что за болезнь, не знаю.

— Ваше Величество, вы разрешили мне... и требовали от меня правды. А что же я могу сказать? Типичный бюрократ, интриган, хитрый, ловкий. Куда ветер подует, туда и он. Финансы знает, но только в смысле административной рутины и критики. Я с ним говорил и вынес убеждение, что творчества тут и не заводилось.

— Простите, Ваше Величество, а уж этого кавалера я и совсем боюсь. Кто его знает, что у него в середке? Теперь ругает Витте на всех перекрестках, а вчера еще плакал ему в жилетку и клялся, что был его правой рукой. Про нравственную сторону я уж не говорю, но и талант под большим сомнением. Великолепный оратор, а на деле — что он после себя оставил?

— Не знаю, Ваше Величество, лично не знаком. Человек независимый, энергичный. По финансам как будто понимает. Прикажете с ним от Вашего Имени переговорить?

— Ах, виноват, понимаю. Боюсь, Ваше Величество слишком полагаетесь на мои силы. Слушаю-с, жду, кого Вам будет угодно назвать еще.

— Разве Вашему Величеству не известна коркинская история? А семнадцать миллионов Прокудинских? Нет, это имя и произносить невозможно. Человек совершенно скомпрометированный.

— Господи, как Вас эти мошенники обманывали! Если Ваше Величество интересуетесь, я Вам эти истории подробно доложу.

— Ну конечно, Сергей Юльевич.

— Слушаю, слушаю. Вот уж тут, Ваше Величество, я ничего не могу сказать. Константин Петрович, Царство ему Небесное, циник был великий, да и в людях тоже зачастую ошибался. Да, это человек его школы. Я читал эту вещичку, да кто у нас по финансам не писал? А по-моему, это типичный петербургский тайный советник.

— Ваше Величество, Сами знаете, что это действительно порода, зоологический вид. Благоволите посмотреть его по-служной список. Точь-в-точь, как у Коковцева, хоть в «Стрекозе» печатай. Бродил из ведомства в ведомство, участвовал

в самых невозможных комиссиях, получал прибавки, аренды и Высочайшие благоволения, имеет все ордена до «Белого Орла» включительно. А толку от него ни на три копейки. Уверяю Вас, что все эти господа похожи на старую затрепанную колоду карт. Как ее ни перетасовывать, все будут одни и те же фигуры. Обновить Россию могут молодые и свежие элементы, а этим старцам надо предоставить присвоенную пенсию и черные рамки в «Новом времени».

— Ну конечно, помимо чинов! Ах, Ваше Величество, как давно это было нужно сделать! Это составило бы славу Вашего царствования. Ведь из-за чина правительство формально изолировано от всяких свежих сил.

— Слушаю, Ваше Величество! Вот это действительно имя. Он и на меня произвел совершенно такое же впечатление. Только ведь это барин и страшный лентяй. Он может в любую минуту остыть, бросить все и уехать к себе в Сычевку или во Флоренцию.

— Да, разумеется, страшно симпатичен. И притом отличный оратор, владеет толпой. Справится с чем угодно, талант несомненный. И, однако, в Думе рта не разинул. А между тем, чтобы попасть в Думу, ушел из Государственного Совета.

— У меня? Продолжаю настойчиво искать. Боюсь обнадеживать Ваше Величество, но, кажется, мне придется скоро Вам докладывать и просить Вас начать упразднение чинов на деле и сделать производство довольно необыкновенное...

— Нет, нет, Ваше Величество, позвольте умолчать. Я вот его хорошенько рассмотрю да проэкзаменую. Тут надо быть страшно осторожным.

— Теперь? Сейчас принимаю депутацию объединенного дворянства. Кажется, будут граф Бобринский, князь Касаткин-Ростовский и саратовский Ознобишин.

— Слушаю-с, слушаю-с. Ваше Величество можете быть покойны. Я сам дворянин и свое звание глубоко чту.

Разговор кончился. Иванов положил телефонную трубку на место, глубоко вздохнул и задумчиво произнес:

— Наслаждение работать с таким Царем... Какой Он славный, добрый! И что с этой добротой делали! Опутывали, всячески обманывали, наконец оклеветали перед Россией. А Он спокоен, как праведник: «История Меня оправдает». И никто, никто не знает Его в настоящем виде! Погодите, милостивые государи, я покажу вам нашего Царя во весь рост!

Иванов вздохнул, нажал пуговку звонка и сказал:

— Просите дворянскую депутацию.

XXIII

Вошли граф А.А. Бобринский, председатель Совета Объединенных дворянских обществ, член Совета кн. Н.Ф. Касаткин-Ростовский и саратовский губернский предводитель В.Н. Ознобишин.

— Очень рад, господа, с вами познакомиться, — начал Иванов, — и готов вам служить. Я сам дворянин и глубоко чту идею *русского* дворянства (диктатор сделал ударение на слове «русского»). Но чем больше я его люблю и чту, тем более критически отношусь к его современным представителям и их работе. Ну вот, хоть бы ваша организация, ваши съезды...

— Что же вы имеете против нашей работы? — мягко спросил граф Бобринский.

— Если не ошибаюсь, у вас в руках постановления последнего съезда? Я их уже знаю, читал. В них много дельного, здорового, но простите, господа, все это не государственные мысли, не государственная точка зрения. Сословного эгоизма тут нет, это правда, но вы говорите как представители только одного класса — частного землевладения.

Князь Ростовский сказал строго и нервно:

— Я думаю, что теперь это главный и самый угрожаемый интерес.

— Вот именно поэтому, — отвечал диктатор. — Государственная точка зрения — это широкий взгляд на все земледелие — и частное, и крестьянское, в связи со всей жизнью государства. Укажите правительству на те ужасные условия,

в какие земледелие поставлено, и найдите средства помочь беде. А вы все сводите на агитацию революционеров да на механическую защиту земельной собственности. Ну хорошо. Правительство примет драконовские меры, остановит аграрные волнения, усмирит бунтующего мужика. А дальше что? Полагаете ли вы, что водворится тишь да гладь и вы будете спокойно сидеть на местах и вести хозяйство?

— Простите, генерал, разумеется, правительство должно не только это сделать, но и создать общие условия, чтобы разрешить наш аграрный вопрос и дать возможность всем работать спокойно на земле, — возразил граф Бобринский.

— Правительство? — живо подхватил Иванов — Да, конечно, правительство. Но я желал бы знать, какими силами оно это сделает? Правительство разве может уловить созревшую в обществе мысль и кое-как ее осуществить, но избави Бог требовать от него творчества! Какие у него орудия для этого? Чиновники, казенные профессора, всякие добровольцы да газетчики? Нет, господа, простите меня, довольно с нас этого творчества. *Вы* осветите дело, *вы* выносите и дайте нам решение вопроса. Кому это сделать кроме нас? Вы — ум странны, ее культурнейший слой.

— Вот оригинальная точка зрения, — заметил князь Касаткин-Ростовский. — Да разве нас когда-нибудь слушали, разве нас спрашивали?

Иванов встал с кресла и начал ходить по кабинету.

— Вы должны были заставить себя слушать. Дворянство было единственным классом, голос которого нельзя было ни спрятать, ни заглушить. Но оно спало сорок лет, оно на своих собраниях не поднимало никаких общегосударственных вопросов, хотя и имело на это право. Что же, вы скажете, что оно не сознавало опасности, не видало, куда Россия идет? В начале царствования был поставлен дворянский вопрос. Витте, конечно, постарался его сейчас же перекрутить. Что же, вы протестовали, господа? Ваши губернские предводители бросились к Государю, чтобы раскрыть Ему глаза на подлог? Нет, вы допустили, что вопрос сошел на нет, на понижение процен-

тов Дворянского банка на какие-то пустые пансионы-приюты, на дворянскую канцелярию и тому подобную мелочь. Вы сами похоронили дворянство... Но это еще не все. А ваши губернские предводители? Когда правительство струсило после проигранной войны и растерялось, с чем пришли к Государю двадцать шесть предводителей? Вместо того чтобы принести мужественный голос первого сословия, вдохновить ослабевшую власть, сказать твердое слово от имени всей земли Русской, господа предводители явились рекомендовать конституцию, то есть позорную сдачу! А теперь что они делают?

— Вам известно, что объединенное дворянство не одобряет действий предводителей... — заметил Бобринский.

— Да, у вас чуть не вышло раскола. Ваша организация стала в независимое положение. Но что же сделала она сама? Три съезда дворянство топчется на месте, никак не умея выйти их круга интересов одного класса землевладельцев. Да и здесь только просьбы к правительству о содействии и защите. Единственный человек, Павлов, поднял у вас финансовый вопрос, но вы его похоронили.

— Финансовые вопросы очень скользкая почва — мы в них не компетентны.

— Тогда кто же, господа, компетентен? Чиновники? Казенные профессора? Ищите специалистов, ставьте эти вопросы, обсуждайте, иначе ваша государственная роль кончена. Или вы культурное сословие, мозг страны, или дворянство погибло.

Разговор перешел на резолюции последнего съезда. Диктатор с горечью остановился на мнении дворянства об изменении избирательного закона.

— Неужели вы не замечаете, господа, как мелко и узко поставлен вами вопрос? Неужели вы верите, что путем избирательного закона можно собрать в России приличную Думу и с ней законодательствовать? Ведь это же абсурд!

Выступил со своей философией дворянства В.Н. Ознобишин. Им написано целое историческое исследование, доказывающее то положение, что роль дворянства в России —

управлять, что целые века воспитали в нем особое свойство, ставшее прирожденной принадлежностью сословия, — «уметь *повиноваться* без унижения и *приказывать* без наглости». Отсюда естественная необходимость сохранить в своей роли это сословие, служилое по самому своему существу и представляющее элемент государственного единства и воли.

— Вы, может быть, правы в своем определении прежней роли дворянства, — возразил диктатор. — Таковым оно было и должно было являться, пока Россия слагалась, пока сила шла вперед. Но теперь надо рамки раздвинуть шире и обосновать этическую сторону лучше. Я бы определил дворянство в будущей его роли так: сословие абсолютно бескорыстное, совершенно лишенное классового эгоизма. Все живут более или менее для себя и имеют свои интересы. Интерес дворянства — интерес общий: государства, земства, народности. Все говорят за себя — дворянство говорит за всех. Вы скажете, что это крайний идеализм, — тем лучше. Но в России только эти вещи и ценятся, только с такого рода первым сословием и может помириться народная совесть. Отсюда и все требования, предъявляемые к дворянству. И первое из них: во что бы то ни стало удерживать свою землю, ибо без этого культурная роль дворянства не осуществима. Но удерживать землю не для того, чтобы извлекать из нее доход *всяким* путем, а для того, чтобы нести на своих плечах *руководительство* земледельческой культурой, идти впереди масс, быть их старшими братьями, учителями. Ступень выше — и перед вами земская работа, которая также целиком ваша. И не по писанному праву, не по закону только, а потому, что само население выдвинет вас в земство, увидав в вас просвещенных руководителей. А затем и земство только школа для подготовки к государственному делу. Лучшие силы дворянства, воспитавшись на земстве, дадут отбор самых лучших работников в центр. Вот русская дворянская схема. И если бы вы ее понимали, господа, вы не ломали бы головы над изменением избирательного закона, а сразу бы остановились над системой земских областей.

Во время этой речи старик Касаткин-Ростовский сверкал глазами и боролся со своей одышкой. Когда Иванов указал на бегство с земли русского дворянства и на стойкое сопротивление остзейского, князь не выдержал и заговорил горячо и гневно:

— Хорошую нотацию вы нам, старикам, прочли, ваше превосходительство. Удерживать землю, быть учителями — ну еще бы! А вы изволили подумать, каково это нам за этот период было удерживать землю и быть учителями, когда все государство российское целых сорок лет обрушивалось на деревню и только и знало, что подкапывать и разорять хозяйство и унижать дворянство? Что же, мы бежим с земли добровольно? Вон, посмотрите. Помещики из сожженных усадеб сбежались в города, ютятся по маленьким квартирам — это, вероятно, только от малодушия? Молоды вы, ваше превосходительство, и горячи. Тут глубокая трагедия, и грешно бросать нам такие обвинения. А вы вот лучше поверните-ка государственную машину, коли сможете, в другую сторону. Попробуйте-ка сделать, чтобы она не душила деревню, а помогала ей. Тогда вы увидите, много ли будет этих малодушных и уступим ли мы немцам в любви к земле!

— Да, да, да! Это будет моей главной задачей, но повторяю вам, господа: один я бессилен. Правительство, весь чиновничий слой, все это тянет не туда. Мы порвали все традиции: славянскую, церковную, земскую, дворянскую, зато бесконечно развили канцелярскую, бюрократическую. Все чиновники, никого нет, кроме чиновников! Так пусть же дворянство первое освободится от этой заразы и вернется на свои рельсы. Я именно желаю опереться на вас, но для этого нужно не обижаться на меня, не сердиться, а вдуматься, широко поставить государственный вопрос и помочь мне вашей мыслью, вашей правдой. А если мои слова кому-нибудь показались оскорбительными, прошу меня великодушно простить.

XXIV

Ровно в полночь капитан Соколов 18-й был в Зимнем Дворце. Ему пришлось ждать около часу, пока освободится

диктатор, заваленный делами. Наконец курьер пригласил его в кабинет.

Генерал-адъютант Иванов в рабочей тужурке сидел у стола, просматривая груды писем, бумаг, депеш и газетных вырезок, которые подавались беспрерывно, уже отсортированные секретарем. Диктатор делал на бумагах размашистые пометки синим карандашом и направлял к исполнению, некоторые откладывал.

— Снимите шашку и садитесь. Мне осталось работы на две минуты.

Скоро Иванов встал, потянулся, хрустнул косточками пальцев и промолвил, вновь опускаясь в кресло:

— Вы себе не можете представить, как в этом проклятом Петербурге бумага засасывает человека.

— Неужели, Ваше превосходительство, не можете передать эту работу министрам? Что же они делают?

— Наивный вопрос, голубчик. Во-первых, они так же купаются в бумаге, как и я, а во-вторых... считают своим долгом интриговать и подставлять и сами себе, и мне ногу на каждом шагу. Здесь, в этом море интриг и подлостей, десять процентов сил расходуешь на работу, а девяносто — на трение и всякие мерзости...

— Да зачем же вы их держите? Неужели у вас нет людей «без трения», на которых вы могли бы положиться?

— Легко сказать! Ищу, присматриваюсь. Довериться никому нельзя. Держу пока этих господ — за них по крайней мере знание административной рутины. В том-то и дело, что новичок, не бюрократ, запутается безнадежно с первого шага. Двести лет нарастала эта плесень. Минутами чувствую, как у меня мешаются мозги. Ну да бросим это, давайте разговаривать о деле.

— Прикажете докладывать?

— Нет, мой дорогой. Время чертовски дорого. Поэтому вести и направлять разговор буду я. Сначала сверимся. Я вам скажу, что я знаю по финансам, вы меня остановите, где я сойду. Затем, если наши показания сойдутся, я вам задам вопросы о том, чего я не понимаю. Идет?

— Слушаю-с.

— Ну так вот. То, что я прочел, выяснило мне, что в основе всей организации современного государства лежат деньги — это раз. Все может быть плохо, но денежная система хороша — и государство будет процветать. Все хорошо, но денежная система плоха — и государство разорится и попадет в революцию. Так?

— Совершенно верно.

— Дальше. Золото, ставши теперь мировыми деньгами, вздорожало. Отсюда огромные выгоды для тех стран, которым должны, и огромные убытки для стран, которые платят проценты. Россия задолжена по уши, следовательно, золото ее разоряет. На восстановление биметаллизма надежды нет, значит, она должна ради самосохранения взять деньги более дешевые, то есть перейти на серебро или на чистые бумажки. Это я понимаю. Но здесь являются сомнения. Во-первых, уплата процентов по займам. Чем она будет обеспечена, раз мы покинем золото? Ведь сумма платежей страшно увеличится?

— Разумеется. И все-таки страна будет в огромной выгоде. Судите сами. Представьте себе, что нам надо платить сто миллионов процентов. У меня точных цифр под руками нет, и я беру цифры схематически. Курс рубля понижен до $\frac{2}{3}$. Значит, нам придется платить не сто, а полтора ста миллионов. Но в то же время мы вывозим на миллиард рублей товара. По новой расценке мы получим за него полтора миллиарда. Другими словами, государственное хозяйство потеряет пятьдесят миллионов, а народное выиграет полмиллиарда.

— Понимаю, понимаю. Но ведь соответственно нам и за ввоз придется платить в 1,5 раза дороже?

— Несомненно. Но так как иностранные товары вздорожают в полтора раза, то ввоз их сам собой сократится. Одновременно низкий курс будет давать огромную премию для вывоза. В результате расчетный баланс сразу сильно перекачнется в нашу пользу и народное хозяйство получит огромные барыши.

— Понимаю. Но, голубчик мой, ведь одновременно последует перестановка всех внутренних цен. Так что в конце концов выгода получится фиктивная.

— Вот здесь я с вашим превосходительством не согласен. Это случилось бы только в том случае, если бы мы потребляли много иностранных товаров и не могли бы заменить их своими. Но что же мы потребляем, если взять народную массу? Чай? Да ведь он стоит всего около двугривенного фунт, остальное пошлина. Пряности и лекарства? Пробки? Но ведь этого ввозится на пустяки. Хлопок? Поднимется цена, и среднеазиатский не только вытеснит американский и египетский, но и сам пойдет за границу. Машины — сами будем делать. Металлами мы завалим все рынки. Уголь, нефть — свои. Моды, гастрономия — да Господь с ними, пусть дорожают. Я совсем не вижу причин, чтобы предметы народного потребления вздорожали. Россия сейчас совершенно обезденежена и лишена кредита. Подешевеют деньги, явятся оборотные средства, двинется промышленность, и внутренняя конкуренция не только не даст ценам повыситься, но и еще их понизит.

— Но хлеб все-таки вздорожает, а следовательно, поднимется и заработная плата?

— Очень немного. Я сравнивал колебания хлебных цен и заработных плат. Связь есть, но очень слабая. Мука колеблется от 50 копеек до 1 рубля 70 копеек за пуд, а заработная плата чуть прогрессирует. Наконец, если цены на хлеб или мясо поднимутся очень высоко, в ваших руках есть всегда средство их благоразумно понизить — это вывозные пошлины.

— Насколько я вас понимаю, весь ваш расчет основан на том, что рубль может упасть в цене на международном рынке и сохранить полную стоимость дома?

— Именно это, и больше ничего, и в этом я вижу единственный способ экономического возрождения России

XXV

— Это для меня теперь совершенно ясно. Но вот вопрос, который вы мне, пожалуйста, выясните. Чем больше, значит, понижается рубль, тем выгоднее для народного хозяйства. Увеличивается премия на вывозные продукты, сокращается

иностранный ввоз. Но где же граница этой выгоды? Ведь она должна же где-нибудь быть? Иначе надо было бы понижать курс рубля до копейки.

— Простите, Ваше превосходительство, я этот вопрос предвидел. Граница есть, и ее укажет практика. Позвольте мне выразить это положение в такой форме. Во-первых, внутренняя стоимость рубля, то есть его покупная и расплатная сила, должна быть по возможности постоянной. Это достижимо без всякого металла путем только правильного устройства внутреннего денежного обращения, то есть народного кредита и эмиссионной операции. Во-вторых, его международная стоимость должна сполна регулироваться государственной властью и строго отвечать потребностям страны в сношениях с внешним миром. В известный период вам нужно как можно полнее изолировать Россию — держите самый низкий курс. В другое время эта уединенность будет вредна — поднимайте курс до паритета с международными деньгами. Это дело народохозяйственной политики.

— Я не совсем вас понимаю.

— Ну вот, например, сейчас: Россия совершенно истощена. Всякий рубль, уходящий за границу, равняется выпускаемой из государства крови. Денег в обращении ничтожно мало. Народный труд парализован. Понижайте курс, изолируйте Россию от заграницы, развивайте народный труд, работайте на вывоз, ограничивайте ввоз, скопляйте национальные капиталы. Но затем проходит десять, двадцать лет. Россия поправилась, разбогатела. Долги заплачены. Русские капиталы в избытке и сами начинают искать внешних рынков. Уединение становится вредным. Снимайте все перегородки — и с Богом на мировую арену. Разница между внутренними и международными деньгами сама собой упраздняется. Эту мысль, по другому, правда, поводу, высказывал Мак-Кинлей в день своей смерти...

— Понял, понял. Другими словами, это экономика больного государства, желающего поправиться. Это ваши личные выводы?

— Да, если хотите. Это органическая часть русского учения о бумажных деньгах. Оно принадлежит не мне. Но и я здесь тоже несколько поработал.

— Ну-с, будемте продолжать. Итак, вы стоите за чистую бумажную валюту? А серебро? Что вы имеете против возврата на серебро? Не было бы это проще и легче?

— Я вам отвечу коротко. В настоящем положении России и при существующих ценах серебра наш обратный переход на серебряную валюту мог бы тоже довольно прилично решить вопрос о нашей денежной системе. При серебре мы могли бы иметь хорошие национальные деньги и на первое время даже в нужном количестве. Можно было бы свободно выпустить около двух миллиардов разменных на серебро билетов и на эти деньги организовать народный кредит, перевооружить армию, создать нужные крепости и железные дороги, выстроить флот. Но позвольте мне быть вполне откровенным. Витте напустил на нас панику перед бумажными деньгами. Если бы я разговаривал не с вами, я бы, разумеется из соображений тактики, не сказал ни слова о бумажных деньгах и рекомендовал бы простой переход на серебро. Практически этого совершенно достаточно. Но вы не человек толпы. Вы меня понимаете и мне более или менее доверяете. Вам я не побоюсь высказать всю мою мысль до конца. Так вот, ваше превосходительство, бросьте вопрос о серебре. Зачем вы хотите связывать свободный и свободно управляемый бумажный знак с металлом? Почему рубль должен изображать непременно 4 золотника 21 долю серебра?

— Но если вы откинете металлическое основание, что же тогда будет изображать рубль?

— Идеиную меру ценностей. Выраженный в цифрах акт посредничества Верховной Власти в сделках и расчетах поданных.

— Но где же тогда гарантия постоянства этого знака? А ведь постоянство — это самое важное условие денег.

— Да, разумеется. Но кто же вам сказал, что металл дает это постоянство? С 1873 года покупная способность золота возросла в $2\frac{1}{4}$ раза. Завтра Россия переходит на серебро и

нынешняя покупная способность этого металла начинает неудержимо расти. Остановить ее не в вашей власти. Наоборот, именно раскрепленный от металла денежный знак может быть идеально постоянным.

— Это страшно любопытное, но и черт знает какое рискованное положение! Да, всякий металл имеет свою внутреннюю ценность, и эта ценность меняется. Но каким образом может быть постоянным бумажный знак, ни на что не разменный?

Иванов встал. За ним встал и собеседник, и оба начали ходить по комнате. Соколов волновался.

— Прошу ваше превосходительство выслушать меня с полным вниманием. Здесь центр тяжести всей моей системы. Усвоите вы эту точку зрения, ваше дело сделано. Не усвоите и не одобрите, у нас обоих будут связаны руки. Мое дело будет парализовано на три четверти.

— Я вас слушаю, слушаю.

— Человек живет, окруженный атмосферой воздуха. Воздух состоит из нейтрального азота и активного кислорода. Состав атмосферы постоянный, и человек ее не замечает вовсе и о ней не думает. Попробуйте увеличить количество кислорода. Человек чувствует, что сгорание его тканей пошло быстрее, постоянство его жизненных условий нарушено. Попробуйте убавить — он начинает чувствовать стеснение, задыхаться. Деньги для общественного организма то же, что кислород для дыхания. При правильном денежном обращении, которое нераздельно с постоянством ценности денежного знака, деньги являются только орудием обмена и никакой самостоятельной роли не играют. Но вот заметно стеснение в деньгах. Деньги дорожают, промышленность это чувствует и начинает задыхаться. Обратное: количество денег растет, они дешевеют, и в промышленности является нездоровое возбуждение — дорожают товары. Деньги давят как своим недостатком, так и избытком, и вместе с тем в обоих случаях непременно изменяется их ценность, или покупная сила. Теперь ясно вам, когда денежный знак является постоянным? Это тогда, когда денег в народном обращении как раз столько, сколько в данную минуту нужно.

— А каким образом это определяется?

— Для этого определения точных способов нет, да оно и не нужно. Все это делается автоматически.

— Здесь мы пришли к самому важному возражению против бумажных денег. Это не мое возражение, а ходячее. Правительство может напечатать массу бумажных денег и перепутать всю экономику.

Соколов вспыхнул.

— Это одно из самых недобросовестных возражений, какое только можно себе представить. Это все равно, что возражение против постоянной армии. А вдруг правительство выставит на улицах военные отряды и начнет расстреливать прохожих!

— Значит, вы не допускаете возможности чрезмерных выпусков?

— Ваше превосходительство! Имейте терпение меня дослушать. Бумажные деньги — самое совершенное орудие государства. Возьмите армию. Во время войны войска бросают в сражение и сразу выводят из строя иногда десятки тысяч. В мирное время берегут солдата от лишней царапины. Так и бумажки. В военное время их приходится выпускать массами, как в Отечественную войну. Здесь, конечно, страдают все экономические отношения, но бумажки все-таки самый дешевый способ ведения войны для такого государства, как Россия. Это огромный налог на все капиталы и перенапряжение народного труда. В мирное время ни о каких неправильных выпусках бумажек не может быть речи, разумеется, если государство сколько-нибудь правомерное. Ведь печатать бумажки и раздавать их направо и налево — это, в сущности, то же самое, что делать фальшивые ассигнации. Эмиссионный банк должен и может быть так устроен, чтобы знаки выпускались автоматически, то есть чтобы деньги появлялись сами собой, когда они должны явиться, и, отработавши, исчезали опять же сами собой, с точностью до рубля. Никакому сомнению, никакому произволу здесь не может быть ни малейшего места.

— Вы не увлекаетесь вашей теорией? Такое автоматическое снабжение возможно? Как его осуществить?

— А вот потрудитесь оценить сами этот аппарат. Вообразите себе наш средний уезд. Денег обращается там крайне мало, кредита, можно сказать, никакого. Хозяйство самое хищническое, и ростовщики дерут по пять копеек в месяц и больше. Вот что вы делаете. Во-первых, в каждой волости открываете учреждение мелкого кредита, скажем, кредитное товарищество, кстати, это прекрасный тип. Это товарищество первое время работает на деньги, ссуженные Государственным Банком, ибо своих вкладов взять негде. Во-вторых, преобразовываете уездное казначейство в отделение Государственного Банка со всеми банковскими операциями. При нем учетные комитеты: от землевладельцев, от торговцев, от промышленников, от учреждений мелкого кредита. Кредиты открываются, разумеется, обдуманно и осторожно, но широко, так, чтобы ни один кредитоспособный не остался без удовлетворения. Казенные и земские суммы не выделяются и приходят только по счетам, единство кассы полное. Отделение выдает деньги и принимает вклады. Начинается работа. Сразу же оказывается, что денег в уездах обращается ничтожно мало и кассу отделения приходится «подкреплять». Центральный эмиссионный банк печатает свои знаки и посылает. Уезд всасывает их и работает. Но вот понемногу рядом с расходной кассой работает все сильнее и приходная. Возвращаются ссуды. Являются отработавшие свободные деньги, которые никто дома не держит, а вносит на вклад или на текущий счет, чтобы воспользоваться процентом, разумеется, если кредитное учреждение под боком, а не за сотни верст, как теперь. Наконец наступает момент, когда расход и приход денег в отделении уравниваются и новые знаки из банка не нужны. В уезде устанавливается свое правильное денежное обращение, и банку остается только определить, какой свободный резерв знаков должно держать отделение. Но это уже мелочь, подробность. Не все ли равно, сколько у меня в кладовой лежит неходячих денег в пачках? Вы понимаете, ваше превосходительство, что дело совсем не в количестве выпущенных денег, а в условиях их обращения, то есть вот в этих кредитных учреждениях и их надлежащей

организации. Скажите: если бумажки будут идти только этим путем в обращение, может быть вопрос о чрезмерном их выпуске? Может ли явиться малейшая надобность в каком-нибудь металлическом покрытии?

— Но могут быть злоупотребления кредитом...

— Так поставьте его правильно! Вот и все.

— У вас и это все разработано?

— Конечно.

Часы пробили четыре.

XXVI

— Нам придется прервать наш разговор до завтра, — сказал Иванов. — Поберегите меня, я совершенно изнемогаю. Никакое здоровье не выдержит такой работы, как моя в эти дни. Хуже всего, что от переутомления не могу спать. Завтра наша с вами беседа будет, надеюсь, окончена. Пожалуйста, набросайте на бумажке в самых кратких чертах те реформы, которые нужны в финансах. Мне нечего от вас скрывать: из нашего сегодняшнего разговора я убедился, что вы именно тот человек, которого я искал на пост министра финансов.

— На пост министра финансов? — удивленно спросил Соколов.

— Ну конечно. Почему вы так удивились?

— Потому что я шел к вам совсем не за этим. Этот пост не для меня.

— Вы боитесь не справиться?

— Моя работа — провести вам необходимые реформы. Для этого прежде всего нужна полная свобода и спокойствие. Министры же ваши засосаны по уши административной тиной.

— Ну тогда вас надо сделать товарищем министра.

— Зачем? Разве мне нельзя работать на свободе, имея дело только с вами?

— Да, если бы дело шло только о реформах. Но и здесь вы же один не справитесь. Вам будут нужны подготовительные работы, чиновники, канцелярия.

— Вы мне откроете кредит, и я возьму людей со стороны или выберу и укажу кое-кого из чиновников, и вы их мне откомандируете для работы.

— Ах, вы не знаете здешней техники. Так работать нельзя. И потом, кроме реформы, мне нужно ваше постоянное участие в текущих делах министерства. Я не могу больше переносить Коковцева ни минуты. Он корректен и мил необыкновенно, но его мыслительная машина совсем особенная и затем — это ученик Витте и центр интриги против меня.

— Я в вашем распоряжении, приказывайте. Но я буду очень ослаблен, если вы меня запряжете в административное дело. Наконец, я могу сам запутаться.

Иванов тронул Соколова за погон.

— С этой штукой не запутаетесь. Мы с вами люди военные.

— А мой чин?

— Государь этим стесняться не будет. Назначил же Он меня.

— Слушаю-с.

— Ну, идите с Богом и завтра приходите, обсудим вашу программу. Помните одно: окажись вы хоть гений, будь ваша программа чудо творчества, я не сделаю ни шага втемную. Надеетесь ли вы хорошо растолковать ваши положения в широких слоях? Согласятся ли с вашей программой земские собрания?

— А при чем тут земские собрания?

— А вот при чем. Впредь до созыва Земского Собора и устройства новых законодательных органов на основе областного деления России законодательные меры, не терпящие отлагательства, должны быть проводимы по-старому, через Государственный Совет. Но ни один законопроект не должен быть туда внесен иначе, как после обсуждения его на дворянских, земских и городских собраниях, а если нужно, то и в других собраниях, до волостных сходов включительно. Свод всех высказанных мнений даст фундамент закону достаточно надежный, и Государственному Совету останется только хорошо редактировать общий голос народа. Так вот, мой дорогой,

нужно, чтобы ваша идея была совершенно раскрыта и выяснена. Ее должны понять на любом уездном земском собрании. Вы сумеете это сделать?

— Надеюсь.

— Вы одобряете этот путь?

— Ваше превосходительство! Как же бы я мог его не одобрить? Ведь это единственный путь уважения к своему народу.

— Я рад, что вы меня сразу понимаете. Я заклятый враг всякого сочинительства, бюрократического или парламентарного. Итак, до завтра.

Соколов откланялся, а диктатор, совершенно измученный, бросился в постель и долго не мог заснуть. В тяжелом утреннем кошмаре над ним плавали корректные физиономии тайных и действительных тайных советников с улыбкой на устах и ядом на сердце. Иванов чувствовал, как глубоко расстроено им двухсотлетнее бюрократическое гнездо, как не простят ему эти корректные сановники посягательства на их владычество в стране. «Умякоша словеса их паче елєя и та суть стрелы». Этот текст вертелся в сознании Иванова и отгонял его сон. Проклятый Петербург!

XXVII

Прошла неделя со дня объявления диктатуры и назначения Иванова 16-го чрезвычайным Императорским уполномоченным. Какие мины ни подводила под ненавистного ей диктатора высшая петербургская бюрократия, доверие Государя Иванову было непоколебимо и опиралось на твердо поставленный диктатором девиз: «Никакого сочинительства — всякая реформа должна быть плодом всестороннего и всенародного обсуждения». Об этот принцип разбивались все интриги.

Но проводить идею в жизнь было нелегко. Это было формальное упразднение не только бюрократического самовластия, но и всей бюрократической касты. Правящий слой хорошо понимал, что в своей схеме обновления России Иванов не отводит бюрократии совсем никакого места, строя все

из земского и выборного начала. Отсюда интриги и самые непредвиденные препятствия на каждом шагу.

И тем не менее дело подвигалось. Злобствовала и бастовала чиновная рать, но из глубин народных и земских, так верил Иванов, должны были явиться и люди, и идеи. Очень важное и ценное — проект устройства основной государственной и земской ячейки — прихода, вполне разработанный, был уже у диктатора в руках. По финансам, составлявшим главную заботу Иванова, неожиданно явился именно тот человек, который как раз отвечал потребности, — Соколов. В министры земледелия был намечен знаменитый «дворянин Павлов», и его возвращения из-за границы ожидал диктатор. Но оставалось еще огромное дело — проведение областного деления России и устройство центральных государственных и областных земских органов, и здесь Иванову приходилось уже работать самому, почти без помощников, до такой степени идея областей и земской децентрализации была чужда и ненавистна бюрократии.

Зато им самим эта идея была усвоена вполне. Она, собственно, и выдвинула его к власти в тот момент, когда Государь, отрешившись от старого режима, испытал первое и горькое разочарование в своей конституционной попытке. Иванов перечитал все, что было в русской литературе по этому вопросу, и нашел идею областей даже у такого великого государственного централиста, как Император Николай I. Его самостоятельные генерал-губернаторства были в зачаточном виде теми же большими областями. Только бюрократия и здесь поспешила стать поперек дороги — свела на нет великую и плодотворную мысль.

Областная идея решала все жгучие и острые вопросы управления, вызвавшие политическую и социальную смуту и едва не погубившие Россию. Верховная Власть в лице Самодержца Царя получала необыкновенно прочное и широкое обоснование. Воплощенный представитель чистого государственного начала и национальной мощи, Государь освобождался от засасывающих мелочей управления, являлся свободным от всякого духовного насилия и обмана со стороны элементов, упорно расхищавших его власть. К сотрудничеству с ним

призывались лучшие силы страны в лице свободных и независимых земских работников, уже показавших себя на долгой работе в уездах и областях. Из этих людей без всякой бюрократической примеси составлялись высшие государственные учреждения в виде целого ряда советов, каждый из выдающихся специалистов, каждый из стойких и убежденных людей с незапятнанным и славным трудовым прошлым, способных не рабски исполнять выхваченные министрами Высочайшие повеления, но говорить Царю всю правду, беречь Его Самого от возможной ошибки и слабости человеческой. Окруженный системой постоянно обновляющихся и прочно поставленных государственных органов, совершенно не зараженных ни придворными, ни бюрократическими традициями, Государь мог сознательно и свободно исполнять свою священную задачу — выступать Верховным Судьей, последним Суперарбитром, живым Носителем национальной совести. Его личной инициативе не мешало ничто, но эта инициатива была всецело обеспечена от всяких нашептываний и влияний и осуществлялась в формах, совершенно исключавших всякую мысль о незакономерности и произволе. Самодержавную волю не связывало ничто, но путь ее осуществления был твердо предудказан, и царственная мысль переживала такую проверку, что заблудиться не могла. В рамках, рисовавшихся Иванову, одинаково умещались и гениально безудержный Петр, и душевно искалеченный Павел; живая совесть Помазанника и доверие Земли его советникам были теми основными конституционными устоями, на которых строилось новое здание русской государственности.

Но от идейной формулировки до фактического осуществления или даже точного определения, хотя бы в форме самых черновых законопроектов, расстояние было огромное. И над этой своей заветной и главной мыслью Иванов был осужден работать совершенно один, так как сотрудников по душе не находил никого.

А работа была поистине гигантская. Нужно было дать совершенно новое устройство уезду, принимая во внимание как условия центра, так и крайнее разнообразие окраин. Нуж-

но было дать организацию каждой из 18 областей, из которых должна была, по мысли Иванова, сложиться Россия. Каждая область, чтобы дать нечто живое и цельное, определенно «явить лицо свое», должна была получить своеобразное устройство по совершенно особому для каждой уставу. Никакой шаблон не мог иметь места, так как устраивать Литву, Малороссию, Центр, Поволжье, Кавказ или Сибирь приходилось не иначе, как считаясь со всеми особенностями каждого края и имея в виду особые условия его государственной связи с целым и подчинения Русской идее, русской национальной политике. И все это приходилось делать одновременно. До устройства областей нельзя было получить центральных органов, на основании областной схемы составленных. С другой стороны, утверждать и вводить областные уставы могли лишь центральные государственные установления нового типа. Старые для этого совершенно не годились. Получался замкнутый круг, из которого не виделось выхода даже путем Земского Собора.

Последнему могла быть предложена разве совершенно законченная и всей страной одобренная работа лишь на окончательное одобрение. Но как эту работу исполнить? Кем, какими силами, когда бюрократия о ней не хочет и слышать, а, наоборот, потому только и схватилась за парламентаризм и создала Государственную Думу, чтобы устроить новое торжество бюрократическому централизму?

И вот Иванов пришел к такого рода мысли: для предварительных соображений по выработке областных уставов созвать сначала в чисто русских областях земские совещания в намеченных областных центрах, преподав этим совещаниям только самые общие указания, но зато твердо очертив государственные пределы областных самоуправлений. Пусть сами земские люди коренной России разработают для себя и у себя свое домашнее устройство, а затем уже наступит очередь устраивать инородцев. В состав этих совещаний, кроме немногих лиц по вызову, должны были войти особо избранные местным дворянством, уездными земскими собраниями и городскими думами делегаты. Все работы этих областных

совещаний поступали на сверку и разработку в совещание центральное, и затем после сделанных исправлений проекты областных уставов рассылались на заключение соответственных уездных собраний с тем, чтобы вернуться для окончательной редакции в совещания областные. Исходящие отсюда готовые законопроекты областных уставов должны были быть представлены на одобрение Земского Собора.

Выбирая время между официальными приемами и множеством текших дел, усердно работал Иванов над этим вопросом, который он считал самым важным, самым основным всей своей реформаторской деятельности. «Главные основания» для работы выборных людей земской Руси были уже готовы. Белая петербургская ночь застала диктатора над проектом Высочайшего манифеста, возвещающего созыв первых десяти областных совещаний. Над сонной Невой торжественно плыли звуки часовых колоколов Петропавловской крепости, игравших полночь, когда курьер доложил о приходе Соколова.

XXVIII

— Послушайте, мой дорогой, — встретил Соколова диктатор, — по поводу вас вышел скандал. Я имел крупную неприятность с Коковцевым. Когда я ему сказал, что вас необходимо назначить его товарищем, он наговорил мне дерзостей и поставил меня в невозможность не принять его отставки. Я об этом доложил Государю и сказал, что кроме вас у меня никого нет, но что за вас я ручаюсь. Государь очень интересуется вами, и завтра вы должны представиться. Хотите или не хотите, а портфель за вами.

Соколов потер лоб рукой.

— Страшный хомут вы на меня надели. Боюсь, чтобы главная работа не пострадала.

— Успокойтесь. Я об этом думал. Проводить реформы в роли товарища при Коковцеве — дело безнадежное. Авторитет министра — великая вещь. Министра бояться и не посмеют так вставлять ему палки в колеса, как товарищу. А чтобы не от-

рывать от главного дела, вы лучше сами раздайте текущие дела товарищам. Не отказывайтесь только от *моих* работ. Мне ваше участие в Совете Министров будет очень важно: ведь мои работы теснейшим образом связаны с вашими.

Соколов качал головой:

— Страшно трудно будет. Возьмите хоть одну Кредитную канцелярию. Ведь это вертеп разбойничий. Или Государственный Банк! Они на всякого министра сомкнутым строем идут. А монополия? А Дворянский и Крестьянский банки? А Таможенный департамент? У меня холод по спине идет, когда я об этом только подумаю. Вы представьте себе только, какая разгорится ненависть ко мне с первого же дня!

— Полноте! Это вы только кажетесь таким смиренным...

— Да не в смирении дело, ваше превосходительство, а во времени. Времени на сутки отпущено только 24 часа.

— Ну, так или иначе, дело сделано.

— Но вы меня, наконец, совсем не знаете!

Но Соколов отбивался напрасно.

— Я вас уже знаю.

Иванов достал из кучи бумаг конверт и показал Соколову:

— Здесь вся ваша биография, а мое личное впечатление только усилило прекрасную аттестацию.

Капитан покраснел.

— А формальная сторона?

— Пока — «с производством в полковники»... Итак, завтра к Царю, а теперь за дело. Ваша программа?

— Со мной.

— Докладывайте последовательно. Приблизительно то же вам завтра придется докладывать и в Петергофе.

Извольте слушать.

Соколов вынул из кармана листок бумаги, положил перед собой и начал:

— Наше финансовое преобразование должно распадаться на три части:

1. Переустройство денежной системы.

2. Переустройство государственного хозяйства.

3. Переустройство органов хозяйственного управления.

— Постановка широкая и правильная, — заметил Иванов. — Продолжайте.

— Денежная система может быть переустроена в двух направлениях в зависимости от того, насколько широко будет поставлена задача. Можно, во-первых, восстановить серебро и нашу старую денежную систему и, во-вторых, перейти к чистым бумажным деньгам.

— За какой способ стоите вы? Помнится, за второй?

— Ваше превосходительство, финансы — это математика. Вы задаете определенную задачу, финансист ее решает. Ваша задача какая? Расширить денежное обращение? Создать широкий народный кредит? Найти в распоряжении правительства два миллиарда рублей? Это достижимо одинаково и при бумажках, и при серебряной валюте. Я лично стою за бумажку как за аппарат, неизмеримо более совершенный. Но здесь возражение — новизна дела. Серебро, наоборот, является системой испытанной. Выбор зависит от руководителя политики, ему виднее.

— Хорошо. Для перехода на серебро что вы делаете?

— Выделяю из общего золотого запаса примерно 600 или 700 миллионов в неприкосновенный военный фонд. Остальное золото обращаю на осторожную покупку серебряного запаса в 400 миллионов рублей, что даст возможность выпуска по норме Императора Николая I 2 400 000 кредитных билетов. Свободную чеканку серебра не восстанавливаю сразу, ибо это был бы крах, а прекращаю золотой размен и начинаю понижать курс с тем, чтобы довести его до паритета с серебром год в два. Устанавливаю двойственный бюджет — золотой для расчетов международных и серебряный — для внутренних. Сливаю воедино Государственный Банк, сберегательные кассы и банки: Дворянский и Крестьянский. Организую уездные казначейства в отделения Государственного Банка и устраиваю полную сеть мелких кредитных учреждений. Казенные суммы провожу только по счетам.

— А по государственному долгу?

— Требую к заштемпелеванию всю находящуюся за пределами России ренту, сохраняя только за ней право на платеж процентов золотом. Внутреннюю ренту конвертирую во вкладные билеты без курса и перевозжу ее на серебро. Разумеется, некоторая часть ускользнет за границу, но это можно сократить до минимума. По этой внутренней части ренты государство сразу освобождается от платежа процентов. А ведь этой ренты около миллиарда. Вот вам ежегодное сбережение в 40 миллионов.

— Я эту операцию не совсем улавливаю. Как это казна освободится от процентов?

— Очень просто. Сейчас рента около 71. Я выпускаю миллиард кредитных рублей и выкупаю всю внутреннюю ренту. Ваш капитал, положим, помещен в ренте. Но вы не хотите получить наличные деньги. Я передаю их на вклад в Государственный Банк и вручаю вам вкладные билеты, приносящие те же 4 процента, но разменные по предъявлении. Вы только выиграли, ибо ваша бумага стала 100. Банк же получит миллиард рублей оборотных средств, которые через свои отделения и мелкие кредитные учреждения пустит в обращение из 4,5 процента. Очевидно, платить по вкладам будет уже не государство, а те клиенты, которые будут пользоваться деньгами. Вашему превосходительству это ясно?

— Как нельзя более. Это возврат к Канкриновской системе?

— Вернее, личной системе Николая I. Да, я возвращаюсь только к ней, разумеется, в идее, а не в подробностях.

— Ну-с, а при системе чисто бумажной?

— Будет то же самое, только я не буду связан посторонней силой — собственной стоимостью серебра — и могу действовать гораздо свободнее и планомернее. Я не буду ждать никаких сроков, свободная чеканка серебра будет не нужна, фонд тоже. Я просто буду держать курс рубля на том уровне, какой нужен для народного хозяйства.

— Ясно. Но для этого нужна монополия по продаже и покупке драгоценных металлов?

— Да, Государственный Банк иначе курсами управлять не может. Тратты покупать и продавать должен только он. Впрочем, при этой системе никто больше этим заниматься и не будет. Фондовая биржа исчезнет.

— Так что игру на курсе вы совершенно исключаете?

— Ее нельзя будет вести. Государственный Банк раздавит всякого спекулянта, и здешнего, и заграничного.

XXIX

— Ладно. Переходим к следующему вопросу. Второй вопрос — государственное хозяйство. Я считаю с вашей областной системой и начинаю с того, что всякое прямое обложение государство передает земству. Источники государственных доходов — косвенные налоги и государственное имущество: леса, земли, ископаемые; затем железные дороги, казенные заводы, кредитные учреждения, монополии: табачная, нефтяная, платиновая, быть может, марганцевая и элеваторная. Я надеюсь сделать это имущество высоко доходным, установить лишь тот принцип, что казна дает средства и контролирует. Управление же делом поручается областным самоуправлением, или устанавливается аренда. Разумеется, элеваторы и железные дороги должны быть централизованы, но здесь есть приемы управления, безусловно гарантирующие доходность.

— Ну-с, а водка?

— Водку прочь.

— А доход от монополии и акциза?

— Я возьму его всеобщим государственным страхованием.

— Я об этой идее слышал. Она ваша?

— Нет, это мысль покойного А.Д. Пазухина. Я только ее разработал.

— Напомните мне в двух словах.

— Извольте. Государство привлекает к обязательному страхованию все: строения от пожара, поля от града, скот от

эпизоотий, суда и товары в пути и т. д. Страхует пенсию на старость, помощь в несчастных случаях, пособие при совершеннолети, приданое при замужестве. Минимум — обязательно, дальше добровольно. При полутора ста миллионах населения, огромном пространстве и крупнейших цифрах рисков, а главное, при очень простой организации — величина премии будет ничтожна. Разложите на эту необъятную массу клиентов и имуществ налоги в 500—600 миллионов — вы получите такую картину: те же деньги и с того же населения будут взяты не за отраву, а за бесценные и бескорыстные услуги государства.

— А с водкой как?

— Предоставьте областям. Хотят — пусть запрещают совсем, как те штаты, где *temperance*, или пусть пьют пиво и виноградное вино. Хотят — пусть вводят Готеборгскую систему и вытрезвляют публику иначе. На месте виднее.

— Помните, что все ваши предложения, вся ваша программа государственного хозяйства должна быть обсуждена и одобрена на местах.

— Я за нее боялся бы в Петербурге, но не в провинции. Там здравый смысл еще есть, и меня хорошо поймут.

— Ну, помогай вам Бог. Теперь последнее: организация дела.

— Во-первых, из состава Министерства финансов должен быть выделен Государственный Банк. К нему, как я уже говорил, должны быть присоединены Дворянский и Крестьянский банки, которые составят его ипотечный и культурный отделы, и сберегательные кассы. Здесь же должен быть Монетный двор и, может быть, Экспедиция заготовления государственных бумаг. Затем тарифные учреждения и Горный департамент вместе с управлением казенных лесов, управлениями новых монополий, почтами и телеграфами должны быть слиты в одно ведомство государственных предприятий. Несмотря на разнообразие этих отраслей, их общая черта — хозяйственный, а не чиновничий способ ведения дела.

— Что же должно остаться собственно за Министерством финансов?

— Распоряжение государственными средствами, государственная приходная и расходная касса, то есть Департамент неокладных сборов, Таможенный департамент, Департамент Государственного Казначейства и Комиссия погашения долгов. И этого слишком достаточно, чтобы человек едва мог справиться и охватить всю машину.

— Совершенно правильно. Теперь последний вопрос: земское участие в финансовом управлении?

— Очень просто. Области посылают своих специальных выборных в соответственные советы. Таким образом составляется совет Государственного Банка, Совет государственных предприятий, Финансовый Совет у меня. Это для управления. А для экономического законодательства составьте из представителей областей выборный Народохозяйственный Совет, параллельный Государственному Совету по вашей схеме. Нужно только строго соблюдать правило, чтобы в эти советы попадали люди с соответственным служебным цензом, а не «ораторы» и не присяжные поверенные.

Иванов встал с места.

— Ну-с, мой дорогой, ваш экзамен вы выдержали блестяще. Завтра... то есть, виноват, сегодня, к Государю, Он вас выслушает, благословит — и за дело! Первая ваша работа будет обстоятельное, деловое, скромное и вместе с тем блестящее изложение вашей программы, которое мы разошлем по земствам и городам. Можете сказать трогательную речь на приеме ваших подчиненных. Эта речь должна выделить и одушевить лучших и дать вам преданных сотрудников. А теперь с Богом, мой дорогой. Дайте я вас обниму.

Через день в «Правительственном вестнике» появился Высочайший приказ о назначении капитана Соколова 18-го министром финансов с производством в полковники. У экономического руля стала наконец молодая сила, и русское государственное хозяйство должно было тронуться по новой дороге.

У ОЧАГА ХИЩЕНИЙ

Политическая фантазия.

Продолжение «Диктатора»

XXX

Диктатор работал не покладая рук. В лице новоназначенного полковника Соколова он видел свою правую руку по обновлению России и притом в самом главном, в финансах. Заботы о поднятии земледелия, о широкой организации переселенческого дела и о правильном движении крестьянского вопроса вообще он предполагал возложить на Н.А. Павлова, человека широких государственных взглядов, тонкого знатока крестьянского быта и хозяина-практика. «Дворянина» Павлова диктатор знал с ранней юности; они были связаны тесной дружбой, и хотя их жизненные дороги разошлись, но глубокое доверие друг к другу и искренняя приязнь остались. Они были на «ты».

Но Павлов уже несколько месяцев был за границей, не оставив даже своего адреса, так что Иванов был лишен возможности ему писать или телеграфировать. Он наводил справки и узнал, что вскоре после покушения на его жизнь, убедившись в невозможности оставаться в деревне и вести хозяйство, Павлов ликвидировал свои Аткарские имения, захандрил и уехал за границу лечиться. Темные слухи прибавляли сюда роман, подстерегающий незримо каждого русского талантливое человека.

Появление Павлова в Петербурге было такой же неожиданностью, как и его отъезд. Он появился в «диктаторской половине» Зимнего Дворца и застал генерал-адъютанта Ива-

нова только что возвратившимся из Петергофа. Старые друзья сердечно обнялись.

— Я тебя заждался, Николай.

— Ну вот, на, бери меня, запрягай, куда хочешь, но только я боюсь, что мы с тобой, Миша, никуда не доедем. Ну какой ты диктатор, позволь тебя спросить? Ты шут гороховый, прости меня за откровенность, кстати же, нас никто не слышит. Ты, пожалуйста, не морщись! Работа работой: что прикажешь, то свято исполню, а теперь ты мне ответь: какой ты диктатор? Кого ты расстрелял? Кого разогнал?

— Что за кровожадность! Позволь тебя спросить, кого это и почему я должен расстреливать?

— Нежная душа! Россия представляет оподлевшее и озверевшее царство. Бомбы делают чуть не в каждом доме. Грабят, насилуют, убивают за три копейки. Понятие о собственности, о законе, о безопасности совершенно исчезло. Народ развратился, пропил Бога, растоптал стыд и совесть и обратился в коллективного великого хулигана. Неужели же ты не понимаешь, что повесить, расстрелять в один день шесть тысяч наиболее закоренелых убийц, злодеев или вожаков этой вашей поганой революции значит произвести нравственное воздействие, нагнать спасительного страха, вызвать психологический поворот? Ведь ты-то понимаешь, надеюсь, что вся честная, порядочная, работающая Россия тебя за это не осудила бы, а поблагодарила от души? А ты разыгрываешь Манилова! Ты говоришь красивые речи, а с людей снимают шкуры и бьют и калечат их, как скотину... Ты что, вероятно, крови не выносишь, падаешь в обморок?

Иванов улыбался, а Павлов впадал все в больший пафос.

— Ты кончил? — перебил диктатор.

— Нет еще, и ты меня дослушаешь до конца, а потом будешь говорить. Дальше. Государь передал тебе почти всю Свою власть. Ты Его «верховный» уполномоченный. Что же ты сделал? Закрыл Думу? Ну еще бы! Это догадались бы и Столыпин, и Горемыкин. А ты дал удовлетворение народной правде, народной тоске, народному справедливому презрению к Пе-

тербургу? Ты выслал из Петербурга в первый же день 122 тайных советника и 435 действительных статских по тому списку, который у тебя был в руках? Ты предал военно-полевому суду 57 главных воров, ты отдал под обыкновенный суд 787 воров второго разряда? Ты пригласил тотчас же весь новый правительственный персонал? Может быть, это были бы люди менее знающие, менее опытные, важно то, что это были бы люди новые, чтобы старым этим гнильем и не пахло? Вместо этого ты что делал? Ты оставил Столыпина премьером, ты излагал тоном только что выпущенной институтки свою программу... кому? Шванебахам, Щегловитовым, Коковцевым, ты от них ждал содействия и работы! Ты вызывал Милюкова и чуть ли не устраивал кадетское министерство. Только Бог да ихняя глупость спасли от такого идиотства!

— Ты кончил? — еще раз, но уже более нетерпеливо перебил диктатор. Но Павлов не слушал.

— Удивляюсь, как ты не вызвал к себе Максимова, графа Ивана Ивановича Толстого или Саблера. Как ты не поинтересовался поговорить о политике с Зурабовым или Алексинским? Затем, для какого черта ты лезешь под бомбы, для чего выезжаешь? Разве ты не знаешь, что за тобой прямо охотятся? Кому нужна твоя смелость? Ты понимаешь, что вот это твоё бесстрашие и бравирование есть прямое преступление перед Родиной, потому что убей они тебя, заменить будет нечем!

— Ты кончил наконец?

— Ну, положим, кончил. Надо тебя послушать.

— Так вот, слушай. Крови я не боюсь и в обморок не падаю. Когда нужно, пусть расстреливают или вешают, я в это время буду спокойно курить папиросу. Но дело-то в том, что вешать и расстреливать нет ни смысла, ни нравственного права. Кто *их* такими сделал, каковы они сейчас? Кто развратил Россию, кто отупил и затем озверил молодежь? Режим. Так какое же право имеет этот же самый режим расстреливать? Ведь правительство вчера еще ползало перед революцией?

— Да ты-то, мой милый, *этот*, старый режим представляешь? Твое правительство и вчерашнее — это одно и то же?

Да, впрочем, конечно, одно и то же, потому что ты всех их оставил. Ну тогда, разумеется, и продолжай миндальничать и распускать нюни...

Диктатор вспыхнул.

— Слушай, Николай, ты от меня требуешь крови? Ты хочешь, чтобы я Петербург устали виселицами или начал всех расстреливать? Идет! Начинаю с завтрашнего дня. И знаешь, кого первого я расстреляю?

— Ну?

— Тебя.

Павлов изумленно взглянул на диктатора.

— Да, тебя! И ты знаешь за что! Где ты был эти пять месяцев? Родина истекает кровью, люди твоего закала и твоей цены на счету, а ты дезертировал? Что ты делал за границей? Ты можешь ответить на этот вопрос, когда я предам тебя военно-полевому суду? А ведь к тебе-то, мой милый, требования я предъявляю немножко не те, что к здешним тайным советникам? Говори же.

— Пожалуйста, личную жизнь оставь в покое.

— Личную жизнь? Ну конечно, теперь личная жизнь! Да мы-то с тобой разве имеем на нее право? Для нас это дезертирство, а за дезертирство *face au mur!*

XXXI

— Так-то, мой милый Николай Алексеевич. Надеюсь, на этом вопрос о расстрелах и виселицах будет между нами покончен. Ты забыл мой взгляд на смертную казнь. Вооруженное восстание или бунтующая толпа: стреляй пачками или ставь пулемет и жарь. Захватил на месте преступления бомбовщика, поджигателя или экспроприатора, и тут же его на фонарь или на березу. Это и справедливо, и энергично, и психологически благотворно. Но уже через час, не только через сутки, казнь есть преступление и мерзость. Это отвратительное холодное убийство по суду, только развращающее и зрителей, и исполнителей. Недаром в России почти нельзя достать палача. Вот

тебе мой ответ на первую половину. Вторая половина твоей филиппики показывает только то, что твои государственные взгляды и приемы чересчур мелки, мой милый. Я, Николай, не хуже тебя знаю, что такое Петербург. Знаю, что гнать в три шеи здесь надо всех, и худых, и хороших, потому что по здешней бюрократической этике самый лучший не постеснится в любой момент провалить важнейшее государственное дело, выкрасть себе любое добавочное содержание, аренду, командировку, синекуру брату любовницы; самый благородный промолчит, вернее, прикроет любую пакость, обманет Царя, войдет в подлейший компромисс, оправдает всякую наглую плутню. Самый лучший! Про худших, следовательно, нет и речи. Но, душа моя! Я принял паровоз на ходу. Я не могу остановиться среди поля менять трубы, которые все текут. Надо как-нибудь дотащиться до станции.

— Не трубы текут, а в твоём паровозе паров нет, голубчик, — отозвался Павлов. — Твоя машина едва ползет и того и гляди станет среди поля, до станции тебе не доехать. Чтобы доехать, нужно вот этот поганый, гнилой и ржавый паровоз отцепить и бросить под откос, а вызвать новый, вспомогательный.

— Откуда, где он? Неужели ты думаешь, что можно серьезно разогнать здешнюю бюрократию и насаждать новых людей, ну хоть из земства или дворянства? Да ты, во-первых, не сыщешь сразу и половины нужного персонала, потому что все лучшее уже отобрано и помещено. В провинции остается только завал, все мало-мальски грамотное давно убежало к казенному пирогу. Попробуй, набери новых: получится чепуха невероятная, и затем эти новые тотчас же примут все мерзкие приемы нынешних. Душа моя! Не забудь, что и дворянство, и земство почти так же развращены, как и бюрократия. Но эта хоть дело знает, работать может, а те только болтуны и политики.

— Выбирай отдельных людей. Двигай военных.

— Я и выбираю. Вот я познакомлю тебя с новым министром финансов Соколовым — пальчики оближешь. Затем ты

иди, бери земледелие. Самое лучшее ведомство, чтобы применить твою теорию разгона. Сделай милость, мешать не буду.

— Будь покоен, вычищу. Я не Ермолов.

— Чисти, чисти. Только имей в виду, что рамки еще важнее. В этих рамках оподлеют и наилучшие, и наоборот: огромная часть самых негодных, по-видимому, людей, которых ты собираешься разогнать или даже расстрелять, могли бы при ином государственном строе оказаться дельными работниками.

— Знаю, знаю! Это твоя областная система? Ты все еще носишься с этой утопией?

— А ты все держишься за губернию?

— Да, да, за губернию и дальше ни шагу! Послушай, Миша, твои области не только ошибка, это преступление. Что ты хочешь — разделить Россию? Создать чухонскую, польскую, киргизскую, грузинскую, армянскую автономию? Растворить русский народ в массе всякого инородческого сброда? Неужели ты можешь взять на свою совесть это ужасное дело? Ведь это же прямое разложение и гибель России.

— Николай, выслушай меня и будь свободен и беспристрастен. Я отлично понимаю, что ты мне не сотрудник, раз ты не разделяешь моей главной и основной мысли. Значит, я тебя должен убедить или мы пожмем друг другу руки и разойдемся. Выслушай же меня.

Диктатор был взволнован. Павлов сел к столу и приготовился слушать.

— Хорошо. Я буду не только беспристрастен, но постараюсь взглянуть на мое губернское деление как на предрассудок. Но мою критику и здравый смысл ты не обманешь и не подкупишь. Кроме правды я тебе не скажу ничего. Говори, я слушаю.

— Спасибо тебе. Итак! Ты, конечно, стоишь за восстановление во всей полноте царского Самодержавия? Да?

— Ну разумеется.

— Ну так знай, что Самодержавие и бюрократия, то есть министерства и губернское деление, несовместимы.

— Почему?

— Да потому, что у Царя нет и не будет ни никакой возможности, ни времени иметь дело с каждой из 70 губерний. Между ними и Царем должен стать непременно посредник — министр внутренних дел. Министр и вокруг него система департаментов и канцелярий, то есть та самая бюрократия, которую мы имеем сейчас и которую ты рекомендуешь расстрелять. Нет такой реформы, которая губернию могла бы непосредственно приблизить к Царю, создать в ней управление без передатчиков. Как ни ставь губернское земство, бюрократия его всегда оседлает. С другой стороны, губернатору ты тоже не можешь дать самостоятельного положения — эта должность слишком мелка. Губернатор будет фактически всегда только приказчик министра внутренних дел, то есть всей той канцелярской с... — это выражение Юрия Самарина! — которая его окружает и вертит и им, и Россией. Дальше. Что такое губерния сама по себе? Французский департамент в огромных размерах. Орудие централизации, обезличения, орудие подчинения местной жизни бюрократическому режиму. Если тебе этот режим дорог, держись за губернию и мирись со всеми последствиями, но если ты хочешь здорового развития самоуправления, то к черту с губерниями!

— Ну-с, а область? В чем ее преимущества?

— Неужели тебе не ясно? У меня Россия складывается из 18 областей. В каждую Царь назначает наместника и, конечно, 18 человек легко может лично назначить, без всякого посредничества и представления. И не только назначить, но и через них поддерживать с областью живую связь. Область стоит непосредственно перед Царем как крупный живой организм: с одной стороны — наместник или генерал-губернатор во главе местного правительства, с другой — очень самостоятельное областное земство. Царь здесь правит лично, являясь между ними живым Суперарбитром, Верховным Судьей. Бюрократии места нет. Бюрократия будет, но далеко внизу, под наместником, взнузданная местным земством. Обмана и насилия над Царской волей и судом никакого не будет и быть

не может. Далее. Я утверждаю, что только при областях возможно строго нормальное разграничение местного земского и общегосударственного дела. А это разграничение нужно, как солнечный свет, как воздух. Россия задыхается от того, что все сосредоточено в Петербурге. От этого же правительство не может править и в канцеляриях плодится всякий гад. Оставь за Царем и центральным правительством только их подлинные дела да контроль. Этого и без того окажется так много, что едва можно будет справиться. Ведь Россия занимает шестую часть суши! Нужно не о том думать, чтобы оставлять за правительством больше дела, а о том, чтобы как можно больше сдать областям, где все интересы понятны, где они однородны и близки. Царю и центральному правительству надо освободиться от очень многого, совершенно забыть о так называемом внутреннем управлении, о просвещении, о благочинии, о земледелии, о промышленности и всякого роде местном хозяйстве и делах. Все это нужно сдать и думать только о России как о целом. Скажи же мне, Николай, неужели все это можно поручать губерниям? Это явная бессмыслица. Губерния слишком слаба, и затем, посмотри, какая выйдет чепуха и пестрота. Возьми, например, группу губерний Московского промышленного района или черноземное Поволжье. Интересы первой чисто промышленные, второй — земледельческие. Выхода никакого иного нет. Вся группа может твердо поставить и повести промышленную политику своего района или охватить земледельческие интересы Поволжья. Но что могут сделать губернии порознь? Их земства должны или действовать каждое по-своему, вразброд, или работать солидарно, то есть съезжаться на съезды. Губернаторы однородных районов тоже. Ну, для них ты, положим, откроешь порайонные отделы при разных министерствах. Чувствуешь ты, как областное объединение само напрашивается? Областной съезд губернских земств — да обрати его просто в областное земское собрание: тогда тебе губернские собрания будут вовсе не нужны. Порайонные отделы отправь на места, в областные центры. Тогда у тебя

в каждой области окажется свое министерство земледелия, свое министерство промышленности, просвещения. Губернаторы станут излишними, а вместо них явится областной министр своего ведомства и вокруг него съезды не губернских земств, а специальных делегатов от уездов.

— Ну вот тебе и автономия готова. Раздели еще армию, и тогда Москва со своими промышленными интересами может объявить войну Саратову или Тамбову.

XXXII

— Послушай, Коля, это же недобросовестно! В тебе, свободном человеке и земском деятеле, сидит старый бюрократ и, кроме того, злец. Причем тут автономия? Неужели ты не можешь сообразить, что государственная связь мной не только не нарушается, но страшно укрепляется? Взгляни только, что отдается областям и что остается за государством. Во-первых, Верховная Власть и законодательство. Положение Царя и Его власть усилены чрезвычайно, потому что Царь освобожден от опеки бюрократии, от всяких подлогов и обманов и Его воля проявляется прямо, а не через мертвый аппарат. Вся полнота Его Самодержавия при нем, и это будет настоящее Самодержавие, сознательное и свободное. Законодательство даст связь очень прочную, а так как все мелочи перейдут к областям и законы будут издаваться только общие и крупные и вырабатываться не чиновниками и не парламентскими болтунами, а лучшими силами областей, то уже одно законодательство выкует стальную связь государства. Дальше. Вся военная сила в единых руках Царя. Суд весь царский. Финансы, денежная система и публичный кредит в руках государства. Железные дороги, монополии, почты и телеграфы и множество разнообразных государственных предприятий тоже остаются за государством. Полиция, правда, областная, но она в руках наместников, людей непосредственно Царем уполномоченных. А контроль? Я иду очень далеко и ввожу государственный контроль вплоть до уезда. Всякая областная,

уездная и приходская копейка будет подлежать не местной, а государственной проверке, и эта ревизия будет беспощадна. Это ли ослабление государства? Этой ли связи недостаточно? Ответ мне, что у меня, собственно, ослаблено? Откуда может явиться сепаратизм? Говори же.

— Видишь ли, я терпеливо тебя слушал. Говоришь ты удивительно хорошо. Но я все-таки думаю, что ты мне стараешься втереть очки. Ты совершенно не касаешься вопроса о том, кому ты передаешь самоуправление и в чьих руках может очутиться администрация твоих областей. Да, пока ты говоришь о Севере, о центральном промышленном районе, о среднем Поволжье, о черноземном Центре и, пожалуй, русских степях, я готов согласиться, что областное устройство имеет некоторые преимущества. Но окраины? Польша? Финляндия, Малороссия? Западный край? А татарский восток? А кавказский винегрет? А прибалтийские немцы со всякими эстами и латышами?

— Да кто же тебе сказал, что я хочу устраивать области по одному шаблону? Иностранческий вопрос очень серьезный, и будь покоен, что ни в одной области власть не попадет в дурные руки. Но об иностранных областях нельзя говорить вообще, а можно только о каждой в отдельности, ибо сходства между ними никакого нет.

— Хорошо, хорошо. Ну вот тебе на первый раз Финляндия. Там что должно быть, по-твоему?

— Точное исполнение Императорского слова. В Финляндии русский Царь обещал заменить собой конституционного шведского короля. Это слово несокрушимо и составляет основание финского автономного права. Выгодно это или невыгодно для России, вопрос особый, но слово Царское свято. Поэтому Финляндия не в счет остальных областей и пользуется действительной *государственной* автономией, которая должна быть точнейшим образом формулирована и закреплена как конституция, пока ее финны не нарушат или не пожелают изменить. Но это длинный разговор.

— Значит, ты за финляндскую конституцию?

— Да, именно потому, что я сторонник Самодержавия. Если допустим принцип, что русский Царь, связав себя и наследников своих торжественным обещанием, может без всякого повода в одно прекрасное утро свое слово нарушить и счесть себя от обещания свободным, Самодержавия нет, а будет восточная деспотия.

— Но если он не имел права этого делать?

— В России — да! Но русский Самодержец включал в Империю новую чужую область и считал государственным интересом дать тому, чужому народу, известные обещания. На это его самодержавства было так же достаточно, как на объявление войны, заключение мира, на подписание любого договора. На таких же основаниях могли бы присоединиться к государственному организму России Сербия, Болгария, славянские части Австрии. Но оставь, пожалуйста, Финляндию и говори о других областях.

— Ну-с, вот Польша. Я твое полонофильство знаю.

— Не полонофильство, а славянофильство. Поляки в славянстве занимают по численности второе место, по патриотизму, сплоченности и культурности первое. Если тебе угодно держаться немецких завоевательных теорий, то, конечно, поляки — покоренный народ и баста! Вся задача — их обрусить, то есть переварить в государственном организме. На это я скажу, мой милый, что эта задача не только гнусная и безнравственная, но и заведомо неосуществимая; это бессмысленная порча русского желудка. Другая точка зрения — славянская. Здесь надо признать, что ни о каком покоренном народе не может быть речи, а что и поляки, и мы совершенно одинаковые и равноправные члены будущего Славянского союза. Готовы ли на это поляки, желают ли они честно идти с нами рука об руку, быть друзьями, а не врагами? Я думаю, что готовы, но что вернее всего их об этом спросить самих. И если они ответят «да», то в этом ответе вся программа и для них, и для нас. Тогда коренная Польша должна быть рассматриваема как польская часть союза, совершенно такая же, как мы, русская часть, то есть с теми же правами и обязанно-

стями. Это значит, что у себя, внутри своей этнографической черты, поляки должны быть полными хозяевами, а в государственном организме — сохозяевами.

— Сохозяевами? Это что же, какая-то Австро-Венгрия, Полоно-Россия?

— Успокойся. Это сохозяйство при областной системе будет не только не страшно нам, но очень полезно. Сообрази: ведь поляки составят одну область против чисто русских двенадцати и пяти инородческих. Следовательно, их голос никогда русского большинства в союзе не перевесит.

— Ну-с, а в Западном крае?

— В Западном крае у меня две области: на юге Малороссия с Киевом, на севере Литва и Белоруссия с Вильной. И там, и здесь поляки являются незначительным меньшинством. Пойдет свободная культурная борьба, где полякам ни о какой наступательной роли не придется и думать, а только отстаивать свои позиции. Да, наконец, со славянской точки зрения, какое дело государству до этой борьбы?

— Дай им свободу, поляки эти обе твои области живо обрабатывают.

— Не думаю. В Киеве их оттеснили без всякой помощи правительства. Хохлы не дадут себя ополячить. В Белоруссии будет то же самое, раз казенная опека исчезнет. Будь ты земцем, Христа ради, и предоставь людям бороться и устраиваться, как сами знают. Что это за проклятая ваша опека!

— Позволь, пожалуйста! Вообрази, что свое Северо-Западное областное собрание подберется такое, что объявит у себя польский язык официальным...

— Я скажу: на здоровье! И буду рассуждать так: если все литовское, великорусское и белорусское население этого края в лице большинства уездных земских собраний и городских дум с этим примирится и протеста не заявит, значит, русское национальное дело там пропало, никаких русских элементов больше нет и никакой полиции их не создать. Но ведь это же вздор! Ведь если подобный анекдот случится, то начнутся такие протесты со всех сторон, что всю затею вышибут сразу.

Пусть только власть не мешает и даст полную свободу. Тогда русское чувство само поднимется и себя отстоит. А начини только покровительствовать, возьми русские элементы под опеку — полная полонизация края неизбежна. Холмщина — живой пример. Без казенной опеки боролись сотни лет, взяли в опеку — все убежали в поляки и католики. Я, например, с полнейшим равнодушием отношусь к так называемому украинфильству. Это продукт ненависти хохлов к нашей бюрократии — и только. Закончи эту гнусную систему централизации и опеки. Да неужели же кому-нибудь в голову придет отречься от русской культуры и начинать культуру малороссийскую? В этом нет никакого смысла, потому что малороссийский язык есть только жаргон и опоздал на тысячу лет. Есть русская культура и польская, есть русский и польский языки и есть «грае грае воропае» и малороссийский театр с ужасно однотонным репертуаром. Дай свободу — и все отлично станет на свое место. Ни один образованный хохол не станет ни говорить, ни писать по малороссийски. А захочет ради курьеза — сделай одолжение! Надоест и бросит.

— Ну а как насчет киргиз и прочего? Это тоже сохозяева?

— Брось, пожалуйста, этот тон. Я очень люблю милейших татар, но ты же понимаешь, что их роль в *славянском* и христианском государстве не может быть ни главной, ни одинаковой со славянами. Их будущее — воспринять русскую культуру, и государство должно этому всеми мерами помочь. Или прячясь в деревню, сажай хлопок, ешь конину, торгуй мылом.

— Значит, мусульманским инородцам политической роли ты не даешь никакой?

— Ну разумеется. В областях с татарами хозяевами должны быть русские и те из мусульман, которые стали чисто русскими по культуре. У нас даже генералы есть магометане. Но разве же это татары? Я думаю, что они свою татарщину совершенно позабыли.

— Конечно, так же смотришь ты и на всяких эстов, латышей, жмуудинов и т. д.

— Совершенно. Все это этнографический материал и только. Возьми, например, Кавказ. Разве там самой силой вещей не устанавливается русская культура и русское господство? И заметь, господство, никого не угнетающее и никому не мешающее!

— Погоди, еще остались балтийские немцы.

— Этот вопрос решается историческими отношениями немцев к славянам. Это культура нам враждебная и вместе с тем с огромными претензиями. Придется бороться, тем более что сзади балтов национальная Германия. По правде говоря, немецкий вопрос у нас, как и еврейский, является очень трудным. Тут не так просто разобраться.

XXXIII

Разговор был прерван адъютантом, доложившим о приезде министра финансов, который спешно вошел вслед за докладом.

С первого взгляда на молодого полковника Иванов мог заметить, что случилось нечто необычайное. Соколов был очень взволнован; он почти бессознательно пожал руку Павлова, с которым его познакомил диктатор, и бросился в кресло, тяжело дыша.

Иванов участливо спросил:

— Что с вами, мой хороший? На вас лица нет.

Соколов помолчал несколько секунд и, как бы выдавливая из себя слова, произнес:

— Зачем вы меня... назначили? Здесь управлять нельзя... Здесь не управлять надо, а взять взвод пехоты... или лучше... поставить хороший пулемет и... расстреливать всех веером.

— О, о! — воскликнул Павлов, вскочив с места и подходя к Соколову. — Вот это я понимаю, вот это язык русского министра.

— Вы нездоровы? Что случилось?

Иванов подошел и без церемонии приложил руку ко лбу министра финансов.

— У вас жар, надо врача?

— Оставьте, — резко ответил Соколов, — будет жар, когда человек вырвался из самого пекла... Нет, ради Христа, доложите Государю, что я больше не могу... я отказываюсь... Ведь я же просил вас меня не назначать...

— Послушайте, полковник, — строго сказал диктатор, — говорите толком, что случилось? Сегодня в «Новом времени» я прочел вашу речь, сказанную вчера на приеме чинов министерства. За нее я готов был вас расцеловать. Государь был очень доволен и мне сегодня это выразил. Полная скромность и вместе с тем вера в будущее, мужественная энергия... Я за вас искренне порадовался. И вот, в одни сутки...

— Да вот, в одни сутки... свалился, как подбитое орудие. Я, ваше превосходительство, сегодня в первый раз принимал публику, просителей...

Павлов воскликнул:

— Ну, теперь все понятно! Это значит, что вы собственными глазами увидали, что такое министерство финансов и вообще вся наша бюрократия и какие здесь делаются дела? Да, да, совершенно к вам присоединяюсь. Кроме пулемета, никакого лекарства нет...

Иванов налил полстакана воды и поставил около Соколова.

— Успокойтесь. Выпейте воды и рассказывайте по порядку, с кем вы беседовали и что услышали.

Павлов придвинул стул и с иронической улыбкой приготовился слушать.

— Вы, господа, простите... связно я не могу... У меня все в голове перепуталось и только остались впечатления разбоев на большой дороге, сдираемых шкур, вопли, стоны... Ну, вот вам, во-первых. Солидная энергичная дама, вчера богачка, уважаемая в обществе... Сегодня ограблена дотла, умоляет отсрочить продажу последних имений, хлопочет о восстановлении чести мужа, которого засудили и уморили. Я не помню всего хода дела, оно страшно сложно, но суть в том, что Витте, который выручал всех жидов на десятки и сотни миллионов, не захотел поддержать во время кризиса группу чисто

русских и очень крупных дел на Юге. Отказал только потому, что это были русские люди и русские дела. Инициатор кончил самоубийством, а дела, на которых опиралось благосостояние целого края, попали в разгром. Разгром производили соединенными силами: московские древле-православные ростовщики, муравьевское министерство юстиции и виттевско-коковцевское министерство финансов. Ростовщики привезли из Москвы целый вагон подставных акционеров, сразу забрали в руки или пустили по ветру все дела, сделав нищими тысячи семей. Юстиция стала на сторону хищников и устроила самый безобразный процесс, засудив невинных людей, а финансы... эти держали себя как известные специалисты на пожаре. Я знал об этом процессе по газетам, но мне и в голову не приходило, какая здесь страшная грязь и как позорна роль правительства. Я буквально задыхался, и задыхался не только от сознания полнейшей беспомощности пересмотреть дело, исправить зло, дать торжество правде, но от сознания еще худшего, что я, как министр, обязан быть солидарным со всей этой помойной ямой, которая называется финансовым ведомством, обязан идти в том же направлении и во главе той же шайки или в самом деле поставить пулемет и, как согласен и Павлов, начать расстреливать...

Павлов не без торжества обратился к Иванову:

— Ну-с, господин диктатор, что я тебе говорил?

— Погоди, пожалуйста, пусть расскажет дальше.

— Извольте. Дальше другой человек со снятой с живого кожей. Крупный акционер одного из огромных заводов — теперь тоже нищий. В свое время горячился, боролся с разбойническим правлением, ходил к прокурору, хотел возбудить следствие. Нельзя! Необходимо заключение министерства финансов, а оно, конечно, не дает, так как солидарно со всеми ворами и не желает «подрывать промышленность». Акционер остался без поддержки, общество выхватило миллионную промышленную ссуду и задолжало по уши Государственному Банку. Ссуду, разумеется, наполовину раскрали посредники и покровители, остальное пошло по карманам правления. Сажа-

ет им Витте казенного директора. Ну, раз казенный директор, значит, воровство благословлено. Общество раскрали вдребезги, дочиста. Ликвидация — и акции могут идти в обойную бумагу. Ни суда, ни расправы, потому что каждый шаг прикрыт специально выкраденными Высочайшими повелениями. Я обещаю пересмотреть дело и знаю отлично, что просителя обману и что ничего из этого не будет... Хороша картинка?

— Обычная, ежедневная, — прибавил диктатор.

— Дальше. Является солидный купец. Просит пересмотреть дело об отказе ему в утверждении устава великолепно задуманного общества взаимного страхования. Отказали в полной дружбе и солидарности: Страховой комитет Министерства внутренних дел и наша Кредитная канцелярия. Начинаю раскапывать и узнаю, что эти оба заведения стоят ревностнейшим образом на страже интересов частных страховых обществ. Вы понимаете, конечно, что это делается не из-за одних прекрасных глаз? Узнаю дальше: правительство оформляет и прикрывает всякую пакость, всякий грабеж страховых обществ до гигантских поджогов включительно. Существует шайка, которая на всем этом кормится, и никакому министру с этим не справиться. Все дело в докладе, а доклад будет составлен той же шайкой. Ну скажите, чем это можно уничтожить, кроме пулемета?

Павлов опять вставил торжествующим тоном:

— Ну-с, мой добрейший генерал, что вы имеете на это возразить?

Иванов молча ходил по кабинету. Соколов продолжал более спокойно:

— Потом пошла коллекция других обобранных и обиженных. Обокрали казну при постройке дороги и обокрали подрядчиков. Министерство финансов испрашивает Высочайшее повеление, и все прикрыто. Раскрали минеральные воды, вмешался Государственный контроль, поддержали финансы, все прикрыто. Ведена хлебная операция — явный грабеж. Покупает Крестьянский банк миллионное имение — ограблена казна, ограблен владелец, ограблены крестьяне — нужно же

ухитриться ограбить все три стороны! Ограблено пароходство, и во главе разбойной шайки, разумеется, финансовое ведомство. Клянусь вам, в эти три часа я думал, что я не в Петербурге в казенном здании, а где-нибудь в ущелье по дороге из Елизаветполя в Тифлис. Я сгорал от стыда и не знал, когда кончу прием. Но последний номер был самый жестокий.

— Простите, что я вас перебиваю, — вступил в разговор Павлов. — То, что вы рассказываете, вас, очевидно, поразило. Неужели это для вас было ново и вы этого не знали? Но поверьте, что все это анекдоты для детей по сравнению с крупными и серьезными вещами, которые проделывали в Министерстве финансов. И когда? Не при Витте или Коковцеве, а при добродетельнейшем и благороднейшем Бунге. Слыхали ли вы историю о том, как господин Ламанский, знаменитый Евгений Иванович, управлявший Государственным Банком, взял в 1883 году на 54 миллиона рублей погашенных выкупных свидетельств и продал их во второй раз публике? Я сам лично видел печатную об этом записку. Если хотите удостовериться, потребуйте дело о последней реформе Главного выкупного учреждения. Она там есть. Заметьте, все это было разоблачено, подробно доложено Витте, но так и осталось под сукном, причем никто даже не поинтересовался, куда, собственно, пошли эти деньги за проданные бумаги? По карманам ли разошлись, или на них свели роспись без дефицита. Что же такое в сравнении с этим те разбойные подвиги, о которых вы рассказываете? Вот почему мое первое требование от генерала было: расстрелять или повесить в пример прочим главных воров. Вот тогда это была бы диктатура! И народ бы поверил, что правительство есть.

Соколов отвечал с глубоким убеждением:

— Я совершенно к вам присоединяюсь.

XXXIV

— Ну, рассказывайте ваш последний «самый жестокий» анекдот, а затем буду я говорить, — сказал Иванов.

— В конце приема входит американец с письмом от своего посланника, где тот его горячо рекомендует и просит выслушать и помочь. Чудесная типичная фигура, черный сюртук как с картинки. Весь обритый, глаза добрые и честные и вместе с тем умные и проникающие. Говорит по-русски с затруднением. Я по-английски знаю, и дело у нас пошло. Прежде всего мой американец вынимает бумагу, засвидетельствованную консулом, справку, выданную временным генерал-губернатором Владивостока Андреевым, при теплом письме. Оказывается, что вот этот мистер Кларксон явился в 1898 году к нам на Дальний Восток с хорошим капиталом и оказал русскому делу и правительству ряд ценных услуг: открыл и разработал около Владивостока отличные угольные месторождения, которые и снабжали порт во время войны. Быстро поставил в лазареты Красного Креста 50 тысяч деревянных складных кроватей собственной системы, чем вывел Красный Крест из большого затруднения. Выстроил огромный кирпичный завод и сильно понизил цены на кирпич для казенных построек. Организовал доставку из Австралии замороженного мяса... Словом, что нужно краю — Кларксон готов. Он и новые товары вводит, и промышленность двигает, и гранит ломает, и пароходы заводит, и из тайги грунтовые дороги строит, и автомобили по ним грузовые пускает — словом, американец во весь рост. Ну, разумеется, как ни велик был капитал Кларксона, без кредита работать нельзя, а для кредита на Дальнем Востоке графом Витте построен, как известно, Китайский банк. Так как Кларксон приехал с отличными рекомендациями больших английских и американских банков, то ему сразу же открыли кредит. Теперь слушайте, что будет. Видят господа из Китайского банка, что у Кларксона дела растут, как грибы, и доходы плывут, предлагают работать в компании, то есть банк входит к Кларксону пайщиком. Кларксон доверяется, едет в Порт-Артур расширять дело и поручает вести свои книги бухгалтеру Китайского банка Эрслину. Через несколько месяцев банк заявляет, что правление в Петербурге этой комбинации не утвердило, но

что ему будет по-прежнему открыт кредит. Между тем смотрит Кларксон: за это время чиновники банка обокрали его по книгам на сумму свыше 800 тысяч рублей. Вообразите его положение: ссориться — значит остановить и погубить без кредита все дела. Между тем банк, признавая некоторые «неправильности», тянет дело, отчета не дает и эти 800 тысяч явно замошенничивает. Американец решает не ссориться и надеется на возможность покрыть этот грабеж из будущих доходов. В это время на эту — украденную-то! — сумму с него дерут жидовские проценты и затягивают над ним петлю. За девять лет Кларксон переплатил более 1 миллиона 200 тысяч рублей одних процентов. Начинается война. В Порт-Артуре разграбляют склады и магазины Кларксона на сумму, по расчету местных властей, свыше $\frac{1}{2}$ миллиона. Дела ухудшаются, торговля и все предприятия в опасности. Банк требует обеспечения кредитов Кларксона и берет у него, кроме векселей, еще закладные на копи и пароход. Задача банка и его местных заправил была: захватить все основанные Кларксоном дела, а самого его выкурить.

Но американец не из таких. Он начинает новое дело — доставку замороженного мяса — и этим может быстро покрыть все долги и убытки. Тогда управляющий местным отделением Китайского Банка Кон, конечно жид, наносит Кларксону последний удар. Его векселя протестуются раньше срока, мясо мошенническим образом захватывается и продается, имущество забирается, и Кларксон разорен. Он едет в Петербург и добивается, что правление признает действия своего агента во Владивостоке «неправильными». Едет назад и находит господина Кона, не желающего подчиняться решению правления. Вместо этого Кларксону предлагают администрацию с тем же Коном во главе! Ну, одним словом, сняли с человека шкуру по всем правилам товарищеской техники.

Просмотрел я его документы, выслушал объяснения — вижу очевидный грабеж на большой дороге. Соображаю, что Китайский банк находится под контролем Министерства

финансов и что там в правлении сидит представитель правительства и директорами состоят разные высокопоставленные россияне. Подать сюда правление Китайского банка с русскими кондитерскими генералами!

Ведут ко мне генералов. На первом плане председатель правления князь Эспер Эсперович Ухтомский. Посажен Ротштейном и Витте. Сам по себе ничтожество полное, но был одно время вблизи Государя и теперь режет с этого купоны. Роль в банке и в Китайской дороге: расписываться в получении жалованья. Далее сынок и племянничек. Сынок министра Вышнеградского и племянничек министра Сольского. Вышнеградский, кроме того, директор Международного Банка и председатель правления Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги, а Сольский — директор Брянского правления и что-то такое был или есть в Государственном Банке. Затем генерал Путилов, правая рука Витте, бывший директор его канцелярии; был в Крестьянском и Дворянском банках, участвует в нескольких жирных правлениях, нефтепромышленник. Затем представитель правительства Давыдов, вице-директор Кредитной Канцелярии, говорят, замечательный музыкант. Жалованья 60 тысяч рублей. Остальные соответственно: Вышнеградскому, например, пришлось в разделе до 140 тысяч. Делает эта теплая компания то же, что и везде и всегда: получает жалованье, делит наградные и затем не только ничему не мешает, но покрывает все пакости и отстаивает, где следует, в «сферах».

Наконец идут «работники» и иностранцы. Работники — это два русских немца — Бок и Берг. Пропускаю. Иностранцы — финансисты и дельцы по своим делам: барон Готтингер, в России не живет, Нетцлин тоже, Верстрат — французский коммерческий агент, Бизо и Рандр — статисты. Ну вот вам и все Дагестанское ущелье. Местные агенты главным образом жида: французские, бельгийские, бердичевские. Хорошенькое заведение? Начинаю расследовать: генералы мои ни бе ни ме. А дела все сплошь таковы, что расстрелять мало! Нет, кажется, той пакости, как по отношению

к казне, так и к краю, и к публике, которая бы не проделывалась в Китайском Банке вовсю. Дело Кларксона пустяки, детская шалость. Ну вот-с. Теперь благоволите сообразить, что мне следует делать?

— Вы что сделали? — спросил Иванов.

— Пока ничего. Вызвал Болеслава Малешевского, чтобы спросить у него: как попал в Банк Давыдов и что он там делает? Услыхал такое объяснение, что тут же должен был заявить пану Болеславу, чтобы завтра же подавал в отставку. И знаете, что он мне ответил? Пари держу, что не догадаетесь?

Павлов вмешался:

— Я знаю. Он ответил вам, что в отставку не подаст, а просит уволить его по 3-му пункту.

— Да, вы действительно *их* знаете, Николай Алексеевич! Именно так и сказал, да еще прибавил, что он пересидел уже Витте, Плеске, первого Коковцева, Шипова, второе издание Коковцева и надеется пересидеть и меня. Недурно?

— По всем правилам. И смотрите, пересидит. Вы не выдержите, уйдете, а он останется.

— Да я и пришел с отставкой. Если наш генерал меня не поддержит и не даст сразу взять их всех в руки, слуга покорный, мне в министерстве делать совершенно нечего.

XXXV

Курьер вошел с депешей на подносе и подал Соколову.

— Вашему высокопревосходительству срочная.

— Ого! Целых три листка. Из Смоленска. Разрешите прочесть.

При первых же строках министр остановился, опустил руку с депешей и тяжело вздохнул. Диктатор спросил:

— Опять какая-нибудь пакость?

— Как раз к нашему разговору. Продолжение всех мерзостей, которые на меня сегодня обрушиваются. Позвольте читать вслух?

— От кого депеша? — спросил Павлов.

— Подпись? Александр Мещерский. Телеграфирует из тюрьмы.

Павлов заволновался.

— Мещерский, Александр Павлович? В тюрьме? Это какая-то мистификация.

— Вы его знаете?

— Еще бы! Первый хозяин в Смоленской губернии, а может быть, и в России. Замечательный писатель. Я знаю его по съездам, где его речи производили сильнейшее впечатление. И вдруг в тюрьме! Читайте, пожалуйста!

Соколов прочел следующее:

«Срочная. Петербург. Министру финансов. Постановлением следователя заключен в тюрьму до внесения 5000 залога. Обвиняюсь в растрате заложенного Государственному Банку хлеба. Окружной суд состава преступления не нашел, следствие прекратил; возобновила Судебная палата. Адвокату Ждановичу, другу прокурора, доверенному еврея Гирмана, ведущего со мной процесс, овладевшего моим имением, необходимо меня уголовно очернить. Ссуда была выдана с нарушением устава и всяких правил. Количество хлеба определялось немолоченного на глаз, печатей, знаков охраны никаких не было. Так выдавалось всем. Никаких заявлений о праве продажи не делалось. Чисто шейлоковская операция, спекулирующая на уголовщину. Чиновники банка все брали взятки. Осматривавший хлеб взял сто рублей, есть расписка. Временный управляющий отделением взял 300 — есть вексель. Банк потворствует, прикрывает безобразия отделений. Ссуды не возвращаются, например, Муравьева, двоюродного брата министра юстиции.

Того преследуют гражданским иском, велики связи. Иск безнадежный, ибо имение обеспечивают дружеские закладные. Жалуюсь на действия следователя. По закону жалоба арестованного рассматривается 24 часа, моя валяется две недели. Адвокаты отказываются от моего дела, боясь нарушить отношения с судом. Жене следователь сказал, что и сейчас не видит состава преступления. Между тем прокурор приказывает

взять залог 5000, достать негде, разорен совершенно, с убийцы графа Игнатьева потребовали только 100 рублей. Суда не боюсь, на суде буду подсудимым не я, а Министерство финансов и Государственный Банк. Скандал выйдет всероссийский. Прошу ваше высокопревосходительство приказать прекратить дело, заведомо вздорное и дутое».

— Черт знает что! — воскликнул диктатор.

Павлов горячо заговорил:

— Вот она, ваша юстиция! Ни дать ни взять, как в Харьковских банках. Там прокуроры и следователи свирепствовали в угоду братьям Рябушинским, здесь это требуется жиду Гирману. Я знаю это несчастное дело. Мещерского разорили ростовщики при благосклонном содействии Дворянского и Крестьянского банков. Полумиллионное имение, по культуре первое во всей средней полосе, пошло в лом за 100 тысяч рублей только потому, что Министерство финансов ни с того ни с сего в самое критическое время приостановило операции своих ипотечных банков. Если бы Мещерскому помогли, он бы отлично выпутался из своих долгов и у него осталось бы земли тысяч на двести. Теперь он разорен бесповоротно и все, что им в культурном смысле сделано, пропало бесследно. Генерал, надо Мещерского спасти!

Соколов сказал:

— Необходимо доложить Государю.

— Боже мой! Припоминаю, — добавил Павлов. — Мне Мещерский говорил полгода назад, что Государь очень тепло отнесся к его ходатайству, которое ему передал Трепов. Но из этого ничего не вышло, так как Коковцев постарался по данным Государственного Банка сделать доклад против Мещерского и по поводу этой вот хлебной ссуды выставил перед Государем Мещерского мошенником.

Иванов обратился к Соколову.

— Мой дорогой, рассмотрите это дело и сделайте, что можно. О Мещерском я доложу Его Величеству сам и надеюсь, что мне Государь поверит. Боже мой, Боже мой! Ведь это же в самом деле какое-то разбойное гнездо.

XXXVI

Иванов большими шагами ходил по кабинету. Он был взволнован и тяжело дышал. Соколов положил депешу в карман и ждал. Воцарилось на несколько минут томительное молчание, которое прервал Павлов:

— Вот что, старый дружище. Иронию всякую в сторону и будем говорить совершенно серьезно. Вся эта мерзость так разрослась, так усилилась, что без террора никак не обойтись. Только страхом еще и можно что-нибудь сделать. Но страху нужно нагнать на этих господ такого, чтобы каждый из них, ложась спать, благодарил Бога, что он не повешен и не сослан в Восточную Сибирь. Скажи мне вот что: Государь тебе террор разрешит?

— Я дал слово Государю, что террора у него просить не приду, разве в случае вооруженного мятежа, но ведь этого же быть не может, да тогда и просить не нужно, а стрелять.

Соколов сделал нетерпеливое движение, Павлов даже привскочил с места и крикнул:

— Да ведь это измена делу! Это предательство — таким образом добровольно связать себе руки!

— Не кипятись, успокойся! Не волнуйтесь и вы, полковник. Вот я вас выслушал, выслушал и тебя. Теперь за мной очередь. Перебрали мы много всяких мерзостей, надо сделать заключение. Все, что вы здесь, мой дорогой полковник, говорили, для меня совсем не ново. Я вам скажу гораздо больше. В других ведомствах везде то же самое, с той только разницей, что у вас в министерстве хоть и грабят, но все же кое-что делают, в других ведомствах даже на бумаги с марками не отвечают. Вот, он вопиет: террор, террор! Да ведь, господа, если пускать террор, так надо расстрелять или выслать всех без исключения! Ведь ни одной канцелярии, ни одного департамента нет, где бы этого не было. И я не знаю, в сущности, кто гаже: тот ли, кто грабит, или тот, кто корчит из себя добродетель, сам не берет, но воров прикрывает и обеляет? Подумали ли вы, что террор равносителен остановке

всей машины? Ведь здесь, в Петербурге, незараженного нет ни одного квадратного аршина. Неужели я о терроре не думал? И у меня это была первая мысль. Но позвольте мне, как практику, заявить вам, что не только террор, а даже простая массовая смена персонала вещь абсолютно невозможная. Может получиться положение, при котором вы пожалеете даже о нынешних хищниках.

— Так что же делать? — воскликнул Соколов.

— Погодите. Я вас слушал, выслушайте и меня. Что делать? Попытаться это воровство и разврат вывести. Александр III это пробовал, но ему не удалось. Помните манифест 29 апреля о «неправдах и хищениях»? Прекрасный манифест, и пожалуй, что-нибудь *бы* вышло, если бы правительство, одной рукой приглашавшее «бороться с неправдой и хищениями», другой рукой этих самых неправд и хищений не прикрывало. Попробуйте разоблачить какого-нибудь сановного вора. Он бежит к своему министру, тот пишет записочку графу Толстому, этот зовет Вяземского или Феокистова — и хищение спасено: по газетам рассылается циркуляр «не смей касаться такого-то дела». Вы видите, где стоят неприятельские батареи? Берите их и ставьте там свои. Хищение разрослось на молчании печати — выводите его посредством печати. Представьте себе, что завтра появляется в «Новом времени» беседа с вами, где вы заявляете, что решились во что бы то ни стало выбраться из разбойного вертепа, каким стало ваше ведомство, и не только не будете преследовать печать за разоблачения, а своих чиновников за доставление печати сведений, но наоборот, будете ей признательны как наилучшей помощнице, а чиновников приглашаете и благословляете давать печати материал для разоблачений. Скажите, неужели это средство не лучше каких хотите виселиц и пулеметов?

Павлов раздумчиво покачал головой.

— А ты себе представляешь тот кавардак, который получится? Хорошо окажется твое правительство перед Россией и перед Европой, когда вся эта помойная яма будет вскрыта? Да от этого зловония мы все разбежимся. И потом: где это у нас

печать с такими гражданскими чувствами? Печатному жиду нужен скандал и ничего больше.

— Успокойся, мой милый. Молчанием престижа правительства не поднимешь. Все знают, что Петербург — гнездо разврата и воровства, и спасения никакого нет. А тут все узнают, что нашелся наконец честный министр, который не только не прикрывает никакой мерзости, но сам просит ее выводить на свет Божий и казнить. Ну вот, например, пусть все то, что нам здесь рассказывал полковник Соколов, будет завтра напечатано в «Новом времени». Неужели это не вызовет величайшего подъема доверия и благодарности правительству?

— Да, это верная мысль, — сказал Соколов. — Так что, вы мне разрешаете устроить такое интервью?

— Не только разрешаю, прошу вас об этом. Телефонуйте Суворину: он или сам об этом напишет, или Меньшикову поручит. Это будет хорошее начало. А я прикажу в «России» перепечатать.

Присоединился и Павлов.

— А что, Николай, скандал скандалом, а пожалуй, что и толк будет?

— Ну вот, спасибо тебе, что наконец понял. А теперь другая половина дела. Разумеется, ни Соколов в финансах, ни ты в земледелии не будете в состоянии разобрать все старые пакости и удовлетворить всех обобранных и обиженных. Что вы скажете на такую мысль: вызвать в Петербург по одному человеку от губернских земств и образовать исключительно из них Верховную комиссию для разбора правительственных злоупотреблений и вознаграждения потерпевших? 36 земских губерний, да девять западных, вот тебе сорок пять человек. Раздели по пяти — получишь девять подкомиссий, почти по числу министерств. Работа пойдет скоро, и тут же получится и побочный результат. При исследовании каждого дела тотчас же из самих чиновников выделятся порядочные элементы, которые теперь забиты и затиснуты. Они помогут комиссиям разобраться, дадут весь нужный материал, осветят дело. В результате, когда придется разгонять воров, эти господа дадут готовый кадр

честных агентов, из которых и можно будет назначать на все должности. Ну, Николай, что ты на это скажешь?

— Скажу, мой милый, что ты charmeur и молодец. Ты меня этим прямо подкупаешь.

— Ну вот так-то. А то виселицы да пулеметы. На что это похоже!

— Да уж очень сердце изболело. Ведь в самом деле, черт знает, до чего дожили!

— Но все-таки помните, господа. Все эти меры экстренные, так сказать, сверхъестественные. Произведется впечатление, получится некоторое доверие, масса хищников уйдет, многих отдадим под суд, но это еще не решение вопроса. Россия устроится только тогда, когда вместо бюрократического в ней будет земское управление. Вне этого никакого выхода нет, и ты, мой милый Николай Алексеевич, со мной согласишься.

— Это твои области?

— Да, области и ничто другое.

XXXVII

Казалось бы, вопрос об оздоровлении правящего персонала и о получении наконец честного правительства решался этим путем удовлетворительно. Но в глубине души у диктатора было полно сомнений. Петербург представлялся ему огромным тифозным или холерным бараком, где и стены, и сама почва были пропитаны бактериями разврата, самовластия и хищений. Оздоровить до материка эту почву не было никакой возможности, так как в Петербурге собственно и нет никакого материка, а зыбучее болото. В этой ужасной атмосфере заражались и гибли лучшие русские люди. И наоборот, те же петербургские бюрократы, порывая связи со столицей, иногда совершенно преображались.

Русская история давала по этому вопросу ясные указания. Во всех таких случаях наилучшим средством являлось: бросить зараженное место, как бросают тифозный барак, и переносить столицу на новое, открывая новый период исто-

рии. Период московский, расцвет землесобирания и русской национальной исключительности закончился и изжил сам себя. Москва не давала простора Петру и не могла, как столица, ввести Россию в круг европейских держав и европейской цивилизации. Петр бросил ее, построил новую столицу на краю государства, ушел к инородцам, открыв период иноземных культурных влияний. Россия была выбита из национальной исключительности и приняла крещение европейской цивилизации. Петербург страшно расширил, устроил технически и дисциплинировал Россию, но теперь и он изживал сам себя, являя картины величайшего безобразия и разложения. Полоса иноземных влияний должна была закончиться вместе с иноземной системой управления — централизованной бюрократией. Но эту реформу в Петербурге провести было, очевидно, нельзя. Здесь, казалось, вопияли самые камни, отстаивая свое хищное и злое господство над Россией. Русский народный дух, вера, совесть, патриотизм не могли здесь ни возродиться, ни расцвести.

И вот диктатор мечтал о перенесении столицы из Петербурга. Но куда? Ему слышались вещие голоса великих русских публицистов, давно еще звавших «домой». Это было отчасти заветом Императора Александра III, лелеявшего эту мысль после 1 марта 1881 года и подробно обсуждавшего с Катковым вопрос о перенесении столицы. Александр III чувствовал себя пленником в Петербурге, который он имел случай изучить еще Наследником престола.

Но не лежало сердце диктатора к Москве. Развенчанная Петром столица давно уже потеряла всякое значение духовного и национального центра России. Умерли великие мыслители, угасли огни на их алтарях, исчезли или выродились великие органы общественной мысли. Москва потеряла историческую нить и стала не душой, не сердцем, а брюхом России. Соответственно этому почти сошел со сцены ее старокультурный слой — дворянство, зато пышно расцвела самая уродливая из всех буржуазий. Тон московской жизни стало давать новое поколение московского купечества и фабриканты,

не сохранившие никаких исторических традиций, ни национальных устоев. Влиятельным покровительством и поддержкой стало пользоваться самое бесшабашное декадентство, босячество и всякий революционный отброс. К моменту позорного мира и начала революционных выступлений Москва очутилась сплошь в руках кадетов и революционеров всякого калибра. Вооруженное восстание не отрезвило москвичей и не помешало им два раза выставить в Думу ярко-красные элементы и притом людей заведомо несерьезных. Старая патриотическая и национальная Москва бесповоротно сошла со сцены. То, что собралось здесь под флагом патриотических организаций, было так же плохо и несерьезно, как и левые элементы, а выдающимися талантами, людьми высокой доблести и патриотизма ни одна сторона похвалиться не могла. И в довершение всего Москва ожидала, почти как Одесса или любой еврейский город.

Для Иванова, кровного великоросса, было горько сознавать окончательное падение Москвы как сердца России, но он ясно видел, что в его славянскую схему Москва не укладывалась. Не ей, очевидно, приходилось стать центром для нового периода русской государственности. Столицей новой славянской России сам собой рисовался Киев, колыбель Русского царства, стольный город древних былин и очаг первой русской церковности, гражданственности и свободы. Широко раскинувшийся на своих священных горах, весь залитый солнцем, опоясанный Днепром, Киев стоял особняком среди смрадной вакханалии Петербургского периода и с падением Москвы постепенно сосредоточил в себе и независимую русскую мысль, и русскую науку, и государственное понимание событий. В Киеве естественно созрела идея о славянском призвании России. Здесь, по слову поэта, должно было состояться великое примирение двух враждующих славянских племен и утвердиться основа союза всех славян вокруг России. Эта идея вырывалась неудержно при каждом подходящем случае. Ясно, что в этой почве были ее ростки, не затоптанные бесшабашной централизацией...

Но Петербург? Но те огромные капиталы, которые за два века туда вложены? Иванов был прежде всего практик со здравыми экономическими взглядами и ясно понимал, что такой вопрос, как перенесение столицы, не может быть решаем на основании одних политических соображений. Нужно было представить себе во всем объеме также и экономическую картину такого крупного исторического события.

Здесь дело складывалось так: местного, самостоятельного значения Петербург, как город, не имел никакого. Он жил почти целиком за счет России, извлекая из нее средства как правящий центр, как резиденция Двора, как рассадник высшего образования, как фабричный город и, наконец, как отпускной порт. С перенесением столицы отпадали, очевидно, два главных источника дохода: все то, что расходовала в Петербурге бесчисленная высшая бюрократия, и большая часть из того, что расходовал Двор. Остальные три источника оставались.

Откуда могла явиться компенсация?

Во-первых, Петербург, как резиденция, мог сохранить отчасти свое значение. Если зиму и осень Двор мог проводить в новой столице, то для лета Петербург с его побережьем и прохладой и чудными дворцами по заливу представлял значительные преимущества. Затем перенесение столицы не упразднило Петербурга как крупного областного центра для Северной области. Ее управление должно было быть достаточно сложным и разветвленным, чтобы потребовать значительного персонала. Если постараться поднять значение Петербурга как военного и торгового порта, развить коммерческое мореплавание и расширить местную промышленность и торговлю, то все убытки могли быть забалансированы и капиталы, вложенные в городские недвижимости, почти не пострадать.

Вопрос решался удовлетворительно и безобидно для всех, и это сообщало предположениям диктатора необходимую реальность и осуществимость. Он надеялся, что первый же созыв представителей от областей поддержит его мысль о необходимости нового государственного центра, и в тишине, не сообщая пока никому, разрабатывал свой проект.

XXXVIII

Результатом разговора министра финансов с А.С. Сувориным было «Маленькое письмо», вызвавшее в бюрократических сферах Петербурга волнение неслыханное, напоминавшее тот момент в 1882 году, когда маститый публицист одним ударом уложил в могилу «Священную дружину». А.С. Суворин, разумеется, не уступил такой пикантной темы Меншикову, а пустил в ход весь блеск своего таланта первого русского фельетониста. Письмо содержало передачу без всякого смягчения известного уже рассказа Соколова и заключительной сентенции Иванова. Затем Суворин говорил от себя:

«Итак, вот первый осязательный результат появления у власти молодого и свежего военного элемента. Я всегда любил военных и верил, что выражение «по-военному» есть наилучшая форма похвалы. «По-военному» — значит прямо, правдиво, смело. И вот по-военному нас взяли и перерядили всех из мундиров, фраков и сюртуков в арестантский халат. Положение для правительства великой державы как будто несколько необычное, но... «стерпится — слюбится». Только не вышло бы недоразумения? Арестантский халат страшен, когда его носишь один, а все остальные при лентах и звездах. Но когда его наденут как «общегенеральскую» форму во всех ведомствах, то многие почувствуют себя в нем даже удобнее. Постыдно, когда вора введут в компанию честных людей. Но вор в воровской компании чувствует себя на высоте положения, и, чего доброго, стыдно будет не тому, кто крал, а тому, кто крал мало. Того замучает зависть, которая у нас давно заступила место совести.

Во всяком случае, призыв молодого министра финансов обещает России прелюбопытный спектакль. То, что раньше ходило под маской сплетен и в печать попадало только в виде намеков, за которые нам, журналистам, жестоко нагорало, теперь будет рассказано совершенно откровенно и обосновано документально. Открывается нечто вроде гигантской всероссийской прачечной, где всякому желающему предоставляется отныне

мыть грязное белье своего высшего начальства и выводить пятна хищений. А пока эта стирка будет идти, господа тайные и действительные статские, шталмейстеры и егермейстеры, генералы от инфантерии и генералы от кавалерии, адмиралы флагманы и адмиралы «по адмиралтейству» приглашаются стоять голенькими и воспринимать всякие комплименты.

И услышим же мы истории! Сколько материала даст одно Морское ведомство. Какие крысы побегут оттуда! А наше интендантство, наши артиллерийские, инженерные и всякие иные управления! Как раз вчера был у меня один почтенный фабрикант, имевший неосторожность впутаться в казенную поставку. Знаете, что он мне передавал? А вот что: по сдаче заказа у них принято делить добычу. Мзда вкладывается в конверт, на нем пишется адрес его превосходительства, сиятельства или высочородия, и с пачкой таких конвертов клиент идет благодарить начальство за хорошую приемку. Отправляется и мой приятель и начинает жать руки и раздавать конверты. Вдруг видит: молодой капитан краснеет и не берет. Тот тоже конфузится и, конечно, извиняется, что предложил. — «Ничего, говорит, ничего, я не обижаюсь. У нас здесь все берут, только я еще не могу». Теперь мой приятель громко рассказывает в обществе как факт, достойный изумления: в таком-то хозяйственном управлении есть член, который *еще* не берет!

Назидательные вещи будут рассказаны про покупку судов во время войны, когда аргентинские крейсера попали к японцам только потому, что две своры русских покупателей не давали одна другой кончить дело, вымогая неслыханные взятки. Недурно выйдет повествование о неумытной (надо, чтобы корректор хорошо посмотрел за целостью второго «н») российской юстиции, в деле харьковских банков проявившей несвойственную ей энергию, так как эта энергия нужна была не в интересах правосудия, до которых никому дела нет, а в интересах торгового дома братьев Рябушинских, которые разграбили харьковские банки и вынудили бедного министра юстиции, как только запахло революцией, спешно уложить чемоданы и спастись послом в Рим.

А сколько материалу доставит графиня Сахалинская с ее штатом всякого калибра банковых жидов и гешефтмахеров! Как хороши выйдут многие тайные, действительные тайные, сенаторы и статс-секретари, которые по характеру своей должности много украсть не могли и к участию в грабежах не допускались, а потому во имя справедливости и «для равновесия» получали особые наградные по сто, по двести и более тысяч в один прием! Любопытно, окажется ли в Петербурге хоть один праведник, который бы от такого «пожалования» в свое время отказался?

Но всего не перечтешь. Наш симпатичный диктатор и его новые министры полагают этим путем довести Россию до честности. Давай им Бог успеха, но вот вопрос: куда денут они весь огромный синдикат сиятельных и превосходительных хищников, который так хорошо устроился за счет России? Не придумают ли святые отцы Синода какого-нибудь особого обряда очищения, вроде, например, освящения колодца после попавшей мыши, таких каких-нибудь молитв с коленопреклонением о ниспослании русскому правительству честности, как засохшим полям дождя? Кажется, такую молитву составил в свое время В.К. Саблер и даже показывал ее Победоносцеву, причем будто бы последний сказал: многих эта молитва очистит, но вас с Шемякиным никакой святой водой не отмоешь. Легко освятить колодезь после одной мыши, но если их навалятся тысячи?

Вообще, поживем — увидим. Чего доброго, найдется и такое превосходительство, которое гордо скажет: «Я не крало». Будем сажать его сейчас же под святые. Но я думаю, гораздо больше будет таких, которые с горестью выкликнут: «Мне не пришлось украсть». А уж такого, которое могло бы сказать: «Я не крало и не давало красть», — наверно, во всем Петербурге не окажется».

«Маленькое письмо» вызвало в Петербурге истинную панику. Диктатор не гнал никого. Он требовал только, чтобы обвиненный оправдался документально. И, однако, началось массовое бегство за границу высшего правительственного пер-

сонала. Подавали в отставку и ликвидировали свои дела директора департаментов, члены разных советов, управляющие отдельными частями, многие сенаторы. В либеральной печати наперерыв старались разоблачить сановников консервативного образа мыслей, печать патриотическая спешила вывести к позорному столбу высокопоставленных кадетов и конституционалистов, которые, как оказывалось, были все сторонниками графа Витте, обучались в его школе и видели в конституции и парламентаризме лишь новое расширенное поле для хищений. Большинству и думать было нечего ни оправдываться, ни требовать над собой формального суда. Никогда еще «Правительственный вестник» не пестрил таким множеством отставок и новых назначений, никогда движение по административной лестнице не шло так быстро...

Но зло сидело так глубоко и чистка правящего персонала столицы требовала такой массы «жертв» и такой колоссальной перетасовки, что генерал-адъютант Иванов не без тревоги смотрел на будущее. Атмосфера недовольства сгущалась, враждебные ему силы спланивались. Диктатор ждал бури и к ней готовился.

XXXIX

Иванов избегал корреспондентов. Не потому, чтобы он не любил гласности или стеснялся высказываться, а потому, что русская печать и ее «сотрудники», за ним бегавшие и добивавшиеся интервью, были чересчур омерзительны. Немногим лучше были и господа иностранные корреспонденты, которых по объявлении диктатуры набежало видимо-невидимо, едва ли не больше, чем даже на «конституцию». Немецкие газеты понаслали евреев, которых Иванов не переносил, французы были феноменально невежественны и ловили самые нелепые сплетни; оставались сравнительно приличные англичане.

Одного из них, очень серьезного корреспондента «Daily Telegraph», принял Иванов. По русским внутренним делам этот джентльмен был, как оказалось, осведомлен не хуже самого

диктатора и даже знал кое-что, Иванову неизвестное. Поэтому разговор сразу перешел на международные отношения.

Диктатор сказал:

— Должен вас предупредить, что внешняя политика до меня ни малейшим образом не касается. Это, по нашей государственной традиции, область личной работы Государя Императора, который направляет непосредственно министра иностранных дел. Мое мнение может иметь цену только личного моего мнения и притом в качестве совершенно частного человека.

— Но дела международные связаны так тесно с внутренним состоянием России, что ваше влияние всегда будет огромно, даже если бы вы этого и не хотели. Наконец, вы занимаете настолько исключительный и важный пост, что ваше мнение по тому или иному вопросу имеет и само по себе огромный интерес.

— Я к вашим услугам — спрашивайте.

Англичанин вынул записную книжку и поставил Иванову следующий категорический вопрос: «Какого он мнения о возможности и необходимости англо-русского политического союза?».

— На категорический вопрос я дам и категорический ответ. Я считаю такой союз совершенно возможным и безусловно необходимым.

— Как вам представляется его цель?

— Защита интересов белой расы и христианства против желтого востока и мусульманского мира. У России и Англии не противоположные, а совершенно тождественные задачи. И той и другой величайшие опасности грозят со стороны желтых. Япония может совершенно выбить Англию с рынков Дальнего Востока и составляет серьезную угрозу Индии и остальным колониям Тихого и Индийского океанов, совершенно так же, как она угрожает России со стороны Сибири и Амура. Затем, и у России, и у Англии миллионы мусульман подданных, вернее, мусульманский мир поделен фактически между этими державами. Всякое между ними соперничество

в Азии ли, или на Ближнем Востоке является огромной опасностью и может вдохновлять мусульманский мир на несбыточные замыслы. Наоборот, союз Англии и России заключает мусульманский Восток в железные рамки. Совершенно то же и относительно желтых. Наш союз охранит вам восточные рынки, нам политическое спокойствие.

— Чрезвычайно рад это слышать. Теперь позволю себе предложить вам следующий вопрос, непосредственно вытекающий из первого. В чем вы видите препятствия к осуществлению англо-русского союза?

— Во взаимном непонимании своих истинных интересов и в недоверии, основывающемся на столетних предрассудках.

Почему Англия не доверяет России? Почему вся ее политика состояла прежде всего в борьбе с Россией повсюду, где только России приходилось выступать со своими мировыми задачами? Потому, что Англия подозревала нас в захватнической политике, воображала, что мы стремимся к бесконечному расширению в Азии и даже захвату Индии. Между тем это совершенный вздор. Ни одно из наших завоеваний в Средней Азии, ни одно расширение границы не носило добровольного характера, а происходило вопреки нашей воле, исключительно по необходимости обеспечить свои владения. Об Индии никто у нас никогда не помышлял, и только душевно больной Павел, да и то в припадке гнева, мог затеять туда экспедицию. Что стали бы мы делать с сотнями миллионов инородцев, буддистов и мусульман? Неужели у нас мало своих? Неужели мы настолько глупы, что не понимаем опасности разжижения господствующего государственного племени? Для самого объемистого национального желудка есть предел переполнения, за которым всякий дальнейший глоток смертельно опасен. Но Англия не хотела этого понимать и вела свою политику к ослаблению и подрыву России, вредя ей, где могла, без малейшей пользы для себя. Наше недоверие и нелюбовь к Англии были только результатом этой политики. И я должен сознаться, что это недоверие, воспитываясь десятилетиями, укрепилось чрезвычайно. Союз с Англией у нас совершенно непопулярен.

Корреспондент заметил:

— Здесь также играла роль Германия. Она всегда старалась сеять между нами раздор. А немецкие влияния у вас очень сильны, особенно в придворных сферах.

— С этим я спорить не буду, хотя с Александра III влияние Германии заметно уменьшилось, а о дружбе с ней нет и речи. Довольно того, что оказался возможным союз с Францией.

— И тем не менее в этом вопросе вы, несомненно, испытываете сильнейшее нравственное давление Германии.

— Поверьте, — отвечал диктатор, — что оно не помешало бы очень тесному сближению России и Англии, если бы Англия серьезно захотела рассеять наше против нее предубеждение, показать нам, что она нам не враг; хотя бы только это! Ведь не воспользовались же мы вашими затруднениями в Бурскую войну? А ведь тогда можно было наделать вам серьезных бед! Зачем же вы идете всегда против нас?

— Скажите, в чем заключаются ваши от нас требования?

— Вы поймете их сами, когда захотите стать на ту точку зрения, что и мы, и вы, то есть и славяне, и англосаксы, как два главных христианских народа, должны стоять во главе белой расы и европейской цивилизации и идти в тесном союзе. Тогда для Англии выгодна не ослабленная и расстроенная Россия, а Россия могучая и сильная. Выгодно окончательное решение славянского вопроса, то есть политическое объединение всех славян в мировое государство, самое сильное на суше. Выгодно окончание восточного вопроса и получение нами проливов. Выгодно, наконец, ослабление и изолирование Германии, врага славянства и рассадника новейшего милитаризма и политического хищничества. Всему этому вы в ваших интересах обязаны помогать, и взамен этого мы будем считать в своих интересах всякое благо и выгоду Англии. Нам будет выгодно, чтобы Англия была владычицей морей, чтобы ее колонии сплотились в тесную мировую группу, такую же великую и сильную, как наша. Мы гарантируем вам и обладание Индией, и твердое положение на рынках. Наша необъятная сухопутная сила станет в ваше распоряжение вза-

мен вашего флота, который встанет на защиту наших интересов. Раздел мирового владычества между англосаксами и славянами будет полный, и на нашей планете водворится, наконец, желанный мир и порядок, ибо против этих двух сил не найдется никакой третьей.

— О, сэр! — воскликнул корреспондент. — Ни от одного русского я не слышал никогда ничего подобного.

— Очень жаль! Но я думаю, что и ни одному англичанину не приходило в голову поставить вопрос на эту почву, иначе он горько осудил бы всю вашу политику. Чего добились вы, допустив позор России на Берлинском конгрессе и отдалив решение славянского вопроса! Что выиграли британские интересы от того, что Турцию оседлала Германия и теперь за вашей спиной пробирается к Персидскому заливу? Что принесет вам союз с Японией? Разве то, что дружескими руками вас вытолкнули из Китая, а может быть, и из Австралии?

— Позвольте уверить вас, что эти ваши мысли будут с восторгом приняты в нашей стране.

— Только прошу вас оттенить категорически, что это мои мысли как частного лица и никакого отношения к направлению нашей официальной политики не имеют.

XL

Буря, которую предвидел и ожидал диктатор, наконец разразилась. После первых же серьезных разоблачений и вызванных ими увольнений вокруг генерал-адъютанта Иванова стала складываться многочисленная коалиция сановников, прикосновенных если не непосредственно к хищениям, то к попустительству или явному укрывательству. Были подняты на ноги все сферы, пущены в дело все связи. Высокопоставленные хищники знали хорошо, что за известную черту разоблачения перейти не могут и известные имена в печать не попадут. На невозможности твердо удержать эту черту и была рассчитана вся компания. Иванова и его недавно призванных министров обвиняли в создании новой революции взамен только что

законченной, революции сверху, гораздо более крутой и опасной в России, чем какая угодно революция снизу.

После одного бурного заседания Совета министров под председательством Иванова Столыпин, проведив остальных коллег, обратился к диктатору:

— Уделите мне полчаса. Есть важные сообщения.

Диктатор молча наклонил голову, и они прошли в кабинет.

— Я знаю, что у вас за сообщения. Я жду их уже три дня. Вы, мой многоуважаемый Петр Аркадьевич, по-видимому, выражаете желание стать на *ту* сторону. Предупреждаю вас: я не уступлю и не отступлю. Мы с вами условились, что хищникам пощады не будет. Теперь вы колеблетесь?

— Да, я колеблюсь. Вы в стороне и до вас доходят только отголоски того горя, тех страданий, в центре которых мне приходится стоять. То, что у нас в эти дни творится, и то, что вы считаете чисткой России, это какая-то ужасная вакханалия, какое-то Иродово избиение младенцев, а вовсе не чистка! Меня осаждают со всех сторон, умоляя унять разоблачения этой подлой, тысячу раз подлой и грязной печати, которую вы спустили с цепи. Довольно вам, что вчера передо мной стала на колена старуха фрейлина? Она просила спасти ее родственника, невинного человека, которого ваш Павлов гнал с семьей буквально на улицу.

— Это барон Аугсбург, что ли?

— Да, да. Ведь в самом же деле тут страшная драма!

— Тут две драмы, Петр Аркадьевич. Одна драма личная — это вот этот ваш барон, который, бедняга, даже и сейчас понять не в состоянии, откуда на него свалилась беда и за что его гонят. Ведь он всю жизнь смотрел на государство как на свою баронскую усадьбу, и все кругом так смотрели. Но другая драма — государственная, и эта будет поглубже. Из-за того, что у этого барона красивые дочери (и все замужем за сановниками!) и тетка фрейлина, должна гибнуть Россия! А Россия гибнет именно от этих Аугсбургов. Ведь вы посмотрите, где этот барон сидел и какая государственная сила через него проходила. И что же он собой изображал в

механизме управления? Вся его работа была сплошным преступлением, остановкой, закупоркой важнейшей артерии. И это делалось в личных видах, в интересах всяких родственников и свойственников. Соколов не дает ему пенсии, Павлов гонит. Что же делать? Или по-старому назначать в Сенат или Государственный Совет? После того, что говорилось в печати? Слуга покорный! Ведь благодаря этому и так эти высшие учреждения стали местом ссылки.

Столыпин живо возразил:

— Я не оправдываю барона. Но ведь эти Аугсбурги и Полетаевы — все наше правительство. Ведь этих людей тысячи! Вчера все это было властное, неприкосновенное, сегодня вы совершенно неожиданно объявили им войну. Вы гоните их без всякой пощады. С ними лишается хлеба целая армия их родственников, их близких и друзей, это все связано в одну сеть, в одну ткань, которую вы так грубо рвете. Ведь это же живые люди, наконец! И все они, разумеется, цепляются за верха, у всех связи при Дворе... Вы этим возбуждаете против себя всех...

— Я это знаю, но что же делать, Петр Аркадьевич? Дезинфекция должна быть сделана. Ведь вы же понимаете, что с этим персоналом ни о каком обновлении России, ни о каких реформах и думать нечего?

— Да, но не мучьте же, не губите людей. Их надо снять с их постов, но осторожно, жалостливо. Ведь то, что у нас делается в эти дни, ей-Богу, напоминает очень скверные страницы Французской революции.

— Жалостливо? То есть с пенсиями, арендами, милостивыми рескриптами? Да у России на это средств не хватит! И потом — драть с разоренного мужика, чтобы кормить отставного хищника? Где же справедливость?

— А где справедливость с одного человека взыскивать все грехи нескольких поколений? Затем спуститесь, генерал, на практическую почву и подсчитайте ваши силы. Вы подняли такие стоны, такой плач, такие жалобы и мольбы, что Государь может поколебаться. Ведь на Него идет теперь осада — все поднято, все брошено на борьбу с вами. Ведь вы же

знаете, какие там связи? И связи не вчерашние. Устоите ли вы перед целой коалицией?

Диктатор прямо и пристально взглянул в лицо Столыпину.

— Я лично устою, даже если вы будете у нее во главе, Петр Аркадьевич. Я верю в непоколебимое ко мне доверие Государя и Его прямое, честное сердце. Доказательство налицо. Это ваша записка?

Диктатор подал Столыпину объемистую тетрадь, на первой странице коей рукой Государя было написано: «Прошу М.А. внимательно разобрать и дать объяснение».

Столыпин вспыхнул. Диктатор продолжал:

— Написано мастерски. Кто это вам составлял? Сигма? Гурьев? Но знаете, было бы гораздо корректнее с вашей стороны подать это Государю через меня. Неужели вы думаете, что я бы эту вещь решился скрыть от Его Величества? Но разница в том, что если бы ее принес я, то принес бы как свободное мнение моего сотрудника, с которым я очень и очень должен считаться. А когда вы подали эту записку непосредственно за моей спиной, то она получает значение совсем другое. Вы выступаете на борьбу со мной и желаете поставить Государя перед альтернативой: или вы, или я? У нас, у военных, это называется интригой, ваше высокопревосходительство.

— Михаил Андреевич, я не интриган, но всему есть границы. Я давно уже ждал случая побеседовать с вами откровенно. Я был призван к власти раньше вас и явился с определенной программой. Мой способ обновления России был проще и медленнее вашего, но, я думаю, вернее. Его Величеству было угодно одобрить вашу программу и вас поставить у руля. Я преклонился и честно стал на вторую роль в качестве вашего сотрудника. Но теперь для меня ясно, что вы ведете Россию к катастрофе. Вы разрушаете самый центр управления и создаете полный хаос. Все, чего я достиг с огромными усилиями, за что так жестоко пострадала моя семья и чуть я сам не пожертвовал жизнью, пущено вами насмарку. Я стал исполнителем программы, которую одобрить не могу, а теперь, вдобавок, являюсь козлом отпущения в этой жестокой игре, которую вы

называете «чистой России». Нет, я не интриган, ваше превосходительство, я только высказал Монарху мои мысли... А затем пусть судит Он сам.

— Петр Аркадьевич! Я это чувствовал давно. Я знал, что здесь, на этой чистке, мы разойдемся. Вы принадлежите к старой аристократии и всеми корнями вросли в здешнюю почву. Я маленький дворянин, почти плебей. Дворянство купил своей кровью мой дед под Бородином. Мои корни все там, в России, с Петербургом я ничем не связан, и мне жаль живую Россию, а не здешнюю публику. Вы являетесь, может быть невольно, отголоском старого, умирающего петербургского режима. Ну что же, спорить так спорить! Пусть Государь решает, работать нам вместе невозможно. Но прежде, чем я этот вопрос поставлю перед Государем, я попрошу вас дать мне еще одно маленькое объяснение более интимного свойства. Вы читали эту заметку?

Диктатор протянул Столыпину отчеркнутое место в «Новом времени». Министр несколько смутился, но твердо ответил:

— Я ничего не знаю.

— Странно. Ваш брат открыто сотрудничает у Суворина. И вот полюбуйте на эту *случайность*. На другой день после того, как Государь высказал мне, какое хорошее впечатление произвел на него крутогорский губернатор, в «Новом времени» брат министра внутренних дел делает против Тумарова очень скверный выпад.

— Повторяю вам, я ничего не знаю.

— Ну хорошо, на этом и закончим. Теперь я попрошу вас подождать минутку, пока Государю будет угодно сказать свое слово.

Иванов взял телефон, дал звонок и попросил доложить о себе Государю. Через минуту томительного молчания задребезжал ответный сигнал. Иванов твердым и ясным голосом сказал:

— Ваше Величество! Разрешите доложить, что мы только что объяснились с Петром Аркадьевичем по поводу его записки. Наши воззрения совершенно расходятся, и совместная работа невозможна. Считаю долгом совести просить Ваше

Величество решить, чья работа представляется более соответствующей Вашим видам и пользам России. Петр Аркадьевич убежден, что я приведу Россию к новой катастрофе. Кроме того, я так измучен, так устал и надломил здоровье, что с радостью сдам власть и могу рекомендовать именно Петра Аркадьевича на мое место.

Еще минуту длилось молчание. Иванов с трубкой, плотно приложенной к уху, смотрел прямо на Столыпина, министр нервно перебирал пальцами.

— Ваше Величество, — раздался почтительно, но настойчиво голос Иванова. — Уверяю Вас, это невозможно. Мы лично и не думали ни ссориться, ни расходиться. Расходятся наши воззрения, наши программы. Петр Аркадьевич, по совести и убеждению, обязан мне противодействовать. С другой стороны, и я не могу рассчитывать на ту работу, которой он в душе не сочувствует. Ваше Величество слишком милостивы и, конечно, Вашему сердцу больно, но решить необходимо теперь же! Ваше Величество, мы ждем!..

Опять наступило молчание.

Иванов сидел неподвижный, как изваяние. Момент был решительный, но диктатор был спокоен и готов ко всему. Перед ним в тумане мелькали его любимый полк, его Новгородская деревня, где он ценил каждый час отдыха в общении с природой. Наконец в телефоне послышалось своеобразное журчанье перебегающих слов. Столыпин взрогнул.

— Слушаю-с, Ваше Величество, — ответил Иванов.

Диктатор встал и подал Столыпину трубку телефона.

— Угодно вам выслушать решение Его Величества?

Через две минуты Столыпин грустно выходил из кабинета.

Проводив его, диктатор сказал дежурному адъютанту:

— Телеграфируйте в Крутогорск Тумарову, чтобы явился немедленно.

КАБИНЕТ ДИКТАТОРА

Политическая фантазия.

Завершение «Диктатора»

ХЛІ. Губернатор «со статьей»

Получив от генерал-адъютанта Иванова 16-го служебную депешу, вызывавшую его в Петербург, крутогорский губернатор Павел Николаевич Тумаров показал ее жене и дал знать по телефону на вокзал, чтобы ему оставили купе в скором поезде, проходившем через Крутогорск на Москву всего через два часа.

Сборы Тумарова были недолги, была готова во всякую минуту к любой поездке и его жена, преданная своему мужу и своему долгу как образцовая русская женщина. Так как энергичный губернатор ждал ежеминутно бомбы или пули, то Мария Николаевна не отпускала его одного никуда и была как бы его ангелом-хранителем.

— Ну, разумеется, тебя, Павлик, вызывают для назначения, — сказала Мария Николаевна, когда они уселись в вагон, распрощались с группой провожавших и поезд тронулся, — но что он тебе предложит?

— Ничего не знаю. Мы с ним виделись всего один раз у Лауница, правда, поговорили по душам, но ведь он меня совсем не знает. А в Петербурге кроме врагов никого... Да не все ли, Маруся, равно? Чем выше положение, тем более опасностей, а для тебя тревог. Давай лучше укладываться, я страшно измучен за эти дни.

Пока поезд спешил к Москве, можно в нескольких словах сделать характеристику Тумарова, которому судьба предназначила крупную историческую роль.

Революция выдвинула его из скромных рядов русского судебного сословия и сделала известным под кличкой «губернатор со статьей».

Тумаров говорил:

— Среди наших губернаторов есть отличные работники. Одно жаль: законов не знают. В нашем своде законов есть такие статьи, о существовании которых люди даже и не подозревают. Сделает человек что-нибудь, даже умное и хорошее, но без статьи, — глядь и нарвался! А со статьей милое дело: без ошибки — ни возражений, ни жалоб!

Так и пошло: «губернатор со статьей». В Крутогорске эта «статья» создала ему огромную популярность и перепортила немало крови местной красной братии.

Назначенный Столыпиным совершенно случайно из прокуроров в губернаторы, Тумаров явился в Крутогорск в самый разгар «освободительного движения». Первое, что он застал, — это огромное количество всяких революционных организаций, легализованных по новому закону как профессиональные союзы.

Собирает Тумаров свое губернское особое по обществам и союзам присутствие и заявляет:

— Тут у вас, господа, открыто множество профессиональных союзов, и все незаконно. Нарушена статья такая-то, запрещающая участие посторонних лиц. Союз портных — члены адвокаты и акушерки. Союз фельдшерниц — члены учителя гимназии и т. д. Я все их закрываю, но мне любопытно знать, кто о них был докладчиком?

Поднимается фабричный инспектор и заявляет, что докладывал он и что зарегистрированы союзы правильно.

Видит Тумаров, что докладчик «левее кадет», делает перерыв и отзывает фабричного инспектора в сторону:

— Скажите, мой дорогой, вам известна статья такая-то, объясняющая, что бывает чиновнику за фальшивую справку?

Неизвестна? Так вот: за это чиновник увольняется со службы. Но я не хочу портить вашей карьеры и рекомендую вам самому подать в отставку. Срок — два часа.

С первого же дня Тумарову пришлось повести в Крутогорске отчаянную борьбу с местной революционной печатью. Временные правила 24 ноября 1905 года были составлены словно нарочно для того, чтобы администрация не могла захватить выпущенный номер газеты. Тумаров распорядился отпечатать бланки приказов о конфискации, где оставалось только проставить номер «Крутогорского голоса» и статью закона. Затем полиция дежурила у типографии, и как только издание начинали накладывать на подводу, номер мчали к губернатору. Тот вставал, бегло проглядывал и говорил по телефону, какой пункт нужно проставить в приказ об аресте, затем ложился снова спать.

Когда, таким образом, за месяц было конфисковано что-то около 20 номеров, газета сама собой прекратилась.

Но издатель, местный кадет из купцов, Пузатов, не сдавался. Он объявил губернатору войну и представил на регистрацию несколько новых газет с разными редакторами. Проходят установленные семь дней — свидетельство не выдается.

Пузатов к губернатору.

— Ничего не знаю, никаких прошений не поступало.

— Как так?

Наводят справки, и оказывается, что подпись Пузатова на прошении нотариального засвидетельствования не имеет, что прямо требуется статьей такой-то.

— Вздумали воевать со мной, а законов не читаете! Дети вы!

Наконец, все формальности соблюдены, и для отказа предлога нет. Но и вечные конфискации надоели. Зовет Тумаров двух частных типографщиков, так как, конечно, ни губернская, ни земская типографии революционной газеты печатать не будут.

— Я должен вас, господа, предупредить. Разрешены газеты такая-то и такая-то. Печатать собираются у вас. По статьям

таким-то мне предоставлено право закрывать типографии. Поэтому прошу вас быть особенно осторожными. Газеты будут революционные, и я церемониться не буду...

— Ваше превосходительство, да мы лучше их печатать не будем.

— Что вы, что вы! Наоборот, пожалуйста, печатайте. Я только вас предупреждаю.

После этого разговора новые газеты не нашли ни одного охотника рисковать своим заведением и главное орудие революции было вырвано.

Последним подвигом, прославившим Тумарова на всю Россию, было оштрафование на 500 рублей местного присяжного поверенного Брехунцова за речь, произнесенную им в Крутогорском окружном суде.

Полетели телеграммы, была двинута в поход вся революционная сила. Столыпин смалодушествовал и не только не поддержал Тумарова, но отдал распоряжение уже зачисленный в средства казны штраф возвратить Брехунцову.

Но Тумаров себя побежденным не признал.

— Высшая политика — дело начальства. Приказано возвратить — ничего против этого не имею. Я поступал, строго держась статьи такой-то. Я оштрафовал за революционную агитацию, и мне решительно все равно, где эта агитация идет. Говорят, что окружной суд — территория председателя суда, а он не нашел нужным остановить оратора. Это его дело. Но я этой экстерриториальности не признаю, в законе этого исключения не показано, поэтому я революционные речи буду останавливать везде — и в суде, и в театре, и, если нужно, даже в церкви.

В самое короткое время Крутогорск из ярого революционного гнезда обратился в совершенно спокойный и по-старому консервативный город. Наиболее опасные элементы были высланы, земство очищено, полиция подтянута, благоразумные и спокойные люди, до сих пор запуганные и прятавшиеся, оправились и подняли головы.

Неожиданное для всех назначение Иванова 16-го диктатором открывало для Тумарова, как для крупного человека, обладающего железной волей и мужественной решимостью, — широкую дорогу. Он инстинктивно сознавал, что перелом совершился и наступило время действовать, приглядывался и ждал. Он знал, что Иванов ищет людей себе по мысли и отчетливо помнил и его умные, быстрые, проницательные глаза, и свой короткий и единственный, но очень содержательный и важный разговор с Ивановым после обеда у петербургского градоначальника, когда Тумарову и в голову не приходило, какую головокружительную карьеру готовит судьба его собеседнику, скромному армейскому полковнику.

«Он меня понял», — думал Тумаров.

Поезд остановился у Казанского вокзала. На платформе к Тумарову подошел агент Охранного отделения с телефонным сообщением от градоначальника Рейнбота:

— Генерал-адъютант Иванов просит крутогорского губернатора остаться в Москве и пожаловать к ним завтра в Кремль. Час приема будет назначен.

Тумаров подумал: «Вот молодец, начинает с Москвы». Он посадил жену в экипаж и отправился провести неожиданный день отдыха у родственницы.

XLII. Привет Москве

Новое правительство формировалось туго. Иванов не спешил с назначениями, выбирая людей безусловно подходящих, а таковых меньше всего можно было найти между множеством петербургских тайных советников, жаждущих министерских портфелей и готовых в любую минуту принять любой.

Два самых нужных человека были найдены. Соколов работал днями и ночами, подготавливая необходимые финансовые реформы и сдав почти полностью все текущие дела товарищам. Павлов со всей энергией взялся за аграрный вопрос, бесконечно запутанный законом 9 ноября и проти-

воположными крайностями правительственной политики. Оставалось заместить ушедшего Столыпина и приискать подходящих работников на посты государственного контролера и министра народного просвещения. Из остальных ведомств озабочивали Иванова только Синод, куда Иванов уже решил пригласить в обер-прокуроры известного деятеля по возрождению прихода А.А. Папкова, да Морское министерство, изображавшее истинные авгиевы конюшни... без лошадей. Здесь диктатор не хотел торопиться, поджидая, пока Соколов окончательно установит свой финансовый план. До этого нельзя было определить, с какими средствами начнет-ся возрождение русского флота, а следовательно, и выработать надлежащую программу.

Отчасти по той же причине, но главным образом высоко ценя работоспособность и добросовестность генерала Редигера, Иванов не беспокоился и за военное ведомство. Что же касается последнего остававшегося Министерства путей сообщения, здесь диктатор не считал себя достаточно компетентным ввиду узкой специальности дела и решил приняться за необходимые реформы только после того, как переустроенный Государственный контроль с новым деятелем во главе осветит надлежащим образом дефекты казенного строительства, казенного надзора за частными дорогами и казенного хозяйства на линиях государственных.

Вскоре после роспуска Думы Иванов доложил Государю о необходимости лично побывать в Москве и получил Высочайшее согласие. Отпуская Своего уполномоченного, Государь поручил ему передать «низкий поклон и Царский привет матушке Москве».

Был заказан экстренный поезд, и Иванов выехал, захватив с собой только двух адъютантов. О поездке никто не имел понятия, и первопрестольная столица узнала только из газет, что диктатор уже прибыл и остановился в Большом Кремлевском дворце.

К полудню следующего дня вереница экипажей направилась через все кремлевские ворота на прием. Чиновная, са-

новная и коммерческая Москва торопилась облечься в мундиры и ленты, чтобы взглянуть на легендарного диктатора, имя коего вот уже месяц было у всех на устах, а железная рука чувствовалась в воздухе.

Ровно в половине первого генерал-адъютант Иванов вышел к ожидавшей его огромной толпе, наполнявшей Андреевскую залу широким полукругом, остановился, окинул беглым взглядом собравшихся и произнес следующее:

— Господа! Облеченный Высочайшим доверием Его Величества и призванный Государем привести в порядок нашу дорогую Родину, только что пережившую все ужасы бессмысленнейшей смуты, я счел своей обязанностью при первой же возможности явиться сюда, в первопрестольную Москву, чтобы поклониться святыням московским и почерпнуть сил и вдохновения в ее славных исторических стенах, полных великих подвигов и народных преданий. Я привез матушке Москве поклон и Царственный привет Государя Императора (Иванов сделал глубокий поклон). Я был свидетелем той бесконечной доброты, того душевного умиления, с которыми Государь вспоминал о Москве и Своем в ней пребывании. И как бы хотелось верить, что Москва достойна этой доброты и этой высокой любви, как бы хотелось забыть, что этот священный для России и великий город так опозорил себя в годину смуты. Я не о восстании московском говорю, не о революции здешней, которую можно было бы назвать только глупой и детской, не будь она так подла и грязна... Я говорю о всеобщем ей попустительстве, о всеобщей рассеянности и трусости, благодаря которым немногого не хватало, чтобы древняя наша столица стала достоянием анархии, а ее святыни и памятники обратились в развалины, как драгоценнейшие здания Парижа в безумные дни Коммуны.

Вот где позор Москвы, а не в безумствах недоучившейся и невежественной молодежи, попавшей в сети еврейских революционных вожаков, доморощенных и заграничных. Не с этой молодежи, развращенной убийственной школой, почти не выдавшей доброй семьи и воспитания, нужно спраши-

вать, а с тех, кто вырастил эту молодежь, как молодых животных, кто сам лишь лицемерно говорит о Боге, о Родине, а не носит их живыми в сердце своем и потому не может и передать своим детям. Спрашивать с тех нужно, кто в тяжелую для России минуту вместо грозного слова обличения, вместо мужественного отпора разбушевавшимся недорослям мирволил смуте и льстил гнусностям освободительного движения. А были и такие, что прямо науськивали молодежь и на этом строили целые планы. Этому предательству, этой измене нет названия.

С величайшей тоской приходилось наблюдать постепенное падение Москвы как национального русского центра, как средоточия ума и народной совести.

Нет ничего удивительного, что в Петербурге свили себе прочное гнездо все нерусские элементы и антигосударственные идеи, что и отразилось так ярко на выборах в обе Государственные Думы. Но если Петербургу совершенно естественно быть революционным и кадетским городом, то можно ли было себе представить, чтобы Москва, видевшая в своих стенах все революционное безобразие и едва не попавшая в руки смутьянов, побежала снова за «освободителями»?

Плоха же историческая память москвичей! Позабыли нынешние поколения, что здесь собирались Земские Соборы, здесь установилось единение Самодержавного Царя с русской землей в лице ее земщины. Москва стала центром западного конституционализма, Москва отрешилась от своих славных преданий и поклонилась чужим богам.

В Москве зародилась чуждая русскому духу и русскому народу западная буржуазия, жаждущая политической власти, мечтающая о господствующей роли в России. Но где право этой буржуазии на господство? В чем ее национальные политические или культурные заслуги? Что дала она, какую новую идею выдвинула? До сих пор ее государственные подвиги не выходили за пределы промышленного кулачества, спорта, сорения деньгами да грандиозного разврата...

В голосе диктатора звучало раздражение, и он едва сдерживал охватившее его волнение. В зале царила мертвая тишина. Ничего подобного не говорилось никогда на официальных приемах.

Иванов остановился, перевел дух и закончил свою речь в тоне более мягком.

— Не конституционные домогательства, не парламентские гнусности, не отвратительная рознь и партийная ненависть должны исходить из Москвы, господа, а светлая, яркая и здоровая русская историческая мысль, великий труд и великий пример всей стране. И к этому труду в полном единении с вашим Царем и Его правительством я призываю вас. Из Москвы должно пойти обновление нашей Родины, но прежде должна возродиться сама Москва. Позвольте же пожелать, чтобы это возрождение началось скорее и снова, как встарь, поставило Москву духовным центром и водительницей русского народа.

Диктатор умолк. Мертвое молчание царило еще несколько секунд в зале, где словно застыла пестрая и яркая толпа в полторы тысячи человек. Затем все стали расходиться, сконфуженные и угнетенные смелой речью, и только при выходе начались разговоры и обмен впечатлениями. Мнения разделились, и лишь немногие решались громко одобрить речь диктатора. Большинство глухо ворчало, а кое-кто находил даже упреки Иванова неуместными.

Но ничего этого диктатор уже не слышал. Удалившись к себе, он дрожащей от волнения рукой налил стакан воды, залпом его выпил и дал распоряжение адъютанту:

— Сегодня я приму только Тумарова.

— Ваше превосходительство! Получена депеша от Порубина. Он сегодня должен быть в Москве.

— А, очень рад! Вот это отлично. Телефонуйте, что я его жду и приму во всякое время.

— Может быть, вам угодно принять Тумарова сейчас? Он был на приеме и ждет.

Через минуту Павел Николаевич Тумаров входил в кабинет диктатора.

XLIII. Новый министр внутренних дел

Иванов сердечно пожал руку Тумарова, заглянул в его глаза, имевшие удивительное свойство смеяться при самом строгом выражении лица, и сам рассмеялся.

— Ну-с, мой дорогой губернатор «со статьей», рад вас видеть. Садитесь. Известно вам, зачем я вас вызвал?

— Воля начальства. Впрочем, у меня в Крутогорске все в исправности.

— Ну разумеется! Нет, я вас не из-за Крутогорска вызвал. Я думаю, мы с вами поработаем в более широких сферах. Что вы думаете о моей идее областного устройства России?

— Ваше превосходительство, конечно, разрешите полную откровенность?

— Если вы станете меня обманывать, я же это разберу.

— Тогда позвольте заметить, что я считаю эту идею преждевременной.

— Вот как! А принципиально вы с ней согласны?

— Я этот вопрос недостаточно изучил. Вам виднее.

— Почему вы считаете области преждевременными?

— Мало того, опасными. Это слишком большая ломка, которую при теперешнем хаосе предпринимать очень рискованно. И кроме того, насколько мне известны ваши цели, они достижимы вполне и без этой ломки.

— А мои цели вам ясны?

— Думаю, что не ошибаюсь, по крайней мере в общих чертах. Вы распустили вторую Думу и третьей собирать не хотите, так как, разумеется, это ерунда. Но и бюрократии вы объявили войну. Насколько я понимаю, вы хотите обосновать все центральное управление на ряде земских советов, коллегий или как вам угодно будет их назвать. Все это было изложено в газетах довольно подробно.

— Эту-то мысль по крайней мере вы считаете правильной?

— Несомненно. В настоящую минуту все толковое и работоспособное в России, если искать, конечно, независимых

людей, сосредоточено в земских собраниях, губернских и уездных... Берите прямо оттуда.

— Слишком много народу придется вызвать. Мне нужны земские выборные: в Государственный Совет — раз, в Народнохозяйственный — два, в оба Сената — административный и контрольный — три, четыре, в Государственный Банк — пять, в Земледельческий совет — шесть, в Железнодорожный — семь, в Школьный — восемь, в Интендантский — девять, понадобятся, вероятно, и еще. Неужели губернские земское собрание может такое количество народу выставить? Ну и соберется кое-кто, когда нужны истинные работники и тонкие специалисты. И затем, каков будет состав этих советов? Земских губерний 36, но нельзя же исключать окраин, например, Западный Край, Польшу. Нет основания также не приглашать сибиряков, кавказцев. Затем приглашать по одному от губернии нельзя. Чтобы известная общественная единица, например уезд, губерния, область, город, могла действительно высказаться, необходима по крайней мере группа из трех человек, ее выборных, которые могли бы между собой посоветоваться. Областей у меня предположено 18. Каждая область более или менее однородна. В каждой области можно найти трех старых опытных земских деятелей в Государственный Совет. Вот вам 54 человека испытанных работников. С остальными членами состав Совета можно довести до 70—80 человек, — и это будет коллегия вполне работоспособная. От 60 же губерний я должен взять 180 человек, то есть довести состав Совета до 210—220 человек. Это уже говорильня, пойдут партии и т. д. Чем меньше число членов, тем лучше работает всякая коллегия, это старая истина.

— Я с этим, ваше превосходительство, спорить не буду. Но разве же вы не имеете средств то же самое сделать иначе? Губернские земства выберут каждое по три человека, а те уже от себя выделяют тот состав, который вам необходим. Ведь земцы отлично знают друг друга.

— И пусть они это сделают на месте, а не в Петербурге. Согласитесь, что в области, составленной из однород-

ных губерний, выборы будут гораздо лучше и сознательнее, чем в общей куче. Мне это совершенно ясно. Да что вы, наконец, имеете против областей? Ну назовем их генерал-губернаторствами, если область для вас «жупел».

— Нет, не жупел, а...

— Ну что же, в чем же дело? Говорите откровенно, не стесняясь.

Тумаров покачал головой, поморщился, как бы избегая неприятного ответа, и, наконец, сказал:

— Я лгать не умею. Не в областях тут дело, ваше превосходительство, а в том, что с 904 года *Россию задержали*. Дайте отдохнуть, дайте перевести дух. Дергал Святополк, все вверх ногами перевернул Сергей Юльевич, задержал и раздергал Столыпин. С вашим назначением прошел хороший электрический ток, все ожило, повеселело. Дайте же передохнуть, не задерживайте вы.

— Милый вы человек! Но ведь обновлять-то строй нужно? Ведь мы сидим между двух стульев. Ко мне со всех сторон пристают в Петербурге: собирайте Думу. Столыпин перед уходом хвалился, что он с Крыжановским такой новый избирательный закон выработает, что Дума будет мягче шелку. Я его спрашиваю, а как вы его проведете, когда ваша премудрая конституция на это никакого права не дает? Он говорит: ничего, один раз можно и самодержавно поступить. Так неужели же вы за Думу?

— За кого вы, ваше превосходительство, меня принимаете?

— Хорошо. Дума — чепуха. Что же, оставаться при старом бюрократическом режиме?

— Да ведь вы же изволите предлагать ряд советов из земских людей? Чего же лучше? И устраивайте.

— Так о чем же мы с вами спорим?

— А вот о чем. Вам представляется широкая реформа: областное деление, блестящий манифест, упразднение губерний. А я говорю: дайте отдохнуть от реформ. Не пишите манифестов, удержите существующие губернии, не делайте

перетасовок, а проводите вашу мысль будничным, деловым способом. Если хотите, я даже и против областей ничего не имею, но пусть они вырастут сами, а не свалятся в готовом виде. Ну вот, например, вы Россию разделили мысленно на 18 областей. Отлично. Оставьте всякие эффекты, а просто назначьте в избранные районы генерал-губернаторов. Пусть они соберут у себя земские *съезды* из своих губерний. На эти съезды передайте разработку ваших предложений об областном устройстве, да еще замаскируйте слегка, чтобы никакой ломки не было видно: укажите на общие районные интересы и необходимость совместного их решения. Затем устройте около генерал-губернаторов порайонные советы из выбранных от губернских, а еще лучше — от уездных земств. Если эта идея имеет здоровый росток, он проклюнется сам собой. Все само вырастет.

Пока Тумаров говорил, диктатор улыбался. Эти были его собственные мысли, но несколько в ином практическом освещении.

— Павел Николаевич! Да ведь мы с вами, в сущности, и не спорим.

— Я то же думаю.

— А вы могли бы все это провести в жизнь?

— Да, но я, ваше превосходительство, должен предупредить: я только исполнитель, и исполнитель до крайности осторожный. Творчества во мне не ищите.

— Но зато критика будет?

— Без критики можно Бог знает куда зайти.

— Ну так вот что. Идейная сторона для меня выяснилась, а вашу практическую деятельность, вашу смелость, мужество и прямоту я уже знаю. Знаю также, что вы шагу не ступите без «статьи». Поезжайте сегодня же в Петербург и явитесь к Государю.

— Слушаю-с. Что я должен буду доложить?

— Вас Государь назначит и даст вам Свои указания.

— Назначит... чем?

— Господи ты Боже мой! Министром внутренних дел, не митрополитом же здешним.

— Спасибо за доверие. Отказ сочтете, пожалуй, за трусость.

«Бедная Маруся, — подумал Тумаров, — теперь-то предстоит ей мука и тревоги. Но Бог милостив».

XLIV. Спасительная мера

В одиннадцать часов вечера Тумаров и его верная спутница жизни сходили с лестницы скромного дома на Собачьей площадке, чтобы сесть в извозничью коляску и ехать на Николаевский вокзал, когда к подъезду подкатил частный пристав и на ходу перехватил Тумарова, вручив ему собственноручное письмо диктатора. Крутогорский губернатор подошел к фонарю у крыльца, разорвал конверт и прочел следующие строки, написанные широким размашистым почерком Иванова.

«Дорогой Павел Николаевич!

Обстоятельства изменились, поездку отложите, жду завтра к часу завтракать.

Ваш Иванов».

— Что такое? — спросила жена.

— Отбой, играй назад, остаемся.

— Значит, назад в Крутогорск? Господи, как я счастлива.

— Ничего не понимаю.

Частный пристав подошел с масляной улыбкой, светившей даже в полутьме пустынной улицы.

— Ваше превосходительство... осмелюсь побеспокоить.

— Что прикажете?

— Насчет вашего высокого назначения... Правда ли, ваше превосходительство?

— Какого назначения?

Пристав расплылся в широчайшую улыбку:

— На то мы и полиция, чтобы быть осведомленными...
Вернейшие слухи...

— Совершенно ничего не знаю.

Блюстителю порядка ловко козырнул, извинился за беспокойство и укатил, а Тумарову только на лестнице пришла в голову странность поведения частного пристава. Говорили они с Ивановым в четыре глаза, а в Москве уже «вернейшие слухи».

Вечер был потерян, но еще не все разъехались, и мог составиться винт, за которым Тумаров и просидел трудолюбиво до двух часов ночи.

Однако ему не спалось, он нервничал и ворочался и в восемь уже встал. Облачившись в тужурку, принялся Тумаров за кофе, рука машинально протянулась за свежей газетой. Но подносе лежало «Русское слово», еще полное запаха типографской краски.

— Что за охота сестре эту мерзость выписывать, — проворчал Тумаров, раскрывая газету, и... вдруг остановился и словно застыл на месте с непроглоченным куском сухаря во рту...

Во всю вторую страницу сытинской газеты стояла крупнейшая подпись:

НОВЫЕ МИНИСТРЫ,

а под ней в подлинном тексте именной Высочайший Указ:

«Нашему статскому советнику *Павлу Тумарову* повелеваем быть министром внутренних дел с производством в действительные статские советники.

Нашему действительному статскому советнику *Александру Папкову* повелеваем быть обер-прокурором при святом Правительствующем Синоде.

Нашему члену Совета Государственного Контроля тайному советнику *Афанасию Васильеву* повелеваем быть Государственным Контролером.

Правительствующий Сенат не оставит учинить по сему надлежащее исполнение».

Первым инстинктивным движением нового министра было крикнуть «Маруся!», но на дамской половине все еще

было тихо, а Тумаров привык беречь вечно чуткий сон жены. «Пусть спит», — подумал он и снова взялся за газету. Целая полоса была посвящена вчерашнему приему во дворце. Речь диктатора была отпечатана крупным шрифтом. Привычным глазом стал Тумаров пробегать передовые статьи и тотчас же натолкнулся на такое рассуждение:

«Трудно более подчеркнуть торжество реакции, чем это делает каждый день злая насмешница-судьба. Интеллигентная и освободительная Москва дожидая до счастья *ad personam* услышать высокие поучения в стиле бессмертного ялтинского отца-командира Думбадзе, а теперь ей предстоит, вероятно, и увидеть все то, что мы за эти дни наблюдали в Петербурге с момента восстановления “диктатуры сердца” в новом, улучшенном и исправленном, издании. Но мы не будем повторять слов покойного А.И. Кошелева, вырвавшихся при чтении телеграммы о назначении графа Д.А. Толстого: “Что же теперь?!” Наш ответ начертан огненными буквами во всех прогрессивных сердцах...»

Ах, собачьи дети!

Тумаров не мог больше читать и с сердцем швырнул газету. Перед ним, как живой, встал «Крутогорский голос», только что раздавленная им вредная и грязная газета. Но что такое какой-то жалкий провинциальный листок перед огромной московской простыней, считавшей свыше ста тысяч подписчиков и разносившей заразу по всей России? Тумаров видел у себя в Крутогорске результаты сытинской «коммерции» и оттуда еще категорически настаивал перед правительством о необходимости усмирить революционную печать. Теперь эта печать велением судьбы была в его руках.

Но над «Русским словом» мысль Тумарова останавливалась недолго. Было необходимо сообщить новость жене и тотчас же перебираться из квартиры родственницы, так как через час явится с визитом вся официальная Москва.

Тумаров заглянул в окно и увидел перед своим подъездом околоточного и двух городских. Приотворил дверь в залу и увидел жандармского офицера, какого-то чиновника в мун-

дире и красавца городского с грудью, увешанной медалями. Было тихо, как в храме.

— Ротмистр, будьте добры съездить в «Славянский базар» и взять мне номер комнаты в три с приемной. Затем надо экипаж...

— Экипаж уже приготовлен, ваше превосходительство.

— Спасибо. И затем надо уехать, никого не беспокоя. Здесь прошу не принимать никого.

Было около 10 часов, когда Тумаровы въехали на Никольскую. В «Славянском базаре», несмотря на неурочное время, кипело, как в улье. Темный вестибюль гостиницы был переполнен полицией и жандармами, зорко оглядывавшими каждого посетителя. Проходя через толпу, Тумаров уловил взглядом грузную фигуру Сытина с мышиными глазками на лисьей физиономии.

«И вызывать никого не надо», — подумал Тумаров.

Он прошел во вторую комнату своего номера, предназначенную быть кабинетом, и, увидав на столе телефон, попросил соединить себя с Большим Кремлевским дворцом.

Загадка тотчас же объяснилась. Иванов телефонировал Государю, что посылает в Петербург Тумарова. Государь отвечал, что Он охотно назначает Тумарова заочно, отлагая представление до приезда в Петербург Иванова вместе с Тумаровым. Это составит разницу всего в несколько дней, а так как назначение не может ждать, то Государь подпишет указ сегодня же, присоединив, кстати, и двух других членов кабинета, о которых с Ивановым уже было условлено.

Явился с поздравлением градоначальник Рейнбот. Оглядев номер, он заметил, что случайно это те же самые комнаты, где останавливался покойный Плеве в первый свой приезд в Москву и откуда он ездил говеть в Троицкую лавру.

В голосе градоначальника Тумаров заподозрил оттенок лукавства и сказал очень просто:

— К Троице я не поеду. Я в этом году говел. Если бы можно съездить совершенно без огласки, я бы не отказался. Но демонстративно не хочу.

— Как прикажете с приемом? Желающих огромное количество.

— В час я у Императорского уполномоченного. До двенадцати могу принимать. Кто там из наиболее видных?

— Официальные лица, а затем... Монархическая партия с Грингмутом и Восторговым, Союз русских людей со Щербатовым и Бартеневым, Союз русского народа с Ознобишиным. У них ликование. Говорят: наш черносотенный министр.

— Ого! Эти союзы — несчастье для всякого министра. Знаете что, Анатолий Анатольевич, направьте-ка вы их лучше в Кремль, к высшему начальству. Тот, кажется, им собирался сказать несколько теплых слов. Он даст верный тон, а мы уж так и пойдем. Я к официальным лицам сейчас выйду, а из частных... надо поговорить с Сытиным.

— Слушаю-с. Он там дожидается.

— Не знаете, он зачем?

— Вероятно, с жалобой на меня.

— Вот что: вы хорошо помните указ о приостановке закона об отмене телесных наказаний? Пункт «г» второй статьи вы применяли?

— Раза два всыпал: одному наборщику и одному вольнослушателю. Жиду, конечно.

— Что, если бы я попросил вас по пункту «г» угостить Ивана Дмитриевича двадцатью пятью горячими?

— Если вам угодно будет приказать.

— Для начала министерской работы. Идет. Давайте-ка его сюда.

Знаменитый издатель, вызванный первым, польщенный вниманием к «прессе» нового министра; вошел в кабинет — развязный и сияющий. Рейнбот отошел к окну, а Тумаров смерил глазами Сытина.

— Вы ко мне?

— К вашему высокопревосходительству. Пора закончить здешний произвол, от которого нам житья нет...

— Та-та-та, на каком вы языке беседуете, господин Сытин... Ну так вот: вы ко мне, а я хотел сам вас вызвать. Се-

годняшняя передовая есть верх наглости и является прямой революционной провокацией. Вам известен пункт «г» второй статьи Высочайшего указа 27 февраля? Я могу пожалеть мальчишку — революционера, начитавшегося глупых книжонок. Могу отнестись снисходительно к болвану-профессору, проповедующему вздор, потому что тут можно хоть заподозрить убеждения. Но вы, господин Сытин, вы революцией торгуете, для вас у меня пощады нет. Вчера огребали деньги у Победоносцева и Саблера, сегодня подуло другим ветром — и вы торгуете революционной газетой... Вы наживаетесь на развороте, на гибели России, на глупости несчастной молодежи, на подуськиваниях и натравливаниях...

Сытин бледнел, краснел и, наконец, как был, во фраке, опустился на колени.

— Ваше высокопревосходительство, помилосердствуйте! Завтра же разгоню всю редакцию. Самая патриотическая газета будет. Самому надоело. Типографию какую сожгли!

— Это завтра. А сегодня, Анатолий Анатольевич, благоволите дать господину Сытину в его участке 25 розог. И возьмите с него подписку, что он их получил, а то будет отпираться.

XLV. Профессор Порубин

К назначенному диктатором часу новый министр внутренних дел явился во дворец и застал у Иванова двух лиц, приглашенных вместе с Тумаровым к завтраку. Это были новоназначенный обер-прокурор Синода Папков и профессор Порубин, тот самый, которого ждал диктатор и телеграмме которого так обрадовался.

Папков в ожидании назначения, которое уже было условлено, жил в Москве несколько дней, заканчивая давно начатую работу, — исчисление имущества московских церквей и монастырей. Он приобрел широкую и почетную известность как инициатор возрождения прихода, о чем горячо ратовал в Предсоборном Присутствии. Из лиц, при-

глашенных Ивановым на совещание о приходе вскоре после назначения диктатора, Папков ближе всех принял к сердцу идеи Иванова о создании всесторонней административной, земской и городской единицы на территории прихода и обстоятельно разработал переданный ему Ивановым проект сельского священника. До окончания этой работы Папков просил отложить свое назначение, чтобы не отвлекаться текущими делами Синода.

Нечего говорить, до какой степени было возбуждено против Папкова московское духовенство, хорошо знакомое с его идеями. Обладая огромными капиталами и доходами, московские батюшки умели до сих пор с необыкновенным искусством отстаивать свое неприкосновенное положение от всяких посягательств своего или чужих ведомств, и, конечно, не кроткому и миролюбивому митрополиту Владимиру удалось бы сломить столетиями сложившийся и окрепший строй. Тонкие психологи в рясах отлично учитывали всю трудность реформы и не верили ни в настойчивость, ни в силу Папкова.

Профессор технической химии и известный публицист Иван Васильевич Порубин был вызван диктатором в надежде столкнуться о портфеле ведомства просвещения, но воззрения старого ученого были настолько радикальны, что диктатор был положительно смущен. Он не решился поэтому делать единоличного доклада Государю, а сначала хотел обсудить вместе с несколькими наличными министрами программу Порубина.

Инцидент с Сытиным был уже известен во дворце. Вся компания залилась дружным смехом при входе Тумарова.

— Поздравляю с крестником, — заявил Иванов. — Вот это я понимаю, это по-военному.

— Не забыта и юридическая сторона, — добавил Папков. — Взята собственноручная подписка на случай заpiresательства.

Порубин молча подошел к Тумарову, важно поклонился ему, коснувшись пальцами пола, и произнес:

— Если бы это спасительное средство применяли вовремя, Россия не переживала бы того, что мы все видели.

Иванов пригласил своих гостей к завтраку и, не откладывая, приступил к делу.

— Господа, нас немного, но я все же надеюсь, что сообща мы разберемся, и мне не придется брать на себя одного слишком тяжелую нравственную ответственность. Благоволите прослушать программу нашего уважаемого профессора и установить на нее вашу точку зрения. А вам, добрейший Иван Васильевич, не угодно ли будет сообщить вашим будущим товарищам то, что вы мне передавали.

Порубин, высокий худой старик лет 60 с огромной совершенно белой бородой и розовыми щеками, был когда-то профессором и пользовался в ученом мире большим уважением. Конфликт с графом Д.А. Толстым, еще министром народного просвещения, выбросил его из профессуры. Порубин вышел в отставку и засел в своем небольшом имении, устроив у себя ценную лабораторию.

Скоро он увлекся хозяйством и науку почти забросил, но зато стал посылать в журналы статьи, посвященные вопросам народного быта, хозяйства и особенно просвещения. Статьи эти создали ему крупное имя совершенно независимого и весьма радикального публициста, а изданная им книга «Свет или Тьма?», прочитанная всеми и ставшая в свое время событием, заставила Иванова обратиться к нему, когда явился вопрос о министре народного просвещения.

— Я, господа, буду краток, — начал Порубин, — и не стану вам рисовать современное положение нашего просвещения. Все это вам хорошо известно, а потому прямо перехожу к положительной стороне. Вот его высокопревосходительство сделал мне честь — предложил пост министра просвещения. Я хоть и стар, но, как видите, силы еще сохранились и поработать для России рад. Но я понимаю работу только тогда, когда нет никаких недоразумений, никаких трений. У меня сложилось совершенно цельное и последовательное воззрение на постановку школы в России, настолько цельное, что не допускает никакого

компромисса. Или моя программа будет одобрена вся целиком и проведена без колебаний в полном объеме, или я не сделаю ни одного шага из моей Малиновки...

Тумаров перебил профессора:

— Я вашу книгу читал. Сколько помню, вы стоите за полное упразднение казенного просвещения?

— С издания моей книги прошло пятнадцать лет, да тогда по цензурным условиям и нельзя было всего высказать. Теперь мои взгляды сложились окончательно. Вот основной принцип: *правительство должно совершенно отказаться от насаждения просвещения. Пусть каждый учится где хочет, чему хочет, у кого хочет и за чей счет хочет*, только не за казенный. И этот принцип надо проводить без всяких исключений или смягчений.

Иванов отозвался с улыбкой:

— Ну вот, не угодно ли передать портфель просвещения автору подобных афоризмов?

— Да разве я вашего портфеля ищу, разве я вам набиваюсь? Кто меня вызывал срочными телеграммами? Я с посевов уехал...

Диктатор отвечал нетерпеливо:

— Боже мой, не в этом дело. Вы сказали ваш принцип, а я скажу мой. Я не допускаю никакой капитальной ломки, ни одной основной реформы без твердо установленного общественного одобрения. Другими словами, необходимо обстоятельное обсуждение этого вопроса, ну хоть бы земскими собраниями. Но скажите ради Бога, можно ли даже предложить земским собраниям обсуждать такого рода вопрос? Ведь по всей России поднимется вопль.

— Ваше превосходительство, я человек старого закала. Меня вы на ваши либеральные теории об общественном мнении не поймаете. Где это ваше общественное мнение? Кто его выразители? Либеральные крикуны? Жидовские публицисты? Союз русского народа? Или господа «православные», готовые сжечь всю Россию и сами подохнуть с голода? Дело идет о спасении России. Все может ждать, но не школа, ибо

мы, вот, все перемрем, а школа выпустит таких прохвостов, что не только в министры, в околоточные некого будет взять. Тут нельзя терять ни минуты.

Тумаров и Папков молчали, с любопытством прислушиваясь к спору. Диктатор начинал волноваться.

— Оставьте «общественное мнение», профессор. Это пошлый избитый термин. Говорите об общественной или лучше о *народной совести*. Это понятие не формальное. Это совсем невесомая, но величайшая сила, и вы должны быть уверены, что она за вас, а не против вас...

— Согласен! Так позвольте же мне эту совесть искать прежде всего вот здесь (Порубин показал на сердце). Я живу одной жизнью с русским народом, верую его верой, мыслю его умом. Если вот отсюда (тот же жест) протеста не будет, то позвольте мне думать, что и народ моей мысли не опротестует и история меня не осудит.

Диктатор живо ответил:

— Счастлив тот, кто смеет говорить с такой уверенностью. Но не забудьте, профессор, что все фанатики и все утописты рассуждают так же.

— Ваше превосходительство, скажите это не вы, а кто другой, я бы ответил по-своему. Но вас я люблю и чту и знаю, что оскорблять меня вы не хотели. Нет, я не фанатик и не утопист. Я сам жду критики и рад ей, иду ей навстречу. Но позвольте мне критику выдающихся людей, а не пересуды только. Это большая разница. Будемте кратки. Вот здесь сидят два человека, одинаково крупные, одинаково государственные работники. Пусть возражают. Мало? Зовите еще людей выдающихся, но *единиц*, а не *стадо*! А ваши земские собрания, простите меня, — стадо, как и всякая Дума, всякий парламент. Туда я разговаривать не пойду.

— Профессор прав, — сказал Тумаров.

— Не правда ли? — отозвался Порубин. — И потом, эти люди не могут быть судьями, потому что заинтересованы сами, являются стороной в деле. Наше просвещение есть подарок обществу за счет народа. И вот, я прихожу к этому

обществу и предлагаю от этой подачки, от этой субсидии отказать и взять все расходы на самих себя. Да меня вытолкают в три шеи! Вы посмотрите: отовсюду только и просят: дай денег на университет, на политехнику, открой такие-то курсы, такие-то школы...

— Как же быть, господа? — спросил Иванов.

Папков отозвался:

— И вы, ваше превосходительство, правы, и профессор по-своему прав. Надо действовать осторожно. Почему бы нам не посвятить этому делу совещание, прихватив еще человека три-четыре? Пригласите Дмитрия Алексеевича Хомякова, Федора Дмитриевича Самарина, ну, Иловайского, Самоквасова, что ли? Они, кажется, все сейчас в Москве.

— Что вы скажете, Павел Николаевич?

— Хорошая мысль. Я бы пригласил еще Николая Алексеевича Хомякова. Он в этом вопросе единомышленник Ивана Васильевича. Я читал его статью в «Русском деле» о закрытии университетов.

— Да, но, говорят, Хомяковых нельзя приглашать вместе?

— Ничего, при вас спорить не будут.

— Слушаю-с. Только вы имейте в виду, что Хомякова Николая я совсем не знаю, а Хомяков Дмитрий расширит вопрос до дня мироздания, от Самарина же, кроме его вечного «едва ли», вы ничего не получите. Ладно, я вас соберу.

XLVI. Вопль одинокого

В Кремле звонили уже к заутрени, когда генерал-адъютант Иванов заканчивал свой трудовой день.

После бесчисленных приемов, совещаний и выездов, оставшись, наконец, один, диктатор захотел отвести немного души в беседе с женой. Он начал ей писать письмо бегло, телеграфным стилем, но душа наболела и перо само ходило по бумаге, несмотря на страшную усталость, почти разбитость, которую ощущал Иванов.

Он писал, между прочим:

«Ты спрашиваешь, каким образом я так неожиданно попал в Москву и что тут делаю? Я тебе признаюсь. Я просто сбежал из Петербурга, чтобы хоть на короткое время подышать другим воздухом. Ты знаешь, что там сейчас делается и каково мое положение. Я задыхался от всех тамошних интриг, мерзостей и подвохов, а главное, от ужасающей пустоты. Принимая власть, я, признаюсь, ждал немногого от тамошних людишек, но нашел еще меньше.

Теперь передо мной прошла коллекция выдающихся москвичей. Здесь-то уж люди могли бы сохраниться. В Петербурге один бог — «двадцатое число», и все то, что укрепляет бюрократию, есть добро, что ее подкапывает — зло. Здесь есть люди независимые, правда, но Боже мой, что это за убожество! Ни там, ни здесь истинно государственной творческой мысли и не заводилось. Большинство думает по шаблону, по книжке или по газете, а если попадется человек оригинальный, то так и говори вперед, что это маньяк или помешанный; одним словом, я могу ждать всякого успеха, если что удастся сделать хорошее, могу встретить и уже встречаю ненависть, но все это совершенно пассивное. Я не вижу и признаков того, что в культурных странах называется *общественным мнением*. Восторгается и приветствует глупая толпа. Неистовствует и злобствует она же. Дайте мне умных и толковых сотрудников — их нет. Дайте умных идейных врагов — тоже нет. В результате я оказываюсь совершенно изолированным, среди огромной толпы и как будто на необитаемом острове. Свобода действий полная, никакая мера препятствий не встретит, все или равнодушны, или бессильны и безвольны, но именно от этого-то и опускаются руки. Меня зовут диктатором, передо мной все расступается, — делай что хочешь, но делай *один*, когда я именно хочу *общественной, соборной* работы, где бы я лично был только регулятором или, точнее, исполнителем общего решения, того решения, которое дали бы общественный ум, общественная совесть, а я только бы оформил и осуществил. Только такое творчество я могу понять, только такой работе могу себя отдать. А мне приходится

думать за Россию, то есть сочинять, фантазировать, самого себя убеждать, самого себя опровергать.

Не думай, дорогая, что это говорит моя гордость. Я не этим болен, а скорее смирением. Ты скажешь: как так нет людей? Да разве может великий народ, великая страна обходиться без людей? Я скажу: люди, конечно, есть. Но или я их не могу найти, или их Господь так всех оглушил, что вывел из строя и сделал негодными.

Посмотри, Бога ради: что такое наши современные партии, на которые разбилась Россия. Начинай слева. Пропускай всю честную компанию эсеров, эсдеков и всяких иных «товарищей». Стадо буйных помешанных и притом круглых невежд. Их единственная заслуга перед Россией та, что они заставили сорвать две Думы и показали, что такое российский социализм разных оттенков. Затем бери кадет. Между ними много очень умных, сведущих и, пожалуй, даже почтенных людей, но разговаривать ни с одним нельзя. Это рабы своей ненависти, своей жажды власти и своих дурацких программ. Дай им четверохвостку, дай им еврейское равноправие и позволь разорить частное, особенно дворянское землевладение. Зачем? Да чтобы вычеркнуть всю Русскую историю, уничтожить все традиции, весь дух старого строя и быть... совершенно голенькими европейцами. Черт знает что!

Подвинься вправо. Мирнообновленцы? Славные, симпатичные евнухи! Дайте им чистенькую конституцию, чистенькие министерские портфели, и они в перчаточках будут чистенько править Россией. Тьфу! А по образованию, по внутренней порядочности и чистоте рук это настоящие джентльмены. Вот образец русского либерального пустоцвета.

Октябристы? Их две категории. Одни попали сюда, чтобы только не быть с правыми, и готовы принять конституцию, ни капельки в нее не веря. Это умственные лентяи. Другие — из купцов — вот они где, настоящие сознательные умные конституционалисты! О, они давно уже мечтают о конституции, давно разведали, где раки зимуют. Аршин вырос из-за прилавка и тянется к царской мантии и скипетру.

Сохрани Бог, утвердился в России парламентаризм, тогда эти господа станут хозяевами и переделают «Святую Русь» по-своему. Погана западная буржуазия, но наше кулачье еще гаже. Этим, пока я у власти, война не на жизнь, а на смерть!

Забыл третью группу — карьеристов. К стыду нашего дворянства, это все крупные землевладельцы, лезущие как бараны в рот к чумазому. Погодите, милостивые государи! Чумазый предал Францию жиду, чумазый съел философскую Германию, чумазый съест и вас со всем вашим благородством и идеализмом. Да и съел уже почти. Вот они, палаццо московские в мавританском стиле, вот откуда шли деньги на революцию, вот где сила нынешней Москвы!»

Иванов прочел последние строки, вылившиеся из-под пера, и подумал с улыбкой: «Однако вместо письма жене я, кажется, целую политическую лекцию написал?»

Но мысль, работавшая в одном направлении, не хотела сходить с рельс, и перо машинально продолжало:

«И ни там, ни здесь нет людей! Может быть, и есть, но все так завязли в эту проклятую политику, что помощи от них не жди. О Господи, как я одинок!

Но ты, может быть, укажешь на правых, — вот где люди. Увы, моя дорогая, здесь убожество еще ярче, партийность еще возмутительнее. Сами ни одной живой творческой идеи не выдвинули и только повторяют зады, а своих противников ненавидят на смерть и считают русскими только одних себя. А между собой перегрызлись и готовы друг другу перервать горло. Злы, точно их сырым мясом кормят.

Я пробовал искать людей во всех партиях и не нашел. Где же люди? Быть может, там, в глуши, в деревнях, среди молчащих? Но Бога ради, не обман ли это воображения? Не искание ли это грибов на том месте, где когда-то был лес, а теперь и пни сгнили?

А между тем весь ужас в том, что кроме земства у нас в России ничего серьезного не осталось. Либеральная интеллигенция для дела совершенно непригодна, городские слои плохи и ненадежны, народу еще нужно научиться азбуке

государственного разума, которое из него за двести лет совершенно вышибли, на духовенство надежды нет. На кого же я должен опереться, где искать общественного мнения, общественной совести, государственной мысли?

Я о моих сотрудниках не говорю. Кое-как днем с огнем я их подобрал. Со всей России дюжина министров наберется. Но так и кажется, что мы составляем каких-то заговорщиков, какую-то шайку, у которой я атаман. Ответственность страшная и разделить ее не с кем, потому что мои товарищи, в сущности, прячутся за моей спиной. Каждый добросовестно работает над своей частью, но на целое смотрю один я, и, верь мне, дух замирает от страха за каждый свой шаг. А я не робкого десятка.

Прости, дорогая, что занимаю тебя этими вещами. Но верь, изболела душа. Я не говорю уже про чисто физическую муку. Дела без конца, и дело засасывает настолько, что каждую минуту рискуешь оступиться и наделать бед.

Ах, зачем ты не около меня? Я знаю, ты права, удалившись от суеты и выставки. Но мне тебя нужно до боли. Бывают минуты, когда мозги путаются, и вот тут единственная отрада и облегчение — моя Вера, к которой рад бы прибегать на минутку, перекинуться словом, отдохнуть душой, но моя Вера за тысячу верст...»

Диктатор кончил несколькими сердечными строками и запечатал письмо. Пробило шесть часов, но нервы бедного Иванова так расходились, что вместо сна он вышел на террасу дворца, откуда, как на ладони, была видна вся Москва, освещенная первыми лучами восходящего солнца.

Иванов облокотился на балюстраду и задумался.

«Какая страшная тайна — наша Россия. Господи! Ты поставил меня, ничтожного и слабого, у Твоего избранного сосуда, а я не в силах даже его разглядеть. Поддержи меня, вдохнови и помоги».

По Кремлю раздавался медленный перезвон к ранней обедне.

XLVII. Основы учебной реформы

Совещание по школьному вопросу, собранное Ивановым, вышло необыкновенно бурным. Диктатор председательствовал и не только не стеснял выражения самых крайних мнений, но сам их вызывал, не стесняясь все более и более обострявшейся атмосферой. Именно среди раздражения собеседников и высказывалось до конца то, что в тихой и мирной беседе умалчивается или недоговаривается.

Профессор Порубин одержал блестящую победу, убедив диктатора и наличных министров в строгой целесообразности и спасительности своего плана, который поначалу даже Иванову показался чересчур радикальным.

А этот план состоял не больше и не меньше, как в совершенном отказе правительства не только от государственной школы, но и от самой инициативы народного образования. Государство оставляло за собой только те специальные школы, которые были нужны ему непосредственно, как, например, школы военные и морские, и предоставляло полную свободу школе общей, частной и общественной.

Упразднялись Императорские университеты. Казенные здания вместе с коллекциями, клиниками, музеями и всякого рода имуществом предполагалось сдавать на льготных условиях в аренду группам профессоров на основании строго выработанных договоров. Средства должны были давать сами желающие получить образование, а также общество и богатые фондатеры. Правительство оставляло за собой только надзор за внешним порядком и за ходом преподавания без всякого вмешательства во внутреннюю жизнь и самоуправление высшей школы. Проводился один основной принцип: все в высшей школе должно быть *безусловно гласным и открытым*. Правительственный инспектор имел право присутствовать на каждой лекции, на каждом заседании, на каждом экзамене, требовать копию каждой бумаги академического делопроизводства.

Если он находил что-нибудь противозаконное или замечал нарушение договора с правительством, он имел право делать письменные предложения ректору или возбуждать судебное преследование. В случае указанных на суде серьезных злоупотреблений, предвиденных в договоре, контракт мог быть уничтожен судебным приговором, и тогда высшая школа закрывалась и передавалась другому составу профессорской коллегии.

Были строго обдуманы переходные меры от нынешнего порядка к новому, чтобы не нарушать ничьих интересов и не делать грубой ломки.

При обсуждении этой части плана Порубина негодованию и возбуждению приглашенных на совещание профессоров не было предела. Ученые всех оттенков дружно держались за излюбленное 20-е число и с ужасом представляли себе перспективу вольного университета.

— Вы убьете науку, вы разгоните всю молодежь, — почти кричал профессор Мануйлов. — Разве вы не знаете, что Россия нищая? И сейчас две трети студентов не могут обойтись без пособий на взнос платы и без стипендий. Что же будет тогда, когда университет должен будет назначить плату до 300 рублей?

Порубин отвечал спокойно:

— Про науку нет речи. Кому нужна чистая наука, тот ее найдет. Речь о лицах интеллигентных профессий, врачах, юристах, агрономах, учителях. Пройдя высшую школу и получив диплом, юноша получает готовый капитал, позволяющий ему вырабатывать в среднем от 2 до 3 и 4 тысяч рублей в год. По самой скромной капитализации это составит 50—60 тысяч. Четыре года университета по вашей же расценке потребуют 1200 рублей платы за учение и тысячи две расходов на содержание. Итого 3 200 рублей. Сравнительно с получаемым капиталом эта сумма ничтожная. А если этим путем будет остановлен несколько прилив учеников из низших слоев, то худого в этом ничего нет. Пополнятся ряды других профессий. Теперь все лезут в студенты, и в России

нет порядочного слесаря, кузнеца, плотника. Тогда волей-неволей пойдут на производительную работу, да и диплом потеряет значение. Неужели же справедливо облагать нищий народ, чтобы создавать новое сословие господ, садящихся ему на шею? Наши университеты ведь, в сущности, только школы чиновников.

Средняя школа по плану Порубина подлежала передаче местным земским и городским самоуправлениям с предоставлением им полной свободы в установлении учебных планов, в выборе системы преподавания и приглашении директоров и преподавателей, при условии такого же правительственного надзора, как и за школой высшей. Для переходного времени государство оказывало средней школе, уже существующей, некоторое пособие. Пенсии учительскому персоналу и служащим переводились по добровольному соглашению в общее государственное страхование.

Наряду со школами общественными стояли на полной свободе всякого рода частные школы, подчиненные той же инспекции. Порубин полагал достаточным иметь в каждой губернии по одному инспектору школ с помощниками в каждом уезде для надзора за школами низшими. Обязанность инспекторов состояла в постоянных разъездах по уездам и городам и представительстве, с одной стороны, государственного обвинения на суде, с другой — в оказании всякого рода помощи и поддержки, которую могло дать местной школе министерство. Эта поддержка выражалась отчасти в прямых ассигнованиях из Государственного Казначейства, а затем в виде рекомендации директоров, учителей, учебных пособий, в пополнении кабинетов и т. д. Школьный инспектор и его помощники являлись обязательными членами ответственных земских собраний и городских дум с правом участия во всех школьных комиссиях и непосредственного доклада земским и городским собраниям своих замечаний о постановке и ходе школьного дела. Решающего голоса они, разумеется, не имели.

Дипломы всякого рода отменялись, но зато широко ставились государственные экзамены. По каждой отрасли государственной службы устанавливались особые программы, где рядом с определенным кругом научных познаний требовалось широкое практическое знакомство со специальностью службы. Это обуславливало необходимость основательных практических занятий соискателя, которые всячески и облегчались. А затем как общее правило устанавливалось, что никто не мог занять никакого штатного места на государственной или общественной службе, не прослужив по крайней мере одного трехлетия на соответственной низшей должности в *приходе*. Не делалось исключения даже для врачей. К государственному экзамену, дававшему право на медицинскую практику, допускались только лица, прослужившие приходскими фельдшерами не менее трех лет.

Низшая школа передавалась в полное распоряжение и ведение прихода и была согласована с проектом приходского самоуправления, уже совершенно разработанным А.А. Папковым. Она содержалась исключительно на местные приходские и земские средства, причем ни в распределение школьной сети, ни в преподавание, ни в хозяйство школы государство не входило, оставляя за собой, как уже сказано, только надзор и благожелательную помощь, коль скоро за ней обращались. Ни о каком обязательном всеобщем обучении, разумеется, в проекте Порубина не могло быть и речи, так как старый профессор самый этот принцип считал величайшим над народом насилием и орудием, годным разве для масонских и еврейских правительств.

Заседание кончилось полной нравственной победой Порубина. Никаких голосов не считали, но было видно, что запаса аргументов у противников реформы не хватило. Иванов был совершенно убежден и стройной последовательностью порубинского плана во всех его частях, и верностью исходной точки зрения, а главное, несокрушимой верой и стойкостью самого автора.

Приглашенные стали разъезжаться. Диктатор задержал на минуту Порубина.

— Ну-с, мой милый профессор, мне остается только просить у вас прощение за первоначальные сомнения. Надеюсь, что в личном докладе Государю вам удастся выиграть одобрение и Его Величества. Но я вас все-таки предупреждаю: в моем донесении я буду просить разрешения передать все ваши соображения на предварительное обсуждение уездных земств.

— А если земства выскажутся против?

— Успокойтесь. Во-первых, я этого не думаю, а во-вторых, когда будут собраны все земские ответы, почему же вы полагаете, что мы будем голоса только подсчитывать, а не *взвешивать*?

— Ну, это другое дело.

Через два дня в «Правительственном вестнике» появился Высочайший Указ о назначении Ивана Васильевича Порубина министром народного просвещения.

XLVIII. Государственный контролер

Новый Государственный контролер Афанасий Васильевич Васильев был хорошо известен чиновному Петербургу своими крайними славянофильскими взглядами, своей борьбой с Витте по железнодорожным вопросам и своими странностями.

Еще совсем маленьким чиновником Министерства народного просвещения, Васильев в Славянском движении 1876 года играл выдающуюся роль. Аксаков двинул Москву, Васильев разбудил Славянское общество в Петербурге и заставил его действовать. Умело обходя цензуру, он от имени общества печатал зажигательные воззвания, организовал сборы в пользу восставших сербов, наконец, как уполномоченный Славянского общества, двинулся на Волгу и в Нижегородскую ярмарку и разогрел на всем Востоке России славянское и патриотическое чувство до очень высокой тем-

пературы. Довольно сказать, что тогдашний нижегородский архиепископ, впоследствии известный Московский митрополит Иоанникий выходил с крестным ходом на площадь и возглашал публичные моления «о победе и одолении архистратига Славянских сил Михаила Григорьевича Черняева», ведшего на личный страх войну против «дружественной державы».

Деньги лились рекой, в каждом городке основывалось отделение Славянского общества, и, наконец, общенародное чувство вылилось в великой освободительной войне, в которую славянофилы увлекли Александра II.

До какой степени бюрократия придавала значение Васильеву как агитатору свидетельствует забавный случай с панихидой по Яну Гусу, назначенной Васильевым в Казанском соборе. Панихида была запрещена, но за собором была «на всякий случай» поставлена батарея артиллерии с боевыми снарядами.

Человек своеобразных радикальных воззрений и несомненный агитатор, Васильев, однако, как-то ухитрялся не только оставаться чиновником, но и подвигаться в чиновники. С ним вошел в тесную дружбу Третий Филиппов, ценивший его необыкновенную работоспособность и нравственную высоту. В Контроле могли бы развернуться и принести огромную пользу России такие работники, как Васильев. Назначенный директором Департамента железнодорожной отчетности, он повел упорную борьбу с только что воссиявшим в качестве экономического и финансового гения Витте. Васильев сразу определил, из чего эта гениальность сделана и какие ужасные пути России прокладывает. Начинался грандиозный выкуп железных дорог и усиленное строительство. Казна трещала по всем швам. Но золотой фейерверк, пущенный Витте, прикрывал все раны Казначейства и отводил всем глаза. Васильев видел все и боролся сколько мог. «Русский Кольбер» оказался, однако, сильнее. Он нашел уязвимый пункт в Государственном контролере и овладел Тертием Филипповым. После одного из блестя-

щих выступлений Васильева в Обществе содействия, где последний смертельно перепугал Витте указанием, что его золотая валюта есть дело антихристово и носит даже звериное число¹, Витте настоял на переводе Васильева в военную и морскую отчетность, где для министра финансов он уже был почти безопасен.

После смерти Филиппова Васильева скоро со всеми почестями и в чине тайного советника похоронили в совете Государственного Контроля.

О странностях Афанасия Васильевича говорил весь Петербург. Так, например, в качестве славянофила-практика он усвоил себе старинный русский костюм, в котором не только ходил дома, но и выступал на публичных собраниях. «Тайный советник в желтых сапогах», кроме того, был бесконечно добр. Его дом был пристанищем всех неудачников, начинающих литераторов, изобретателей. Всей этой голодной братии он находил работу у себя в департаменте, переходя зачастую смету и вызывая нарекания. Его департамент называли в шутку Ноевым ковчегом. «Если случится всемирный потоп, то Афанасию Васильевичу не придется строить ковчега, а будет довольно только хорошо законопатить окна и плыть по Фонтанке», — говорили остряки.

Разумеется, в своих поисках людей генерал-адъютант Иванов не мог не остановиться сразу же на Васильеве как на самом подходящем человеке на пост Государственного контролера, который вдобавок, по его плану, получал совершенно самостоятельное, вневедомственное положение.

Диктатор вызвал Васильева к себе и имел с ним продолжительную и совершенно интимную беседу; в результате этого разговора было некоторое колебание Иванова. С одной стороны, Васильев был бесспорно удивительным работником и как бы прирожденным контролером. С другой, его воззрения на финансы, экономию и особенно аграрный вопрос были донельзя странны. По финансам, например, Васильев хотя и стоял за бумажные деньги, но совершенно от-

¹ 1 рубль кредитный был приравнен к 66,6 коп. золотом.

рицал проценты на капитал. Иванов только развел руками, когда услышал, что каждый человек должен оставлять себе на старость *только то, что может прожить*, и не должен ничего приносящего доход завещать детям. Это курьезное положение исключало всякую возможность спора или обмена мнений. Еще курьезнее были мнения Васильева о земле. Здесь царила наивная смесь толстовства, христианского коммунизма и собственных умозаключений при фанатической вере в свою бесспорную правоту.

Иванов припомнил добродушную улыбку Государя, когда, перечисляя лиц, пригодных на пост контролера, он назвал Васильева. Государь не сказал ни слова, Он только улыбнулся, но в этой улыбке было предостережение.

Пришлось подождать до приискания министра финансов, чтобы этот вопрос решить вместе с ним и Павловым. Иванов был уверен, что странные личные идеи Афанасия Васильева останутся при нем для собственного употребления и не помешают дружной совместной работе.

Однако после первого же свидания Соколова с Васильевым министр финансов заявил категорически:

— Ваш праведник в желтых сапогах сумасшедший.

— Не торопитесь с заключениями, — ответил диктатор. — На таких праведниках стоит Россия. Я имел терпение прочитать записки Васильева по выкупу дорог и те части всеподданнейших отчетов контролера, которые он редактировал. Советую с ними познакомиться и вам. Вы увидите, как самые вздорные идеи, которые человек высказывает в кружке знакомых, не мешают удивительной государственной работе. Я поражен был этой дисциплиной мысли, что у нас особенно редко.

— Хорошо, генерал, прочту. Мне самому важно ознакомиться с историей выкупа дорог.

Павлов был знаком с Васильевым уже раньше, и хотя тоже пожимал плечами по поводу его идей, но сразу и без колебаний нашел, что лучшего Государственного контролера нельзя и желать:

Афанасий Васильевич — глубокий сторонник *соборности*, и это для нас лучшая гарантия, что палок в колеса он нам не насует.

Но Иванов все еще колебался и медлил. Он чувствовал, что вся ответственность в случае неудачи назначения падет на него. А между тем Государственному контролеру предстояла огромная реформа, готовилась новая и чрезвычайно важная роль.

По мысли диктатора, которую всецело разделял и Афанасий Васильев, Государственный Контроль предстояло совершенно выделить из системы управления и на нем создать могущественную связь центра с будущими областями. Наверху должен был быть организован Контролирующий Сенат из представителей земских областей, параллельный Сенату административному; внизу сеть учреждений Контроля расширялась до уезда, охватывая собой всю денежную отчетность всякого рода касс до приходских включительно. Вверить проведение такой реформы можно было только лицу, совмещавшему огромный служебный опыт с высокой нравственной доблестью и выдающейся работоспособностью. Желтые сапоги и некоторые странности воззрений ничуть не мешали и не отнимали цены у Афанасия Васильева.

Диктатор чистосердечно доложил обо всем Государю перед своим отъездом в Москву и всецело положился на Царскую волю.

Государь обещал подумать и ответил назначением Васильева вместе с двумя другими министрами, о которых ходатайствовал Иванов.

Теперь образование кабинета можно было считать почти законченным. Главные портфели были в хороших руках.

XLIX. Проекты министра финансов

Наследство, оставленное старым режимом в экономическом смысле, было невыносимо. Золотая реформа и финансовая политика Витте, выразившаяся в бесшабашном грюндер-

стве и неслыханном государственном мотовстве, давала себя знать полным расстройством деревни. Оплата огромного государственного долга была обусловлена только колоссальным вывозом хлеба и сырья в явный ущерб народному питанию. А между тем вывоз зависел от урожая, урожаи же падали все ниже и ниже. За последние годы голод стал обычным ежегодным явлением и только переходил с полосы на полосу, вызывая жертвы казны в десятки и сотни миллионов, жертвы бесполезные и развращающие.

Новому министру финансов Соколову приходилось в первую очередь ставить два вопроса: народный кредит, смело и широко организованный, должен был поднять сельское хозяйство, государственный хлебный запас в связи с системой государственных элеваторов, имел обеспечить народное довольствие, правильное обсеменение полей и упорядочить заграничный вывоз.

С первых же дней своего управления Соколов образовал под своим председательством комиссию из специалистов и расположил занятия таким образом, что работу вел сам, а члены комиссии вносили только обстоятельную критику и устанавливали подробности. Перед внесением в комиссию той или другой части проекта Соколов и Павлов собирались для ее обсуждения и согласования с работами Павлова по земельному вопросу. Прения в комиссии освещали Соколову недостатки редакции и вызывали различные изменения и дополнения, которые затем разрабатывались и редактировались секретарем под личным руководством Соколова. Никаких голосований не делалось, журналы заседаний составлялись самые краткие, «на память».

Работа шла быстро и к отъезду Иванова в Москву была вчерне почти готова.

Вот как определялся «план» Соколова.

Была задумана обширная сеть элеваторов, составлявших государственную монополию и разделенных на областные районы соответственно будущим областям. Каждый уезд имел один или несколько элеваторов, рассчитанных по своему

объему так, чтобы хранить постоянно полугодичную норму продовольствия для всех жителей уезда и надлежащий запас посевных семян яровых хлебов.

Кроме того, при водных путях и на узлах железных дорог основывалась сеть пропускных элеваторов, могших в короткое время забрать, очистить, просушить, рассортировать и отправить по назначению весь вывоз данного района. Ни о каких железнодорожных залежах при этом не могло быть и речи, наоборот, освобождался в значительной степени под другие перевозки подвижной состав. Цепь замыкалась портовыми и пограничными элеваторами, обслуживавшими специально и монопольно отпускную торговлю. Движение хлеба внутри России было совершенно свободно, но весь хлеб, идущий за границу, должен был обязательно пройти через государственный выпускной элеватор, подвергаясь там обезличению, браковке и очистке. Этим устранялась навсегда возможность такого безобразного явления, как умышленная подмесь евреями к хлебу всякого сора, парализовавшая наш отпуск.

Внутренняя хлебная торговля была свободна, и пропуск через элеватор необязателен, но условия пользования элеваторами устанавливались такие, что для помещика, крестьянина, мельника или хлеботорговца было бы чистым безумием продавать свой хлеб большими партиями, отправлять его или хранить помимо элеватора.

По выработанному уставу, элеватор принимал всякий хлеб во всякое время и в любом количестве, делая разницу в условиях только для хлебов посевных и продовольственных. Посевные хлеба принимались в условленных сортах, хранились и отправлялись особо. Продовольственные хлеба определялись тут же при приемке на сырьсть и засоренность и немедленно поступали в обработку, то есть сортировались, просушивались и обезличивались. Владельцу выдавался варрант по расчету на чистое количество сухого хлеба такой-то марки. Этот варрант являлся документом, по которому его предъявитель мог получить в любое время и

из любого элеватора Империи равное количество того же сорта хлеб за отчислением расходов на обработку и провоз по определенному тарифу.

Ежегодно перед жатвой Совет продовольственного управления объявлял порайонные цены, по которым казна принимала хлеб нового урожая для пополнения государственного запаса. По этим ценам кредитные учреждения принимали и оплачивали варранты в течение трех осенних месяцев. В остальное время года курс на хлеб стоял свободный, варранты обращались по вольной цене, правительство же посредством своих запасов выступало в роли регулятора, выпуская свой хлеб на рынок при сильном подъеме цен или являясь покупателем варрантов при понижении. Было очевидно, что, составив продовольственный совет из серьезных знатоков дела и владея запасами около миллиарда пудов наличного хлеба, такая фирма, как Российское государство, могла бы не бояться никакой конкуренции, держать хлебные цены на уровне, наиболее благоприятном русскому земледелию, и одновременно заставляла бы платить возможно высокую цену иностранного потребителя.

Этим же путем население снабжалось хорошими, совершенно чистыми семенами тех сортов, которые подходили для каждой местности. Уже одно это могло поднять урожай на крестьянских полях на одно-два зерна.

Затем сельский хозяин являлся совершенно свободным в своих операциях, ликвидируя ли урожай немедленно по объявленной цене, или с варрантом на руках, ожидая повышения.

Разумеется, для осуществления этого проекта в полном объеме требовались колоссальные затраты, вводить же элеваторы по частям не имело смысла. Полная сеть по приблизительному подсчету стоила не менее 1 200 миллионов рублей, да оборотный капитал хлебной операции определялся примерно в полумиллиард. Но этих затрат Соколов не боялся и деньги имел готовые. Было достаточно снять с рынка на равную сумму ренты, заменив ее облигациями продоволь-

ственного или хлебного займа и выпустив на соответственное количество кредитных рублей. Государственная роспись сразу освобождалась от 68 миллионов процентов по обменной ренте, элеваторы же при умелом хозяйстве должны были не только покрыть эту сумму, но и дать значительный чистый доход.

Самое любопытное в проекте Соколова было то, что грандиозный выпуск денежных знаков на элеваторы и хлебную операцию решал одновременно и второй неотложный государственный вопрос — устройство народного кредита. Основная мысль была та, что открытый в Государственном Банке на вновь выпущенные бумажки строительный кредит в 1 200 миллионов рублей исчерпывался не сразу, а постепенно, в точно определенные сроки. Следовательно, деньги могли быть в непрерывном движении, обслуживая одновременно сеть провинциальных учреждений Банка и через них кассы мелкого кредита. Достаточно было обязать заводы, строящие по казенным заказам металлические части элеваторов, а также остальных подрядчиков-строителей работать по условным текущим счетам местных отделений Банка, чтобы почти весь огромный строительный кредит совершенно освобождался и мог быть направлен с первого же момента в оборотные средства земледелия.

Техника мелкого кредита была уже разработана другой комиссией, и Соколов торопился к сводке всей работы.

В 10 часов вечера на третий день по приезде Иванова в Москву Императорский уполномоченный и министр внутренних дел сидели за чтением только что присланного Бельгардом законопроекта о печати, когда зазвонил петербургский телефон и Иванов узнал голос министра финансов:

— Маленькая заминка в деле. Нужны ваши инструкции. По телефону передать трудно. Не разрешите ли прокатиться повидать вас? Поговорим, а завтра...

Вдруг все смолкло. Прошло минуты две. Диктатор пробовав телефон так и этак, ничего не выходило.

— Опять перерезали, — заметил Тумаров.

— Надо это безобразия кончить, — нервно сказал диктатор. — Черт знает что!.. Вчера прервали мой разговор с Государем...

— Слушаю-с, — невозмутимо отвечал Тумаров. — Разрешите сказать два слова в телефон.

Диктатор встал, Тумаров сел на его место и дал энергический звонок...

— Сто двадцать один, ноль два.

— Готово.

— Иван Демьянович, вы?

— Очень хорошо. Потрудитесь дать срочные депеши губернаторам петербургскому, новгородскому и тверскому и сообщите немедленно здешнему, что я возлагаю с завтрашнего дня на их личную ответственность междугородный телефон. В случае дальнейшей кражи проволоки губернатор соответствующей губернии будет смещен и предан суду за нерадение.

— Больше краж не будет, — уверенно сказал Тумаров.

Л. Н.А. Хомяков

У Иванова сидел приглашенный им на интимную беседу Николай Алексеевич Хомяков. Лучшее в России имя и значительная популярность бывшего смоленского предводителя и директора Департамента земледелия были достаточными мотивами, чтобы именно с Хомяковым поговорить по душам о самом важном из вопросов, вызвавших поездку диктатора в Москву.

Об этом вопросе он не распространялся даже со своими ближайшими сотрудниками, новыми министрами, распределяя между ними текущие и неотложные реформы. Сначала Иванов и сам хотел было отложить этот вопрос и не поднимать его до окончания всего плана внутренних преобразований. Но он недостаточно учел психологической стороны дела и с грустью видел, что одни деловые реформы, одна его личная деятельность по успокоению России, хотя и

очень успешная, не в состоянии создать того всенародного духовного подъема, без которого немыслима дружная общественная и государственная работа.

Общественная технология требовала яркого, могучего, широкого размаха, требовала чего-нибудь великого в уровне великой страны и великого народа. Будничная работа заменить этого не могла. Сколь ни нелепы были первая и вторая Думы, но Иванов чувствовал, что с упразднением этого странного института над Россией словно опустился мрачный и тяжелый занавес. Буря утихла, но и солнце не показывалось, а стоял какой-то серый петербургский день, когда все ждали солнца.

Таким солнцем, по мнению диктатора, мог быть единственно великий Земский Собор в Москве или Киеве, где бы в торжественной обстановке состоялось желанное единение Царя и Народа в лице земщины, разрушенное было гнусной революцией и надорванное конституционной попыткой графа Витте. На этом Соборе была бы восстановлена во всей полноте и красоте своей наша историческая Конституция 1613 года, поставившая над Россией династию Романовых, земских и народных Царей. Здесь были бы торжественно возведены с высоты Престола разработанные в стройную систему необходимые России реформы. Отсюда началось бы прочное и спокойное, без малодушных колебаний и сомнений управление Россией, основанное не на бюрократии, а на свободной сплоченной земщине.

Разумеется, Собор имел бы смысл отнюдь не в форме европейского парламента, а в своем оригинальном древнерусском значении «Совета всея Земли».

Диктатор знал, что Хомяков агитирует за Думу и что его агитация не так бесплодна, как это можно было предполагать, так как парламент был задуман бюрократией и нужен прежде всего ей.

— Не могу вас понять, Николай Алексеевич, — говорил Иванов. — После двух печальных опытов, когда уже совершенно ясно определилась вся ложь, положенная в осно-

ву нашего парламентаризма, вы хлопчете о третьей Думе. Неужели вы в нее верите?

Хомяков отвечал:

— Я не придаю Думе того значения, какое ей приписывают доктринеры, но с соответственным изменением выборного закона Государственную Думу можно собрать приличную и работоспособную.

— *Вы* это говорите? *Вы* верите в сознательность русских государственных выборов?

— Партии помогут.

— А вы считаете партии благом? Ведь это же мерзость!

— Я не большой их поклонник, но что же вы поделаете? Раз мы на почву 17 октября встали, без партий не обойтись.

— А вы полагаете, что 17 октября мы действительно получили конституцию?

— Ничего не знаю. Знаю только, что от 17 октября назад хода нет. Самодержавие может остаться как термин, как звук, чтобы не вносить в народ смуту, но в действительности оно кончилось.

— Вы не допускаете возможности восстановления самодержавия?

— Михаил Андреевич, в самую критическую минуту я твердо стоял за самодержавие. На Петербургском Земском Соброре моя подпись стоит в числе меньшинства. Но когда я прочел Манифест 17 октября, я сказал себе, что с этим вопросом кончено и мы теперь должны быть конституционалистами, а то иначе попадешь в Союз русского народа.

Диктатор грустно покачал головой:

— Да, да. Ваша крылатая фраза «мы конституционалисты по Высочайшему повелению» облетело всю Россию.

Собеседники помолчали.

— Николай Алексеевич, откровенно и спокойно скажите мне, зачем вам Дума? Ведь не могу же я искать здесь каких-нибудь личных целей — для этого вы сын Алексея Степановича Хомякова и крестник Гоголя. Ради чего вы на ней настаиваете?

— Извольте, буду откровенным. Дума — единственное средство хоть несколько сбавить спеси у бюрократии и дать политическое воспитание русскому народу. Даже две первых шалых Думы, как вы их называете, уже свое дело сделали. Посмотрите, как подтянулись все ведомства! Министры перестали быть далай-ламами, и теперь глупого человека или проходимца в министры посадить нельзя. А ведь мы таких имели. Вот уже вам огромный результат. Затем государственные дела, хоть и вкось и вкривь, но обсуждаются открыто. Прения печатаются, и их не спрячешь. Я уверен, что третья Дума будет спокойная и деловая и тогда каждое произнесенное в ней слово, каждый спор будет высоко поучителен.

— Да, если соберутся лучшие люди, но ведь их не пропустят.

— Дайте хороший выборный закон.

— Нет, не то все это, не то. Поразительно ослепление русских выдающихся умов! В 80-х годах я был юнкером. У нас в курилке училища собирались постоянно своего рода митинги. Рассуждали, конечно, о русской конституции. Я участия не принимал, но внимательно прислушивался. И вот что я вынес. Наши юнкера, совсем мальчишки, были и образованнее, и здравомысленнее нынешних больших публицистов. Камень преткновения была именно выборная система, и я сейчас с гордостью могу сказать, что даже самые крайние у нас фанатики конституционализма были вынуждены признать абсолютную невозможность центрального парламента. Все комбинации перебрали и наконец пришли к полному отрицанию и совершенно естественно повернули на федерализм. А теперь взгляните, ну не комичное ли это явление, что Хомяков стоит за Думу? Ведь просто глаза приходится протирать!.. Неужели все то, что я от вас слышу, серьезно? Я думаю, что вы просто надо мной смеетесь, Николай Алексеевич?

Хомяков начинал сердиться на этот настойчивый вопрос. Он отвечал с нервной ноткой в голосе:

— И затем, что самое важное. Я этого не хотел говорить, но вы, ваше превосходительство, меня заставляют... Поэтому простите...

— Пожалуйста, чем резче, тем лучше.

— Я держусь за Думу не потому, что жду от нее серьезного законодательства, если уж на то пошло, мой почтеннейший Михаил Андреевич, а потому, что она немножко приостановит наш реформационный пыл. Я боюсь ваших грандиозных планов. За эти дни все поставлено ребром. Витте так не торопился, как вы, и на то не решался. Вон, смотрите, у вашего Соколова заседание за заседанием. Я этих самородков боюсь, особенно когда они начинают ломать фундаменты. Затем Павлов.

Вы ведь знали, что такое «дворянин Павлов», и вытащили его в министры земледелия. Я с ужасом вижу, какая ломка предстоит. Почисте Герценштейновских иллюминаций. Затем, что ваш Папков наделает со своим приходом! А в довершение всего вы отдали внутренние дела Тумарову, и тот уже начинает пороть литераторов. Столыпин совершенно прав, что вы приведете Россию к революции, на этот раз настоящей. Так вот, я считаю Думу отличным тормозом для такой политики. Пусть она будет неработоспособна, черт с ней. За это время Россия успокоится, одумается, а там будет видно.

Последние слова были произнесены Хомяковым тем самым тоном, каким в выдающиеся минуты он говорит на собраниях, всех волнуя и покоряя. Каждое слово вонзалось в Иванова, как отравленная стрела. Глаза диктатора загорелись, и он встал с места. Поднялся и Хомяков.

— Простите, что вас побеспокоил. Если вы решились приравнять меня к Витте, всякий дальнейший спор бесполезен. Замечу только, что вы напрасно приписываете мне реформаторское самовластие. Именно этим не болею я и не дам заболеть никому из моих сотрудников. Я проведу в жизнь только то, что будет одобрено и оправдано народной совестью, а вызвать и допросить эту совесть, поверьте, сумею.

Хомяков нервно засмеялся.

— Да, да, вы ваши законопроекты будете рассылать на уездные земские собрания! Читал, читал! Так дайте сначала гласным жалованье, а то там в уездах есть нечего, ни одного экстренного собрания не соберете.

Диктатор и Хомяков смили друг друга взглядами. И оба взволнованные, оба опознавшие друг в друге непримиримых противников сдержались. Разговаривать о Земском Соборе было при этих условиях даже странно. Иванов овладел собой и подал руку Хомякову.

— Николай Алексеевич, я вас не понимаю.

— И не трудитесь, генерал. На что я вам? Поговорите лучше с братом Митей, с тем сойдется скорее. У него, пожалуй, станете даже *beatus vir*, как Сергей Юльевич. А я — пас.

«Я тебя, милый человек, раскусил», — подумал Хомяков, выходя.

«Я боюсь его понимать», — подумал диктатор, провожая. — Неужели это только оскорбленное самолюбие? Но чем же я его оскорбил?»

II. Ф.Д. Самарин

Неудача с Хомяковым не смутила Иванова, и он решил поговорить о Земском Соборе с другим выдающимся москвичом — Федором Дмитриевичем Самариным, которому он напрасно предлагал перед тем портфели просвещения и Синода.

Ф.Д. Самарин категорически отказался от всякого служебного назначения, но обещал диктатору самую широкую помощь мнением и советом, когда ему будет угодно за этим обратиться.

По вопросу о Земском Соборе Иванов и в Ф.Д. Самарине никакого сочувствия не встретил. Основатель и глава «Кружка москвичей», разумеется, принципиально Собора не отрицал, но считал его и бесполезным, и несвоевременным. Со своим тонким и острым анализом и несокрушимой диалектикой Самарин высказал Иванову целый ряд соображений против Собора.

Главная задача Собора — вывести Верховную Власть из неловкого положения, созданного Манифестом 17 октября, — неосуществима. Манифест был издан Государем единолично и может быть отменен точно так же. Мнение Собора для Царя необязательно. Если поставить дело так, что Собор будет просить об отмене Манифеста и восстановлении самодержавия, то все же инициатива будет исходить только от Царя, и все поймут, что и самый Собор лишь затем и созывался, чтобы заявить заранее известное ходатайство.

— Но я признаюсь, — говорил Самарин, — не вижу надобности в формальной отмене Манифеста 17 октября. Как ни прискорбно, что этот документ был издан, как ни печальны для власти обстоятельства и условия, при каких он появился на свете, все же сам по себе он не имеет того значения, какое склонна приписывать ему публика. Царская власть зиждется у нас не на каком-либо законодательном акте или статье законов. Она создана нашей историей, она выросла вместе с Русской Землей, и корни ее глубоко проникли в русскую народную почву. Поэтому отменить или умалить и поставить в известные пределы власть Русского Царя не может никто, хотя бы и сам Самодержец. Она остается неизменной, доколе будут существовать те реальные условия, из коих она возникла и в коих черпает свою силу. Я глубоко убежден, что судьба русского самодержавия зависит не от того, останется ли в силе Манифест 17 октября или нет, а от того, будет ли оно само сознавать свое историческое значение, останется ли оно верно своему призванию и оправдает ли оно, наконец, ту народную веру, в которой заключается вся его жизненность и сила.

Второе возражение Самарина заключалось в том, что если Собору будет предложено выработать новое положение о государственном устройстве взамен учреждения Государственной Думы, то этим самым Собор станет в положение Учредительного Собрания, то есть будет выше Царя; в самом деле, Собором будут отменены два важнейших акта, изданных Царем единолично. Разве это не будет окончательным ударом самодержавию?

Третье возражение касалось самой техники созыва. Самарин указывал, что Собор в его древней форме, то есть в составе высших государственных учреждений, «Освященного Собора» епископов и выборных от всех сословий, никакой гарантии устойчивости и единства не дает. Большинство высших сановников тянут к кадетам, среди епископов рознь, дворянство ничего сплоченного не представляет, крестьянство распропагандировано и может не устоять перед агитацией смутьянов, остальные сословия созданы искусственно и ничего определенного не представляют. Земства же и города, организованные *всесословно*, очевидно, *сословных* выборных дать не могут. Таким образом, огромный состав Собора получится донельзя пестрым и даже его облика нельзя себе заранее представить.

Очевидно, поэтому, что ожидать Собора единого и цельного, по мысли Самарина, невозможно. Но если даже предположить, что такой Собор соберется, то в чем будет его задача? Приведет ли он к умиротворению? Уляжется ли смута, укрепится ли власть?

Ничего подобного Самарин не ждал. Наоборот, так как Собору предстояло бы выработать новую схему государственного строя взамен «Положения о Государственной Думе», которое уже стало фактом вне спора и этим самым внесло известное успокоение, то на нем снова поднялись бы все вопросы и разногласия, мутившие русское общество в революционный период. Собор не смог бы устоять перед давлением улицы. Почему вы думаете, говорил Ф.Д. Самарин, что Собор должен воссоздать историческую Царскую власть, а не пойти по совершенно иному пути?

В силу этих соображений Собор не мог, по мнению Самарина, оказать ни в каком случае и того благотворного психического воздействия в смысле подъема патриотического чувства, которого ожидал Иванов.

Диктатор энергично возражал:

— Но эти серые будни невозможны. Никакое творчество правительства не будет плодотворно, пока мы осуждены дей-

ствовать за личный счет и риск. России, как больному, необходима прежде всего бодрость и жажда выздоровления, необходим подъем духа и веры. А я чувствую, как этого не хватает.

— Что делать! Пусть это придет само. Дайте, с одной стороны, действительно сильную и строгую власть, возобновите порядок, с другой — работайте над экономическим подъемом народной жизни, а затем — ждите терпеливо.

— Мы все работаем по мере сил. Намечен и разрабатывается стройный план реформ во всех областях. Но неужели же мы осуждены проводить эти реформы старым бюрократическим путем? Ведь это полное неуважение к великой стране, которая изображает из себя не голую же доску, на которой пиши, что хочешь?

— Но вы же вводите ваш принцип опроса земств. Для успокоения вашей совести этого должно быть достаточно.

— Увы! Это тоже отдает канцелярией. Я чувствую, что затерян какой-то ключ к живому общению правительства с лучшими силами русского народа. Дайте этот ключ, и России вы не узнаете в какой-нибудь месяц.

— Да, и вы ищете этот ключ в Земском Соборе? Напрасные надежды. По-моему, Земский Собор станет нравственно возможен только тогда, когда Россия уже возродится и окрепнет.

— Тут действительно заколдованный круг. А что вы скажете, Федор Дмитриевич, о перенесении столицы обратно в Москву или в Киев?

— Я не поклонник Петербурга, вы это знаете, но я не вижу пользы и от этого крутого шага. Старой Москвы больше нет, а новая ничуть Петербургу не уступит. Разве не Москва шла впереди освободительного движения? Разве не здесь происходили съезды земских и городских деятелей, всякие крестьянские съезды? А здешнее губернское земство, здешняя Городская Дума? Что осталось в Москве истинно русского и государственного? А Киев? Да разве нынешний Киев похож на Киев Владимира Святого? Разве Киев создал и провел русскую государственную идею?

Диктатор проводил Ф. Д. Самарина и грустно задумался.

— Не то все это, не то! Деловая сторона в порядке, но где та божественная искра, которая зажгла бы Россию и сразу раскрыла сердца и освободила души от этого убийственного мрака и холода? Никто ни во что не верит, никто не смеет верить. Какой-то лазарет, какое-то кладбище, а не живая и бодрая страна! Но — прочь уныние! Вы заставляете меня действовать в одиночку, вы на одного меня валите всю работу, — хорошо, будем работать в одиночку!

— Министр внутренних дел, — доложил адъютант.

— Просите, просите...

III. Закон о печати

Тумаров вошел с большим портфелем, раскрыл его и положил перед диктатором объемистую печатную записку, оклеенную традиционной ленточкой.

— Посмотрели?

— Никуда не годная работа.

— Это жаль. А вы не очень строги к ней?

— Помилуйте! Разве это закон? Целую стопу бумаги исписали. 268 статей! Чиновник не может иначе, как сочинять, причем старается предусмотреть всякие мелочи, предписать каждый шаг. Но жизнь в казенные рамки не укладывается, и получается чепуха. И потом, я совершенно не вижу, чтобы в этой комиссии участвовал хоть один журналист. А ведь только они и знают дело.

— Ну что же делать? Бросим это в печку, а законом о печати займемся вы.

— А не подождать ли, ваше превосходительство, с этим делом? В хороших руках и временные правила будут достаточны. Измените две-три статьи, да кое-что добавьте, вот и все. Есть вопросы гораздо более острые.

— Дорогой Павел Николаевич, в том-то и дело, что нужны «хорошие руки». А где они? Здесь же по крайней мере будет гарантия, что во главе политической газеты не очутятся про-

хвосты. Дайте хоть только это да избавьте печать от жида. Закон о печати ясный, точный, краткий нужен бесконечно. Наша несчастная смута поддерживается печатью. Пока печать не упорядочена, вся наша работа наполовину парализована.

— Я совершенно согласен, что закон о печати нужен. Я не хотел только ставить его на первую очередь.

— И главное, займитесь им сами.

— Воля ваша, Михаил Андреевич, я в этой области не ходок.

— Поручите кому-нибудь.

— Но кому же? Выйдет опять комиссия Кобеко. Но если вы настаиваете, я предложу вам один план.

— Пожалуйста.

— Да пусть сами газетчики напишут закон о печати.

— Это очень любопытно.

— Судите сами: чего мы будем ломать голову и сочинять, чтобы они потом обходили каждую статью и дурачили правительство? Пусть пишут сами, а мы дадим только главные основания.

— Я вас понимаю, это блестящая идея.

— Очень рад, что вы одобряете. Итак, я бы составил комиссию из опытных и уважаемых, разумеется, *русских* редакторов, издателей, типографщиков, пригласил бы кое-кого из серьезных писателей и поручил бы всю работу им без всякого участия кого-либо из чиновников. Затем, когда законопроект будет составлен, можно передать его на рассмотрение Главного управления по делам печати. Пусть там его разберут по косточкам и дадут заключение. Тогда для нас будет все совершенно ясно.

— Боюсь, что для этой комиссии будет трудна редакция закона.

— Сделайте одолжение, пусть приглашают кого угодно на помощь. Какое нам дело? Ведь в их интересах иметь точный и хороший закон. Нам важно дать только основания.

— У вас они сложились?

— Да, я их набросал.

Тумаров достал из портфеля листок и передал Иванову.

— Я думаю, что этого будет достаточно.

Иванов прочел нижеследующее:

«ГЛАВНЫЕ ОСНОВАНИЯ ЗАКОНА О ПЕЧАТИ

Предоставить самую широкую свободу всякой честной, искренней и серьезной мысли. Положить твердый предел всякого рода злоупотреблению печатным словом и устранить спекуляцию печатным товаром.

Установить точку зрения на политическую газету как на право для заслуженных и совершенно определившихся в литературном и нравственном отношении писателей иметь публичную кафедру для проповеди своих воззрений.

Установить точную ответственность автора, редактора и издателя перед судом.

Установить особые формы суда по делам печати применительно к особому характеру печатных проступков и преступлений.

Установить точную характеристику преступлений печати, характер и размер наказаний.

Выработать меры для пресечения вредного действия печатного произведения до судебного решения.

Выработать ряд мероприятий для борьбы с порнографией, развратными объявлениями и вредными спекулятивными изданиями.

Совершенно отстранить евреев от политической печати и выработать меры, обеспечивающие печать от еврейского засилия и влияний».

Иванов прочитал этот пункт и воскликнул:

— Ого! Если бы было возможно осуществить?

Тумаров отвечал:

— Ничего нет проще. Берите с каждого утверждаемого редактора подписку в форме честного слова, что в числе его сотрудников и служащих евреев не будет, а затем смотрите

на нарушение этого слова как на акт безнравственности, уничтожающий данную концессию, — и дело в шляпе.

— Ну а как же быть с крещеными евреями?

— Россия ничего не потеряет, если мы исключим и их. Может быть, будут отстранены некоторые хорошие жидки, но что же делать? А оставьте крещеных — пресса будет по-прежнему еврейская — они все перекрестятся. Нет, уж лучше совсем исключить евреев.

— Ничего против этого не имею. Мне только кажется, что ваша программа чересчур обща.

— Поэтому я и назвал ее «главными основаниями». Некоторые указания можно дать дополнительно. Да их просить, наверно, будет сама комиссия. Ведь я же ее не брошу на произвол судьбы, а буду косвенно руководить.

— Ну, помогай вам Бог. Эту комиссию я попрошу вас организовать тотчас же, как вернемся в Петербург. А теперь давайте ваших губернаторов.

— Да, задали вы мне, ваше превосходительство, задачу!

— Ничего, ничего... Вы в отличных условиях. Еще Плеве говорил: «Ах, хоть бы одного вице-губернатора мог назначить самостоятельно». А у вас руки развязаны совершенно. Ни одной записочки, ни одного рекомендательного письма не будет.

ЛIII. Протоиерей И. Восторгов

Как ни разобрано было время у генерал-адъютанта Иванова 16-го, но он нашел полчаса, чтобы принять знаменитого протоиерея Иоанна Восторгова, составлявшего душу и центр московских монархических организаций.

В кабинет вошел толстенький священник с небольшой окладистой бородой, черными пронизательными и повелевающими глазами и совершенно голым черепом, обрамленным черными густыми короткими волосами, с грехом пополам слагавшимися сзади в духовное украшение.

Диктатор встал и сделал шаг навстречу протоиерею, пристально его разглядывая.

Прошло с полминуты молчания. Первым заговорил Восторгов.

— А я, ваше превосходительство, знаю, что вы сейчас думаете.

— Это любопытно. Ну скажите, что я думаю?

— А вот что вы думаете: «Поп Восторгов, зачем ты в эту компанию попал?»

— Вы отчасти угадали. Духовное лицо в роли политического агитатора... как будто несколько странно, но ведь у нас в России все перепуталось.

— Я в этой роли неволей. Жалко было отдавать патриотические организации в поганые руки. Я всячески от политической деятельности открещивался, и если еще не ушел, то, как говорят актеры, только «по желанию публики». Мое призвание — школа. Но теперь для мирной деятельности время плохое, — я стараюсь работать над другого рода просвещением. Вот, позвольте вам поднести наши издания.

— Спасибо. Время мне дорого, и потому я буду краток и приступлю прямо к делу. Вы мне должны дать короткую, сжатую, яркую характеристику монархических организаций и их главарей. До сих пор я мог только убедиться, что в этом лагере ужасная бедность содержания и невероятные претензии. Итак, начнем. Что такое доктор Дубровин?

— Несчастный человек. Хороший врач и никуда не годный политик. В момент начала революции он был очень популярен в Петербурге как врач, имевший огромный район практики. Его вынесла волна и поставила во главе патриотического движения в Петербурге. При его самолюбии эта роль ему понравилась. А так как никаких данных для настоящего вождя у Дубровина не было, а о политике он попросту не имел никакого понятия, то вокруг него собрался всякий сброд.

— Дальше. Пуришкевич?

— Очень талантливый и разносторонний человек, отличный организатор. Его беда — неукротимое самолюбие

и жажда власти при полном отсутствии всякого нравственного регулятора. Он способен проработать 16 часов кряду, но не способен никому подчиняться. Отсюда постоянные конфликты с Дубровиным, доходившие чуть не до драки. Ну а затем, что у них самое противное, это политиканство и девиз «цель оправдывает средства». Для Пуришкевича «все можно».

— Хорошо. Теперь здешние. Мне до крайности несимпатичен ваш Грингмут. Вы, кажется, его поклонник?

— Ваше превосходительство, я цену ему знаю, но это незаменимый человек для Москвы. Он один умеет держать некоторый порядок и предотвращать столкновения. Я не могу себе представить, во что обратились бы наши монархические организации в Москве, уйди Грингмут.

— Теперь скажите мне, что такое князь Щербатов?

— Александр Григорьевич? Очень затрудняюсь дать надлежащую характеристику.

— Пожалуйста, отец протоиерей, откровенно. То, что вы мне скажете, из этой комнаты не выйдет.

— Что же вам сказать? По-моему, князь Александр Григорьевич — человек очень благонамеренный, но совершенно несерьезный. За ним ухаживают, его ставят везде во главе, а между тем, чем он ни руководил, все всегда проваливалось. Да иначе и быть не может: сегодня он заявляет, что все спасение, положим, в Земском Соборе. Спрашиваете его завтра, и он вам отвечает, что Земский Собор — «это пустяки-с», а вот он основывает крестьянскую газету и этим повернет всю Россию. Послезавтра крестьянская газета забыта и основывается уже «Братство Пресвятой Богородицы», разумеется, с таким же успехом и результатом.

— Ну, а Ознобишин Николай?

— Ну, это индейский петух. Кого только он не собирал в свой союз! Довольно назвать Николая Николаевича Дурново и Грекоса Сарандинаки.

— Надеюсь, эта организация не серьезная?

Протоиерей хитро улыбнулся одними глазами.

— Ваше превосходительство, как и все.

— А что, отец протоиерей, вы, кажется, и сами обо всех этих так называемых патриотических организациях не особенно лестного мнения?

— Не наше это, не русское дело! Все эти союзы имели смысл только в один коротенький промежуток времени как противодействие революции. Но революция усмирена, и сами союзники решительно не знают, куда идти и что с собой делать.

— А вы сами как смотрите на желательную деятельность правых элементов?

— Нам необходима церковная организация, нравственное воздействие на общество, возрождение Православия. В этом духе задумано Всероссийское православное братство.

— Опять централизация? А что вы скажете о восстановлении прихода? Не там ли наше настоящее русское дело?

— Боюсь, ваше превосходительство, что ни в нашем духовенстве, ни в обществе не хватит для этого нужных сил. В приходское дело замешается политика и ворвутся самые нежелательные элементы. Ведь вот и на Востоке, где приход уцелел, мы видим большие безобразия, что же будет у нас? Просмотрите-ка мою брошюрку о приходе. Там все это обстоятельно освещено...

— Ну, отец протоиерей, об этом мы с вами спорить не будем, да мне и некогда. А вот будьте добры передать вашим друзьям — и здешним, и петербургским: организаций их я пока закрывать не буду, они мне только жалки и сами по себе безвредны. Разве вот придется обуздать «Вече» и вашего протеже Оловеникова. Это настоящая помойная яма. Затем я категорически требую, чтобы вся эта недостойная игра депешами на имя Государя была окончена. Этого я терпеть не собираюсь и говорил уже об этом с Тумаровым. Затем все эти хоругви, процессии — тоже насмарку. Ваши союзы сделают гораздо лучше, если будут спокойно разрабатывать местные вопросы и ходатайствовать не о политике, а о местных нуждах...

Протоиерей откланялся, диктатор проводил его глазами и подумал про себя: «Ничего не поймешь. Совершенно новый

для меня тип. Разбериай, кто может: не то протопоп Аввакум, не то Лентовский в рясе...»

Московская поездка диктатора, кроме тех явных целей, которые читатель мог видеть, имела и еще одну задачу, но уже совершенно секретную. Иванову было необходимо убедиться, насколько справедливы слухи о безобразиях в управлении градоначальника. Слухи ходили самые невероятные. Из сведений, которые под рукой успели собрать сам уполномоченный и новый министр внутренних дел, явствовало, что без строжайшей сенаторской ревизии не обойтись. Эту ревизию давно желал назначить Государь, но общая смута задерживала дело. Теперь революция догорала, оставив густой смрад, и можно было приступить к генеральной чистке первопрестольной столицы. Затем и у самого диктатора более или менее развязывались руки. Кабинет был образован, и могла начаться широкая творческая работа по обновлению и возрождению Родины.

ПУБЛИЦИСТИКА

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО РЕДАКТОРУ «РУССКОГО ТРУДА» ЕПИСКОПА ЧЕБОКСАРСКОГО АНТОНИЯ (ХРАПОВИЦКОГО) И НАШ ОТВЕТ

Епископ Чебоксарский и ректор Казанской Духовной Академии Антоний (Храповицкий) официально, бумагою от 3 апреля за № 514, прислал нам помещенное ниже «Открытое письмо редактору “Русского труда”». От всей души скорбим о совершившемся разрыве с человеком, которого всегда глубоко уважали. Тем более грустно нам, что этот человек — епископ Церкви, к коей мы принадлежим, и в этом сане представлялся нам еще более дорогим ввиду возлагавшихся на него надежд. Но мы утешаем себя тем, что удар, нас постигающий, нами совершенно не заслужен.

Преосвященный Антоний говорит не как епископ, а как литератор, как славянофил и наш бывший сотрудник. А потому, сохраняя сыновнюю почтительность владыке как епископу, будем отвечать ему как писателю.

Вот письмо преосвященного Антония от слова до слова (*курсив наш*):

Милостивый государь,
Сергей Федорович!

С искренним сочувствием встретил я известие о том, что Вы принялись за издание газеты «Русский труд», в котором я надеялся видеть продолжение издававшегося Вами раньше «Русского дела», бывшего в свою очередь продолжением аксаковской «Руси» и центральным органом славянофильства.

Считая себя горячим приверженцем этого учения, я еще в юношеском возрасте делился на страницах «Русского дела» своими мыслями и наблюдениями. Как своему бывшему сотруднику, Вы стали высылать мне бесплатно и свой новый журнал. Однако содержание его настолько меня *изумило* (!) и опечалило, что я вскоре же признал невозможным сохранять с ним свою нравственную солидарность, выслав в редакцию следуемую годовую плату, и в новом, 98 г., перестал (его) выписывать, но Вы снова выслали мне все номера за текущий год.

Я уверен, что Иван Сергеевич Аксаков перевернулся бы в своем гробе, если бы узнал, что кто-нибудь считает Ваше издание продолжением его «Руси». Славянофильство было защитником Церкви, а «Русский труд» в последнее время становится *врагом* ее и защитником раскола. При появлении статей в защиту последнего я утешал себя сначала мыслию о том, что Вы вооружаетесь только против государственного преследования раскола и, по незнанию последнего, смотрите на него как на чистосердечное заблуждение, внушенное религиозною ревностью простецов. Но, к сожалению, оказывается, что Вы в своей газете становитесь на защиту религиозных *шантажистов* (!) в расколе, входите в общение с тою стороною его, по которой он вовсе перестает быть староверием, а является плутократией в греческом и русском смысле этого слова и притом в духе самого конца XIX века. Сверх того, в Вашей газете находят приют с псевдонимными подписями некоторые *литературные мерзавцы*¹, наполнившие своими грязными клеветами на некоторых лучших русских иерархов страницы подпольной книжки, изданной за границей под заглавием «Современные церковные вопросы в России», — и продолжающие теперь свое скверное дело в «Русском труде», хотя и не открыто, а в виде тонких намеков. Правда, *помянутая книжка содержит в себе немало и горьких истин, и справедливых канонических требований*, но, вероятно, до-

¹ Это выражение, имеющиеся в нашем экземпляре письма преосвященно-го, смягчено в «Московских ведомостях» и заменено словами «бессовестные пасквилянты». — Ред.

верчивость ее составителя к недостойным сотрудникам была причиною тому, что некоторые, самые светлые личности русской иерархии там оклеветаны без всякого зазрения совести. И вот, продолжателем такого некрасивого дела является Ваш «Русский труд», претендующий на аксаковское знамя.

Если бы славянофилы собирались теперь на какие-либо съезды, то я предложил бы отлучение Вашего издания от славянофильства, а теперь публикую эти строки для того, чтобы призвать всех остающихся в живых славянофилов прекратить всякие сношения с «Русским трудом» и со своей стороны прошу оно мне более не высылать.

*Антоний, епископ Чебоксарский,
ректор Казанской Духовной Академии.*

Вот что мы можем ответить на эти тяжкие обвинения, выраженные притом в столь необычайной форме, со стороны нашего прежнего сотрудника.

Да, мы говорили иногда в защиту старообрядцев-церковников, старообрядцев-поповцев, как русских граждан, и в нашей защите, уверены твердо, не отступили *ни на йоту* ни от истинного церковного православного духа, ни от заветов дорогого нашего учителя, Ивана Сергеевича Аксакова. Всеми силами нашей души мы защищаем Церковь, единую, соборную и апостольскую и только с этой точки зрения, и ни с какой другой, относились к старообрядцам.

Недоразумение мы видим в следующих словах преосвященного Антония: «Славянофильство было защитником Церкви, а “Русский труд” в последнее время становится *врагом* ее и защитником раскола».

Раскол — понятие очень обширное. К раскольникам причисляются поповцы-окружники, поповцы-неоокужники, беглопоповцы, а также множество толков беспоповских, за которыми идет уже огромное число сектантов всех наименований.

«Русский труд» проводил строгую между ними границу. Да, нам приходилось говорить и за духовоборов, и за моллокан по поводу указываемых преосвященным Антонием «государственных преследований», выражавшихся притом в таких формах, как отобрание детей, но мы думали всегда, что против таких мер можно и *должно* говорить прежде всего с точки зрения Церкви. Но нам никогда и в голову не приходило оправдывать учения этих сектантов, — единственно, чем мы могли бы изменить Церковь.

Из «раскольников» мы, правда, выделяли старообрядцев-окужников и относились к ним несколько иначе, чем к остальным. Так редактор «Русского труда» по собственной инициативе и, разумеется, не только бесплатно, но даже приняв *на свой счет путевые издержки*¹, ездил в Стародуб защищать Федора Мельникова. Мы напечатали письмо г. Лаврентьева о единоверческом диаконе Вершинском, напечатали корреспонденцию из Гжатска о тяжелом гражданском положении старообрядцев, возражали миссионеру Клитину и пр. Но разве же эти наши статьи имели характер защиты раскола в осуждение Церкви?

Чтобы выяснить наши отношения к старообрядцам и снять с себя обвинение преосвященного Антония, нам довольно обратиться к канонам Церкви.

Вот что говорится в правиле I св. Василия Великого о ересях и расколах: «...почему они (древние) иное нарекли ересью, иное расколом, а иное самочинным сборищем. Еретиками называли они совершенно отторгшихся и в самой вере отчуждившихся. Раскольниками — разделившихся в мнениях о некоторых предметах церковных и о вопросах, допускающих уврачевание. А самочинными сборищами — собрания, составляемые непокорными пресвитерами или епископами и ненауоченным народом».

С этой, совершенно ясной и для православного человека *безусловно обязательной* точки зрения некоторые вполне

¹ Указываем на это обстоятельство людям, нас мало знающим, которые могли заподозрить корыстную цель этой защиты. — *Ред.*

православные люди даже латинскую Церковь считают *только расколом*.

Что же такое наши старообрядцы, — разумеет опять же поповцев-окружников?

По своим догматам, это чистые православные. Никаких даже «мнений», отличных от Церкви, т. е. несогласных с канонами и преданием церковным, у них нет. Разделяют их с нами единственно их непокорство русской церковной власти и обряды.

Но обряды староверия в полном их составе благословлены нашею Церковью и признаны ею под условием покорности со стороны старообрядцев.

Образовалось единоверие, органическая и равно православная часть Церкви. Если бы какой-нибудь филолог и исследователь древности стал бы доказывать теперь и утверждать, что писать имя Господа «Исус» правильное, чем «Иисус», или что следует читать в Символе Веры «И Духа Святаго *истинного* животворящего»... вместо «И Духа Святаго *Господа* животворящего...» — это было бы делом личного мнения, для Церкви безразличного, а не актом противления ей.

Остается непокорство Церкви. Вот что фактически разделяет нас и старообрядцев.

Старообрядцы-поповцы делятся, по отношению их к господствующей Церкви, на три группы.

Во-первых, австрийцы, или австрийское согласие, основанное, в силу именно своего непокорства, свой особый церковный центр в Белой Кринице, в Австрии. Огромная часть этих старообрядцев молится за Государя, поминая Его имя на проскомидии, и присоединилась к «Окружному посланию», смысл коего тот, что господствующая Греко-Российская Церковь сохраняет таинства и благодать апостольского преемства, но общение с нею невозможно, во-первых, из-за ее «неправильных» обрядов и новшеств, во-вторых и главным образом, из-за канонических отступлений пониконовского периода. Другая, меньшая часть, неокружники или противуокружники, отвергли «Окружное послание» и остались на почве старой нетерпи-

мости и фанатизма. По их воззрению, русская «никонианствующая» Церковь лишена благодати, передалась Антихристу и т. д. С этою группою никаких разговоров быть не может, да и серьезных элементов здесь нет.

Во-вторых, белопоповцы. Эти признают благодатность и апостольское преемство русской иерархии, но общение с Церковью отменяют. Не признавая иерархии Белокриницкой, они переманивают православных священников, «похищают благодать» и остаются как бы паразитами на теле Церкви. Эта группа представляет остаток прежнего староверия до образования Белокриницкой иерархии. Группа эта, кроме своей непоследовательности, весьма немногочисленна и стоит вне вопроса, в особенности потому, что пользуется известным рода покровительством и ни в какой защите не нуждается.

Итак, будем говорить об австрийском согласии окружников. Уясним себе вопрос: в чем *теперь* их спор с Русскою Церковью? Где основания непокорства?

Раньше, до *единоверия*, они находились под соборною клятвою поместной Русской Церкви, произнесенной с благословения двух восточных патриархов. Теперь церковная власть выяснила, что Церковь проклинала не самый обряд, но лишь тех из его сохранявших, кто не желает ей поклониться.

Часть старообрядцев покорилась. Остальные, и их было огромное большинство, ответили:

«Дело не в разъяснении клятв, *дело в их снятии*. Пусть Церковь снимет их каноническим порядком, т. е. вселенским собором, или по крайней мере поместным, но собором, утвержденным *сношением* с вселенскими патриархами».

Не будем выставлять нашего личного мнения об этом разногласии. Справимся у И.С. Аксакова. Вопрос ведь в том, отступили ли мы от славянофильства, действительно ли, по выражению преосвященного Антония, «кости И.С. Аксакова поворачиваются в гробу»?

Перепечатанная нами в особом приложении к № 1 «Русского труда» за 1898 год статья покойного И.С. Аксакова категорически высказывается за снятие соборных клятв, кате-

горически обвиняет русскую церковную власть в нежелании успокоить верующую совесть старообрядцев.

«Выход, казалось бы, один, — говорит И.С. Аксаков, — это искреннее исповедание своих ошибок и прегрешений, соборное покаяние, соборная молитва о ниспослании духа премудрости и любви и *соборное вновь рассмотрение деяний Московского собора 1667 года* в смысле умиротворения и объединения».

Вся статья «Руси», из которой эти строки взяты, написана в доказательство невозможности успокоить совесть верующих произвольными истолкованиями клятв, наложенных на старый обряд. К этой теме много раз возвращался И.С. Аксаков и его близкий друг и единомышленник Н.П. Гиляров-Платонов, и всегда, неизменно они повторяли одно: до снятия клятв соборных мы не вправе требовать от старообрядцев отречения от их нынешних воззрений на единоверие. Совершенно в том же смысле решает этот вопрос и глубокий знаток старообрядчества, человек несомненно православный, Т.И. Филиппов в своей известной книге «Современные церковные вопросы».

Полагаем, что с этой стороны мы ничуть не отступили ни от церковной почвы, ни от заветов славянофильства.

Но это лишь часть вопроса. Признание Церковью старого обряда устраняет спор о нем вовсе и сводит дело не к сущности, но к *способу* примирения. Другая сторона дела заключается в препятствиях *по существу*, в силу коих старообрядцы уклоняются и будут уклоняться от единения с нами, даже если бы вопрос о клятвах и был решен в смысле их пожеланий.

Эти препятствия *по существу* заключаются в ненормальном положении самого строя нашего церковного управления, в соблазняющих старообрядцев (а еще больше и самих православных, сознательно и ревностно относящихся к делу Церкви) наших попетровских новшествах, в нарушении нами церковных канонов, что и сам преосвященный Антоний признает в своем письме, говоря о некоторых требованиях анонимного автора книги «Церковные вопросы», изданной за границей.

Положение патриарха и всего епископского чина в Древней Руси было совсем иное, чем ныне. Старообрядцы желают

восстановления патриаршества, как живого символа независимой от светской церковной власти и хранителя церковной свободы, и возвращения русской Церкви соборности, требуемой канонами.

Духовенство Древней Руси было выборным. Старообрядцы, удержав выборное духовенство сами, желают, чтобы это начало было восстановлено в русской Церкви. В этом смысле высказался даже наш знаменитый святитель московский Филарет¹.

Старообрядцы удержали церковную общину, которая представляет русскую народную историческую организацию. Эта община сохранилась во всех православных землях, кроме России. О восстановлении ее мечтают лучшие наши церковные умы.

Вот какие «прекрасные», по его выражению, слова патера Гиацинта приводит в своем «Московском сборнике» К.П. Победоносцев — государственный человек, близко прикосновенный к судьбам русской Церкви и высокоавторитетный:

«Если, становясь на практическую почву, хотят, чтобы государство отказалось от права постановлять пастырей Церкви и от обязанности содержать их, — *это будет идеальное состояние, к которому желательно перейти, которое нужно готовить к осуществлению при благоприятных обстоятельствах и в законной форме. Когда вопрос этот созреет, государство, если захочет так решить его, обязано возвратить, кому следует, право выбора пастырей и епископов...* Государство, в сущности, только *держит* за собою это право, но оно ему *не принадлежит*»².

Восстановите это наше историческое древнее церковное устройство, освободите Церковь от воздействия светской администрации, освободите ее от созданного ей Петром и закрепленного Сперанским достаточно несвойственного ей положения «духовного ведомства» — и старообрядцы завтра же,

¹ См. его разговор с епископом Порфирием Успенским в № 9 «Русского труда» за 1898 г.

² «Московский сборник». Изд. I. — С. 9. — *Курсив наш.*

веруем этому твердо, из противников этого ведомства станут в положение лучших чад Церкви...

Сделанная еще недавно на страницах «Русского вестника» г-м Z*** попытка доказать историческую необходимость и правоту совершенных Петром I канонических нарушений при переустройстве русской Церкви¹ потерпела должное поражение на страницах того же журнала в обстоятельной и вполне доказательной статье Аф.В. Васильева «О преобразовании высшего церковного управления Петром I», перепечатанной вслед затем на страницах «Благовеста», журнала, издававшегося под духовной цензурой².

Та же духовная цензура в том же журнале сочла возможным одобрить следующие строки из программной статьи «Задачи и стремления славянофильства», принадлежащей тому же Аф.В. Васильеву, которого, по чистоте и строгости выражения славянофильского учения, можно поставить на первое место среди «остающихся в живых славянофилов» и у которого преосвященный Антоний сам охотно сотрудничал. Вот что читаем мы на с. 40 и 41 2-го выпуска «Благовеста» за 1890 г.

«Соборным управлением и некоторою свободою действий пользуются православные Церкви в других странах, в странах с иноверческими и инославными правительствами. В нашей же русской Церкви со времен Петровской ломки оскудело соборное начало и приведенное вселенское правило о соборах не блюдетя; наша иерархия принижена и ее влиянию на народную жизнь поставлены слишком тесные пределы. Нарушение канонов, выражающееся в пренебрежении к соборному началу, и обусловленные этим *приниженность, безмолвие и неустройство* Русской Православной Церкви — суть, между прочим, причины того горького и грозного явления, что народ наш уходит из Православия во всевозможные толки и секты или совсем обезверивается; так что в настоящее время у нас слова «православный» и «русский» уже далеко не тождественны одно другому. Стесненное положение нашего церковного

¹ «Русский вестник». 1891. Апрель.

² «Благовест». 1891. Вып. 31.

правительства препятствует живому общению его с иерархиями других Православных Церквей, и не это ли обстоятельство лишало не раз нашу Церковь силы — устранить и умиротворить мятежи и расколы в братских ей Церквях?

Церковь наша должна вернуться к прежнему каноническому, допетровскому строю! *Восстановление патриаршества, обращение к соборному началу*, возобновление деятельного и живого общения с другими Православными Церквями оживят и одухотворят и нашу церковную жизнь, исцелят многие наши общественные язвы и, быть может, восстановят духовную целостность русского народа и всего православного Востока».

Оставаясь на русской исторической почве и со всей строгостью мысли и благоговением испытывая учение Православной Церкви, «Русский труд» находит, в строгом согласии с почившими основоположниками славянофильства, что эти желания вполне церковные и вполне православны. И газета по мере сил их проводит и защищает в твердой уверенности, что служит делу Церкви, а не противоборствует ей.

Нам остается лишь добавить к сказанному, что именно покойный Иван Сергеевич Аксаков, памятью которого укоряет нас преосвященный Антоний, для уяснения вопроса об отношении Церкви к старообрядцам предложил, в нашем присутствии, своему духовнику и сотруднику, известному церковному писателю покойному А.М. Иванцову-Платонову, в Православии коего никто никогда не сомневался, разработать вопрос о необходимых изменениях в устройстве русского церковного управления. Этих статей вышло двенадцать, и они были напечатаны в «Руси» 1882 года под заглавием «О русском церковном управлении».

Если наш грозный обличитель соблаговолит потребовать «Русь» за указанный год, которая, конечно, в библиотеке Казанской Духовной академии имеется, и возобновит в своей памяти статьи о Иванцова-Платонова, ему нетрудно будет убедиться, что церковная программа, изложенная там и принятая Иваном Сергеевичем как программа «Руси», не только *тождественна с пожеланиями старообрядцев-*

окружников, но идет дальше их требований. Они помирятся и на меньшем.

Такую же почти программу ставил пятьдесят лет назад выдающийся православный иерарх, епископ Порфирий Успенский. Эта программа была напечатана в том же приложении к № 1 «Русского труда» рядом со статьей Аксакова.

К величайшему сожалению, наша духовная литература, которая давно могла бы помочь выяснению этого предмета, предпочитает его совершенно не касаться, рассуждая исключительно о нуждах духовного ведомства, а наша светская печать, в церковных вопросах невежественная или к ним равнодушная, разумеется, его даже и поставить не в состоянии.

* * *

Мы разобрали существенную часть письма преосвященного Антония — принципиальную. О части полемической, по правде говоря, нам хотелось бы умолчать вовсе, тем более что и речь идет о книге, обсуждению не подлежащей, и выражения автора письма таковы, что о них можно лишь пожалеть. Поэтому будем кратки.

Уже по самому сознанию преосвященного Антония названная им книга «содержит в себе немало горьких истин и справедливых канонических требований», а потому, разумеется, нам не могло бы быть поставлено в вину, если бы некоторые статьи ее автора, как утверждает преосвященный, печатались в «Русском труде». У нас много различных сотрудников, но берем мы только то, что нам кажется истинным и справедливым, отбрасывая все, где можно заподозрить «излишнюю доверчивость». Неся поэтому всю ответственность за напечатанное у нас, мы ни в каком случае не можем быть ответственными ни за книгу, изданную где-то за границей, ни за предполагаемых ее авторов.

Что касается до «плутократии в греческом и русском смысле», мы не видим здесь ни малейшей связи ни с нашими статьями, ни вообще с церковными вопросами. Очень жаль,

что преосвященный не разъяснил подробнее, что следует здесь подразумевать. Кулаки и ростовщики есть во всех исповеданиях, но плутократия старообрядческая, равно как и всякая другая, с их хищными интересами никогда ни отголо-ска, ни приюта себе в «Русском труде» не находили. В этом смысле наша программа, кажется, достаточно успела определиться; относительно же клевет на выдающихся русских иерархов, считаем это утверждение, насколько оно касается «Русского труда», голословным и ждем указаний более точных: кого и когда мы оклеветали?

С болью сердца встретили мы подпись преосвященного Антония в органе, направление которого автору письма всегда было чуждо и несимпатично, еще с большей скорбью печатаем его письмо сами. Предположенной автором цели оно достигнуть не может. Наша совесть чиста, наше сознание и наш внутренний (достаточно строгий) суд утверждают нас в мысли, что никогда наше перо не служило чему-либо враждебному Церкви. Наоборот, посвятив всю жизнь на развитие и практическое осуществление славянофильского учения, редактор «Русского дела» и «Русского труда» служил или стремился служить прежде всего *делу Церкви*. Ему нет причины бояться суда «находящихся в живых славянофилов»¹, ибо он верит в правоту своего дела и знает, что доверие к искренности и чистоте его побуждений еще никем поколеблено не было.

«Русский труд» есть строгое и без малейшего отступления продолжение «Русского дела», которое преосвященный справедливо считает «центральным органом» славянофильства и продолжением «Руси»; но ведь именно в «Русском деле» было помещено «Ответное послание глаголемых старообрядцев митрополиту киевскому Платону», вызвавшее к живому обмену мыслей лучшие силы нашей церковной литературы с проф. Н.И. Ивановским во главе. Отчего же преосвященный

¹ Господа «находящиеся в живых славянофилов», как Аф.В. Васильев, А.А. Киреев и Н.П. Аксаков (живущие в Петербурге), настоящий ответ единоголосно одобрили и вполне к нам присоединились.

не отрекся от нас тогда? Почему делает он это теперь, да еще в форме столь необдуманной и поспешной?

Редактору «Русского труда» в конце его четвертьвекового безупречного литературного поприща не было причин меняться ни в каком смысле. Он все тот же неисправимый идеалист, фанатик искреннего искания правды. Зато изменился наш бывший единомышленник и сотрудник. Это уже не прежний интеллигент и дворянин-монах, пламенный обличитель духовного ведомства на страницах «Русского дела». Ученое чело преосвященного Антония украсила епископская митра, он уже *иерарх*, и как таковому его прежние «радикальные» воззрения ему не к лицу. По своему высокому положению и связям он уже невольно смотрит иным духовным оком на свои прежние симпатии...

Если наше объяснение покажется преосвященному Антонию неудовлетворительным и он не переменит своего мнения о «Русском труде», мы, конечно, избавим его от дальнейшей неприятности, сопряженной с чтением этой газеты. Мы будем знать, что наши дороги разошлись, и, конечно, по слабости человеческой утешать себя, что прав наш путь, а не путь автора письма.

В наших словах читатель не найдет ни следа осуждения или непочтения к нашему строгому обличителю. В них только тоска о потере друга и сотрудника, которую мы вовсе не думаем скрывать, и совершенно понятное и, надеемся, вполне христианское о нем сожаление.

МОЛОДЕЖЬ ПРЕЖДЕ И ТЕПЕРЬ

(Из «Русского вестника». 1896 г.)

I

В конце 1895-го года был поднят в одном из периодических изданий вопрос о нашей молодежи. Указывалось, что нынешние молодые поколения учатся до переутомления, совершенно забывая о своем физическом развитии, а потому выходят нездоровыми, бледными, худосочными. Как противовес этому одностороннему складу жизни, рекомендовалась гимнастика, всевозможные виды спорта и т. д. Ни возражать на это, ни говорить по поводу этого, собственно говоря, нечего.

Но в полемике о молодежи, между прочим, затронут был и другой, гораздо более серьезный вопрос. Указывалось, что после «Бесов» Достоевского литература наша вопроса о молодежи почти не затрагивала, не исследовала ее, не давала из ее среды художественных типов. Мы не знаем, говорилось прямо, что такое современная молодежь, что она читает, о чем мечтает, во что верует, — словом, чем она живет.

Мне хочется попытаться дать беглый очерк положения дела, охарактеризовать нынешнюю молодежь, разумею школьную молодежь высших учебных заведений в возрасте от 18 до 23—24 лет. За последние годы мне пришлось с нею сталкиваться, пришлось изучить целую коллекцию современных ее типов из различных учебных заведений, начиная со студентов университета и кончая юнкерами. Я приглядывался к ней, интересовался ее взглядами, жизнью ума, жизнью сердца, и у меня сложились некоторые выводы, думаю, достаточно спокойные и беспристрастные.

Но прежде несколько слов о себе, чтобы была понятна моя точка зрения и мои отношение к молодежи. Мои учебные годы (говорю про высшее учебное заведение) были 1871—1873, значит, более чем 22 года назад. Мы все, военные и статские воспитанники высших учебных заведений Петербурга, кроме привилегированных, общались между собою довольно тесно и уровень наш был весьма однообразный. Чем жил умственно университет, тем жили и Морское училище, и Горный институт, и Петровская академия в Москве, и инженеры, и технологи.

Многие думают, что наша современная молодежь стоит на Писареве. Это ошибка. Она и в мое время уже на нем не стояла. Мы Писарева читали в среднем учебном заведении, где брали его из классной библиотеки в синем коленкоровом казенном переплете, да, это факт! Только двух томов не было, запрещенных, и их мы доставали со стороны. На прогулках воспитатель собирал нас в кружок и прочитывал с простран-ными толкованиями «Что делать» Чернышевского и «Азбуку социальных наук», кажется, Флеровского, задержанную цен-зурой толстейшую и скучнейшую книгу. Мы благоговейно зе-вали — это самое подходящее выражение, но все-таки слуша-ли, потому что был зажжен огонек развития и маленькие умы были приготовлены и к пытливости, и к работе.

В высшую школу наше поколение перешло примерно по такой лестнице: первое чтение — Майн Рид, Фенимор Купер, отчасти Вальтер Скотт и Диккенс, затем Жюль Верн, Масэ, Гумбольдт, Шлейден, Льюис, Брэм и русские авторы: Помя-ловский, Решетников, Некрасов, Гончаров, Тургенев; меньше Писемский и Лермонтов, еще меньше Лев Толстой и Пушкин. Наконец, Добролюбов, Писарев, Дж. Ст. Милль, Бокль, Дрэ-пер, Бюхнер, Вундт, Чернышевский. Беллетристики в старших классах уже почти никто не читал и читавших тайком рома-ны, издание Ахматовой, называли институтками. Мы пропу-стили без внимания первые крупные вещи Достоевского, едва пробежали «Войну и мир» Толстого, совсем почти не читали старика Аксакова, но зато упивались Добролюбовым, Писаре-вым и Чернышевским, а при самом выпуске усиленно следили

за франко-прусской войной, решительно не установив, кому надлежит сочувствовать.

При переходе в высшие школы мы были сплошь материалистами по верованиям (мы «верили» в атомы и во все, что хотите) и величайшими идеалистами по характеру. «Наука» была нашею религиею, и если бы можно было петь ей молебны и ставить свечи, мы бы их ставили; если бы нужно было идти за нее на муки, мы бы шли. Вольтеровского *écrasez l'infame* нечего нам было рекомендовать. Религия «старая», «попы» были предметом самой горячей ненависти именно потому, что мы были религиозны до фанатизма, но по другой, по новой вере. «Батюшка» читал свои уроки сквозь сон, словно сам понимая, что это одна формальность, и на экзамене всем ставил по 12. Но нравственно мы все же были крепки и высоки. Чернышевский и Писарев тоже ведь учили добродетели и проповедовали «доблесть». Этой доблести, особой, юной, высокой и беспредметной доблести был запас огромный. Мы были готовы умирать за понятие, точнее — за слова, смысл которых был для нас темен. Этого довольно для нашей характеристики.

С таким багажом наше поколение вступило в высшие учебные заведения. Там уже ждали старшие. При выпуске мы давали закваску и тон новичкам, здесь нас ждала новая и властная среда, где приходилось воспринимать и учиться, а не руководить.

Первое, как сейчас помню, впечатление было: очень большая серьезность среды сравнительно с нашим молодым энтузиазмом. Старшие были то же, что мы, по складу понятий и, однако, как будто не то. Писарев уже выцвел и вылинял. Это «для мальчишек». Нельзя было даже ссылаться на него в споре. Помню, один юнкер старшего класса с усиками сказал мне однажды с неподражаемым достоинством: «Писарева роль — разбудить мальчика, толкнуть мысль. Серьезному уму с ним делать нечего».

Чем же занимались эти «серьезные умы»?

Отвечу: наукой, и очень прилежно. Не той наукой, какая преподавалась и какую «зубрили» тупицы и «богородицы» (так звали всех, кого ловили в тайной молитве, или заставляли

крестьящим вторую пуговицу пред ответом преподавателю), а «настоящими» науками. Один выбирал физику и читал Секки, Гельмгольца, выписывал из фундаментальной библиотеки (великолепной) все, что было, и сидел, сидел. Другой брал химию, третий сравнительное языкознание, но большинство набросилось на политическую экономию и социологию. Трудно поверить, с каким прилежанием одолевали люди дубовый «Капитал» Маркса, да еще по-немецки. Свежие головы просто трещали от невообразимой путаницы в изложении этого столпа социальной науки, даже и не подозревая, что венцом их трудов будет нечаянное признание самого Маркса, что он «меньше всего марксист сам». За Марксом следовали более толковый и страстный Лассаль, Огюст Конт, Милль, Спенсер. Этими последними зачитывались.

В то же время основывались тайные библиотеки, кассы взаимной помощи, издавались рукописные и литографированные листки и журналы, обменивались ими с другими высшими учебными заведениями, собирались разные специальные фонды, делались пожертвования, и в довольно крупных размерах, на пропаганду. Это было время горячего хождения в народ и начало воинствующего анархизма. Он осторожно пробирался к нам, но еще не увлекал нас. Мы горячо вместе с религией ненавидели «существующий строй», но в нас сидело еще слишком много старого, культурно-дворянского, чтобы откровенно сочувствовать некоторым прямо грязным замыслам и личностям и одобрять злодейские планы анархистов. Наше поколение школьной молодежи, сплошь либеральное, не было отнюдь анархистским. Да и благородная, светлая личность Государя действовала невообразимо. Он бывал у нас, и мы, революционеры, нигилисты и ненавистники монархии, в эти минуты перерождались и от всей души кричали «ура».

И в то же время мы были готовы на всякую антиправительственную демонстрацию, потому что от души ненавидели так называемый «существующий строй». Ненавидели полицию, ненавидели военную и всякую иную службу, жаждали, как манны небесной, конституции, и за одно это свя-

щенное слово наверно любой из нас, юнкеров, выбросился бы из окна четвертого этажа.

Увлечение «настоящими науками» было почти для каждого непродолжительно. Редко кто удержался на избранной специальности в течение всего курса. Обыкновенно этому посвящалось год, много — первых два. Мешали, во-первых, раскрывавшаяся ширь и подробности, без которых знание выходило фельетонным (а мы хотели именно настоящей, большой науки), во-вторых, своя учебная программа (ведь надо же было сдавать экзамены) и, в-третьих, остывавший понемногу пыл и постепенно повышавшееся политиканство.

Говорилось: «не до науки теперь, когда кругом зло стоит стеной и жизнь зовет. Пусть свободные и счастливые потомки двигают науку. Нам черная работа — разбить оковы». И это в то время, когда правительство было еще совсем либерально и только чуть-чуть поворачивало руль ввиду явных безобразий нигилистов, разносивших по всей России бред «Земли и Воли» и вызывавших ряд бунтов вроде Чигиринского. Приведу одно тогдашнее стихотворение, ходившее по рукам и отлично выражавшее настроение среды:

Печально я гляжу на наше поколение;
Его грядущее — погибнуть без следа,
Над телом и душой сносить лишь униженье
И не видать свободы никогда.

* * *

При всем могуществе науки и познания,
При полной зрелости развитого (sic!) ума
Оно стереть с себя не в состояньи
Бесправья, рабства подлого клейма.

Это сочинялось в одну из самых свободолюбивых эпох русской истории. Далее говорилось в стихотворении, что «дело славное страны освобожденье» достанется увенчать лишь по-

томкам. Только эти потомки, пожалуй, могут оказаться неблагодарными и своих предшественников «сметут, как негодные обломки». Кончатся стихи так:

Историк будущий с улыбкой сожаленья
В эпохе нашей след едва найдет
Того высокого, священного стремленья,
Что нашим внукам волю создает.

* * *

А внук, дела и мысли дедов изучая,
С самодовольством взглянет на себя
И гордо скажет, книгу закрывая:
То мы, свобода, добыли тебя!

Этот элегический тон, эта тихая грусть характеризуют именно *дворянскую* молодежь в ее последнем *цельном* поколении. Стихи позднейших эпох совсем этого оттенка мечтательной грусти не носят.

Но я вовсе не думаю углубляться в историю этой эпохи, а хотел только набросать физиономию нашего поколения, теперь сорока, сорока-двухлетних русских людей. Поэтому возвращаюсь к нашему политиканству.

Кто не помнит этого времени? В газетах была только одна политика. Все политика. Вопросы внутренней жизни разбирались не по существу, а только по окраске, ибо существа никто не понимал. Земледелием, торговлею, промышленностью никто не интересовался, и никто здесь не понимал ничего. Это считалось областью исключительно деловых людей, людей «брюха», которые поэтому и делали буквально, что хотели, не контролируемые никем. Нам интересна борьба земства с правительством, самоуправления с бюрократией, сепаратизма с казенным единством. Наша схема была: подпольная работа народовольцев, скрывшись под земством, подготовить в России социальную революцию и вынудить

правительство на перемену строя. Наступит «свобода». Что за свобода, в каких формах, никто не знал.

Оглядываясь напряженно пристально назад, стараясь припомнить все разговоры, только и помню одно: «свобода». Колесница, на которой эта свобода имела приехать, — конституция. Затем там будет видно, но наше поколение глубочайшим образом веровало в конституцию и мечтало о русском парламенте, где бы были собраны представители земств и отчеты о прениях которого мы могли бы читать в наших любимых изданиях: «Голосе» и коршевских «С.-Петербургских ведомостях». Помню, у нас писались горячие и страстные петиции к Государю, который, как мы полагали, хочет, но не решается дать конституцию. Мы умоляли его не колебаться, обещаясь «при этих условиях» быть ему верными. Я не помню, посылались ли эти петиции? Кажется, переписали раз писарским почерком и опустили в почтовый ящик, понятно, без подписей...

Одним словом, наше политиканство было чистейшим идеализмом, и этим наша умственная физиономия определенно обрисовывается. Если сюда прибавить несколько черточек из жизни нашего сердца, то облик молодежи начала 70-х годов, по крайней мере военной, будет закончен.

Я до сих пор не знаю, где и какие были в Петербурге коммуны вроде описанных покойным Крестовским в «Панурговом стаде». Но я смело и горячо утверждаю, что наше поколение здесь совершенно не при чем. Может быть, за два, за три поколения перед нами хлынувшая волна «эмансипации» и вынесла на поверхность несколько экземпляров Ардалиона Полоярова и К^о., но и там это было явление исключительное, а у нас ничего подобного не было. Скорее уж в «Нови» можно заметить внешнее сходство и некоторые верно схваченные внутренние наши черты. Да, Нежданов вполне наш человек. Соломин тоже чуть-чуть наш, хотя эта фигура скорее сочиненная, чем живая.

Сердечный склад поколения меряется отношением к женщине. Скажу без колебания и широко обобщая, что эти отношения были в высшей степени порядочны. В теории мы стояли за женскую эмансипацию, за равенство, за женский труд и об-

разование, на практике мы поклонялись женщине. Очень многие из нас целовали руки у сердечных экземпляров, случайно попадавших среди разных вертепов, куда загоняло молодежь простое физическое влечение, очень многие влюблялись в них и стремились «спасти», очень многие, устроив легкомысленную связь с порядочной девушкой из низшего круга, закрепляли затем союз женитьбой. Именно среди нынешних деятелей, вышедших из нашего поколения, преобладает тип «студенческих жен». Но я бы желал найти хоть одного из «наших», который бы заикнулся о приданом или задумал бы через жену устроить себе карьеру. Его бы попросту заплевали. Разумеется, и в нашем поколении не обходилось без грехов и даже мерзостей, но в том-то и дело, что мерзость так и называлась мерзостью, могло быть фарисейство но не было и не могло быть цинизма. Наше поколение было чересчур идеалистичным, и, как я уже сказал, в нем был слишком большой запас старокультурной дворянской силы. Наши отцы были именно теми мировыми посредниками первого призыва, которые, творя великое дело Царево, сами в большинстве разорились и сошли со сцены. У многих из нас младшие братья уже не смогли, по недостатку средств, попасть в высшие учебные заведения, а следующие за нами поколения в высших учебных заведениях стали явно утрачивать свой среднедворянский характер...

Чтобы закончить о нас, — два слова о наших товарищах-инородцах. Еврея в высшем учебном заведении мы еще совсем не знали и не видали, он явился позднее, у нас была горсточка поляков, русские немцы, армяне и татары. Некоторое значение имели только поляки. Они держались кучкою, твердо веровали, хотя тщательно избегали говорить о религии, мало политиковствовали, и во всяком случае не с нами, и держались отдельно, идя постоянно первыми во всех науках и великолепно работая. Никакой к ним ненависти и недоброжелательства не было, ибо и их слегка увлекала общая с нами волна, но отчуждение и некоторая досада на них были. Они были слишком уже трудолюбивы, лояльны, слишком выдвигались вперед и завоевывали благоволение начальства. Никогда никакой оплошности,

никакого выговора, взыскание, в то время как каждому из нас доставалось за что попало и доставалось глупо, так как начальство было архиказенное. После среднего учебного заведения, где нам читали Чернышевского и где велись долгие беседы на самые невозможные темы, но все с горячей и искренней сердечностью и теплым к нам вниманием, мы вдруг попали точно в казарму: исполняйте пунктуально внешние требования регламента, а там хоть трава не расти. Ветхозаветное начальство, поклонявшееся только 20-му числу, не воздействовало решительно ни с какой стороны и ограничивалось арестом запрещенных книг, если таковые держались уже чересчур открыто.

Немцы были исключительно карьеристами, кроме, конечно, коренных русских с немецкими фамилиями, армяне и татары шли беспрекословно за нами в хвосте, не внося ничего своего, кроме некоторой тупости мысли. Да куда же им было угнаться за нами? Но они все-таки усваивали наше направление, некоторые даже добросовестно потели над Марксом; впрочем, из этого ничего не выходило, ровно ничего...

Вот, в общих чертах наша духовная физиономия. Вышло наше поколение в жизнь в хорошем сравнительно составе и работает добросовестно. Большинство и сейчас остались идеалистами, не так как два-три поколения предыдущих. Те слишком охмелели от резкого воздуха 60-х годов и быстрее вытрезвились. Мы хмелели меньше, но работали больше. Мы были серьезнее тех и дольше сохранили идеализм. Среди нас меньше блестящих талантов, но меньше и совсем негодных людей. Мы серее предшественников, но ровнее их по общему складу.

Теперь посмотрим современную молодежь, еще не наших детей (они сейчас еще в гимназиях), но детей поколения 60-х годов.

II

Между нами и нынешнею учащеюся молодежью лежат: окончание реформ Александра II. Славянское движение и война 1877—1878 гг. Сан-Стефанский и Берлинский договоры. Ряд

анархических покушений с 1 марта в конце. Диктатура сердца и долгое полновластие гр. Д.А. Толстого. Ближайшим образом разделяет нас реформа классических гимназий и новый университетский устав, — реформа военных гимназий и всеобщая воинская повинность.

Это все грани исторические, могущественно отражавшиеся на умственном и нравственном строе сменявших одно другое поколений, но грани все-таки внешние. Одновременно резкая перемена последовала и в условиях бытовых. Как я сказал уже, наше поколение было сплошь дворянское. Следующее за нами было уже смешанное, и в этом лежит весь центр вопроса. Мы были еще сполна пропитаны всем старым историческим строем, мы все уроженцы крепостных помещичьих усадеб; сорока, сорокадвухлетние люди в 96 году родились в 54—56-х и, следовательно, сами лично, шести, семи и восьмилетними мальчиками слушали Манифест 19 февраля. Прибавьте, что тогда историческая почва буквально горела под ногами и шестилетний хлопец по развитию заткнул бы за пояс нынешнего десятилетка.

Разорение среднего дворянства началось не сразу; оно долго боролось и среди этой борьбы на последние выкупные воспитывало нас. Следующие поколения уже не на что было воспитывать разорившимся, но зато на смену явились к нам в школу новые элементы.

Кто они были, откуда, проследить очень трудно, но непосредственно следовавшие за нами поколения молодежи были уже наполовину лишены исторической традиции, и это было в глаза.

Почва для нашего идеализма, сплошного, однородного, кипучего, была поколеблена. Между моими младшими товарищами можно уже было заметить экземпляры, у нас совершенно невозможные. Его не втянешь никуда, не заразишь ничем. Все наши великодушные и доблестные порывы ему совершенно чужды. Сидит себе и долбит, не общаясь ни с кем, и что у него в середке — никто не разберет. Дальше их все становилось больше, а крепкий, могучий, краснощек, наш дворянский класс все хилее. Отцы из сытых дворян с басовым смехом и в

хороших широчайших шубах и вязаных шарфах исчезли, появились в приемных матери-старушки, священники, опекуны нахального вида, краснокожие лавочники, бритые ветхозаветные чиновники, все перепуталось, перемешалось. Нам можно было идти дружно всей стеной, здесь начались перегородки, кружки, шепот, потому что с некоторыми юнцами стало невозможно иметь дело.

Это очень важный момент, — уничтожение цельности, перерыв традиции. Важен он потому, что школа сейчас же лишилась своего культурного значения. Молодежь перестала быть органическим целым, стала пестрой толпой. Прежний дух исчез, остались казенные программы и занятия. Какое бы там ни было воспитывающее значение школы, но оно все в этом духе. Исчез он, и воспитание кончено. Остались экзамены, дипломы и чисто внешняя дисциплина.

Целый ряд поколений так и пошел стадом, проявляя самую невозможную пестроту. Прибавьте к этому моменты чисто исторические. Сербское движение, восточная война все-таки еще кое-как подогревали даже эту разношерстную молодежь, подогревали ее в национальном смысле, чему, например, мы были совершенно в свое время чужды. Не будь Берлинского трактата, войди мы в самом деле в Константинополь, этот национальный подъем спас бы нашу молодежь и заменил бы в известной степени ту старую историческую традицию, которую она начинала терять.

Но этого не случилось. Покойный И.С. Аксаков был совершенно прав, когда называл Берлинский трактат поворотным пунктом в новейшей русской истории, откуда неудержимо пошло наше нравственное и политическое растление. Не может живой народ вынести подобного эксперимента! Нельзя видеть свою Родину оплеванной! И еще хоть бы нас побили, — нет, нас обокрали интенданты и евреи, и нас обошли дипломаты. Даже жаловаться не на кого.

Ужаснее всего это поникновение духа и разочарование отразилось на школьной молодежи. Если грубые овощи мороз «обжигает» и уродует, то рассаду губит, — это истина старая.

В молодежи неведомо откуда появилась злая струя, нам совершенно чуждая. Мы были розовые космополиты, но на Россию смотрели снисходительно; здесь вдруг появилась яркая ненависть ко всему русскому. Мы мечтали о конституции и кричали «ура» Александру II, а из этой молодежи анархисты вербовали динамитчиков, и рядом с этим много школьных юношей пошло в «священную дружину», куда, наверно, не записался бы ни один из наших.

Моя тема так бесконечно широка, что я должен сжимать, чтобы сказать хоть урывками самое главное.

Третий момент — реформа гимназий. Независимо от бытовых и исторических причин студент, прошедший старую «легкую» гимназию, и студент с «аттестатом зрелости» — просто несравнимые величины. Я уже рассказал выше, что мы делали; в средней школе читали и развивались, учась очень легко и вольготно: все равно ведь забудется и география, и история, и латынь, и алгебра с геометрией. Главное были воздух школы и книги. У нынешней среднешкольной молодежи самый мертвенный, самый беспросветный зубреж. Кто не помнит признаний В.В. Розанова, бывшего учителя, глубокого и страстного сторонника классицизма, в его прошлогодних статьях «Афоризмы и наблюдения?» Он говорит прямо, что наша классическая школа немыслима без грубейшего обмана. Если не разложить билетов, даже талантливый юноша ничего не ответит. Сил физических не хватит исполнить обязательную программу, ибо она составлена людьми, не имевшими представление о живой школе.

Это говорит сторонник классицизма. Я же добавлю, что нынешних гимназистов даже сравнивать нельзя с нашими, до чего они тупее и прямо невежественнее. Читать что-либо им безусловно некогда, развиваться невозможно, потому что уроки заливают их, как утопающих волны. Едва есть свободная минута на еду и воздух, без чего молодой организм не может же обходиться.

И вот разница: мы, вступая в высшую школу здоровыми, краснощекими и очень развитыми, с одной стороны, рвались

к науке и занимались ею, с другой — пускали вовсю наш накопленный идеализм и были готовы звезды хватать, все равно какие. Нынешние воспитанники средней школы являются в высшую бледными, худосочными, измученными зубрением, отупелыми вместо развития, лишенными всякой тени идеализма, лишенными каких бы то ни было взглядов и убеждений, словом, совсем голенькие. Мы бросались на работу, а избыток силы так и переливался через край, уходя на всякие виды творчества, хоть и вздорного, но все же творчества, они... прежде стремятся отдохнуть от пережитой каторги.

Мы за некоторые словечки были готовы драться. Нынешним, увы, все равно! Вот где истинный ужас, в этом равнодушии. Помню, бывало, просыпается в 2 часа ночи товарищ и будит:

— Послушай, а Милль-то тово... Ведь это же у него чепуха...

— Уйди ты к черту, спать хочу.

— Нет, погоди...

Закуриваются папиросы, и два часа идет горячий спор, где неизвестно, что больше работает — сердце или ум.

Мы были на все руки. Подошел, посмотрел, сообразил и уже готов работать, уже в курсе дела. Нынешний на самую нехитрую работу не годен, кроме военных — тех испортили меньше. Я старый журналист и могу засвидетельствовать нижеследующее: нужно переменить пять студентов, пока нападете на одного, способного простые газетные вырезки сделать, да и это будет в большинстве случаев еврей. Они меньше тупеют и теперь оказываются способнее. Вот что значит отсутствие в воздухе идеализма, который для еврея все равно, что персидский порошок.

Вы спрашиваете, что читает молодежь? Отвечу категорически: «легкую» литературу и затем газеты и журналы. И из газет, увы, больше всего разные «Газеты» и «Листки», потому что понятнее и пошлее. В журналах прочитывается беллетристика и кое-какие статейки «Русской мысли» и «Русского богатства». «Вестник Европы», даже «Неделя» уже тяжелы и питают не молодежь, а взрослых нашего и двух-трех младших поколений.

Журналы и газеты так называемого русского направления не читаются вовсе. Множество молодежи высших школ питаются лишь «Нивой» и даже «Родиной». Некоторую популярность имела «Русская жизнь», но это история совсем особая...

Говорят об опошлении молодежи. Это недоразумение. Я понимаю опошление человека, когда-то высоко летавшего, но пришибленного к земле. Но какое опошление может быть у человека, который никуда ни на вершок не поднимался и не летал? Пора это понять. Я, например, имею русские воззрения и, предположим, из нужды напишу западническую передовую статью в издание, мною неуважаемое. Это опошление. Но какое же опошление, когда у меня нет никаких убеждений, а только едва-едва необходимая грамотность и когда я одинаково не верю ни в русские начала, ни в конституцию? Это промысел, а не опошление. Там торгуют русскими началами и лучше платят, я туда иду, ибо мне все равно.

Опошление — после Достоевского читать романы Ривалля, что печатаются в «Московском листке». Но когда человек ничего не читал, кроме «Петербургского листка» в кондитерской Филиппова, причем тут опошление?

Я совсем не хочу клеветать на молодежь. Среди нее есть сильные умы, добросовестные труженики, есть почти святые люди. У нас не было, например, движения к целомудрию, а теперь есть, да еще какое! Одно это указывает, куда направляется старый идеализм. Он исчез у трех сотен студентов, безобразничавших на прошлой масленице около заведения Тумпакова и рвавших юбки на шансонетной певице, но он сосредоточился в десятке подвижников, которые отрясли прах от ног своих и нравственно созрели. Осталась толпа, ни во что не верующая, ничем не одушевленная. В этой толпе сразу выделяются «белые подкладки», так называемая студенческая аристократия, и плебс разночинного происхождения, всеми правдами и неправдами пролезший сквозь гимназию, заручившийся аттестатом зрелости и ищущий кандидатского диплома.

В этой толпе можно встретить кого угодно. Есть прилежные, милые юноши, с огоньком, образованные, но не из книг,

а из семьи и своего семейного интеллигентного кружка. Им, бедным, тоже в гимназический период некогда было читать, и вот они пополняют пропущенное теперь. Но увы! Этих людей ничтожно мало, и этот огонек их личный или, вернее, семейный, до школы, до среды отнюдь не относящийся. Рядом с таким юношею может просидеть в аудитории другой, нравственно и умственно совсем голый и ни искорки от него не взять. Университет ничего цельного, сплоченного не представляет. Есть всевозможные кружки, правда, но умственные интересы для людей без умственно сильной семьи везде на втором плане. Винт между студентами указывает ясно, что этих умственных интересов не хватает. Да и где их взять? Их что-то мало и повыше. Кроме нескольких старых писателей, говорящих от сердца, разве все остальные не чиновники от литературы? Назовите, пожалуйста, кроме двух-трех статей Вл. Соловьева, журнальную статью, которая не была бы похожа на департаментский доклад. Не от чего вздрогнуть, не о чем спорить. Последнее по времени произведение было толстовская «Крейцера соната». Ее переписывали, ее прочли все, потому что она страшно била по нервам. Но возьмите критику на нее — все сплошь одни доклады.

Насколько в наше время царил общий дух во всех высших школах, настолько теперь каждая школа живет особняком. В специальных учебных заведениях сосредотачиваются богатые разночинцы и дворяне и крепко работают над своими предметами, имея пред собою заранее обеспеченную карьеру. Повсюду свои специальные интересы и с нынешним путейцем, техником или гражданским инженером трудно говорить об общих вопросах. Они его не трогают, кроме выдающихся событий, где он спокойно повторяет вычитанное в газете. Читать и развиваться им совершенно некогда, да и не для чего, потому что в общественном воздухе не звучит никаких колоколов. Это все люди дела, будущие американцы, которые платков не крадут, но и живота своего класть никуда не собираются.

В университете крайняя беднота, партии высшего образования и крайние же аристократы. Одновременно подъезжает

на великолепном рысакe князь N**, миллионер, которому не-
зачем идти ни в путейцы, ни в технологи и который не захо-
тел в пажи, и к тому же подъезду подходит в рваных сапогах и
штанах с бахромой толпа плебса, сплошь живущего уроками.
Князь даже фамилий их не знает. Далее идут «белые подклад-
ки» детей крупных фабрикантов, банкиров, хорошо оплачи-
ваемых чиновников. И все жметса в одиночку или кучками
очень маленькими, по возможности однородного состава. Об-
щение кое-какое есть только между плебсом, где выдающуюся
роль играют евреи, теперь наиболее способные и энергичные.
Они коноводы, они умеют все сделать, всюду пролезть и лов-
ко увильнуть. У них есть и нечто похожее на направление...
злое, желчное отрицание всего русского, всего христианско-
го. И это направление машинально дает тон. Сопротивление,
борьбы ниоткуда. От «белых подкладок» разве величественно-
молчаливое презрение.

Мимо меня проходит целая коллекция молодежи выс-
ших учебных заведений. Я приглядываюсь, расспрашиваю,
изучаю. Мировоззрение как будто и есть, но в каком ужас-
ном виде! Это костюм, взятый на прокат, но не имеющий ни-
какого соотношения к внутреннему «я» человека, к его ду-
ховной жизни. Молодежь вся сплошь «либеральна»... Нет, не
то!.. «отрицательна»... не то! Она носит костюм «протеста» и
бранится, но в этом протесте чуются лишь самые верхушки,
шаблончики чьих-то чужих мыслей. Вы, например, не чита-
ли Чернышевского, но вам рассказал о его взглядах человек,
тоже его не читавший, а слышавший от другого, читавшего
через пятое в десятое. Юнец повторяет, и вы чувствуете, что
его это совсем не интересует, что ему в сущности все равно.
Он повторил бы точно так же Каткова, если бы Катков не сто-
ял по сю сторону, там, где находятся несимпатичные юнцу
Церковь, государство, полиция.

Трудно поверить, до чего все это упрощено, до чего не-
возможен никакой спор, до чего нет в душе никаких корней
у этих ходячих «убеждений». Юноша отнюдь не фанатик, он
просто не желает себя беспокоить «пустыми вопросами» и не

потому, например, не станет читать Хомякова, что его заранее ненавидит (как мы, бывало), а потому, что у него нет никакого интереса ни к чему, кроме диплома и будущей службы.

Что сказать о Писареве? Его последнее издание «село» у Павленкова, и очень понятно почему. Можно ли теперь без улыбки читать этого энтузиаста, каждая страничка которого жжет пальцы? Всякому овощу свое время. Энтузиазм кончился, идеализм выветрился, нервы устали. Давайте Риваля, давайте русскую «Нану» и прочь все серьезное, не то засяду в винт или напьюсь и надебоширю.

Молодежь — это самая нежная часть общественного организма, всегда лучше всего выражающая настроение целого общества. Зная, что делается у молодежи, можно определить, чем живет и все общество, и обратно. Позволительно поставить вопрос: мы чем живем, во что веруем, наш энтузиазм от больного шлема в бубнах куда направлен? История как-то зло подшутила над нами: зажгла перед Россией блестящую, вдохновенную иллюминацию реформ Александра II, затем иллюминация погасла, и нам предъявлен счет издержек, по которому платить нечем. Зажгла другую иллюминацию — славянское движение и войну, выдвинула некий священный алтарь, и вдруг не успела иллюминация догореть, как вокруг этого алтаря «Всеславянства» стали кривляться разные проходимцы... Лучей эпопеи 12-го года хватило на все царствование Николая I — грандиозного народного подъема 1876—1877 года не хватило и на один год. Наши отцы воспитались на рассказах дедов о Бородине, о пожаре Москвы, о взятии Парижа. Сами они пережили 19 февраля, земство, свободу печати, новый суд, отмену телесных наказаний — весь этот огромный подъем духа, увлекавший и нас, детей. Сами мы видели Балканы, Шипку, но не расскажем о них нашим детям так, как деды нам про 12-й год: Берлинский трактат мешает. А наши дети, та молодежь, что сейчас в гимназиях и университетах, те что видели? Франко-русскую дружбу, русско-германский договор, конверсии, тарифы? Увы, все это такого рода исторические явления, которых недостаточно для того, чтобы поднять дух на

подобающую высоту. Все это область так называемых «реальных интересов» и только.

Молодежь не выражает никакого энтузиазма, а мы?

Молодежь ни во что не верит, а мы?

Молодежь не имеет убеждений — будто у нас они крепки и ясны? Но у нас хоть что-нибудь остается, хоть воспоминание о пережитом, хоть Шипка, Скобелев, 19 февраля наконец! У них ничего нет. Современная молодежь родилась в сумерки и выросла под гнетом одной из странных и тяжелых полос русской истории; на нее не упало ни луча солнца, она не видала ни смеха, ни ликований...

И прежде бывали такие полосы, но их легче было переживать: свой старый семейный угол считал сотни лет, и его осеняла непрерывная традиция. В кресле сидел старый дед, работал отец, учился сын. Семья была полна старой, культурной силы. Все это снесла историческая волна. Дворянство — это теперь чиновничество, разночинцы явились без всяких традиций, евреи идут прямо, как завоеватели; детей, вот эту молодежь, о которой речь, ничто не вяжет с историей. Может ли же каждый из этих юношей порознь, брошенный на произвол судьбы, истомленный и отупленный школою, сохранить то, что растеряли мы? Имеем ли мы право требовать от него национального чутья, когда мы сами, если и не все, то огромное большинство, только по паспорту можем называться русскими. Но если мы «космополиты», то что же выйдет из наших детей? Дикари?

Лучшая мерка — опять же жизнь сердца, т. е. отношение к женщине. Будьте покойны, современная молодежь, выйдя на торную дорогу, не приведет с собою, как мы, «студенческих жен». Для юнца, свободного от идеализма, женщина есть прежде всего ступень для шествования вверх или, как для этого милого «безвременно погибшего» Довнара, «развлечение с гарантией от болезни». Кто говорит! Есть любовь, бывают увлечения, но благоразумие и шкурные интересы зорко их сторожат и пресекают. А я уж, право, не берусь решать, что лучше: влюбленно ли целовать руки и плакать в каморке публичной

женщины, или хладнокровно искать «красивую девушку со связями и приданым?»

Надо кончать. Написал много, а кажется, что ничего не успел сказать. Подробная монография о современной молодежи потребовала бы томов. Наше современное «одичалое» настроение поистине страшно, но еще страшнее то, что не видишь выхода, во что все это выльется и как уложится. Ну это бы еще ничего: будет одно, два, три поколения дельцов, людей без убеждений и принципов, везде это было. Но сможет ли наша Родина вновь уложить эти «дикие» элементы в твердые рамки и воскресить то, о чем живет человеческая душа, — веру и энтузиазм? Вот вопрос.

Немного прошло с 1896 года, когда были написаны эти строки, а кое-что сказанное здесь хотелось бы поправить и дополнить. Мои позднейшие, еще более близкие наблюдения над молодежью, значительно выяснив «дифференциацию» юных поколений русской интеллигенции, показали мне с полной очевидностью, что равнодействующая принадлежит во всяком случае добру, а не злу, плюсу, а не минусу. Добрые стороны не так бросаются в глаза, это правда, но этих добрых сторон и преимущественно новейшей формации слишком довольно. Есть вдумчивость, поостыл фанатизм, прибавило трезвости мысли, не в скверном карьерном смысле, а в смысле искания правды, то-ски по идеалу, выработки своих, оригинальных, а не заимствованных из книг или от крикунов-вожаков убеждений. Мелькает, правда пока только у единиц, ясная, чистая национальная мысль, и эти единицы, довольно смело ее высказывающие, уже не предаются проклятиям и отлучению. И кто знает, в молодежи не совершается ли тихий и незримый процесс, совершенно противоположный термину «одичание», готовому вырваться при первом, сравнительно поверхностном знакомстве? Но если это так, то откуда же взялись эти свежие силы и как сбереглись они в нашу душную и томительно-бесцветную эпоху?

ГОГОЛЕВСКИЕ ДНИ

Гоголь и Гюго. Их судьба. Сличение гоголевской России с современной. Гоголевский мужик

Во Франции отпраздновали столетие со дня рождения Виктора Гюго — у нас пятидесятилетие со дня смерти Гоголя. Разумеется, французы неизмеримо перещеголяли нас, и не только в технике публичных чествований своих великих людей, но и в самом их понимании и в оценке вóвремя, при жизни. Стоит только сравнить судьбу хоть бы двух этих современников, Гюго и Гоголя. Гоголь умер почти молодым, в самом, казалось бы, расцвете сил, едва понятый и оцененный двумя-тремя десятками выдающихся умов вроде Белинского, Тургенева, семьи Аксаковых, Хомякова. Его открыл и вывел в литературу собственно Пушкин, сразу, без ошибки, под оболочкой юмориста и забавника разгадавший своего младшего брата, мирового гения. Общество русское, хотя и очень полюбившее Гоголя, поняло или, вернее, начало понимать его уже много позднее, когда для всех стало очевидным, какой переворот сделал Гоголь в русской литературе. При жизни его успех был не больше, чем многих его современников-писателей, имена коих уже давно выметены вместе с разным историческим сором и отмечены только в подробных курсах истории литературы.

И рядом — возьмите судьбу Гюго, которого не только с Гоголем, но, пожалуй, и с Некрасовым сравнить можно только в виде любезности к нашим политическим союзникам. Знаю, что наши гг. европействующие не простят мне этого «неува-

жения», но что же делать? Гюго не только прожил всю свою долгую жизнь совершенно благополучно, несмотря на политические бури, но на этих бурях, собственно, и возвеличился и еще заживо увидал полный апогей своей славы и истинного обожания как французов, так и идущих за ними остальных цивилизованных народов. Гоголь умер 43-х лет, буквально раздавленный окружавшею его современностью, начиная от цензуры и кончая медициной, которая по последнему рассказу А.С. Суворина в «Маленьком письме», посвященном Гоголю, буквально его уморила. Биография Гоголя, *настоящая*, когда будет написана, откроет нам картину государственной и исторической обстановки, перед которою побледнеют даже сами бессмертные произведения Гоголя. Прибавьте сюда для полноты сравнения, что в лучшую пору своего творчества Гюго был изгнанник и преследовался современным ему французским монархом, Наполеоном III, талант Гоголя-сатирика мог просиять только потому, что друзьям его удалось добиться личного прочтения двух величайших произведений Гоголя — «Ревизора» и «Мертвых душ» — самим Императором Николаем I, который и спас их от тогдашних блюстителей бюрократического престижа, как ранее спас Пушкина.

Но я повел сегодня речь о Гоголе не для сравнения его с кем бы то ни было и не для разговора о самом Гоголе. На эту тему множество людей говорило в эти дни с гораздо большей, чем я, компетентностью и правом. Мне хотелось сказать нечто другое, то, чего, быть может, не скажут или не доскажут гг. пишущие о Гоголе. Мне хотелось попытаться сличить тогдашнюю, «гоголевскую», Россию, поскольку она отразилась в его произведениях, с нашею современною Россиею, посмотреть, чего прибыло, чего убыло и что дали эти 60–75 лет, которые отделяют нас от царства Маниловых, Чичиковых, Собакевичей, Сквозников-Дмухановских, Земляник и Хлестаковых.

Сличение это тем более любопытно, что Гоголь застал Россию в один из редких и интереснейших ее исторических моментов — полной консолидации старого общественного

уклада, основанного на крепостном праве, уклада, казалось, неизбежного в своих основаниях. Все было до такой степени на месте, так прочно привинчено к своему фундаменту, что даже самая мысль о каких либо переменах была достоянием лишь очень ограниченных кружков.

С другой стороны, Гоголь был не всеобъемлющий поэт, как Пушкин, и даже не бытописатель-романист, вроде Тургенева, в умственном зоре коего отражалась вся гармония жизни во всей ее полноте. Гоголь был сатирик, и сатирик огромной силы. Перед ним открывалась преимущественно *изнанка* русской жизни и русских характеров. Все смешное, пошлое и вообще отрицательное запечатлевалось в его художественном сознании в формах особенно ярких и почти преувеличенных, отодвигая в тень не только нормальное, но и великое, и прекрасное в русской жизни. Это великое и прекрасное настолько не давалось Гоголю в чужой ему обстановке и душе великоросса, что сатирик задумал воссоздать русские положительные типы искусственно и погиб, не справившись со своею задачею. Пушкинская Татьяна и тургеневская Лиза проходили мимо него почти незамеченными, Улиньку приходилось воссоздавать, сочинять из головы.

Отсюда ясно, что, как свидетель, Гоголь не мог быть беспристрастным. Его показания — все к обвинению и почти ни одно к оправданию или возвеличению. Он не пропустил без отметки ни одного отрицательного явления русской жизни; выражаясь словами его же героя, он видел кругом себя «свинные рыла вместо лиц». Даже великая эпопея 1812 года, отстоявшая от Гоголя всего на одну четверть века, отразилась на его творчестве только своею изнанкою в лице капитана Копейкина и окружавшей последнего эпизодической обстановки в Петербурге. Язвы бюрократизма нашли в пере Гоголя особенно страшный бич. Чего стоят его юрисконсульт или полковник Кошкарлов! Ни до, ни после Гоголя мы не знаем столь сильного анализа самой страшной русской государственной болезни, как никогда не видали и таких ярких чад бюрократизма, ловцов в мутной воде, как Павел Иванович Чичиков;

можно смело сказать, что вся отрицательная сторона Николаевской эпохи отразилась у Гоголя в совершенной полноте.

Но тем-то и дорог этот свидетель. Приняв его показания, мы не рискуем ошибиться в сторону добра, не опознать вместе с Пушкиным ни одного героя, отвергнем, как несуществующие реально, все светлые тени, едва тронутые Гоголем. Останемся только при *черноте* тогдашней Руси, охарактеризованной другим поэтом, современником Гоголя, в страшных, поистине, строках:

В судах черна неправдой черной
И игом рабства клеймена
И лжи, и низости тлетворной,
И всякой мерзости полна.

А затем посмотрим, что же такое представляла из себя Русь в ее целом, как народный и государственный организм, по данным великого сатирика Гоголя?

Оставим в покое цензурные условия. Как они ни были тяжелы, Гоголь всегда имел возможность если не прямо, то намеком дать характеристику того или иного типа или явления. Затем два главных его произведения, сплошь отрицательные, спасены почти в полноте личным вмешательством Верховной Власти. В каждом из них огромная коллекция лиц, любое из которых, даже самое маленькое, яркий исторический образ, и в этом образе сведено к вопиющему единству все отрицательное, что только мог отметить такой великий сатирик, как Гоголь. Останемся только при «Ревизоре» и «Мертвых душах», в которых отразилась вся тогдашняя Россия со всем ее бытом и строем.

Разложим эти два произведения на отдельные элементы, из которых складывалась Русь. Мы найдем здесь почти все:

Крепостного мужика и дворового.

Барина во всех его видах.

Купца.

Чиновника.

Духовенство едва отмечено, но пополнить беглые штрихи Гоголя можно по другим историческим данным.

Что же представляли из себя эти элементы?

Во-первых, мужик. У Гоголя он на втором плане, как и был в действительности, заслоненный крепостным правом. Но из-за этой ширмы у Гоголя ярко выступает мужик неизменно один и тот же: в высшей степени самостоятельный, умный, замкнутый в себя, иронически-благодушно относящийся к барину и в огромном большинстве случаев сытый и зажиточный.

На первой же странице «Мертвых душ», может быть даже бессознательно, Гоголь зарисовал двух мужиков во всю величину всего в трех строках разговора о колесе. Доедет оно в Москву? Доедет. А в Казань не доедет? В Казань не доедет. «На этом разговор и кончился».

Перед вами два степенных домохозяина, извозчики, побывавшие и в Москве, и в Казани. Железных дорог еще нет в помине. Русский мужик колесит всю обширную Русь, развозя всякие товары. «На этом разговор и кончился». Ну, конечно, потому что до приезжего барина этим мужикам никакого дела нет и он их ни мало не интересуется.

Очень мало мужика непосредственно в «Мертвых душах» и совсем нет в «Ревизоре». Но образ мужика восстает перед вами ежеминутно и там, и здесь. Вы отлично знаете, как жилось народу у Манилова, у Собакевича, у Ноздрева, у Плюшкина, у Коробочки, у Кашкарова, у Петуха, у Тентетникова. Подведите итоги этому коллективному образу, и вы увидите, что такое было крепостное право в изображении самого беспощадного из сатириков, народ отнюдь не идеализовавшего.

У Манилова крестьяне жили прекрасно, надувая доброго барина на каждом шагу. У Собакевича суровый трудовой режим воспитывал людей, можно сказать, особой породы, с железными мускулами каретника Михеева или Пробки Степана. У Плюшкина, несмотря на его скряжничество, народ был сытый, и хотя разленился и пораскрыл крыши, но ни в каком угнетении не находился и к барину относился вовсе не рабски. Скряга, не варивший себе обеда, отправлялся в людскую и там

наедался щами с кашей. Если так питалась бесправная дворня, то сельский мужик жил, очевидно, еще лучше. Спор из-за ведра, которое иногда похищал Плюшкин, указывает, что и нравственной зависимости большой не было. «Разбегались» больше от тоски, чем от нужды.

У Коробочки работали вволю, но и ели, очевидно, до отвала. Ноздрев был от мужика где-то вдали. Нет никаких данных, чтобы заключить о каких-либо обирательствах или варварских расправах Ноздрева с своими крестьянами. У Петуха, судя по всей обстановке, мужик был так же сыт, как и барин. Фантазии бюрократа Кошкарова до мужика, очевидно, не касались, вернее, разбивались о мужицкую общину, где и прекращалось «делопроизводство». У Хлобуева мужики, вероятно, бедствовали вместе с добрейшим и беспутнейшим барином.

Заметьте, среди целой коллекции отрицательных типов «барина-помещика» нет ни одного из препрославленных «зверей» крепостного времени. Значит ли это, что их не было? Отнюдь нет. Это значит только, что не они бросались в глаза художнику, что *типов* из них создавать было нельзя. На общем добродушно-сытом фоне тогдашней дворянской России это были не типы, а болезненные исключения.

Смотрите: г-жа Простакова в «Недоросле» — яркий тип помещицы анненско-елизаветинских времен — говорит с первого же слова своему супругу: «...поди, сударь, и тотчас же накажи». За дурно сшитый кафтан, или только так показавшийся барыне, портной Тришка уже отправлялся на конюшню, где его с чистой совестью выстегивал незлобивейший барин. Это было совершенно в порядке вещей и в «Недоросле» совсем не поражает. Но можно ли себе представить любую из помещиц Гоголя, рекомендующую своему супругу такую же экзекуцию за *маловажный* проступок?

Вы замечаете, как смягчились нравы? Розги оставались, но их употребление настолько сузилось, что в разговоре Чичикова с Селифаном уже ясно видно, до чего угроза Чичикова выпороть своего кучера несерьезна. Селифан потому так смело и разглагольствует насчет своего согласия на пор-

ку, что очень мало верит в выполнение угрозы. Можно себе легко представить, что Собакевич порол, что порол Ноздрев. Но если у первого эти экзекуции применялись, то разве лишь к отъявленным злодеям, у второго же это могли быть лишь взрывы бешенства, во время которого он был способен так же легко выдрать своего мужика или дворового, как и соседа — помещика Максимова.

Таким образом в гоголевском мужике весьма мало чувствуется раб с его атрибутами — двуличностью, хитростью и приниженностью. Повсюду эксплуатируется мужицкий труд, но везде замечен порядок и планомерность в этой эксплуатации, не допускающий мужика упасть в разряд париев, какими рисовали крестьян не в меру либеральные писатели. Барин не только жил на даровом мужицком труде, но и заботился о мужике. Красною нитью проходит у Гоголя осуждение барина за незаботливость, которая являлась двойным преступлением — против своих «подданных» и против своих собственных интересов. Затем, хотя Гоголь ни разу не упоминает о мужицком «мире», вы чувствуете везде его присутствие как силы, очевидно противостоящей возможному самодурству и самоуправству барина.

Типы дворовых людей ярче и богаче, и они еще более подтверждают сказанное. Какая мягкость в обращении Чичикова со своими людьми! Одно отмеченное Гоголем словечко «прошу» в устах у лакея Собакевича, где он подражает своему барину, указывает, что у этого медведя с людьми было обращение отнюдь не варварское. Даже пьяный буян Ноздрев обращается с Порфирием до известной степени товарищески и терпит очевидную ложь. Плюшкин, держащий на всю дворню одни сапоги, очень далек от всяких жестокостей. Мавру он пугает Страшным Судом, над Прошкой добродушно иронизирует. Видно, что они его совершенно не боятся. Нужно ли говорить про остальных? Возьмите Манилова, возьмите такой яркий тип, как Осип у Хлестакова, Фетинью у Коробочки, я уже и не говорю про дворню у помещиков второго тома «Мертвых душ».

Общий колорит всего гоголевского мужика — сытость, здоровье, замкнутость в себе и добродушное невежество, изпод которого наш великий сатирик сумел разглядеть огромный ум, ширину размаха, страшное терпенье и силу — словом, все черты великого народа. Ни на минуту читателя не покидает мысль о безусловном здоровье корней русского племени, — тех корней, на которых пышным цветом расцвела своеобразная, хоть и чужая культура, воздвиглось сильное единое государство, хоть и подточенное внутри язвою бюрократизма. Но эта язва не доходит до корней. Поражена только вершина, организм настолько силен, что болезнь побивает лишь цветы да губит, словно скверный туман, плоды. Против чиновничьей Руси, спускающийся сверху, растет снизу Русь помещно-дворянская, охраняющая народ как бы непроницаемым покровом от вторжения бюрократии.

Посмотрим же теперь на эту дворянскую Русь, как она представлялась Гоголю.

<...>

Гоголевский барин. Чиновники.

В чем выразилось бессилие Гоголя?

Бюрократизм и местная жизнь. Люди или рамки?

О помещичьих типах Гоголя я говорить много не буду. Ведь это все живые люди, наши добрые знакомцы, образы коих известны и памятны нам в мельчайших подробностях. Нет мало-мальски образованного человека, который не прочел бы Гоголя, да не раз и не два. Манилов, Собакевич, Ноздрев, Коробочка, Хлобуев, Петух стали давно нарицательными. Их образы вечно перед нами, на них воспиталось уже несколько поколений.

Вообразите же себе мысленно всех этих людей в совокупности, т. е. всю тогдашнюю сельско-дворянскую Русь, возьмите ее даже в том комическом освещении, которое дал Гоголь, откинув все возвышенное, все благородное и глубоко-

кое, что, несомненно, было и в этих людях, и скажите: что это был за слой, какие его главные характерные черты, как общественного класса?

Я думаю, ответ затруднения не представит. Это были прежде всего люди невозмутимо-добродушные в подавляющем большинстве. Они жили в свое удовольствие, исполняя свою несложную миссию обеспеченных и бесплатных полицеймейстеров над народом попетровского периода русской истории. Из них пополнялись ряды государственной и местной службы, отсюда же выходили деятели науки, литературы, искусств. Все, что было выше среднего уровня, все, в чем таилась искорка таланта, имело полную возможность вырасти на даровых деревенских хлебах и выйти в столицу на арену умственной жизни и творчества. Отсюда и вышло все то, что составляет цвет России XIX века, — ее великие гении, ее ученые, ее художники, ее герои на поле брани, ее отважные моряки. Главная масса земельного дворянства жила, конечно, чересчур растительною жизнью, пила, ела и изыскивала разные удовольствия, далеко не всегда невинные и часто весьма неблагообразные, но ведь другого, высшего, почти ничего и не было, об общественном деле не было и помину. Но не виновато земельное дворянство было в том, что созданный Петром и усовершенствованный его преемниками бюрократический строй отстранил земельное дворянство от живого местного дела, дав ему, почти как игрушку, совершенно искусственное сословно-дворянское дело, нигде на всем пространстве России не привлекавшее к себе ни единой души. Не виновато оно было и в том, что литература и наука находились в строжайших тисках и на книги смотрели как на проявление вольномыслия, а на ученых и литераторов как на неприятный элемент, по самому существу своему не укладывавшиеся в бюрократические рамки.

Земельному дворянству собственно ничего другого не оставалось, как еда, питье, карты... и сельское хозяйство. Но при крепостном праве, натуральном хозяйстве, вольных землях и до последней степени сжатом товарообмене вслед-

ствие отсутствия железных дорог и полнейшей изолированности России от внешнего мира к улучшению земледелия не было ближайших поводов. В 40-х годах трехполье было еще совершенно пригодной и доходной системой для огромного большинства местностей Средней России. Вся хозяйственная мудрость сводилась лишь к наилучшей утилизации даровых рабочих сил, а для этого существовали опытные приказчики и бурмистры. Можно ли же осуждать помещный класс за то, что он вел жизнь сравнительно пустую и беззаботную? Но не будем забывать, что наряду с людьми, поглощенными ярмарками, псовой охотой и кутежами, среди русского земельного дворянства существовал немалочисленный контингент высокообразованных людей, что именно в этом, единственном тогда сословии, находились десятки тысяч читателей для того же Гоголя, что этот класс умел уже если не понять, то почувствовать и приветствовать от всей души Грибоедова, Крылова и Пушкина. Не будем забывать и того, что дети героев Гоголя дали героев для Тургенева, которые гораздо дальше шагнули от них в умственном развитии, чем их отцы, по сравнению со своими прадедами и дедами времен «Недоросля» и «Бригадира».

Итак, гоголевский «барин» был вовсе не так ужасен, как это представлялось людям 60-х и 70-х годов. Поместное дворянство была та грядя, тот парник, в котором поспевала рассада, двадцатью годами позднее потребовавшаяся Александру II в великий момент освобождения крепостной Руси. На этой гряде зрели будущие мировые посредники первого призыва. Она была плотно защищена от всякой потравы мудрою хозяйственною политикою, с 1818 по 1855 год непрерывно обогащавшею Россию. Постепенно облагораживались нравы, все больше ширилось просвещение. Отзвук исполинской борьбы 1812 года был еще свеж и долго держал умы в приподнятом и патриотически горделивом настроении. Это не был рай, конечно, но и здесь, как и внизу, все было здорово и цельно. И мужик, и барин росли и множились, готовясь к великому моменту, имевшему зажечь над ними обоими зарю новой жизни.

Теперь взглянем на чиновника. Этому элементу Гоголь посвятил едва ли не более всего внимания и сатирических стрел. Бюрократический строй был в совершенстве разгадан и проанализирован Гоголем. Здесь «невидимые» слезы стали уже видимыми, смех оборвался и перешел в ужас, сатирик заговорил на языке трагедии. Припомните юрисконсульта, парализовавшего все течение административно-судебной машины. И не случайно второй том «Мертвых душ» обрывается на половине речи князя, генерал-губернатора, твердо решившегося применить даже крайнее средство, чтобы распутать канцелярскую путаницу — военный суд. Гоголь оборвался на нелепости. Нет, и этим путем не сокрушить стоглавую гидру, имя которой — бюрократизм, власть бумаги под покровом мрака, произвола, фактической безответственности и тайны. А между тем, чтобы исполнить свое обещание и дать нам русский идеал, Гоголю было нужно во что бы то ни стало найти хотя момент торжества жизни над этою страшной силой. Не в этом ли секрет тех мотивов, которые побудили поэта, истрадавшегося в бессилии даже мысленно одержать эту победу, сжечь свои дальнейшие рукописи?

Перед Гоголем стояла неразрешимая задача. Он веровал в Россию, веровал в царское самодержавие, веровал в силу и мощь русского народа и не мог найти способа для его освобождения от чиновника и бумаги, заслонивших собою даже такого царя, как Николай I, и творивших мерзость запустения на месте святе. Земский строй был несовместим с крепостным правом и, по-видимому, не приходил Гоголю и в голову. Никакого выхода не оказывалось, и вот Гоголь в порыве отчаяния ломает свое перо!..

Я не могу разбирать подробно взгляд Гоголя на чиновника и на способы исправления бюрократического режима, столь обильно рассеянные в злосчастной «Переписке с друзьями». Коренная ошибка Гоголя была в том, что он стремился исправить этот строй, не меняя его принципов и рамок, когда именно в рамках, а не в людях, было все дело. Я хочу указать только на одно чрезвычайно важное обстоятельство для сличе-

ния гоголевской России с современною. При всей беспощадности сатиры чиновники как люди выходят у Гоголя неизмеримо лучше их официальных рамок. В каждом из гоголевских героев служебного мира неизменно совершается роковая борьба человека с его официальной деятельностью, и кое-какое примирение находится единственно в той халатности, с которою люди относились к Своду Законов. Невольно припоминается изречение Аксакова о том ужасе, которого мы стали бы свидетелями, если бы кто-либо вздумал по совести и во всей полноте применять все пятнадцать томов этого свода. Тогда из России пришлось бы бежать без оглядки.

И вот добрые по существу и простые люди ухитрились обратить российский закон в простые переплетенные книги и кое-как устроиться помимо и вопреки ему, обращаясь к закону только для исполнения необходимых формальностей или ради кляузы, когда одолевала злоба и разгорались страсти. Тогда ужасная машина оживала и с человека, имевшего несчастье попасть в ее зубцы и колеса, снималась последняя рубашка.

Безобразие бюрократического строя создавало, как в Китае, своеобразное от него взаимное страхование. Сквозник-Дмухановский берет взятки, точнее, грабит. Но когда купцы пошли на него жаловаться, он бранит их за неблагодарность, и совершенно основательно. «Кто тебе помог сплутовать, как не я?» — рычит он. И в самом деле, наживя на подряде сто тысяч и обманув казну при помощи блюстителя закона, бессовестно отказать этому блюстителю хотя бы и в тысячной взятке.

Вы чувствуете, что у купца Абдулина и у городничего установилось совершенно одинаковое отношение к «казне» и ее интересам? Они ее вместе надувают и грабят как нечто им постороннее. Сквозник — ее слуга, принадлежит ей, ее представляет, но он перебежал в другой лагерь, в лагерь обывателя, и для далекой и отвлеченной казны только раб и наемник. Начни он честно служить этому отвлеченному принципу, он и сам наголодается, по ничтожности своего содержания, и обывателям сделает не жизнь, а каторгу. Бюрократическое

начало выделило себя из жизни, стало во властное к жизни отношение, отрицает не только контроль над собою обывателя, но и всякое его участие — и вот жизнь мстить за себя, обращая закон в мертвую букву, обывателя и чиновника в казнокрада или халатного лентяя...

Взгляните с этой точки зрения — и вы увидите, как, в сущности, прекрасно устроились губернский город в «Мертвых душах» и уездный в «Ревизоре».

Администрация губернского города состоит из добрейших и милейших людей. Гоголь с дивным юмором рассказывает про нежно-дружеские отношения губернских сановников. Никакого помина о борьбе ведомств. Губернатор вышивает по канве. Полицеймейстера, который ходит в лавки как в свои кладовые, обожают, и, конечно, не потому только, что он играет с купцами в шашки и крестит у них детей. Все остальные милы, доступны, любезны. Судебные процессы, можно сказать, не существуют. Затевают их только кляузники, которые за это и попадают в положение миргородских друзей. Гражданские акты при милом обращении и за умеренную мзду совершаются быстро и без проволочек. Вся администрация в теснейшем единении с сытым и богатым помещным классом, и никому в голову не приходит ни бороться с ним, ни его угнетать. Мужик непосредственно недоступен, он заслонен барином. Живут, не тужат, читают кто Эккартсгаузена, кто «Московские ведомости». Главное занятие — вист.

Сразу видно, как это губернское «средостение» устроилось и куда чем обращено. К обывателю и местной жизни *всем своим существом* — к центральной власти *бумагой*, которая составляет единственную связь, напоминающую, что существует в экстренных случаях нечто вроде закона и ответственности. Не случись Чичикова с мертвыми душами, не заварись дела с подложным завещанием, Петербург, аккуратно получающий отчеты и ответные бумаги, даже и не подумал бы о губернском городе. Реформ никаких не полагалось, революций никаких не искали. «В уездном городе измена?» — восклицает в «Ревизоре» городничий. — «Да он пограничный, что ли?»

Как видите, измена, или, по-нынешнему, крамола, полагалась только в окраинных городах.

Строй этот не только был сносен, но и живуч, и удобен вплоть до тех пор, пока был мертв определяющий его дух, пока от Петербурга можно было «отписаться». Но вот возникает гигантская кляуза, Свод Законов просыпается, пускается бумажная машина. Милые и добрые люди оказываются сплошь злодеями и преступниками, часто даже сами того не подозревая, добродетельный генерал-губернатор чувствует, что ничего распутать не в состоянии и бессильно бьется в бумажных тенетах юрисконсульта. Получается чепуха невообразимая: военно-полевой суд для гражданских чиновников!..

Вдумываясь глубже, пытаюсь уловить отношения Гоголя к описываемому им миру, вы невольно приходите к тому выводу, что не люди, столь беспощадно, хоть и добродушно здесь осмеянные, виноваты и плохи, не крепостное даже право, на которое все валили, зияет тою раной, как нам рисовали, а вот этот дух бюрократизма, на котором были построены все отношения в области соприкосновения с государством. Все снизу соединялось на пассивную борьбу с этим началом, давало ему отпор и парализовало, как могло. Это начало мешало всему и держало страну на положении как бы завоеванной. И пока закон был обессилен, молчал и не шевелился, все жило, хотя и лишенное высших общественных функций. Просыпался этот закон, пытался отстоять свою жизнь и право — и положение обывателей становилось невыносимым. «Россия управляется столоначальниками», — метко определил император Николай I, и это анонимное управление мертвой бумаги лежало в основе той борьбы, которую жизнь вела с принципом, то побеждая, то отступая, сгибаясь и беспомощно уходя в себя.

Я не буду говорить о других сословиях, очерченных Гоголем едва несколькими штрихами. Духовенство было принижено и стояло в стороне, купечество торговало, плутовало и богатело, давая «кормы» администрации, жирея и благодушевуя на поставках и подрядах, но совершенно почти

не участвуя даже в тогдашней жалкой умственной жизни и творчестве русского общества. Вся гоголевская Русь была исключительно дворянско-чиновничья — эти два элемента давали тон городу и деревне. Губернская администрация, более утонченная и образованная, уездная, более простая и грубая, — вот и вся разница.

Но и та и другая одинаково, окруженные сытым и зажиточным помещичьим классом, с сытыми и зажиточными крестьянами под ним, сливались всем своим бытом и интересами с местностью и служили очень плохим орудием для центральной власти. Да в ином орудии, пожалуй, не было и необходимости, потому что Россия стояла незыблемая и спокойная, как гранитный монолит, едва почувствовавший удар величайшего военного гения, предводившего величайшую по своему времени инвазионную армию.

Но гнилой бюрократический режим, заправлявший бодрой, сытой и здоровой страной, зазывал такое духовное удушье и плесень, что блестящая извне система подгнила в течение каких-нибудь сорока лет и Россия, победоносно прошедшая всю Европу в 1813—1815 годах, была постыдно побеждена в 1855—1856-х. Здоровое тело оказывалось облеченным в гнилые лохмотья, которые сами начали с него валиться. Эту катастрофу смутно предчувствовал еще Гоголь.

Но здесь уже кончается область сличения. Мне хотелось лишь показать, по данным Гоголя, что такое была современная ему Россия в самых общих, самых грубых чертах. Эту Россию можно охарактеризовать так:

Сытая, здоровая, материально цветущая, вспыхивающая яркими талантами и... задыхающаяся.

Три русских гения, вышедшие в это время — Пушкин, Гоголь и Лермонтов, — *задохнулись*: Пушкин и Лермонтов во внешних условиях высшего света, Гоголь сгорел от внутренней муки бессилия распутать страшный гордиев узел, завязанный Петром...

Я подошел ко второй половине задачи и хотел охарактеризовать в pendant к этому Русь современную. Подошел и раз-

думал. Зачем? Разве она у нас не перед глазами? Разве ее боли не наши боли? Разве самая страшная из них не есть *боль непонимания*, та самая, что извела Гоголя, а теперь изводит все мыслящее? Непонимание чего? Да того же самого, перед чем остановился в бессилии и Гоголь: как распутать тот фатальный узел, который надрубил было Александр II, но тотчас же и еще туже затянула история? И этот новый узел неизмеримо больше и сложнее, чем прежний, а сил для работы меньше. Россия страшно выросла численно, раздвинула свои пределы, вышла на мировую арену, но потеряла чуть не $\frac{3}{4}$ своего культурного класса, растратила свои богатства, ослабила и развратила народ, развела озлобление и ненависть там, где была патриархальная дружба и простота, переломала все рамки и отношения и стоит, задумавшись, над тем хаосом, который сменил прежнюю ясность и простоту отношений.

Что выйдет из этого хаоса?

ПАМЯТИ РУССКИХ ВОЖДЕЙ

ПАМЯТИ И.С. АКСАКОВА

*(Речь, произнесенная в торжественном
заседании Санкт-Петербургского Славянского
благотворительного общества 10 февраля 1896 г.)*

Преосвященнейшие Владыки,
Милостивые государыни и милостивые государи,

27-го января 1886 года, в самый разгар своей кипучей и неутомимой политической деятельности, скончался от паралича сердца Иван Сергеевич Аксаков. Его похороны, единодушный порыв горя, охвативший сердца, множество телеграмм со всех концов России с телеграммой Государя во главе — все это так памятно нам, как будто совершилось вчера, и вместе с тем уже слагается в величавую историческую картину, полную глубокого смысла. Над могилой этого человека обедневшая духовно Русь как бы захотела посчитаться силами, закрепить и выразить свою тесную нравственную связь с носителем ее заветных чувств, выразителем ее подлинных и дорогих мыслей.

Если мы оглянем тот путь, по которому шел покойный, мы найдем, что этот путь тесно совпадает с движением у нас национального самосознания. В первую пору своей публицистической деятельности Аксаков являлся младшим членом кружка, стоявшего совершенно особняком среди тогдашнего образованного общества и литературы. Первые славянофилы работали при условиях весьма тяжких. Правительство смотрело на них как на опасных проповедников какого-то нового учения, едва ли не враждебного государственному строю.

Общество, мало читая их сочинения и зная о славянофилах больше понаслышке, предавало их посмеянию как врагов прогресса и европейской культуры. Цензура взвешивала подозрительно каждую строку славянофильских писаний; но даже и это не спасало иногда уже разрешенных изданий от ареста и прекращения. Так, подцензурный аксаковский «Парус» был запрещен по выходе второго номера!

В начале царствования императора Александра II обстоятельства переменились; но среди наступившей для печатного слова относительно широкой свободы славянофильство продолжало оставаться в подозрении. Трудно даже представить себе, какую борьбу приходилось вести Аксакову, отстаивая каждую свою строку, каждое слово. Да это и понятно. Для свободолюбивых течений той эпохи была понятна и, пожалуй, любезна борьба западного консерватизма с западным либерализмом. Отрицательное отношение славянофилов к тому и другому пугало самых либеральных государственных людей.

В самый разгар освободительного движения столпы славянофильства, Хомяков и Константин Аксаков, сошли в могилу. Во главе кружка остались: И.С. Аксаков — лирический поэт по темпераменту, но уже стоявший на дороге публициста и редактировавший *«Русскую беседу»*, и Ю.Ф. Самарин — философ и ученый богослов в кабинете, замечательный боец, практик и организатор в жизни. Наступала эпоха, требовавшая полного напряжения русского чувства и русского ума. Поэт окончательно повесил лиру и взошел на трибуну журналиста, философ закрыл свои фолианты и бросился на дело, которое ждало и призывало его и которое он, во главе небольшого кружка русских талантливых людей, сумел посылно свернуть с ложного пути и двинуть по национальной дороге.

Основанный Аксаковым «День» представлял уже явление в тогдашней литературе и веское, и серьезное. Позади Аксакова стояла самобытная русская культурная и философская школа, идеи которой он популяризовал с замечательной силой и страстностью. Его голос не терялся в вопиющей раз-

ноголосице чужих или навеянных с запада мнений. Русская мысль, пользуясь необычным дотоле простором, росла из-под буйно расцветших сорных трав, крепла и проникала в общество, действуя пока только отрицательно, но беспощадно. Не успеет русская интеллигенция ухватиться за какой-нибудь новый европейский идеал, — глядь! — уже проеден он, словно кислотой, живой критической мыслью, беспощадным сарказмом, уже отцветает, не успевши расцвести, дает сплошь пустоцвет за пустоцветом!

И сколько таких идеалов покоится в архивах истории русской литературы!..

«День» был первым торжественным выходом русского направления *из кружка в общество*. Самобытность русских и славянских начал была окончательно провозглашена и стала с этих пор не кабинетной, но живой, реальной силой. Таков был первый шаг Аксакова, характеризующий целый период в истории русского самосознания.

К следующему периоду относится «Москва». Она начинала борьбу другого рода; она выступала с ясной государственной программой, несла решение многих назревавших *экономических* задач и становилась на почву прямого *практического творчества*. За ней стояла уже не кучка сторонников-читателей, молчаливо разделявших воззрения редактора, а великая, живая сила московского практического мира, заключавшего в себе все задатки серьезного государственного творчества в русском духе, чувствовавшего в себе достаточно сильный источник этого творчества. Да и сама редакция располагала крупными силами: достаточно назвать имена Ю.Ф. Самарина, Чижова, Бабста, проф. Чупрова и др.

Петербургскому консерватизму, одолевавшему в это время мало-помалу петербургский либерализм, объявлялась война во имя русских национальных начал, не имевших ничего общего с господствовавшими течениями. Эти начала, живым ключом кипевшие тогда в Москве и имевшие за собой крупную общественную силу, казались уже редактору «Москвы» несокрушимыми...

Борьба Аксакова имела характер слишком победный и самоуверенный. Он не допускал мысли, чтобы властные представители несочувственного ему образа мыслей, связанные притом новым законом о печати, решились идти так далеко, и он давал сражение за сражением, продолжал вести борьбу и тогда, когда резко был поставлен вопрос об изменении самого закона...

Это была ошибка. Тогдашние вершители судеб печати оказались решительнее, чем думал Аксаков, и в то время, когда самая крайняя проповедь разрушительных начал еще пользовалась широкой терпимостью во имя только что провозглашенной свободы печати, «Москва» и «Москвич», по настоянию министра Тимашева, были запрещены...

От этого момента отделяет нас уже три десятилетия, и мы можем смотреть на эту борьбу с полным спокойствием. Что несли та и другая из спорящих сторон? Почему смотрели на воинствующую «Москву» как на газету, вредную для государственного порядка и спокойствия? Аксаков стоял за Церковь, за порядок, за законность, за самодержавие, и притом не как за одну внешнюю форму, но как за *идеал*, и защищал его со всею страстностью. Он отрицал всякие политические и властолюбивые притязания, навязываемые русскому народу. Он был патриотом в высшем смысле слова. Правда, он требовал свободы для жизни, слова и совести... но могли ли эти требования идти вразрез с идеями, господствовавшими в правительстве, если оно само непринужденно давало тогда не только эти свободы, но даже возможность злоупотреблять ими?.. В чем же заключалась самая суть борьбы, доводившая стороны до непримиримого озлобления?

Да в том, что это была борьба не личности, не партии даже, а нового, точнее, возрожденного нашего старого культурного начала, только что воплощавшегося в жизнь, с другим культурным началом, которое оно стремилось изгнать из русской жизни, началом *европеизма*, два почти века властно гнувшего русскую жизнь и не желавшего терпеть ее протеста.

В том, что западный либерализм, социализм, и даже самый нигилизм, как законные дети этого европейского начала,

родственнее и понятнее нашему консерватизму, чем мировоззрение славянофильской школы, столь странное, столь непонятное просвещенному европейцу: подите, втолкуйте ему, почему, с точки зрения славянофилов, царь Алексей Михайлович и даже Иоанн Грозный могут считаться деятелями гораздо более либеральными, чем, например, император Александр Благословенный, независимо от их личных характеров.

Но если по внешности западное культурное начало победило и Аксаков умолк, то в жизни русского общества идеи, выношенные славянофилами и посеянные Аксаковым, росли и ширились. После этой последней победы не суждено было нашему европеизму сказать ни одного нового слова! А в это время назревало другое, еще более широкое дело, чем газетная борьба, подготовлялось славянское движение. Столпы русской школы еще задолго заботливо расчистили и подготовили ему почву. Незаметно сосредоточивалась в Москве вся живая и творческая сила страны. Начавшееся славянское движение застало Петербург врасплох и нашло свой естественный центр в Москве с И.С. Аксаковым во главе. Все мы помним эту удивительную эпоху. Что сделалось с нашим грозным и властным всего пять-шесть лет назад европеизмом? Он замолк и стушевался с той минуты, когда государь Александр II, почуявший вестный голос народа и разгадавший его мысль, приехал в Москву и произнес в Кремле свои памятные слова. Началась удивительнейшая из войн, война вполне бескорыстная, за веру, за Христа, за страдающих братьев...

Но вот народная страда кончилась, и народ ушел *в себя*. У дела явились снова русские европейцы... Берлинский трактат... Ссылка Аксакова в Варварино... Новое направление русской политики... Тяжелая реакция внутри...

Во второй раз пришлось Аксакову увидеть воочию, что для серьезного успеха и торжества мало одних великих жертв и порывов, мало даже богатыря-народа, выступающего временами так стройно-торжественно на историческую сцену. Нужна интеллигенция единомышленная и единачувственная с народом, умеющая не в порыве одушевления, но спокойно,

ежедневно творить то самое дело, которое творит народ в час подвига. Но нет у нас этой интеллигенции при всем изобилии не знающих, что с собой делать «образованных» людей, или если и есть, то не составляет еще она той силы, того слоя, откуда могла бы питаться и самая власть.

А исторический процесс переработки в нашем общественном организме воспринятой нами дозы «европейской культуры» идет неуклонно. Победа видна уже и в том, что тип чистого цельного европейца вроде симпатичного, конечно, но совсем не русского «человека сороковых годов» вылинял и становится редкостью. Русское начало, окрепшее новыми силами из почвы, имевшее столько великих минут в своей новейшей истории, разливается широким потоком, просачивается и в жизнь, и в литературу, незримо примешивается ко всем умственным отправлениям страны и производит путаницу невообразимую в смеси с чуждым ему началом западноевропейским.

Первый результат этого смешения — жестокий сумбур в идеях и воззрениях. Усиление административного гнета, заподозривание и застрашивание и неразлучное с ними измелчание типа, апатия, разочарование, усталость мысли, как бы разложение общественного организма. Никому ничего страстно не хочется, никто никуда не рвется, господствует в атмосфере так себе, что-то кисленькое, тепленькое, чему нет и названия, какая-то слякоть...

В такие эпохи воздух душен; распложается и ликует гад; умственного творчества нет; очередные поколения молчат и вянут без пользы; страдают сердцем и способны на борьбу, на страстные порывы лишь люди старших поколений, цельные мыслью и сердцем, выдавшие лучшие дни.

Воззвание Аксакова перед открытием «Руси», разрешенной только с призывом к власти Лорис-Меликова, пронеслось, как раскат грома. «В этом слове “Русь”, — говорил Иван Сергеевич, — сосредоточен для нас весь смысл той правды, которой так недостает нашему изолгавшемуся общественному бытию, по которой так тоскует, так истомился

русский человек. Страшно устала наша земля от сочинительства, мудрования, фальши, которая так долго, так властно гнула, муштровала, переиначивала ее на разные чужие лады и порядки. Вся нужда, вся задача наша теперь именно в том, чтобы внести наконец правду в русскую жизнь, чтоб возвратить ей свободу органического самороста, чтоб в самом деле Русь стала Русью».

Успех объявленной на газету подписки превзошел всякие ожидания. От Аксакова имели полное право требовать той правды, которую он призывал для Руси, и за этой правдой, как за целебным бальзамом, протянулись тысячи рук. Он и дал ее. Но эта правда явилась не в виде готовой громкой формулы или талисмана, обладающего магическим свойством немедленного врачевания, — она была скорей холодным душем. В самый разгар газетных разглагольствований об «увенчании здания» «Русь» с первого же номера заявила, что венчать ровно нечего, что здания никакого нет, а есть лишь фундамент с уродливыми лесами и временными, кое-как нагроможденными постройками на нем. Фундамент этот, правда, хорош и прочен, но он завален разным сором и зарос бурьяном. Дело русской интеллигенции — спуститься вниз, очистить и строить прочно и обдуманно, начиная *снизу*. Другими словами, организовать сначала настоящее правильное самоуправление в уезде, водворить *там* жизнь и правду и только тогда идти выше.

Наступило некоторое недоумение... правда вышла слишком прозаична. Но большего Аксаков не мог сказать вследствие непоколебимой честности своей натуры. Всю жизнь вел он упорную и славную борьбу, видал минуты упоительно торжественные для русского дела. И каждый раз победа ускользала из рук, каждый раз выплывало и захватывало власть над жизнью чуждое начало, возносились чуждые идеи. Правда, в великом народном порыве это чужое смолкает, Русь цельна и велика. Но наступает отлив, и старый недуг, сидящий в отравленной крови сверхнародного слоя, выходит снова злостной сыпью наружу. Где же польза порывов? В них ли целение?

И вот вся деятельность Аксакова как редактора «Руси» принимает характер проповеди, настойчивой, но спокойной борьбы за перевоспитание русской интеллигенции, за сближение ее с народом. Умудренный опытом, Аксаков выступает скорее мыслителем и критиком, чем трибуном, но мыслителем неподкупно строгим, не делающим ни одного шага во имя успеха у публики, более того, явно презиравшим этот успех.

Со второго же года издания «Руси» оказалось, что людей, смотрящих строго и трезво на русскую действительность вместе с Аксаковым, слишком немного. Общество, непривыкшее к простой и серьезной русской мысли и ждавшее от «Руси» эффектной борьбы с существующим порядком вещей, той страстной и смелой борьбы, которая велась в «Москве» и «Москвиче», разочаровалось. Аксаков, при всем невысоком мнении о ставшем у дел консерватизме, не объявлял ему открытой войны... Правильно это было или нет, рассудит история, но несомненно, что это обстоятельство было одною из причин, обуславливавших неуспех «Руси» даже у людей, способных выслушать и прочувствовать сердцем русское независимое и искреннее слово.

Нечего и говорить, что печать враждебного лагеря постаралась извлечь из этого нежелания борьбы все, что могла, и не замедлила прокричать о союзе «Руси» с органами крайней реакции...

До самого последнего времени оставался Аксаков на избранной им позиции. Его увлекло в борьбу лишь вновь обещавшее возгореться славянское движение. Больше всего ему было видеть резкую перемену фронта в катковском лагере, его покорное отношение к Берлину, и вот когда решил он порвать с ним, не скажем, союз, такого никогда не было, но те вежливо-дипломатические отношения со стороны «Руси», на которые другая сторона отвечала злым и угрюмым молчанием...

И — такова публика! С того момента, как в Аксакове вновь пробудился оскорбленный трибун, его влияние и успех газеты удесятились... К этому же времени относится и по-

следнее предостережение, данное Аксакову правительством, упрекнувшим его в недостатке истинного патриотизма.

Словно рычание раненого льва, в последний раз раздался через две недели голос Аксакова, заставивший вздрогнуть все русское общество.

— Толстой *меня* учит патриотизму! — воскликнул Аксаков, когда пробежал телеграмму о первом предостережении «Руси».

«Мы признаем долгом объяснить с полной откровенностью, — отвечал в своей газете Аксаков, — что меняться нам уже поздно, да и не подстать; что мы нимало не расположены, да и не сумели бы, особенно теперь, ввиду уроков внутренней русской истории, и под конец нашего публицистического поприща подлаживать свой патриотизм к официальным, часто меняющимся воззрениям. Правительство может закрыть нашу газету, отнять у нас право печатного слова; это вполне в его власти. Но пока мы держим перо в руках, оно будет все тем же независимым и искренним и уж несомненно истинно-патриотическим, каким было и есть, — теперь и всегда».

Это было напечатано 6 декабря 1885 года, а 27 января следующего года над гробом Аксакова в тоске молилась вся Россия...

Мы сказали выше, что его похороны были как бы счетом русских сил; счет этот показал, что силы велики. Аксакова не понимали или не желали понимать многие — это правда, но важно то, что его умели *чувствовать*, и чувствовать не только как крупную и светлую личность, но как носителя могучего *начала*, родного каждому *русскому* сердцу, каким бы хламом ни была набита подчас голова. Хомяков как носитель начала был, бесспорно, глубже, чем Аксаков; его смерть произвела, однако, сильное впечатление только в тесном и замкнутом кружке его учеников. Тогдашняя Россия Хомякова *не чувствовала*. Смерть Аксакова явилась в полном смысле слова великим национальным горем — в этом нельзя не видеть крупного успеха в русском самосознании. Значит же вошли в общее достояние чувства и мысли покойного, если на одну

весть о его смерти дружным хором откликнулись, с Царем во главе, все концы Русской Земли! В этой горе, в этом единодушии русского чувства лежат залого победы...

Но только залого...

Сильно подвинулось русское самосознание, но его успехи еще не выражаются в русском *творчестве*, а тем временем со страшной быстротой идет наше нравственное и экономическое падение, растрачиваются лучшие силы стомиллионного народа. Что из того, если по образу мыслей, по нравственному складу наша интеллигенция становится более русской, чем были ее старшие поколения, что из того, что она дорастает до понимания таких явлений, как смерть Скобелева, смерть Аксакова?

Понимаем ли мы как следует дело и учение великого мыслителя? Освоилась ли наша молодежь с его взглядами и идеями, воспитывается ли на них, с ними ли выходит в жизнь?

Увы! Если мы умели почувствовать его смерть, если нам при воспоминании об Аксакове и сейчас довольно ярко представляется, как из стали отлитая, могучая его фигура, если мы помним его как удивительный характер, как носителя высокой гражданской доблести и нравственной силы, мы совсем не помним, вернее, не знаем его как мыслителя. Пожалуй, биографы и составители словарей дали кличку: это был славянофил, представитель мировоззрения, с его смертью из русского политического обихода как бы вычеркнутого; носитель идей, историей уже упраздненных, странность коих прощалась за личную честность, за личную доблесть и чистоту...

Вот что, к несчастью, стало ходячим мнением, которое с легким сердцем повторяет современный интеллигент. Недавно, например, выпущена Павленковым книжка, томик из его коллекции биографий, озаглавленная «Аксаковы». Коллекция эта весьма популярна среди молодежи, печатается и расходуется в огромном числе экземпляров. Вот что говорит автор, для изучения Аксаковых взявший (как сам сообщает) словарь Венгерова и книгу Вл. Соловьева «Национальный вопрос в России». «Славянофильская доктрина, — говорит

он, — была не более, как утопией. Как утопия, она подверглась обвинению со стороны жизни и выслушала свой обвинительный приговор. На выхваление прошлого историческая наука отвечала — “это неправда”, на призыв “домой” — “это невозможно”. Бросить славянофильские фразы давно пора. Надо же понять наконец, что наш путь развития и путь Западной Европы — тот же самый»...

Вот почему, прося в вашем торжественном собрании дать мне слово как ученику покойного И.С. Аксакова и его единственному *постоянному* сотруднику за все шесть лет издания «Руси», я хотел бы остановиться именно над мировоззрением покойного, сгруппировать в нескольких чертах сущность того, чему он действительно учил и что так гадко, так недоброжелательно искажено его противниками. Немногие имели случай быть столь близки к покойному, как я, и так много услышать из его самых глубоких, самых душевных мыслей. Как сейчас помнятся мне наши прогулки в бесконечных липовых аллеях Спасского или в сквере вокруг храма Спасителя, куда мы ходили довольно долго каждый день, он — по предписанию врача, я — по просьбе Анны Феодоровны. А эти вечера с глазу на глаз, когда придешь, бывало, с работой в восемь часов и уходишь, охрипший от спора, далеко за полночь по грозному приказу его ангела-хранителя: «Да поберегите же Ивана Сергеевича! Завтра договорите». А тот, сам увлеченный спором, как юноша, кивает на дверь, откуда слышится голос жены, смеется и жмет руку так, что кости трещат...

Вот что говорил покойный Иван Сергеевич о Православии:

«Поймите же наконец, что в Православии две стороны: внешняя — обряды, символы, посты. Это все имеет в деле веры хотя далеко не первенствующее значение, но дорого мне потому, что связывает меня со стомиллионным русским народом, делает меня его членом и общником, а не отщепенцем, который плюет на то, что целому народу, целой части вселенской Церкви, свято и дорого. Главное же — это дух Православия, это вот мое твердое знание, не *вера* только, но и *знание*, что в Церкви хранится Истина. “Православная Русь”, “Святая

Русь” — да, потому что во всем мире она теперь чуть не одна принадлежит истинной Церкви и хранит истину. Тут нет ни тени какой-нибудь гордости или превозношения, тут незабываемый исторический факт. Христос положил начало вселенской Церкви, призвал всех. Но на Западе христианскую Истину искажала языческая государственность, лежавшая в плоти и крови западного человечества. Один русский народ воспринял учение Христа чистым сердцем, не уродуя его и не внося никакой лжи. Помните вещие слова Тютчева: “Всю тебя, земля родная, в рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя”? Это чистосердечие, это смирение, эта готовность на страдания, это явное предпочтение внутреннего внешнему — все это психические особенности славян. Они язычниками уже были, так сказать, готовы к христианству, склад их душ ему соответствовал. Где же тут превозношение, когда никто, как мы, не умеет так смиряться, так чувствовать себя грешнее и недостойнее других?

Поймите же теперь, что при этом взгляде никто так горячо не ненавидит всякую полицейскую защиту Православия, всякое насилие над совестью, как славянофилы. Чем выше и святее идеал, тем ужаснее его профанация. Церковь есть свобода. Стремление к Богу есть величайший акт человеческой свободы, величайшее ее торжество. И вдруг меня загоняют силой в Церковь, требуют свидетельства о бытии на исповеди. Кто это сделал? Кому это приходило в голову до Никона и Петра?».

О самодержавии говорил Иван Сергеевич:

«Нам, славянофилам, дорог принцип самодержавия не потому лишь, что это наш исторический русский принцип, выработанный духом русского народа так же, как английская конституция выработана британским гением. Нам дорого самодержавие потому, что, когда речь заходит о государстве, это лучшая, самая нравственная и самая свободная форма государственности. Наши так называемые либералы (говоря «так называемые» потому, что либерализм не есть вовсе бранное слово; я бы с удовольствием сказал, что я либерал, и

надеюсь, смел бы это сказать, если б самое слово не было так затаскано и загажено) даже представить себе не могут, какой азиатский деспотизм представляет любая из самых красных их республик (и чем краснее, тем деспотичнее) сравнительно с истинным самодержавием. Я не спорю, совершенства на земле нет и быть не может, но если есть идеал, то возможно и обязательно приближение к нему, конечно более или менее несовершенное. А идеал вполне ясен. Записка моего брата Константина не оставляет никаких сомнений. К сожалению, ее не хотят понять и клеветуют умышленно. Поверьте мне, что нашу теорию самодержавия когда-нибудь откроют немцы, изумятся ее правде и глубине, оправдают философски и преподнесут ее нам. Тогда мы ее примем».

Я возражал, бывало:

— Идеала не видно из-за действительности. А наша действительность так неприглядна, что к ней ни у кого нет и не может быть симпатий. Очевидно, что и добираться до идеала сквозь эту действительность, которая прямо им прикрывается, нет ни у кого охоты.

«Это верно для толпы, — отвечал Иван Сергеевич, — но не для людей науки. Для тех это стыд и срам, если они не могут понять или умышленно искажают; здесь опять действует тот же закон: чем выше идеал, тем отвратительнее его профанация. Самодержавие само по себе как условие *sine qua non* предполагает такую жизненность и простоту государственной организации, при которой самодержец действительно по своему разуму и совести принимает свободное решение. Государь по самому своему положению не может не желать и не искать правды, не может не искать и не приближать к себе лучших людей Земли. Отыскать и определить истинные основания самодержавия совсем нетрудно. Их выразил мой брат в формуле: “Государю — свобода действия, Земле — свобода мнения”. Другими словами, наш идеал: могущественная и свободная самодержавная власть, опирающаяся на широкое местное самоуправление и имеющая своими главными орудиями свободное слово и свободную совесть свободного

народа. Следовательно, самодержавие немислимо без свободы мнения и слова, что теперь значит свобода печати. Самодержавие немислимо при бюрократическом строе, ибо оно недробимо и неделимо, самодержавие немислимо без широкого самоуправления Земли, ибо, если плохо построенный мост прикрывается Высочайшим повелением — самодержавия нет, а есть десять тысяч самодержавий, похитивших и разделивших между собою самодержавие царское. Неужели же мысль славянофилов неясна? Государь — человек. Мы не имеем права требовать от него непосильной для человека работы и, следовательно, можем рассчитывать только на среднюю силу. Попробуйте определить число рабочих его часов. Исключите известное время на болезнь, на путешествия — и вы увидите, какое ограниченное число часов в году может Государь без вреда для своего организма и без переутомления посвящать делам. И вот эти-то часы должны определять то количество дел, которое может самодержавно решить Государь. Если этих дел будет больше, во всем их излишке самодержавие будет отсутствовать; оно будет передано докладывающему министру, ибо в этих делах решение свободным быть не может. Но этот излишек вредит и тем делам, которые будет решать Государь нормально. Теперь, надеюсь, вам все ясно. Бюрократия есть первый и самый злейший враг настоящего, идеального самодержавия. Ее задача — гнуть и ломать все по-своему, каждый шаг прикрывая именем Царя и уходя от всякой ответственности. Государю необходима полная правда, а следовательно, настоящее, свободное мнение страны; для бюрократа и эта правда, и это мнение — яд. Министр, директор департамента, столоначальник имеют свои идеи, свои планы. По нисходящей лестнице они заручились доверием, прикрылись именем Государя, и всякое им противоречие, всякая критика, а тем более обличение приравняются к посягательству на самодержавие, характеризуются «вредным направлением». Отсюда ложь и обман, насквозь нас проевшие. Если правда случайно, контрабандою дойдет до Государя и он разгневается на министра, тот в ту же минуту спрячется за десятки Высочайших пове-

лений и резолюций, объяснит, что во всем свято исполнялась только воля Государя и его “предначертания”, и ответственным за зло окажется только Государь».

«Когда я говорил “домой”, я не в терема и не к семибоярщине звал, а указывал, что эту задачу — определить соотношения Царя и Земли — Древняя Русь лучше понимала и осуществляла, чем современная. Но мы даже самое понимание утратили, что такое сила нравственная, что такое шиллеровское “Männerstolz vor Königsthronen”, нам нужна бумажка, нужен договор, нужна конституция, счет голосов. Это мы поймем, а то, что Царь, узнавший правду, *не может* не поступить по этой правде, *не может* сознательно избрать ложь, — этого мы не можем понять. А между тем когда-нибудь явится русская наука государственного права, которой теперь нет еще и в помине, и выяснит, что подобное построение есть настоящая теорема».

— Как вам рисуется государственный строй России в соответствии истинному самодержавию? — спрашивал я.

«Кодифицировать... сейчас же изложить в параграфах... и вы туда же! Когда у нас что-нибудь говоришь и ищешь общих широких оснований, вас выслушивают снисходительно и, очевидно, не понимают. Надо не только мысль подать, но готовый черновой циркуляр написать... Ну, давайте мечтать! Отделите все имеющее общегосударственное значение и скажите: “Это дело Государево”. Общее законодательство, войско, флот, финансы, государственная полиция, пути сообщения, внешняя политика. Все остальное — местное “земское дело”. Губернии группируются по своим естественным признакам в области или генерал-губернаторства. Это должны быть весьма самостоятельные единицы с широким самоуправлением. Поскольку данная область имеет свои интересы и задачи, она может иметь даже свое законодательство, в развитие и пополнение общего. Все внутреннее хозяйство области, полиция, суд, просвещение — все это может быть сполна предоставлено земству и поставлено под контроль Государева наместника. Между ним и земством возможны раз-

ногласия и споры, которые свободно обсуждаются печатью и в последней инстанции разбираются Сенатом и решаются Государем. За земством и всякими общественными группами древнее право челобитных. По всем земским делам доклад Государю подготавливает Государственный Совет, гласно обсуждающий дела и пополняемый представителями областей. Это будет наш старый Земский Собор, но в новой, приличествующей времени форме. Разумеется, нет никакой речи о чем-нибудь обязательном для Государя. Ему только добросовестно готовят материал, освещая ту и другую сторону вопроса и ожидая свободного решения. А так как самодержавие не “считает”, а “взвешивает” голоса, то Государю вольно не только согласиться с меньшинством, но утвердить и любое особое мнение или решить дело по своей собственной инициативе. Бюрократии здесь места нет. А внизу у земства основа — приход, не крепостническая всесословная волость, а приход в том виде, как писал Самарин. Это тоже возврат “домой”. Я начал “Русь” с нашей уездной ячейки. Дайте нам приходский строй как первую ступень самоуправления — и сила жизни тотчас скажется.

По третьему основному вопросу о народности Аксаков говорил:

«Нигде славянофильство не было так оклеветано, как в вопросе национальном. “Шовинизм”, “квасной патриотизм”, “национальное самохваление” — чего только не бросают в наше направление! И эти клеветы несомненно сознательные. Тут даже недоразумений нет, а просто ненависть, и притом достаточно холопская. Русский народ прежде всего брат в Христе всем народам, любит всех, любя, конечно, прежде всего братьев по вере и племени, затем арийское человечество, затем все остальное. Но дайте же, чтобы у него была такая же своя духовная физиономия, своя культура, свои идеалы, как и у других народов. Не делайте из него какого-то пария в человечестве. В ответ на это непременно ударятся в другую сторону и раздадутся речи о каком-то мессианизме. Зачем все это? Если каждому народу позволительно думать

о своей собственной мировой роли в истории, то почему же не попытаться на основании изучения особых психических свойств нашего народа поискать мировой роли и для него? Мы видим, во что вырождается западная цивилизация, видим у нас некоторые новые элементы, Западу чуждые, и вот мы догадываемся, что, быть может, нам, т. е. славянству, удастся разрешить многие антиномии, для Запада непосильные. Мы вовсе не противопоставляем Русь Западу как двух врагов. Достоевский в речи о Пушкине великолепно выразил нашу коренную славянофильскую мысль о том, как и чем мы служили Европе, настолько полно и верно выразил, что я отказался было говорить после него. Вспомните, как Хомяков относился к Англии. Но совсем другое — дело текущая политика. Мы не враждебны никому, любим всех, всем желаем добра, но если ненавидит нас Запад, если соседи образуют против нас лиги и коалиции, если при каждом удобном случае наши враги готовы ринуться на нас, мы обязаны быть предусмотрительными, обязаны защищаться. Я очень люблю немцев, высоко ставлю их философию, поэзию, чту их науку, но когда князь Бисмарк тащит Россию на скамью подсудимых, когда Германская империя, нами вскормленная и взращенная, вся, как один человек, дышит к нам ненавистью и кричит, что Россию надо отбросить за Днепр, я поднимаю голос и говорю, что немец опасен, что его надо обезвредить. Я люблю и уважаю Англию, но громко говорю, что англичан необходимо проучить, необходимо отбить у них охоту наступать всем на ноги во имя «британских интересов»».

Я нарочно остановился над тремя центральными положениями славянофильской школы — «Православие, самодержавие, народность» — и привел здесь в сжатом виде подлинные мысли покойного И.С. Аксакова. Именно эти три дорогих слова захвачены давно уже разными литературными проходимцами, прикрывающими ими совершенно противоположные славянофильским и крайне несимпатичные понятия. Грустно и больно, что наше молодое поколение не умеет разобраться в этом гнусном маскараде и нет никого, кто бы помог этому. Между

«чистым» славянофильством покойного Аксакова и разными «причислившимися» к этому направлению людьми нет ничего общего, кроме одних и тех же слов, под которыми скрываются часто вовсе противоположные понятия...

Мы собрались здесь почтить память великого борца и мыслителя. Лучшим способом и, пожалуй, единственным для этого есть широкое распространение и верное понимание его идей. Дай же Бог, чтобы творения почившего Аксакова стали настольною книгою в каждой русской образованной семье, чтобы русская молодежь научилась мыслить и чувствовать по-русски, а научиться этому можно только черпая умственную пищу из русских и чистых источников. Источников этих не мало, но не знают к ним пути. Пусть же возьмет русская молодежь в путеводители Аксакова, и он ее выведет на дорогу.

НЕОПОЗНАННЫЙ ГЕНИЙ: ПАМЯТИ Н.П. ГИЛЯРОВА-ПЛАТОНОВА

(† 13 октября 1887 года)

Пятнадцать лет назад скончался один из величайших русских мыслителей, Никита Петрович Гиляров-Платонов. За эти полтора десятилетия наше «образованное» общество и наши научные кружки сумели бы, конечно, совершенно позабыть о человеке, которого при жизни знали только как оригинального и немножко «странного» публициста, да и то потому, что у него была газета, долгое время выходившая ежедневно и порою имевшая крупный успех. Спасла Гилярова от забвения дружеская рука писателя, который, один из немногих в России, во всем объеме понимал, что такое Гиляров, каково его значение для русского богословия, русской литературы, русской филологии, русской философии и экономики. После сделанного К.П. Победоносцевым прекрасного издания главных трудов Н.П. Гилярова в виде двух томов «Сборника сочинений» о «забвении» не может быть, конечно, и речи. Того «главного», что издано, уже с избытком достаточно, чтобы рано или поздно натолкнуть *будущие* поколения русских критиков и ученых на разработку и оценку *всего* Гилярова. Говорю «рано или поздно», потому что до сих пор не было даже и попытки сделано ни в смысле разработки научных сокровищ, завещанных Гиляровым, ни в смысле определения, что такое был этот великий и многогранный ум? Далее биографии сколько-нибудь приличной Никиты Петровича не существует, так как нельзя же считать

за таковую легкий и неполный очерк, сделанный кн. Н.В. Шаховским для изданного недавно «Сборника».

«Главное» издано. Но — увы! — это «главное» есть лишь небольшая, почти ничтожная доля того, что написано Никитой Петровичем в «Современных» ли его «известиях» или в частных письмах. Из приводимой ниже моей поминальной статьи 1888 года и письма «Рцы» читатель увидит, в каком отношении стоит это «главное» к остальному, какой характер носили работы Н.П. Гилярова и какой метод нужен, чтобы восстановить перед русским обществом всего Гилярова во весь его гигантский рост и в полной целостности его необъятного мировоззрения. И что всего ужаснее — на этих днях умер единственный в мире, действительно духовно близкий к Гилярову человек, владевший, так сказать, ключом к покойному, свято этот ключ хранивший и в глубокой тоске ожидавший, когда этот ключ понадобится русскому обществу. Я говорю про сотрудницу «Современных известий», личного близкого друга Гилярова и его литературную наследницу, Анну Михайловну Гальперсон, памяти которой надеюсь посвятить несколько слов ниже. С ее смертью уже никто не в состоянии точно указать, что именно в ряде годов «Современных известий» бесспорно принадлежит Никите Петровичу и что другим лицам. Это ли не огромная потеря? Вместо того чтобы точно знать тот материал, с которым придется иметь дело, будущим работникам понадобится сложная и головомная работа «выделения»...

У меня лично перед памятью почившего есть свой долг. Я имел счастье знать его лично, меня хоть и редко и случайно вводил он во «святая святых» своих дум и мечтаний, я имею право считать себя до некоторой степени его учеником, хотя бы и самым младшим. Мой долг — будить русскую заснувшую мысль, указывать господам невежественным и легкомысленным современникам, какие громадные богатства лежат под спудом, какой свет ума и яркой, глубокой, национальной русской мысли заблестит когда-нибудь над

могилой Гилярова... Увы! Ничего другого я сделать не могу. Гиляров так необъятно велик и сложен, что работами над ним одним могла бы заполниться вся жизнь добросовестного и талантливое исследователя. И вот, поглощенный своим делом, я готов кричать нашей несчастной молодежи: «Идите, господа, сюда! пусть хоть кто-нибудь найдет, чтобы посвятить себя изучению Гилярова. Он окажет бессмертную услугу своей Родине и будет по-царски вознагражден, приобщась духовно к одному из великих наших национальных гениев, согретый, обласканный и прославленный им. На Гилярове не один, а десять человек могут составить себе крупное и славное литературное имя!..»

Но никого нет! То, что издано, — только отрывки, клочки, уголки широчайшего мировоззрения. *Цельный* Гиляров еще в далеком будущем. Очень небольшая, сравнительно с ним, умственная и литературная величина, М.П. Погодин нашел своего Барсукова, нашел щедрого и великодушного издателя. И вот перед русским обществом разворачивается величавый ряд страниц новейшей истории русской культуры, где Погодину отводится, может быть, даже большая роль, чем была в действительности. Здесь видимо преобладает фон, окружающий Погодина, оживают исторические лица, иногда совершенно его собою заслоняющие. Погодин зачастую является только предлогом...

Иное дело — Гиляров. Если бы подобная работа была предпринята над *его* «жизнью и трудами», если бы *его* мысль и ее значение были так восстановлены, сложены и разгаданы, то не заслонили бы собой Никиту Петровича даже самые крупные его современники, как Хомяков, Самарин, Аксаковы, Катков, Филарет, а наоборот, его лучами осветились бы некоторые из них, ибо много питались они от него, хоть это и было тайною для публики. Уже и в том, что читатель увидит ниже, есть на это указания...

Ничем другим не могу я исполнить моего долга перед почившим, как собрать здесь в качестве хотя бы только

сырого материала кое-что из высказанного о Никите Петровиче мною и другими да привести несколько отрывков из его писаний¹. И если этими строками будет в кого-нибудь заброшена искорка желания «пойти к Гилярову», я буду искренно счастлив и совершенно удовлетворен.

I. НАД СВЕЖЕЙ МОГИЛОЙ Н. П. ГИЛЯРОВА

*(Моя речь при его погребении
из № 12—13 «Русского дела» 1887 г.)*

Сильней и сильней сгущаются сумерки над русским обществом, над русской литературой. За Аксаковым Катков, за Катковым менее, чем через три месяца, отходит от нас Гиляров! Святильники русской мысли гаснут, и в наступивших потемках с ужасом спрашиваешь себя: кто же еще на очереди? Кого унесет судьба? Да никого и не остается больше, кто бы мог стать в ряд с этими тремя славными и великими русскими именами.

Я назвал три имени: Аксакова, Каткова и Гилярова. В этой группе несправедливо и напрасно было бы отводить последнему дорогому почившему какое-то, как бы младшее место. Если Аксаков был велик как бескорыстный и доблестный гражданин, как художник и как выразитель великого культурного начала, если Катков был велик как политический и государственный деятель, могучий и смелый боец за русскую государственную идею, то Никита Петрович Гиляров велик как глубокий и оригинальный, скажем смело над его могилой, — как гениальный русский мыслитель.

Да, господа! Пусть как редактор газеты стоял Никита Петрович не на первом плане в русской печати, но ведь его

¹ К слову: я привожу здесь почти исключительно то, что не вошло в изданные К.П. Победоносцевым два тома «Сборника сочинений» Н.П. Гилярова.

публицистическая деятельность была лишь игром, добровольно поднятым. Как живой человек, как горячий и страстный патриот, он не был в состоянии замкнуться в четырех стенах кабинета, чтобы работать только над своими любимыми вопросами. По его собственному выражению, он должен был, кроме кабинета, быть еще и на валу, должен был драться и лишь *вместо отдыха* возвращаться к своим богословским, лингвистическим и экономическим работам. И такова была сила и энергия этого удивительного человека: издавая при самом ограниченном числе сотрудников и почти без средств большую ежедневную газету, он не пропускал ни одного дня, чтобы не внести какого-нибудь, хотя бы небольшого вклада в те сокровища ума и творчества, которые он накапливал в течение более чем тридцати лет.

Личности и дела Аксакова и Каткова в момент свершения ими их жизненного поприща блистали ярко во всю величину. Ничто не осталось сокрытым, все их дело, вся сила их были уже отданы русскому обществу. И наоборот: лучшее, что было сделано и сделано Никитой Петровичем, русскому обществу почти неизвестно. Оно откроется и отдастся этому обществу только со временем, как великое наследие после почившего.

Но что же сделал покойный? Мне как одному из многих, которых Никита Петрович от времени до времени вводил в сокровенный уголок своей души, да будет позволено засвидетельствовать, что он оставил русскому обществу несколько трудов, из которых каждого хватило бы на целую жизнь и на громкую славу ученого.

Никита Петрович оставил замечательные труды по православному богословию. Ярко блещит там идеал вселенской Церкви, им вместе с его другом и предшественником А.С. Хомяковым разъясненный и освещенный.

Никита Петрович оставил громадный труд по исследованию форм и законов русского языка. Этот труд проливает совершенно новый свет на русскую и славянскую филологию.

Наконец, Никита Петрович оставил почти законченную русскую политическую экономию — труд, которым он особенно гордился и который в свое время произведет коренной переворот в экономических учениях.

Никита Петрович провел глубокий критический анализ всех существовавших и настоящих учений и свою *русскую* политическую экономию обосновал на новом фундаменте, введя и объяснив психологию и нравственное начало как действующие над экономическим миром факторы. Все, что было запутанным и неясным там, стало ярко, понятно, почти математически точно, пройдя чрез острую, как сталь, логику и творческую мысль покойного.

Вот чем велик Никита Петрович! Вот в чем его бесспорное право не на второстепенное место сзади Аксакова и Каткова, а на почетнейшее место в русском Пантеоне наряду с великими мыслителями: Хомяковым, Константином Аксаковым, Юрием Самариным, Данилевским. Публицистическая деятельность Гилярова, сравнительно с его учеными трудами, едва ли не была его ошибкой, вернее, несчастьем.

Пусть же русское общество с признательностью воспримет как дорогое наследие после почившего его бессмертные труды! Пусть во имя священной для нас всех памяти этой светлой и прекрасной личности издадут с особенным вниманием творения Никиты Петровича и пусть воспитывается на них русское общество в русских людей, любящих и верящих в духовную силу и светлую будущность своей Родины, как любил и верил в нее тот, кому теперь говорим мы «вечная память».

* * *

В числе телеграмм, полученных редакцией «Современных известий» по поводу кончины Н.П. Гилярова, мы встретили следующую, посланную нашим сотрудником г. *Рцы*.

«Киев, 15 октября. И его не стало! Этот мало кому ведомый публицист, этот удивительный гений, лучи которого не-

когда озарят вселенную, этот писатель, этот человек-загадка, непонятный, непризнанный, назвавший лишь первый слог нового великого слова, а остальные унесший в могилу, этот великий русский ум, честь, слава и гордость России — его уже нет! Знает ли, поймет ли Православная Русь, кого она лишилась вчера, кого завтра опустит в могилу? Знает ли кто на Руси, что после Хомякова большего не рождала Земля Русская? Безумное, не правда ли, слово? Но его вспомнят и повторят, когда через сто лет станут всем русским миром воздвигать памятник великому русскому человеку».

Один из немногих в России г. *Рцы* верно разгадал значение и размер духа покойного. Нет, не безумно его слово! Гилярова поймут и оценят лишь много лет спустя и благоговейно преклонятся пред его памятью.

II. В ГОДОВЩИНУ КОНЧИНЫ Н.П. ГИЛЯРОВА

*(Моя передовая статья
из № 41 «Русского дела» 1888 г.)*

Старая истина, не перестающая быть горькой и позорной истиной: русские люди, русское общество не умеют ценить своих великих людей! На этой неделе, в четверг, исполнится годовщина смерти замечательного русского человека, из тех, что рождаются столетиями и оставляют по себе глубокий след в умственной жизни своего народа. Все, без остатка, дело этих людей становится историческим достоянием страны, а их бессмертные личности присоединяются к сонму светил слова, науки или искусства и льют оттуда свой яркий свет сквозь века на всю грядущую историческую жизнь народа и целого человечества. И чем выше и шире парит бессмертный дух гения, чем крупнее его подвиг и прочнее место в ряду исторических личностей, тем меньше пони-

мания и сочувствия встречает он среди современников, тем незаметнее его связь с настоящим, тем, понятно, меньше у них и ощущение утраты.

Мы говорим о почившем 13 октября прошлого года Никите Петровиче Гилярове-Платонове. Десятки лет пройдут, пока сколько-нибудь выяснится для русского общества личность почившего и его дело. Как и ближайший его друг и предшественник А.С. Хомяков, Гиляров-Платонов сошел в могилу вполне опознанный едва десятком людей. Для современников оба были только «странными» людьми. Для оценки Хомякова мало было сменившихся после его смерти двух поколений. Для оценки Гилярова потребуются едва ли не больший срок, ибо Гиляров был несомненно еще глубже, еще шире и многостороннее, чем Хомяков. Хомякова начинают понимать уже и теперь, когда поле русской мысли еще сплошь заросло ложью и тернием, — Гилярова поймут лишь тогда, когда русская мысль получит полное право гражданства на Руси, когда образованное общество русское дорастет до того, что сейчас ему может показаться еще странным и непонятным у Гилярова. Это все поймет оно лишь тогда, когда научится воспринимать русскую мысль, если можно так выразиться, непосредственно, через головы европейских мыслителей, мимо нынешней призмы европейской образованности, эту несчастную русскую мысль плохо преломляющей и калечащей. Но до этого еще очень, очень далеко!

Какая странная судьба для мыслителя, которому в течение лучшей половины своей жизни приходилось именно говорить, учить неустанно, говорить для сравнительно весьма многочисленной аудитории! Ему ли было оставаться непонятным и непонятым? За двадцать лет издания «Современных известий», не считая работ покойного в «Творениях св. Отцов», «Русской беседе», «Дне», «Москве», «Русском вестнике», «Журнале землевладельцев», наконец, в «Руси», им высказано огромное количество мыслей по самым разнообразным вопросам, начиная от существа Церкви, задач России и славянства и кончая скалыванием льда с улиц. Когда

будет приведено в порядок и издано все написанное Никитой Петровичем, полное собрание его сочинений составит десяток больших томов, настоящую энциклопедию русского ума и многостороннейших глубоких знаний. И все-таки покойному долго, очень долго суждено оставаться непонятым...

Как объяснить себе этот странный на первый взгляд факт, понятный лишь для тесного в эту минуту избранного кружка знавших Никиту Петровича? Представим себе, что начинается огромнейшая сложная постройка. Здесь работают кирпич, там готовят и подвозят материал для стен, печей, лестниц, украшений. В другом месте готовят внутреннюю отделку и обстановку. Плана общего для всей работы никто не знает. Видят лишь части работы в разбросанном, почти хаотическом виде. Но у зодчего есть план, и не только план, но все мельчайшие детали будущего вида и устройства здания. Он уже обдумал, где и какого цвета будет вставлено стекло, где и какая будет повешена картина.

Зодчий обладает великим, почти всеобъемлющим умом. Он подходит туда, где делают кирпич, и дает самые точные, строго технические указания, которым удивляются мастера. Он идет к плотникам и столярам, высказывая свои мысли и здесь. Наконец, он уже заранее выбирает мебель, ковры, материи, топливо, он уже заботится о самых отдаленных потребностях будущих обитателей здания и везде блещет своим умом, своими огромными познаниями, своей сметкой, своим быстрым разумением и усвоением всего, что ему встречается на пути.

Но здания нет, и когда оно выстроится, Бог весть. Окружающие зодчего, не посвященные в его план, могут оценивать, каждый по-своему, только те отрывки, те частные мысли, которые зодчий бросает на ходу. Плотники ценят его огромные познания по деревянным работам, каменщики — по каменным и т. д. Но разве это дает понятие, хотя бы и отдаленное, о *всей* личности, о всем таланте и уме зодчего?

Мы выбрали пример, хотя и не совсем удачный, но могущий уяснить нашу мысль. Пусть же читатель представит себе,

что здание, о котором идет речь, есть русская жизнь, общественная и государственная, во всей неизмеримости ее отраслей и проявлений.

Представьте себе, каков должен быть ум, который мог охватывать эту жизнь всю и везде, в каждом вопросе давать не одно лишь частное, хотя бы и очень остроумное мнение, а частицу своего великого плана, который носил он в душе и откуда отрывались и сверкали яркими искрами его мысли?

Что общего мог бы увидеть посторонний зритель между дельным указанием плотникам насчет зарубки какого-нибудь бруса и разъяснением садовнику касательно посадки цветов? Что общего видел читатель между статьей Н. П-ч по поводу приезда в Россию персидского шаха и другой статьей, например, о думском водопроводе? Ничего, кроме того, что автор обеих статей — **остроумный и талантливый журналист**, трактующий по обязанности о разных текущих вопросах. И та и другая статья одинаково хороши и поучительны.

Н. П-ч не мог дать понять своему обыкновенному читателю всей необъятной ширины своего мирозерцания, не мог разъяснить ему, что в этом мирозерцании сочетались в гармонически стройную систему и персидский шах, и думский водопровод, и Гегелева философия, и французская республика, и богословие, и политическая экономия, и эстетика, и филология. Что несколько непонятное, почти парадоксальное место в статье о персидском шахе толкуется целой статьей, посвященной какой-нибудь Испании и напечатанной, может быть, десять лет назад. Прочтите эти две статьи рядом, ваш горизонт значительно раздвинется, вы увидите, что нужно прочесть еще статью о сартах Средней Азии, ибо основная мысль во всех статьях находится не в них самих, а где-то вне. И чем больше вы сводите рядом мысли Н. П., высказанные случайно по тому или другому поводу, тем резче выступает его главная мысль, венчающая известный отдел. Вы схватываетесь за нее, но горизонты расширяются дальше и дальше. Оказывается живая органическая

связь между, например, христианской нравственностью и политической экономией с одной стороны и филологией — с другой. Вы этой связи и не подозревали, а Гиляров-Платонов уже ее нашел, вполне уяснил себе и уже говорил **на основании** выводов из этой связи.

Трагическая, поистине, была судьба этого человека! Говорить о частностях перед публикой, для которой необходимо, по его собственному признанию, известное количество *пошлости*, говорить обо всем, всегда не договаривая, работать до изнеможения над самой неблагоприятной из работ — газетной, работать, кроме того, в каждую свободную минуту, стараясь уложить на бумагу те великие и серьезные мысли, которые грешно печатать в газете; носить в себе целое море, целый океан творческих идей и умереть, оставя грядущему лишь крохотную часть своего неизмеримого богатства в виде посмертных трудов по филологии и политической экономии и обширной частной переписки, из намеков, разбросанных по которой, можно с величайшим, разве, трудом воссоздать план чудного здания, унесенный почившим с собой в могилу.

Но зачем же продолжал Н.П. Гиляров-Платонов издавать свои «Современные известия»? — спросят иные. Зачем не бросил он их ни в успешные годы, ни в последние неуспешные, когда газета едва-едва могла существовать? Увы, и здесь лежит трагедия. Н. П-ч отчасти не мог развязаться с газетой, отчасти видел в ней сознательный подвиг. Вот выдержки из частной переписки покойного, достаточно уясняющие эту грустную историю:

«...я оказался газетным издателем, но в сущности я этого никак не ожидал. Один господин, теперь уже умерший, упростил меня 1) подать просьбу об издании газеты и 2) принять на себя так сказать домашнюю цензуру вместе с составлением двух-трех статей в месяц. Хозяйственная часть и вся редакция не должна была лежать на моих плечах. Деньги на издание были обещаны. Но случилось — все пух, и издание все оказалось на моих плечах, так что после заявленного имени моего даже отступление было невозможно».

«Вы говорите: развяжитесь с О. Да чего! Он от меня просто бежал, оставив дела в невероятно запутанном виде. Я с конца декабря остался один. Вы говорите: передайте О. все. В начале декабря, когда ко мне стали доходить явления беспорядков, я так было и предполагал. Я говорил: найдите редактора, которому, не срамя себя, я мог бы передать газету. Он тогда не согласился, хотя и тогда было бы худо. Передать газету, спустя месяц после основания, значит произвести скандал и совершенно убить самую газету. Кто же ее тогда возьмет?

Кроме того, я должен был бы объявить в то же время, что подписавшиеся не ради дешевизны, а ради меня могут получить назад деньги, но не убита ли была бы этим газета окончательно? А как же было не объявить об этом? Без этого дело принимало вид аферы, а я — вид человека, подставлявшего свое имя для заманки публики, а потом ушедшего...»

«...Судя по всем указаниям, — пишет покойный в другое время, — дело у меня пойдет хорошо. Подписка идет очень хорошо и даже необыкновенно хорошо, как утверждают знающие люди. Но меня не столько радует это, сколько другое: вижу от всех участие сердечное, сочувствие истинно для меня дорогое. Молю Бога, чтобы Он дал мне сил оправдать это сочувственное упование...»

«Вы говорите, что петербургские дешевые газеты ведут дело шаромыжнически. Совершенно верно; но выведите отсюда совершенно противоположное заключение. Ужели вы думаете, что эти газеты имеют успех, потому что шаромыжничают? Ужели в России находятся десятки тысяч человек, которые выписывают газеты собственно потому, что надеются видеть в них скандалы? Допустить этого нельзя. В *разносной* продаже успевает номер со скандалами; платит тот-другой 5 коп., чтобы прочесть скандал. Но вы допустите такое умозаключение в целой массе: будем подписываться на полгода, на год, ибо там будут скандалы? Нет, подписываются потому, что развилась уже жажда политического чтения и проникла в массу, даже до извозчиков. Дешевизна облег-

чает удовлетворение этой жажды; а издатели, да и вы-то с ними вместе, воображаете, что для этого надобны фортели. По моему мнению, это ошибка. Шаромыжники могли бы иметь успех, и имели бы успех еще больший, если бы откинули шаромыжничество и имели в виду не жажду к скандалам, а жажду к чтению вообще... А отсюда... заключение: *что честно поступит, высокий гражданский долг исполнит, больше других соотечественников послужит тот, кто, имея дарования кое на что высшее и блистательнейшее, на более глубокое и ученое, совлечет с себя парадные одежды публициста-генерала и в рубище, свойственном простому люду, потолкует с ним о том, что ему знать желательно, но что растолковать ему отчасти не хотят, отчасти не умеют.* Молю Бога, чтобы Он дал мне успех, не потому только что это выгодно, а и потому, что это общеполезно...

Мой подвиг страшен только в двух отношениях: во-первых, трудно соблюсти известную меру *пошлости*, необходимой для дешевого издания; во-вторых, нелегко организовать внешний механизм дела, — так постановить, чтобы колесо вертелось, не требуя от меня особых забот и изнурительного труда»...

«Содействовать общественному воспитанию — вот что нужно и что казалось мне возможно. *События общественные и политические должны доставлять материал, из которого по мелочам, в виде выводов частных, проводить объединяющие начала мысли и гражданского долга в публику. А для этого надобно прежде всего ниспуститься до публики, до некоторой степени пожертвовать собою*»...

«Позабавил меня отзыв кн. Ч-ой: “Вероятно, у вас теперь подписка поднимается”. Она разумела обилие серьезных статей, тогда как подписка, и именно вследствие этого, *падала*. Серьезные статьи нужны только для славы журнала, а не для успеха...»

«Дело в том, — писал Н. П. после многих обрушившихся на него цензурных кар, — что или молчать, или говорить по совести. Если прилаживаться к тому, что по глубокому убеж-

дению чувствуешь не только дурным, но развращающим, кончишь тем, что потеряешь совесть...»

Вот как смотрел покойный на великое призвание публициста. Но газета и труды над учеными сочинениями по филологии и политической экономии и над своими воспоминаниями не удовлетворяли Н. П-ча. Он мечтал о большом литературно-ученом предприятии в связи с расширением своего газетного дела. Вот что писал Н. П-ч одному другу после покупки писчебумажной фабрики в сентябре 1875 года:

«Месяца два будет еще каторги, каторги тяжелой, работы непомерной. Газета неизбежно на первое время потерпит несколько от этого; нельзя будет ею заняться с желаемой внимательностью. Но зато вдали вижу спокойствие, и это удваивает энергию. Уменьшится несколько мой ужас. О, если бы только до нового года дотянуть без всяких громоносных произволов или произвольных громов! Вошло бы тогда все в установленную мерку; я мог бы усилить персонал редакции; было бы время пообдумывать, тщательнее заняться, заняться вопросами более серьезными. А затем... почему не помечтать? Я мечтаю, что с типографией и бумажною фабрикой я могу начать солидное, учено-литературное предприятие (точнее, ученое), в котором давно нуждается Русь и об идее которого я когда-нибудь вам скажу»...

Между тем фабрика и цензурные притеснения разорили Н. П.-ча. В самый разгар подписки, накануне войны, газету остановили на два месяца. Затем ему часто запрещали розничную продажу. Все это подрывало его средства, усиливало конкурентов, им же поставленных на ноги и, так сказать, вытащенных из грязи, и привело издание на край гибели в 1885 году. Н. П. предполагал покончить с газетой и уже составил следующее объяснение подписчикам, сохранившееся в черновом виде:

«Тяжело мое положение. За добросовестное служение, которое я приносил с собою на все поприща, где мне приходилось действовать; за пользу государственную и общественную, которую всюду старался соблюдать, забывая себя, и которой

достигал, во многих случаях не без борьбы, за содействие общественному воспитанию в направлении созидательном, — получить наградою безвыходность — не дай Бог никому.

Виноват, может быть, я. Виноват в том, что не продавал своего пера никому, ни сильному, ни богатому; не подслуживался ко власть имеющим; не закрепощал себя ни одному из литературных кружков; не плыл по течению общественного разврата в разных его видах; не льстил страстям и поверхностным увлечениям; не заглушал высших интересов, напротив, служа им неизменно по силе разума, — но я этого не вменяю (себе) в вину. Я виноват, что, может быть, не был в своем деле строгим хозяином; было время, когда даже попал ко мне управляющим чуть ли не бежавший из острога, обокравший меня, а потом в остроге и жизнь кончивший. Но это не вина моя, а несчастье. Не на себя же проживаясь, я впал в затруднение. В течение с лишком 16 лет я работал более, нежели все участвовавшее в моем деле, и оставлял себе личного вознаграждения всегда менее того, чем бы получал в любом издании на правах рядового сотрудника. Смело утверждаю это; уверен, что никто работавший со мною, никто из служивших у меня не решится утверждать, что я говорю неправду или преувеличиваю»...

После страшной борьбы, сопровождавшейся потерей всего состояния и ужасным материальным положением, счастье как будто снова улыбнулось Н. П-чу. С 1886 года газета пошла лучше. К 1887 году сказался заметный успех. Н. П-ч оживился и с большим рвением продолжал как «Современные известия», так и свои ученые труды. 20 июля умер Катков. Никто во всей русской печати не имел большого права взять в свои руки «Московские ведомости», чем Н.П. Гиляров-Платонов, человек независимый, испытанной политической честности и патриотизма. Друзья уговорили его хлопотать о получении в аренду университетской газеты. Покойный послушался и отправился в Петербург, заручившись некоторым покровительством. Ему, однако, предпочли г. Петровского, и это страшное нравственное оскорбление убило Н. П-ча.

Комментарием к этому тяжелому факту может служить следующий отрывок из частного письма покойного:

«Я о себе не великого мнения, — пишет покойный в письме к одному близкому другу, — но, однако, и не маленького; но я не *признан* — вот что, родной! Я в положении какого-то Дон-Карлоса. Аксаков меня ценил, ставил меня очень высоко, во многих случаях я был для него авторитетом. Мало того, покойный Ю.Ф. Самарин склонялся предо мною (по моему мнению, даже сверх заслуженного); для Хомякова я был даже *единственным* человеком, с которым он признавал полное свое согласие. И однако когда Аксаков начал издавать «Москву» и предложил писать руководящие статьи с неограниченную властью (я и писал их), он выбрал в официальные заместители себя по редакции Н.А. Попова... и ни разу не заикнулся мне предложением соредакторства. Немногие знали даже, что некоторые из самых серьезных передовых статей принадлежали мне»...

Ни малейшего самовосхваления эти строки не заключают. Редко кто мог быть так скромн, как покойный. Это подтверждается следующим отрывком из другого частного же письма:

«Нежелание ваше торчать в объявлении вполне понимаю. Почему же я и боялся вымолвить вам свою просьбу? Я сам в высшей степени страдаю этим *pudeur*'ом. Меня покорило, когда назвал меня в объявлении Аксаков. Даже теперь дорого бы я дал, чтобы можно было не торчать моему имени в газете. Быть вывеской — тут есть что то нестерпимое. Но, между прочим, потому-то я и полагал назвать троих, советами которых предполагаю пользоваться, каждым по своей части: *Далем* — для народного быта, *Островским* — для театра и вами. Думалось: ну будет все повеселее, нежели выставять собственную персону, ничего никому не говорящую. Теперь, делать нечего, не назову никого. Пускай явлюсь пред публикой со всем бесстыдством самонадеянности».

Свою горькую судьбу покойный с удивительной ясностью предсказал еще в 1860 году в речи своей «О судьбе убеждений», посвященной памяти Хомякова. Указав на часто

повторяющийся факт смерти общественных у нас деятелей в самый разгар их работы, Н. П-ч ставит вопрос: какая тому причина? — и говорит следующее:

«Не виноват ли здесь самый род деятельности, — не противен ли он законным историческим стихиям народа или всем физиологическим его условиям? Трудно было бы ожидать, в самом деле, особенного процветания музыки в Англии или философии в Турции. Но мы теряем ученых, как и литераторов, музыкантов, как и живописцев. Погибают ли у нас, по крайней мере, относительно легкие таланты, — может быть, заслоняется их личная деятельность другою, более сильною? В тени дуба неудобно расти мелкому кустарнику. Напротив, не спорится у нас именно деятелям крупных размеров, а посредственность процветает. А родятся, однако, и вырастают у нас сильные таланты по всем родам, не в пример другим странам, часто. Давно замечено, что в литературе у нас художников даже более, чем беллетристов. И это при всей ограниченности размеров, с какой, относительно к массе народонаселения, распространено образование сравнительно с другими странами! Стало быть, почва здорова, есть откуда тянуть жизненные соки, стало быть, беда, собственно, в атмосфере, неблагоприятна среда, в которой должен развернуться цвет. Что ж, не служит ли помехою временное, одностороннее настроение общества? Один сильный интерес охватил целый край, и нет простора другой деятельности? В минуту разгара реформации не могла бы, например, иметь успеха деятельность поэтическая или ученая без отношения к тогдашнему религиозному движению. Но я желал бы, чтобы мне указали: какой же интерес, и притом в продолжение стольких лет, владеет нашим обществом? Я желал бы, чтобы мне указали хоть воззрение, которого бы у нас крепко держались; указали бы даже просто какое-нибудь воззрение, назвали хоть какой-нибудь общий образ мыслей! Замечательно, напротив, что печальная участь тех-то и постигает, в ком слышен общий интерес, кто имеет воззрение, кто проводит в общество образ мыслей. В этом,

собственно и сходятся наши рано погибающие, деятели; это и есть их существенная черта, их деятельность — духовная, высоконравственная деятельность, в которой все силы души с глубокого стихийного дна собираются и поднимаются в сознание, чтобы перейти потом опять со всею силою в жизнь при посредстве движущей личной энергии — одним словом, деятельность убеждения. В остальном выступает разница и даже противоположность. Итак, неужели мы положительно безнравственны, имеем прямое отвращение ко всему честному, окончательно погрязли в грубоматериальные интересы? Нельзя сказать и того. Мы любим науку и искусство, сочувствуем талантам, рукоплещем их успехам, плачем о потерях, много говорим о долге и чести, проникаемся негодованием против общественной безнравственности, хотя, правда, и не прочь, при всем этом, показать, что вот мы отличаем честное от бесчестного и знаем, что ценить и чего отвращаться. Мне кажется, пока мы разбирали факт, болезнь, которая служит ему причиной, уже названа. В том-то и дело, что в нас нет ни того, ни другого, ни этого; нет духовной полноты и искренности — какое-то полузнание, полуневежество, получестность, полубесчестность, полумысль, полусон, полусочувствие, полуравнодушие, одним словом — бездушие. Прямая безнравственность, как всякое крайнее отрицание, способна возбуждать, по крайней мере, противодействие и тем оживать, хотя косвенно. А у нас едва ли не простая апатия с наружными признаками одушевления. Нравственный воздух настолько редок, что дышать можно, но кровь достаточно не окисляется; говорить можно, но слышат только ближайшие; дальние ряды схватывают лишь звуки, ловят одни внешние движения и на них успокаиваются»...

Если эта характеристика атмосферы верна для 1860 года, когда Россия дышала сравнительно полною грудью, то какво же было говорить и действовать Н. П-чу и подобным ему людям в семидесятых и восьмидесятых годах? Вот замечательно характерный отрывок из письма Н. П-ча, писанного вскоре после смерти И. С. Аксакова:

«...Аксаков невозвратим. И вникните, что ему давало значение? Статьи ли его? Нет, совсем нет: статьям его придавалось значение, потому что они исходят от Аксакова. Россия и Европа признали его представителем и вождем известного направления (а Европа даже партии). Признав бытие такого направления, такой партии, предположили в ней известную силу и стали к ней прислушиваться, отчасти даже бояться. В своей поминальной, первой о почившем статье я сказал, что слово его “звучало для иных укором совести, для других было нравственною уздою”, другими словами, в нем олицетворяли славянофильство (он и был его прямым выразителем и продолжателем), за которым признали честность, а некоторые и правду (т.е. за направлением) — вот значение Аксакова...»

«...Аксаков *должен был умереть, не мог не умереть*. Я намекнул об этом, сказав, что к причинам смерти его должно отнести страдание, причиненное восточной политикой (моя первая о нем статья). Это несомненно. Помимо негодования, которое в нем возбуждалось направлением дипломатии, в нем еще не могло не произойти разочарования. Он не признавался в этом, он отбивался, но в глубине души не мог же не чувствовать, что идеал славянского братства, начертанный его учителями (Хомяковым и К. Аксаковым), разлетается, на распростертые объятия “братья” отвечают пренебрежением, завистью, коварством, зложелательством. Пусть виноват Берлинский трактат и дипломатия, пусть верно (до известной степени, однако, только), что нельзя отождествлять народов с правительствами; но... Вот этого-то “но” он не мог не чувствовать, и он умер, как умерли Хомяков и К. Аксаков накануне освобождения крестьян, как Самарин унесен смертью накануне второй Восточной войны. Теперь тоже канун, и если не 27 января, то в марте, в апреле, нынешним годом во всяком случае Аксаков перестал бы жить. Тот пост, который занимал он в славянском вопросе, во всяком случае бы пустовал. Русское великодушие к славянам упраздняется самими обстоятельствами, самую историю. Я это предсказывал еще в 1878 году; я об этом настаивал: кому же нужно было меня слушать?..»

Приведя выше характеристику русской общественной среды по отношению ее к деятелям мысли, приведем из той же речи Н. П-ча его характеристику А.С. Хомякова, в которой мимовольно он как бы обрисовал и себя самого:

«Если бы спросили меня, как вкратце выразить воззрения Хомякова, я бы отвечал одним словом: *любовь*...

К любви он обращается за утешениями, как и за укоризнами; в любви же указывает цель подвигу, отвращая высокомерные мысли и сокрушительные замыслы.

Выше любви он не находит призвания горячо любимой Родине. Тем самым, кому пророчит падение, он предсказывает кару именно за нарушение закона братства, за отступление от любви. Словом, любовь есть высший подвиг, как и высшая радость, есть высшая сила, есть — все...

Существенное значение любви то, что она есть связь живая, духовная, целостная. Кто убежден в таком начале для жизни, не естественно ли тому искать соответствующих законов и в мире отрешенном? По крайней мере, знаю людей, которые, наоборот, от живых начал в отрешенной мысли пришли к признанию любви как начала социального, видя в последней существенное отражение и необходимое дополнение первых; сошлись, таким образом, с Хомяковым независимо от его воззрений и идя обратною дорогою. Как бы то ни было, Хомяков и в теоретической области повсюду искал именно живого, духовного и целостного»...

Этим же живым, духовным и целостным был полон и брат Хомякова по духу и судьбе, Н.П. Гиляров-Платонов. Какое обилие мыслей, какая глубина содержания в тех *намеках*, которыми, изливая душу, он делился от времени до времени с друзьями!

Позволяем себе привести еще один отрывок из частной переписки покойного. Читатель увидит, каким глубоким мыслителем был Н. П-ч, какова по своему значению была его даже схематически начертанная, на лету брошенная мысль. Эти мысли клокотали в его мозгу бурным потоком, но только ничтожная часть их улеглась в его посмертные труды,

политико-экономический и филологический. От всего потока остались лишь золотые брызги в частной переписке. Эти брызги станут вскоре предметом изучения. Одного Н. П-ча хватило бы с избытком на десять первоклассных ученых в разных областях знания.

Вот этот отрывок:

«Своеобразно ли у меня мнение, или болезнь моей *доточности*, которою страдал я еще, когда мне было 17 лет от роду, не знаю; но, заговорив о чем-нибудь, вижу, что еще нужно договорить до этого: входят посредствующие представления, для меня ясные, но в обычном словообороте лишенные определенности или криво толкуемые. Отсюда опасность: заговорить о чем-нибудь и не кончить.

...Я хотел выяснить, что “прогресс по существу материален и внешен”. Он есть победа над внешней природой; на внутренней мир человека, который остается всегда тот же, он не имеет действия. Внутренний прогресс и может быть только внутренним, то есть единоличным. А как только утвердится на этом положении, сколько вопросов и мыслей выступает!

1) Теперешняя наука ничем и не признает человека с его душою как итогом внешних влияний.

2) Наука совсем еще не додумалась в лице всех своих прошедших и настоящих мыслителей до понятия о... или до различения... Но вот здесь и запятая, Мысль, которую я хотел бы сказать и которую думал было развить в письме или письмах к Вам, есть детище, мне исключительно принадлежащее, и поэтому трудно выразить ее кратко.

Попробую намекнуть ее.

*Необходимость и свобода,
мир внешний и внутренний,
бесчувственный и чувствующий.*

Попробуйте представить себе ряд явлений, даже не явлений, а веществ мира внешнего, подчиненных закону физической необходимости, бездушных и потому лишенных способности чувствовать, но мыслящих, как мыслят только одушевленные и даже чувствующие.

<...>

А.М. ГАЛЬПЕРСОН, СОТРУДНИЦА Н.П. ГИЛЯРОВА

27 октября нынешнего года скончалась в Петербурге скромная труженица печатного слова Анна Михайловна Гальперсон, имя которой тесно связано с личностью и делом Никиты Петровича Гилярова.

Девятнадцати лет, почти прямо со школьной скамьи, поступила покойная в 1875 году в редакцию «Современных известий» простой корректоршей. В момент кончины Н.П. Гилярова на ее руках лежала вся работа по изданию. Она рассматривала и исправляла поступавшие рукописи, вела политический отдел, писала театральные рецензии, после Флеровских в «Московских ведомостях» считавшиеся первыми в русской печати, выпускала номера «Современных известий» в отсутствие или во время болезни Никиты Петровича — словом, была все время его правой рукой и помощницей, а во время кризиса в деле, когда газета едва дышала, когда в кассе не было ни гроша денег и шел вопрос о выпуске или невыпуске номера, — единственную сотрудницу и душою газеты.

Эта необычайная и глубоко бескорыстная преданность и личности, и делу обуславливалась сознанием Анны Михайловны, что перед нею не простой газетный издатель, а великий *неопознанный гений*, совершенно одинокий не только среди толпы, но и в кругу своих ближних, своей семьи. Она одна поняла это своим чутким сердцем и ясным умом и решила стать около этого гения и чернорабочим, и другом, и сестрою милосердия.

Со своей стороны Гиляров сразу и безошибочно оценил в Анне Михайловне не только преданного друга и поклонни-

цу, но именно сестру милосердия своего огромного таланта, неумолимого критика своих недостатков, помощницу в труде тем более требовательную, чем выше ценила она бесмертные труды Никиты Петровича.

Трудно себе представить, как страдала покойная Гальперсон при мысли, что вследствие многосложности занятий Никиты Петровича и беспорядочности его литературного хозяйства не только не будут закончены начатые им обширные труды по лингвистике, экономии и философии, но рискуют пропасть и те лоскутки в конвертиках, куда раскладывал Гиляров свои наброски и заметки.

Единственным в мире человеком, действительно знавшим Гилярова во всем его умственном богатстве, была Анна Михайловна Гальперсон. Ей русская литература обязана таким перлом творчества, как «Экскурсии в русскую грамматику», написанные в виде писем к ней по ее неотступным требованиям. Ей обязана русская экономика изданием «Основ экономии». Я видел этот старенький конвертик с порыжелыми листочками, большею частью четвертушками бумаги от чужих писем, мелко исписанными заметками Никиты Петровича. Подобрать эти листки в некоторую систему и подготовить к печати было делом невероятной трудности, ибо это были просто клочки бумаги, обрывки мыслей, без нумерации, без начала и конца. Анна Михайловна сделала эту работу в два месяца и восстановила «Основы экономии» в возможно цельном и верном виде. Я горжусь тем, что этот бессмертный труд появился впервые в свет у меня, в «Русском деле».

Никита Петрович умер скоропостижно в Петербурге, в гостинице Бель-Вю, не сделав никаких распоряжений и оставив все свои дела в самом хаотическом виде. У Анны Михайловны не было никаких официальных прав идти спасать его литературное наследство от варварства близких. Великолепная библиотека Гилярова почти с места пошла «в развал», купленная за грош кулаком-букинистом. Переписка и рукописи были каким-то чудом спасены Анною Михайловною

вместе с единственным в мире переплетенным экземпляром «Современных известий» за все годы, дубликатов которого *полных* нет ни в Московской Румянцевской, ни в Императорской Публичной библиотеках. Но ведь это была своего рода узурпация, похищение. Нужды нет, что без Анны Михайловны все это *наверно* было бы выброшено в сор.

Было необходимо оформить и укрепить за А.М. Гальперсон литературное наследство Гилярова. Это было тем большее ее право, что она одна среди всех современников Гилярова точно знала, что из напечатанного принадлежит ему и что другим, она уже давно извлекла из Гилярова все литературные «показания» в этом смысле и успела их записать.

К счастью, у Гилярова осталось много долгов и взысканий. Право литературной собственности, с согласия родственников, было продано с аукциона, и я был счастлив, устроив при помощи покойного ныне Д.И. Морозова приобретение этого права Анной Михайловной. Теперь она могла законным образом исполнить свой долг перед почившим учителем — обработать, привести в систему и издать его труды.

Но ее материальное положение не позволяло и думать об издательстве. Мать многочисленной семьи и главный ее работник, Анна Михайловна не только не могла приступить к выпуску «Сочинений» Н.П. Гилярова, но вся, ради заработка поглощенная текущими журнальными работами и два раза в день занятая переводом телеграмм Северного Агентства, не могла даже продолжать начатых работ по систематизации и сводке печатных и рукописных произведений Гилярова. Она работала у меня в «Русском деле», писала в «Семье» и в некоторых других изданиях.

В 1896 году А.М. с семьею переселилась в Петербург, где заняла место переводчицы в новообразованном Русском Телеграфном Агентстве и стала сотрудничать в «СПб. ведомостях» кн. Э.Э. Ухтомского и у меня в «Русском труде». К этому же времени относится и издание двух томов «Сборника сочинений» Н.П. Гилярова, сделанное К.П. По-

бедоносцевым. По причинам, о которых в свое время расскажет «Русская старина», или «Исторический вестник», непосредственного участия в этом издании А.М. Гальперсон не принимала, и самое издание сделано по совершенно другому плану, чем первоначальный. Изданы только некоторые произведения Гилярова, преимущественно старые или те, которые были уже Анною Михайловною обработаны и напечатаны в журналах ранее. Между тем верная ученица покойного Гилярова предполагала сделать издание всего Гилярова в хронологическом порядке.

Анна Михайловна Гальперсон была одною из образованнейших женщин, которую мне довелось знать. Она владела в совершенстве французским, немецким и английским языком, читала свободно по-польски и по-итальянски, была хорошо подготовлена по философии и богословию и знала политическую историю истекшего XIX века, как редко кто из дипломатов. Только благодаря этому знанию и могла она справляться с политическими телеграммами, иногда перевранными до полной неузнаваемости. Она знала биографии чуть не всех общественных и политических деятелей Европы и Америки, отлично разбиралась по памяти во множестве международных трактатов, конвенций и договоров и сбить ее на какой-нибудь дате не было никакой возможности. Кроме того, она знала всех классиков литературы и, внимательно следя за литературой текущей, давала чрезвычайно дельные и талантливые обзоры и рецензии.

Мое «Русское дело» обязано ей рядом прекрасных статей о театре и многими политическими обозрениями.

Но самое дорогое в покойной Анне Михайловне было ее чуткое, доброе и нежное сердце и ее ясный, светлый, чисто женский ум, сочетавшийся с сердцем в удивительную гармонию. О ней трудно было сказать, умнее она или добрее? В противоположность многим женщинам, нахватавшимся верхушек образования и жонглирующим без смысла учеными словами и понятиями, Анна Михайловна представляла

образец такой глубокой скромности, что ее огромные познания раскрывались только после близкого знакомства. Прибавьте сюда величайший такт и крайнюю деликатность в обращении, и перед вами будет легкий абрис чудного человека и труженицы, которую умел найти и оценить Гиляров.

Мир ее праху.

КОНЧИНА Д.Ф. САМАРИНА. ЕГО РАБОТЫ. БОРЬБА ЗА ПРИХОД

2 декабря скончался в Москве на 72-м году жизни замечательный русский общественный деятель Дмитрий Федорович Самарин. Родной брат знаменитого славянофила Юрия Федоровича Самарина, близкий друг и сотрудник Ивана Сергеевича Аксакова, покойный был едва ли не последним из славной группы старых славянофилов. Кто еще остается в живых? Петр Иванович Бартенев, близкий человек к этой группе, в ней едва ли был членом. Историк Николай Михайлович Павлов, сотрудник «Дня» и «Руси»? Да едва ли не он один и остается. А затем уже идут молодые поколения, коих связь со старым устанавливается весьма трудно...

Имя Дмитрия Федоровича не было при его жизни окружено тем блеском, который составлял ореол его брата Юрия. Но это не был только «брат своего брата». Дмитрий Федорович шел своей собственной дорогой, делал свое очень крупное, хотя и серое будничное дело, работал, не покладая рук, и к исходу своей долгой трудовой жизни мог с гордостью оглянуться назад и подсчитать итоги.

В тиши своего кабинета, здешнего и деревенского, на земских собраниях и в Московской Думе, во множестве комиссий и на совещаниях сведущих людей вел свое тихое дело Дмитрий Федорович, стремясь неизменно к одной цели: к разысканию и восстановлению истинных русских земских и государственных начал в народной жизни.

Я думаю, что такая характеристика будет вполне точною. Все работы Дмитрия Федоровича сводятся к этой маги-

страдали и около нее располагаются. Вопросы ли об уменьшении выкупных платежей и о податной реформе, выяснение ли теории «недостаточности наделов» и «малоземелья», работы ли над питейным вопросом, или три самых главных задачи, поставленных себе покойным и им посильно разрешенных, — постановка народного образования в Москве, восстановление прихода как земской единицы и культурная реформа в крестьянском хозяйстве, — все это складывается в одно огромное и цельное *земское дело*, которому сполна себя посвятил Дмитрий Федорович.

И за исключением только одной, уже явно превышавшей земские силы задачи — восстановления прихода, — везде Д. Ф. Самарин видел прямой и положительный результат своей работы. Выкупные платежи уменьшены, старая акцизная система винной торговли упразднена (за новейшую ее форму — казенную монополию — никакой ответственности на Д. Ф. Самарина не падает), народное образование в Москве поставлено на высокую ступень, заботы земства о подъеме крестьянского хозяйства выразились в прочных и широких результатах, городское управление приучилось не бояться собственных предприятий и встало на хозяйственный путь.

Можно себе представить весь объем этой долголетней совершенно незаметной извне работы, слагающейся в такие серьезные для народной жизни результаты!

Но это была лишь часть дела, исполненного Дмитрием Федоровичем. Остальное его время посвящалось литературе. Он приводил в порядок и издавал том за томом сочинения своего брата Юрия Федоровича и составил его прекрасную биографию. Он отзывался на нападения литературных противников славянофильства (статьи против Вл. Соловьева «Поборник вселенской правды»). Он принимал близкое участие в славянском деле, организовав, насколько то было возможно, Славянское попечительство в Москве. Он с величайшей любовью устраивал своих бывших крестьян...

По счастливому стечению обстоятельств, самое ценное и крупное дело покойного Дмитрия Федоровича, составляющее его как бы политическое нам завещание, — вопрос о восстановлении древней русской церковной общины — в самые дни его поминовения принял особенно широкие размеры и приблизился к совершенно реальной постановке. Лучшим венком на могилу почившего могут служить несколько страниц из только что вышедшей книги продолжателя дела Дмитрия Федоровича по приходу — А.А. Папкова, озаглавленной «Церковно-общественные вопросы в эпоху Царя-Освободителя».

Работам Дм. Федоровича здесь отводится принадлежащее им по всей справедливости главное место. Я попытаюсь изложить эти работы по данным, приводимым А.А. Папковым.

В 1867 году в газете И.С. Аксакова «Москва» был помещен ряд статей Д.Ф. Самарина под заглавием «Приход».

Выяснив, что положение приходских общин является у нас вполне жалким и безгласным, автор указывал, что в старой Руси эти общины были весьма самостоятельны в делах церковноприходского управления. Они избирали священников и других членов причта и, за уплатою известного оклада в пользу высшей церковной иерархии, самостоятельно распоряжались церковными имуществами. К сожалению, эти приходские единицы не успели сплотиться в юридически определенные и организованные общины и в своем дальнейшем развитии были подавлены государственной властью.

В доказательство былой самостоятельности приходов и той борьбы за существование, которую они выдерживали в эпоху петровских реформ, Д. Ф. Самарин ссылается между прочим на известное дело псковских приходов с местною епархиальною властью, насильственно отнимавшею у этих приходов исстари принадлежавшее им право распоряжения церковными имуществами¹.

¹ Подробности см. у Папкова в книге «Упадок православного прихода». М., 1900. С. 38—46.

В течение XVIII века, по исследованию Д.Ф. Самарина, стало сосредоточиваться в руках духовного начальства заведывание церковноприходскими сборами, и высшая иерархия — несмотря на принципиальное разрешение спора по этому предмету Сенатом (6 июля 1733 года) в пользу смешанного заведывания церковным хозяйством, как духовенством, так и мирянами, — стала открыто отрицать право собственности отдельных церквей на их имущества и доходы. По понятиям высшего духовного начальства, все пожертвованное на тот или другой храм (недвижимость и капиталы) становятся собственностью не того храма или прихода, а всей вообще Церкви, а посему все такие имущества и приходские доходы должны состоять не в ведении приходских обществ, а в ведении духовного начальства. Этот взгляд был практически проведен в законе 26 июня 1808 года. По этому закону частные «экономические» суммы церквей в количестве около 6 миллионов руб. были отчуждены, а свечной сбор целиком изъят из числа приходских доходов и обращен на содержание духовных училищ.

Благодаря этому «изъятию» главного источника доходов, приходские церкви остались почти вовсе без средств. Д.Ф. Самарин указывает, что многие из помещиков, представлявших при крепостном праве свои церковные общины, пытались вести борьбу против этих мероприятий, но безуспешно. В течение первого десятилетия XIX века самоуправление церковноприходских общин было окончательно убито и постепенно заменилось нынешним церковно-административным бюрократическим строем.

Это падение приходской жизни вызвало ряд самых грустных явлений, в числе которых Д.Ф. Самарин ставит на первый план «терпимое святотатство» или повсеместное утаивание церковных доходов и средств. Соглашаясь, что при господстве крепостного права было трудно организовать правильную церковную общину, Д.Ф. Самарин выражал пожелание, чтобы с освобождением крестьян от рабства и с организацией новых церковно-общественных учреждений —

приходских попечительств — было поставлено на очередь воссоздание прихода как юридического лица, имеющего свойственную ему и законом данную организацию.

Указывая на то, что Церковь в России никогда не поглощалась клиром, Д.Ф. Самарин настаивал, что целое Церкви ближайшим образом зависит от устойчивости и самостоятельности составляющих ее мелких ячеек, т.е. правильно организованных приходов.

В 1873 году Д.Ф. Самарин энергично выступил на борьбу с проектированным гр. Д.А. Толстым сокращением приходов и причтов, предпринятым с целью лучшего обеспечения духовенства.

Для исполнения этой задачи было основано особое присутствие в Петербурге с губернскими присутствиями в качестве местных органов. Предполагалось выработать местные нормы для численности приходов, те же приходы, которые этих норм не достигали, подлежали закрытию и присоединению к другим. Все эти теоретические предположения делались с целью, конечно, доброю, но обличали в авторах совершенное незнание с истинными потребностями прихода как русской церковной общины, которая по самому существу своему, как религиозное установление, не могла подчиниться бюрократической централизации. На деле из этой реформы вышло очень немного, но смута в православных умах была посеяна сильная.

В 1873 году Д.Ф. Самарин выпустил брошюру, озаглавленную: «Сокращение приходов и обеспечение духовенства».

«Почти четыре года прошло уже, — писал он в этой брошюре, — с тех пор как было обнародовано постановление Главного Присутствия от 16 апреля 1869 года о сокращении приходов и состоящих при них причтов. В это время уже все успели достаточно приглядеться к этой правительственной мере, так что теперь представляется возможность беспристрастно оценить ее. Большая часть духовных и светских журналов отнеслась с сочувствием к ней и старалась уяснить читателям своим всю благодетельность предприня-

той реформы. Однако в народе и обществе слагался на нее другой взгляд. На благочиннических съездах, составлявших предварительные соображения о том, как привести эту меру в исполнение, народ с удивлением узнал, что предполагается приступить к сокращению приходов и для этого закрыть некоторые церкви. На этих съездах произошло первое столкновение между официальными защитниками и проводниками этой меры (благочинными и духовенством) и прихожанами, отстаивавшими свои приходские храмы. Прения эти не только не убедили народ, а даже породили в нем всеобщее неудовольствие, так что “Правительственный вестник” счел нужным напечатать статью, имевшую целью успокоить встревоженное общественное мнение. Цель эта была достигнута. Официальная статья дала надежду, что мера эта или вовсе не будет приведена в исполнение, или коснется только таких церквей, которые можно будет закрыть, не нарушая ни нравственных, ни материальных интересов прихожан».

«К сожалению, — говорит Д.Ф. Самарин, — приходится разочароваться в этой надежде. Губернские присутствия по делам православного духовенства, как оказывается, намерены произвести и отчасти производят сокращения приходов в таких размерах, которые далеко оставляют за собой пределы, указанные в официальной статье».

Приводя эту справку, Д.Ф. Самарин указывает, что меры, проектированные присутствием о сокращении приходов и причтов, затрагивают, в сущности, один общий вопрос об организации прихода, а потому частный вопрос об обеспечении духовенства выделить из него и решить отдельно не представляется возможным. В самом деле, при закрытии прихода коренным вопросом является вопрос о том, как поступить с церковной землей и имуществом упраздняемой церкви? По законам, церковная земля при упразднении прихода не возвращается прихожанам, а передается той церкви, к которой приписывается упраздняемый приход. Точно так же поступает и с церковным имуществом. Для избежания такой несправедливости необходимо признать неотъемлемое

право собственности каждой отдельной приходской церкви на принадлежащее ей имущество.

Затем положение 16 апреля 1869 года допускало, что прихожане, имеющие желание сохранить свою приходскую церковь, должны сами найти средства на содержание ее и причта. Отсюда, по мнению Д. Ф. Самарина, возникал другой важный вопрос, а именно: о праве прихожан представлять своего кандидата во священники, ибо понятно, что приходу, самостоятельно обеспечивающему свое духовенство, такое неудобно навязывать со стороны.

Все эти неудержимо возникавшие вопросы возбуждали в обществе понятную тревогу. Предположенная мера сокращения приходов ставила духовенство в явно враждебные отношения к своей пастве и к своему собственному делу.

Далее Д. Ф. Самарин замечает, что хотя духовенство несомненно должно быть обеспечено материально, но не в ущерб удовлетворения религиозных потребностей народа. Закрывание приходов собственно в видах лучшего материального положения духовенства может вызвать самые нежелательные последствия вроде массового отпадения в раскол.

Исходя из принципа, что забота об обеспечении своего духовенства должна ложиться безраздельно на приход, Д.Ф. Самарин требовал, чтобы все церковное хозяйство и все поступающие суммы впредь до полной организации прихода как юридической личности были переданы в заведывание новоучрежденных приходских попечительств, которые и должны их расходовать как на церковь, так и на причты; духовно-учебные же заведения, по мнению автора брошюры, государство должно содержать за свой счет, уплачивая этим как бы долг Церкви за секуляризацию в прошлом веке церковных имуществ без достаточного за них вознаграждения.

В заключение Д. Ф. Самарин выставляет два основных своих положения: 1) о необходимости признания за приходом права представлять местному епископу кандидатов на должность священников и других членов причта и 2) о необходимости разрешения совершать дарственные, купчие и

иные акты на имя приходов и для этого признать приход за юридическое лицо.

Работы Д.Ф. Самарина над приходом на этом не кончились. Он продолжал проводить свою любимую идею дальше, уже в качестве губернского гласного Московского Земства.

<...>

*Ходатайство Московского Губернского Земства
о приходе. Резолюция Синода. И.С. Аксаков и Д.Ф. Самарин*

18 декабря 1880 года по докладу, выработанному Д. Ф. Самариным, состоялось весьма замечательное *единогласное* постановление Московского Губернского Земского Собрания, ходатайствовать перед правительством о том:

а) Чтобы приходы в смысле приходских обществ были признаны за юридические лица.

б) Чтобы было восстановлено древнее право приходов избирать людей честных и достойных в должность священников, настоятелей к церквам и представлять о том заручные прошения местному епископу.

в) Чтобы за приходом признано было право всякими законом дозволенными средствами приобретать и укреплять за собою имущества, как движимые, так и недвижимые.

г) Чтобы имущество каждой приходской церкви было признано за неотъемлемую ее собственность и чтобы оно находилось в заведывании местного приходского общества.

д) Чтобы в этом смысле дарована была организация приходским обществам, как сельским, так и городским, причем само собою разумеется, что к этим обществам не должны быть принудительно привлекаемы раскольники, живущие в приходе, хотя бы они официально в нем и числились.

Это постановление Московского Губернского Земства горячо приветствовал в «Руси» покойный И.С. Аксаков.

«Как благовест пронесется по Русской Земле постановление Московского Губернского Земского Собрания 18 декабря истекающего года. Во всей деятельности русских

земских учреждений, с самого их основания, не было до сих пор, сколько припомним, ни одного действия, равного по своему значению. Оно проникает в самую сердцевину духовно-общественной жизни народа. Оно свяжет земство нравственными узами с землею и поднимет его значение в народном мнении...»¹.

Статья эта почившим публицистом редактировалась и исправлялась совместно с самим автором ходатайства, Д.Ф. Самариным. Оба славянофила предвидели, что Московское ходатайство не встретит сочувствия ни в русской, в большинстве либеральной, печати, как огня боящейся «постного масла» и «клерикализма», ни в высших церковных сферах, двести лет пропитывавшихся бюрократическим духом. Поэтому И.С. Аксаков считал нужным обстоятельно разъяснить, что, с одной стороны, русскому народу и духовенству совершенно чужды всякие западные клерикальные поползновения, с другой — что усвоенная духовным начальством точка зрения, по которой духовенство является в своей области начальством, а паства подчиненными, не соответствует ни истинно церковному русскому историческому строю, ни канонам Церкви.

Затем И.С. Аксаков обращал особенное внимание на то, что Московское ходатайство умышленно оставляет за приходом лишь чисто церковные и благотворительные дела, не стремясь к совмещению в приходе других гражданских функций. Важно поначалу только восстановить истинно церковный строй, дать организацию приходской общине. Затем уже сама жизнь покажет, какие области сами собой перейдут в ведение прихода.

Ходатайство Московского земства было опротестовано губернатором, но Сенат указом от 14 февраля 1883 года протест этот отменил и предписал губернатору ходатайство представить в установленном порядке.

Св. Синод хотя ходатайство это и оставил без удовлетворения, но вместе с тем отнюдь не высказался против при-

¹ «Русь». 27 дек. 1880. № 7.

знания за приходами прав юридических лиц. Обсудив соображения Московского Губернского Земского Собрания, Св. Синод нашел, что нет достаточных оснований к предположенным собранием изменениям в устройстве приходов, но при этом высказал такие положения, который должны быть приняты в руководство на будущее время. Синод считает приход за особую церковно-общественную единицу и полагает, что признание за приходами и в гражданском отношении прав юридических лиц породило бы только право прихода укреплять за собою недвижимые имущества и ограждать их целостность на суде. В этом отношении Св. Синод считает более неизменной единицей церковь, нежели приход, и высказывается за укрепление недвижимых имуществ за церковью.

Но вместе с тем Св. Синод высказал существенное положение, что имущество каждой приходской церкви признается неотъемлемою ее собственностью, а относительно употребления и заведывания этим имуществом указал, что по особому Высочайшему повелению в духовном ведомстве составлен и на рассмотрении Св. Синода находится проект правил, которыми, между прочим, предположено отвести известную долю участия в заведывании доходами и расходами церкви и представителям от прихожан.

Что же касается до избрания приходами своих священников и церковнослужителей, Св. Синод пояснил, что *право* прихожан в смысле заявления ими епископу своего желания иметь преимущественно известное лицо своим духовным наставником или в смысле свидетельства о добрых качествах ищущего рукоположения лица, *не было отменяемо* и, как показывают восходящие в Св. Синод дела, нередко осуществляется и в настоящее время¹.

Я с особым вниманием остановился на деятельности Д.Ф. Самарина в деле восстановления прихода, потому что эта сторона его работ является как бы живым заветом по-

¹ Папков А.А. Церковно-общественные вопросы в царств. Царя-Освободителя. С. 175—176.

чившего нам, остающимся у дела. Двадцать лет прошло с достопамятного ходатайства Московского Земства, а вопрос о приходе все еще не решен и стоит перед нами в том самом виде, как перед Д.Ф. Самариным. Все высказанное им и 33 года, и 20 лет тому назад так же жизненно и свежо, как сказанное вчера. Вот что значит стоять на твердой исторической почве и говорить в истинно народном духе.

* * *

Не буду касаться других сторон деятельности покойного Д.Ф. Самарина и скажу лишь несколько слов о моем с ним знакомстве.

Оно началось как раз в это время, т. е. зимою 1880—1881 года, почему мне так и памятны и прекрасные речи Д.Ф. Самарина в Земском Собрании, и совещания его с И.С. Аксаковым и также покойным ныне протоиереем А.М. Иванцовым-Платоновым, которому, по общему согласию, тогда же поручена была своя часть работы о приходе, выразившаяся в ряде статей в той же «Руси»: «О мерах к восстановлению выборного духовенства в России». Д.Ф. Самарин неукоснительно каждую пятницу бывал на вечерних собраниях И.С. Аксакова, а кроме того приезжал иногда и по средам, чтобы прослушать передовую статью И.С. и сделать свои замечания. Иногда и мне приходилось возить свои статьи на прочтение Дм. Федоровичу, мнения которого высоко ценил редактор «Руси».

Помню, как, бывало, вооружившись карандашом, Д.Ф. начинал править мою статью.

— Ну к чему эти ваши излюбленные «словечки»? — замечал он, бывало, немилосердно истребляя разные мои молодые полемические выходки. — Или ваш оппонент порядочный человек — тогда вы должны говорить, относясь к нему с уважением, или он человек непорядочный, а с таким не стоит и разговаривать. Предоставьте «хлесткость» уличным газетчикам. Прочтите-ка вот эту фразу сами. Подумайте, могли ли бы вы ее прочесть вслух вашему оппоненту?

А писать нужно так, чтобы все вами написанное можно было всегда прочесть в лицо тому, кому возражаешь.

Легко себе представить мою теперешнюю признательность покойному, на которого, бывало, так горячо негодуешь.

Идеалом стиля Д.Ф. Самарин считал доказательность, стройность мысли и величайшую простоту.

— Чем спокойнее вы изложите факт или дадите вывод, тем больше он будет кричать. Выработывайте в себе спокойствие и беспристрастие и к этому приучайте читателя. Зато уж когда *такой* писатель не выдержит и бросит слово негодования, — это произведет впечатление.

И действительно, у самого Дм. Федоровича кричали факты и выводы и никогда не прорвалось ни одного резкого слова. От этого с ним и было так трудно спорить: он не подставлял противнику ни одного уязвимого места. Часто в том же роде Дмитрию Федоровичу приходилось воздействовать и на самого И.С. Аксакова.

Как сейчас помню сцену с ответной статьей покойного редактора «Руси» на данное ему гр. Д.А. Толстым первое предостережение. Совершенно позабыв, что по закону в том номере издания, где напечатано предостережение, никакие возражения и объяснения не допускаются, Иван Сергеевич написал гневную и страстную статью, которая могла бы считаться шедевром публицистики.

Я пришел утром, и как раз через несколько минут явился взволнованный Дмитрий Федорович, только что прочитавший в газете телеграмму о предостережении.

— Ну, конечно, у вас уже и ответ готов? — были первые слова Дмитрия Федоровича.

— Да, и я вам его хочу показать.

— Но надеюсь, вы его печатать сейчас не будете?

— Как? Почему?

— Да потому, что этого нельзя по закону. Вы можете это сделать только в следующем номере.

Аксаков бросился к цензурному уставу и без труда нашел соответствующую статью.

— Видите? И это в сущности хорошо, потому что хоть я и не читал вот эту вашу статью, но знаю наперед, что за нее «Русь» сейчас же запретят. Ну а этого торжества *им* давать пока вовсе не нужно.

— Это следовало предвидеть, — сказал спокойно Д.Ф. Самарин. — Теперь наступает *их* время. Место свободно, и ничьего негодующего протеста более не раздастся. Будем переживать и ждать.

ПРИМЕЧАНИЯ

Прижизненные издания сочинений С.Ф. Шарапова впервые, как правило, печатались в периодических изданиях «Русское дело», «Русский труд», «Русское обозрение», «Свидетель» и мн. др.

В 2005 г. О.А. Платоновым впервые после 1917 г. был издан сборник трудов С.Ф. Шарапова по экономическим и социальным вопросам¹.

Несколько ранее в Библиотечке журнала «Новая книга» была переиздана «политическая фантазия» «Диктатор»². В настоящее издание включены работы, дающие целостное представление о вкладе С.Ф. Шарапова в понимание основ самодержавия, самоуправления, русской экономической и народной жизни.

Орфография изменена в согласии с современными правилами написания. Цитаты и постраничные ссылки автора оставлены без изменений.

РУССКАЯ ИДЕОЛОГИЯ

Самодержавие и самоуправление

Впервые: Русское дело. — 1888. — № 49.

¹ *Шарапов С.Ф.* После победы славянофилов. Под ред. и с предисл. О.А. Платонова. — М.: Алгоритм, 2005. — 623 с.

² *Шарапов С.Ф.* Диктатор. Политическая фантазия. — М., «Бобок» — журнал «Новая книга», 1998. — 112 с.

Публикуется по: Шарапов С.Ф. Самодержавие и самоуправление // Теория государства у славянофилов. Сб. статей. — СПб.: Тип. А.А. Пороховщикова, 1898. — С. 88—94 (Особое приложение к «Русскому труду». 1898).

РУССКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Бумажный рубль (Его теория и практика)

Публикуется по первому отдельному изданию: Талицкий (Сергей Шарапов). Бумажный рубль (Его теория и практика). — СПб.: Тип. «Общественная польза», 1895. — VII, 156. (В сокращении: От автора. Часть I // С. I—VII, 1—102).

Иностранные капиталы и наша финансовая политика (Речь, произнесенная 20 февраля 1899 г. на первом земледельческом обеде в С.-Петербурге)

Публикуется по изданию: Сергей Шарапов. Сочинения. Кн. третья. — СПб.: Тип. А.А. Пороховщикова, 1899. — С. 20—43.

Финансовое возрождение России (Доклад, прочитанный в заседании Русского Собрания в Петербурге 9 марта 1908 г.)

Публикуется по изданию: Шарапов С.Ф. Финансовое возрождение России. — М.: Свидетель, 1908.

РОССИЯ И СОЦИАЛИЗМ

Марксизм и русская экономическая мысль

(Речь в собрании экономистов,
произнесенная 5 февраля 1899 г.)

Публикуется (в сокр.) по изданию: Сергей Шарапов. Сочинения. Кн. третья. — СПб.: Тип. А.А. Пороховщикова, 1899. — С. 44—86.

Социализм как религия ненависти

Публикуется по первому изданию: Шарапов С.Ф. Социализм как религия ненависти. — М.: Тов. типо-лит. И.М. Машистова, 1907. — 16 с.

Еврейский вопрос

Публикуется по: Еврейский вопрос // Русский труд. — № 20, 15 мая 1899. — С. 1—3.

РОССИЯ БУДУЩЕГО

Через полвека

(Фантастический политико-социальный роман)

Публикуется по первому изданию: Шарапов С.Ф. Через полвека: Фантастический политико-социальный роман // Шарапов С.Ф. Сочинения. Т. VIII. — М.: Типо-литогр. А.В. Васильева и К°, 1902. — С. 1—80.

Диктатор

(Политическая фантазия)

Публикуется по первому изданию: Лев Семенов. Диктатор. Политическая фантазия. — М.: Тип. газ. «Русская земля», 1907.

Иванов 16-й и Соколов 18-й

(Политическая фантазия.
Продолжение «Диктатора»)

Публикуется по первому изданию: Лев Семенов. Иванов 16-й и Соколов 18-й. Политическая фантазия (Продолжение «Диктатора»). — М.: Тип. газ. «Русская земля», 1907.

У очага хищений

(Политическая фантазия.
Продолжение «Диктатора»)

Публикуется по первому изданию: Лев Семенов. У очага хищений. Политическая фантазия. Продолжение «Диктатора». — М.: Тов. типо-лит. И.М. Машистова, 1907.

Кабинет диктатора

(Политическая фантазия.
Завершение «Диктатора»)

Публикуется по первому изданию: Лев Семенов. Кабинет Диктатора. Политическая фантазия. 3-е продолжение «Диктатора». — М.: Тов. типо-лит. И.М. Машистова, 1908.

ПУБЛИЦИСТИКА

(Открытое письмо

**редактору «Русского труда»
епископа Чебоксарского Антония
(Храповицкого) и наш ответ)**

Публикуется по изданию: Сергей Шарапов. Сочинения. Кн. третья. — СПб.: Тип. А.А. Пороховщикова, 1899. — С. 89—100.

Молодежь прежде и теперь

Публикуется по изданию: Мой дневник // Сочинения Сергея Шарапова. Т. 1. Вып. 1. — М.: Типо-литогр. А.В. Васильева и К°, 1902. — С. 31—39.

Гоголевские дни¹

Публикуется по единственному изданию: Ухабы // Сочинения Сергея Шарапова. — Т. 5. — Вып. 16. — М.: Типо-литогр. А.В. Васильева и К°, 1902. — С. 69—84.

ПАМЯТИ РУССКИХ ВОЖДЕЙ

Памяти И.С. Аксакова

(Речь, произнесенная в торжественном
заседании Санкт-Петербургского Славянского
благотворительного общества 10 февраля 1896 г.)

Публикуется по изданию: Сергей Шарапов. Сочинения. Кн. третья. — СПб.: Тип. А.А. Пороховщикова, 1899. — С. 3—19.

Неопознанный гений:

Памяти Н.П. Гилярова-Платонова

(† 13 октября 1887 года)

Публикуется по изданию: Сочинения Сергея Шарапова. Т. VIII. — М.: Типо-литогр. А.В. Васильева и К°, 1902. — С. 83—85.

¹ Общее название сокращено составителем.

I. Над свежей могилой Н.П. Гилярова

(Моя речь при его погребении)

Впервые опубликовано: «Русское дело». — 1887. — № 12—13.

Публикуется по изданию: Сочинения Сергея Шарапова. Т. VIII. — М.: Типо-литогр. А.В. Васильева и К°, 1902. — С. 85—87.

II. В годовщину кончины Н.П. Гилярова

(Моя передовая статья

из № 41 «Русского дела» 1888 г.)

Впервые опубликовано: «Русское дело». — 1888. — № 41.

Публикуется по изданию: Сочинения Сергея Шарапова. Т. VIII. — М.: Типо-литогр. А.В. Васильева и К°, 1902. — С. 92—103.

А.М. Гальперсон, сотрудница Н.П. Гилярова

Публикуется по изданию: Сочинения Сергея Шарапова. Т. VIII. — М.: Типо-литогр. А. В. Васильева и К°, 1902. — С. 176—179.

Кончина Д.Ф. Самарина¹.

Его работы. Борьба за приход

Публикуется по единственному изданию: Метели // Сочинения Сергея Шарапова. — Т. 5. — Вып. 15. — М.: Типо-литогр. А.В. Васильева и К°, 1902. — С. 50—62.

¹ Общее название сокращено составителем.

ИМЕННОЙ СЛОВАРЬ

Аксаков Иван Сергеевич (1823—1886) — публицист, поэт, общественный деятель, славянофил, младший сын С.Т. Аксакова, младший брат Константина Аксакова, зять Ф.И. Тютчева — 5, 10, 13—18, 31, 578—579, 582—583, 586, 600, 626—644, 662, 671, 678—679, 681—682, 689, 691, 695.

Аксаков Константин Сергеевич (1817—1860) — филолог, публицист, историк, поэт, видный деятель славянофильства — 15, 628, 650, 663.

Аксаков Николай Петрович (1848—1909) — богослов, философ, историк, публицист, автор художественных произведений, литературный критик. Дальний родственник С. Т., К. С. и И. С. Аксаковых — 26, 34, 432, 588.

Аладьин Алексей Федорович (1873—1927) — депутат Государственной Думы Российской Империи первого созыва. В Думе выступил одним из инициаторов и организаторов «Трудовой группы» и являлся одним из ее популярных ораторов — 274, 279.

Александр I Павлович (Благословенный) (1777—1825) — император Всероссийский с 1801 по 1825. Из династии Романовых — 19, 115, 631.

Александр II Николаевич (1818—1881) — император Всероссийский, царь Польский и Великий князь Финляндский (1855—1881) из династии Романовых. Вошел в русскую историю как проводник широкомасштабных реформ. Удостоен особого эпитета в русской дореволюционной историографии — Освободитель (в связи с отменой крепостного права по

Манифесту 19 февраля 1861). Погиб в результате террористического акта, организованного партией «Народная воля» — 9, 19, 86, 550, 598, 601, 606, 618, 624, 628, 631.

Александр III Александрович (1845—1894) — император Всероссийский, царь Польский и Великий князь Финляндский с 1 (14) марта 1881. Из династии Романовых. Удостоен особого эпитета в дореволюционной историографии — Миротворец — 378, 498, 501, 510.

Александров Анатолий Александрович (1861—1930) — журналист, поэт, редактор и издатель «Русского обозрения» (1892—1898) — 17.

Алексей Михайлович Тишайший (1629—1676) — второй царь (1629—1676) из династии Романовых, сын Михаила Федоровича и его второй жены Евдокии. В его правление был принят Судебник (Соборное Уложение) (1649), произошло воссоединение Малороссии с Россией (1654) — 631.

Алексинский Григорий Алексеевич (1879—?) — член II Государственной думы, наиболее популярный оратор большевистского крыла думской социал-демократической фракции — 274, 279, 389, 475 .

Алчевский Алексей Кириллович (1835—1901) — предприниматель, промышленник, меценат, создатель первого в России акционерного ипотечного банка и финансово-промышленной группы — 219.

Альвардт (Ahlwardt) Герман (1846—1914) — германский педагог и политический деятель — 62.

Антоний (Храповицкий Алексей Павлович) (1863—1936) — митрополит, богослов — 386, 577, 579—589, 687.

Бартенев Юрий Петрович (1866—1908) — публицист, издатель, активный деятель монархических организаций, сын П.И. Бартенева, крестник И.С. Аксакова — 534.

Безобразов Владимир Павлович (1828—1889) — экономист, академик (1867). Автор работ по вопросам кредита и финансов — 120.

Беллами (Bellamy) Эдуард (1850—1898) — американский писатель. По образованию юрист — 144, 307—308.

Бельгард Алексей Валерианович (1861—1942) — юрист, губернатор в Эстляндской губернии (1902—1905) и начальник Главного управления по делам печати (1905—1912) — 409, 411, 413, 557.

Берви-Флеровский Василий Васильевич (наст. имя Вильгельм Вильгельмович Берви, псевдоним Н. Флеровский) (1829—1918) — социолог, публицист, экономист и беллетрист, идеолог народничества, видный участник общественного движения 1860—1890-х годов — 7.

Бисмарк-Шенхаузен (Bismarck-Schönhausen) Отто Эдуард Леопольд фон (1815—1898) — князь, политик, государственный деятель, первый канцлер Германской империи (с 1871) — 277, 643.

Блейхрöder (Bleichroder) Герсон (1822—1893) — один из крупнейших банкиров Германии — 62, 71, 184.

Бобринский Алексей Александрович (1852—1927) — государственный и общественный деятель, создатель умеренно-правой организации «Отечественный союз» — 446—449.

Бокль (Buckle) Генри Томас (1821—1862) — английский историк, социолог-позитивист — 591.

Брокер Генрих (Андрей) Афанасьевич (1836—1900) — предприниматель, коллекционер. Из семьи французского парфюмера — 188.

Брэм Альфред (1828 —1884) — естествоиспытатель, натуралист — 7, 591.

Булгаков Сергей Николаевич (1871—1944) — экономист, философ, теолог, священник — 243—244.

Бунге (Bunge) Николай Христианович фон (1823—1895) — экономист, профессор (с 1850), ректор (1859—1862; 1871—1875; 1878—1880) Киевского университета, академик, министр финансов Российской Империи (1881—1886), председатель Комитета министров (1887—1895) — 78, 203, 293, 490.

Бутми де Кацман Георгий Васильевич (1856—1917) — экономист, публицист, общественный деятель, был близок к С.Ф. Шарапову. Как экономист, активно выступал против фи-

нансовой политики С.Ю. Витте, сторонник введения биметаллизма. Участник монархического движения — 23, 206, 235.

Бюхнер (Büchner) Людвиг (1824—1899) — немецкий врач, естествоиспытатель, философ-материалист — 590.

Вагнер (Wagner) Адольф (1835—1917) — немецкий экономист и политический деятель — 57—58.

Васильев Афанасий Васильевич (1851—1929) — государственный и общественный деятель, публицист неославянофильского направления, член-учредитель и член Совета Русского Собрания (РС). Умер в эмиграции — 25, 531, 549—553, 585, 589.

Васильчиков Борис Александрович (1860—1931) — князь, русский государственный деятель, предприниматель. С 1906 — председатель Российского общества Красного Креста (РОКК). В 1906—1908 был главноуправляющим землеустройством и земледелием в кабинете П.А. Столыпина. Активно проводил столыпинскую аграрную реформу — 399, 402.

Верн (Verne) Жюль Габриэль (1828—1905) — французский географ и писатель, один из зачинателей научной фантастики — 6, 307, 591.

Витте Сергей Юльевич (1849—1915) — граф, государственный деятель; в 1892—1903 — министр финансов, с 1903 по 1906 — председатель Комитета министров. Подписал со стороны России Портсмутский мирный договор. За успешное проведение переговоров с японцами был пожалован титулом графа. Именно Витте правые с полным основанием считали виновником «злосчастного» Манифеста 17 октября 1905 г. и последующего государственного нестроения — 24—25, 27—30, 202—203, 206, 236, 291, 394—395, 404, 408—411, 443, 445, 448, 456, 461, 487—495, 507, 549—552, 559, 562.

Восторгов Иоанн Иванович (1864—1918) — новомученик, протоиерей, проповедник, церковный писатель, миссионер, деятель монархического движения — 534, 570—571.

Вундт (Wundt) Вильгельм (1832—1920) — немецкий психолог, физиолог, философ — 591.

Вышнеградский Иван Алексеевич (1831/1832—1895) — специалист в области механики, государственный деятель. Основоположник теории автоматического регулирования, почетный член Петербургской АН (1888), в 1888—1892 — министр финансов России — 20, 191, 198, 492.

Вышнеградский Александр Иванович (1867—1925) — сын И.А. Вышнеградского, предприниматель. Служил в Министерстве финансов, председатель и член правлений ряда крупных металлургических, машиностроительных, военных, нефтяных предприятий, банков — 492.

Гейден Петр Александрович (1840—1907) — граф, тайный советник (1890), видный российский судебный общественный и политический деятель, член I Государственной думы — 278.

Герцеништейн Михаил Яковлевич (1859—1906) — экономист, политический деятель. Член I Государственной думы (от партии кадетов) — 562.

Гиляров-Платонов Никита Петрович (1824—1887) — писатель, публицист, цензор, редактор газеты «Современные известия» (с 1867 по 1887), а в 1883—1884 гг. — еженедельного иллюстрированного журнала «Радуга». Был близок к славянофилам — 14, 17, 107, 247—267, 583, 645—655, 666—670, 688—689.

Горемыкин Иван Логгинович (1839—1917) — государственный деятель, министр внутренних дел в 1895—1899. 1905 — Председатель Особого совещания о мерах по укреплению крестьянского землевладения. Председатель Совета министров Российской империи в 1906 и в 1914—1916 — 474.

Грингмут Владимир Андреевич (1851—1907) — педагог, публицист, редактор газеты «Московские ведомости», один из лидеров правомонархического движения, организатор и руководитель Русской Монархической Партии — 321—322, 534, 572.

Губонин Петр Ионович (1825—1894) — строитель железных дорог, промышленник и меценат — 219.

Гумбольдт (Humboldt) Александр фон (1769—1859) — естествоиспытатель, географ и путешественник. Член Берлин-

ской АН (1800), почетный член Петербургской АН (1818) — 6, 591.

Гурьев Александр Николаевич (1864 — после 1910) — экономист. В министерстве финансов занимал должность сначала ученого секретаря, затем члена ученого комитета — 137, 171, 514.

Гус (Hus) Ян (ок. 1369—1415) — проповедник, философ, реформатор и борец за права чешского народа. Римско-католическая церковь назвала его учение еретическим, и Гус был заживо сожжен. Казнь Гуса положила начало гуситским войнам — 550.

Гучков Александр Иванович (1862—1936) — политический деятель, лидер партии «Союз 17 октября». Председатель III Государственной думы (1910—1911) — 403.

Гюго Виктор Мари (1802—1885) — французский писатель — 12, 609—610.

Давыдов Л.Ф. — финансист, камергер, вице-директор Кредитной Канцелярии Министерства финансов — 493—494.

Данилевский Николай Яковлевич (1822—1895) — выдающийся русский мыслитель, ученый-естествоиспытатель, публицист — 95, 107.

Даниэльсон Я.Р. — профессор Гельсингфорского университета, политический деятель — 241—242.

Данте Алигьери (1265—1321) — знаменитый итальянский поэт — 11.

Дарвин (Darwin) Чарлз Роберт (1809—1882) — английский естествоиспытатель, основоположник эволюционного учения о происхождении видов животных и растений путем естественного отбора — 246.

Диккенс (Dickens) Чарлз (1812—1870) — известный английский писатель — 6, 591.

Дубровин Александр Иванович (1855—1921) — детский врач, статский советник, один из вождей «Черной сотни», организатор и руководитель Союза Русского Народа. Расстрелян ЧК — 571—572.

Дурново Николай Николаевич (1876—1936) — филолог-славист — 572.

Евлогий (Георгиевский Василий Семенович) (1868—1946) — митрополит (1922) — 423.

Ермолов Алексей Сергеевич (1846—1917) — государственный деятель. С 1894 по 1905 министр земледелия и государственных имуществ. Член Государственного Совета (с 1905) — 22, 28, 189, 478.

Жилкин Иван Васильевич (1874—?) — политический деятель, публицист, депутат Государственной думы первого созыва, где выступил одним из организаторов «Трудовой группы» — 274, 279.

Жуковский Юлий Галактионович (1833—1907) — литератор, экономист. Управляющий Государственным Банком России (1889—1894), сенатор — 20.

Зубов П.П. — васьковский предводитель дворянства Нижегородской губернии — 160.

Зурабов Аршак Герасимович (1873—1919) — депутат II Государственной думы от Тифлисской социал-демократической организации — 274, 389, 475.

Ивановский Николай Иванович (1840—1913) — профессор кафедры расколоведения Казанской Духовной Академии — 588.

Иванцов-Платонов Александр Михайлович (1835—1894) — протоиерей, богослов и проповедник, церковный историк — 586, 681.

Иловайский Дмитрий Иванович (1831—1920) — историк, публицист — 540.

Канкрин Егор Францевич (Георг Людвиг) (1774—1845) — граф, государственный деятель, генерал от инфантерии, министр финансов России в 1823—1844 — 66, 77, 79, 123—125, 139, 190, 469.

Карнеджи (Carnegie) Анджо (1835—1919) — североамериканский промышленник, миллиардер и филантроп — 403.

Касаткин-Ростовский Николай Федорович (1848—1908) — князь, курский губернский предводитель дворянства,

один из инициаторов создания Курской Народной Партии Порядка (КНПП), почетный председатель Курского губернского отдела Союза Русского Народа (СРН), член правой группы Государственного Совета — 446—450.

Катков Михаил Никифорович (1818—1887) — публицист, издатель журнала «Русский вестник» и газеты «Московские ведомости». Преподавал в Московском университете в 1840—1850-х годах психологию, логику и историю философии. В 1850 г. в связи с тем, что преподавать философию стали профессора богословия, имеющие духовный сан, вынужден был оставить кафедру и не защитил диссертации на степень доктора философии. Полемические статьи Каткова создали ему репутацию «властителя дум» русского общества 1860—1880-х годов и обусловили его реальное политическое влияние — 412, 501, 605, 634, 647—650, 659.

Каутский (Kautsky) Карл (1854—1938) — один из лидеров и теоретиков германской социал-демократии и 2-го Интернационала — 274.

Кауфман Илларион Игнатьевич (1848—1915) — российский ученый, экономист. Автор научных трудов по истории финансов в России — 71, 397, 399.

Киреев Александр Алексеевич (1838—1910) — писатель, генерал от кавалерии, военный и общественный деятель, публицист славянофильского направления — 432, 588.

Киреевский Иван Васильевич (1806—1856) — религиозный мыслитель, критик, один из основоположников истинного славянофильства — 53.

Кноп (Кноор) — русский баронский род. Основатель торгового дома Кнопов, 1-й гильдии купец Лев Герасимович (Иоганн Людвиг) (1821—1894) приехал в Москву 18-летним юношей в качестве представителя английской торговой компании «Де Джерси» — 187, 190.

Коковцев Владимир Николаевич (1853—1943) — граф, товарищ министра финансов (1896—1902). В 1904—1914 — министр финансов России (с перерывом 1905—1906). Одновременно в 1911—1914 занимал пост председателя Совета ми-

нистров. Член Государственного Совета — 201, 203, 392—395, 431, 445, 461, 466, 475, 490, 494, 496.

Кокорев Василий Александрович (1817—1889) — предприниматель, экономист, сторонник сохранения и развития самобытных начал русской экономики. Одним из первых русских предпринимателей вложил большие капиталы в развитие нефтяного дела. В своих работах показал губительность для России механического заимствования западноевропейских финансовых и хозяйственных форм — 107, 219.

Кольбер (Colbert) Жан-Батист (1619—1683) — знаменитый французский государственный деятель — 66, 236, 550.

Конт (Comte) Исидор Мари Огюст Франсуа Ксавье (1798 —1857) — французский философ и социолог. Основоположник позитивизма и социологии как самостоятельной науки — 8, 593.

Кошелев Александр Иванович (1806—1883) — известный славянофил, публицист, журналист, общественный деятель, принимал самое активное участие в издании журнала «Русская беседа», являясь одним из его учредителей — 532.

Кузнецов Николай Дмитриевич (1863—1936) — юрист, адвокат, специалист в области канонического права, церковный правозащитник. Кузнецов также считался сторонником церковных реформ, ее преобразования на соборной основе, активного участия мирян в ее жизни и управлении. Активный участник Поместного Собора (1917—1918) — 432.

Купер (Cooper) Джеймс Фенимор (1789—1851) — американский романист — 6, 591.

Ламанский Евгений Иванович (1825—1902) — русский государственный деятель и финансист. Когда в 1860 г. был учрежден Государственный Банк, Ламанский был назначен товарищем (заместителем) управляющего, а затем — управляющим банком. Председатель правления Русского для внешней торговли банка (1871—1874), председатель совета Волжско-Камского коммерческого банка (1875—1901) — 134, 490.

Лассаль (Lassal) Фердинанд (1825—1864) — философ, юрист, деятель немецкого рабочего движения, социалист — 8, 593.

Лауниц Владимир Фердинандович фон дер (1855—1906) — государственный деятель, генерал-майор, в 1906 — петербургский градоначальник — 517.

Леонтьев Константин Николаевич (1831—1891) — выдающийся русский мыслитель, писатель, публицист, дипломат — 6, 9, 12, 14, 17—21.

Леруа-Болье (Leroy-Beaulieu) Анатоль (1842—1912) — французский публицист, профессор истории. С 1872 по 1881 г. совершил четыре путешествия в Россию, результаты которых изложил в книге «L'Empire des Tsars et les Russes» (Пар., 1881—1889). Это всестороннее исследование о государственном и общественном строе России, наиболее обстоятельное в западноевропейской литературе — 443.

Лессепс (Lesseps) Фердинанд Мари де (1805—1894) — французский дипломат, предприниматель, инженер, автор проекта и руководитель строительства Суэцкого канала — 147.

Лист (List) Даниель Фридрих (1789—1846) — немецкий экономист, политик и публицист — 58, 60.

Ло (Law) Джон (1671—1729) — шотландский финансист, создатель так называемой системы Ло, которая была основана на выпуске в обращение необеспеченных бумажных денег. Министр финансов Франции (1720) — 58, 64—65, 172.

Лорис-Меликов Михаил Таризлович (1825—1888) — государственный деятель, администратор, генерал от кавалерии (1875), граф (1878), член Государственного Совета — 632.

Людовик XIV (1638—1715) — французский король (с 1643) из династии Бурбонов. Его правление — апогей французского абсолютизма (легенда приписывает Людовику XIV изречение: «Государство — это я») — 141.

Мак-Кинлей (Mac-Kinley) Вильям (1843—1901) — американский политический деятель, член конгресса, республиканец, крайний протекционист, сторонник золотого монометаллизма, в 1890 провел названный по его имени крайне

протекционистский тарифный билль. В 1897—1901 президент Соединенных Штатов, убит анархистом — 455.

Маклеод (Macleod) Генри Деннинг (1821—1902) — английский экономист, юрист, выступал против классической системы Адама Смита и Риккардо — 67.

Малешевский Болеслав Фомич (1849—1912) — математик. С 1894 занимал должность директора особенной канцелярии по кредитной части Министерства финансов — 494.

Мальтус (Malthus) Томас-Роберт (1766—1834) — английский экономист, сначала священник, потом профессор истории и политической экономии. В своем сочинении «Опыт о народонаселении» Мальтус доказывал, что народонаселение возрастает в геометрической прогрессии, а средства существования — в арифметической («закон Мальтуса»); отсюда он выводил тщетность государственной помощи бедным и социальных преобразований — 127.

Мальцов Сергей Иванович (искаж. *Мальцев*) (1810—1893) — промышленник, кавалергард, генерал-майор в отставке, почетный член Общества содействия русской торговли и промышленности. Выдающийся представитель дворянского и промышленного рода Мальцовых — 193 219.

Маркс Карл (1818—1883) — экономист, философ, публицист, деятель революционного движения, автор «Манифеста коммунистической партии», «Капитала» (не закончен) и др. сочинений, организатор I Интернационала — первой международной террористической организации — 8, 241—244, 247, 249—256, 274, 277, 593, 598, 686.

Масэ Джон (1815—1894) — французский писатель, автор многочисленных популярно-научных книг для юношества и детского возраста — 6, 591.

Мещерский Владимир Петрович (1839—1914) — князь, публицист, писатель, издатель газеты «Гражданин» и т. д. — 495—496.

Миклашевский Александр Николаевич (1864 —1911) — русский экономист — 22, 443.

Милль (Mill) Джон Стюарт (1806—1873) — английский философ-позитивист, экономист, общественный деятель — 8, 591, 593, 602.

Милюков Павел Николаевич (1859—1943) — историк, публицист, теоретик и лидер партии кадетов. В 1917 — министр иностранных дел Временного правительства 1-го состава (до 2(15) мая) — 418, 421, 475.

Мопассан (Maupassant) Ги де (1850—1893) — французский писатель, автор многих рассказов, романов и повестей — 395.

Морозов Савва Тимофеевич (1862—1905) — предприниматель, меценат. Из рода предпринимателей Морозовых — 403.

Некрасов Николай Алексеевич (1821—1877) — поэт — 7, 265, 591, 609.

Николай I Павлович (1796—1855) — Всероссийский император (с 1825 г.), третий сын Императора Павла I — 211, 232, 235, 463, 468—469 606, 610, 619, 622.

Николай II Александрович (1868—1918) — причислен к лику святых, последний император Всероссийский, царь Польский и Великий князь Финляндский (1894 — 2 марта 1917) — 359.

Озеров Иван Христофорович (1869—1942) — экономист. С 1909 — выборный член Государственного Совета от Академии наук и университетов — 443.

Ознобишин Владимир Нилович (1855—?) — общественный и государственный деятель, монархист, саратовский губернский предводитель дворянства (1905—1917), член Государственного Совета по выборам от дворянских обществ (правая группа) (1911—1912) — 446—447, 449.

Ознобишин Николай Нилович (?—1912) — один из основателей Союза Русского Народа (СРН), почетный и действительный председатель Московского губ. отдела СРН, член Русского Монархического Собрания. Брат В. Н. Ознобишина — 534, 572.

Озоль Иван Петрович (1878—?) — коммерсант, депутат II Думы от меньшевиков Риги. Эмигрировал в Америку, редактировал там латышскую газету «Страдник» — 389.

Оль Павел Васильевич (нач. 1860-х — после 1925?) — экономист, публицист, общественный деятель, один из крупнейших в России рубежа XIX—XX вв. специалистов по вопросам промышленности (особенно топливно-энергетического комплекса), статистики и финансов — 23, 25, 191, 193, 195, 197, 235.

Островский Михаил Николаевич (1827—1901) — С 1878 член Государственного Совета. С 1881 по 1893 — министр государственных имуществ, брат драматурга А. Н. Островского — 13, 660.

Павлов Николай Алексеевич (?—1931) — видный правый общественный деятель и публицист, один из лидеров Объединенного Дворянства (ОД) — 473—478, 486—490, 494—499, 512—513, 520, 552.

Папков Александр Александрович (1868—1920) — с 1900-х годов — губернатор Тавастгусской губернии в Финляндии, член Собора 1917 г. как член Предсоборного совета. Автор исследований о церковных братствах и древнерусских приходах — 432, 436, 531, 535, 537, 539—540, 548, 562, 673, 680.

Писарев Дмитрий Иванович (1840—1868) — публицист, литературный критик, революционный демократ — 7—8, 591—592, 606.

Писемский Алексей Феофилактович (1821—1881) — писатель — 7, 591.

Плеске Эдуард Дмитриевич (1852—1904) — в 1894 был назначен Управляющим Государственным Банком. В 1903 уволен с должности управляющего в связи с назначением на должность министра финансов. Этот пост занимал до 1904, когда он был назначен членом Государственного Совета — 494.

Победоносцев Константин Петрович (1827—1907) — выдающийся мыслитель и государственный деятель, обер-прокурор Святейшего Синода (1880—1905) — 506, 535, 584, 644, 648, 669.

Погодин Михаил Петрович (1800—1875) — историк, писатель, публицист, профессор Московского университета, академик (1841). В 1841—1856 вместе с С. П. Шевыревым издавал журнал «Москвитянин». С 1830-х начал собирать письменные и вещественные памятники русской истории, составившие обширную и весьма ценную коллекцию, т. н. Древлехранилище, большая часть которого в 1850-х была приобретена петербургской Публичной библиотекой — 647.

Помяловский Николай Герасимович (1835—1863) — писатель — 7, 591.

Порфирий (Успенский Константин Александрович) (1804—1885) — епископ, богослов, востоковед, византолог, путешественник, переводчик — 584, 587, 615.

Поляков Лазарь Соломонович (1842—1914) — основатель в Москве банкирского дома, тайный советник, общественный деятель — 149.

Постников Владимир Ефимович (1844—1908) — экономист-статистик. Служил в Министерстве земледелия и государственных имуществ по устройству казенных земель — 443.

Прохоров Владимир Алексеевич (псевд. *Риваль*) (1858 или 1859 — 1897) — прозаик, драматург — 603, 606.

Прудон (Proudhon) Пьер Жозеф (1809—1865) — французский публицист, экономист, социолог, один из основоположников анархизма — 63, 246.

Путилов Алексей Иванович (1866—1929) — промышленник и финансист. С 1902 г. — директор общей канцелярии Министерства финансов. В октябре 1905, после назначения С.Ю. Витте председателем Совета министров, назначен товарищем министра финансов И.П. Шипова (с 28 октября 1905 г. по 24 апреля 1906 г.) и управляющим Дворянским и Крестьянским банками. После ухода Витте в отставку Путилов также вышел в отставку и перешел на частную службу Путилов стал миллионером, одним из ведущих финансистов и промышленников в стране — 493.

Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870—1920) — политический и общественный деятель, один из лидеров правомонархического движения — 423, 571—572.

Рамишвили Исидор Иванович (1859—1937) — один из руководителей грузинских меньшевиков. Депутат I Государственной думы — 274.

Рафалович Артур Германович (1835—?) — экономист, с 1894 состоял коммерческим агентом Министерства финансов в Париже, директор парижского отделения Русско-Азиатского банка — 444.

Редигер Александр Федорович (1853—1920) — генерал, участник Русско-турецкой войны 1877—1878, член Государственного Совета; с июня 1905 по март 1909 занимал пост военного министра Российской Империи — 413, 522.

Рейнбот А. Е. — экономист, финансист, управляющий Пермской казенной палатой — 22, 521, 533—534.

Рейтерн Михаил Христофорович (1820—1890) — граф, государственный деятель, министр финансов (1862—1878) — 203.

Решетников Федор Михайлович (1841—1871) — писатель — 7, 591.

Рид (Reid) Томас Майн (1818—1883) — английский писатель — 6, 591.

Рикардо (Ricardo) Давид (1772—1823) — английский экономист — 57, 254.

Родбертус-Ягецов (Rodbertus-Jagetzow) Карл Иоганн (1805—1875) — немецкий экономист, один из основоположников теории «государственного социализма», выразитель интересов обуржуазившегося прусского дворянства — 64, 75, 168, 170.

Розанов Василий Васильевич (1856—1919) — религиозный философ, литературный критик, публицист — 21, 26, 36, 270, 601.

Рокфеллеры (Rockefeller) — одна из крупнейших финансово-промышленных групп США. Основой ее могущества послужил нефтяной бизнес. В 1870 Джоном Д. Рок-

феллером-старшим (1839—1937) была создана компания «Стандард ойл» — 403.

Романов (псевд. Рцы) Иван Федорович (1861—1913) — писатель, публицист консервативного направления — 26, 646, 650—651.

Ротшильды (Rothschild) — династия финансовых магнатов, начало которой положил банкир Майер Амшель Р. из Франкфурта-на-Майне, обогатившийся в XVIII в. на военных поставках и финансовых спекуляциях — 24, 54, 60, 62, 70, 134, 142, 149—150, 154, 156, 163, 184, 192, 337.

Ротштейн Адольф (1857—?) — директор Санкт-Петербургского международного коммерческого банка (1889—1904) — 192, 301, 493.

Рошер (Röscher) Вильгельм Георг Фридрих (1817—1894) — немецкий экономист, один из видных представителей исторической школы в политэкономии. Задачами экономической теории, по Рошеру, являются выяснение экономической жизни и потребностей народа, законов, служащих удовлетворению этих потребностей — 88, 246.

Рябушинские — династия российских предпринимателей. Основателями династии стали калужские крестьяне — старообрядцы братья Василий Михайлович и Павел Михайлович, открывшие в 1830-х годах несколько текстильных фабрик — 496, 505.

Саблер (Десятовский) Владимир Карлович (1847—1929) — юрист, обер-прокурор Святейшего Синода (2 мая 1911 — 4 июля 1915) — 475, 506, 535.

Самарин Дмитрий Федорович (1827—1901) — публицист, славянофил, младший брат Ю.Ф. Самарина и издатель его сочинений — 671—683, 689.

Самарин Федор Дмитриевич (1858—1916) — общественный, государственный и церковный деятель славянофильского направления, надворный советник. Предводитель дворянства Богородского уезда (1884—1891), гласный Московской губернской земской управы (до 1903), выборный член Государственного Совета (1907—1908), член «Московского кружка ищущих

духовного просвещения». Сын Д.Ф. Самарина, племянник Ю.Ф. Самарина — 432, 540, 563—567.

Самарин Юрий Федорович (1819—1876) — религиозный мыслитель, публицист, общественный деятель, один из главных представителей истинного славянофильства — 15, 31, 53, 245, 479, 628—629, 647, 650, 660.

Самоковасов Дмитрий Яковлевич (1843—1911) — археолог, историк права, архивист — 540.

Сиу Адольф — французский предприниматель в Москве — 188.

Скобелев Михаил Дмитриевич (1843—1882) — выдающийся военачальник и стратег, генерал от инфантерии (1881), генерал-адъютант (1878). В историю вошел с прозвищем «белый генерал» — 607, 636.

Скотт (Scott) Вальтер (1771—1832) — известный британский писатель, поэт, историк, шотландец по происхождению — 6, 591.

Смит (Smith) Адам (1723—1790) — шотландский экономист и философ — 57—58, 246, 250—251.

Соловьев Владимир Сергеевич (1853—1900) — философ, поэт, публицист. Сын С.М. Соловьева — 256—269, 604, 636, 672.

Спенсер (Spencer) Герберт (1820—1903) — английский философ и социолог, идеолог социал-дарвинизма — 8, 593.

Столыпин Петр Аркадьевич (1862—1911) — министр внутренних дел, премьер-министр России (1906—1911), гофмейстер (1906). Убит Д. Богровым — 30, 388—392, 441—444, 474—475, 512—518, 520, 522, 528, 562.

Струве Петр Бернгардович (1870—1944) — философ, экономист, общественный и политический деятель, публицист — 242—244, 266, 268.

Суворин Алексей Сергеевич (1834—1912) — журналист, издатель, театральный критик, драматург — 11, 412, 499, 504, 515, 610.

Сытин Иван Дмитриевич (1851—1934) — предприниматель, книгоиздатель — 533—536.

Сэй (Say) Жан Батист (1767—1832) — французский экономист — 57—58.

Тарасов Иван Трофимович (1849—1929) — юрист, экономист, профессор — 247.

Толстой Дмитрий Андреевич (1823—1889) — граф, государственный деятель, историк, обер-прокурор Св. Синода (1865—1880), министр народного просвещения (1866—1880), министр внутренних дел (1882—1889) — 18, 532, 599.

Толстой Иван Иванович (1858—1916) — граф, государственный деятель, министр народного просвещения Российской Империи с ноября 1905 по апрель 1906, городской голова Петербурга-Петрограда (в 1912—1916), нумизмат, археолог — 475.

Толстой Лев Николаевич (1828—1910) — граф, писатель, публицист и общественный деятель. В конце жизни за пропаганду еретического учения отлучен от Церкви — 7, 242, 246, 265, 268, 356, 591.

Трепов Александр Федорович (1862—1928) — государственный деятель, член Государственного Совета (1914). 10 нояб. 1916 был назначен председателем Совета министров, 27 дек. 1916 уволен в отставку. После 1917 жил за границей — 496.

Третьяков Павел Михайлович (1832—1898) — купец-предприниматель, меценат, собиратель произведений отечественного изобразительного искусства, основатель общедоступной частной художественной галереи — 163, 184.

Третьяков Сергей Михайлович (1834—1892) — купец-предприниматель, общественный деятель, меценат, собиратель западноевропейской живописи. Брат П. М. Третьякова — 163, 184.

Туган-Барановский Михаил Иванович (1865—1919) — экономист, историк, представитель «легального марксизма»; после 1917 — политик и государственный деятель Украинской народной республики — 242—244, 268.

Ухтомский Эспер Эсперович (1861—1921) — дипломат, ориенталист, публицист, поэт, переводчик. С 1896 по

февраль 1917 был издателем «Санкт-Петербургских ведомостей» — 323, 493, 668.

Феоктистов Евгений Михайлович (1828—1898) — писатель, журналист, сотрудник журналов «Современник», «Отечественные записки», редактор журналов «Русская речь» и «Журнала Министерства народного просвещения» (1871—1883), затем цензор, начальник главного управления по делам печати Министерства внутренних дел и сенатор (с 1896) — 498.

Фламмарион (Flammarion) Камиль (1842—1925) — французский астроном, известный популяризатор астрономии — 307.

Филарет (Гумилевский Дмитрий Григорьевич) (1805—1866) — святитель, архиепископ. Автор многих духовных сочинений, в т.ч. «Истории русской Церкви» — 647.

Филарет (Дроздов Василий Михайлович) (1782—1867) — святитель, митрополит Московский и Коломенский (с 1826), выдающийся церковный деятель, богослов и библиист — 584.

Филиппов Тертий Иванович (1825—1899) — государственный и общественный деятель, писатель, публицист — 19, 550—551, 583.

Хомяков Алексей Степанович (1804—1860) — богослов, философ, писатель, поэт, публицист, один из основоположников и главных идеологов славянофильства — 5, 15, 53, 609, 628, 635, 643, 647, 649—652, 660, 663—664.

Хомяков Дмитрий Алексеевич (1841—1919) — православный мыслитель, старший сын А.С. Хомякова, один из основателей Союза Русских Людей в Москве (апрель 1905), член Предсоборного Присутствия. На протяжении нескольких десятилетий (по сути, с юношеского возраста) предпринял малоафишируемые, но поистине неоценимые (и неоцененные по достоинству до сего дня) усилия по сохранению наследия А.С. Хомякова, уточнению нюансов его биографии, переводу, изданию, истолкованию и разъяснению его сочинений и переписки — 432, 540.

Хомяков Николай Алексеевич (1850—1925) — государственный деятель, депутат II, III и IV Думы. Председатель III Думы (1907—1910). Сын А.С. Хомякова и брат Д.А. Хомякова — 558—563.

Церетели Ираклий Георгиевич (1881—1959) — политический деятель. В 1907 был избран членом II Думы, председателем социал-демократической фракции и членом аграрной комиссии Думы. В мае 1917 стал министром почт и телеграфов Временного правительства — 274.

Цешковский Август фон (1814—1894) — польский экономист, философ, депутат от великого княжества Познанского в прусском сейме. Его работа «О кредите и средствах его обращения» получила в XIX в. достаточно широкую известность в мире, выдержала три издания в Париже — 67, 91, 124.

Чельшев Михаил Дмитриевич (1866—1915) — депутат Государственной думы Российской Империи третьего созыва (1907—1912) — 229.

Чернышевский Николай Гаврилович (1828—1889) — философ-утопист, революционер-демократ, литературный критик, публицист и писатель — 7—8, 591—592, 598, 605.

Чупров Александр Иванович (1842—1908) — экономист, статистик и публицист, член-корреспондент Петербургской АН (1887) — 443, 629.

Шванебах Петр Христианович (1848—1908) — государственный деятель, служил по Министерству финансов, товарищ министра земледелия (1903), главноуправляющий земледелием и землеустройством (1905), Государственный контролер (1906), член Государственного Совета по назначению (1907) — 191, 395, 475.

Щербатов Александр Григорьевич (1950—1915) — князь, экономист, публицист, активный деятель монархического движения — 534, 572.

Шереметьев (Шереметев) Павел Сергеевич (1871—1943) — историк, художник — 29.

Шечков Георгий Алексеевич (1856—1920) — землевладелец, публицист, один из руководителей монархического движения, депутат III и IV Государственной думы — 432, 436.

Шлейден (Schleiden) Маттиас Якоб (1804—1881) — немецкий биолог (ботаник) и общественный деятель — 6, 591.

Щегловитов Иван Григорьевич (1861—1918) — государственный и общественный деятель, министр юстиции Российской империи (1906—1915) — 399, 402, 475.

Эдисон (Edison) Томас Алва (1847—1931) — американский изобретатель в области электротехники и предприниматель, основатель крупных электротехнических компаний — 111.

Энгельгардт Александр Николаевич (1832—1893) — профессор химии С.-Петербургского земледельческого института, агрохимик, известный сельский хозяин, публицист-народник (автор «Писем из деревни») — 12—13, 21, 242.

Энгельгардт Николай Александрович (1867—1942) — писатель, поэт, литературовед, публицист, видный деятель монархического движения. Сын А.Н. Энгельгардта — 243.

Энгельс (Engels) Фридрих (1820—1895) — немецкий философ, социолог, сооснователь (вместе с К. Марксом) идеологии «научного социализма» — 274.

Юз (Hughes) Джон Джеймс (1814—1889) — валлийский промышленник, основатель Донецка, называвшегося до 1924 — Юзовка — 192.

Янжул Иван Иванович (1846—1914) — экономист и статистик. С 1876 профессор кафедры финансового права Московского университета — 443.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	5
Русская идеология	37
Самодержавие и самоуправление	39
Русская экономическая теория	49
Бумажный рубль (Его теория и практика)	51
Иностранные капиталы и наша финансовая политика	174
Финансовое возрождение России	199
Россия и социализм	239
Марксизм и русская экономическая мысль	241
Социализм как религия ненависти	271
Еврейский вопрос	298
Россия будущего	305
Через полвека (Фантастический политико-социальный роман)	307
Диктатор (Политическая фантазия)	385
Иванов 16-й и Соколов 18-й (Политическая фантазия. Продолжение «Диктатора»).....	429

У очага хищений (Политическая фантазия. Продолжение «Диктатора»)	473
Кабинет диктатора (Политическая фантазия. Завершение «Диктатора»)	517
Публицистика	575
Открытое письмо редактору «Русского труда» епископа Чебоксарского Антония (Храповицкого) и наш ответ	577
Молодежь прежде и теперь.....	590
Гоголевские дни	609
Памяти русских вождей	625
Памяти И. С. Аксакова	627
Неопознанный гений: Памяти Н.П. Гилярова-Платонова.....	645
I. Над свежей могилой Н.П. Гилярова.....	648
II. В годовщину кончины Н.П. Гилярова.....	651
А.М. Гальперсон, сотрудница Н.П. Гилярова	666
Кончина Д.Ф. Самарина. Его работы. Борьба за приход.....	671
Примечания	684
Именной словарь	690

Институт русской цивилизации создан в октябре 2003 г. для осуществления идей и в память великого подвижника православной России митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева). Предшественником Института был Научно-исследовательский и издательский центр «Энциклопедия русской цивилизации» (1997—2003).

Целью Института является творческое объединение ученых и специалистов, занимающихся изучением истории и идеологии русского народа, проведение научных исследований, конференций, семинаров и систематизация знаний по всем вопросам русской цивилизации, истории, философии, этнографии, культуры, искусства и других научных отраслей, связанных с жизнедеятельностью русского народа с древнейших времен до начала XXI века. Приоритетным направлением деятельности института является создание 30-томной «Энциклопедии русского народа» (вышло 12 томов), а также научная подготовка и публикация самых великих книг русских мыслителей, отражающих главные вехи в развитии русского национального мировоззрения и противостояния силам мирового зла, русофобии и расизма (вышло более 70 томов).

Редактор Л. К. Молотилова
Корректор А. А. Полякова
Компьютерная верстка Е. Е. Поляков
Институт русской цивилизации. Тел.: 8-495-605-25-35

Подписано в печать 15.09.2011 г. Формат 84 x 108 1/32.
Гарнитура «Times». Объем 31,5 изд. л.
Печать офсетная. Заказ №
Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат».
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.

**ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
ВЫПУСКАЕТ
БОЛЬШУЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ
РУССКОГО НАРОДА**

Главный редактор О. А. Платонов

Энциклопедия включает следующие тома:

- Русская цивилизация *(вышел)*
- Русское Православие в трех томах *(вышли)*
- Русское государство *(вышел)*
- Русский патриотизм *(вышел)*
- Русское мировоззрение *(вышел)*
- Русский образ жизни *(вышел)*
- Русская география
- Русское хозяйство *(вышел)*
- Международные отношения
- Национальные отношения
- Русская литература *(вышел)*
- Русская икона и религиозная живопись в двух томах *(вышли)*
- Русская архитектура и скульптура
- Русская живопись
- Русский театр
- Русская музыка
- Русская наука
- Русская школа
- Русское воинство
- Памятники Отечества
- Русские за рубежом
- Противники русской цивилизации

Каждый том Энциклопедии посвящен определенной отрасли жизни русского народа и будет завершенным сводом энциклопедических знаний по этой отрасли от «А» до «Я». Читатели могут в зависимости от потребностей подбирать либо полный комплект Энциклопедии, либо необходимые один или несколько томов.

К подготовке издания привлекаются лучшие русские ученые и специалисты, используются опыт и наиболее ценные материалы предыдущих русских энциклопедий и словарей. Критерием подготовки и отбора статей для Энциклопедии являются православные и национальные традиции русской науки, соответствие сделанных оценок национальным интересам русского народа.

Редакция Энциклопедии привлекает к сотрудничеству всех заинтересованных русских людей и организации. Будем признательны за любую помощь в подготовке нашего издания.

Настоящая Энциклопедия является первой попыткой создания всеобъемлющего свода православных и национальных сведений о жизни русского народа. После выхода первого издания Энциклопедии предполагается ее совершенствование и подготовка нового издания.

Приглашаем к сотрудничеству всех русских людей, разделяющих идеи Святой Руси, русской цивилизации.

Будем благодарны за любые отзывы, замечания, поправки и дополнения.

Просим направлять их по адресу: 121170, Москва, а/я 18. Платонову О. А., e-mail: info@rusinst.ru

Электронную версию Энциклопедии можно получить на нашем сайте: www.rusinst.ru.

ВЫШЛИ В СВЕТ КНИГИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ИНСТИТУТОМ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ:

СЕРИЯ «РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ»

- Митр. Иоанн. Самодержавие духа, 528 с.
- Киреевский И. Духовные основы русской жизни, 448 с.
- Гиляров-Платонов Н. П. Жизнь есть подвиг, а не наслаждение, 720 с.
- Аксаков И. С. Наше знамя – русская народность, 640 с.
- Гоголь Н. В. Нужно любить Россию, 672 с.
- Тихомиров Л. А. Руководящие идеи русской жизни, 640 с.
- Филиппов Т. И. Русское воспитание, 448 с.
- Григорьев Ап. Апология почвенничества, 688 с.
- Данилевский Н. Я. Россия и Европа, 816 с.
- Хомяков А. С. Всемирная задача России, 800 с.
- Самарин Ю. Ф. Православие и народность, 720 с.
- Катков М. Н. Идеология охранительства, 800 с.
- Булгаков С. Н. Философия хозяйства, 464 с.
- Аксаков К. С. Государство и народ, 680 с.
- Концевич И. М. Стяжание Духа Святого, 864 с.
- Флоровский Г. В. Пути русского богословия, 848 с.
- Гильфердинг А. Ф. Россия и славянство, 496 с.
- Страхов Н. Н. Борьба с Западом, 576 с.
- Мещерский В. П. За великую Россию. Против либерализма, 624 с.
- Свт. Филарет митр. Московский. Меч духовный, 720 с.
- Зеньковский В. В. Христианская философия, 1072 с.
- Ламанский В. И. Геополитика панславизма, 928 с.
- Черкасский В. А. Национальная реформа, 592 с.
- Достоевский Ф. М. Дневник писателя, 880 с.
- Солоневич И. Л. Народная монархия, 624 с.
- Валуев Д. А. Начала славянофильства, 368 с.
- Фадеев Р. А. Государственный порядок. Россия и Кавказ, 992 с.
- Лешков В. Н. Русский народ и государство, 688 с.
- Иван Грозный. Государь, 400 с.

Лобанов М. П. Твердыня духа, 1024 с.

Безсонов П. А. Русский народ и его творческое слово, 608 с.

Леонтьев К. Н. Славянофильство и грядущие судьбы России, 1232 с.

Щербатов А. Г. Православный приход – твердыня русской народности, 496 с.

Шафаревич И. Р. Русский народ в битве цивилизаций, 936 с.

Беляев И. Д. Лекции по истории русского законодательства, 896 с.

Коялович М. О. История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям, 688 с.

Погодин М. П. Вечное начало. Русский дух, 832 с.

Шишков А. С. Огонь любви к Отечеству, 672 с.

Хомяков Д. А. Православие. Самодержавие. Народность, 576 с.

Кошелев А. И. Самодержавие и Земская дума, 848 с.

Черняев Н. И. Русское самодержавие, 864 с.

Победоносцев К. П. Государство и Церковь в 2-х томах, т. 1 – 704 с.; т. 2 – 624 с.

Венелин Ю. И. Истоки Руси и славянства, 864 с.

Преп. Иосиф Волоцкий. Просветитель, 432 с.

Преп. Нил Сорский. Устав и послания, 240 с.

Трубецкой Е. Н. Смысл жизни, 656 с.

Ломоносов М. В. О сохранении русского народа, 848 с.

Митр. Иларион. Слово о Законе и Благодати, 176 с.

Ильин И. А. Путь духовного обновления, 1216 с.

Тютчев Ф. И. Россия и Запад, 592 с.

Святые черносотенцы. Священный Союз Русского Народа, 1136 с.

Шарапов С. Ф. Россия будущего, 720 с.

СЕРИЯ «РУССКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ»

Ильин И. Национальная Россия: наши задачи, 464 с.

Нилус С. Царство антихриста «Близ есть при дверех...», 528 с.

Шарапов С. Ф. После победы славянофилов, 624 с.

Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди русские!, 544 с.

Вязигин А. С. Манифест созидательного национализма, 400 с.
Пасхалов К. Н. Русский вопрос, 720 с.
Платонов. О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Почему погибнет Америка, 528 с.
Бутми Г. Кабала или свобода, 400 с.
Жевахов Н. Еврейская революция, 480 с.
Никольский Б. В. Сокрушить крамолу, 464 с.
Величко В. Л. Русские речи, 400 с.
Архимандрит Фотий (Спасский). Борьба за веру. Против масонов, 400 с.
Булацель П. Ф. Борьба за правду, 704 с.
Дубровин А. И. За Родину. Против крамолы, 480 с.
Бондаренко В. Г. Русский вызов, 688 с.
Платонов О. А. Масонский заговор в России, 1344 с.
Марков Н. Е. Думские речи. Войны темных сил, 704 с.
Шмаков А. С. Международное тайное правительство, 944 с.

СЕРИЯ «ИССЛЕДОВАНИЯ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ»

Лебедев С. В. Слово и дело национальной России, 576 с.
Платонов О. А. Экономика русской цивилизации, 800 с.
Антонов М. Ф. Экономическое учение славянофилов, 416 с.
Каплин А. Д. Мировоззрение славянофилов, 400 с.
Романов И. Стратегия восточных территорий, 320 с.
Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис цивилизации, 480 с.
Крыленко А. К. Денежная держава, 368 с.
Черная сотня. Историческая энциклопедия, 640 с.
Славянофилы. Историческая энциклопедия, 736 с.
Морозова Г. А. Третий Рим против нового мирового порядка, 272 с.
Троицкий В. Ю. Судьбы русской школы, 480 с.
Русские монастыри и храмы. Историческая энциклопедия, 688 с.
Русские святые и подвижники Православия. Историческая энциклопедия, 896 с.
Васильев А. А. Государственно-правовой идеал славянофилов, 224 с.

Игумен Даниил (Ишматов). Просветительская и педагогическая деятельность преподобного Сергия Радонежского, 192 с.
Сохряков Ю. И. Русская цивилизация: философия и литература, 720 с.

Олейников А. А. Политическая экономия национального хозяйства, 1184 с.

Черевко К. Е. Россия на рубежах Японии, Китая и США (2-я половина XVII – начало XXI века), 688 с.

Виноградов О. Т. Очерки начальной истории русской цивилизации, 544 с.

Платонов О. А. Русская цивилизация. История и идеология русского народа, 944 с.

Олейников А. А. Экономическая теория. Политическая экономия национального хозяйства. Учебник для высших учебных заведений, 1136 с.

Каплин А. Д. Славянофилы, их сподвижники и последователи, 624 с.

Бухарин С. Н., Ракитянский Н. М. Россия и Польша. Опыт политико-психологического исследования феномена лимитрофизации, 944 с.

Ягодинский В. Н. Космология духа и циклы истории, 320 с.

Очерки истории русской иконы, 592 с.

СЕРИЯ «ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ РОССИИ»

Платонов О. История русского народа в XX веке в 2-х томах, т. 1 – 804 с.; т. 2 – 1040 с.

Платонов О. Тайная история масонства, 912 с.

Платонов О. История масонства. Документы и материалы в 2-х томах, т. 1 – 720 с.; т. 2 – 736 с.

Платонов О. Пролог царевубийства, 496 с.

Платонов О. История царевубийства, 768 с.

Платонов О. Святая Русь. Открытие русской цивилизации, 816 с.

Башилов Б. История русского масонства, 640 с.

Шевцов И. В борьбе с дьяволом, 656 с.

Лютостанский И. Криминальная история иудаизма, 992 с.

Платонов О. Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против христианской цивилизации, 880 с.

Платонов О. Загадка сионских протоколов, 800 с.

Платонов О. Заговор цареубийц, 528 с.

Платонов О. Николай II в секретной переписке, 800 с.

Книги, подготовленные Институтом русской цивилизации, можно приобрести в Москве: в Книжном клубе «Славянофил» (Большой Предтеченский пер., 27, тел. 8(495)-605-08-58), в книжной лавке «Русского вестника» (Звенигородское шос., д. 4 (пав. «Детский мир на Пресне»), тел. 8(495)-788-41-48, rodina@gw.ru), в книгоиздательской фирме «Крафт+» (Пр. Серебрякова, 4, тел. 8(495)-620-36-94) и в магазине «Политкнига» (тел. 8(495)-543-87-93, www.politkniga.ru)